УДК 930.9(092)
ББК 63.(0-8)
В11

Редакционная коллегия:

Л.П. Репина (ответственный редактор), *Н.А. Мининков* (зам. ответственного редактора), *П.А. Аваков*, *В.Ю. Апрыщенко*, *А.Е. Иванеско*, *А.В. Кореневский*, *В.С. Савчук*, *А.А. Харченко*

В11 **В тени великих: образы и судьбы:** Сборник научных статей. Серия «Человек второго плана в истории» / Отв. ред. Л.П. Репина / Общество интеллектуальной истории, Южный федеральный университет. — СПб. : Алетейя, 2010. — 400 с.

ISBN 978-5-91419-354-3

Сборник «В тени великих: образы и судьбы», открывающий серию книг «Человек второго плана в истории», является итогом пятилетней работы над одноименным проектом, инициированным Ростовским региональным отделением Российского общества интеллектуальной истории. В статьях сборника представлена галерея портретов ярких неординарных личностей, оставивших заметный след в истории, но по тем или иным причинам не удостоившихся славы ее «творцов». Издание адресовано специалистам-гуманитариям и всем, интересующимся «персональной» историей.

УДК 930.9(092)
ББК 63.(0-8)

Книга издана при финансовой поддержке Л.А. Шаулова

ISBN 978-5-91419-354-3

© Общество интеллектуальной истории, 2009
© Южный федеральный университет, 2009
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010
© «Алетейя. Историческая книга», 2010



В ТЕНИ ВЕЛИКИХ

Л.П. РЕПИНА (МОСКВА)

ОТ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ К БИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ:

«...кто выбрасывает из истории индивида, пусть хорошенько приглядится — он непременно заметит, что либо, вопреки своим намерениям, никого не выбросил, либо вместе с индивидом выбросил и саму историю».
Б. Кроче[1]

Историческая биография, подразумевающая исследование и описание жизни выдающейся исторической личности, является неотъемлемой составляющей европейской историографии со времен Плутарха. И, хотя на протяжении многих веков положение исторической биографии в семье «старших» и «младших» историографических жанров менялось, ей по праву принадлежит статус самого популярного жанра исторических сочинений. Несмотря на суровую критику, которая нередко звучала в адрес историко-биографического жанра с разных сторон (особенно в XX столетии), он неизменно пользовался успехом как среди историков-профессионалов, которым предоставлял максимальную возможность для самовыражения (хотя бы в выборе героя), так и у широкой читающей публики, движимой не только обывательским любопытством, но и неистребимым стремлением к самопознанию[2]. Биографии известных людей прошлых эпох, помимо прочего, всегда служат своеобразным зеркалом, глядя в которое читатель может многое узнать и о себе.

Конечно, профессиональный историк, придерживаясь корпоративных норм и конвенций, рассматривает и пытается понять своего героя (или антигероя) в контексте той эпохи, в которой тот жил, но не случайно главной среди обсуждаемых методологических проблем биографии как жанра исторического исследования была и остается проблема взаимодействия этих

[1] *Кроче Б.* Теория и история историографии. М., 1998. С. 65.

[2] Историческая биография как литературная форма всегда была важным средством для понимания тех сил, которые движут действиями людей. Сама же привлекательность этого жанра, как подчеркивают психологи, опирается «на наш устойчивый интерес к жизни других людей, в которых мы можем найти отражения нас самих, предостережения об опасностях и просто удовлетворение нашего любопытства относительно опыта других людей...» (*Shore M.F.* Biography in the 1980s. A Psychoanalytic Perspective // Journal of Interdisciplinary History. 1981. V. XII. № 1. P. 113).

двух субъектов: с одной стороны, «герой биографии, вписанный в свое время и неразрывно связанный с ним, с другой — автор, биограф, испытывающий столь же глубокую и разностороннюю зависимость от своей эпохи, своего времени. Это диалектическое противоречие и определяет особенности жанра биографии. В биографии как ни в каком ином жанре автор выражает самого себя через того героя, которому посвящено его исследование, а через себя — и особенности, и требования, и сущность своего времени»[1].

В XIX — первой половине XX века историческая биография получила широкое распространение в традиционной политической истории, значительная часть которой состояла из жизнеописаний государственных деятелей, хотя со временем в них все больше внимания стало уделяться частной и внутренней жизни героев, а не только их карьере. И все же в прошлом столетии под «биографией в полном смысле слова», в полном соответствии исторически сложившимся каноном, понималось исследование и описание жизни выдающейся личности, политических и государственных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, но не просто действующих лиц истории, а ее героев, «вечных спутников человечества», которые, «... некогда появившись, проходят затем через века, через тысячелетия, через всю доступную нашему умственному взору смену эпох и поколений...»[2]. Однако в последней четверти XX века пространство применения биографического метода существенно расшилось и изменило свою конфигурацию: наряду с размахом коллективных биографий возросло число индивидуальных жизнеописаний людей, которых никак не назовешь выдающимися историческими деятелями. В большой мере это объясняется общим изменением отношения к человеческой индивидуальности и тенденцией к персонализации предмета истории. Биографический элемент в истории обрел новое качество: не забывая о «внешней», «публичной», «профессиональной», или «карьерной», биографии, историки стали все больше внимания уделять изучению частной, приватной, интимной, эмоционально-чувственной, внутренней жизни — «истории души» своего героя. При этом также обнаружилось, что биографии, казалось бы, ничем не примечательных «простых», «рядовых» людей могут пролить свет на многие неизученные аспекты прошлого.

Современная историческая биография не ограничивается повествованием о жизненном пути исторического персонажа, а представляет собой историческое *исследование*: это история, показанная через личность. Новая биографическая история, поставив во главу угла анализ деятельности индивида, индивидуального сознания и самосознания, личного интереса и целеполагания, помогает, в конечном счете, ответить на вопрос, каким образом и в какой степени унаследованные культурные традиции, обычаи, представления определяли поведение людей в специфических исторических обстоятельствах (а тем самым и весь ход событий и их последствия), и какую роль играли в этих границах индивидуальный выбор и инициатива[1]. В результате веками устоявшаяся форма историко-биографических исследований наполнилась новым содержанием, их предметное поле существенно расширилось, а «номенклатура» неизмеримо выросла за счет жизнеописаний людей, которые выступали как реальные агенты, акторы, т.е. *действующие лица* истории, но отнюдь не на главных ролях и не могут быть формально причислены к выдающимся историческим деятелям. Несмотря на определенный методологический эклектизм, ориентацию на принципиально различные исследовательские стратегии (от моделей рационального выбора до теорий культурной и гендерной идентичности или до психоистории), общая установка персональной, или новой биографической истории состоит в том, что реконструкция личной жизни и неповторимых судеб отдельных исторических индивидов, изучение формирования и развития их внутреннего мира рассматриваются *одновременно* — и как главная цель исследования, и как одно из эффективных средств познания того исторического социума, в котором они жили и творили, радовались и страдали, мыслили и действовали[2]. Речь идет о концентрации внимания на частном, индивидуальном, уникальном в конкретных человеческих судьбах и, одновременно, — об изначально заданной принципиальной установке на выявление специфики и вариативности разноуровневого социального пространства, полного спектра и пределов тех возможностей, которыми располагает индивид в рамках данного культурно-исторического контекста.

В исследованиях подобного рода привлекает исключительно взвешенное сочетание двух познавательных стратегий. С одной стороны, они сосредоточивают внимание на так называемом культурном принуждении, а также на тех понятиях, с помощью которых люди постигают окружающий мир. С другой стороны, в них достаточно последовательно выявляется активная роль

[1] *Павлова Т.А.* Психологическое и социальное в исторической биографии // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995. С. 86.

[2] *Утченко С.Л.* Цицерон и его время. М., 1973. С. 3.

[1] Формулируя задачи и принципы такого рода исследований, Ю.Л. Бессмертный писал: «...на первом плане нашего поиска — конкретный человек, его индивидуальное поведение, его собственный *выбор*. Мы исследуем эти сюжеты отнюдь не только потому, что хотим знать, насколько *типичны* (или нетипичны) поступки этого человека, но ради понимания его как такового, ибо он интересует нас сам по себе. Пусть этот человек окажется из ряда вон выходящим. И в этом случае мы признаем его заслуживающим внимания. Ведь самая его уникальность раскроет нечто от уникальности его времени». *Бессмертный Ю.Л.* Метод // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени // Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 2000. С. 23.

[2] Подробно о становлении и развитии этого направления в западной историографии в 1990-е годы, о его методологических стратегиях, достижениях и нерешенных проблемах см.: *Репина Л.П.* «Персональная история»: биография как средство исторического познания // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 1999. М., 1999. С. 76–100.

действующих лиц истории и тот — специфичный для каждого социума — способ, которым исторический индивид, в заданных и не полностью контролируемых им обстоятельствах, «творит историю», даже если результаты этой деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям.

В наиболее интересных работах, выполненных в русле персональной, или новой биографической истории, яркие достоинства исторической биографии, позволившие ей в течение многих столетий оставаться популярнейшим жанром историописания, оказываются вполне релевантными задачам современной историографии, которая, с учетом уроков «лингвистического поворота» и его критического осмысления, стремится отойти от крайностей сциентизма и добиться воссоединения истории и литературы на новом уровне понимания специфики исторического знания. Новая биографическая история использует в качестве источников самые разные материалы, содержащие как прямые высказывания личного характера (письма, дневники, мемуары, автобиографии), так и косвенные свидетельства, фиксирующие взгляд со стороны, или так называемую объективную информацию. Однако, разумеется, основное внимание уделяется анализу персональных текстов, или источников личного происхождения, в которых оказывается запечатленным индивидуальный опыт, его эмоциональное переживание и тот или иной уровень осмысления. Такие «ненадежные», «субъективные» источники, как дневники, письма, мемуары и другие продукты творческой деятельности индивида, в которых запечатлен его эмоционально-психический и интеллектуальный мир, его самосознание и жизненный опыт, вышли на первый план не вопреки, а именно благодаря своей субъективности. Нельзя не отметить и то особое значение, которое придается в новой биографической истории выявлению *автобиографической* составляющей разного рода эго-документов, анализу именно *персональной* «истории жизни» — автобиографических повествований в самом широком смысле этого слова[1].

Вместе с тем, — и это не менее важно — в так называемых эго-документах (источниках личного происхождения) личность предстает перед нами не изолированной, а взаимодействующей с другими личностями, со своей социальной средой, с окружающим миром в самых разных его проявлениях, с культурными и интеллектуальными традициями. И без анализа этого взаимодействия невозможна никакая персональная история, главным предметом исследования которой является «история одной жизни» не только во всей ее уникальности, но и в достижимой полноте. Изъятие неотъемлемой социокультурной составляющей из истории индивида неизбежно нанесло бы непоправимый ущерб пониманию последнего. Впрочем,

[1] Об этом подробно см.: *Безрогов В. Г.* Историческое осмысление персонального опыта в автобиографии // Формы исторического сознания от поздней античности до эпохи Возрождения (Исследования и тексты). Сборник научных трудов памяти К. Д. Авдеевой. Иваново, 2000. С. 130–174.

эта методологическая проблема относится в историографии к числу вечных. О ней размышляли, хотя и по-разному, практически все теоретически мыслящие историки[1].

Конечно, личная жизнь и внутренний мир человека прошлого, тем более отдаленного — не открытая книга, и здесь многое ускользает от исследователя: «Жизнь каждой личности состоит из бесконечного множества моментов, состояний ума, мыслей и фантазий, исчезающих в беспросветном и бездонном колодце времени. Мы можем лишь попытаться раскрыть — через сохранившиеся письма, сочинения, документы и воспоминания — некоторые фрагменты жизни этой личности, которую мы хотим спасти от забвения. К несчастью, неизбежно, то, что получается в результате, имеет несовершенный сюжет с неустановленным ритмом развития. Но даже короткое мгновение жизни, вырванное из пасти времени, бесценно»[2]. Между тем, нельзя не признать, что при всех своих естественных ограничениях и, несмотря на наличие серьезных эпистемологических трудностей, обновленный и обогащенный принципами микроистории биографический метод может быть очень продуктивным. Одно из преимуществ такого «персонального» подхода состоит именно в том, что он «работает» на экспериментальной площадке, максимально приспособленной для практического решения сложных теоретических проблем, которые ставит перед исследователем современная историографическая ситуация и ответа на ключевые вопросы: чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, каковы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились массовые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внешние факторы и внутренние импульсы. Динамика внутреннего мира индивида самым последовательным образом соотносится с его жизненными обстоятельствами, с перипетиями личной судьбы, с его собственной деятельностью, наконец, с существенными изменениями во включающей его конфигурации социальных взаимосвязей. Элиминировать все эти и многие другие факторы становления и развития личности — значит до предела сужать диапазон возможностей исследователя.

В связи со сказанным уместно вспомнить исключительно точное определение объекта и предмета биографии, данное в свое время Э. Ю. Соловьевым:

[1] Так, например, выдающийся русский историк Л. П. Карсавин, рассуждая о типах исторического исследования, писал: «Есть две “преимущественно” или “собственно” исторических области: область развития отдельной личности и область развития человечества... Однако надо считаться с тем, что нет личности, качествующей только собою, отъединенной от других таких же, как она, личностей, от высших индивидуальностей: общества, культуры, человечества... История индивидуальности неуловимо и неизбежно переходит в историю вообще». *Карсавин Л. П.* Философия истории. СПб., 1993. С. 82–86.

[2] *Viroli M.* Niccolo's Smile: A Biography of Machiavelli. N. Y., 2000. P. 87.

«Непосредственным объектом биографии является жизнь отдельного человека от момента рождения до момента смерти. Однако предметом, на который направлено основное исследовательское усилие биографа, каждый раз оказывается *социальная и культурная ситуация*. Только по отношению к последней описываемая жизнь приобретает значение истории, особой смысло-временной целостности, к которой применимы понятия уникальности, событийности, развития, самоосуществления[1].

Более того, для создания развернутой биографии личности необходимо знание эмоционально-психологического, социального и интеллектуального опыта индивида, то есть предшествовавшей истории его жизни, его прошлого, из которого складывается состояние, обусловливающее его мысли и действия в текущий момент времени, на данной стадии его жизненного цикла, в определенной конфигурации межличностного взаимодействия. Основная идея состоит в погружении как в жизнь героя, так и в конкретную ситуацию. Историк должен найти ответ на вопрос: «Если бы я был этой другой личностью с соответствующим индивидуальным жизненным опытом и культурной памятью, взглядами и убеждениями, представлениями и ценностями, желаниями и слабостями, как бы мог я себя чувствовать, рассуждать и действовать при таких же обстоятельствах, в том же пространстве времени и места?».

Краеугольным камнем биографического подхода в интеллектуальной истории является понимание неразрывности связи между жизнью и творчеством личности, между фактами психологической и интеллектуальной биографии. Центральным в полемике между ее энтузиастами и скептиками оказывается вопрос об *отношении между идеями и жизнью*, «между тем, как мы думаем, и тем, как мы живем»[2]. В свое время поразительно точно выразился о связи идей и личностей Карл Ясперс: «...Мысль целиком жива для нас только вместе с человеком, который ее мыслил. В философской мысли мы ощущаем личное существо, для которого она имела значение. Поэтому в историческом созерцании мы ищем философов, а не только свободно парящие мысли»[3]. И далее: «История философии — это проявление людей, живущих мысля. Что такое человек и каким образом он существует, неотделимо от того, как он понимает мир, себя самое, бытие. Философские мысли получают свое значение благодаря отношению к действительности мыслящего, благодаря ее проясняющей, формирующей, сообщающей уверенность и веру и удостоверяющей их силе»[4].

Биография может по праву называться исторической, только будучи помещенной в исторический контекст, причем взятый во всех его пересекающихся аспектах. Вот почему обстоятельный анализ интеллектуального

[1] *Соловьев Э.Ю.* Биографический анализ... Статья вторая. С. 138.

[2] *Postel D.* The Life and the Mind // URL The Chronicle of Higher Education / http://chronicle.com.

[3] *Ясперс К.* Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 159.

[4] Там же. С. 184.

контекста является всего лишь необходимым, но отнюдь не достаточным для создания полноценной интеллектуальной биографии: она требует более глубокого погружения в социокультурную среду и выяснения динамики изменений на всех ее уровнях и направлениях, поскольку формирование в обществе новых ценностных ориентиров и нравственных идеалов не только отражается на исходных предпосылках и постановке проблем, но во многом определяет и результаты когнитивной и рефлексивной деятельности. Биография крупного мыслителя, хотя она, как правило, лучше обеспечена источниками, наталкивается на те же трудности, что и любая другая, и требует не меньшей точности в социальных характеристиках: «Личность формируется главным образом, благодаря современным интеллектуальным веяниям и течениям, свойственным специфической социальной группе, к которой она принадлежит. Иными словами, она никоим образом не подвержена влиянию духа времени в целом, ее привлекают только те течения и тенденции времени, которые в качестве живой традиции сохраняются в ее специфической социальной среде. Но даже и эти частные традиции, а не другие, укореняются и утверждаются во внутреннем мире в конечном счете благодаря тому, что дают наиболее адекватное выражение характерным “возможностям” его жизненной ситуации»[1].

Хотя биографический жанр, несомненно, поощряет последовательно-линейное истолкование событий, следует помнить о том, что связь одной социокультурной ситуации с другой имеет более сложный характер и сопряжено с действием многообразных факторов. По словам историка философии Т. Мура, философы — не просто «гиганты, стоящие на плечах друг друга». Они существуют в определенных идейных и социальных контекстах; «они реагируют на *фигуры, которые выпали из нашего поля зрения* (курсив мой — *Л.Р.*)», но которые, однако, *помогли сформировать целостное интеллектуальное пространство* философской мысли[2]. По существу, без биографического измерения интеллектуальной жизни понимание самих идей оказывается неполным. И, добавим, это понимание оказывается неполным и, более того, существенно искаженным, также без фигур «второго плана», тех, кто делает свое дело, пребывая в тени гениев: без них невозможно — ни в статике, ни в исторической динамике — представить себе само пространство интеллектуальной жизни, пронизанное множеством связей и опосредований.

Наиболее оптимистические оценки перспектив интеллектуальной биографии связываются с синтезом биографического, текстуального и социокультурного анализа, что соответствует максимально расширительному пониманию

[1] *Мангейм К.* Проблема поколений // *Его же*. Очерки социологии знания. М., 2000. С. 51.

[2] The Chronicle of Higher Education: 6/7/2002 // URL The Chronicle of Higher Education / http://chronicle.com.

задач современной интеллектуальной истории. Знание контекста позволяет понять силы, управлявшие индивидом в конкретной ситуации и формировавшие его поведение, однако на пути осознания и репрезентации взаимосвязанности условий, поступков, идей, интеллектуальных задач и способов их разрешения исследователя-биографа ждут немалые трудности. К этому надо добавить новые проблемы, связанные с выходом из границ пантеона «канонических фигур», с наметившимся вниманием к авторам «второго и третьего плана», к распространению и бытованию идей, а не только к их рождению, к практической стороне интеллектуальной деятельности и повседневной жизни конкретных интеллектуальных сообществ. Но социальное неразрывно переплетается с темпоральным: социальное измерение биологического времени человеческой жизни (время биографии) не совпадает со временем истории, ритмы которого по-разному накладываются на отдельные стадии его жизненного цикла[1]. Их сложное переплетение охватывается категорией *индивидуального прошлого*, или *индивидуального опыта*, всего непосредственно пережитого индивидом и так или иначе отложившегося в его сознании.

Разумеется, этот трехуровневый комплекс «индивидуальное — социальное — всеобщее» требует адекватной интерпретации как в биографиях выдающихся исторических деятелей, так и в жизненных историях тех, кто играл в драме истории отнюдь не главную роль. Но именно в последних он проявляется, пожалуй, наиболее рельефно. Сегодня, когда начатый в 2003 г. проект «Человек второго плана в истории»[2], существенно продвинул исследования проблематики «персональной истории» в российской историографии, стала вполне очевидной плодотворность исходной установки на изучение уникального человеческого содержания истории и «неоднозначных взаимодействий человека и социума... как раз в жизни и судьбе так называемого человека второго плана»[3]. Нельзя не согласиться с тем, что «человек второго плана» занял в фокусе современного гуманитарного познания «стратегически важный “плацдарм” между “безмолвствующим (и безымянным) большинством”, “типичным человеком” и “акторами”, “творцами истории”»[4].

Исследовательский проект «Человек второго плана в истории» осуществляется на основании методологических разработок и на научно-организационной базе Ростовского регионального отделения Общества интеллектуальной истории с привлечением широкого круга исследователей из многих университетов и академических институтов России. В первом же выпуске сборника

[1] Подробнее об этом см.: *Le Goff J.* Saint Louis. P., 1995. P. 23–24.

[2] См.: Человек второго плана в истории / Отв. ред Н. А. Мининков. Вып. 1. Ростов-на-Дону, 2004; Вып. 2. 2005; Вып. 3. 2006; Вып. 4. 2007; Вып. 5. 2008.

[3] От редакции // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 3.

[4] *Мининков Н. А., Кореневский А. В., Иванеско А. Е.* Человек второго плана в контексте современной историографии // Человек второго плана в истории. Вып. 2. С. 6.

«Человек второго плана в истории» была обозначена его концептуальная база (как по принципу «от противного», так и в конструктивном плане).

Определяя типологические признаки человека второго ряда, Н. А. Мининков очень точно отделяет его как от главных действующих лиц истории, так и от ее «статистов», подчеркивая, что «роль его в том деле, с которым он связан, весьма значительна», и в этом смысле «такой персонаж далеко не является второстепенным или случайным лицом»[2]. Это положение имеет ключевое значение для идентификации исследовательского пространства нового направления биографической истории, хотя не совсем корректно была поставлена проблема источниковой базы. Здесь, видимо, надо делать акцент не на ее неполноту (количественную характеристику), а на ее *качественную специфику*. Речь ведь идет не просто о том, что обычно исследователю не хватает источников для создания полной биографии человека второго плана (в том числе по значимым периодам жизни и особенно относительно людей далекого прошлого) и биография воссоздается в виде фрагментов. Дело в ограниченности *видового спектра* имеющегося комплекса источников, что определяет наличие или отсутствие важнейшей информации относительно эмоциональной и когнитивно-рефлексивной составляющих деятельности индивида, а также доступность или недоступность для исследователя необходимых сведений о мотивации принимаемых им решений в ситуациях личностного и исторического выбора.

Также весьма важным представляется наблюдение о том, что «изучение второго ряда сближается в определенной степени с процессом исторического познания методами художественного творчества», и о значении в связи с этим аксиологического подхода, который соотносит дела героя «с определенной системой ценностей»[3]. Это очень верно — и такое соотнесение является одним из методов создания полноценной биографии из известных фрагментов жизни индивида. Но здесь также важно историческое воображение и интуиция, которые сближают историка и романиста, не отменяя различия в главном — в четком осознании границ домысливаемого, его гипотетического характера, а также в требовании достаточно сложных критических процедур. Так, согласно концепции итальянского историка Джованни Леви, благодаря контекстуальному подходу к исторической биографии, который

[1] Отрадно, что, в целом поддерживая тезис насчет «обезлюдевшей истории» в советской историографии, Н. А. Мининков, тем не менее, вовсе не абсолютизировал его, указав и на противоположную тенденцию — вплоть до создания ярчайших образцов в историко-биографическом жанре, таких как «Наполеон» Е. Тарле и А. Манфреда и др. См.: *Мининков Н. А.* Человек второго ряда как исследовательская проблема // Человек второго плана в истории. Вып. 1. Ростов-на-Дону, 2004. С. 5–6. В этой связи можно также вспомнить замечательные биографии Оливера Кромвеля и Джерарда Уинстенли, созданные Т. А. Павловой, не говоря уже о шедеврах Натана Эйдельмана.

[2] Там же. С. 7.

[3] Там же. С. 10–11.

использует общий культурно-исторический контекст для реконструкции (по имеющимся параллелям) утраченных фрагментов биографии своего героя, большей частью удается не растворить в нем индивидуальные черты, «сохранить равновесие между специфичностью каждой судьбы и совокупностью общественных условий»[1]. И хотя в основном этот метод применяется в историко-антропологических исследованиях[2], в которых воссоздание так называемых *биографий простых людей* занимает некоторое промежуточное положение между целью и средством, его аналог может помочь «возместить» утраченные фрагменты и в биографии человека «второго» плана.

«Человек второго ряда» — это метафора: по существу, речь идет практически о любом индивиде, не зафиксированном на историческом экране «самым крупным планом», о переносе исследовательского интереса на человека, который находится за пределами круга первых лиц исторической драмы, вне известной номенклатуры великих исторических личностей, играющих главные роли и заполняющих собой пространство так называемой Большой истории. Но это, конечно, научная метафора[3], она имеет значимый эвристический потенциал, который не случайно оказался востребованным.

В этой связи интересна дефиниция «человека второго плана» как «личности незаурядной, но не претендующей на движущую роль в истории, не обгоняющей время, но, тем не менее, *как никто другой отражающей в делах и мыслях основные коллизии своей эпохи* (курсив мой — *Л.Р.*)»[4]. Именно

[1] *Levi G.* Les usages de la biographie // Annales E.S.C. 1989. A. 44. № 6. P. 1325–336.

[2] Достаточно напомнить ставшие уже классическими книги Натали Земон Дэвис о Мартене Герре (*Davis N.Z.* The Return of Martin Guerre. Harmondsworth, 1985), Даниэля Роша о стекольщике Менетра (*Roche D.* Journal de ma vie. Jacques-Louis Menetra, companion vitrier au 18e siecle. Paris, 1982), Алана Макфарлейна о священнике Ральфе Джосселине (Macfarlane A. The Family Life of Ralph Josselin, a Seventeenth-Century Clergyman. An Essay in Historical Anthropology. Cambridge, 1970) и многие другие.

[3] О роли метафор в историческом познании см., в частности, широко известные работы Войцеха Вжозека: *Вжозек в.* Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической науки» // Одиссей. Человек в истории. 1991. С. 60–74; *Он же.* Метафора как эпистемологическая категория (соображения по поводу дефиниции) // Одиссей. Человек в истории. 1994. С. 257–264.

[4] *Кореневский А.В.* Неукротимый ересиарх (штрихи к портрету Н.С. Ильина // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 80. Чаще всего дефиниции строятся «от противного»: люди второго ряда — это те, которые не вписываются в понятие «людей первого ряда»; они «далеко не всегда являются самыми заметными фигурами общественной жизни, далеко не всегда они занимают первые места среди политической элиты, пользуются признанием и авторитетом в обществе», человек второго плана «не относится к числу людей, с чьим именем связаны глобальные изменения» в жизни общества и государства, но тем не менее является «немаловажной фигурой», «оказывая незримое, но, в то же время, значительное влияние на

такой смысл, независимо от формы его выражения, обнаруживается в концептуальной базе целого ряда историко-биографических исследований подобного рода[1].

Типологические признаки «человека второго плана» нередко формулируются ситуативно или в зависимости от контекста, в который биограф помещает и рассматривает своего героя: этот контекст может быть общественно-политическим, интеллектуальным, повседневным и т.д. Недостаточное внимание к этой проблеме может привести к неоправданной экстраполяции частного признака на всю совокупность. Ситуативно, например, такое обобщение: «Люди второго плана не стремятся к лидерству, однако на их плечах стоят “исторические личности” и великие исторические свершения»[2]. Превращение в политического лидера и, соответственно, переход на «первый план», как правило, подразумевает такое стремление, а вот обратный результат может определяться вовсе не отсутствием стремления к лидерству, а сугубо внешними обстоятельствами, включая как устойчивые структуры и основные условия деятельности, так и фактор случайности. Что касается выбора того или иного контекста для интерпретации (между прочим, этот выбор исследователя вовсе не должен непременно совпадать с основной или же наиболее успешной сферой деятельности его персонажа), то в соответствии с ним нередко строятся одномерные образы «человека политического», «человека рационального» и т.п., при этом все или почти все «непрофильные» измерения остаются в тени.

Биографии историков занимают достойное место в зарубежной и в отечественной историографии: в последнее десятилетие появилось немало книг,

общественно-политическую жизнь страны» (*Крот М.Н.* Князь В.П. Мещерский — консервативный политик и общественный деятель // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 89–90, 99).

[1] Вот, например, красноречивое заключение (звучащее как эпитафия) к одному из них: «Таким был Франческо Соранцо, венецианский патриций, служивший своему государству на дипломатическом поприще. Можно сказать, что Франческо Соранцо — это обыкновенный *нобиль*, шагающий, как и все представители патрицианского сословия по служебной лестнице, добросовестно и профессионально выполняющий свой гражданский долг, вносящий посильную лепту в дело процветания Светлейшей, что он своего рода маленькая частица огромного механизма венецианского государства. А можно сказать, что Франческо Соранцо — это *обыкновенный* нобиль, который своей обыкновенностью, типичностью как раз и представляет необычайный интерес как человек XVI века». *Третьякова М.В.* Франческо Соранцо — венецианский патриций XVI века // Человек XVI столетия. М., 2000. С. 45. См. также очень близкую по смыслу (и даже по словесной форме) характеристику Томаса Бодлея (1544–1613), основателя знаменитой Бодлеянской библиотеки в Оксфорде: он «воплощал в себе тип блестящего елизаветинца» (*Дмитриева О.В.* «Полезный член государства»: Томас Бодлей на государственной службе и вне ее // Человек XVII столетия. М., 2005. В 2-х частях. Часть 1. С. 88.).

[2] *Шандулин Е.В.* П.А. Гейден. Штрихи к политическому портрету // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 89.

не говоря уже о многочисленных очерках[1]. Они могут иметь как функциональное (в контексте историко-историографического анализа), так и самостоятельное значение. Но в любом случае разграничение «первого» и «второго плана» (если эта задача вообще ставится) создает биографам немалые трудности и оказывается достаточно противоречивым. С одной стороны, в качестве «историка второго плана» берется Герман Аубин, который «не принадлежит к числу самых знаменитых историков Германии XX века»[2], а с другой в том же качестве выступает один из «отцов-основателей» и несомненных лидеров «русской исторической школы» М.М. Ковалевский[3]. Эта противоречивость лишь отчасти может быть объяснена подвижностью «шкалы величин» в контекстах различных национальных научных школ[4].

Как справедливо отметил А.В. Кореневский, «опознание исторического персонажа как "человека второго плана" зависит от выбора угла зрения и того социокультурного контекста, в соотнесении с которым осмысливается историческая роль данной конкретной личности»[5]. Важно подчеркнуть, что этот выбор угла зрения не должен оставаться, если можно так выразиться, одноразовым. Фигура исторического персонажа станет рельефной и даже объемной, только будучи рассмотрена «крупным планом» в различных перспективах и проекциях, в представлениях и оценках единомышленников и противников, в ряду современников и в сменяющих друг друга пространствах социальной и интеллектуальной жизни разных эпох, включая, разумеется, актуальную

[1] Здесь было бы уместно упомянуть первый коллективный труд, специально посвященный биографиям крупных историков XX столетия: Диалог со временем: историки в меняющемся мире / Под ред. Л.П. Репиной. М., 1996. См. также: *Каганович Б.С.* Русские медиевисты первой половины XX века. СПб., 2007.

[2] *Савчук В.С.* Герман Аубин и его место в исторической науке Германии XX века // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 133.

[3] *Апрыщенко В.Ю.* «Надо любить Бога, свободу, равенство... и прогресс»: к портрету М.М. Ковалевского // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 99–120.

[4] *Яковкина Е.В.* Флориан Знанецкий (1882–1958): от студента Варшавского университета до президента Американского социологического общества // Человек второго плана в истории. Вып. 3. С. 153. В биографическом очерке об одном из крупнейших представителей эрудитской историографии Франции XVI века Этьене Пакье И.Я. Эльфонд писала: «...Он как бы был затенен (в глазах исследователей — *Л.Р.*) своими блистательными и более энергичными современниками, хотя и являлся признанным историком-эрудитом... Современники высоко ценили Пакье как эрудированнейшего гуманиста: он был *одним из* (курсив мой — *Л.Р.*) ведущих специалистов в сфере права, крупнейшим историком, писателем и поэтом и одним из наиболее пылких защитников французского языка, ...его личность привлекала внимание современников, а творчество было широко известно» (*Эльфонд И.Я.* Кабинетный ученый и бури гражданских войн // Человек XVI столетия. М., 2000. С. 72–73). Ключевые слова здесь, конечно, «один из...»: именно они, несмотря на эпитеты в превосходной степени, отводят героя биографического повествования на второй план.

[5] *Кореневский А.В.* Три Тойнби // Человек второго плана в истории. Вып. 4. С. 84.

культурную ситуацию самого исследователя. Результаты такой экспериментальной «смены рамки» не замедлят сказаться.

Особый интерес вызывает попытка в более общем виде определить место «историка второго плана» в структуре профессионального сообщества, опираясь не на его творческие достижения, «объективная оценка которых, как правило, осуществляется в ходе дальнейшего развития научного знания», а посредством комплексного анализа «социокультурной ситуации, в рамках которой осуществлялась его практическая деятельность»[1]. С этим можно, в принципе, согласиться, но лишь в том случае, если исследователя интересует только синхрония, так называемый *план современности*. А с точки зрения диахронии, смены ситуаций в историческом времени, т.е. в контексте *истории* историографии? Здесь на первый план выходит проблема исторической перспективы и специфики восприятия предшественников (и в целом прошлого науки) из той точки на шкале времен, которая принимается за *настоящее*. Для истории науки этот аспект имеет самостоятельное значение. Изучая какой-либо конкретный период в истории науки, нам важно знать не только то, что было «там и тогда», но и то, как *именно в то время* рассматриваемая отрасль знания выстраивала свою генеалогию, как *именно тогда* оценивалось то, что было сделано предшественниками, и как виделась их персональная иерархия в *динамическом* плане. Что касается социальной истории науки, то она, безусловно, предполагает характеристику «участия отдельного исследователя в научном дискурсе, выяснение реального соотношения избранной им проблематики и магистрального направления в рамках современной ему системы историописания, а также определение уровня общественного восприятия его творческих достижений»[2].

В интереснейшем и обстоятельном очерке В.С. Савчука о Рудольфе Кёчке эта проблема сопряжения двух перспектив, казалось бы, снимается самой спецификой конкретного биографического материала: «Громкой славой его имя не было окружено ни при жизни историка, ни после его кончины, так что он всегда оставался ученым "второго плана"»[3]. Но умело выстроенная автором траектория творческой жизни своего персонажа — на самых разных ее отрезках — настоятельно возвращает читателя к необходимости последовательного сопоставления результатов деятельности ученого в разных интеллектуальных контекстах, включая предшествующее этой деятельности состояние науки, *современность* — с позиции героя биографии, актуальность — с точки зрения самого биографа, а также видение им перспектив дальнейшего развития науки.

[1] *Трапш Н.А.* «Историк второго плана» в структуре персональной историографической иерархии (на примере развития дореволюционной исторической науки) // Человек второго плана в истории. Вып. 1. С. 14–15.

[2] Там же. С. 15.

[3] *Савчук В.С.* Немецкий историк Рудольф Кёчке: долгий путь к признанию // Человек второго плана в истории. Вып. 2. Ростов-на-Дону, 2005. С. 297–321. (С. 298).

Оказавшийся столь перспективным проект постоянно развивается. От конференции к конференции (а они проводятся ежегодно и привлекают все новых исследователей), от сборника к сборнику, расширяется и становится все более разнообразной его проблематика, о чем свидетельствуют как постоянные, так и новые рубрики одноименного периодического издания. В этом смысле знаменательно появление таких тематических блоков, как «Теоретические аспекты персональной истории», «Историки об историках», «Политика: между рампой и кулисами», «"Обреченные" на упоминание», «Чужие роли», «Человек-казус». В то же время содержательно обогащаются и вызывают неизменный интерес ставшие традиционными рубрики «Почему не первый?», «Из "вторых" — в "первые"», «В тени великих», «"Серые кардиналы", реальные и мнимые», «Женские судьбы в "мужской" истории», «Герои местного значения», «Историописатели второго плана».

Размышляя над своими оригинальными материалами и «героями» второго и третьего ряда, авторы ставят отнюдь не третьеразрядные историко-теоретические вопросы и находят нетривиальные ответы. Познавательный потенциал проекта далеко не исчерпан. Он, к тому же, поддерживается устойчивой ориентацией на личностное восприятие «новой истории XXI века», обращенной к широкой публике и обладающей мощным социальным зарядом. И в этой социально-исторической и историографической ситуации даже герои «первого плана», возвращаясь на авансцену, меняют свой «профиль»: историки все больше видят в них, в их образах и исторических репутациях воплощение культурных кодов, идеальных поведенческих моделей и даже «места памяти»[1]. Вот почему, возвращаясь к более общим проблемам «новой биографической истории», было бы целесообразно для оптимального использования ее возможностей, сосредоточить внимание как на интерпретации поступков, всех форм деятельности человека, так и на их рецепции. Центральное место следовало бы, на мой взгляд, отвести ситуациям выбора, принятия решений, в которых наиболее ярко проявляется как свобода и креативность индивида, так и давление материальных условий, общественных норм, правил и стереотипов, рутинных поведенческих моделей, шаблонов мышления, груз предрассудков, известных прецедентов, накопленного жизненного опыта и сети межличностных связей, растраченных сил, несбывшихся желаний и надежд. Интерпретация подобных ситуаций выбора требует сложной цепочки рассуждений, учитывающих и внешние ограничения, и рациональную стратегию индивида, и его эмоциональную составляющую, и другие — более скрытые, не эксплицированные и не до конца осознанные цели.

[1] См.: Heroic Reputations and Exemplary Lives / Ed. by G. Cubitt and A. Warren. Manchester, 2000; *Worden B.* Roundhead Reputations: The English Civil Wars and the Passions of Posterity. L.; N.Y., 2001; *Lambert A.* Nelson: Britannia's God of War. L., 2004; *Jones M.* What Should Historians Do With Heroes? Reflections on Nineteenth- and Twentieth-Century Britain // History Compass. 2007. Vol. 5. N. 2. P. 439–454; etc.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Н. А. МИНИНКОВ, А. В. КОРЕНЕВСКИЙ, А. Е. ИВАНЕСКО
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)

ЧЕЛОВЕК «ВТОРОГО ПЛАНА» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Иной бесполезен в первом ряду,
но во втором блистает.
Вольтер

Пять лет, прошедших с начала реализации проекта «Человек второго плана в истории», дают основания для подведения предварительных итогов и поиска путей дальнейшего развития проекта, что, в свою очередь, побуждает к рефлексии и ретроспекции. Обращаясь к предыстории проекта, можно с уверенностью сказать, что зарождение данной идеи было закономерным откликом на те тенденции, которые стали определяющими в развитии исторической науки рубежа минувшего и нынешнего столетий. «Посттравматическое» состояние профессионального цеха историков, пережившего «методологический шок» вследствие крушения позитивистских и марксистских объяснительных моделей, характеризовалось процессом коренной трансформации исследовательской практики и массового профессионального сознания. Преодолевая каузальность и утрированный социологизм марксистской историографии, обновляющаяся история все отчетливей манифестировала себя как науку «прежде всего о конкретном и индивидуальном»[1]. Отчасти историческая антропология и, особенно, микроистория в конце XX в. не только обращались к человеческому измерению прошлого, не просто восстанавливали онтологический статус «человека в истории», но возвращали в пространство научной рефлексии *конкретного индивидуума* — как самостоятельный (или даже самодостаточный) объект познавательного интереса: «на первом плане нашего поиска — конкретный человек, его индивидуальное поведение, его собственный выбор. Мы исследуем эти сюжеты отнюдь не только потому, что хотим

[1] Гуревич А. Я. Теория формаций и реальность истории // Культура и общество в Средние века — раннее Новое время. Методика и методология современных историко-антропологических и социокультурных исследований / Отв. ред. А. Л. Ястребицкая. М., 1998. С. 23.

знать, насколько *типичны* (или нетипичны) поступки этого человека, но ради понимания его как такового, ибо он интересует нас сам по себе»[1]

Разумеется, говорить о «биографизме» как о *новой* тенденции в развитии исторической науки на рубеже XX — XXI веков, можно лишь с некоторой долей условности. Собственно, понимание истории как повествования о res gestae, о человеческих деяниях, интерес к героической личности находятся у истоков европейского историописания[2]. Неслучайно существует понимание биографии как модифицированного «мифа о герое»[3].

Биографическая традиция как литературно-историческая форма осмысления личного бытия уходит корнями в эпоху древнегреческой классики[4] и является неотъемлемой частью европейского литературного процесса и европейской историографии. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, агиографические сочинения эпохи средневековья, биографии венценосных особ и видных государственных деятелей в просветительской традиции, психоаналитические эссе о выдающихся личностях и «Стратегии гениев» Р. Дилтса — вот далеко не полный перечень инкарнаций биографического жанра. Тем не менее, в 60–70-х гг. XX в. историческая биография занимала маргинальные позиции не только в социальной истории, но и в исторической антропологии, ориентированной в значительной мере на постижение «человека в контексте эпохи», «коллективных автоматизмов в ментальной сфере», «социальных навыков мышления». Однако к концу XX в. она, оснастившись микроисторическим «исследовательским инструментарием», вышла из положения «младшего» историографического жанра и заявила о себе как о самостоятельном научном направлении «персональной истории»: «...общая установка этого направления состоит в том, что реконструкция личной жизни и неповторимых судеб отдельных исторических индивидов, изучение формирования и развития их внутреннего мира, всех сохранившихся "следов" их деятельности рассматривается *одновременно* и как главная цель исследования, и как адекватное средство познания того исторического социума, в котором они жили и творили, радовались и страдали, мыслили и действовали»[5].

[1] *Бессмертный Ю.Л.* Метод // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 2000. С. 23.

[2] Достаточно вспомнить обозначенную «отцом истории» цель своего труда: «... чтобы *прошедшие события* с течением времени не пришли в забвение и *великие и удивления достойные деяния* как эллинов, так и варваров не остались в безвестности...» — Геродот. История / Пер. и прим. Г.А. Стратановского. Л., 1972. С. 11.

[3] *Кизюков С.В.* Типы и структура исторического повествования. М., 2000. С. 130–131.

[4] *Аверинцев С.С.* Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.

[5] *Репина Л.П.* Историческая биография и «новая биографическая история» // Диалог со временем. Вып. 5. Историческая биография и персональная история. М., 2001. С. 8.

Помимо данного — «социального» — направления в новой биографической истории в силу различных исследовательских стратегий и целевых установок оформилась и «экзистенциальная» персональная история, которая «... принципиально не рисует глобальных картин. Устройство социума и действующие в нем законы не относятся к сфере ее познавательной активности... историк, практикующий в рамках этой микроисторической платформы, пытается... докопаться до глубинной и, если угодно, духовной сущности индивида»[1]

Признавая безусловное значение личностно-психологического аспекта в анализе прошлого, трудно согласиться с постулируемой представителями «экзистенциального» направления полной автономией «духовной сущности личности» от социального и культурного контекста. Согласимся с мнением оппонентов «экзистенциальной платформы»: «Именно люди, а не общество, порождают структуры и инициируют изменения, но их креативная деятельность и инициатива являются социально вынужденными. Согласно онтологии Ллойда "люди имеют действенную силу, а структуры — обуславливающую"... »[2]. Таким образом, вряд ли правомерно игнорировать взаимосвязь и взаимозависимость между внутренним миром индивида и общественной практикой, его «внешней», «карьерной» и «экзистенциальной» биографией. Иными словами и предельно кратко: становясь «вполне экзистенциальной», биография перестает быть собственно исторической. Наиболее результативной исследовательской стратегией в пространстве персональной истории следует признать «двухмерный» анализ, органически сочетающий два подхода, два видения, сфокусированных как на самом индивиде, его жизненной траектории и внутреннем мире, так и на окружающей его социальной реальности[3].

Недооценка значения социокультурного контекста может привести (и часто приводит) к еще одной весьма существенной аберрации в понимании объекта и предмета персональной истории. Как заявляют сторонники «экзистенциального» подхода, для историка-персоналиста «годится биография любого калибра: от Наполеона Бонапарта до третьестепенного польского велосипедиста, лишь бы источники давали возможность по-настоящему глубоко заглянуть

[1] *Володихин Д.М.* Две ветви микроисторической платформы в отечественной историографии // Диалог со временем. Вып. 8. Персональная история и интеллектуальная биография. М., 2002. С. 446.

[2] *Репина Л.П.* Персональные тексты и «новая биографическая история»: от индивидуального опыта к социальной памяти // Сотворение Истории. Человек — Память — Текст. Казань, 2001. С. 348.

[3] «...С одной стороны, исследование общественных и групповых стереотипов и структур, а с другой — своеобразия каждого доступного... анализу изолированного казуса и фигурирующего в нем индивида... важно принять во внимание и то, что на него воздействуют большие структуры, охватывающие многих участников данного социума, и то, что ни одна из таких структур не «поглощает» действующих в них индивидов полностью, оставляя место для проявления ими субъективного, частного, личного» — *Бессмертный Ю.Л.* Метод // Человек в мире чувств... С. 20.

в его внутренний мир»[1]. Однако это самое «лишь бы» уже резко ограничивает круг фигур и сюжетов, к которым в полной мере приложим историко-биографический инструментарий. Поскольку «основным исследовательским объектом персональной истории являются персональные тексты»[2], то совершенно очевидно, что чем меньше таковых донесло до нас время, тем меньше шансов восстановить неповторимый облик личности, тем слабее проявляются ее индивидуальные черты: «исторический персонаж, лишенный своего голоса (и визуального образа), выступает как силуэт на фоне эпохи, больше проявляя ее характер, чем свой собственный»[3].

В то же время, чем значительнее «калибр» личности (социальный статус индивида и/или его интеллектуальный уровень), тем больше вероятность, что историк получит в свое распоряжение персональные тексты, позволяющие воссоздать биографию данной личности с должной полнотой и во всем ее своеобразии.

В этом — одна из главных причин тяготения не только историко-биографического жанра, но и исторической науки в целом к жизнеописаниям сильных мира сего (либо, наоборот, ниспровергателей оного), сохраняющегося вопреки всем — со времен Вольтера — призывам «писать историю людей, а не королей». Другой, не менее значимый мотив вольного или невольного редуцирования истории до деяний правителей и гениев, лежащий в основе бесчисленных модификаций теории «героя и толпы», заключается в том, что историческая фигура масштаба «выдающегося деятеля» — это, по определению, яркая индивидуальность. Экстраординарность личностных качеств такого человека завораживает современников и потомков: невольно создается впечатление его *исключительности*[4], позволяющей действовать, не сообразуясь с обстоятельствами, а преодолевая их, не подчиняясь исторической необходимости, а навязывая истории свою волю. Такая аберрация исторического зрения препятствует не только целостному видению, но и *пониманию* прошлого. А это, в свою очередь, дает повод для нередко высказываемых сомнений в научном статусе истории на том основании, что наука не может строить обобщений на исключительном, а значит — *нерепрезентативном* эмпирическом материале. Таким образом, далеко не всякий «третьеразрядный велосипедист» может попасть в фокус внимания историка-персоналиста, но, в то же время, и биографии «наполеонов» по причине, обозначенной выше, далеко не всегда представляют собой оптимальный исследовательский объект персональной истории. Тем не менее, и «наполеоны», и «третьеразрядные велосипедисты» — это крайние позиции, однако между авансценой истории и ее фоном, «массовкой» пролегает обширное пространство, к которому приложимо театрально-кинематографическое понятие «второй план». Если «главный герой» — это тот, кому посвящено повествование или действо, вокруг кого разворачивается сюжет, то «роли второго плана» этот сюжет формируют.

[1] *Володихин Д.М.* Экзистенциальный биографизм в истории // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 1999. № 24. С. 259.

[2] *Репина Л.П.* Вместо Предисловия: личность и общество, или История в биографиях // История через личность: историческая биография сегодня. М., 2005. С. 8.

[3] *Зверева В.В., Парамонова М.Ю., Репина Л.П.* История исторического знания: Пособие для вузов. М., 2004.С. 266.

[4] В этом смысле симптоматично суждение Арнольда Дж. Тойнби о Петре Великом как о «lusus Naturae» — причуде Природы — *Toynbee A.J.* A Study of History. London; New York; Toronto, 1948. Vol. 3. P. 279.

Хорошо известно, что «короля играет свита», и любой герой первой величины, предстающий перед современниками и потомками в лучах софитов, действует в окружении лиц, не удостаивающихся такого же внимания, но составляющих неотъемлемую часть — как его биографии, так и «биографии» общества. Ключевое значение «фигур второго плана» и в жизненной самореализации «выдающегося исторического деятеля», и в его самопознании, и в осмыслении потомками деяний героя очень точно передается англоязычным кинематографическим термином «supporting role» — аналогом понятия «роль второго плана».

Итак, концепт «человек второго плана» стал закономерным порождением «антропологизации» исторической науки и полемики о предмете и методе персональной истории, соотношении в ней «социального» и «экзистенциального», совместимости микро- и макроисторического анализа. При всей метафоричности данного определения мы видим в человеке «второго плана» некоторую личностную и социальную реальность. Это акторы, действующие лица истории, которых современники сочли достойными упоминания в анналах, но которые не воспринимались в качестве «творцов истории»; которые в силу сознательного выбора или суммы обстоятельств не оказались на исторической авансцене, но сохранили свой персональный «голос» (наличие эго-документов) и / или свой визуальный образ. В этом их принципиальное отличие от лиц «третьего плана» (исторического фона, единиц социального ландшафта) — безымянных, вербально и визуально не представленных как индивидуумы. В отношении определения «выдающейся личности» (персоны «первого плана») вполне подходит классическая дефиниция: «В истории человечества встречаются такие личности, которые... проходят затем... через всю доступную нашему взору смену эпох и поколений... Речь может идти о политических и государственных деятелях, о представителях науки, культуры, искусства... Условие лишь одно: ощутимый вклад, внесенный в развитие человеческого общества, его материального и духовного бытия»[1].

Безусловно, это не попытка однозначного определения «калибра» или «масштаба» исторической личности, но признание переменного характера данной величины. В конечном итоге «человеком второго плана» могут быть представлены и венценосные особы и видные полководцы и «отцы-основатели» национальных сообществ — но в таком ракурсе, в таком временном диапазоне, в рамках такого способа включенности в систему межличностных коммуникаций или «большую историю», в которых они не были на первых ролях.

[1] *Утченко С.Л.* Цицерон и его время. М., 1973. С. 3.

Эвристический потенциал такой «исследовательской оптики», как нам представляется, обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, «человек второго плана» как объект познавательного интереса требует не только выбора и обоснования соответствующего ракурса, но также постоянного соотнесения с социокультурной средой (в контексте которой только и существуют эти «планы») и анализа ее динамики. Таким образом, снимается проблема трудно верифицируемого «несоциального биографизма». Во-вторых, «человек второго плана», который занимает стратегически важный плацдарм между «безмолвствующим большинством» и «выдающимися личностями», интересен как своего рода лабораторный образец. В отличие от социального ландшафта эпохи, он индивидуален, конкретен и персонально представлен; в сравнении с фигурами «первой величины», экстраординарность личных качеств которых создавала у современников и потомков впечатление их исключительности, он в большей мере интегрирован в социальный контекст и в этом смысле — типичен. То есть «человек второго плана» — это феномен, позволяющий исследовать поле пересечения личностного и массового, групповых стереотипов и индивидуального сознания, внутренних мотивов поведения и внешних факторов, человеческой и социальной сущности эпохи.

Итак, обращение к концепту «человека второго плана» задумывалось нами как способ фокусирования исследовательского внимания на пограничье между биографиями «творцов истории» и едва различимыми жизненными траекториями тех, кто составлял ее социокультурный фон, «молчаливое большинство».

В то же время, данный концепт обращает исследователя к проблеме «контекста узнавания» и эвристическим возможностям приема «смены рамки». Иными словами, речь идет о той ситуации, когда опознание «калибра» исторического персонажа зависит от выбора угла зрения и того социокультурного контекста, в соотнесении с которым осмысливается историческая роль рассматриваемой личности. Этот подход позволяет избежать абсолютизации оценок и вердиктов, выносимых историческим деятелям, т. к. в зависимости от временн го и пространственного контекста один и тот же человек может предстать и фигурой первой величины, и второстепенным персонажем.

Но по мере реализации проекта у избранного нами концепта все более отчетливо обнаруживалось еще одно немаловажное свойство: чем пристальней всматривались мы в образ «человека второго плана», тем очевиднее становилась его внутренняя неоднородность. Благодаря усилиям участников проекта, привносившим в него все новые и новые биографические сюжеты, на наших глазах происходила бифуркация изначально очерченного проблемного поля: подобно борхесовскому «саду расходящихся тропок», оно конкретизировалось во множестве разнообразных проявлений и ситуаций. Это стало побудительным мотивом к введению уже во втором выпуске сборника «Человек второго плана в истории» рубрикации, что позволило заострить

внимание на различных конкретно-исторических модусах рассматриваемого феномена и множественности его трактовок.

Определяя самые общие критерии, позволяющие опознать в калейдоскопе исторических персонажей «человека второго плана», мы исходили из того, что это — фигура такого калибра, которая *как минимум* выделяется из толпы, но, в то же время, «не дотягивает» — по объективным результатам своей деятельности, либо в восприятии современников и/или потомков — до масштаба «творца истории» и «вершителя судеб». По крайней мере, рядом с таким персонажем всегда присутствует (в реальности или памяти) некто, сравнение с кем — не в его пользу, в чьей тени — по собственному ли выбору, волею обстоятельств или по мнению окружающих — он пребывает.

Таким образом, «затененность» оказывается наиболее общей сопутствующей метафорой, позволяющей заострить внимание как на внешних признаках «человека второго плана», так и на эвристических возможностях применяемой в данном случае исследовательской оптики. Подобно тому, как художник игрой света и тени может фокусировать внимание зрителя на второстепенных объектах, выводя их на первый план (вспомним полотна Рембрандта и в первую очередь — «Ночной дозор»), так и прием смены рамки дает возможность увидеть исторический персонаж под иным углом зрения, в ином контексте и масштабе.

Итак, для наиболее типичной ситуации, в которой исторический персонаж может быть опознан в качестве «человека второго плана», нами была предложена формулировка «В тени великих», и неслучайно именно так назван сборник, суммирующий итоги пяти лет реализации проекта.

Однако уже в первом выпуске, в статье А.Е. Кравца о «вечном кандидате в президенты» Мишеле Рокаре проблема «затененности» исторического персонажа была полемически заострена постановкой вопроса «Почему не первый?»[1]. В самом деле, далеко не всегда «вторичность» того или иного политика, общественного деятеля, мыслителя или творца была очевидной для современников. Более того, их могли считать вполне достойными первых ролей на подмостках истории, но в силу разных обстоятельств — порою совершенно необъяснимых для современников, а подчас остающихся таковыми и для историков — эти люди не смогли оправдать таких ожиданий. Обоснованность и продуктивность такого ракурса побудила к выделению уже в следующем выпуске сборника особой рубрики «Почему не первый?», объединившей биографические этюды о людях, в чьей судьбе, казалось, был шанс стать фигурами первой величины, но он остался нереализованным.

Если данный тематический блок отражает наиболее типичную социокультурную ситуацию, в которой опознается «человек второго плана», то другая рубрика была посвящена наиболее узнаваемому и даже хрестоматийному

[1] *Кравец А.Е.* Мишель Рокар: почему не первый? // Человек второго плана в истории / Под ред. Н.А. Мининкова. Ростов-на-Дону, 2004. Вып. 1. С. 175–185.

типажу этой категории исторических персонажей — «серым кардиналам». В ней объектом анализа стали биографии деятелей второго политического плана, обладавших незаурядным личностным потенциалом, но бывших по разным причинам не на виду и оказывавших влияние — порой весьма существенное — на официальную власть как бы из-за кулисы. Это позволило выделить и описать два наиболее характерных модуса политической роли «серого кардинала»: «чиновник по особым поручениям» («клиент» при влиятельном патроне, обеспечивающий собственный карьерный рост и благосостояние в связке с хозяином и через него оказывающий влияние на общество)[1] и «теневой лидер»– политик-конфидент, призванный рационализировать иррациональную по своей природе волю правителя-харизматика[2].

Дальнейший анализ биографий политиков второго плана показал, что далеко не всех из них можно отнести к «серым кардиналам». Была выявлена особая категория исторических персонажей, которые, никогда не находились на политической авансцене, но в то же время, являясь по роду своей деятельности и личностным качествам публичными фигурами, не были и в «закулисье». Вывод о том, что подобные персонажи не являются единичными исключениями из общего правила, а играют особую, именно им присущую роль в политическом мире, побудил выделить отдельную рубрику «Политика: между рампой и кулисами».

Еще одна конкретно-историческая ипостась «человека второго плана», выявленная и описанная в процессе реализации нашего проекта,–«герои местного значения» — обусловлена стратификацией социально-политических структур. Это те исторические фигуры, которые волею судеб выдвинулись на заметные роли в условиях, сложившихся на региональном уровне. Но в более широком контексте статус таких персон меняется: вне локального контекста они оказываются на втором плане[3].

Еще раз заметим: проследить трансформацию «масштаба» личности в зависимости от избираемой исследователем системы координат — одна из наиболее интересных задач и потенциально плодотворных стратегий. Причем сами эти системы координат могут быть самыми разными. Если в рубрике «Герои местного значения» они — пространственные, то в другом тематическом блоке –«Женские судьбы в “мужской” истории» — гендерные. Данная рубрика объединила биографии женщин, занявших свое место в анналах истории, отличавшихся яркими чертами личности и характера и в то же

[1] *Бражкина А.В.* Почти скандальная смерть «почти великого человека» // Человек второго плана в истории / Под ред. Н.А. Мининкова. Ростов-на-Дону, 2005. Вып. 2. С. 136–158.

[2] *Гиренко Ю.А.* Теневые лидеры Новой русской революции // Там же. С. 158–173.

[3] *Апрыщенко В.Ю.* Ивен Алансон Камерон и его потомки: обычные вожди необычного клана // Человек второго плана в истории / Под ред. Н.А. Мининкова. Ростов-на-Дону, 2005. Вып. 2. С. 216–232.

время, в силу разных обстоятельств, не имевших возможности сыграть первостепенную по своему значению историческую роль. В жизни им были навязаны «мужские» правила игры, и им пришлось принять их и даже добиться определенного признания или, по крайней мере, известности. Однако претендовать на ведущее место в мужском сообществе героини вошедших в сборник статей не могли, да и, как правило, не стремились.

С самого начала реализации проекта в центре исследовательского внимания его участников находились личности самих историков. Поэтому уже во втором выпуске сборника был сформирован тематический блок «Историописатели второго плана», объединивший сюжеты, находящиеся на пересечении историографического и биографического жанров. В них не только раскрывается богатство мысли героев очерков и осмысливается их место в развитии исторического знания, но и анализируются хитросплетения жизненного пути самих писателей, мемуаристов и историков.

Плодом долгих дискуссий между участниками проекта стало появление рубрики «Коллективный герой второго плана». Хотя изначально проблемное поле проекта определялось как пространство между «творцами» истории и ее «молчаливым большинством», все-таки было очевидно тяготение большинства авторов к верхней границе этого диапазона. Разумеется, причина этой тенденции — прямая корреляция между значимостью личности и количеством сопутствующих ей персональных текстов — объективна и неизбежна. И тем не менее, ощущалась потребность в том, чтобы если уж и не устранить, то хотя бы минимизировать данную диспропорцию в освоении проблемного поля проекта. Среди его участников активно обсуждался вопрос: насколько применимы подходы и методы персональной истории к жизненным траекториям персонажей, занимающих промежуточное положение между фигурами «второго плана» и безымянной «массой». С одной стороны, они известны нам по именам и время донесло до нас их персональный голос, пусть он и не обладает той силой и узнаваемостью, которая позволяет написать полноценную биографию. С другой стороны, в том, что мы знаем об этом человеке, гораздо больше типичного, чем неповторимого, он слишком на многих похож — таких же малоприметных героев или даже вовсе не-героев, занимающих ту же самую страту в исторической памяти. Но, может, как раз в этом и заключается специфика данной категории исторических персонажей? Быть может, их жизненные траектории следует рассматривать в совокупности, подобно тому, как уравнение с двумя и более неизвестными неразрешимо само по себе в силу его недостаточной информативности, но может быть решено *в системе уравнений*, методом перекрестной экстраполяции? Так проект обогатился целой галереей «коллективных героев» — от губных старост XVII в. до современных политтехнологов, — чьи жизненные траектории представляют собой интереснейший и многообещающий объект исследования на стыке персональной и социальной истории.

Впрочем, далеко не всегда тот или иной персонаж оказывается на обочине исторической памяти по причине своей «типичности» или даже заурядности. Нередко виной тому — безжалостное время, не пощадившее свидетельств о его жизни и деятельности. В таких случаях историку, как правило, остается довольствоваться предположениями, либо с прискорбием констатировать: «Ignoramus et ignorabimus!». И тем ценнее попытки максимально использовать информативные возможности сохранившихся источников и воссоздать жизненный путь этих людей, чей вклад в историю может оказаться куда значительнее, а личность — ярче, чем это принято считать. Подобные эксперименты не раз предпринимались авторами статей, публиковавшихся в сборниках «Человек второго плана в истории». В итоге, это побудило нас к выделению особой рубрики «Биографическая реконструкция» в целях привлечения исследовательского внимания к данному перспективному направлению персональной истории.

На старте проекта, обращаясь к его потенциальным участникам, мы подчеркивали, что нас интересует не только и даже не столько фактологическая сторона проблемы, сколько ее концептуальное осмысление; что при формировании сборников предпочтение будет отдаваться тем исследованиям, в которых найдут отражение не только реконструкция и анализ жизненных траекторий исторических личностей, но и видение автором сопряженных с этим теоретико-методологических проблем, его взгляд на само содержание концепта «человек второго плана в истории». Отклик на этот призыв дал обильную пищу для рефлексии, что привело к появлению новой рубрики «Теоретические аспекты персональной истории», ставшей одной из ключевых в структуре проекта, а потому — открывающей настоящий сборник.

Описанные выше типажи «человека второго плана», конкретно-исторические ситуации, а также исследовательские ракурсы, в которых возможно «опознание» данной категории исторических персонажей, не исчерпывают всего многообразия его модусов, выявленных и проанализированных участниками проекта в ходе его реализации. Кроме того, мы считаем, что эвристический потенциал концепта отнюдь не исчерпан, и продолжение проекта в рамках книжной серии издательства «Алетейя» будет способствовать открытию и осмыслению все новых и новых граней данного феномена.

Н. А. ТРАПШ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

«ИСТОРИК ВТОРОГО ПЛАНА» В СТРУКТУРЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ (НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ)

Одной из основных тенденций в развитии современной историографии является объективная дифференциация исследовательской деятельности, которая определяется сложившимся многообразием теоретических подходов и постоянным накоплением эмпирического материала в результате углубленного источниковедческого анализа. Эволюция научного знания привела к естественному оформлению историографической ситуации, в рамках которой по меткому выражению Л. Н. Гумилева «...историк ...итальянского Возрождения оказывается по отношению к истории Индии или Китая просто квалифицированным читателем»[1]. Подобное определение отчетливо применимо не только к исследованию мирового исторического процесса, но и к изучению предшествующего развития отечественного общества и государства. Действительно, многотомные труды по истории России, созданные В. Н. Татищевым, Н. М. Карамзиным, С. М. Соловьевым, В. О. Ключевским, стали своеобразным фирменным знаком XVIII — XIX вв., когда национальная историография утверждалась в качестве полноправной отрасли научного знания. Но в новых условиях XX столетия создание монографических исследований соответствующего уровня стало принципиально невозможным вследствие колоссального роста объемов эмпирического материала, накапливаемого новыми поколениями отечественных ученых. Аналогичное замечание можно отнести и к современным исследованиям в области методологии истории, в рамках которых уже не объединяются детальный анализ масштабных теоретических проблем и подробная характеристика важнейших методов практического источниковедения[2]. Объективным результатом указанных процессов явилось изменение внутренней стратификации исследовательского сообщества, выразившееся и в трансформации имманентного содержания такого явления как «историк второго плана». Следует также признать, что реальная оценка сложившейся историографической ситуации предполагает

[1] *Гумилев Л. Н.* В поисках вымышленного царства. СПб., 1994. С. 16.

[2] Примером указанного синтеза является известная работа А. С. Лаппо-Данилевского «Методология истории» (См.: *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. СПб., 1910–1913. Вып. 1–2).

последовательное изучение аналогичных явлений, связанных с предшествующим развитием отечественной науки.

Как представляется, анализ предложенной проблематики целесообразно провести в ретроспективной форме, позволяющей целенаправленно охарактеризовать отдельные этапы исторической эволюции рассматриваемого феномена. Необходимо выделить также и то существенное обстоятельство, что реальное место исследователя в персональной историографической иерархии определяется не его творческими достижениями, объективная оценка которых, как правило, осуществляется в ходе дальнейшего развития научного знания. Основным методом, позволяющим выявить положение историка в структуре исследовательского сообщества, является комплексный анализ социокультурной ситуации, в рамках которой осуществлялась его практическая деятельность. Он предполагает характеристику специфических особенностей участия отдельного исследователя в научном дискурсе, выяснение реального соотношения избранной им проблематики и магистрального направления в рамках современной ему системы историописания, а также определение уровня общественного восприятия его творческих достижений. Совместное решение указанных задач позволяет установить место конкретного автора в структуре исследовательского сообщества, сложившегося в рамках соответствующей исторической эпохи.

В рамках предшествующего развития отечественной историографии можно выделить несколько самостоятельных периодов, которые характеризуют качественную эволюцию рассматриваемого феномена. Зарождение российской исторической науки традиционно связывают с появлением летописных сводов, интегрировавших огромный эмпирический материал и являвшихся первым вариантом комплексного анализа предшествующих событий[1]. Однако применительно к данному периоду невозможно предложить непротиворечивую модель персональной историографической иерархии, что определяется двумя существенными обстоятельствами. С одной стороны, летописные произведения нередко создавались авторскими коллективами (в частности, Лаврентьевский свод 1377 года), для которых практически невозможно определить реальный вклад отдельных участников[2]. В определенном смысле принцип коллективного авторства может быть отнесен и к «Повести временных лет», известные редакции которой создавались различными представителями интеллектуальной элиты древнерусского общества[3].

[1] См.: *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века: Курс лекций. М., 1957; *Сахаров А.М.* Историография истории СССР. Досоветский период. М., 1978; *Шапиро А.Л.* Русская историография с древнейших времен до 1917 года. М., 1993.

[2] См.: *Лурье Я.С.* Общерусские летописи XIV — XV вв. Л., 1976; *Приселков М.Д.* История русского летописания XI — XV вв. М., 1940; *Муравьева Л.Л.* Летописание Северо-Восточной Руси конца XIII — начала XV века. М., 1983.

[3] См.: *Кузьмин А.Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977; *Насонов А.Н.* История русского летописания X — начала XVIII вв. М., 1969; *Алешковский М.Х.* Повесть временных лет. Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971.

Другая проблема заключается в том, что летописные своды создавались на основе тождественных методологических принципов, предусматривавших неоспоримый приоритет провиденциализма как идеологической доминанты и безусловное соблюдение устоявшихся правил оформления соответствующего текста[1]. В результате авторское начало в русских летописях может быть реконструировано только на уровне исследовательской гипотезы, который не позволяет отделить реальных творцов рассматриваемых памятников от созданных ими литературно-исторических произведений.

Однако в рассматриваемый период все же появились своеобразные прототипы «историков второго плана», причем соответствующие направления дифференциации исследовательского труда в значительной мере сохранились до настоящего времени. Синхронное развитие общерусского и местного летописания в XIV — XVI вв. привело к отчетливому разделению центральной и региональной историографии, очевидным результатом которого явилась социальная и профессиональная стратификация их представителей. Провинциальные летописцы стали для рассматриваемого периода «историками второго плана», деятельность которых находилась вне пристального внимания интеллектуальной элиты русского общества и заинтересованных государственных институтов. Аналогичное положение, по-видимому, занимали авторы так называемых неофициальных летописных сводов (в частности, Кирилло-Белозерского свода 70-х гг. XV в.), которые в силу различных причин стремились не привлекать особое внимание к собственной деятельности. В последнем случае своеобразный статус «историка второго плана» определялся уже не территориальным фактором, а внутренним характером его исследовательской практики, результаты которой в отдельных случаях были направлены против правящей элиты и государственных институтов.

В XVII в. в отечественной историографии происходят принципиальные изменения, связанные с постепенным прекращением официального летописания и появлением масштабных произведений новых жанров, посвященных конкретным историческим событиям или эпохам[2]. Указанные тенденции оформились в период Смутного времени, а затем получили дальнейшее развитие в связи с функционированием Записного приказа и появлением известных трудов И. Гизеля, А.И. Лызлова и Ф.А. Грибоедова. В рассматриваемую

[1] См.: *Пронштейн А.П.* Источниковедение в России. Эпоха феодализма. Ростов-на-Дону, 1989; *Лихачев Д.С.* О летописном периоде в русской историографии // ВИ. 1948. № 9; *Кузьмин А.Г.* Русские летописи как источник по истории Древней Руси. Рязань, 1969.

[2] См.: *Чистякова Е.В., Богданов А.П.* Да будет потомкам явлено. М., 1988; *Алпатов М.А.* Русская историческая мысль и Западная Европа XVII — первая четверть XVIII века. М., 1976; *Пушкарев Л.Н.* Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII века: Очерки истории. М., 1982.

эпоху творческая деятельность «историков второго плана» может ассоциироваться с сибирским летописанием, которое имело неофициальный характер и в содержательном контексте отличалось известным вольномыслием (в противоположность также созданным на периферии Пискаревскому и Бельскому летописцам). Как представляется, в переходный период продолжает действовать выявленная закономерность, согласно которой рассматриваемый историографический феномен может быть идентифицирован по двум важнейшим признакам: провинциальному происхождению и некоторой идеологической оппозиционности. Но если в предшествующие столетия гипотетический «историк второго плана» в большинстве случаев соответствовал одной из указанных принципиальных характеристик, то в XVII в. реальный его облик определяется их естественным сочетанием.

В первой четверти XVIII в. историческая наука была поставлена на службу государственным интересам, успешно выполняя функцию идеологического обоснования социально-экономических и политических преобразований. Вследствие указанного обстоятельства привеллегированное положение в системе персональной историографической иерархии заняли известные представители новой элиты Ф. Прокопович, П.П. Шафиров, Б.И. Куракин, в центре исследовательской деятельности которых оказалась фигура Петра I и его реформаторская деятельность[1]. Применительно к рассматриваемому периоду изменяется и объективное содержание понятия «историк второго плана», что определялось как естественными особенностями научного творчества, так и непосредственным воздействием сложного комплекса социально-политических факторов. Окончательное прекращение регионального летописания привело к фактическому исчезновению провинциальной историографии, представители которой занимали особое положение в исследуемой научной иерархии. Кроме того, в петровскую эпоху невозможно использовать критерий интеллектуальной оппозиционности для отчетливого выявления «историков второго плана», так как в рамках «регулярного государства» любое отступление от господствующих мировоззренческих стереотипов могло иметь необратимые последствия. В результате вакантное место в системе персональной историографической иерархии заняли два совершенно разных исследователя, творческая деятельность которых была посвящена комплексному изучению российской истории. Первый из них — секретарь русского посольства в Швеции А.И. Манкиев — использовал новые источниковедческие методы и принципы последующей интерпретации эмпирического материала, а также предложил оригинальную концепцию, характеризующую предшествующее развитие отечественной государственности[2]. Его современник — справщик московской

[1] См.: *Пештич С.Л.* Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч. 1; *Шапиро А.Л.* Русская историография с древнейших времен до 1917 года.

[2] См.: *Пештич С.Л.* Русская историография...; *Черепнин Л.В.* Русская историография до XIX века; Сахаров А.М. Историография истории СССР.

типографии, дьяк Ф. Поликарпов — напротив стремился работать на основе традиционных принципов, сформировавшихся в рамках историографической традиции XVII столетия[1]. Кроме того, он, вероятно, был скрытым противником петровских преобразований, а потому и не стремился к творческому выполнению полученной от царя задачи, связанной с написанием русской истории (с XVI столетия) в духе идеологического обоснования политической системы абсолютизма[2]. Указанных исследователей сближает то обстоятельство, что результаты их творческой деятельности не были востребованы в сложившейся социокультурной ситуации. Труд А.И. Манкиева «Ядро российской истории» был опубликован только в 1770 г., а работа Ф. Поликарпова вообще не была завершена из-за негативной оценки ее предварительных результатов со стороны Петра I[3]. Как представляется, с учетом объективных условий научного творчества данное обстоятельство позволяет отнести упомянутых авторов к числу «историков второго плана» и одновременно признать, что критерием для выделения подобной группы в первой четверти XVIII столетии становится уже не провинциальный статус или идеологическая оппозиционность, а реальная востребованность результатов исследовательской практики.

В период с 1725 по 1742 гг. правящая элита фактически утратила интерес к историографии как инструменту идеологического обоснования собственной деятельности, что нашло объективное отражение в политике Академии наук по отношению к отечественным ученым. В частности, В.Н. Татищев длительное время безуспешно стремился получить государственную поддержку для организации сбора и систематического изучения различных исторических источников, начало которым было положено в петровскую эпоху[4]. Более того, основоположник отечественной научной историографии оказался полноценным «историком второго ряда», так как его труды не удостоились прижизненной публикации, а их автор большую часть жизни провел в провинции, что в значительной мере определялось его оппозиционными политическими настроениями[5]. Как представляется, в рассматриваемый период в отечественной науке сложилась парадоксальная ситуация, характеризующаяся полным отсутствием персональной историографической иерархии. Ведущий ее представитель — В.Н. Татищев — постоянно находился на втором

[1] См.: Историография истории России до 1917 года / Под ред. М.Ю. Лачаевой. М., 2003. Т. 1.

[2] *Там же*. С. 92.

[3] *Там же*. Т. 1. С. 92.

[4] См.: *Кузьмин А.Г.* Татищев. М., 1987; *Юхт А.И.* Связи В.Н. Татищева с Академией Наук // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976; *Юхт А.И.* Татищев и Академия наук // ВИ. 1986. № 11; *Косвен М.О.* Из истории русской исторической науки XVIII века. Научно-организационная деятельность В.Н. Татищева. // История СССР. 1961. № 3.

[5] См.: *Кузьмин А.Г.* Татищев; *Юхт А.И.* Поборник новой России: Василий Никитич Татищев // Историки России. XVIII — начало XX века. М., 1996.

плане, а труды некоторых его современников вообще были утрачены для русской историографии (например, рукописные исторические сочинения, созданные в ближайшем окружении А.П. Волынского)[1]. Более того, даже близкий к придворным кругам Г.З. Байер не являлся «историком первого плана», так как его известные работы не были синхронно опубликованы на русском языке и обсуждались только в узких рамках научного сообщества[2].

С приходом к власти Елизаветы Петровны в развитии исторической науки наметились качественные изменения, формирование которых определялось непосредственным воздействием сложного комплекса социокультурных факторов. В рассматриваемый период увеличивается общественный интерес к проблемам российской истории, начинается активная деятельность Академии Наук, связанная с накоплением и публикацией нового источникового материала, приоритетным направлением исследовательской практики становится изучение проблемы генезиса отечественной государственности. В историографическом ракурсе олицетворением новой эпохи стала известная полемика вокруг «норманской теории», главными участниками которой были Г.Ф. Миллер и М.В. Ломоносов[3]. В контексте указанного обстоятельства следует признать, что они являлись «историками первого плана», а остальные уровни в персональной иерархии научного сообщества оставались вакантными вплоть до последней трети XVIII столетия.

В эпоху правления Екатерины II функционирование отечественной исторической науки происходило под непосредственным воздействием идеологических стереотипов европейского Просвещения, непосредственное восприятие которых определяло особенности практической деятельности отдельных исследователей[4]. Приоритетным направлением по-прежнему оставалось комплексное изучение российской истории, а потому первенствующие позиции в системе персональной историографической иерархии занимали М.М. Щербатов и И.Н. Болтин[5]. Указанное положение также определялось их близостью к придворным кругам, обеспечивающей беспрепятственный доступ к ар-

[1] См.: *Кузьмин А.Г.* Татищев.

[2] См.: Историография истории России... Т. 1; *Шанский Д.Н.* Запальчивая полемика: Герард Фридрих Миллер, Готлиб Зигфрид Байер и Михаил Васильевич Ломоносов // Историки России...

[3] См.: *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М., 1941; *Шанский Д.Н.* Запальчивая полемика... ; *Гаврилова Л.М., Шапиро А.Л.* М.В. Ломоносов в русской историографии XVIII века. // История СССР. 1986. № 6; *Каменский А.Б.* Академик Г.Ф. Миллер и русская историческая наука XVII века // История СССР. 1989. № 1.

[4] См.: *Алпатов М.А.* Русская историческая мысль и Западная Европа первая четверть XVIII — первая половина XIX века. М., 1978.

[5] См.: *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913; *Пештич С.Л.* Русская историография... М., 1965. Ч. 2; *Шанский Д.Н.* Что должно историку: Михаил Михайлович Щербатов и Иван Никитич Болтин // Историки России...

хивным материалам и широкие возможности для публикации создаваемых произведений[1]. Аналогичный статус в исследовательском сообществе до определенного времени имел и Н.И. Новиков, археографическая деятельность которого оказала значительное влияние на развитие отечественной исторической науки[2]. В рассматриваемый период в системе персональной историографической иерархии активно заполняются вакантные места «историков второго плана», которые могут быть разделены на две условные исследовательские группы. Формирование первой из них связано с последовательным возрождением региональной историографии, представленной, прежде всего, известными трудами В.В. Крестинина[3]. Провинциальные исследователи обратились к целенаправленному изучению местной истории, в рамках которой они уделяли особое внимание социально-экономической проблематике[4]. Подобная деятельность поддерживалась региональной торгово-промышленной элитой, рассматривавшей исторические сочинения в качестве своеобразной трибуны для публичного обоснования собственных мировоззренческих стереотипов[5]. Содержательная специфика исследовательской практики рассматриваемого научного сообщества сближает ее с другой группой «историков второго плана», ведущими представителями которой были М.Д. Чулков и И.И. Голиков. В советский период они традиционно рассматривались в качестве своеобразных основоположников буржуазной историографии, причем определяющим критерием являлось не только социальное происхождение указанных авторов, но и объективные особенности их творческой деятельности[6]. Основное направление исследовательской практики указанных авторов действительно не было традиционным для отечественной историографической традиции, в центре внимания которой, как правило, находились социально-политические процессы, определявшие общий ход российской истории. М.Д. Чулков, И.И. Голиков и их менее известные единомышленники обратились к целенаправленному изучению сложного комплекса проблем, связанных с экономическим развитием России в XVIII столетии и,

[1] См.: *Шанский Д.Н.* Из истории русской исторической мысли. И.Н. Болтин. М., 1983.

[2] См.: *Пештич С.Л.* Русская историография... Ч. 2; Историография истории России... Т. 1.

[3] См.: *Пештич С.Л.* Русская историография... ; *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли; *Полякова У.М.* В.В. Крестинин и общественная борьба в Архангельском посаде в 60–90-х гг. XVIII века // История СССР. 1958. № 2.

[4] См.: *Севостьянова А.А.* Русская провинциальная историография второй половины XVIII века: Автореферат дисс... доктора исторических наук. СПб., 1993.

[5] См.: Историография истории России... Т. 1; *Полякова У.М.* В.В. Крестинин и общественная борьба в Архангельском посаде...

[6] См.: *Пештич С.Л.* Русская историография... ; *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография; *Черепнин Л.В.* Русская историография...

прежде всего, с последовательным оформлением новой системы торгово-финансовых отношений и производственной деятельности[1]. Кроме того, особое значение они придавали специальному обоснованию закономерности и важности петровских преобразований, указывая на объективную необходимость их дальнейшего продолжения[2]. В целом, следует признать, что применительно к последней трети XVIII столетия выделение «историков второго плана» основывается на двух принципиальных критериях: принадлежности к региональной историографии и обращении в исследовательской практике к новым и нетрадиционным проблемам, стоящим в стороне от устоявшейся и признанной научным сообществом тематики.

В первой половине XIX в. принципиальные основы сложившейся персональной историографической иерархии не претерпели значительных изменений, что определялось общими тенденциями развития отечественной науки. В центре внимания большинства исследователей по-прежнему оставались важнейшие события российской истории, определившие магистральный путь ее эволюционного развития: формирование национальной государственности, монголо-татарское нашествие и последующее объединение удельных княжеств, Смутное время и петровские преобразования[3]. Общее направление творческой деятельности было задано «Историей государства Российского», так как принципиальный подход и важнейшие выводы Н.М. Карамзина стали главным объектом развернувшейся научной дискуссии[4]. В длительной полемике, посвященной оценке результатов фундаментального труда «последнего летописца», участвовали М.П. Погодин, Н.А. Полевой, М.Т. Каченовский и Н.Г. Устрялов, составлявшие своеобразную элиту исследовательского сообщества первой половины XIX столетия[5]. В центре внимания научной общественности находился и другой принципиальный диалог, главными участниками которого были ведущие представители западнического и славянофильского направлений в российской общественной мысли[6]. Вследствие указанных обстоятельств на «втором плане» вновь оказалась региональная ис-

[1] См.: Историография истории России...

[2] См.: *Сахаров А.М.* Историография истории СССР.

[3] См.: *Шапиро А.Л.* Русская историография...

[4] См., например: *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987; *Соловьев А.Н.* Бессмертный историограф. Николай Михайлович Карамзин. // Историки России... ; *Козлов В.П.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценке современников. М., 1989.

[5] См., например: *Шикло А.Е.* А был ли Нестор?: скептическая школа в русской историографии. // Историки России... ; *Дурновцев В.И., Бачинин А.Н.* Прагматический бытописатель: Николай Герасимович Устрялов // Историки России...; *они же*. Разъяснять явления русской жизни из нее самой: Михаил Петрович Погодин // Историки России...

[6] См., например: *Благова Т.И.* Родоначальники славянофильства: Алексей Хомяков и Иван Киреевский. М., 1995; *Назарова Т.А.* Общественно-политические взгляды Ю.Ф. Самарина. М., 1998; *Цимбаев Н.И.* Славянофильство. М., 1986.

ториография, представленная трудами А.И. Богданова, В.Г. Рубана, В.Д. Сухорукова, Т. Воздвиженского, А. Воскресенского[1]. Следует заметить, что подобный статус в рамках творческого сообщества применительно к некоторым провинциальным историкам определялся не только объективной проблематикой их работ, но и реальным методологическим уровнем соответствующей исследовательской практики[2]. Единственным представителем региональной историографии, которому удалось занять ведущее положение в российской науке рассматриваемого периода, следует признать профессора Дерптского университета И.Г. Эверса[3]. Аналогичное положение в структуре персональной историографической иерархии занимали исследователи, научные интересы которых были обращены к недавним историческим событиям: реформам первой четверти XIX столетия, Отечественной войне 1812 г. и движению декабристов. Известные представители выделенной группы — А.И. Михайловский-Данилевский, Д.П. Бутурлин, М.А. Корф — были хорошо известны в рамках профессионального сообщества, но рассматривались им в качестве «историков второго плана», так как тематика их трудов находилась в стороне от магистрального направления в развитии отечественного историописания[4]. Соответствующий неформальный статус имели также реальные последователи революционной историографической традиции, принципиальные основы которой были заложены в публицистических и литературных произведениях А.Н. Радищева. Как представляется, объективное значение исследовательской практики Н.А. Бестужева, Н.М. Муравьева, М.С. Лунина, А.О. Корниловича и их единомышленников было отчасти преувеличено в работах советских ученых, хотя некоторые идеи указанных авторов представляют несомненный интерес[5]. В целом, в рассматриваемый период можно выделить

[1] См.: *Воздвиженский Т.* Историческое обозрение Рязанской губернии, разделенное на пять периодов в виде летописца, изображающего древнее и новое состояние сея Губернии. М., 1822; *Воскресенский А.* Город Старая Русса. СПб., 1839; *Козловский А.* Взгляд на историю Костромы. М., 1840.

[2] См.: *Маловичко С.И.* Провинциальная историография второй половины XVIII — XIX вв.: выработка черт эрудитского типа исторического знания. // Источниковедческая компаративистика и историческое построение: Тезисы докладов и сообщений XV научной конференции. М., 2002; *Румянцева М.Ф.* Локальная история в актуальном социокультурном пространстве // Ставрополь — врата Кавказа: история, экономика, культура, политика: Материалы региональной научной конференции, посвященной 225-летию г. Ставрополя. Ставрополь, 2002.

[3] См., например: *Шикло А.Е.* Он заставил думать над русскою историею: Иоганн Филипп Густав Эверс // Историки России... ; *Шевцов В.И.* Густав Эверс в отечественной историографии // Вопросы историографии и истории СССР. Воронеж, 1969; *он же*. Развитие прогрессивного направления в русской историографии первой половины XIX века. Днепропетровск, 1980.

[4] См.: *Сахаров А.М.* Историография истории СССР; *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография.

[5] См., например: *Волк С.С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958.

три важнейших критерия, на основании которых можно охарактеризовать разнородное сообщество «историков второго плана»: принадлежность к провинциальной историографии, разработка частных проблем предшествующей российской истории и реальная оппозиционность по отношению к действующему политическому режиму, подкрепленная известной идеологической независимостью.

Во второй половине XIX — начале XX вв. в сложившейся структуре персональной историографической иерархии происходят существенные изменения, связанные с наметившейся методологической и тематической дифференциацией исследовательской деятельности. В рассматриваемый период принадлежность к научной элите определяется уже не только актуальностью избранной проблематики, но и реальным уровнем ее практической разработки. В рамках отдельных областей исследовательской деятельности выделяются собственные лидеры: в изучении отечественной истории — С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, С.Ф. Платонов и А.Е. Пресняков, в области источниковедения и методологии познания — К.Н. Бестужев-Рюмин, А.С. Лаппо-Данилевский и А.А. Шахматов, в рамках антиковедения, медиевистики и анализа актуальных проблем Нового времени — Н.И. Кареев, В.И. Герье и П.Г. Виноградов. Ведущую роль в научной элите играли и известные представители так называемой государственной школы — К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, а также их идейные последователи во главе с В.И. Сергеевичем, принадлежащие к историко-юридическому направлению в российской историографии[1]. Следует выделить и то существенное обстоятельство, что в указанный период полноправными «историками первого плана» стали многие провинциальные исследователи, в том числе и такие выдающиеся личности, как Н.И. Костомаров, А.П. Щапов и Д.И. Багалей[2].

Тематическая и организационная дифференциация исследовательской деятельности проявилась не только в среде научной элиты, но и на остальных уровнях персональной историографической иерархии. «Историки второго плана», активно работавшие в рассматриваемый период, могут быть разделены на несколько условных групп. К первому из указанных сообществ относится большинство представителей региональной историографии, не сумевших присоединиться к элитарной части профессиональной исторической корпо-

[1] См., например: *Цамутали А.Н.* Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1978; *он же*. Вся русская история есть по преимуществу государственая: Константин Дмитриевич Кавелин, Борис Николаевич Чичерин // Историки России... ; *Иллерицкая Н.В.* Историко-юридическое направление в русской историографии второй половины XIX в. М., 1998.

[2] См., например: *Киреева Р.А.* Не мог жить и не писать: Николай Иванович Костомаров // Историки России... ; *Аристов Н.А.* Афанасий Прокопьевич Щапов. СПб., 1883; *Цамутали А.Н.* Историк-демократ: Афанасий Прокопьевич Щапов // Историки России...

рации. Оригинальные труды А.К. Ильенко, А.С. Верещагина, А.В. Экземплярского, Д.Д. Смышляева и других провинциальных авторов в качественном ракурсе, безусловно, уступали известным работам столичных корифеев, но именно они стояли у истоков пристального изучения многих важнейших проблем российской истории[1]. Практическая деятельность указанных исследователей не только способствовала реальному оформлению таких областей научной знания, как регионалистика и краеведение, но и фактически стала самостоятельным социокультурным феноменом[2].

Другую группу «историков второго плана» составляли важнейшие представители консервативного направления в отечественной историографии — Д.И. Иловайский, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев и великий князь Николай Михайлович, творческая активность которых получила высокую оценку в правительственных кругах, но не в рамках самого исследовательского сообщества[3]. Большинство произведений, созданных указанными авторами, отличались широтой и разносторонностью привлеченного эмпирического материала, но в области теоретических построений и методологи познания они значительно уступали фундаментальным работам признанных лидеров российской науки, что признавалось их современниками[4].

В третью группу целесообразно включить известных представителей Московской и Петербургской школ, которые в силу различных обстоятельств оказались в тени собственных незаурядных соратников. Действительно, масштабные труды А.А. Кизиветтера, А.А. Корнилова, Н.П. Павлова-Сильванского, Е.Ф. Шмурло, М.К. Любавского и целого ряда других талантливых исследователей закономерно вошли в «золотой фонд» российской историографии, но в то же время они не оказали определяющего влияния на характер и динамику ее прогрессивного развития[5]. Как правило,

[1] См.: *Ильенко А.К.* Смоленск — дорогое ожерелье царства Русского: Краткий исторический очерк. СПб., 1894; *Экземплярский А.В.* Владетельные князья Белозерские. Ярославль, 1888; *он же*. Ростовские Владетельные князья. Ярославль, 1888; *Бердинских В.А.* Уездные историки: русская провинциальная историография. М., 2003.

[2] См.: *Бердинских В.А.* Уездные историки...

[3] См., например: *Непеин И.Г.* Великий князь Николай Михайлович — историк // ВИ. 1994. № 10; *Цамутали А.Н.* Жизнеописатель русских императоров: Николай Карлович Шильдер // Историки России... ; *он же*. Августейший историк: великий князь Николай Михайлович // Историки России...; *Дурновцев В.И., Бачинин А.Н.* Ученый грызун: Дмитрий Иванович Иловайский // Историки России...

[4] См., например: *Цамутали А.Н.* Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986.

[5] См., например: *Вандалковская М.Г.* П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер: история и политика. М., 1992; *Левандовский А.А.* Из истории кризиса русской буржуазно либеральной историографии. А.А. Корнилов. М., 1982; *Чирков С.В.* Историк русского феодализма: Николай Павлович Павлов-Сильванский // Историки

их научные изыскания посвящались отдельным проблемам отечественной истории, тогда как их знаменитые современники создавали обобщающие исследования, отличавшиеся колоссальным охватом эмпирического материала и фундаментальностью теоретических построений. Но даже в тех случаях, когда они обращались к комплексной характеристике важнейших аспектов русского исторического процесса, полученные результаты не могли принципиально изменить устоявшуюся парадигму, сформированную в ходе предшествующего развития историографической традиции.

Особую группу «историков второго плана» составляли различные представители революционной историографии, объективное значение деятельности которых существенно переоценивалось в исследовательской литературе советского периода[1]. В рамках указанного направления в отечественной историографической традиции можно выделить только одного исследователя, который вошел в состав научной элиты — В.И. Семевского[2]. Его известные работы, посвященные истории российского крестьянства, общественной мысли и государственному строительству в XVIII — XIX вв., позволили сформулировать новые подходы к оценке выделенных феноменов и определили характер и динамику их дальнейшего изучения. Таким образом, во второй половине XIX — начале XX вв. основными критериями для определения реального места историка в структуре персональной историографической иерархии становятся уже не только принадлежность к определенному исследовательскому сообществу, но, прежде всего, реальное содержание практической деятельности отдельного автора.

России... ; *Демина Л.Т.* Евгений Францевич Шмурло // *Шмурло Е.Ф.* История России (IX — XX вв.). М., 1997.

[1] См., например: *Антонов В.Ф.* Историческая концепция Н.Г. Чернышевского. М., 1983; *он же.* Н.Г. Чернышевский о русской истории. М., 1984; *Хорос В.Г.* Народническая идеология и марксизм. М., 1972.

[2] См., например: *Балуев Б.П.* Искренний и правдивый друг народа: Василий Иванович Семевский // Историки России...

В.Ю. АПРЫЩЕНКО (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

КОНСТРУИРУЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: «ЧЕЛОВЕК ВТОРОГО ПЛАНА» В МОДЕРНИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ НАЦИИ

Среди всего многообразия концепций, объясняющих феномен нации и национализма, уже традиционно принято выделять две группы — перенниалисты и модернисты. Некоторые исследователи различия между ними склонны возводить в ранг безусловных признаков, другие — наоборот пытаются увидеть нечто общее в этих теориях. Если предельно лаконично попытаться суммировать идеи каждой из концепций, то сущность дихотомии заключается в том, что у перенниалистов нация есть извечный и повторяющийся феномен, некая общность народа, принципом которой является связь с наследием предков и своеобразная культура; в то время как у модернистов нация сознательно строится ее членами, которые стремятся влиять на эмоции масс, создавая национальную идеологию. Модернисты полагают, что нации, как правило, расколоты на ряд социальных групп (в зависимости от разных критериев — гендерных, региональных, религиозных, классовых и т.д.), каждая из которых обладает своими собственными интересами и потребностями. Эти группы нуждаются в объединении, и подобная национальная солидарность может быть реализована в системе социальных коммуникаций и в принципе гражданства. Иными словами, во втором случае, нация является продуктом сознательной деятельности некой группы, ставящей перед собой цель создания новой общности.

«С точки зрения логики, — пишет Э. Смит, — выявленные дихотомии лежат в основе взглядов многих исследователей проблемы национализма. В таком случае требуется четкая ориентация на один из противоположных типов объяснения или осознанное решение сочетать их различные элементы. В каждом конкретном случае логика каждой из парадигм и ее противоречия требуют от исследователя приведения четких доводов и тех свидетельств, которые побудили его или ее занять какую-то определенную точку зрения в дискуссиях о нациях и национализме[1]».

Конструктивистские теории нации способны разрешить, временами кажущееся непреодолимым, противоречие между нацией как исторической категорией и «нацией» как концептом аналитическим. Хотя лингвистически было бы более точно переводить уже ставшую классической работу Б. Андерсона как «Воображенные сообщества», с точки зрения содержания и концепции редакторы были более корректны, переведя ее «Воображаемые сообщества», подчеркивая, что нация, не являясь некой данностью,

[1] *Смит Э.* Национализм и модернизм. М., 2004. С. 59.

«воображается» постоянно. В этой связи, современное представление о любой нации лишь отчасти релевантно тому, как она «воображалась» ее создателями в эпоху модернизации, а потому исследователи должны отдавать себе отчет в том, что их аналитическая «нация» чаще все же походит на веберовский «идеальный тип». Любые попытки прийти к общему знаменателю в решении задачи о дефиниции будут более или менее, но удалены от того исторического смысла, которым нации наделялись в период своего конструирования. Однако конструктивизм, отрефлексировав эволюционизм нации и не стремясь дать абсолютное ее определение, то есть отказавшись от поисков «идеального типа», способен оживить механизм «создавания» нации, тем самым, позиционировать ее как живой организм, постоянно находящийся в развитии.

В основе процесса конструирования нации лежит трансформация идентичности, которая, будучи концептом собственной цельности по отношению к другим, включает в себя как формирование собственной политической и экономической реальности в рамках более крупных сообществ, так и оппозицию «мы — они», а также осознание своих, часто мифологических, истоков[1].

То же самое относится и к категории национализм. То многообразие «национализмов», которое предлагается исследователями сегодня — от этнического и культурного до политического и гражданского, — все же лишь отчасти учитывает историческое содержание концепта. Отсюда происходит и столь же искусственное разделение «национализма» на национализм-идеологию и национализм-практику. Вряд ли те, кто вынашивал идеи создания национальных государств в XIX в., или те, кто сегодня провозглашает необходимость преподавания гэльского языка в школах Шотландии, удовлетворяются лишь выдвижением идеи и не рассчитывают на практическую ее реализацию.

Очевидно, что более плодотворным было бы не стремиться найти «объективное» определение нации и национализма, а попытаться, исходя из того, что это, все же не результат, а процесс, изучить механизм ее конструирования на разных этапах и те факторы, которые оказали на него наибольшее влияние. В этой связи интересными представляются вопросы, на которые при изучении феномена нации предлагает обратить внимание Дж. Хатчинсон. Среди основных проблем он выделял роль ученых и деятелей искусства в оживлении, возобновлении, (переписывании) национальной истории и культуры; обстоятельства, при которых политические интеллектуалы превращали эти культурные проекты в экономические, политические и социальные программы; контекст, в котором политические цели адаптировались интеллигенцией, трансформировавшей их в культурные задачи; условия, при которых интеллигенция могла реализовать эти программы посредством

[1] *Kidd C.* British Identities before Nationalism. Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World, 1600–1800. Cambridge, 1999. P. 3.

государства; факторы, объясняющие развитие культурного национализма в рамках независимого национального государства[1].

Хатчинсон, изучавший феномен культурного национализма, обращал внимание, главным образом, на культурное конструирование нации. Однако, думается, что не меньшую роль, особенно на начальных этапах ее формирования играло представление о ней, как общем гражданстве, что предопределяло и механизм ее формирования.

Гражданская составляющая процесса «конструирования» нации заключалась в том, что сначала была обозначена цель ее создания. Славная революция в Англии, а затем европейское Просвещение выдвинули, сформулировали и попытались в ходе Французской революции реализовать идею народного суверенитета, в которой на смену богом данной власти монарха приходило народное правление, а сам народ рассматривался как некая цельность, уходящая корнями в прошлое, а потому способная реализовывать свое историческое единство. Более того, не государство, пусть даже и в лице легитимных его представителей, а сам народ является единственным источником власти — идея, легшая в основу теории гражданского общества.

Не случайно, что одним из первых, кто сформулировал проблему гражданского общества, был шотландец Адам Фергюсон, который вместе с другим Адамом шотландского Просвещения — Смитом — ввел и сам термин «гражданское общество». Именно у шотландцев в период после унии 1707 г. впервые столь остро встал вопрос народного самоуправления и степени участия общества в политической жизни. Пройдет почти столетие и вновь эта проблема уже на другом уровне и в других масштабах встанет в революционной Франции.

Бесспорно, что степень развития идеи нации находится в тесной связи с уровнем модернизации. «Англия тогда [в XVII в.] — пишет Ганс Кон, — впервые предстала ведущей нацией европейского сообщества; она играла ведущую роль именно в сферах, характерных для Нового времени, которые резко отделяли его от предшествовавших эпох: в науке, политическом мышлении и деятельности, коммерческом предпринимательстве. Вдохновленный верой в открывшиеся ему возможности, английский народ ощутил на своих плечах бремя исторической миссии»[2].

Исторические обстоятельства обуславливали и форму нации. В частности, шотландский вопрос способствовал тому, что идея нации в Англии XVIII в. утверждалась как стремление к разнообразию, а не унификации, к гармонии, а не к единству, и отталкивалась от законов и итогов истории, а не от стремления к идеальному будущему — факт, на который обращал внимание

[1] *Hutchinson J.* The Dynamic of Cultural Nationalism. The Gaelic Revival and the Creation of the Irish National State. L., 1987. P. 5.

[2] *Kohn H.* Nationalism: Its Meaning in History. New Jersy, 1955.

еще лорд Актон.[1] В результате Соединенное Королевство и по сей день представляет собой «целый мир региональных, этнических, национальных, лингвистических и религиозных идентичностей»[2].

Огромную роль в процессе европейских нацие-строительств сыграла англо-шотландская уния 1707 г., поскольку в результате ее реализации была заложена основа первой поли-этничной и поли-религиозной европейской нации. Несмотря на численное и территориальное превосходство англичан[3] на протяжении уже трех столетий, британская нация представляет собой сообщество культур, сохранивших свою самобытность и признающих ценность друг друга. Иначе говоря, британская нация утверждала себя как единство множественностей, в котором единство заключено в общих экономических и геополитических задачах, стоящих перед британцами, тогда как множественность воплощается в самобытных гражданских и культурных институтах. Англо-шотландская уния 1707 г. имела общеевропейскую значимость, поскольку ею была заложена основа совершенного стандарта европейского этно-религиозного национализма, который не только сформировал новый для Европы тип бюрократической идентичности, реализованный позже в большинстве европейских стран, где шел модернизационный процесс, но и предложил мирный вариант решения национальной проблемы. И ни демократия, ни Просвещение, ни романтизм не смогли воспрепятствовать этой тенденции.[4]

Возникшее в ходе модернизации представление о суверенитете народа означало ни что иное, как убеждение в принадлежности государственной власти не одному лицу, а всему народу. Революции во Франции и Америке способствовали утверждению идеи народного суверенитета в противовес власти монархов, вследствие чего народ стал осмысливаться как нечто целое, объединенное общностью истории и культуры, а с другой — как единственный носитель власти, способный определять свою судьбу и реализовывать свою цельность. Эти идеи, берущие начало в просветительских представлениях, в основе своей имеют кризис традиционных религиозных представлений и формирование рационалистической космологии. Возникшее убеждение в том, что существующий мировой порядок есть, скорее, дело рук человеческих, нежели божественного провидения, заставило искать новые пути рационализации современного устройства общества, и просветители, отстаивая идею внутриобщественного происхождения человеческих институтов,

[1] *Лорд Актон*. Принцип национального самоопределения // Нации и национализм. М., 2002. С. 42.

[2] *Brockliss L., Eastwood D.* Introduction. A Union of multiple identities // A Union of multiple identities. The British Isles, c.1750-c.1850. Ed. by L. Brockliss, D. Eastwood. Manchester; N.Y., 1997. P. 2.

[3] Сегодня в составе Великобритании англичане составляют 85%, шотландцы — 9%.

[4] *Nairn T.* Faces of Nationalism. Janus Revisited. L; N.Y., 1997. P. 199.

начиная от морали и заканчивая нацией, заложили идеи, имевшие серьезные политические последствия[1]. Революционное значение рационализма, пишет Э. Кедори, состояло в том, что он заместил религию деятельностью людей. В этом смысле логичным выглядит то, что на смену бюрократическим абсолютистским европейским государствам приходит национализм, как основа истинной автономии политического сообщества[2].

Эти просветительские представления нуждались в «тиражировании» в массовом сознании, и модернизация сформировала слой людей, которые посредством целого ряда социальных институтов, таких как образование, церковь, книгопечатание, театр и др., доносили новую «национальную» идею до широких масс. Эти же люди не только сформировали, но и сформулировали идеи суверенитета в целом ряде документов, таких как, например, Декларации независимости, определив цели политической борьбы для завоевания политического суверенитета. Соответственно, идея нации-государства, как единственного носителя суверенитета нашла воплощение и в политических лозунгах, и в реальной политической практике. Однако появление национализма в качестве политической силы стало возможным, когда в результате модернизации сформировались индустриальные слои общества, ставшие носителями идеи политического суверенитета. Как правило, это была индустриальная буржуазия и рабочие, для которых идеи и лозунги национального суверенитета теснейшим образом переплетались с социальными требованиями. Национальная идеология сыграла роль амортизатора в отношениях между антагонистическими слоями индустриального общества, поскольку сумела связать задачу модернизации с обещаниями стабильности и преемственности, а сама идея нации создавала комфортное ощущение близости и безопасности, столь необходимые в стремительно меняющемся мире.

Национальная идентичность, на первых этапах часто выступавшая как идентичность институциональная, напрямую связала идею нации и идею гражданского общества. Хотя ее формирование включало в себя бюрократическую инкорпорацию, связанную с унификацией системы управления и сопровождавшуюся становлением бюрократического этоса, обратной стороной процесса было сохранение и даже культивирование самобытных институтов самоуправления, которые, отражая интересы формирующейся нации, выражали народный дух и служили укреплению национальной солидарности.

В XIX в. — тогда, когда идея нации активно завоевывала себе жизненное пространство, национальный суверенитет не обязательно связывался с политической независимостью. Для Дж. Мильтона, например, национализм — это, в первую очередь, утверждение свободы личности от власти, самоутверждение индивидуальности перед собственным правительством. Более того, по мнению Г. Кона, в основе национализма, возникшего под влиянием

[1] *Kedourie E.* Nationalism. L., 1966. P. 51–52.

[2] Ibid. P. 41.

английского пуританизма, лежали три идеи — избранность народа, его завет с Богом и мессианские чаяния, которые затем через французских мыслителей стали известны за границей и были впитаны и переработаны европейским рационалистическим сознанием!

Джанфранко Поджи был одним из тех, кто обратил внимание, что государства, существовавшие в период между Вестфальским миром и серединой XIX в. могут быть описаны следующими признаками: единственным источником власти в них было правительство, они обладали общностью территории, единой денежной и фискальной системой, в них существовал единственный официальный язык и единая правовая система.[2] Территориальное и властное объединение было самым простым этапом формирования этой государственности, реализованным монархами и видными политическими деятелями довольно рано. Фискальное же и правовое единство не было достигнуто и в XIX в.[3]

Среди гражданских учреждений, составивших основу институциональной идентичности, пожалуй, три оказали наибольшее влияние — право, образование и церковь. XIX в. часто называют эпохой права, подчеркивая тем самым важную роль правовой культуры и стремления к правовой унификации. Профессиональные правовые знания были крайне важны для административной власти в XIX в., а юристы были ключевыми фигурами в местных и национальных правительствах. Считалось крайне престижным, если хотя бы один из отпрысков дворянской семьи получит юридическое образование, и многие представители знатных фамилий устремлялись в признанные европейские центры с целью приобщения к юридическим наукам.

Особенности правовых систем были одной из основ формирования гражданских идентичностей. В Шотландии еще за несколько лет до унии, в 1681 г. были опубликованы «Институты шотландского права» виконта Стара, которые содержали развернутый теоретико-философский и практический материал, и, используясь многими поколениями шотландских студентов, окончательно утвердили на севере Британии основы римского права, что резко противопоставляло ее правовую систему английской.[4] Форумом для обсуждения юридических вопросов стал Факультет адвокатов, чей правовой авторитет был неоспорим, по крайней мере, до конца XIX в., и члены которого обладали реальными возможностями влияния на принятие правовых и политических решений.[1] Тогда же, в 1689 г., в Эдинбурге была открыта и Адвокатская библиотека, составившая основу современной Национальной библиотеки Шотландии. Большую часть фондов этой библиотеки составила литература по праву, вторыми по значимости и по объему были исторические сочинения. Иными словами, уже в конце XVII в., за несколько лет до утраты Шотландией политического суверенитета, там идет процесс собирания «памяти».

Образовательная и церковная системы стоят в одном ряду по значимости с правом в формировании основ институциональной идентичности. В разных обществах образование характеризуется большей или меньшей демократичностью, степенью развитости университетских систем и канонов, уровнем стандартизации и упорядоченности, а также разной предрасположенностью к узкой специализации, что способствует формированию определенного «демократического интеллекта»[2]. Все это имело не только образовательное значение, но и, зачастую, служило важным фактором национального мифотворчества с присущим целому ряду наций эгалитаристским мифом, в который часто облекались идеи идентичности.[3] Образовательная система является частью гражданского общества еще и потому, что в ее рамках существуют многочисленные группы, организации и сообщества, обсуждающие планы преобразований, разработку стандартов и т. д.

Особую роль образования в процессе нацие-строительства подчеркивал Э. Геллнер. По его мнению, возросшая профессиональная мобильность индустриального общества предъявляет особые требования и к динамике образовательной системы. Если в традиционном обществе профессиональные навыки передаются посредством особых «секретов» и этических норм,

[1] *Kohn H.* Nationalism: Its Meaning in History. New Jersy, 1955.

[2] *Poggi G.* Images of Society. Stanford, 1972.

[3] *Paterson L.* The Autonomy of Modern Scotland. Edinburgh, 1994. P. 11.

[4] Особенностями шотландской правовой системы являются суд присяжных, состоящий из пятнадцати человек, выносящий решение, которое не может быть обжаловано простым большинством и независимая прокуратура, в Англии появившаяся только в 1980 г. В области криминальной практики шотландская правовая система наиболее независима, поскольку высшей кассационной инстанцией является Высший юридический суд Эдинбурга, в то время как гражданские дела могут быть обжалованы в Палате лордов Британского парламента. Таким образом, используя принципы обычного и римского права, шотландская правовая система представляла собой промежуточный вариант между английской и континентальной.

[1] *Harvie C.* Scotland and Nationalism. Scottish Society and Politics from 1707 to Present. L., 1998. P. 49.

[2] *Davie G.* The Crisis of the Democratic Intellect. Edinburgh, 1986.

[3] Шотландский эгалитаристский миф являлся, пожалуй, одним из наиболее сильных компонентов конструирования идентичности. Беря свое начало в идеях кланового родства и равенства, в XVIII в. он подтверждался представлением о демократичности шотландской образовательной системы, культивируемым зарождающимся шотландским средним классом. В основе этих убеждений лежал высокий уровень грамотности по сравнению с английским обществом. Согласно данным, приводимым Р. Андерсоном (*Anderson R. D.* Educational Opportunity in Victorian Scotland. Oxford, 1983), в 1855 г. В Шотландии могли расписываться: мужчины — 89%, женщины — 77%; в Англии эти цифры выглядели соответственно 70% и 59%. А если из этих подсчетов исключить гэллоговорящий север Шотландии, то процент будет еще выше. Интересно и то, что некоторые женщины в Шотландии в XIX в. могли написать свое имя на шотландском, английском и уэльском языках.

в результате чего создается множество «языков», поддерживавших стабильность общества, четко указывая то положение, которое занимает индивид в общественной структуре, то основной чертой индустриальных обществ, для которых свойственные частые экономические и технологические изменения, является высокая профессиональная и экономическая мобильность, обуславливающая особую значимость образования[1].

И, наконец, церковь всегда была фактором формирования идентичности, не изменив своей роли и в период становления наций. Причем, по мнению Э. Хобсбаума, религия — эта «святая икона», стоящая на службе еще протонаций, играет особую роль тогда, когда национализм становится массовой силой.[2] В Шотландии, например, постоянно сталкивающейся с необходимостью поддержания собственной национальной идентичности, роль церкви в повседневной жизни выше, чем у уэльсцев или англичан. Религия в Шотландии более успешно сохраняла дистанцию с государством, чем в Англии.[3]

Три перечисленных института — церковь, образование и право — находясь между государством и человеком, на локальном уровне создают нацию, способствуя поддержанию убеждения, что ее основа лежит не в политических институтах и реализовывается не в политическом суверенитете, а в гражданском обществе. Концепт «гражданское общество» используется опять-таки не в аналитическом, а в историческом смысле. Не случайно, что эта категория была очень популярна среди шотландцев в XVIII в. и, более того, происходила из среды шотландских интеллектуальных элит.[4] Осознание себя гражданским обществом, залечивало травму идентичности, нанесенную унией 1707 г. и утратой независимых политических легислатур. Компенсировала эти потери автономия образовательной, правовой и церковной

[1] *Тамир Ю.* Класс и нация // Логос. 2006, №2 (53). С. 47

[2] *Hobsbawm E.J.* Nations and Nationalism Since 1780. Program, Myth, Reality. Cambridge, 1992. P. 72.

[3] Традиционно, церковь Шотландии является демократическим институтом, чьи священники выбираются общиной, хотя Акт 1712 г. и нарушал это правило. Католицизм здесь играет более важную роль, чем в Англии, что отчасти связано с католической миграцией конца XIX — начала XX в. Степень «католизации» общества способствовала религиозно-этническому расколу, особенно заметному в индустриально развитом центре и западных частях Шотландии. Католицизм, являвшейся религией этнических меньшинств, традиционно политически симпатизировал лейбористам, даже если и был адаптирован средними слоями. Протестанты, наоборот, поддерживали консерваторов, даже будучи представителями рабочей среды

[4] Важно и то, что Адам Фергюсон, который ввел и обосновал термин гражданское общество, происходил из того поколения мыслителей, которые, будучи непосредственными свидетелями процесса модернизационной трансформации общества, более, чем кто либо еще в Европе уделяли внимание социальным процессам, изучению «механизма перехода», того, как общества эволюционирует от варварства к цивилизации.

системы, вокруг которых сформировалась уже к концу XVIII в. новая институциональная идентичность.

Д. Маккроун считает, что термин «гражданское общество» позволяет отделить социальную сферу от политической и объяснить перемены, происходящие в обществе, утратившем политический суверенитет.[1] Очевидно, что подход шотландского социолога основан на классическом определении Э. Гидденса, согласно которому «общество — это группа людей, живущая на общей территории, имеющая общую политическую систему и отделяющая себя от других групп, окружающих их»[2]. Утрата политического суверенитета детерминирует необходимость культивирования институтов самоуправления в целях поддержания идентичности, что в перспективе приводит к тому, что М. Китинг называет «гражданским национализмом» — коллективному предприятию, основанному на общих институтах, социальных нормах и традициях[3]. Гражданский национализм, будучи «национализмом снизу» *пере-создает* социальные связи внутри общества, формируя новую идентичность.

При таком подходе независимость является не фактом, а общественным концептом, что, в целом, соответствует модернистской политической теории, согласно которой независимая королевская власть должна представлять государство, а независимые гражданские институты, в том числе парламент, — народ. Более того, по мнению ряда исследователей, институциональная автономия была типичным случаем для целого ряда малых европейских наций, таких как, например, норвежская, финляндская или венгерская, положение которых отличалось от полностью зависимых польских или чешских земель.[4] Таким образом, в историографии существует устоявшаяся традиция искать корни нации не в государственных институтах, а в народном представительстве и участии, которые реализовывались, в том числе, и на местном уровне. Становление элементов гражданского общества происходило параллельно с формированием социального слоя, которые, скорее, управляет, чем правит, и развитие которого М. Вебер связал с модернизацией[5]. С другой стороны, и сама идея нации в период модернизации сыграла роль связующего звена между государством и обществом[6].

Гражданское общество должно было взять на себя функции транслирования народных взглядов и выражения народных интересов в условиях, когда

[1] *McCrone D.* Understanding Scotland. The Sociology of a Stateless Nation. L.; N.Y., 1992. P. 21.

[2] *Giddens A.* The Nation-State and Violence. L., 1985. P. 731.

[3] *Keating M.* Nations against the State. The New Politics of Nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland. N.Y., 2001. P. 6.

[4] См., например, *McCrone D.* Understanding Scotland...; *Paterson L.* The Autonomy of Modern Scotland. Edinburgh, 1994.

[5] *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990.

[6] *Bauman Z.* Soil, Blood and Identity // Sociological Review. 1992. № 40 (4). P. 683.

ограниченная монархия защищала свободы граждан лучше, чем монархия неограниченная. Идеологи гражданского общества пере-создавали ту цельность, которая была укоренена в прошлом и, соответственно, единственная обладала правом выражать интересы граждан. В целом ряде выступлений, в ходе выдвижения политических лозунгов и реализации конкретных программ, как правило, частных, сторонники гражданского общества доказывали целесообразность народного управления, которое должно было способствовать укреплению целостности государства и формировать идею общей нации.[1]

Важно и то, что идея нации, возникшая в условиях модернизации и эрозии сословной идентичности, хотя и была проектом интеллигенции и средних классов, тем не менее, учитывала интересы остальных слоев, в том числе и низших страт. Это стало возможным благодаря возрастанию ценности символических, экономических, образовательных благ, которые производились и потреблялись совместно.[2] Дж. С. Милль писал, что «всякий согласится с тем, что для бретонцев или басков французской Наварры лучше быть... адептами французской национальности и пользоваться преимуществами французского гражданства..., чем сидя на собственной скале полудикого прошлого, вращаться по своей ограниченной умственной орбите, без участия в том, что происходит в мире. Это же можно отнести и к валлийцам или шотландским горцам в качестве членов британской нации»[3]. Поэтому многие интеллектуалы, осознавая важность экономического процветания, создавали национальные проекты с тем, чтобы примирить национальные мифы с буржуазными ценностями модернизирующегося общества. Том Нэйрн в своей, ставшей уже классической работе, обратил внимание на «сделку» — национальное государство позволяет рабочим войти в круги социальной и политической власти, а взамен — народные классы поддерживают

[1] Примером такой деятельности является борьба, развернувшаяся за организацию собственной шотландской милиции, которой жители Каледонии были лишены после подавления Великого восстания 1745 г. Для Адама Фергюсона, возглавившего эту борьбу в 50-х – 60-х гг. XVIII в., шотландская милиция была попыткой реализовать воинственный и независимый народный дух не в политическом противостоянии, а социальных институтах самоуправления, тем самым, создавая шотландскую нацию не на политическом уровне, а скорее на социальном и ментальном. Возможно, вопрос о собственной милиции встал столь остро именно в 50-е – 60-е гг. оттого, что именно тогда в Англии Генри Филдингом почти единолично было создано первое полицейское управление, положившее начало регулярной британской полиции. Для шотландцев, которые в тот период еще чрезвычайно остро переживали соперничество с англичанами, проблема собственной милиции становилась вопросом престижа — воинственный дух шотландской нации должен был обрести воплощение в национальном учреждении.

[2] *Тамир Ю.* Класс и нация. С. 44.

[3] *Mill J.S.* Utilitarianism, On Liberty and Considerations on Representative Government L., 1972, P. 395.

это государство[1]. И даже если не оценивать эти действия как «размен» или «сделку», очевидно, что без участия представителей всех слоев общества, проект нации не был бы реализован.

Несомненно одно — стремление к независимости не обязательно порождает отдельное государство[2]. Основной категорией анализа интеллектуалов XVIII и XIX вв. был не политический суверенитет, а прогресс. И А. Фергюсон и Дж. Миллар, которых Д. Спадафора относит к писателям «второго уровня»[3], усматривали в английской Славной революции движение к прогрессу, выделяя три исторических этапа развития общества — «феодальная аристократия», «феодальная монархия» и «коммерческое правление», для последнего из которых характерна «система свободы».[4] Шотландские просветители — и У. Робертсон, лидер модераторов, и А. Фергюсон, и Д. Юм были едины, в том, что в XVIII в. шотландская нация процветала. «Общественная свобода с внутренним миром и порядком развивается без потрясений: торговля, мануфактура, сельское хозяйство расцветают: культивируются искусства, науки и философия. Нация является самой процветающей в Европе...»[5]. Все эти мыслители были шотландцами, и ни кто из них не рассматривал утрату политической независимости Шотландии как национальную трагедию. В целом, отношение шотландцев к потере политических легислатур в XVIII в. может быть описано термином «юнионистский национализм»[6], который, вероятно, может быть использован и в целом ряде других случаев.

Национализм начала XIX в. чаще был свободен от политической программы, в разных странах приобретая разные формы — выражаясь то в идее народного самоуправления, то в концепции гражданского общества. Однако практически повсеместно мы встречаемся с еще одной формой становления национальной идентичности — отстаиванием культурной автономии, особенно там приобретающим яркую окраску, где не были созданы возможности для реализации специфических политических целей посредством институтов самоуправляемого гражданского общества.

В XIX в. нация уже мыслилась как совокупность анонимных индивидов, которые приобщены либо к определяющей данную нацию высокой культуре, либо к культуре низкой, но находящейся в зависимости от этой высокой культуры, попадающей в ее потенциальный ареал и дающей своим носителям шанс войти когда-нибудь в число носителей высокой культуры[7].

[1] *Nairn T.* The Break-Up of Britain. L., 1981. C. 41

[2] *Smith A.D.* National Identity. Harmondsworth, 1991. P. 74.

[3] *Spadafora D.* The Idea of Progress in Eighteenth-Century Britain. New Haven; L., 1990. P. 259.

[4] Ibid. P. 303–304.

[5] Ibid. P. 308.

[6] *Morton G.* Unionist Nationalism. East Lothian, 1999.

[7] *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм. М., 2002. С. 166.

Представители «высокой» культуры сыграли решающую роль в создании новой космологии человеческой природы, которая, согласно их представлениям, разделившись на уникальные автономные и интегральные территориальные сообщества, продолжала затем развиваться самостоятельно.

Модернизации предстояло пройти еще долгий путь, прежде чем эти «высокая» и «низкая» культуры составят одно целое, устранив различные культурные, сословные и другие идентичности, и создав вместо них единую национальную. Выбор культуры, на основе которой будет происходить конструирование общих национальных символов, зачастую носил случайный характер — в некоторых случаях это была высокая традиция, позволявшая, как в случае с исламом, избавиться от ярлыка «отсталости», в других — идеализация местных народных традиций, в которых усматривались глубокие ценности. Однако, в любом случае, выбор культуры, которой предстояло составить основу национального проекта, отражал консенсус между социальными или этническими слоями, реализовавшими задачу построения национальной культуры.

С деятельностью представителей интеллигенции, создававшей идеи, рассчитанные на массового потребителя, связана вторая сторона процесса «конструирования» нации.

Институциональная идентичность могла реализовываться лишь там, где модернизация, достигнув определенной, довольно высокой, стадии своего развития, создавала соответствующие социальные силы. В том же случае, когда процесс формирования рыночного общества носил незавершенный, либо половинчатый характер и промышленное производство, а, следовательно, и промышленные слои общества не сформировались, национальная идея выражалась в культивировании прошлого и создании некой романтической ностальгии по патриархальному прошлому, в котором, воскрешая старые и создавая новые мифы, представители интеллигенции пытались отыскать единство народа. Особо значимым для общества, сохранявшего элементы традиции, было представление о значимости патриархальной аграрной культуры, лежащей в основе народной традиции и, в итоге, зачастую составлявшей значимую часть культуры национальной[1].

Идея нации, как правило, была ориентирована в двух плоскостях — в прошлое и будущее. В прошлом находился «Золотой век», романтизированный идеал, в котором нация и общество были едины, иногда это был период до потери национальной независимости. Но чаще в европейском сознании XVIII и XIX в. «Золотой век» — это нечто моделируемое в сознании и представлении, создание чего было тесно связано с представлениями о будущем общества, о том, чем оно станет, когда вновь обретен единство. Ориентация в будущее была своего рода проверкой мифа о «Золотом веке» на жизненную прочность. Средством этой верификации было изобретение традиции, символов национальной идентичности и помещение их в модернизирующуюся

[1] *Martin T.* Republics, nations and tribes. L., 1995.

реальность. Неизбежно, что древние традиции в новых условиях приобретали новые формы, актуализировались, а их содержание определялось через интерпретацию социальной реальности и социальной динамики. Согласно Раймонду Уильямсу, «традиция может быть понята как относительно устойчивый сегмент социальной структуры, традиция — это выжившее прошлое.[1] Одновременно традиция представляет собой особый способ коммуникации с прошлым и служит институтом социализации в условиях модернизационного кризиса.[2] Но в реальности, традицию заменяет выборочная традиция — избирательная версия прошлого, которая определяет процесс конструирования социальной и культурной идентичности.

Интеллектуалы в процессе своей деятельности заново создавали прошлое общества на основе народной традиции, реанимируя и трансформируя его. Это не было мифотворчество в прямом смысле, но это было избирательное чтение истории и соответственно избирательное ее воспроизведение. Подобное обращение к романтическому прошлому народов очень соответствовало настроениям, которые существовали у населения, охваченного индустриальной лихорадкой. Массовая ностальгия, связанная с уходящими в прошлое патриархальными пейзажами, пурпурными холмами и долинами, еще не изуродованными железнодорожными ветками и серыми корпусами строящихся фабрик, ностальгия, которую так удачно использовали поэты, писатели и художники-романтики, являлась еще одной стороной процесса «конструирования» нации. Эксплуатируя эту ностальгию, деятели искусства в романтической прошлом, в его народной культуре видели, и не просто видели, а эти свои взгляды тиражировали в массы, былое величие народной культуры. Соответственно, великое прошлое народа давало ему право и на столь же великое будущее, создавая тем самым нацию, укореняя ее в сознании людей.

В этом процессе чрезвычайно велика была роль историков, формировавших нацию на новой основе и использующих идеи, в том числе и этнические, и языковые, и культурные, для обоснования культурного суверенитета. В XIX в. Дж. С. Милль писал, что «чувство национальности может быть вызвано разными факторами. Иногда оно является результатом отнесения себя к какой-то расе или наследуется. Общность языка и общность религии тоже играют значительную роль. Географические границы могут быть одним из факторов. Но наиболее сильное из всего этого — идентичность политического прошлого, принадлежность к национальной истории»[3]. История вырабатывает общий опыт, символы и знаки, общих национальных героев, причем иногда этот процесс протекает стихийно. Гражданская мобилизация, в основе своей имеющая национальную культуру, должна сопровождаться

[1] *Williams R.* Marxism and Literature. Oxford, 1977. P. 115.
[2] *McCrone D.* Understanding Scotland... P. 30.
[3] *Mill J. S.* Utilitarianism, On Liberty... P. 391.

выработкой истории и традиций. Культура, таким образом, объединяет это воображаемое сообщество людей, которые сами себя к нему относят.

По мнению Дж. Хатчинсона, хотя и небольшая по численности, группа интеллектуалов сыграла важную роль в моральных инновациях, создав новые рамки идентичности в условиях модернизационного социального кризиса. Идентичности, созданные из мифов и легенд, были трансформированы в конкретные политические, экономические, социальные программы журналистами и политиками. Однако эта же группа и заложила антагонизм между нацией и государством[1].

Носителями новой национальной идеологии являлись представители двух групп — секулярных интеллектуалов, создавших эти идеи, и интеллигенции, которая организационно их оформила и создала политические сообщества. Обе группы отстаивали интересы этноса и стремились к тому, чтобы нация была воссоздана вновь. Прошлое для них не было целью, к которому они хотели вернуться, но средством перерождения нации на новый уровень развития. Формирование обеих этих групп было результатом модернизации, создавшей основы для появления среднего класса. Г. Кон, справедливо, думается, подчеркивал, что подъем британского национализма в XVII в. совпал с возвышением британского торгового класса.[2] Формирование среднего класса свидетельствовавшее, по мнению некоторых ученых[3], о сглаживании имущественных конфликтов, одновременно, отражало и ситуацию консенсуса в нации-строительстве. Ряд современных исследователей считает[4], что уже в XVIII — XIX вв. средний класс включал представителей т. н. свободных профессий: юристов, врачей, банковских клерков, владельцев гостиниц и кафе — словом, всех тех, чьи интересы затрагивал национальный проект, и тех, кто мог способствовать его продвижению в широкие слои населения. В том смысле термины «средний класс» и «интеллигенция» представляются родственными, что несколько нарушает традицию, сформировавшуюся в конце XIX в. использовать категорию «интеллигенция», в смысле образованного слоя, лежащего между политической элитой и народом.

Э. Хобсбаум особо выделяет и деятельность тех профессиональных слоев, которые стояли у истоков развития систем коммуникаций — проектировавших и строивших дороги и мосты, налаживавших почтовое сообщение, а также учителей, формировавших идею о единстве народа — словом тех, кто связал «отрезанные» друг от друга уголки нации и способствовал, тем самым, утверждению представления о единой судьбе народа[5].

[1] *Hutchinson J.* The Dynamic of Cultural Nationalism... P. 10.

[2] *Kohn H.* Nationalism: Its Meaning in History. New Jersy, 1955.

[3] *Райтсон К.* Разряды людей // СВ. 1994. № 57.

[4] *Евсеев В. А.* Термин «средний класс» в современной англоязычной историографии // Политическая жизнь Западной Европы: древность, средние века, новое время. Вып. 2. Арзамас, 2004.

[5] *Hobsbawm E. J.* Nations and Nationalism... P. 80–81

И интеллектуалы, и средний класс (интеллигенция) сыграли важную роль в процессе нацие-строительства. Но поскольку идеи без политического, социального, экономического оформления не способны сами по себе создать нацию, их организационное воплощение было тоже необходимо. Политический фактор оказался очень важным в эволюции национального проекта, его реализации как идеологического движения, а также институционализации и интеграции в государственные структуры. Эти процессы проходили в условиях эрозии традиционной идентичности и социокультурной трансформация под влиянием процессов модернизации. Таким образом, деятельность обеих групп была связана с кризисом идентичности, задача преодолеть который напрямую соответствовала реализации национального проекта.

Кризис идентичности преодолевался путем создания нового нарратива. Историописание, литература и журналистика, тесно связанные с национальными языками, были средствами формирования новой идентичности. Э. Геллнер говорит о роли школьных учителей, этнографов, фольклористов и т. д. в пробуждении национального сознания, посредством хождения «в народ» и создания из хаоса крестьянских диалектов национальной культуры.

Язык играет особую роль в процессе нацие-строительства. Когда в 1755 г. был издан словарь английского языка, то это вызвало бурную реакцию из-за того, что многие слова, используемые англичанами, оказались шотландского происхождения. Издаваемые словари служили средством демонстрации культурной идентичности и сохранения исторической памяти, в которой язык был формообразующим элементом. В 1799 г. Джемс Адамс включил в свою книгу «Произношение английского языка» приложение под названием «Оправдание шотландского диалекта», утверждая, что язык шотландцев — это язык древних героев, отстаивавших независимость своей родины.[1] Однако пик подобных изданий приходится на 60-е гг. XVIII в. — время, когда шотландцы стали активно проникать в английскую общественную жизнь, что спровоцировало массовую скотофобию, особенно, в Лондоне.

В частности, гэльская литературная традиция на Британских островах была чрезвычайно сильна. В XVIII в., когда, с одной стороны, идет процесс формирования Британской нации, а, с другой, усиливается культурная идентичность народов, населяющих остров, трансформируется и гэльская поэзия. В этот период формируется мощное течение по изучению гэльской культуры, главным образом, в университетах, а в 1767 г. был впервые опубликован гэльский перевод Нового завета.

Ирландские националисты также перенесли свои усилия в сферу культуры и образования с целью пробуждения национальных чувств. В 1884 г. была создана Гэльская атлетическая ассоциация — для воскрешения ирландских

[1] *Basker J.* Scotticisism and the problem of Cultural Identity in Eighteenth-Century Britain // Sociability and Society in Eighteenth-Century Scotland. Edinburgh, 1993. P. 89.

видов спорта. Особое значение имели усилия по воскрешению гаэльского языка. В 1893 г. Д. Хайд, ирландский протестант английского происхождения, стал первым президентом Гэльской лиги, целью которой была «деанглизация ирландского народа» и возрождение гэльского языка и древних кельтских традиций. Поэты и ораторы стремились пробудить у ирландцев гордость их этническим прошлым. Однако гэльское движение, подчеркивавшее особенность Ирландии, в XX в. добилось оживления ирландского национализма. В 1899 г. А. Гриффит начал издание газеты «Юнайтед Айришмен», а в 1905 г. участвовал в создании общества «Шин Фейн».

В этой связи показательным является спор, разгоревшийся между двумя лидерами Национальной Конвенции Объединенной Ирландской Лиги в 1909 г., которые разошлись во мнениях, по поводу того, что является основой ирландской нации. Один из них был Д. Хайд, который, будучи поэтом и фольклористом, посвятил свою жизнь отстаиванию ирландского культурного наследия. Другой — Дж. Диллон, будущий лидер Ирландской парламентской партии, который более чем в течение тридцати лет боролся за парламентскую независимость Ирландии от Британии и отстаивал место ирландской нации среди других наций мира.

Суть противостояния заключалась во взглядах на роль ирландского языка в ирландской образовательной системе, и, в частности, на его место в преподавании в только что основанном Национальном университете. Диллон, хотя и симпатизировал языку, основное внимание уделял проблеме самоуправления Ирландии, как залогу ее независимости. Для него критерием существования нации являлась ее политическая независимость. Хайд же, наоборот, несмотря на то, что в частных беседах поддерживал идею политической независимости, считал ирландский язык той нитью, которая связывает древнюю кельтскую цивилизацию с современностью и является основой ирландской нации[1].

Периодическая печать, журналы и журналисты были тем, что связывало отдельные части нации — социальные, географические, экономические — воедино. Пресса была средством трансформации идентичности, поскольку, с одной стороны, отражала культурную жизнь, способствуя сближению элитарной и массовой культуры, и ломала устоявшиеся представления, как, например, в случае с освещением практики театральных представлений в Голландской Индии,[2] а с другой — формировала новые образцы социальной практики, в области ли демографической статистки или избирательного права. Одновременно, периодика была и тем «зеркалом», которое отражало, в данном случае неважно — объективно или предвзято, этнические процессы. В Нигерии, например, вопрос о переписи не поднимался в печати долгое

[1] *Hutchinson J.* The Dynamic of Cultural Nationalism... P. 1.

[2] *Андерсон Б.* Национализм, идентичность и логика серийности // Логос. 2006. № 2 (53). С. 61–62.

время из-за боязни того, что она покажет «истинное» число воображаемых этнических групп в стране и тем самым потребует распределения политической власти и экономических благ!

Перепись обладает и самостоятельным значением, вне зависимости от того, как она отражается в периодических изданиях. Б. Андерсон обращает внимание на то огромное сплачивающее влияние переписной категоризации, которое продемонстрировали в своем политическом росте такие «недавние американские продукты воображения» как испано-язычные или азиатско-американские избиратели.[2] В данном случае нация строится вокруг осознания своей отнесенности к определенному политическому сообществу, посредством категоризации этничности и национального.

Особо важную роль в этом процессе играют национальные символы. Чаще всего, восходящие к традиционной культуре, но трансформировавшиеся в процессе модернизации, символы представляют собой «выжившее прошлое», функцией которого является реификация идеи общности социума. Важным условием этого отбора станоаится акцентирование на тех символах прошлого, которые представляют его наименее конфликтный вариант. Стремление избежать конфронтации с прошлым является залогом успеха проекта по созданию общей национальной идентичности, а память о прошлом неизбежно представляет собой выборочную традицию.

В процессе отбора, производящегося интеллектуалами, чьи усилия воплощаются в исторических нарративах, материалах СМИ, школьных программах и т. д. происходит неизбежная редукция памяти о прошлом, воплощенной в визуальных, нарративных и дискурсивыных символах, формировавших такой язык и знаковую систему, в категориях которой можно было бы объяснить происходящие изменения. Эта знаковая система позволяет сохранить собственную культурную идентичность, несмотря на драматические потрясения.

Представления о прошлом, а, вместе с тем и о нынешнем положении народа находит свое воплощение в формирующемся мифо-символическом комплексе — смеси мифа, памяти, знаков и символов, которая не просто определяет принадлежность к какой-то нации, но также и саму идею национального, выражая то, что значит быть носителем национальнйо идентичности. Важно то, что, как правило, существование, статус и безопасность нации находятся в прямой зависимости от статуса ее национальных символов, включая символы прошлого, чем и объясняется их значимость.[3] И именно поэтому люди готовы, пусть даже ценой собственной жизни, отстаивать эти символы, следовать за своими лидерами, приравнявших национальные символы к самой нации.

[1] Там же. С. 70.

[2] Там же. С. 70.

[3] *Kaufman S. J.* Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca; L., 2001. P. 25.

Этот процесс мифо- и символо-творчества, основанный на деятельности тех, кого мы часто называем интеллектуалами, но чьи имена отнюдь не всегда хранимы исторической памятью, приобретает особое значение именно в эпоху нацие-строительства, когда политические, геополитические и социокультурные процессы рождают или *пере*-рождают нации. Могущество символов на этом этапе объясняется тем, что в рамках мифо-символических комплексов они в равной степени имеют и когнитивную и эмоциональную окраску, определяя место нации в окружающем политическом и культурном пространстве, ее врагов и друзей, прошлое и настоящее. В богатую социальными и национальными конфликтами эпоху нацие-строительства, символы используются в противостоянии с теми группами, которые потенциально угрожают формирующейся нации, тем самым, разделяя на «своих» и «чужих» социокультурное пространство жизни национального коллектива, формируя его идентичность. Эта экстравертная направленность мифо-символического комплекса, ориентирующая нацию по горизонтали, сочетается с интровертной функцией, в которой национальная общность, используя временны*е* категории, определяет себя по вертикали, формируя отношение настоящего с прошлым.

Важность национальных символов не только в том, что они фиксируют отношение людей к окружающему социокультурному пространству и отражают процесс конструирования идентичности, но и в том, что, будучи укорененными в мифе, они определяют выбор людей, и отношение нации к реальным процессам прошлого и настоящего формируется согласно той ассоциации, которую вызывает символ. Этот факт является основанием для политики в области символов, позволяет использовать их в качестве орудия отстаивания интересов.

В свою очередь символы возникают в процессе развития мифа, который, будучи продуктом деятельности интеллектуальных и / или политических элит, наделяет смыслом какие-то события, определяет врагов и героев, хорошее и плохое. При этом символы придают мифу эмоциональную окраску, тем самым, предлагая его массам, которым он предназначен. В этом смысле миф, содержащий символы, является неотъемлемым элементом процесса нацие-строительства в той же степени, что он является и частью любой культуры. Значение исторического факта редуцируется в процессе мифотворчества, и миф, воплощенный в символах, сам приобретает значение реальности.

Используя визуальную и нарративную природу символов, дискурс нации трансформировался из элитарных представлений и концепций в массовые идеи. В этом заключается еще одна функция национальных символов — посредством доступного языка знаков превратить элитарное в массовое, новое в традиционное, чужое в свое. И хотя символы, составляющие часть национального мифа, зачастую происходят именно из массовой культуры, необходимым условием их трансформации и обретения ими национального дискурса является интеллектуальная «редактура». Символы на время словно изымаются из массового использования, и, пройдя процесс интеллектуальной обработки и адаптации, обретают новый смысл и значение.

Часто возвращение старых символов, которые неожиданно приобретают новый смысл, является следствием изменения самого контекста, из которого они были изъяты. Условия существования культуры, включая язык, ценности, институты, являются не просто важным составляющим жизни символов, но определяют значение собственного человеческого опыта. При этом взаимодействие языка, опыта, и исторических изменений, по мнению Генриетты Л. Мур, являются ядром, вокруг которого конструируется культура.[1] Очевидно, что соотношение этих же условий, включая персональный и общественный опыт, вырабатываемый интеллектуалами язык, и историческая динамика становятся решающими в наделении значением символов. В этом смысле, символ никогда не является просто символом, отражая, во-первых, тот контекст, в котором он существует, а, во-вторых, всегда тесно связан с субъектом, воспринимающим символ. Особенно это важно, когда речь идет о динамичном и, порой, драматическом процессе нацие-строительства, в процессе которого трансформируется и общество, включая его представление о самом себе, о собственном прошлом и настоящем, и этнические мифы, легитимирующие новую нацию, и символы, транслирующие национальную идею в широкие слои.

Отождествление символов с самим прошлым способно, вероятно, объяснить почему идея нации, и в исторической ретроспективе, и в современности, столь могущественна, откуда она черпает свои силы. Человек, защищающий национальную принадлежность, отстаивает в равной степени и свою идентичность, собственные интересы, в том числе и материальные блага, и борется за выживание своего народа, своей территории, за веру — все то, что воплощено в национальных символах. И очевидно, что попытки создать идею нации только тогда успешны, когда они подкрепляются политикой в области символов.

Очевидно, что нация в период ее формирования мыслилась как рациональное сообщество граждан, представляющих средний класс, возникшее путем преобразований, в первую очередь, в сознании людей. Конструирование нации осуществлялось путем привлечения граждан к участию во вновь создаваемых общественных институтах, которые отражали народный дух и призваны были создать новый тип горизонтальной идентичности взамен уходящей сословной. Кроме того, становление институциональной идентичности сопровождалось трансформацией исторической памяти и созданием нового прошлого, которое было бы способно примирить старые мифы и новую реальность. Концепты, предлагаемые видными философами, такими как Ж-Ж. Руссо, провозгласившим народ подлинным воплощением

[1] *Moor H. L.* The Subject of Anthropology. Gender, Symbolism and Psychoanalysis. Malden, 2007. P. 26.

доброго начала в природе, или И.Г. Гердером[1], развившим теорию народной души и национального духа, реализовывались в институциональной практике и транслировались в широкие слои людьми, не снискавшими себе такой славы как крупные философы или политические деятели.

Посредством приложения определенных усилий — политических, интеллектуальных, используя социальные и другие общественные процессы, они совершали осознанные действия, направленные на создание неких идей — будь то идея суверенитета, гражданского самоуправления, общности истории и культуры или пропаганды великого народного прошлого и воплощение его в новым мифах или символах. Как правило, средства деятельности писателей, историков, художников, священников, деятелей искусства и образования были связаны с возможностями их донесения до широких слоев населения, которые должны быть потребителями и впитать подготовленную для них идеологию. Однако именно благодаря их деятельности реализовывались национальные проекты, и общество осознавало себя не совокупностью разрозненных этносов, механически объединенных волею великих полководцев и монархов, а единой нацией, история которой уходит корнями в прошлое.

[1] Об их взглядах на нацию более подробно см.: *Хюбнер К.* Нация: от забвения к возрождению. М., 2001.



ПОЧЕМУ НЕ ПЕРВЫЙ?

А.Н. МАРКИН (ИЖЕВСК)

МАРК ВИПСАНИЙ АГРИППА: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ИМПЕРАТОР

В истории всегда есть люди, которые остаются на вторых ролях. Но их влияние на ход истории, тем не менее, весьма значительно. Они появляются вовремя, когда созревают необходимые условия. Они обладают тонким умом и являются блестящими исполнителями замыслов и решений великих людей. Не будучи формально первыми, они, без сомнения, могут быть названы «локомотивами» истории. Без них, возможно, не состоялись бы и выдающиеся личности. Одним из таких людей был Марк Випсаний Агриппа[1], сподвижник и соратник императора Августа. В жизни и деятельности Агриппы история Рима предстает на том трагическом переломе, когда обнажились ее внутренние противоречия. Что же заставляло этого человека, наделенного природным умом и большими талантами, в течение всей жизни преданно служить одному человеку? К сожалению, историческая память не сохранила цельный и детальный образ этого, безусловно, великого мужа. У античных авторов встречаются лишь отрывочные сведения о нем. Это был удивительный человек, имевший безупречную репутацию, считавшийся наилучшим из современников. Известный моралист Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию» писал: «Марк Агриппа один был удачлив не в ущерб народу, и он говорил, что многим обязан такому изречению: “Согласием поднимается и малое государство, раздором рушится и самое великое”. Благодаря этим словам, он стал, как сам говорит, и добрым братом, и другом» (Sen. Epist. XCIV. *46*). Действительно, Агриппа отличался прямотой и никогда не носил маску двуличия. Он, по всей видимости, искренне верил в звезду Августа и ни разу не позволил ему в этом усомниться. Так кем же все-таки был Марк Випсаний Агриппа? Попытаемся ответить на этот вопрос.

Он происходил из незнатного рода и родился, вероятно, в 63 г. до н.э. (Tac. Ann. I. 3; Vell. Pat. II. 96), по иронии судьбы, в один год с Октавианом. Отец его остался в неизвестности (Sen. De ben. III. *32*). Происхождение Агриппы остается загадкой. Плиний Старший, написавший в честь Агриппы

[1] Новейшая литература о Марке Агриппе: Daniel R.M. Vipsanius Agrippa. Breslau, 1933; Wright F. Marcus Agrippa. Organizer of Victory. L., 1937; Reinhold M. Marcus Agrippa. A Biography. Roma, 1965; Roddaz J.-M. Marcus Agrippa. Rome, 1984.

собственную надгробную речь, сообщает, что он появился на свет ножками вперед: «таких младенцев называют “агриппами”, что означает “рожденный в муках”» (Plin. NH. VII. 6. *2*). О его детстве и юности ничего неизвестно; можно лишь сказать, что они были безрадостными (Plin. NH. VII. *45*). Брат Агриппы воевал против Цезаря, попал в плен и был освобожден по его просьбе (Nic. Damasc. Caes.*7*).

Впервые мы встречаем Агриппу в Аполлонии, куда он отправился вместе с Октавианом для завершения риторического и военного образования (Nep. Att. 12. *1*). Их дружба, по всей видимости, возникла еще в ранней юности, а здесь, в Аполлонии, она значительно окрепла. Проводя время в разнообразных занятиях, они однажды посетили астролога Феогена. Молодые люди хотели знать, что их ждет. Агриппа обратился к астрологу первым. Выслушав от юноши все, что касалось его рождения, Феоген после недолгого размышления предсказал ему невероятное и великое будущее (Suet. Aug. 9*42*).

В Аполлонии друзья получили известие об убийстве Цезаря, и с этого времени Агриппа сделался доверенным лицом Октавиана, став его надежным помощником и неизменным членом так называемой партии Цезаря[1]. Вместе с Октавианом он отправился в Рим, где помог ему стать консулом. После этого по поручению Октавиана в августе 43 г. до н. э. он выступил обвинителем Гая Кассия, который был приговорен к смерти заочно (Plut. Brut. 27; Vell. Pat. II. 69. 5; Dio Cass. XLVI. 48–*49*). Затем Агриппа принял участие в первой битве при Филиппах в начале октября 42 г. до н. э., вероятно, в звании военного трибуна. Возможно, что вскоре после окончательного разгрома республиканской армии Агриппа женился на дочери Аттика[2] Помпонии, от которой у него была дочь Випсания Агриппина[3]. Устроил эту свадьбу, по сообщению Корнелия Непота, триумвир Марк Антоний (Nep. Att. 12. 1[4])

В 41 г. до н. э. против Октавиана выступил брат Марка Антония Луций и жена триумвира Фульвия. Оказавшись в затруднительном положении, Октавиан впервые поручил Агриппе высшее командование над своей армией. Благодаря его действиям Луций был отброшен в Перузию и там осажден. В течение декабря и января Агриппа построил огромные траншеи вокруг Перузии и окружил город со всех сторон, отрезав тем самым город от подвоза продовольствия (App. B. C. V. 32–*33*). В городе разразился страшный голод, и в начале марта 40 г. Луций сдался. Октавиан обошелся с ним благосклонно, не желая ссориться с Марком Антонием. Гораций прославил победу Агриппы в Перузийской войне (Od. I.*6*).

[1] *Неродо Ж.-П.* Август. М., 2003. С. 64.

[2] Тит Помпоний Аттик (110–32 гг. до н. э.) — крупный римский финансист, книгоиздатель и историк, друг Цицерона и Брута.

[3] Первая жена императора Тиберия, мать Друза Младшего, единственная из всех детей Агриппы, умершая своей смертью (Tac. Ann. III. *19*).

[4] Г. Ферреро полагает, что этот брак был заключен в конце 40 — начале 39 г. до н. э. (Величие и падение Рима. СПб., 1998. Кн. II. С. 184. Прим. *2*).

В 40 г. до н. э. Агриппа отправлял должность претора. В это время в Риме обычным явлением стали массовые беспорядки, во многом вызванные деятельностью Секста Помпея, который удерживал Сицилию и блокировал путь снабжения Рима хлебом. Марк Випсаний пытался бороться с этими беспорядками, организуя продовольственное снабжение и устраивая всевозможные развлечения. Во время игр в честь Аполлона, проходивших с 6 по 13 июля, он за свой собственный счет и на средства Октавиана предложил толпе множество зрелищ, из которых наибольший успех имела травля зверей. Не меньший восторг вызвали и конные состязания, носившие название Троянских игр, в которых приняли участие юноши и девушки из знатных семейств. Однако по окончании игр город снова погрузился в атмосферу недовольства[1]. Агриппа в это время должен был проявлять осторожность, чтобы не давать повода к зависти Октавиана, который, всем завидуя, не доверял никому из своих соратников (Dio Cass. XLIX*4*).

В сентябре 40 г. до н. э. начались военные действия Октавиана против Секста Помпея и Марка Антония. Октавиан отправил Агриппу в Южную Италию для отвоевания Сипунта, захваченного Антонием. Агриппа по пути безуспешно пытался призвать к оружию ветеранов, получивших земли в Южной Италии. Несмотря на это Сипунт он все же освободил (App. B. C. V. 57–*58*). Вскоре после этого, в октябре 40 г., по требованию своих солдат Октавиан и Марк Антоний примирились и заключили так называемый Брундизийский договор. Это соглашение фактически санкционировало войну с Секстом Помпеем[2]. Военные действия закончились весной 39 г. заключением Мизенского договора (App. B. C. V. 71–73; Dio Cass. XLVIII. 36–38; Vell. Pat. II. *77*). Однако ни Октавиан, ни Секст Помпей не собирались соблюдать условия договора, заключенного под давлением общественного мнения. Они выжидали подходящий момент, чтобы снова ринуться в бой[3].

Во второй половине 39 г. до н. э. Октавиан вместе с Агриппой отправился в Галлию, где восстали жители Аквитании. Но вскоре он возвратился, оставив Агриппу усмирять это восстание. Последний прекрасно справился с этой задачей, одержав ряд блестящих побед (Eutr. VII. 5; App. B. C. V. *92*). В это же время, будучи наместником Галлии, Агриппа первым, со времени перехода Цезаря через Рейн, вторгся в Германию (Dio Cass. XLVIII. 49; Tac. Ann. XII. *27*). Он принял под римское покровительство германское племя убиев (Tac. Ann. XII.*27*).

В начале 37 г. до н. э. Октавиан отзывает Агриппу из Галлии и добивается от сената для него триумфа. Однако Агриппа отказывается от такой высокой чести (Dio Cass. XLVIII. 49)[4], продемонстрировав тем самым свою верность

[1] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 106.

[2] *Егоров А. Б.* Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 82.

[3] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 108.

[4] По мнению Ферреро, отказ Агриппы, возможно, был мотивирован тем, что он боялся зависти Октавиана (*Ферреро г.* Величие... С. 2*00*).

главе цезарианской партии. Нет сомнений в том, что благородный жест Агриппы был результатом тщательно спланированной акции, рассчитанной на определенный эффект[1]. Неслучайно именно в это время была отчеканена монета, на одной стороне которой красовался профиль Агриппы, а на другой — изображение Октавиана.

В 37 г. до н. э. Агриппа становится консулом. В это время Октавиан начинает войну с Секстом Помпеем. Командующим в этой войне назначается Агриппа. Он решительно взялся за решение стоявшей перед ним задачи. Проанализировав причины последних неудач (поражение Октавиана в Сицилии от Секста Помпея), Марк Випсаний приходит к единственно верному выводу о необходимости создания нового флота. Найдя подходящее место на побережье Кампании, между Путеолами и Байями, он начал строительство флота (Diod. Sic. IV. 22; Suet. Aug. 16; Dio Cass. XLVIII. 49; Vell. Pater. II. LXXIX. 1–2; Flor. IV. 8. *6*). Набрав рабочих, Агриппа соединяет каналом Авернское и Лукринское озера и создает прекрасную гавань, названную Юлиевой в честь Гая Юлия Цезаря Октавиана. Работы по сооружению нового флота и подготовке корабельных команд заняли весь 37-й и первые месяцы 36-го года. Наконец, все было готово, и 1 июля 36 года до н. э. корабли покинули порт Байи и вышли в открытое море. Овладев Липарскими островами, Агриппа вскоре одержал победу над флотом Секста Помпея в морской битве при Милах (App. B. C. V. 105; Dio Cass. XLIX. 2–*3*). В то же время Октавиан потерпел тяжелое поражение под Тавромением. Однако незавидное положение спас Агриппа. 3 сентября 36 года он одержал решающую победу в битве при Навлохе (Vell. Pater. II. 79. *5*). В этом сражении он впервые употребил специальное устройство — гарпакс[2] (App. B. C. V. 1*18*). В результате боя у Помпея было потоплено 28 кораблей, у Агриппы — 3 (App. B. C. V. 116–121; Dio Cass. XLIX. 8–*11*). В 28 г. состоялось открытие храма Аполлона, воздвигнутого на Палатинском холме в честь победы при Навлохе (Prop. Eleg. II. *31*). За эту победу Агриппа первым из римлян получил золотой корабельный венок (corona rostrata или navalis) — за особую доблесть (Vell. Pater. II. 81. 3), — и земли в Сицилии (Hor. Ep. I. 12. *1*). Конечно, Агриппа мог потребовать и публичного признания своих блестящих побед, которые в равной мере продемонстрировали как его военный талант, так и полководческую бездарность Октавиана. Однако он этого не сделал, а предпочел сохранить верность человеку, одного имени которого казалось достаточно, чтобы обеспечить себе головокружительную карьеру[3].

[1] *Ферреро Г.* Величие... С. 117.

[2] Гарпакс — пятифутовое бревно, обитое железом и снабженное с обоих концов кольцами. На одном из колец висел железный крюк, а к другому кольцу было прикреплено множество канатов, которые при помощи машин тянули гарпакс, когда он зацеплял вражеский корабль.

[3] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 124.

После разгрома Помпея Агриппа вместе с Октавианом в 35 и 34 гг. до н. э. удачно сражался с далматами и иллирийцами (App. Ill. 16–21; Dio Cass. XLIX. 35–*38*).

Завершив Иллирийскую войну, Октавиан позаботился о том, чтобы укрепить свой кредит доверия со стороны римского плебса. И вновь он призывает на помощь Агриппу и назначает его в 33 г. на должность эдила (Dio Cass. XLIX. 43), что с точки зрения развития политической карьеры означало добровольный шаг назад, так как Агриппа уже был консулом. Тем не менее, Агриппа согласился занять эту должность и даже потратил значительную часть своих средств на удовлетворение римского общества. К этому времени он был очень богат и использовал доходы от сицилийских поместий на общественные сооружения. Во время своего эдилитета он реставрировал старые водопроводы и построил новый (Aqua Julia), протяженностью 20 км (Dio Cass. XLIX. *43*). Как сообщает Плиний Старший, Агриппа соорудил 700 водохранилищ, 500 фонтанов, 130 водонапорных башен, причем великолепно их украсил (HN. XXXVI. 1*21*). Кроме того, он предоставил в бесплатное пользование на год 170 общественных бань, где бесплатно выдавались масло и соль для мытья. Их арендаторам и владельцам он уплатил годовой доход. На свои средства Агриппа восстановил все общественные здания и все дороги, очистил клоаки и проплыл по ним на лодке в Тибр (Dio Cass. XLIX. *43*). Развернув столь бурную деятельность, он тем самым обеспечил работой римских ремесленников.

Агриппа организовал Римские игры, длившиеся 59 дней. Во время их проведения в публику бросались тессеры — дощечки с названием того предмета, на который имел право поймавший тессеру (Dio Cass. XLIX. *43*). Он также приказал расставить посреди цирка столы, наполненные подарками, которые народ разбирал после представления[1].

Демонстрируя свою староримскую добропорядочность, Агриппа изгнал из Рима магов и астрологов, в немалом количестве обосновавшихся в городе. Наконец, он запретил привлекать к суду по обвинению в пиратстве, т. е. в сочувствии и помощи Сексту Помпею. Все эти мероприятия свидетельствовали о некотором умиротворении, о возрождении былой мощи и величия Рима[2]. Эдилитет Агриппы надолго остался в памяти римских граждан.

В 32 г. до н. э. Октавиан начинает войну с Марком Антонием. И вновь ему понадобилась помощь и военный талант Агриппы. Он завоевал остров Левкаду, захватил Петры и, наконец, одержал решающую победу в морской битве при Акции 2 сентября 31 г. (Dio Cass. LI. 1; Plut. Ant. 65–68; Vell. Pat. II. 84–85; Eutr. VII. *7*). Через несколько дней после этой победы Агриппа взял Коринф (Dio Cass. L. *13*). Однако опять все почести достались Октавиану.

[1] *Ферреро Г.* Величие... С. 257.

[2] *Шифман И. Ш.* Цезарь Август. Л., 1990. С. 79–80.

В конце 31 г. до н. э. Меценат, управлявший Римом от имени Октавиана, сообщает о попытке государственного переворота, предпринятой Лепидом, сыном бывшего триумвира, и волнениях среди солдат, вернувшихся в Италию из чужих стран без вознаграждения. Тогда Октавиан отправляет в Рим Агриппу, вручив ему дубликат своей личной печати. Однако последнему не удалось успокоить солдат, и он посылает императору письмо за письмом, сообщая о необходимости его личного присутствия (Plut. Ant. 73; Dio Cass. LI. 4; Suet. Aug. *17*). Октавиан вынужден был на несколько дней вернуться в Италию, чтобы уладить все дела, после чего вновь отправился на Восток.

Агриппа, находясь в это время в Риме, по воле Октавиана в 30 г. до н. э. женился на его племяннице Клавдии Марцелле (Plut. Ant. *87*). От этого брака у него было несколько детей.

По сообщению Диона Кассия, в 29 г. до н. э. в ближайшем окружении Августа имела место дискуссия о дальнейшей судьбе государства. В ней приняли участие Меценат и Агриппа. Историк вкладывает в уста обоих деятелей пространные речи. Агриппа выступил в роли убежденного республиканца (Dio Cass. LII. 1–*14*). По его мнению, республиканский строй не только гарантирует равенство всем гражданам, но и является антиподом тирании. Поэтому он призывает Октавиана во имя мира и благополучия отказаться от своих исключительных полномочий. Демократические взгляды Агриппа аргументирует расхожими штампами из греческой политической философии, рассуждая о справедливости и добродетели, соответствующих человеческой природе[1]. По этой причине один из современных исследователей приходит к вполне убедительному выводу, что мысли, вложенные Дионом в уста Агриппы, не представляют собой реальной альтернативы монархическому правлению, а служат демонстрацией старомодности и непрактичности демократических идей в контексте мировой империи I в. до н. э.[2] Октавиан не последовал совету своего полководца, а выбрал монархическую концепцию Мецената. И Агриппа, хотя и держался иного мнения, охотно помогал ему во всем, как если бы сам был инициатором (Dio Cass. LII. *41*). В дальнейшем выясняется, что и сам Випсаний превратился в горячего приверженца монархии (Dio Cass. LIV. 29.*3*).

В 28 и 27 гг. до н. э. он вместе с Октавианом был консулом. В 28 г. консулы Октавиан и Агриппа получили дополнительные полномочия, ранее принадлежавшие цензорам. Это позволило им провести первую после 40-летнего перерыва перепись населения и составить новые списки сената (Dio Cass. LIII. 1; Plut. Ant. *87*). Они «очистили» сенаторские ряды от 190 человек. А новый сенат присвоил Октавиану почетное звание «первого в списке сената» (princeps senatus). Будучи консулом, Октавиан разделял со своим коллегой Агриппой использование фасциев (Dio Cass. LIII. 1; RGDA. 34. *3*). По принимаемому многими исследователями толкованию Т. Моммзена, с 28 г. ликторы с 24 фасциями, сопровождавшие Октавиана, были разделены на две части: по 12 у Октавиана и Агриппы[1]. Р. Сайм считал такое толкование недоразумением, так как речь у Диона шла не о разделении, а о ежемесячной ротации одних и тех же 12 фасциев[2].

[1] *Межерицкий Я. Ю.* «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и политики императора Августа. М.-Калуга, 1994. С. 182.

[2] *McKehnie P.* Cassius Dios speech of Agrippa: a realistic alternative to imperial government? // G&R. 1981. XXVIII. № 2. P. 154.

В 27 г. до н. э., в свое третье консульство, Агриппа активно занимается строительством. Он почти окончил Пантеон, завершил строительство другого грандиозного сооружения — Saepta Julia, предназначенного для комиций. Он решил превратить скромный laconicum, построенный позади Пантеона, в огромные пышные термы и провел для этого новый водопровод длиной в 20 км, названный Aqua Virgo. Агриппа сделал для водоснабжения Рима то, что Цезарь для его финансов. Согласно неписаной римской конституции, водопроводами должны были заниматься цензоры и эдилы. Но цензоры уже давно не были избираемы, а эдилы не заботились о водопроводах. Поэтому Агриппа выбрал среди своих рабов человека, деятельного и смышленого, который должен был наблюдать за римскими акведуками, исправлять их и поддерживать в хорошем состоянии (Frontin. De aqu*86*).

В 25 г. до н. э. Агриппа по поручению Августа присутствовал на брачной церемонии своего юного зятя Марцелла и дочери Октавиана Юлии (Dio Cass. LIII. *27*). На свадьбе Агриппа восседал на месте Августа, который из-за болезни задержался в Тарраконе, что явилось свидетельством его возросшего влияния.

В 23 г. Август вновь тяжело заболел. Тогда с присущей ему театральностью он созвал магистратов, сенаторов и всадников, однако не назвав, как все ожидали, имени своего преемника. Обсудив с собравшимися государственные дела, Август вручил Пизону меморий, в котором расписал состояние дел и размеры доходов империи, после чего надел свое кольцо на палец Агриппе (Dio Cass. LIII. 30. 1–*2*).

Итак, сознавая, что болезнь не даст ему довести до конца задуманное дело, Август вручил сенату отчет о своей работе и в качестве самой достойной кандидатуры на роль принцепса указал Агриппу. Этот жест, далекий от династических побуждений, знаменовал собой шаг к восстановлению республики[3].

Однако все изменилось, когда Август поправился. Он приблизил к себе Марцелла, усыновив его и сделав своим наследником. В нарушение возрастного ценза Марцелл был назначен эдилом, и ему была поручена подготовка пышных игр (Dio Cass. LIII. *31*). Сам же Марцелл стал проявлять нетерпение и все чаще бросал косые взгляды на Агриппу, злясь на него за то предпочтение,

[1] The Cambridge ancient history. Vol. X. Cambr., 1934. P. 123.

[2] *Syme R.* Tacitus. P. 365; *idem*. The Augustan aristocracy. Oxford, 1986. P. 1. N. 1.

[3] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 173.

которое оказал ему Август. Вскоре после того как Август окончательно поправился, Агриппа неожиданно покинул Рим и уехал в Митилены. Его отъезд вызвал новые пересуды, главной темой которых стала предполагаемая ссора Агриппы с Марцеллом. Светоний говорит, что Агриппа уехал в негодовании на предпочтение, оказанное Марцеллу, а также вследствие начинающегося охлаждения к нему Августа (Suet. Aug. 66. *3*). Об этих слухах сообщает и Веллей Патеркул (II. 93. *2*). Дион Кассий же передает дело совершенно иначе. По его версии (LIII. 32), Август послал Марка Випсания на Восток потому, что Марцелл завидовал Агриппе, которого Август предпочел ему, когда назначил своим преемником во время своей болезни. Дион, впрочем, противоречит сам себе. В другом месте (LIII. 30) он уже сказал, что Август никого не назначил своим наследником, ибо его должность не была наследственной.

Новейшие историки не слишком доверяют слухам о ссоре и полагают, что Агриппа уехал на остров вовсе не из-за оскорбительного поведения Марцелла, а потому, что получил особое задание от Августа — подготовить почву для его поездки по Востоку, планировавшейся на ближайшее время. Существует предположение, что он был отправлен с тайной дипломатической миссией для подготовки соглашения с Парфией[1]. Античные источники вообще умалчивают о конкретном содержании деятельности Агриппы в этот период[2]. Действительно, если судить по источникам, между Августом и Агриппой никогда не было разногласий. Вполне возможно, что решение об отъезде Агриппы они приняли сообща, стремясь таким образом положить конец слухам о раздорах внутри семейства Августа[3]. Наиболее вероятно, что Август назначил тогда Агриппу в Сирию своим легатом. Иосиф Флавий сообщает, что Випсаний управлял всей Азией в течение десяти лет (A. I. XVI. 3. *3*). Но это, несомненно, ошибка. По всей видимости, иудейский историк смешал эту первую миссию с более продолжительной миссией, имевшей место впоследствии. По свидетельству Диона Кассия (LIII. 32), Агриппа остался на Лесбосе, а в Сирию послал своих легатов. Однако легат не мог, в свою очередь, посылать легатов. Дион, видимо, ошибся, приняв за легатов Агриппы меньших магистратов, возможно, квесторов[4].

В 22 г. до н. э. умер Марцелл, единственный мужской потомок Октавиана (Dio Cass. LIII. 30; Vell. Pater. II. 93; Plin. HN. XIX. 1. *24*). Во второй половине 22 г. Август покинул Рим и отправился в поездку по провинциям. В Риме же начались беспорядки в связи с нехваткой продовольствия. Тогда Август вновь призывает Агриппу и отправляет его в Рим в качестве правителя (Dio Cass. LIV. 10. 2), хотя последний не обладал признанным конституционным

[1] *Magie D.* The Mission of Agrippa to the Orient in 23 B.C. // CPh. 1908. Vol. 3. P. 145 f.

[2] *Reinhold M.* Marcus Agrippa. A Biography. Geneva; New York, 1933. P. 169, 173.

[3] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 175.

[4] *Феррero г.* Величие... С. 403. Прим. 2.

статусом[1]. в. Гардтхаузен считает, что Агриппа был назначен префектом города[2]. А. Премерштейн настаивает, что Август направил Агриппу в Рим на основе своей cura et tutela[3]. Э. Сэлмон подчеркивает неопределенность статуса Агриппы в Риме в 21–20 гг. до н. э.[4] Как бы то ни было, это назначение свидетельствует о возрастании роли Агриппы.

В это время Август окончательно вводит Агриппу в правящую семью как единственного человека, способного в любой момент заменить его самого. С этой целью Август женит его на своей дочери Юлии (Suet. Aug. 63), которая стала вдовой после смерти Марцелла. Но для этого Агриппе пришлось развестись с Марцеллой. По мнению Плутарха (Ant. 87. 3), эту идею предложила сестра Августа Октавия. За этими планами стояли не только семейные, но и политические интересы. Подыскивая себе нового зятя, Август советовался с Меценатом, и тот заявил, что Агриппу надо либо убить, либо женить на Юлии. Поскольку об убийстве Агриппы не могло идти и речи, то оставалась женитьба (Dio Cass. LIII. 33. *4*). Марк Випсаний играл в государстве слишком важную роль, и Август не мог в очередной раз допустить его соперничества со своим более молодым зятем[5]. Делая Агриппу своим зятем, он возбуждал его усердие и давал большой авторитет перед народом (Dio Cass. LIV. *6*). После брака с Юлией Агриппа явно становился неофициальным наследником и преемником Августа.

Этот брак оказался для Агриппы несчастливым. Юлия неоднократно изменяла ему. Однако, несмотря ни на что, она честно исполнила свой супружеский долг и родила мужу пятерых детей. В 20 г. до н. э. родился первый сын Юлии и Агриппы, Гай, а в 17 г. — Луций. Супружеской чете принадлежал дом, расположенный на правом берегу Тибра. Теперь этот дом известен под именем виллы Фарнезе, основой для которой он и послужил. До наших дней сохранились фрагменты живописи и великолепной фактуры орнаментов из искусственного мрамора, имеющие огромную ценность для истории древнеримского искусства[6]. Возможно, дом построил Агриппа и в качестве свадебного подарка преподнес его Марцеллу и Юлии, а после смерти молодого человека получил назад[7]. Этот дом позволяет нам составить представление о проживавшей здесь супружеской паре как о людях образованных, с тонким вкусом и максимально приближенных к верховной власти.

[1] *Межерицкий Я.Ю.* «Республиканская монархия»... С. 266.

[2] *Gardthausen V.* Augustus und seine Zeit. Berlin, 1897. Bd. I. S. 809.

[3] *Premerstein A.* Vom Werden und Wesen des Prinzipats. Munchen, 1937. S. 117.

[4] *Salmon E.T.* The evolution of Augustus principats // Historia. 1956. Bd. 5. P. 471.

[5] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 177–178.

[6] Там же. С. 270.

[7] См: *Roddaz J.-M.* Marcus Agrippa. P. 235. Существуют и другие версии принадлежности этого дома, но гипотеза о том, что владельцем дома был именно Агриппа, считается сегодня наиболее достоверной.

В 19 г. до н. э. Агриппа подавил восстание астуров и кантабров в Испании, но вновь не принял триумфа (Dio Cass. LIV. 14; Hor. Ep. I. 12. *26*). Затем он отправился в Галлию, где выполнил несколько важных мероприятий. Однако в 18 г. Август отзывает Агриппу в Рим. Дело в том, что Август решил разделить власть и ответственность за нее со своим зятем, наделив последнего огромными полномочиями. Агриппа вместе с Августом был наделен трибунской властью сроком на пять лет (Dio Cass. LIV. 12; Vell. Pater. II. 90; Tac. Ann. III. *56*). Кроме того, он получил проконсульский империй — высшую военно-административную власть сначала на Востоке, а затем и на Западе; право издавать эдикты и, вероятно, cura morum, т. е. цензорские полномочия. С этого времени Агриппа стал коллегой и фактически соправителем Августа. Таким образом, теперь над консулами стояли фактически два принцепса, избранные на пять лет[1].

В 17 г. до н. э. Август как глава коллегии пятнадцати принял решение отпраздновать Столетние игры (RGDA. 22.*2*). В этом ему помогал Агриппа. В ночь с 31 мая на 1 июня Август и Агриппа на том месте, где стоял Тарент, совершили жертвоприношение Паркам. На следующий день они принесли в жертву Юпитеру Капитолийскому по белому быку. На следующую ночь восславили богиню деторождения Илифию, а когда настал очередной день, каждый из них почтил Юнону Повелительницу, принеся в жертву корову. На третью ночь на алтарь Матери-земли возложили супоросную свинью, а днем принесли дары Аполлону и Диане[2].

В это время карьера Агриппы достигла апогея. Он был включен в династический культ Юлиев. Его статуя была установлена рядом со статуей Августа в Пантеоне в вестибюле храма (Dio Cass. LIII. 27), что делало их обоих сакральными фигурами[3]. О том, как она выглядела, можно судить по денариям монетария Луция Лентула, на которых изображен Август, возлагающий венок на голову памятника[4]. В честь Агриппы появились общества его почитателей-филагриппов в Спарте и Малой Азии (οἱ φιλαγρίππαι συμβιωταί)[5]. За выдающиеся военные заслуги и помощь в управлении государством Август даровал Агриппе право помещать свой портрет на аверсах монет. Уже в 28 г. до н. э. головы Августа и Агриппы появились на аверсе монет Немауса (римская колония в Нарбонской Галлии, совр. Ним). Такие же монеты выпускались в Галлии и в 14 г. до н. э. В 13 г. монетарий Сульпиций Платорин выпустил ауреусы и денарии с портретом Агриппы. На некоторых из них Агриппа изображен в ростральной короне, на других — без короны. В этом же году Платорин отчеканил денарии с двойным портретом на реверсе: оба руководителя государства сидят на двойном стуле на возвышении. После смерти Агриппы Сульпиций Платорин выпустил еще один тип денариев с его портретом. На денариях Косса Лентула изображена конная статуя Агриппы. На денариях обоих Лентулов изображены Август, венчающий статую Агриппы, и голова последнего в комбинированной муральной и ростральной коронах. По мнению Коэна, первые портреты Агриппы появились еще в 18 г. до н. э. Маттингли относит их появление к 13 г. до н. э. Мураль ная корона и ростральный венок перешли в иконографию Агриппы на монетах из устоявшегося типа его статуарных изображений[1]. Возможно, портреты Агриппы на монетах изображались еще раньше. Сестерции с его портретом в ростральном венке и фигурой обнаженного Нептуна на реверсе А. Н. Зограф датирует 31 г. до н. э., а Грюбер относит денарии с его портретом даже к 38 г. до н. э.[2] Монеты с изображением Агриппы чеканились позже императорами I в. н. э.

О большом влиянии Агриппы свидетельствует и его изображение на Алтаре мира. Решение о его возведении было принято сенатом в 13 г. до н. э. Алтарь окружен мраморной оградой, стены которой украшены рельефными изображениями. Барельеф одной из стен изображает процессию, участвовавшую в освящении алтаря 4 июля 13 г. Возглавляет процессию сам Август. Перед ним шествуют ликторы, за ним — фламины[3], за фламинами — снова ликторы. Дальше в строгом иерархическом порядке следуют члены семьи. Первым идет Агриппа, рядом с ним его старший сын Гай, далее видна женская фигура — очевидно, это Юлия (или, возможно, Ливия)[4]. Такое расположение фигур со всей определенностью говорит о статусе каждого в семье Августа.

Значительную роль играл Агриппа и в восточной политике Августа. Еще в 22–20 гг. до н. э. он сопровождал Августа в его поездке на Восток, в ходе которой последний провел реорганизацию вассальных царств[5]. Агриппа, по всей видимости, пользовался большим авторитетом на Востоке. В его честь Фанагория на Боспоре была переименована в Агриппию. В 16 г. он вместе с Юлией отправился на Восток[6]. Здесь он вмешался в ситуацию на Боспоре и помешал авантюристу Скрибонию стать царем Боспора[7]. После этого

[1] Автором теории «двойного принципата» был Э. Корнеманн (*Kornemann E.* Doppelprinzipat und Rechsteilung im Imperium Romanum. Leipzig; Berlin, 1930). Ср.: *Машкин Н. А.* Принципат Августа. М.-Л., 1949. С. 537.

[2] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 186–188.

[3] *Шифман И. Ш.* Цезарь Август. С. 164.

[4] *Абрамзон М. Г.* Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской Империи. М., 1995. С. 551.

[5] Там же. С. 347.

[1] *Абрамзон М. Г.* Монеты как средство... С. 349–351.

[2] Там же. С. 351.

[3] Жрецы отдельных божеств. В республиканскую эпоху их было 15 человек. Они делились на старших и младших. Должность их была пожизненной.

[4] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 296–297.

[5] *Сапрыкин С. Ю.* Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002. С. 90.

[6] *Феррero Г.* Величие... С. 485. О том, что Юлия отправилась на Восток вместе с Агриппой, известно не только из надписей в ее честь, но и из одного анекдота (см.: FHG. III. 350).

[7] *Феррero Г.* Величие... С. 502.

Август и Агриппа планировали объединить Понтийское и Боспорское царства под сюзеренитетом Рима. С этой целью Агриппа хотел выдать боспорскую царицу Динамию замуж за Полемона, царя Понта[1]. Для расширения римского влияния он целенаправленно проводил политику поощрения полисов, всегда бывших на Боспоре проводниками римского влияния и политики, политической и экономической самостоятельностью. Вероятно, именно в это время Пантикапею (переименованному в Кесарию) и Фанагории (переименованной в Агриппию) было предоставлено право чекана монет[2].

Находясь на Востоке, Агриппа вместе с Юлией принимал бесчисленные почести, присутствовал на праздниках, позволял осыпать себя похвалами в надписях и воздвигать свои статуи из мрамора и бронзы[3]. Весной 15 г. до н. э. Агриппа и Юлия отправились с визитом к Ироду, который, желая оказать им любезность, прибыл к ним в Азию. Вообще, Випсаний находился в дружеских связях с Иродом. Последний даже сопровождал Агриппу во время морской демонстрации силы по Черному морю (Ios. Flav. Ant. XVI. 2. *2*). Ирод назвал в честь Агриппы одну из комнат своего дворца (Ios. Flav. Ant. XV. 9. *3*). По просьбе Ирода Агриппа посетил Иудею, где был встречен гостеприимно и богато одарен подарками (Ios. Flav. Ant. XVI. 2. *1*). В целом, следует признать, что Агриппа успешно справился со своей миссией на Востоке.

В начале 13 г. до н. э. Август пригласил Агриппу вернуться в Италию. В это время Август задумал завоевание Германии. Необходимость этого заключалась в том, чтобы предотвратить грозившие в будущем опасности и спокойно владеть Галлией и дунайскими провинциями. По всей вероятности, Агриппа вернулся ради этой германской экспедиции. Возможно, Август хотел поручить руководство предприятием именно ему[4]. Когда Агриппа вернулся в Рим, Август вместе с ним выработал оригинальный и остроумный план военных действий, идея которого, без сомнения, принадлежала Агриппе. Речь шла о вторжении в Германию по рекам Эмса и Везер[5].

В этом же году Август и Агриппа получили от сената продолжение своих полномочий еще на пять лет (Dio Cass. LIV. *28*). А в конце 13 или начале 12 г. до н. э. Август с помощью сената производит разделение гражданской и военной власти, до того слитой в лице обоих принцепсов. Себе Август оставил лишь гражданскую власть, а Агриппа получил высшую военную власть, т. е. был поставлен во главе всех легионов (Dio Cass. LIV. *28*). После этого Агриппа уехал в Паннонию, где вспыхнуло восстание. Однако уже в феврале 12 г. он возвращается из Паннонии, чтобы весной отправиться в Галлию и возглавить рейнские легионы. Но во время своего путешествия он тяжело заболел в Кампании. Узнав об этом, Август незамедлительно поспешил к нему. Но он опоздал. Марк Випсаний умер прежде, чем Август добрался до Кампании. Август понес невосполнимую потерю. Умер его самый верный и надежный друг, ближайший помощник в государственных делах, человек сильный и здоровый, никогда не ведавший других болезней, кроме мучившей его подагры (Plin. HN. XXIII. 27. *4*). Августу пришлось возвращаться в Рим, сопровождая лишь прах Агриппы. Он организовал ему роскошные похороны, на которых произнес похвальное слово умершему. Поскольку по древнему обычаю понтификам не полагалось смотреть на вещи, имевшие хоть какое-нибудь отношение к смерти, Август, не желая отказать другу в последнем выражении признательности, приказал закрыть от него тело покойника занавесом. Обращаясь к почившему Агриппе, Август говорил: «В год консульства Лентулов сенат на пять лет наделил тебя властью трибуна; в год консульства твоих зятьев Тиберия Нерона и Квинтилия Вара такая же честь была оказана тебе еще на пять лет. В какую бы провинцию ни привели тебя дела, никто, по законам Римской республики, не обладал в этой провинции властью большей, чем ты. Но ты, своими добродетелями и нашей привязанностью с всеобщего согласия вознесенный к самым вершинам могущества...»[1].

В этом фрагменте выдержан пафос похвального слова, в целом совпадающий с тональностью «Деяний». Август явно пытался использовать траурную церемонию для демонстрации общественного согласия. Поэтому Август устроил в честь покойного зятя публичные траурные игры. Кроме того, невзирая на недовольство римской аристократии, он приказал захоронить останки Агриппы в своем личном мавзолее. Но Августа ждало разочарование. Агриппа был «новым человеком», и самые видные римские граждане так и не простили ему низкого происхождения. Они отказались почтить игры своим присутствием. Смерть Агриппы не только не сплотила римское общество политически и эмоционально, но и сделала явными те скрытые источники, которыми питалось недовольство высшего римского общества политикой Августа[2].

Агриппе так и не суждено было стать «первым». По мнению М. Гранта, он был обречен на роль «вечно второго» и не предназначался в наследники трона[3]. С этим мнением, пожалуй, можно согласиться. Действительно, Агриппа на протяжении всей своей жизни оставался верным соратником Августа и никогда между ними, судя по источникам, не было ни одной размолвки. Агриппа верил в звезду Юлиев. Он был образцом римлянина, еще не развращенного умственным вырождением, пороками и деньгами. Он умел со-

[1] *Ферреро Г.* Величие... С. 502.
[2] *Roddaz J.-M.* Marcus Agrippa. Rome, 1984. P. 463–468.
[3] *Ферреро Г.* Величие... С. 503.
[4] Там же. С. 519. Прим. 2.
[5] Там же. С. 530–531.

[1] Этот текст является фрагментом похвального слова Агриппе, произнесенного Ав-густом. Он взят из недавно обнаруженного папируса, на котором был записан греческий перевод речи. См.: Неродо Ж.-П. Август. С. 196.
[2] *Неродо Ж.-П.* Август. С. 197.
[3] *Grant M.* Herod the Great. L., 1971. P. 176.

единить с прекрасными добродетелями качества, даваемые высокой культурой. С умом одновременно сильным и гибким, практическим и стремящимся к знаниям, с душой гордой, но простой и непоколебимой, преданной и верной, он умел в одно и то же время быть генералом, адмиралом, архитектором, географом, писателем, коллекционером и организатором государственного управления. Агриппа был умным и проницательным человеком и понимал, что рассчитывать на получение верховной власти ему, человеку новому и незнатному, не приходится. В течение тридцати двух лет он отдавал свой разнообразный и неистощимый талант сперва на службу «партии Августа», а затем на службу римскому государству и народу. Он оставил прекрасное наследие в своих «Комментариях», монументальном сборнике географических и статистических сведений обо всех провинциях, при помощи которого он начал составлять большую карту империи для общего пользования. Судьба навсегда привязала его имя к фасаду Пантеона, но не пожелала сравнять с Юлием Цезарем, не дав ему времени завоевать Германию. И, тем не менее, имя Агриппы навсегда вписано в анналы истории.

А. П. СКОГОРЕВ (МОСКВА)

«ЗАБЫТЫЙ» АПОСТОЛ В КАНОНЕ И АПОКРИФАХ

Апокрифические легенды древности и раннего средневековья дают немало примеров того, как персонажи евангельских сказаний, лишь вскользь упомянутые каноническими текстами, постепенно выдвигались в сознании христиан на авансцену новозаветной истории и становились центральными фигурами настоящих эпосов. Достаточно вспомнить в этой связи о «кровоточивой жене» Веронике или сыновьях Симона Киренианина, помогавшего Христу нести крест на Голгофу, — Руфе и Александре. Но, пожалуй, самый впечатляющий статусный взлет демонстрирует «посмертная судьба» апостола Варфоломея. На примере легенд, сложившихся вокруг его имени еще в древности, попытаемся выяснить, какими факторами были обусловлены подобные процессы и по каким моделям формировалась эта «виртуальная историческая реальность».

* * *

В новозаветных текстах и древнейшей церковной традиции фигура апостола Варфоломея едва различима. О любом из учеников Христа там сказано гораздо больше. Про каждого из них мы, по крайней мере, знаем, откуда он родом или чем занимался до встречи с Учителем. Варфоломея же мимоходом, в числе прочих апостолов только называют три первых евангелия, и так же мимоходом он единственный раз упомянут в канонических «Деяниях»[1]. В четвертом евангелии это имя не встречается, хотя принято считать, что Варфоломей тождественен Нафанаилу из Каны Галилейской[2], о котором, впрочем, в евангелии от Иоанна тоже сказано совсем не много: Иисус однажды назвал его «истинным израильтянином, в ком нет лукавства» (Ин. 1, 46–47).

Отношение к Варфоломею как апостолу «второго ряда» долгое время сохраняла и церковная традиция: христианские авторы II — III вв. словно забывают об этом ученике Христа, а в дошедших до нас писаниях IV в. он упомянут только дважды — сначала Евсевием Кесарийским (*Церковная история*, V, 10), а затем Иеронимом (*De viris illustribus,* 36). Оба приводят одно и то же короткое сообщение о проповеди Варфоломея в Индии, где, по их словам, он оставил Евангелие от Матфея, написанное еврейскими буквами. Столь же кратко, но используя какую-то другую традицию, говорит о нем в начале V в. Ефрем Сирин: «Варфоломей дал индийцам Евангелие

[1] См.: Мф. 10, 3; Мк. 3, 18; Лк. 6, 14; Деян. 1, 13.

[2] В вопросе о тождестве Варфоломея — Нафанаила не было согласия уже в древности; признаваемое большинством христианских писателей, оно отрицалось такими столпами церкви как Августин Блаженный и Григорий Великий. Споры по этому вопросу продолжаются и поныне.

Матфея и был там епископом, и проповедовал в Ликаонии»[1]. С Индией связывает Варфоломея и короткое упоминание о нем «Церковной истории» Сократа Схоластика (I, 19), написанной в конце 30-х годов V в. Других сведений об этом апостоле раннехристианская традиция не содержит. Православная богословская энциклопедия в статье, посвященной Варфоломею, опираясь на Священное писание и святоотеческое предание, констатирует: «О жизни и деятельности его почти ничего не известно»[2].

Поначалу «второстепенность» Варфоломея в полной мере ощущалась и в апокрифах. В древнейших легендах он выступает только как «спутник», «помощник», «сотоварищ» других учеников Иисуса. Гностические «Деяния Филиппа» называют его не апостолом, а лишь «одним из семидесяти учеников Господа», хотя ни в одном новозаветном тексте такое лицо ни разу не упоминается. Сопровождающий Филиппа во фригийский город змеепоклонников Гиерополь, Варфоломей иной раз даже не удостаивается быть названным в этих деяниях по имени и вместе с сестрой Филиппа Мариам попадает в число «тех, кто с ним». Если самого Филиппа жители Гиерополя подвергли изощреннейшим истязаниям, то Варфоломея лишь поставили наблюдать за ходом казни, пригвоздив, правда, его ладони к вратам храма. Даже наказанный за жестокосердие и отстраненный Христом от благовестия Филипп, продолжает давать Варфоломею указания[3]. Такая же подчиненность Варфоломея видна и в другой древней легенде — «Деяниях апостола Матфея»[4]. А в одном из эфиопских сказаний Петр даже продает Варфоломея в рабство[5].

Однако в III в. начинает постепенно формироваться иной облик этого апостола. В так называемом «Арабском евангелии детства» (гл. 30) сохранилась легенда о том, как тяжело заболевшего младенца Варфоломея мать принесла к Деве Марии и, чтобы исцелить его, положила в постель, где обычно спал отрок Иисус[6]. Соединение Варфоломея уже в младенческом возрасте со Св. Семейством было призвано свидетельствовать об особом избранничестве этого апостола и выдвигало его на авансцену апокрифической апостолиады. Но с превращением Варфоломея в одну из центральных фигур христианского эпоса, остро стала ощущаться скудость сведений о нем. Их искали всюду, внимательно и даже пристрастно вслушиваясь в само имя Варфоломея. Для иудеохристиан оно звучало как «сын Талмая (или Фалмая)», не выделяя своего владельца из среды остальных учеников Иисуса. Зато обращенные в христианство греки, римляне, египтяне слышали в нем указание на царственное происхождение апостола — «сына Птолемеев» — последней династии египетских фараонов. Возможно, в этом заключалась одна из причин его популярности у египетских христиан — коптов. О том, сколь велика она была, свидетельствуют сохранившиеся лишь на коптском языке фрагменты псевдоэпиграфического «Откровения Варфоломея». Писания такого рода христианская традиция связывала лишь с самым узким кругом наиболее чтимых лиц — Авраамом, Моисеем, Девой Марией, «любимым учеником» Господа Иоанном, «первоверховными» апостолами Петром и Павлом. Включение коптами в этот круг Варфоломея говорит об их совершенно особом отношении к нему. Со временем, (во II или III вв.) появилось и псевдоэпиграфическое Евангелие от Варфоломея, его упоминал в IV в. Иероним Блаженный[1], а в конце V или начале VI столетия осудил Декрет папы Геласия[2].

Легенды о царском происхождении Варфоломея долгое время бытовали и среди сирийских христиан. В них он представлен, племянником бездетного царя, престол которого ему предстояло унаследовать. Прослышав об учении и чудесах Христа, юный принц пожелал стать Его учеником, однако смущаемый слухами о том, что ученики Христа бедны и ходят небрежно одетые, он написал Спасителю письмо: «Хотел бы учеником твоим стать, если согласишься оказать мне одну любезность: разреши мне в знак царственного достоинства моего всегда пурпурные одежды носить, и буду я следовать за тобой во всякий день жизни моей». Христос согласился с этим пожеланием, но потребовал, чтобы Варфоломей отказался от «верхней хламиды» и вообще одевался попроще, «ибо естественной одеждой человека является его кожа»[3]. Так принц оказался в числе апостолов, но всю жизнь продолжал носить одежду, хотя и скромную, но все же помеченную знаками царственного происхождения. Их мы встречаем и в тексте «Страстей Варфоломея» — там,

[1] Commentarium in Evangelium Corcondans. Цит. по: Vita et martyrium sancti Bartholomaei apostoli ex sinceris fontibus Armeniaces in linguam latinam conversa. Salisburg, 1877. P. 63: *«Bartholomaeus Evangelium Matthaei Indis dedit ibique fuit episcopus et praedicavit in Lycaonia»*.

[2] Православная богословская энциклопедия. Т. III. СПб., 1902. С. 170. Эту же фразу буквально повторяет и трехтомный энциклопедический словарь «Христианство» (Т. I. С. 335. М., 1993).

[3] См.: AAA. Lipsiae, 1851. P. 75–94; см. также: Ante-Nicene Christian Library. Vol. 16. Edinburgh, 1870. P. 301–316.

[4] *Свенцицкая И.С.* Судьбы апостолов. Мифы и реальность. М., 2005. С. 167–185.

[5] *Budge E.A.W.* The Contendings of the Apostles. Ethiopic Texts from Manuscripts in the British Museum. Vol. II. The English Translation. (3-d ed.) Amsterdam, 1976. P. 76–86.

[6] Хотя «Арабское евангелие детства» в существующем виде сложилось уже в V или VI вв., многие легенды, оказавшиеся в его составе, датируются значительно более ранним временем. Подробнее см.: *Скогорев А.П.* Апокрифические деяния апостолов. Арабское евангелие детства Спасителя. СПб., 2000. С. 144–150, 361–364.

[1] *Hieronimus*. Commentaria in evangelium secundum Matthaeam. Prologus // PL. Vol. XXVI. P. 17 f.

[2] От этого евангелия сохранились лишь отрывочные фрагменты, причем в сравнительно поздних (V — VII вв.) коптских версиях. См.: New Testament Apocrypha. Revised Edition of the Collection initiated by E. Hennecke. English translation. Philadelphia, 1962. Vol. I. P. 485.

[3] Vita et martyrium... P. 26–27.

где говорится о его «подбитом пурпуром колобии» и белом паллии, украшенном по углам четырьмя пурпурными геммами[1].

Скудость данных о Варфоломее канонических текстов и церковной традиции освобождали от излишней щепетильности при обозначении места его проповеднического служения. Как спутник Филиппа он действует в Малой Азии, вместе с Матфеем проповедует евангелие на северном берегу Понта — в Боспорском царстве и «сопредельных землях», сопровождает Андрея в Парфию; согласно коптским легендам, — подвизается в Верхнем Египте и принимает мученическую смерть в Эфиопии. Несторианское предание вновь переносит Варфоломея в Боспорское царство, древние армянские легенды отправляют его в Индию, а на обратном пути он благовестит в Персии, Вавилонии, Ассирии, Великой Армении, где и погибает в городе Абарнополе. В одних апокрифах ему отрубают голову, в других забивают палками, в третьих распинают, в четвертых заживо сдирают с него кожу. Есть и такие легенды, в которых Варфоломея подвергают сразу нескольким видам казни[2]. Словом, ни с одним апостолом апокрифическая литература не обходилась так вольно, как с Варфоломеем, но и ни об одном из них не были созданы легенды, столь разнообразные по содержанию и географическому охвату.

Со временем рассказы о Варфоломее приобретали все более беллетризованный характер. Их фабула обычно выстраивалась по моделям отдельных эпизодов ветхо- и новозаветной истории, заимствовала коллизии из апокрифических деяний других апостолов, впитывала «бродячие сюжеты» античной литературы. Особенно любопытные примеры «склеенных» таким образом хождений Варфоломея сохранили эфиопские легенды, производные, как считают, от коптских оригиналов[3].

В армянском «Гомилиарии» XI в., ставшем своеобразным компендиумом древних и раннесредневековых легенд об апостоле, последовательно описаны семь его разных путешествий: 1) «в Индию», 2) «в землю мидян и эламитов», 3) «в Нижнюю Сирию», 4) «в землю германцев», 5) снова «в землю парфян, мидян и эламитов», 6) «в страну персов и магов», 7) и, наконец,

[1] AAA. Vol. II. P. 130. Русский перевод см.: Скогорев А. П. Апокрифические... С. 305.

[2] *Lipsius R.A.* Die apokryphen Apostelgeschchten und Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Litteraturgeschichte. Braunschweig, 1883–1890. Bd. I. S. 28 ff.; Bd. II. S. 54–108.

[3] До нас дошли лишь фрагменты коптских папирусов с обрывками этих легенд (см.: *Crum W.E.* Catalogue of the Coptic Manusripts in the British Museum. L., 1905. P. 126–127; *White H.G.E.* The Monasteries of the Wadi `n Natrum. Part I. N.Y., 1926. P. 43–45). Полный текст, помимо эфиопской версии (см. *Budge E.A.W.* The Contendings... P. 76–86), существует также и на арабском. См.: *Smith A.* Horae Semiticae. III — IV. L., 1904. P. 58–63, 69–75. Их изложение и анализ см.: *Скогорев А. П.* Апостол Варфоломей в Оазисе. (Заметки к дешифровке апокрифической легенды) // Норция. Воронеж, 2007. Вып. 5. С. 96–105.

«в Голтон, область армян», где он и погиб мученически[1]. Примечательно, что в этой «варфоломеаде» совершенно нет сюжетных повторов, почти отсутствуют в ней и ситуации, постоянно тиражируемые в апокрифических деяниях других апостолов.

Особенно интересен и богат «неклишированными» деталями рассказ о хождении Варфоломея в «Индию». Вместе с апостолом Фомой (который в дальнейшем больше ни разу не упомянут) он приходит в город Эдем и становится там свидетелем поклонения местных жителей необычному водному источнику, именуемому «Дочь Нила», вода которого чудесным образом ускоряла рост трав, растений и деревьев. Время от времени в его глубине начиналось бурление, раздавался гул, и над вскипавшей поверхностью вырывались языки пламени[2]. Народ, стоявший вокруг, приходил от этого зрелища в неистовство; люди принимались вопить, подползали, «точно змеи или рептилии», к жерлу источника и бросали в глубину жертвоприношения: золото, серебро, драгоценные ткани и камни. Возмущенный их «непристойными воплями и бессмысленными тратами» Варфоломей, сняв плащ, разостлал его на поверхности воды и, призвав имя Божье, велел источнику немедленно иссохнуть, что в мгновенье ока и произошло. А в ответ на завывания и довольно-таки сутяжнические жалобы обитавших в источнике демонов апостол велел им навсегда покинуть это место. Быстро распространившийся слух о чуде привлек в Эдем толпы любопытствующих. Стесненные и раздраженные этим, жители города решили побить Варфоломея камнями, но почему-то стали бросать их не в апостола, а друг в друга, так что около двадцати человек оказались убиты. Молитвой Варфоломея они были возвращены к жизни, что стало причиной огромного паломничества больных: «Принесли к нему второпях и больных, и недужных, и паралитиков, и расслабленных, томимых всякого рода телесными и душевными недугами, и слепых и хромых, и глухих и немых, и дебилов с лунатиками». Всех исцелив, апостол проповедал эдемцам Евангелие от Матфея, а потом «пошел за городскую окраину, к ровной площадке среди скал и, преклонив там колени, возблагодарил в молитве Христа»[3]. И тогда сопровождаемое землетрясением и грохотом, напоминавшем раскаты грома,

[1] Vita et martyrium... P. 1–19.

[2] Водный источник очень часто становился ядром языческого святилища, причем не только в засушливой и пустынной местности, но и там, где не было недостатка в воде. Вокруг подобного колодца, вырос, например, храм Аполлона Дидимского близ Милета, со временем превратившийся в один из самых почитаемых оракулов древности. Подземный гул и выбросы пламени, по-видимому, тоже реальность, — ведь речь, как мы увидим далее, идет в данном случае об одном из самых газо- и нефтеносных регионов мира.

[3] Христологические формулы этой молитвы, равно как и молитв, встречающихся в других местах Гомилиария, вследствие монофизитской специфики памятника утверждают лишь абсолютную божественность Христа, и наверняка являются результатом сравнительно позднего редактирования.

произошло еще одно чудо — забил новый, обильный и сладкий источник, в котором Варфоломей крестил сбежавшихся отовсюду горожан. А из числа воскрешенных им мужей он поставил пресвитеров и укрепил их в истинной вере.

Описание второго путешествия резко контрастирует с первым — оно занимает всего шесть строк. Здесь нет ни имен, ни событий. Миссия апостола в землях мидян и эламитов успеха явно не имела, «разве что немного совсем»[1].

Куда содержательнее третье — сирийское — его путешествие. Входя в город Бустр, Варфоломей повстречал погребальную процессию: хоронили двенадцатилетнего сына «славного бустрийского трибуна» Андроника. Среди всеобщих рыданий и траурной музыки трубачей и кифаредов апостол бросился к погребальным носилкам и повелел именем Иисуса Христа мертвому юноше подняться. Умерший повиновался, те же, кто нес его, «застыли на месте» от изумления. Многие при этом видели, как из уст Варфоломея изошел огонь и влетел уста отрока. «И закричали тут все: “Явился Бог среди нас!“». В течение трех дней Варфоломею едва удавалось удерживать бустрийцев от жертвоприношений в его собственную честь. Он проповедует им Евангелие от Матфея и крестит воскрешенного отрока, а затем самого трибуна Андроника, всех его домочадцев и знакомых. Под впечатлением чуда и примера городской элиты «без принуждения и охотно» крестились также и участники погребальной процессии. По приказанию Варфоломея, трибун разрушил находившиеся в городе семь языческих алтарей, а драгоценности, украшавшие статуи Ареса и Ормудза раздал бедным. В Бустре Варфоломей провел около шести лет, исцеляя больных, изгоняя демонов и воздвигая алтари истинной веры. «И переписал он им Евангелие от Матфея, которое имел при себе проповеди своей ради». Когда же сыну Андроника исполнилось восемнадцать лет, он рукоположил его своей апостольской властью, сам же отправился в земли германцев.

Это предание сохранило черты исторической реальности, причем среди них есть и такие штрихи, которые позволяют считать его памятником античного времени. Во-первых, вполне реален описанный в «хождении» город Бустр, чаще называемый в христианской литературе «Бостра». Это лежащий на границе с Аравийской пустыней крупнейший (а после завоевания Траяном Аравии — главный) центр посреднической торговли Сирии с Югом и Востоком, через который проходили караванные пути к Персидскому заливу и Красному морю[2]. Во II — III вв. Бустра считалась самым большим и роскошным городом всей Восточно-Иорданской области, а население ее

[1] Vita et martyrium... P. 6.

[2] См.: *Ранович А.* Восточные провинции Римской империи в I — III вв. М.; Л., 1949. С. 150.

достигало ста тысяч человек[1]. Очень рано, еще в античное время, этот город стал местом пребывания епископа. Таким образом, предание совсем не случайно связывает начало христианской проповеди там с именем апостола.

Одна из реалий эпохи римского владычества отразилась и в титуле (или должности) Андроника, названного трибуном. Между тем именно в Римской Сирии (в отличие от других восточных провинций) названия имперских магистратур, как правило, не переводились на сирийский язык с помощью местного эквивалента (например, в грекоязычных областях: «проконсул»–«игемон»), а лишь транскрибировались[2]. Сама сцена встречи у городских ворот похоронной процессии и воскрешения мертвого мальчика, безусловно, навеяна Евангелием от Луки (7:11–15), но примечательно, что в описание включены детали, свидетельствующие о знании этой стороны обихода эллинизированного общества позднеримской эпохи: за погребальными носилками следует оркестр трубачей и кифаредов[3]. Между тем, известно, что сирийская знать в I — III вв., стремясь к достижению магистратур и высокого социального статуса имперского масштаба, активно усваивала латинский язык, правовые и обиходные нормы римлян[4].

По-видимому, есть даже возможность наметить хронологические границы, в пределах которых этот рассказ мог обрести письменную форму. Как мы помним, Ефрем Сирин, писавший в конце IV или самом начале V в. о местах проповеди Варфоломея, упомянул лишь Индию и Ликаонию, о предании же, связывающем апостола с его родиной, не сказал ни слова. Единственным объяснением этого может быть тот факт, что о сирийской проповеди Варфоломея ему ничего не было известно. И, следовательно, на рубеже IV — V вв. памятник, скорее всего, еще не существовал в письменной форме.

Такой вывод подтверждается и другим соображением. Малозначительное, на первый взгляд, замечание о том, что участники погребального шествия крестились «*без принуждения и охотно*», в действительности говорит о многом. Во-первых, оно укрепляет нас во мнении, что местом возникновения этого рассказа была Сирия. Ибо, близкий к нотариальной формуле, этот оборот совершенно необычен для греко- и латиноязычной апокрифики, но зато прекрасно вписывается в атмосферу интеллектуальных пристрастий и увлечений образованных слоев сирийского общества римско-византийской эпохи.

В III — V вв. страсть к юриспруденции среди сирийской знати и сирийских интеллектуалов была всеобщей; именно из Сирии вышли крупнейшие

[1] Еврейская энциклопедия в 16-ти тт. М., 1991 (Репринтное издание). Т. IV. С. 859–860. Аммиан Марцеллин называет Бустру «огромным» городом. (*Римская история*, XIV, 8,*13*).

[2] *Ранович А.* Восточные... С. 138.

[3] Ср: *Гиро П.* Частная и общественная жизнь римлян. VII, 6: Похороны. СПб., 1995.

[4] *Ранович А.* Восточные... С. 159.

римские юристы этого времени — Ульпиан, Папиниан, Павел[1], а юридическая школа, существовавшая в Берите, считалась одним из лучших питомников римского права. По свидетельству Григория Неокесарийского (213–ок. 270), тяга к правоведению была характерна и для тамошней христианской среды.[2] И, во-вторых, такая формула могла появиться лишь в эпоху принудительных обращений в христианство, которые в Римской империи не практиковались до Феодосия Великого, а точнее — до начала 90-х годов IV в. После арабского завоевания (639 г.) она лишалась всякого смысла и потому могла лишь сохраниться в старых писаниях, но не появиться во вновь создаваемых. Иначе говоря, к этому времени памятник уже наверняка существовал в письменной форме. И еще одно соображение по поводу его датировки. Собранные в армянском Гомилиарии «деяния» Варфоломея явно были подвергнуты монофизитскому редактированию и потому изобилуют утверждениями, типа «Иисус Христос — истинный Бог, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них»[3]. Однако в сирийском рассказе встречается раздельное именование Бога и Христа: убеждая бустрийцев не приносить ему жертвы, Варфоломей заявляет: «Я раб Господа всего сущего и Сына его Иисуса Христа и Святого Духа»[4]. Такая формула не противоречит монофизитским взглядам, но и не характерна для христологии других частей гомилиария. Это дает некоторые основания думать, что сирийское «хождение» было записано до раскола церкви, последовавшего за Халкидонским собором 451 г., т. е. еще в первой половине V в.

Четвертое, «германское», путешествие Варфоломея, столь же богато событиями, но ни имен, ни топонимов в нем нет. Почти сразу же по приходу Варфоломея в землю германцев он был схвачен и заточен, ибо слух о совершаемых им исцелениях настолько взбудоражил людей, что, бросив дела, они сидели на перекрестках дорог в надежде увидеть чудотворца. Заключив Варфоломея в тюрьму, король (rex) германцев собрал «трибунал» и пять дней совещался со своими «магнатами» и «знатнейшими вождями» о том, как следует с ним поступить. Посланные за Варфоломеем вернулись ни с чем, так как были испуганы ярким световым потоком, вырывавшимся сквозь дверь узилища, а также толпами стоявшего вокруг народа. Тогда разгневанный король вместе с трибуналом поспешил к месту заточения апостола, но, придя туда, все они были перепуганы внезапным громом и блеском молний и, попадав наземь, лишились рассудка. Выйдя из узилища и возложив на каждого из них руки, Варфоломей привел их в себя. В ответ на просьбы об исцелении

[1] *Ранович А.* Восточные... С. 140, 161.

[2] *Григорий Неокесарийский*. Благодарственная речь Оригену // Григорий Чудотворец. Творения. М., 1996. С. 28.

[3] Эпитет *«сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них»* довольно часто встречается в раннехристианской литературе II–V вв., но относится всегда исключительно к Богу Отцу.

[4] Vita et martyrium... P. 7.

ран и недугов он произнес проповедь, обратил всех в веру Христову и крестил в ближайшей реке. А затем, воздвигнув в разных местах германской земли алтари, причастил новообращенных «хлебом небесным и кровью Сына Божия» и ушел благовестить «в других городах»[1].

Пятое «хождение» Варфоломей вновь совершает в землю парфян и мидян, и опять здесь лишь коротко сказано о его результатах — «многие из парфян к Господу обратились».

Оказавшись в пределах персов и магов, он проповедал, «по своему обыкновению», Евангелие от Матфея, отмечая попутно «все хорошее и полезное, что было у магов». А потом пришел в храм огня и, воздев руки к востоку, устроил солнечное затмение, сопровождаемое явлением посреди храма огненного столпа. Но, несмотря на все «поразительные чудеса», люди, привыкшие поклоняться Гелиосу и Сифо, Аресу и Пренаю[2], не отказались от почитания этих стихий (elementorum). «И просветил он и с собою увел всего только восемь душ из этого варварского и пропащего народа»[3].

Как и следовало ожидать, последнее, армянское, «хождение» Варфоломея по событийной насыщенности и конкретности повествования превосходит все остальные: здесь указываются «точные» даты, отмечаются ближние и дальние родственные отношения, называются имена главных и второстепенных персонажей.

«В двадцать девятый год царствования царя Санатруция, — сообщает гомилиарий, — пришел св. апостол Варфоломей к армянам». Между тем, апостол Фома «по праву своей верховной власти» (?) написал Варфоломею, что ему не следует проповедовать в этих краях, так как их уже посетил Фаддей — один из семидесяти учеников Христовых. Это руководящее указание Варфоломей почему-то проигнорировал. У холма Арташат он повстречал еще одного «апостола из двенадцати» — Иуду Иаковлева. На месте своей встречи они воздвигли крест, а затем Иуда пошел «в свою область», Варфоломей же направился в область армян Гер Заревант, где совершил множество чудес и исцелений. Прослышав об этих чудесах, Огохи, «сестра царя Санатруция, который был сыном сестры Авгара»[4], тайно отправилась к Варфоломею и под сильным впечатлением его проповедей «отказалась

[1] Vita et martyrium... P. 8–12.

[2] Т. е. Солнцу, Дракону, Аресу-Марсу и Огню.

[3] Vita et martyrium... P. 12–14.

[4] Евсевий Кесарийский рассказывает в своей «Церковной истории» о переписке Христа с эдесским царем Авгаром и даже приводит копии их писем (I, 13). Декрет папы Геласия называет эту переписку апокрифической (см.: Patrologiae Cursus Completus. Seria Latina. Vol. LIX. P. 190). Евсевий также сообщает, что после вознесения Христа апостол Фома отправил к Авгару для проповеди евангелия одного из семидесяти учеников Христовых — Фаддея. Сохранился, кроме того, сирийский апокриф о царе Авгаре (см.: *Мещерская Е.Н.* Легенда об Авгаре — раннесирийский литературный памятник. М., 1984.)

от мирской славы и, облекшись в одежды девственницы, стала ученицей апостола и последовала за ним». Узнав об этом, царь Санатруций «запылал от гнева, как железо раскаленное, и возжаждав крови, послал за апостолом трибуна Терентина с воинами его». Но страдавший проказой Терентин пощадил Варфоломея, а выслушав его проповедь, сам принял христианство. Во время крещения его накрыло светлое облако, и пораженная проказой кожа соскочила, «словно кора с дерева и листва с лозы виноградной». Услыхав об измене, царь послал другого приближенного с предостережением ни в коем случае «не слушать их речей». На этот раз Варфоломей, Огохи и Терентин были схвачены и приведены в трибунал. В течение часа шесть человек избивали апостола сучковатыми палками и, решив, что он мертв, выбросили его из города. Но через три часа Варфоломей пришел в себя и, окруженный большой толпой, произнес страстную молитву, в которой просил Бога «дать народу сему пастыря и вождя», а затем под грохот землетрясения отдал Богу душу. Царевну же Огохи, трибуна Терентина «и многих других, что с ними были», царь безжалостно убил мечом[1].

* * *

Итак, апостол, про которого в канонических текстах не сказано буквально и двух слов, с течением времени стал главным героем большого эпоса. Позднейшие предания связывали его проповедническую деятельность с самыми разными регионами. Во всем христианском мире большой популярностью пользовались легенды о чудесах, сотворенных им при жизни и после смерти; сохранилось, как минимум, четыре очень непохожих друг на друга версии его мученической кончины. А к VIII — IX вв. его статус в глазах определенной части христиан уже возвысился настолько, что церковные авторы восточно-христианского мира даже пытались использовать легендарную славу Варфоломея для борьбы с усиливавшимися притязаниями Римской курии на верховную власть в церкви. И поскольку обосновывались эти притязания авторитетом апостола Петра, византийские писатели VIII — IX вв. (Иосиф Песнопевец, Федор Студит, Никита Пафлагон) старались приравнять проповеднические заслуги и мученические подвиги Варфоломея к заслугам и подвигам «первоверховного» апостола[2].

Очевидно, причины, стимулирующие выдвижение малозаметных героев исторической драмы на авансцену исторической памяти потомков, не бывают

[1] Vita et martyrium... P. 14–19.

[2] Показателен в этом отношении следующий пассаж из «Панегирика святому апостолу Варфоломею» Федора Студита: «*Petrus docet nationes, sed Bartholomaeus consequenter paria investigat. Petri speciosi pedes bona evangelizantis, sed et Bartholomaei aeque gloriosi, sublimia de Deo loquentis. Petrus prodigia magna, sed et Bartholomaeus facit miracula valida. Petrus deorsum capite crucifigitur, sed et Bartholomaeus e diverso poenas sustinens, postquam vivus decoriatus est, capite plectitur*». (Цит. По: Vita et martyrium... P. 29.)

всякий раз одинаковы. Сплошь и рядом они оказываются связаны с набором неповторимых и непохожих друг на друга случайностей. И все же в подобном процессе обязательно проявляется та или иная тенденция культурного или социально-политического развития. В случае же с апостолом Варфоломеем она проявилась вполне отчетливо.

Известно, что христианские апокрифы чаще всего возникали в результате стремления досказать «недосказанное» в Священном писании, дать объяснение непонятному, устранить действительные или мнимые противоречия канонических текстов. Генезис народных сказаний, на основе которых создавались апокрифы, подчинялся парадоксальному правилу: чем меньше говорилось о тех или иных фигурах и эпизодах в Писании, тем больше внимания уделял им фольклор. (Правда, при условии, что эти фигуры и эпизоды относились к числу ключевых.) Апостол «из двенадцати», о котором не было известно ровным счетом ничего, был в этом смысле идеально привлекателен. Но в случае Варфоломеем к этому общему правилу добавлялся очень значимый фактор — псевдоцарское имя апостола.

По мере проникновения христианства (с конца II-го и особенно в III веках) в элитные слои римского общества для последователей Иисуса становился все более важен собственный социальный имидж. О чем в частности свидетельствует появление в целом ряде христианских писаний этого времени упоминаний о принадлежности к Церкви не только знатных патрицианок (что соответствовало действительности), но и особ царской крови. Подобные сообщения мы встречаем уже в «Истории Павла и Феклы» (II в.) и «Псевдоклементинах» (начало III в.). Очевидно, это было реакцией на упреки христиан в худородстве и невежестве, раздававшиеся со стороны их оппонентов вплоть до начала V в.[1] Зачисление одного из учеников Иисуса в царственные отпрыски было весьма выигрышным ходом с точки зрения борьбы за социальный статус. И потому Варфоломей из фигур третьего или даже пятого ряда оказался среди главных распространителей христианства в Круге земель.

[1] Примеры этого дают и канонические «Деяния апостолов» (см. 4, 13), и созданные уже в V в. «Страсти Святых апостолов Петра и Павла».

Л. В. МИНИНКОВА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

«РОСКОТОРАВЪСЯ СЪ ОТЦЕМЬ СВОИМЪ...», ИЛИ СТАРШИЙ СЫН ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО

Особенностью политической истории Северо-Восточной Руси XII в. в историографии признается четко выраженная тенденция к усилению княжеской власти. Обращается внимание на то, что сама эта власть приобретала черты деспотического правления, а положение лиц из княжеского окружения напоминало позднейшее холопство знати Московской Руси по отношению к носителю власти. При этом приводятся отдельные исторические эпизоды, связанные со стремлением Юрия Долгорукого к установлению своей власти в Киеве, с правлением Андрея Боголюбского и с его гибелью[1], с жесткой политикой Всеволода Большое Гнездо в отношении своих ближайших соседей — рязанских князей. В качестве характерного порождения культурно-исторической ситуации в Северо-Восточной Руси того времени выделяется Моление Даниила Заточника, в котором усматривается отчетливое выражение холопской психологии[2]. Подобный строй политической жизни и характер взаимоотношений княжеской власти со своим окружением оценивается в качестве вполне сложившегося. Между тем, есть определенные основания для того, чтобы видеть в политической жизни Северо-Восточной Руси второй половины XII в. наличие других тенденций, которые противостояли тенденции к приобретению русской княжеской властью признаков византинизма или даже ориентализма.

Такая тенденция находила проявление в разных сферах социально-политической жизни Владимирско-Суздальской Руси. Связаны они были с особенностями отношений в княжеско-дружинной среде. Выражались они то в противостоянии внутри большой княжеской семьи, то в совместном выступлении против Андрея Боголюбского представителей родовой знати и мелких слуг, которых он сам выдвинул и приблизил к себе, то в борьбе за власть в период после гибели владельца Боголюбского замка. Все эти события, выглядящие под пером летописца бурными даже на фоне более беспокойной, чем Северо-Восточная Русь, Южной Руси, свидетельствовали о непростом положении в этом отдаленном уголке страны, о сложности политической ситуации, о наличии некоторых иных тенденций по отношению к господствовавшей тенденции, направленной на всемерное усиление княжеской власти.

[1] См.: *Кривошеев Ю. В.* Гибель Андрея Боголюбского. Историческое расследование. СПб., 2003.

[2] См.: *Данилевский И. Н.* Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). М., 2001. С. 324.

Носителями политических устремлений выступают люди. Масштаб личности, имя и деяния которой нашли отражение в источниках, имеет, как правило, соответствие с теми идеями, которые она отстаивает. Не случайно поэтому крупнейшим историческим деятелям Владимирско-Суздальской земли, Юрию Долгорукому и его сыновьям Андрею и Всеволоду противостояли разные лица второго исторического плана, оказывавшие им сопротивление. В конечном счете им не удалось сколько-нибудь долго и успешно сопротивляться усиливавшейся великокняжеской власти. Но значимы и интересны они для историка тем, что их судьба свидетельствует о наличии в этой земле, ставшей исторической колыбелью будущего Московского государства, конкретных форм сопротивления самовластным, деспотическим тенденциям, о готовности их отстаивать традиционный для Руси вольный статус княжеско-боярской знати и о нежелании смириться с положением, когда у Андрея Боголюбского появилась, по словам князя Мстислава Ростиславича Храброго, манера отношения к князьям «не акы кь князю, но акы кь подручнику и просту человеку»[1].

К числу таких личностей второго плана, выделявшихся в летописи самостоятельностью своих поступков, связанных со стремлением противостоять воле старейших князей, отца или дяди, относились сын Юрия Долгорукого Ростислав, а позже сыновья Ростислава, Ярополк и Мстислав.

Среди сыновей Юрия Долгорукого Ростислав упоминается в летописи не так часто, как братья его Андрей и Всеволод, несмотря на свое старейшинство и связанные с этим политические перспективы. Причиной этого была ссора его с могущественным отцом. Однако на первых порах ничего необычного судьба ему не предвещала. Первые сведения о нем относятся к 1138 г., когда он был принят новгородцами в качестве своего князя[2]. Традиционно новгородский стол имел большую значимость. Место новгородского князя уже со второй половины X в. выдвигало того, кто его занимал, на одно из первых мест в русской княжеской иерархии. Вместе с тем, в условиях вечевого строя положение князя в Новгороде было не простым. Город время от времени потрясала борьба между боярскими группировками, в которой активно участвовали горожане. С этой борьбой были связаны интересы крупнейших княжеских линий, поскольку одни группировки ориентировались на черниговских Ольговичей и Давыдовичей, а другие — на Мономаховичей, потомков Мстислава или на Юрия Долгорукого[3]. Поэтому предшественник Ростислава на новгородском столе, Святослав Ольгович, продержался в Новгороде всего два года[4].

В условиях, когда киевский стол перешел в руки Ольговичей, Ростислав оказывался наиболее приемлемой для представителей разных новгородских

[1] ПСРЛ. М., 1998. Т. 2. Стб. 573.

[2] Там же. Стб. 301.

[3] См.: *Соловьев С. М.* Сочинения. В 18-ти кн. М., 1988. Кн. 1. С. 411–412; *Янин В. Л.* Новгорордские посадники. М., 1962. С. 96; *Фроянов И. Я.* Мятежный Новгород. СПб., 1992. С. 217–218.

[4] См.: ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 161.

политических сил фигурой. Он был гарантией защиты от Ольговичей со стороны Юрия Долгорукого и в какой-то степени позволял примириться с Мономаховичами[1]. Но недолго пробыл в Новгороде Ростислав. Он оказался в положении защитника интересов отца в городе. Однако новгородцы стремились сохранять самостоятельность и не выступать в качестве военного придатка отдельных князей. Они отказались следовать призыву Юрия выступить против Всеволода Ольговича, занявшего в 1139 г. киевский княжеский стол. Это обстоятельство заставило Ростислава бежать к отцу в Смоленск[2]. Новгородским князем стал Святослав Ольгович. Но продержался он в городе всего год. Как говорилось в летописи, ему пришлось бежать из города[3]. Девять месяцев в городе не было князя. В ноябре 1141 г. новгородцы вновь приняли Ростислава[4], причем, по выражению Ипатьевской летописи, «с великою честью»[5]. Но как только, очень скоро, к Новгороду подошел псковский князь Святополк Мстиславич, шурин Всеволода Ольговича[6], они «яша» Ростислава и до прибытия Святополка держали его на епископском дворе. Прибывший в Новгород Святополк отпустил Ростислава к отцу[7].

На этом участие Ростислава в борьбе за Новгород завершилось. Дважды он занимал этот важный стол, но очень недолго, причем в итоге второго княжения оказался под арестом. В течение всего времени участия его в новгородских делах сказывалось положение его как орудия политики Юрия Долгорукого. Это не могло не способствовать возникновению и постепенному нарастанию его обиды на отца, готового лишь использовать его без особого внимания к его интересам.

В результате отношения Ростислава с отцом на протяжении 40-х гг. постепенно испортились. Во всяком случае, по сведениям Ипатьевской летописи, «емоу отець волости не да в Соуждалискои земли»[8]. Также Ростислав не разделял политических соображений отца, готового в интересах борьбы с племянником Изяславом Мстиславичем, занявшим в 1146 г. киевский стол, идти на союз с Ольговичами. Склонный к выявлению морально-нравственной стороны исторических событий, Н.М. Карамзин отмечал, что «Ростислав, старший сын Георгиев, посланный отцом действовать заодно с князьями черниговскими, гнушался их вероломством»[1]. Из сообщения летописи напрямую не следует, что Ростислав осуждал союз отца с черниговскими князьями против Изяслава. Но такое осуждение представляется вполне вероятным, если учитывать, что у самого Ростислава был определенный опыт противостояния с черниговскими князьями, полученный им еще в Новгороде. Также этому соответствует сложившаяся уже к тому времени традиция враждебности в отношениях между Мономаховичами и Ольговичами.

Не удивителен, поэтому, отъезд Ростислава в 1148 г. от отца в Киев к своему двоюродному брату, киевскому князю Изяславу Мстиславичу. В летописи мотивы отъезда переданы с помощью такого распространенного приема средневековой литературы, как речь героя повествования. Согласно летописи, Ростислав «роскоторавъся съ отцемь своимъ»[2]. Он излагал Изяславу мотивы своего отъезда от отца и прибытия к нему: «отець мя переобидилъ и волости ми не далъ, и пришелъ есмь, нарекъ Бога и тебе, зане ты еси стареи на Володимерихъ вноуцехъ, а за Рускоую землю хочю страдати и подле тебе ездити»[3]. Эти мотивы вполне соответствуют принципам сюзеренитета-вассалитета, их содержанию и форме. Отъезд от отца соответствовал праву вассала на свободный выбор сюзерена, а причина отъезда, связанная с обидой за невыдачу земельного вознаграждения также вполне типичен для этих отношений[4]. Выражение с упоминанием слов «страдати» и «подле тебе ездити» соответствует принципу верности вассальной службы. В словах Ростислава, указывавших на старейшинство Изяслава, отразилась особенность русских межкняжеских отношений как своеобразного сочетания отношений семейных и сеньориально-вассальных. Но на близость классических, западноевропейских форм сюзеренитета-вассалитета к семейным отношениям указывал М. Блок[5].

Также в духе принципов сюзеренитета-вассалитета выдержан помещенный в летописи ответ киевского князя. По его словам, «всих нас стареи отець твои, но с нами не оуметь житии». По существу, в этих словах содержалось обоснование правомерности отъезда Ростислава от Юрия Долгорукого. Далее Изяслав как киевский князь дал обоснование своего сеньориального права по отношению к отъехавшему к нему Ростиславу, утверждая, что «мне даи Богъ вас, братью свою, всю имети, и весь родъ свои, въ правдоу». И как бы

---

[1] См.: *Соловьев С.М.* Сочинения. Кн. 1. С. 413.

[2] ПСРЛ. Т. 3. С. 25.

[3] Там же. С. 161. По мнению И.Я. Фроянова, бегство было связано с тем, что «новгородцы, не стерпев «злобы» и «засилья» Святослава, выпроводили его с бесчестьем». См.: *Фроянов И.Я.* Мятежный Новгород. С. 221.

[4] ПСРЛ. Т. 3. С. 26.

[5] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 308.

[6] Об этом говорится в Ипатьевской летописи: «посла Всеволодъ Святополка в Новъгородъ, шюрина своего». См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 309–310.

[7] ПСРЛ. Т. 3. С. 212. По замечанию Н.М. Карамзина, «Капитолий граничил в Риме с Тарпейскою скалою, в Новгороде престол с темницею!» См.: *Карамзин Н.М.* История государства Российского. М., 1988. Кн. 1. Т. 2. Стб. 117.

[8] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 366.

[1] *Карамзин Н.М.* История... Стб. 136.

[2] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 366.

[3] Там же. Стб. 367.

[4] Как отмечал г. Кенигсбергер, к обязанностям сюзерена относилось прежде всего одаривание вассалов «бенефициями, то есть почестями, привилегиями и, в первую очередь, землями». См.: *Кенигсбергер г.* Средневековая Европа, 400–1500 годы. М., 2001. С. 114.

[5] По его словам, «семейные связи уподоблялись вассальным». См.: *Блок М.* Феодальное общество. М., 2003. С. 227.

в подтверждение своего права на роль сюзерена для всех Мономаховичей, составлявших для Изяслава «родъ свои», и выполняя свою сеньориальную обязанность, он упомянул города, которые жаловал Ростиславу за службу: Бужск, Межибожье, Котельницу и еще два не названных в летописи города[1].

Отъезд Ростислава от Юрия полностью отвечал интересам Изяслава, имевшего очень натянутые отношения с Юрием Долгоруким и готового к войне с ним. Но Ростислава он не привлек к участию в ней, заявив, по словам летописи, ему: «иди въ Божьскыи ... постерези земле Роускои оттоле»[2]. Это поручение носило характер вассальной службы. Но оно отводило Ростиславу роль в событиях явно второго плана. Это было не случайно. Изяслав ценил переход на свою сторону Ростислава и стремился сберечь его в качестве своего вассала. Поэтому он старался не ставить его в крайне сложное положение, которое неизбежно наступило бы для него в случае прямого участия его в военных действиях против отца.

Сохранить Ростислава киевскому князю, однако, не удалось. После его возвращения в Киев он услышал от своих людей, что Ростислав «много зла бяше замыслылъ». Ростислав обвинялся в том, что он тайно действовал в интересах Юрия Долгорукого и «подъмолвилъ на тя люди берендиче и кияны». Изяслава после возвращения в Киев явно настраивали против Ростислава, стремясь затронуть у него личные мотивы, когда говорили ему, будто бы Ростислав хотел, «въехавши в Киевъ, и домъ твои взяти, и брата твоего яти, и женоу твою и сына твоего». Общий смысл всего того, что говорили Изяславу по поводу Ростислава, заключался в словах: «то твои ворогъ, держиши на свою голову»[3]. Такое отношение к Ростиславу в Киеве было не случайно. Киевлянам были чужды уже не только Ольговичи, но и Ростислав, поскольку своими в Киеве признавались не все Мономаховичи, но только Мстиславичи. Юрий Долгорукий своей привязанностью к далекой северо-восточной окраине Руси и своим стремлением овладеть Киевом при игнорировании прав старейшего из Мономаховичей, Вячеслава Владимировича, слишком настроил киевлян против себя. Это чувство они переносили на его сына, не желая учитывать особенности его отношений с отцом.

Что касается Изяслава, то он не мог не считаться с мнением своих бояр, и под их влиянием у него зародились сомнения в верности Ростислава. На встрече с ним на острове против Михайловского Выдубицкого монастыря он вызвал прибывшего туда Ростислава к себе в шатер и повторил ему все те обвинения, которые он слышал в Киеве в его адрес.

Ростислав отрицал обвинения. Он просил Изяслава, чтобы если «на мя кто молвить», он бы «мя с ним и соуди», причем идти на суд он готов был с кем угодно, и это мог быть «князь ли которъии... моужь ли которъи въ хрестьяны

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 367.
[2] Там же. Стб. 368.
[3] Там же. Стб. 372.

или в поганыхъ»[1]. Суд представлял собой обычную практику в отношениях между сюзереном и вассалами не только в странах классического сюзеренитета-вассалитета, но и на Руси [2]. И если Ростислав предлагал киевскому князю решить дело по его обвинениям через судебную процедуру, то он надеялся на достаточно объективное и справедливое решение, которое позволило бы снять с него обвинение. Просьба Ростислава составляла косвенное свидетельство высокого авторитета такого суда на Руси, при котором на справедливое решение можно было надеяться даже в условиях, когда в Киеве сын Юрия Долгорукого имел много недоброжелателей. Но Изяслав отказал ему в просьбе о суде. Сказалось влияние на него тех лиц из его окружения, которые обвиняли Ростислава. Но, очевидно, что в Киеве имелись не только противники, но и сторонники Ростислава из числа дружинников, о чем свидетельствовали слова Изяслава, обосновывавшие отказ вести суд по этому делу: «того на мне не проси, хотя мя заворожити съ христыанами или с погаными»[3]. Но, возможно, что, говоря о христианах и поганых, Ростислав рассчитывал на свидетельства собственных дружинников. Не случайно дружинники Ростислава также стали рассматриваться в Киеве в качестве опасных противников. Как сообщала летопись, у Ростислава «дроужиноу его изомаша, а товаръ отъяша», или по существу конфисковали его имущество. Самому Ростиславу Изяслав сказал: «поиди къ своемоу отцю». Отъезд Ростислава из Киева был также проведен в предельно обидной для него форме, когда его «всадиша ... в насадъ съ 4-ми отрокы»[4], т. е. оставив ему лишь четырех его младших дружинников.

Попытка Ростислава воспользоваться своим правом отъезда потерпела явную неудачу. Это, возможно, представляло собой свидетельство относительной неразвитости традиций русского сюзеренитета-вассалитета и того, что связи по линии ближайших родственников выглядели в глазах русского общества предпочтительнее, чем добровольное принятие обязательств в качестве сюзеренов и вассалов.

В сложившихся для него условиях возвращение к отцу было похоже на возвращение блудного сына (Лк. 15, 11–32), что не преминул отметить летописец: Ростислав «пришедъ къ отцю своему в Соуждаль, и оударь перед ни челомъ»[5]. Здесь уже ничего не напоминало о добровольной коммендации вассала под сеньориальное покровительство. Одно из первых упоминаний о челобитье едва ли случайно было связано с Суздальской землей. Челобитье

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 373.
[2] На широкое распространение на Руси княжеского суда, в рамках которого рассматривались коллизии в отношениях княжеского сюзеренитета-вассалитета, указывал В.Т. Пашуто. См.: *Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н.* Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 68–73.
[3] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 373.
[4] Там же. Стб. 373; «насадъ» — лодка.
[5] Там же. Стб. 373.

неимело ничего общего с традициями вассальной вольности и выражало вынужденное признание Ростиславом зависимости слуги, потерявшего вольность. Такого рода служебные отношения уже с XII в. начинали распространяться в Северо-Восточной Руси.

Расчет Ростислава, которому нужно было срочно восстанавливать расположение отца, оказался верен. Самовластному Юрию Долгорукому пришлось по душе челобитье блудного сына, решившего вернуться под покровительство отца. Но Ростиславу, которого очень серьезно обидели в Киеве, в т. ч. лично Изяслав, важно было отомстить ему. Зная отца, он нашел способ воздействовать на него в необходимом для себя направлении. После челобитья он заявил Юрию, что Изяслав «нас есть обеществовалъ». При этом он давал отцу понять, что его поход против Изяслава может быть успешен, поскольку «хощеть тебе вся Роуская земля и Черныи Клобоукъ». Расчет Ростислава оправдался. Юрий был разгневан тем, что изгнание сына означало, будто бы, по его переданным летописью словам, «Мне части нетоу в Роускои земли, и моимъ детемъ»[1]. Собираясь в поход против Изяслава, Юрий привлекал на свою сторону черниговского князя Святослава Ольговича, которому подробно объяснял мотивы своего похода. Он выдвигал, в частности, мотивы мести за бесчестье сына Ростислава, поскольку Изяслав «сына моего выгналъ на Русьскои земли, и волости ему не далъ, и соромъ на мя наложилъ»[2]. Помимо Святослава, Юрию удалось привлечь в поход против Изяслава половцев. В сражении под Переяславлем 23 августа 1149 г. Юрий одержал победу, вошел в город, а затем занял Киев. В походе участвовал Ростислав, получивший за это переяславский княжеский стол. И если учитывать, что другой сын Юрия, Андрей, получил стол в Вышгороде [3], то формально старейшинство Ростислава среди сыновей Юрия было восстановлено. Из всех столов, розданных Юрием сыновьям, переяславский, который в свое время занимал его дед Владимир Мономах, был наиболее значимым.

Надеясь отнять у Изяслава все его волости, Юрий продолжал с ним войну. Ростислав участвовал вместе с братьями в походе на Волынскую землю, куда удалился Изяслав. Силы Юрия осадили Луцк. В сражении под Луцком 6 февраля 1150 г. удалось отличиться Андрею, опередившему братьев Ростислава и Бориса. Его стойкость позволила отбить вылазку осажденных из города [4]. В начавшихся вскоре после этого мирных переговорах между Юрием и Изяславом Ростислав оказался особенно непримиримым по отношению к тому, к кому он еще недавно отъезжал в Киев[5].

Юрий недолго пребывал в Киеве. Изяславу в том же 1050 г. удалось изгнать его, после чего он послал своего сына Мстислава на Переяславль,

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 373–374.
[2] Там же. Стб. 375.
[3] Там же. Стб. 384.
[4] См.: *Карамзин Н. М.* История... Стб.142–143.
[5] См.: ПСРЛ. Т. 2. Стб. 391.

желая изгнать Ростислава и «Переяславля добыти»[1], но с помощью брата Андрея ему удалось удержать город. Вскоре Юрий вновь занял Киев, но ненадолго. В 1151 г. Изяслав сумел собрать значительные силы. Он привлек на свою сторону брата, смоленского князя Ростислава Мстиславича, а также черниговского князя Владимира Давыдовича. В ожесточенном сражении на речке Руте Юрий потерпел поражение. Первыми бежали его союзники половцы, затем Ольговичи, после чего бежал он сам «з детми», при этом «много дружины потопе въ Руту», а «овехъ избиша, а другыя изъимаша»[2].

Но Ростислав уже не участвовал в сражении на Руте. Готовил полки Юрия к сражению Андрей, «зане бе стареи тогда в братьи»[3]. Незадолго до того Ростислав умер, «свитающе великому паску». Похоронен он был в церкви святого Михаила[4].

Известия из Киевской летописи о Ростиславе Юрьевиче до мелочей напоминают притчу о блудном сыне (Лк. 15, 11–32). Они содержат такие важнейшие элементы притчи, как уход сына от отца, возвращение его в отчий дом после скитаний, радость отца по поводу возвращения сына и устройство им по этому случаю пира, для чего закололи жирного тельца. В качестве такого «тельца» для Ростислава был поход Юрия на киевского князя Изяслава как на обидчика, изгнавшего Ростислава из Киева. Еще одним «тельцом» выступало в летописи доставшееся Ростиславу Переяславское княжество. История Ростислава — один из примеров осмысления русским летописцем событий в контексте священной истории [5]. Но, возможно, что и сам Юрий вполне сознательно представлял себя в роли библейского отца, используя не только конкретную политическую ситуацию с сыном для борьбы против Изяслава как противника, но и образы Священного Писания для укрепления своей власти.

Что касается судьбы Ростислава, то он, имея преимущество перед братьями как старший сын Юрия, фактически не сыграл первой роли в событиях и оставался даже после возвращения к отцу в тени не только его, но отчасти и младшего брата, Андрея Боголюбского. Сказалась также ранняя его кончина. Но как человек второго плана на исторической арене удельной Руси, он выделялся своей весьма необычной судьбой, явившейся следствием его неординарного характера. Это толкало Ростислава на поиски своего места в княжеской жизни, позволившего бы ему сохранять присущую для традиций Киевской Руси вольность и самостоятельность.

[1] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 398.
[2] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1. Стб. 334.
[3] Там же. Стб. 333.
[4] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 418.
[5] О методе исследования летописных текстов в рамках интертекстовой культуры средневековья, восходящей к цитированию Священного Писания см.: *Данилевский И. Н.* Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.



«СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ», РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ

С.Г. ГАВРИЛОВ (ОБНИНСК)

ТОМАС КРОМВЕЛЬ — «ПЕРВЫЙ МИНИСТР» ГЕНРИХА VIII

10 июня 1540 г. в Лондоне произошло событие, взбудоражившее политические круги Англии. По обвинению в государственной измене и ереси прямо за столом Совета был арестован «всемогущий» первый министр короля Томас Кромвель. Этот, безусловно, незаурядный реформатор на всем протяжении своей государственной службы оставался в тени Генриха VIII, однако именно он был известен в обществе как всевластный министр и правая рука короля, и именно на него современники возлагали ответственность за все, что происходило в Англии. Спустя шесть недель заточения 23 июля, так и не получив возможности оправдаться перед королем, он был обезглавлен. В английской истории Томас Кромвель является одним из тех политиков, деятельность которых всегда вызывала ожесточенные споры исследователей.

Факт того, что недолгий период его деятельности на государственном посту оставил весьма значительный след в истории английского государства, признается всеми, однако исследователи расходятся во мнении относительно политических взглядов и целей Кромвеля, а также значения его деятельности. При всем своем многообразии основные точки зрения могут быть условно объединены по двум направлениям.

Представители первого считают, что время его государственной деятельности можно охарактеризовать как золотой век тюдоровского деспотизма[1]. По мнению Х. Фишера, Дж. Фроуда и А. Полларда, этот жестокий, коварный и жадный слуга своего властного господина стал архитектором деспотической власти, которая, в конечном итоге, уничтожила его самого. При этом многие из тех, кто отстаивает данную точку зрения, полагают, что Кромвель являлся сторонником идей Макиавелли и в реальной политике руководствовался принципами, изложенными великим итальянцем в сочинении «Государь»[2]. Краеугольным камнем этого распространенного представления является сочинение современника Кромвеля кардинала Реджинальда Пола «*Apologia ad Carolum Quintum Caesarem*», изображающее его «сатанистским учеником Макиавелли» и «дьяволом в человеческом обличье».

Представители второго направления, среди которых есть и те, что вообще отвергают сам факт заинтересованности советника какими-либо теоретическими вопросами, едины в одном, а именно в том, что министр не мог руководствоваться принципами макиавеллизма в политике[1]. По мнению в. Зивелда, Кромвель был носителем идей гуманизма и являлся убежденным сторонником *via media* в политике, в основе которой лежали «либеральные» идеи[2]. Более того, некоторые идут еще дальше, настаивая на том, что Кромвель не имел других планов, кроме установления суверенной монархии[3]. Наиболее жестко эта точка зрения выражена в многочисленных трудах Дж. Элтона[4]. Именно Кромвель, по его словам, заложил основы современной конституционной монархии в Англии и создал суверенное национальное государство[5]. Он являлся «наиболее выдающимся революционером в английской истории», врожденный гибкий ум которого «развился благодаря необычной истории его жизни до самого удачного радикального инструмента, бывшего в распоряжении человека XVI в.»[6].

Столь противоположные оценки Кромвеля и его деятельности во многом объясняются особенностью сохранившихся источников. Историю первых 35 лет его жизни мы можем восстановить лишь фрагментарно, но именно эти годы, по словам его современного биографа Диккенса, имеют решающее значение, поскольку в это время в его сознание закладывались идеи, реализация

[1] *Constant G.* La Reforme en Angleterre: Henry VIII. 1930. P. 179; *Fisher H.A.L.* The Political history of the England. L., 1934. Vol. V. P. 295-296; *Mackie J.B.* The Early Tudors. Oxf., 1952. P. 417; *Hughes P.* The Reformation in England. L., 1950. P. 225.

[2] *Fisher H.A.L.* The Political history of the England. L., 1934. Vol. V. P. 296; *Parker T.M.* Was Thomas Cromwell a Machavellian? // Journal of Ecclesiastical History. 1950. № I. P. 74; *Picktorn K.* Early Tudor Government. N.Y., 1967. Vol. II. P. 203; *Pollard A.F.* Henry VIII. N.Y., P. 323 (Поллард стоит на позициях конституционализма, полагая, что Генрих не имел целей приобрести деспотическую власть, в отличие от Кромвеля, который таил подобные идеи. В своем отношении с парламентом король не переходил границ и предпочитал избегать силовых мер.

[1] *Zeeweld W.G.* Foundations of Tudor Policy. Camb., 1948. P. 82–156.

[2] Ibid. P. 269.

[3] *Dickens A.G.* Thomas Cromwell and the English Reformation. N.Y., 1969; *Elton G.R.* The political creed of Thomas Cromwell // *Elton G.R.* Studies in Tudor and Stuart Politics and Government. Camb., 1974. Vol. II.

[4] *Elton G.R.* England under the Tudors. N.Y., 1955 (1974, 1991, 1997); *Elton G.R.* Modern historians on British history, 1485–1945. N.Y., 1970; *Elton G.R.* Policy and police. The enforcement of the Reformation in the age of Thomas Cromwell. Camb., 1972; *Elton G.R.* Political history. Principles and practice. L., 1970; *Elton G.R.* Reform and Reformation: England, 1509–1558. Camb., 1977; *Elton G.R.* Reform and renewal. Thomas Cromwell and the common weal. Camb., 1973; *Elton G.R.* Studies in Tudor and Stuart politics and Government. Vol. I — II. Camb., 1974; *Elton G.R.* The Tudor constitution. Document and commentary. Camb., 1960.

[5] *Elton G.R.* England under the Tudors. L., 1997. P. 127.

[6] Ibid. P. 127.

которых и станет целью его государственной деятельности[1]. В основном мы имеем дело с набором трудно проверяемых рассказов подчас анекдотического характера о жизни Кромвеля, написанных епископом Джоном Фоксом и итальянским новеллистом Банделло, а также с короткими отчетами его злейших врагов кардинала Реджинальда Пола и испанского посла Юстаса Чеписа.

Кромвель родился в 1485 г. в семье преуспевающего человека, занимавшегося кузнечным, пивоваренным и сукновальным ремеслом. Поскольку иных детей мужского пола в семье Уолтера так и не появилось, нашему герою, казалось, благоволившая к нему судьба уготовила вполне безбедное существование. Однако самого Томаса вовсе не радовала перспектива продолжить семейное дело, которое он находил столь же скучным, сколь и утомительным. Много позднее, будучи вторым человеком в государстве, он признается, что «в молодости был отчаянным головорезом». В конечном итоге буйный нрав юноши довел его до тюрьмы, которая, впрочем, не заставила его изменить свое поведение. Вспыхнувшая крупная ссора с отцом видимо повлияла на окончательное решение покинуть отчий дом и уехать в поисках приключений в Европу.

Вскоре молодой человек оказывается в Италии, где в качестве французского наемника принимает участие в Итальянских войнах. Очевидно, это занятие ему скоро наскучивает, и дальнейший его след мы обнаруживаем уже во Флоренции, где какое-то время он даже был вынужден просить милостыню. Но и тут судьба не оставила своего любимца, найдя для него богатого и влиятельного покровителя в лице довольно крупного банкира Фрэнсиса Фрескобальди, бизнес которого был тесно связан с делами в Англии. Фрескобальди, оценив по достоинству помощь Кромвеля в коммерческих делах, в благодарность снабдил его деньгами и купил ему лошадь, дабы тот мог благополучно вернуться в Англию. Впрочем, и на этот раз юноша предпочел спокойной и размеренной жизни на родине непредсказуемость и приключения в такой интересной и манящей Европе. Известно, что некоторое время он служил клерком или секретарем у английских купцов в Антверпене, но и здесь авантюристская жилка в его характере стала все отчетливее проявляться, побуждая его снова отправиться на поиски приключений.

Весьма интересен в этой связи рассказ епископа Фокса, достаточно точно характеризующий находчивость и энергичность Кромвеля. Некто Джеффри Чамберс (впоследствии он станет агентом министра), посланный жителями Бостона в Рим для получения индульгенций, проезжая через Антверпен, пригласил нашего героя, которому уже успела наскучить работа клерка, составить ему компанию. Прибыв на место, путешественники никак не могли добиться аудиенции у папы. Тогда Кромвель пошел на хитрость. Будучи осведомленным о большой любви папы Юлия II к изысканным кушаньям, он приготовил несколько тарелок английского желе, тогда еще не известного в Риме. Подловив момент возвращения понтифика с охоты, Томас торжественно вручил ему блюдо под музыку и пение трех музыкантов. Изумленный папа пригласил всех к себе. Отведав желе, предварительно проверив, не отравлено ли оно на одном из своих кардиналов, он пришел в неописуемый восторг и тотчас распорядился выдать все индульгенции. Ум и смекалка молодого человека всегда помогали находить выход в самых трудных ситуациях. Все исследователи сходятся во мнении, что бурная жизнь искателя приключений коренным образом повлияла на его мировоззрение. В своих странствиях по Европе он получил не только широкие знания об окружающем мире, но и освободился от многих предубеждений своего времени.

[1] *Dickens A. G.* Thomas Cromwell...

Примерно в 1513 г., наконец устав от своих бесконечных странствий по чужбине, он возвращается в Англию, где женится на Элизабет Уикс, дочери соседа семьи Кромвелей Генри Уикса, являвшегося джентльменом — привратником Генриха VII. Некоторое время он жил в семье тестя, что не помешало ему возглавить одно из направлений бизнеса своего отца. Богатый опыт в коммерческих делах, полученный в Нидерландах, позволил весьма успешно организовать сбыт шерсти и шерстяной одежды иностранным партнерам. Вскоре он становится довольно крупным ростовщиком и адвокатом. Результат столь успешной деятельности и активной жизненной позиции не заставил себя долго ждать. Во время своей поездки по Йорку на способности Кромвеля обратил внимание кардинал Томас Уолси, первый министр Генриха VIII.

Не без помощи своего могущественного покровителя Кромвель в 1523 г. проходит в парламент, где сразу обращает на себя внимание своими пламенными речами в поддержку требований короля о сборах на войну с Францией. Практически с этого времени мы можем вести отсчет начала стремительной политической карьеры этого человека.

В 1524 г. Томас Кромвель становится членом Грэйз Инн (одна из четырех юридических корпораций, готовящих адвокатов), и в этот же год Уолси использовал его как своего агента в деле, связанном с ликвидацией некоторых малых монастырей. Хотя это дело, имевшее большой общественный резонанс и закончившееся большим скандалом, могло самым неблагоприятным образом отразиться на карьере его непосредственного исполнителя, Уолси вывел из под удара своего любимца. Преданность Кромвеля своему покровителю, а также его работоспособность постепенно на протяжении второй половины 1520-х гг. возвели его до положения «правой руки» и доверенного лица Томаса Уолси.

Но, как это часто бывает в истории, насколько стремительным и успешным был взлет по политической лестнице нашего героя, настолько внезапным могло стать и его падение. В октябре 1529 г. могущественный Томас Уолси, получивший в среде иностранных послов прозвище «alter rex», подвергся опале. Репрессии не могли не обойти стороной и Кромвеля, осведомленность которого во всех дела своего патрона делала его одним из главных козырей в развязывании дела Уолси. Естественно, что Кромвель в этой политической игре скорее был «разменной монетой», пешкой, которой можно было пожертвовать. Он и сам прекрасно осознавал грозившую ему опас-

ность, однако даже в этот трудный час не бросил своего покровителя, отправившись с ним в изгнание. Впрочем, здесь надо учесть и то, что сам Кромвель, обладавший удивительным политическим чутьем, не мог не понимать необходимость для своего собственного выживания если не спасения Уолси, то, по крайней мере, смягчения удара, направленного против него. Именно этим можно объяснить «преданность» своему патрону.

В последующем во многом именно благодаря усилиям Кромвеля в парламенте, Уолси получил прощение. Правильно избранная им тактика действий показала его в выгодном свете. В глазах двора он предстал, с одной стороны, как человек преданный, не склонный в минуту опасности выгораживать себя, обвиняя своего покровителя, с другой — убедил всех, в том числе отчасти даже и врагов, если и не в своей честности, то, по крайней мере, в своей смелости, исключающей замалчивание невыгодных для себя фактов.

Возможно, именно это поведение окончательно убедило и самого короля в том, что лучшей фигуры, прекрасно разбирающейся во всех перипетиях политики и способной заменить Томаса Уолси на посту первого министра, ему не найти. Это вполне может послужить нам объяснением стремительного взлета до положения человека, обласканного самим Генрихом, человека, которому завидует весь двор. И этот взлет выглядит еще удивительнее, если учесть, что всего несколькими неделями ранее Кромвелю грозила тюрьма и плаха.

В начале 1531 г. спустя всего несколько недель после смерти Уолси Томас Кромвель вошел в Тайный совет. Возможным поводом к этому послужил разговор, в котором он обещал королю, что сделает его самым богатым монархом, которого когда-либо видела Англия. Предпринимательские способности Кромвеля были хорошо известны при дворе, да очевидно он и сам верил в то, что сможет исполнить обещание, данное Генриху. Весной 1532 г. он получил должность хранителя королевских драгоценностей, а летом был назначен клерком канцелярии суда, отвечающим за сбор пошлин за регистрацию и оформление документов. В этом же году он стал управляющим королевскими палатами, и, следовательно, получил доступ к королю, поскольку данный пост был связан с распоряжением королевским церемониалом. Занятие данного поста во время, когда королевский двор занимал центральное положение в управлении государством, предоставляло довольно широкие возможности для дальнейшего политического роста. Впрочем, даже получив все эти должности, он оставался на вторых ролях. Мы не находим в источниках свидетельств о том, что он был достаточно самостоятелен в своих делах.

Новый взлет карьеры Кромвеля может быть отнесен к началу 1533 г. Именно в это время он становится связующим звеном в связях между Генрихом и испанским послом Юстасом Чеписом. Деликатно и умело погасив назревающий конфликт с императором из-за того, что Генрих предпочел его тетке Анну Болейн, Кромвель сумел угодить королю и добился повышения своего статуса при дворе. Вскоре он становится вторым человеком в государстве. «Все дела находятся под его управлением», — писал о нем в это время Чепис. В его руках была сосредоточена действительно большая власть: в 1533 г. он получил должность канцлера казначейства, в следующем году он стал главным секретарем и хранителем судебных архивов, а 2 июля 1536 г. был назначен лордом-хранителем тайной печати.

Все эти службы он умело использовал для приобретения полного контроля над администрацией. Особое значение в деле усиления его власти имело то, что в отличие от Уолси, управлявшего государством в качестве канцлера, его ученик своей основной должностью, связанной с исполнением властных полномочий, сделал ранее второстепенную должность главного секретаря, которую он получил в апреле 1534 г. Кромвель придал этой службе такой вес, что абсолютно каждая, даже самая мелкая деталь в постоянно разрастающемся аппарате управления находилась под его неослабевающим взором. В качестве главного секретаря он получил контроль над ежегодными денежными сборами и финансами, внутренними делами государства и его внешней политикой, обороной страны и религиозными делами, а также выполнял множество менее значительных задач.

Роль первого министра становится все более и более заметной в управленческих делах, демонстрацией чего может служить существенное снижение значения королевской тайной печати. Постоянно действующий административный аппарат под контролем секретаря регулярно выпускает множество различных бумаг, что придает этому процессу характер рутинности и повседневности. На подобных документах вместо тайной печати в большинстве случаев ставится подпись Томаса Кромвеля как лорда-хранителя тайной печати, сама же печать при этом во многом становится простой формальностью.

Заметно вырастает и роль Кромвеля как главного секретаря в реорганизованном Тайном совете, приобретавшем на протяжении XVI века все более значительную роль в делах управления государством. Начиная с мая 1533 г. именно секретарь был ответственен за проведение всех постановлений Совета в жизнь[1]. В его обязанности входила и подготовка повестки дня. Благодаря этому Кромвель установил довольно жесткий личный контроль над всеми служебными делами, и, тем самым, воспрепятствовал превращению Совета в корпоративный орган[2].

Делу усиления личной власти способствовала и реорганизация финансовой системы, разделенной на шесть слабо связанных между собой департаментов, каждый из которых был ответственен за отдельный вид денежных сборов. Единственным координирующим центром являлся сам Томас Кромвель, выступавший в роли канцлера казначейства и использовавший персональные методы руководства[3].

---

[1] *Guy J.* Tudor England. Oxf., 1990. P. 160.
[2] Ibid. P. 163.
[3] *Elton G.R.* The Tudor Revolution in Government. Camb., 1953. P. 416.

Но все эти посты и сосредоточение огромных полномочий в руках первого министра мало что значили для его власти. В век господства методов хаузхолда в управлении все государственные посты только тогда наполнялись определенным смыслом и давали возможность реализовать свою власть, когда человек, их занимающий, пользовался доверием монарха и действовал с его одобрения. Именно доверие короля Генриха стало основой власти Кромвеля и давало ему реальные шансы на реализацию своих замыслов.

Реконструкция политических идей Кромвеля — весьма сложная задача, поскольку он сам, хотя и отличался завидной любовью к тщательной документации дел, никогда не записывал своих взглядов. Фактически единственный источник, сочинения кардинала Реджинальда Пола, на которое традиционно ссылались сторонники изображения Кромвеля как «макиавеллиста», не выдерживает критики.

В основу речи, вкладываемой в уста Кромвеля Полом, положен некий мифический разговор с королем, раздосадованным затянувшимся процессом развода с Екатериной Арагонской. «Посланник сатаны», наделенный «искусством старого Змея», убеждает Генриха стать главой английской церкви и таким образом решить надоевшую проблему. Он порицает советников, которые не могут найти способ удовлетворить желания монарха. Вина их в том, что они ставят интересы подданных короля выше его собственных интересов и постоянно пытаются его ограничить, ущемив его власть. Это недопустимо, ведь король выше закона и может его изменять по своему усмотрению; различие между правотой и ошибкой относительно и не может быть отнесено к королю в той же мере, в какой относится к простым смертным, поскольку политическая мораль отличается от абстрактных понятий о нравственности[1].

Дабы усилить обвинения, выдвигаемые против Кромвеля, Пол рассказывает о споре, который действительно имел место между ними в конце 1520-х гг. по поводу обязанностей советника короля[2]. В ответ на высказанное мнение кардинала, что советник должен служить, руководствуясь чувством чести своей и своего господина, Кромвель ответил, что эти книжные истины хороши лишь для философов, но не применимы на практике. В реальности советник должен стремиться выяснить путь, которым желает следовать государь, даже если последний не высказывает мыслей вслух. Вооруженный этим знанием, он должен искать методы осуществления желаний короля. Кромвель выразил сожаление Полу из-за того, что тот более увлечен чтением и совершенно оторван от реальной жизни, а также, раз уж он так увлечен книгами, рекомендовал ему прочитать новую, автором которой, как впоследствии предполагал Пол, являлся Макиавелли.

[1] *Pole R.* Apologia ad Carolum Quintum Caesarem. 1744. P. 118.
[2] Ibid. P. 133.

Но, во-первых, книга, которую рекомендовал Кромвель в 1528 г., никак не могла быть «Государем» Макиавелли[1], ведь первое издание этого сочинения впервые увидело свет только в 1532 г.[2]

Во-вторых, сам Пол позднее утверждал, что не был настолько близко знаком с Кромвелем, чтобы знать его сокровенные мысли, да и последний никогда не высказывал прилюдно своих «богохульных идей», более того, всегда вел себя как добрый христианин[3]. Реджинальд Пол также признается, что речь Кромвеля, которую он вложил в его уста, в действительности никогда произнесена им не была. Она составлена из его отдельных многочисленных высказываний, а поэтому, по убеждению кардинала, фактически равноценна той, которую он мог бы произнести[4].

В-третьих, что не менее важно, подобные нападки Пола начинаются не ранее 1538 г., после того как Кромвель принял участие в гонениях на сподвижников кардинала. Именно теперь он начинает раздумывать, должен ли он вымарать все страницы, на которых упоминается имя советника, сравнимое с дьявольскими именами величайших бандитов и убийц, вписанных в скрижали истории. Но всего лишь годом ранее кардинал через третьих лиц передает этому «посланцу дьявола» свои сердечные заверения в добрых намерениях и чувствах[5].

Таким образом, реконструируя взгляды Кромвеля, исследователи должны опираться не столько на сочинение кардинала Пола, сколько на анализ действий министра.

Основные нововведения 1530-х гг., по признанию большинства исследователей, прямо или косвенно способствовали усилению центральной власти. Среди самых известных реформ, проведенных под непосредственным руководством первого министра, особо следует отметить церковную реформацию, во многом вызванную нежеланием папы дать согласие на развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской. При этом Кромвель, являвшийся двигателем реформации, показал себя как жесткий и бескомпромиссный политик, вполне способный даже на физическое устранение тех, кто стоит на пути его преобразований. Причем на плаху отправлялись как простые монахи, так и люди выдающиеся, подобные лорд-канцлеру Томасу Мору и архиепископу Джону Фишеру. Политическая составная часть религиозной реформы в основном была завершена к середине 1530-х гг. выпуском «Акта о супрематии», утвердившем английского короля в качестве главы национальной

[1] *Dickens A.G.* Thomas Cromwell... P. 77; *Guy J.* Tudor England. P. 155; *Van Dyke P.* Renascence Portraits. N.Y., 1906. P. 400.
[2] Диккенс допускает, что книга, рекомендованная Кромвелем Полу, могла быть сочинением Кастильона «Книга придворного», впервые опубликованная в 1528 г. (*Dickens A.G.* Thomas Cromwell... P. 77).
[3] *Pole R.* Apologia... P. 131.
[4] Ibid. P. 132–127.
[5] *Dickens A.G.* Thomas Cromwell... P. 77

церкви и «Акта о ликвидации папской власти». Параллельно под прямым контролем Кромвеля шел процесс перевода Библии на английский язык.

Эффективной мерой, ведущей к подрыву власти папы, а также способствующей длительному процессу становления национального государства, был роспуск монастырей с дальнейшим изъятием их земель в пользу Короны. Эта политика способствовала консолидации территорий и централизации государства, поскольку ранее на многие монастыри в Англии юрисдикция светской власти не распространялась.

Не меньшее значение в деле усиления центральной власти имели финансовые и административные реформы Томаса Кромвеля, так или иначе затрагивающие большинство центральных органов управления. Впрочем, относительно целей, последствий и значения этих реформ для развития английской государственности, а также глубины преобразований в историографии идут жаркие споры.

Традиция рассматривать политический курс, отстаиваемый Томасом Кромвелем во время своего нахождения у власти, как движение к деспотии зародилась еще при его жизни. При этом именно министр в глазах обвинителей становился чуть ли не главным архитектором ненавистного курса, неким «серым кардиналом», умело манипулирующим королем, слабо разбирающимся в реальной политике. По словам кардинала Пола, «Бог в своем гневе пощадил жизнь Кромвеля в 1529 г. и передал ее Дьяволу в качестве инструмента для того, чтобы постоянно терзать душу Генриха»[1]. Не менее определенно говорит в своем обращении к министру и канцлер Томас Мор: «Мастер Кромвель, Вы поступаете на службу наиболее знатного, мудрого и доброго государя. Если Вы последуете моему скромному совету, Вы должны будете советовать королю и даже указывать ему на то, что он должен делать, но никогда не рассказывать ему, что он может делать. И это потому, что если лев узнает свою силу, тяжело будет другим людям совладать с ним»[2]. Приписываемое министру его врагами стремление насадить в Англии римское право, одним из основополагающих принципов которого было «*quod principi placuit...*» также отражало его желание создать абсолютную власть[3].

Подобная позиция, сильно преувеличивавшая роль и значение Томаса Кромвеля, также как и его желание возвыситься, вполне объяснима. Многие из критиковавших его, к примеру, упомянутый Томас Мор, сами занимали далеко не последние места при дворе. Будучи недовольны осуществляемым политическим курсом, но, опасаясь за свое положение, а подчас и жизнь, они не смели обвинить короля, тем более что такое поведение не соответствовало бы нормам, сложившимся при дворе. Учитывать мы должны и то,

[1] The Letters and Papers, Foreign and Domestic / Ed by Gairdner J. XVI. 404; XIV (I). 200.

[2] *Fisher H.A.L.* The Political history... Vol. V. P. 328.

[3] *Maitland F.W.* English Law and the Renaissance. Camb., 1901; *Pollard A.F.* Henry VIII. P. 259.

что самому Генриху, вполне осознающему, что проводимая политика часто вызывает сопротивление и отторжение, был выгоден министр в качестве «громоотвода». В этой связи не случайно и то нелепое обвинение, которое среди прочих он получит после ареста. Обвинение состояло в том, что он вынашивал планы стать королем, для чего якобы решил заставить принцессу Марию выйти за него замуж.

Традиция рассмотрения Кромвеля как архитектора деспотии, развязавшего в стране террор[1], была довольно устойчива вплоть до середины XX в. В своей попытке показать всю деспотичность политики этого человека исследователи делают особый акцент на радикальности, предпринимаемых им мер. В стремлении достичь поставленных перед собой целей, он легко уничтожал как устоявшиеся традиционные институты, так и людей, стоявших у него на пути. Причем современные авторы в своем анализе деятельности министра подчас не менее эмоциональны, чем их предшественники. «Довольно много моментов в его жизни и в политике требуют сердечного проклятия потомками. Он посылал людей умирать без справедливого суда, использовал пытки, был коварен и неразборчив в средствах, свиреп в час успеха, но в моменты опасности вел себя подобно жалкому рабу», — заключает Х. Фишер[2]. По мнению А.Ф. Полларда, «продвижение Генриха к деспотии связано с возвышением Томаса Кромвеля, который брал власть Великого Турки в качестве модели власти христианского государя»[3]. В своем желании возвыситься министр постоянно искал возможность приручить парламент[4], в отличие от короля, который в этом вопросе не переходил границ и предпочитал избегать силовых мер, соблюдая традиции[5]. «Наиболее ненавистные институты стюартовской тирании были популярными институтами при Тюдорах», — выносит свой вердикт Поллард[6].

Но взгляды на него как на человека, слепо идущего к цели, не считаясь с законом и традициями, сильно преувеличены. Подобно всем советникам эпохи Тюдоров Кромвель посвящал много личного времени рассмотрению жалоб и петиций[7]. И хотя он, в отличие от своего предшественника Уолси, не председательствовал в суде, но старательно отстаивал идею верховенства закона. В его корреспонденции постоянно встречаются напоминания о необходимости соблюдения судейской беспристрастности. «Определять вину должны не твои чувства, а закон», — такое наставление он дает одному из своих подчиненных.

Министр интересовался теоретическими правовыми вопросами и был сторонником обычного права. Впрочем, как убедительно показал в. Голдсуорт,

[1] *Fisher H.A.L.* The Political history... Vol. V. P. 328.

[2] Ibid. P. 446.

[3] *Pollard A.F.* Henry VIII. P. 259.

[4] *Picktorn K.* Early Tudor Government. Vol. II. P. 214.

[5] *Pollard A.F.* Henry VIII. P. 209 –212, 312.

[6] Ibid. P. 28.

[7] *Elton G.R.* The political creed of Thomas Cromwell // *Elton G.R.* Studies in Tudor and Stuart politics .... Vol. II. P. 222.

Англия эпохи Кромвеля вовсе не подвергалась опасности принятия римского права с его более деспотическими по сравнению с обычным правом принципами[1]. Кромвель, являясь активным членом Грейз Инн, даже во время своей государственной службы не отказался от частной юридической практики[2] и практиковал в области обычного права.

Гораздо более демонстрирует его истинные взгляды отношение к парламенту. Еще на заре своей карьеры будущий министр смог оценить те потенциальные возможности, которые раскрывала парламентская деятельность. Когда в 1529 г. после падения канцлера Уолси над ним нависла реальная угроза, именно в парламенте он нашел защиту. Но парламент означал для него больше, чем просто спасение, он, по словам Элтона, стал «сценой и агентом его карьеры»[3]. Вся политика времени Генриха VIII строилась на сознательном сотрудничестве с парламентом. Будучи искусным политиком, Кромвель не мог не понимать, что все установления, одобренные представителями общества, должны иметь в глазах подданных большую обязывающую силу, что особенно было важно во время, когда центральная власть не всегда была в состоянии удержать под контролем ситуацию на местах. Если и возникали какие либо затруднения, то рассматривались они не столько как проблема существования парламента, сколько как отсутствие достаточного количества преданных людей в этом органе власти[4]. Вера Кромвеля в парламент демонстрируется его приверженностью статутам. За первые 22 года правления Генриха в течение девяти сессий парламента было издано 203 акта, из которых 148 были публичными. За девять лет государственной деятельности Кромвеля в течение восьми сессий было выпущено 333 акта, из которых, по крайней мере, в двухстах прослеживается прямое влияние министра. Более того, даже принятый под давлением Кромвеля «Акт о прокламациях», позволяющий королю совместно с Советом издавать прокламации, требовал, чтобы они основывались на существующих статутах. И это установление выполнялось.

Таким образом, изображение Кромвеля как человека, попиравшего устоявшиеся традиционные институты в своей попытке любыми средствами установить деспотию в стране, не отражает истины.

С другой стороны, в глазах части исследователей, опровергающих «деспотические» устремления министра, он предстает подчас даже еще более радикальным политиком, ставившим перед собой цель создания национального суверенного государства и совершившим настоящую революцию в управлении.

Термин «революция» подразумевает, что Кромвель сознательно снижал роль королевского хаузхолда в управлении и заменял его «национальной» бюрократической администрацией, состоящей из государственных ведомств, находящихся под контролем радикально реорганизованного Тайного Совета. В результате королевский хаузхолд стал просто государственным ведомством, задачи которого были связаны исключительно с королевской персоной. Финансы при этом попали под контроль созданных национальных институтов. В конечном итоге Тайный Совет и секретариат государства вышли из хаузхолда и достигли национального уровня. Эти изменения произошли столь явно и стремительно в период между падением Уолси и Кромвеля, что только термин «революция» может адекватно описать то, что произошло[1].

Впрочем, тезис о «тюдоровской революции в управлении» вызывает возражение тех, кто считает, что политика Кромвеля не может претендовать на оригинальность, а его вклад в преобразования не был столь значительным[2]. Борьба с коррупцией, отстаивание верховенства закона, централизация управления и попытка разделения властей путем выделения Тайного совета, наделенного исполнительными функциями — все эти меры предпринимались еще при Уолси[3]. Да и реорганизованный Кромвелем Тайный Совет не являлся столь самостоятельным органом управления и часто был прямо подчинен Двору. Персональные и родственные отношения пронизывали тюдоровское общество насквозь, так что эффективная бюрократическая организация была в условиях первой половины XVI в. не только не осуществима, но и не желаема[4]. Члены королевского двора продолжали играть существенные административные роли в течение всего раннего Нового времени[5]. Показательно и то, что Кромвель сам использовал методы управления хаузхолда, регулярно упрощая чиновничий механизм, особенно в сфере финансов[6]. Вряд ли мы можем утверждать, что шаги, предпринимаемые в 1530-х гг., привели к радикальным изменениям в политической, экономической или социальной сферах. Таким образом, учитывая длительность преобразований, начавшихся до прихода Томаса Кромвеля и продолжившихся после его смерти, термин «изменения» более корректен, нежели чем «революция».

[1] *Holdsworth W.S.* History of english Law. Vol. IV. P. 217.
[2] *Elton G.R.* Tudor Revolution... P. 136.
[3] *Elton G.R.* The political creed... P. 225.
[4] *Zeeweld W.G.* Foundations... P. 82–110.

[1] *Elton G.R.* Tudor Revolution... P. 415–416, 420, 426–427.
[2] *Beckingsail B.W.* Thomas Cromwell: Tudor Minister. L., 1978. P. 152–153; *Cooper G.P.* A Revolution in Tudor History? // Past and Present. 1963. № XXVI; *Guy J.A.* The Privy Council: Revolution or Evolution // Revolution Reassessed . Revisions in the history of Tudor Government and Administration. / Ed. Coleman Ch., Starkey D. Oxford, 1986; *Harris G.L., Williams P.* A Revolution in Tudor History? // Past and Present. 1963. № XXV; *Starkey D.* Which Age of Reform? // Revolution Reassessed . Revisions in the history of Tudor Government and Administration.
[3] *Guy J.* Tudor England. P. 156–177.
[4] Ibid. P. 156–157.
[5] The Acts and Monuments of John Foxe. / Ed. G. Townsend. (8 vols.). L., 1843–1849. Vol. III. P. 362–403.
[6] *Elton G.R.* The Tudor Revolution... P. 416.

Споры, и по сей день не утихающие вокруг фигуры Томаса Кромвеля, являются подтверждением того, что след, оставленный им в истории, весьма значителен.

В целом, Кромвель, не имевший ни знатного происхождения, ни блестящего образования, был человеком, добившемся успеха и славы своими собственными силами, — человеком действия, а не университетским интеллектуалом, подобным Мору, Кранмеру и Реджинальду Полу. Он имел широкий круг интересов: читал труды по истории и праву, изучал итальянский, французский, латынь и греческий, покровительствовал писателям и художникам. Его природные ораторские способности были весьма внушительны, так что в политических дебатах в парламенте он легко одерживал верх над соперниками, прошедшими прекрасную школу ораторского мастерства в лучших учебных заведениях того времени. Но более важно, что он имел природный талант к управлению. Джон Фокс описывал его как «богатого разумом, осмотрительного в суждениях, красноречивого, преданного службе, отважного, любящего писать»[1].

Конечно, несмотря на непринужденную манеру, доступность, способность к дружбе, Кромвель был весьма опасен. Безжалостность была следствием его целеустремленности. Будучи сыном своей эпохи, он не знал пощады в делах, хладнокровно расправляясь с теми, кто вставал на пути проводимых им реформ, но в его характере отсутствовали малейшие намеки на беспричинную жестокость, и он никогда не преследовал тех из своих врагов, которые более не представляли опасности для его начинаний.

Современники считали его всемогущим, но его власть была призрачной. С того времени как Генрих «приятно проводил время в хорошенькой компании», как он сам утверждал в написанной им песенке, он не был таким постоянным арбитром в своей политике, каким был его отец. Государственные бумаги Генрих находил «столь же скучными, сколь утомительными». Но при этом король не являлся управляемой куклой, никогда не игнорировал то, что делалось от его имени, и всегда сам определял стратегическое направление политики. Так что Томас Кромвель, как и его предшественник Уолси, наслаждавшиеся премьер-министерскими полномочиями, которые обычно им приписываются, — не более чем иллюзия, хотя оба действительно контролировали осуществление политики как исполнители.

В реализации политики Генрих всегда зависел от своих министров. Он быстро воспринимал идеи, но не обладал продуктивным умом, не был способен проникнуть в суть проблемы и тем более ее разрешить. Имея качества превосходного политика, король не обладал важными качествами государственного деятеля. К тому же он был ленив, а поэтому легко сдавал министерские позиции. Но при этом советники всегда действовали в границах, определяемых доверием Генриха: они были министрами, но не премьер-министрами. И если

[1] The Acts and Monuments of John Foxe. P. 362–403.

Кромвель занимался делами, не одобренными королем, он делал это на свой страх и риск, или за его спиной, поскольку монарх был занят развлечениями[1]. Министр, знал как никто другой изменчивость политической фортуны при дворе непредсказуемого короля. «Разве не был мой лорд-кардинал великим человеком, и не управлял ли он всеми делами в королевстве?», — спрашивал Кромвель своих врагов[2]. В 1536 г. он говорил имперскому послу Чепису: «Я осознал бренность человеческих дел, особенно при дворе... и если рок уже завис надо мной, как некогда над моим предшественником, я должен запастись смирением и оставить должное Богу... Вскоре Вы увидите, как моя голова свалится с плеч»[3]. Кромвель очень заботился о том, чтобы не дать повода для обвинений в таких независимых действиях, которые привели его предшественника к падению. По манерам и по характеру проявления своей власти он очень отличался от Уолси и во многом был ему противоположен. Томас Уолси управлял как «alter rex»: он обзавелся собственным двором и любил внешне подражать Генриху, а его дворец в Хэмптон Корте соперничал с королевским. Его ученик, наоборот, был абсолютно индифферентен к внешнему проявлению своей власти[4]. В своих письмах к королю он старательно выказывал угодничество. «Я никогда не стану действовать без приказа», — писал он.

Впрочем, это не есть истинное положение вещей. Как свидетельствует корреспонденция Кромвеля, он вел беседы с иностранными послами, самостоятельно отвечал на письма из-за границы, поскольку они были «длинны и расплывчаты» и «могли утомить короля», а также составлял письма и государственные бумаги, которые король просто подписывал. Он часто действовал без специальных поручений, поскольку находил излишним «утруждать» короля. Нет оснований считать, что Кромвель был простым инструментом в политике.

В любом случае, король оставался единственным источником власти. И хотя он сам принимал решения, уничтожал своих жен и советников, он прислушивался к тем, кому доверял и позволял им заниматься реализацией той политики, которая отвечала его интересам. В этом смысле Кромвель, наводивший страх на окружающих своей бескомпромиссностью и готовностью безжалостно расправиться с теми, кто вставал на пути его замыслов, оставался лишь «человеком второго плана» на фоне короля, разменной фигурой на шахматной доске Генриха.

[1] *Guy J.* Tudor England. P. 82.

[2] *Muir K., Tomson P.* Collected Poems of Sir Thomas Wyatt. Liverpool, 1969. CLXXVI.

[3] L. and P. X. 601.

[4] Учитывая разницу в характере внешнего проявления власти Уолси и Кромвеля, Старки говорит, что власть Кромвеля была более институциональна и менее персональна, чем власть кардинала. Его задачи заключались в том, чтобы «механически» давать советы королю, и в этом смысле он был первым «бюрократическим» министром, но с одной оговоркой. Это была не бюрократия Совета, но бюрократия Двора. (*Starkey D.* The Reign of the Henry VIII. Personalities and Politics. L., 1985. P. 105).

А.В. БРАЖКИНА (МОСКВА)

ПОЧТИ СКАНДАЛЬНАЯ СМЕРТЬ «ПОЧТИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА»

«Клиентские» отношения — слабо описанная в науке, хотя широко распространенная в обществе, форма псевдосемейных социальных связей, мало зависящая от рамочного типа государственного устройства. В «клиенте» находит свое самое полное и адекватное выражение исторический типаж «вечного второго». Наиболее естественная и желанная роль для самых ярких представителей этой специфической социальной группы — так называемый «серый кардинал», хотя, разумеется, лишь единицам удается достичь такого положения, при котором оказывается возможным реально влиять на своего патрона, а через него — на положение дел в обществе. «Клиент» — это стратегическая личностная позиция, позволяющая человеку обеспечивать собственный карьерный рост и благосостояние благодаря продвижению другого лица. «Клиент» может укреплять жизненные позиции «хозяина», исполняя самые разные функции, от телохранительских и секретарских до дипломатических и научных. При этом важна, прежде всего, его личная преданность. В России эта форма служебного продвижения в личной связке с «хозяином» была формально закреплена в должности «чиновника по особым поручениям». Таких «персональных» чиновников было много всегда, но особый блеск культура личных услуг приобрела в «охранительское» тридцатилетие российской истории, открывшееся Польским восстанием 1863 г. и закончившееся смертью Александра III в 1894 г. В это время все реальное общение властных групп происходило исключительно «под ковром», но публичным языком остался выработанный в самом начале «освободительных» 1860-х язык «общественного договора». Ситуация требовала профессионалов, которые умели бы находить убедительные слова об общей пользе для описания действий, направленных на извлечение пользы личной. Такие люди, конечно, нашлись.

Поэт-дипломат Федор Тютчев, публицист — спец по общественным страхам Михаил Катков, управленец и саркастический литератор Сергей Витте и другие интеллектуалы того времени, виртуозно обслуживая конкурирующие между собой властные группировки, выработали корпус успешных социальных практик, направленных как на сокрытие, так и на разоблачение корыстных или преступных намерений и действий властей. Большинство этих практик сегодня называется техниками «черного пиара». Деятельность Михаила Каткова — один из образцов для исследования таких техник.

1. Доблестная жизнь

«Столп русского консерватизма», «трубадур абсолютизма», «сторожевой пес самодержавия» — редактор газеты «Московские ведомости»[1] и журнала «Русский вестник» Михаил Никифорович Катков (1818–1887 гг.) — казался современникам человеком фантастически влиятельным. Почти все, к чему призывал он в своих статьях, осуществлялось.

Вызывавшие недовольство Каткова высшие чиновники скоро лишались своих мест. Так, в результате атак МВ получили отставку министры народного просвещения А.В. Головнин и А.П. Николаи, министр юстиции Д.Н. Набоков, министры внутренних дел П.А. Валуев и Н.П. Игнатьев, военный министр Д.А. Милютин, министры финансов — А.А. Абаза и Н.Х. Бунге, глава Верховной распорядительной комиссии М.Т. Лорис-Меликов. Буквально со смертного одра Катков слабеющей рукой добивал министра иностранных дел Н.К. Гирса. С подачи МВ был снят десяток губернаторов, градоначальников и попечителей учебных округов; оказались в опале два десятка ведущих профессоров Московского и Киевского университетов. Катков сумел добиться даже отстранения от должности члена Царской семьи[2], на что не смел посягать никто.

В освободившихся креслах появлялись те, на которых указывал Катков. По настоятельной рекомендации МВ были назначены: М.Н. Муравьев — на пост Виленского генерал-губернатора — ключевой политический узел России в период Польского восстания; Д.А. Толстой — на посты, бывшие самыми важными во времена «борьбы с крамолой»: обер-прокурора Синода, министра просвещения, министра внутренних дел; К.П. Победоносцев — на «рамочный» для империи пост обер-прокурора Синода; А.И. Вышнеградский — на пост заглавного в российском правительстве министра финансов; С.Ю. Витте — на самые «хлебные» посты, связанные с управлением железными дорогами.

Государственные мужи смотрели на такое положение дел с возмущенной брезгливостью. Граф В.Н. Ламздорф (будущий министр иностранных дел) называл невежественного Александра III и парвеню Каткова «их величествами»[3]. О том, что «никто не смеет дерзать в самодержавном царстве восстать за самодержавные решения и веления против Михаила Никифоровича Каткова», свидетельствовал министр П.А. Валуев[4]. Госсекретарь

[1] В дальнейшем — МВ.

[2] Великий князь Константин Николаевич был наместником императора в Польше, когда там началось восстание 1863 г. Грубо обвиняя Константина в неспособности справиться с восстанием, МВ прозрачно намекали на то, что великий князь желает отделить Польшу и сделаться там королем. Император отозвал брата из Польши.

[3] *Ламздорф В.Н.* Дневник 1886–1890 гг. М.; Л., 1926. С. 79.

[4] *Валуев П.А.* Дневник 1877–1884 гг. Пг., 1919. С. 238.

А. А. Половцов писал: «Политический идеал Каткова таков: русский император сидит на троне, рядом с ним Катков и больше никого»[1]. Затравленный МВ министр А. А. Абаза оскорблено спрашивал императора: «Может быть, было бы лучше назначить на мое место человека, разделяющего мнения Каткова!?». По признанию К. П. Победоносцева, в России действительно «были министерства, в которых ничто важное не решалось без участия Каткова»[2].

В соответствии с советами редактора МВ смягчалось или ужесточалось законодательство, перенаправлялись денежные потоки, определялась политика в отношении целых народов. Дружбы Каткова страстно искали тогдашние «олигархи» — винные откупщики, сахарозаводчики, «железнодорожные короли». Иностранные послы обращались к нему за комментариями чаще, чем к министру иностранных дел. Военные корреспонденты отправляли срочные сводки с полей сражений, по распоряжению командования, по двум адресам: в Главный штаб и в МВ Каткова[3].

Едва появившись в 1863 г., газета Каткова взлетела в зенит славы, за полгода удвоила тираж и обрела европейскую известность: передовые статьи МВ ежедневно получали по телеграфу и комментировали на своих страницах самые крупные газеты ведущих держав мира. Русские дипломаты в Турции вспоминают, с каким бешенством реагировали английские консулы на статьи Каткова, передававшиеся иностранной прессой[4]. Вообще из российских газет, кроме «Колокола» Герцена, на протяжении всего XIX века за рубежом знали только МВ Каткова. Особенно ценили Михаила Никифоровича в пост-наполеоновской Франции. Оба пришедшиеся на его жизнь президента — Луи Тьер и Жюль Греви — демонстрировали, что чрезвычайно высоко ставят Михаила Никифоровича, а местная пресса на его смерть в 1887 г. откликнулась как на трагическую утрату величайшего друга Французской республики: Figaro в статье «Теории Каткова» изображала почившего le grand Katkoff непревзойденным либералом и главным идеологом внешней политики России, сторонником союза между просвещенной Россией и свободной республиканской Францией. Н. Н. Голицын, живший тогда в Париже, утверждал, что подобных публикаций там в это время появились десятки[5].

При этом героические МВ неоднократно получали предупреждения от властей и дважды оказывались на грани закрытия!

[1] *Половцов А. А.* Дневник государственного секретаря А. А. Половцева. В двух томах. М., 1966. Т. 2. С. 389.

[2] *Победоносцев К. П.* Письмо Александру III от 11 марта 1887 г. // *Победоносцев К. П.* Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 491.

[3] *Скалон Д. А.* <Вл. Соловьев — «военный корреспондент» на Дунае> // Вл. С. Соловьев: pro et contra. СПб., 2000. С. 141–142.

[4] *Леонтьев К. Н.* Записки отшельника (1887 г.) // *Леонтьев К. Н.* Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 444.

[5] Там же. С. 436.

Общим местом в поздних исследованиях «охранительной» ориентации стало соображение о том, что Катков — первый подлинно свободный журналист России, который открыто и смело заявлял патриотическую позицию, сумев придать независимой прессе невиданную доселе влиятельность. Неоконсерваторы утверждают, что Катков был выразителем чаяний самых лучших, самых честных людей своей эпохи, напоминая, что с ним в разные годы сотрудничали практически все значимые литераторы того времени: Вяземский, Белинский, Достоевский, Гончаров, Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский, Тургенев, Лев и Алексей Толстые, Тютчев, Лесков, Фет, Майков, Полонский, Писарев, Плещеев, Огарев, Михайлов, Успенский, Писемский.

И вот справедливый итог самоотверженной жизни, положенной во спасение Отечества: когда-то бедный, как церковная мышь, юноша, выросший без отца и начинавший с продажи шубы ради занятий наукой[1], кончает свои дни тайным советником (с 1882 г.) в собственной великолепной усадьбе (в 1876 г. Катков купил Знаменское-Садки, ранее принадлежавшую Трубецким), обеспечив детям княжеский титул[2]; по всей России по нем звонят колокола[3], на кладбище Алексеевского монастыря — сотни венков, в том числе от иностранных государств. «Так не провожали ни Достоевского, ни Гоголя, ни Пушкина», — заметит Лесков. Достойный памятник этой упорной жизни — 25 толстенных томов передовиц Каткова, посмертно изданных вечно любящей вдовой[4].

2. Скандальная смерть

Однако, кончина Каткова, вызвавшая колокольный звон по всей Руси, сопровождалась подковерным скандалом: в смерти этой в некотором роде был замешан сам государь.

За три месяца до того, в марте 1887 г., Александр III приказал объявить Каткову предостережение на общих основаниях за статью в № 66 МВ[5] и высказал обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву свое недовольство редактором газеты в самых резких тонах: «Вообще Катков забывается и играет роль какого-то диктатора, забывая, что внешняя политика зависит от

[1] В 1842 г. Катков пишет одному из своих кредиторов А. Н. Попову: «Шуба еще не продана, но продается». См.: Русский архив. 1888. Август. С. 482.

[2] Жена Каткова — С. П. Шаликова (с 1851), родившая ему двоих сыновей, была княжной и через нее, за неимением наследников мужского пола, титул перешел к ее и Каткова детям.

[3] Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев распорядился провести панихиды по Каткову во всех кафедральных соборах страны.

[4] Собрание передовых статей «Московских ведомостей», 1863–1887. М., 1897–1898.

[5] *Победоносцев К. П.* Письмо Александру III... С. 490–491.

Меня и это Я отвечаю за последствия, а не г-н Катков; приказываю дать Каткову первое предостережение ..., что бы угомонить его безумие и что всему есть мера»[1]. В упомянутой статье Катков позволил себе вмешательство во внешнюю политику, посягнув т. о. на исключительные полномочия самого императора. Статья была профранцузской, и явилась в тот момент, когда в Берлине готовились к заключению тайного русско-германского союза.

Победоносцев в ответ рисует апокалиптическую картину того, что будет, если император вынесет Каткову предупреждение на общих основаниях: «Телеграф разнесет это известие по всем концам мира. Это будет замечательное политическое событие. Оно будет истолковано в смысле поворота нашей политики. Оно отразится на бирже. Оно вызовет торжественные демонстрации во всех больших городах и, между прочим, со стороны враждебных России партий. Внутри России произойдет крайнее недоумение и смущение... и во всяком случае будет утратой для правительства... силы нравственной»[2]. Победоносцев советует Александру сделать предупреждение неофициально. «Для этого Феоктистов[3] мог бы съездить в Москву или гр. Толстой[4] лично мог бы передать Каткову все то, что Вашему Величеству угодно было выразить... Я не сомневаюсь, что он (Катков) принял бы это внушение со всей покорностью». Тем более, говорит Победоносцев, Михаил Никифорович и без того «едва ли долго продержится»[5], имея в виду неизлечимую болезнь Каткова — рак желудка.

Феоктистов приехал в Москву «довести до сведения недовольство государя» только в мае. Через несколько дней Каткова сковал паралич[6] и вскорости, 20 июля, он умер. Не от рака, а от инсульта. Такая смерть дала повод газетам утверждать, что Катков погиб от объявленной ему опалы императора. В месяц похорон Каткова князь В. П. Мещерский[7] пишет Александру: «...пустили нелепую молву, что Государь разошелся с Россиею относительно Каткова и отвернулся от него в ту минуту, когда к нему было всеобщее доверие; а "Новое Время"[1] так пошло далее и в инсинуациях дает понять, что самая болезнь Каткова была вызвана тем, что Берлин будто бы взял над ним верх и склонил Государя объявить Свою опалу Каткову»[2]. Насколько справедливо такое обвинение? Попробуем разобраться.

[1] Цит. по: *Феоктистов Е. М.* За кулисами политики и литературы (1848–1896). М., 1991. С. 244–245.

[2] Там же.

[3] Феоктистов Е. М. (1829–1898) в описываемые годы (1883–1896) — начальник Главного управления по делам печати. В 1853–1861 был сотрудником изданий Каткова.

[4] Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889) — ближайший сподвижник Каткова с 1863 г. В описываемый момент — министр внутренних дел.

[5] *Победоносцев К. П.* Письмо Александру III... С. 492.

[6] О том, что Каткова перед смертью разбил «паралич», Победоносцев упоминает в письме Александру III от 31 июля 1887: «...за несколько дней до паралича он писал мне...» (*Победоносцев К. П.* Письмо Александру III... С. 517.)

[7] Князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) — писатель, журналист. В момент описываемых событий — редактор журнала «Гражданин» (1872–1914).

3. Берлин или Париж?

1887 — пожалуй, самый загадочный год в европейской политике XIX века: на него пришлось создание более десятка тайных международных союзов. Перевозбуждение дипломатов было связано с усилением Германии и политической эквилибристикой ее канцлера Отто фон Бисмарка. Хотя «железный канцлер», вооруживший Рейх до зубов, заверял «европейский концерт» в своем безупречном миролюбии, новая Германия внушала миру панический ужас. Все спешили вступить с ней в тайный союз. Но точно так же все спешили заключить тайные антигерманские союзы друг с другом. Россия в этом отношении не была исключением.

Послом в Берлин в 1885 г. был назначен самый изощренный чиновник, какого сыскали — Павел Андреевич Шувалов[3]. С начала 1887 г. Шувалов по поручению русского трона вел тайные переговоры с Бисмарком.

Тем временем русский посол во Франции — Артур Павлович Моренгейм — стремился в направлении союза франко-русского. Ходили слухи, что посла поддерживала даже императрица: Мария Федоровна во многом была обязана своим браком с Александром именно Моренгейму[4]; кроме того, как истинная датчанка, она не могла простить Бисмарку разгрома ее родины в 1864 г.[5] При содействии русского посла в Париже выходила газета «Галл» во главе с И. Ф. Ционом, бывшим петербургским профессором физиологии. Газета боролась с радикальной русской молодежью, эмигрировавшей в Европу, а так же ратовала за сближение России и Франции. Цион был приятелем Каткова с 1850-х гг., когда начал печататься в «Русском вестнике». С появлением «Галла» отношения двух редакторов упрочились: с 1885 г.

[1] «Новое время» — газета, которую выпускал славянофил А. С. Суворин. По ряду позиций «Новое время» конкурировало с МВ и «Гражданином» Мещерского.

[2] ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 105. Л. 31–38.

[3] Граф Шувалов Павел Андреевич (1830–1908) — генерал от инфантерии, брат начальника III отделения Петра Андреевича Шувалова.

[4] Мария Федоровна (1854–1928) — жена Александра III, в девичестве — датская принцесса Дагмара, сначала была невестой наследника русского престола Николая Александровича. Однако Николай в 1865 г. скончался, и Дагмаре предложили выйти замуж за Александра, ставшего наследником. Посланником России в Дании в этот момент был А. И. Моренгейм, чья миссия состояла именно в содействии заключению этого брака.

[5] После победы над Данией в войне в 1864 г. Пруссия получила Шлезвиг, Голштинию (Гольштейн) и Лауэнбург.

Катков публиковал статьи Циона в МВ, а в 1886 г. выпустил его брошюру «Нигилизм и нигилисты».

Катков, видимо, полагал, что к его «парижской» деятельности государь относится с сочувствием. 8 января 1887 г. он послал Александру конфиденциальную записку, в которой доказывал, что единственно выгодным для России союзом может быть союз с Францией[1]. Это казалось тем более естественным, что русско-германские отношения агонизировали.

«Антигерманскость» пропитала тогдашнее российское общество насквозь, т. к. была привязана к самым популистским темам: предательству в войне, хлебу и деньгам. «Предательство», правда, было староватым, но его все еще помнили (в 1878 г. Бисмарк не помог России отстоять ее завоевания на Балканах, хотя в критическую для него минуту в 1871 г. Россия, в ущерб себе, помогла союзной Пруссии). Но «хлебная» и «денежная» темы были совсем свежими: защищая внутренние рынки своей страны от проникновения иностранных товаров и финансовых инструментов, Бисмарк несколько раз в последние годы повышал пошлины на ввоз русского хлеба, а в 1887 г. запретил немецким банкам выдавать ссуды под залог российских ценных бумаг.

Русская публика была потрясена циничным прагматизмом канцлера. Говорили, что надо «сбросить немецкое ярмо», «освободиться от тевтонского владычества» и напомнить Германии, что «Россия это не хинтерланд». Имелось два противоположных ответа на вызов Бисмарка: 1) Война. 2) Мир.

Но для войны с Германией нужна была союзная Франция. При этом «добрую волю» к союзу с нею России надо было еще доказать. Например, взять у Франции, а не у Германии, как это было ранее, заем под высокий процент. И не кричать об этом — ведь Франция разносила по миру «революционную заразу», (т. е. была идейным врагом монархии); к тому же дразнить Бисмарка раньше времени было опасно.

Мира же с Германией следовало искать во взаимной выгоде. Например: они снижают пошлины на наш хлеб, а мы, как обычно, берем у них очередной заем под высокий процент. При этом за уже понесенный «моральный ущерб» требуем признать исторические права России на Балканы.

Такой мир был унизителен, но такая война была гибельна. Министр финансов Н. Х. Бунге считал, что война выпотрошит казну. Корона склонялась к миру. Шувалов вел с Берлином переговоры о госзайме и Балканах. Дожидаясь конца переговоров, Францию держали «про запас».

И тут выступили МВ со своей «предательской» статьей.

Такая дерзость вообще-то не была в манере Каткова. В прежние времена, когда Михаил Никифорович проявлял вдруг внешнеполитическую горячность, всегда можно было смело утверждать, что он выполняет правительственный «заказ». Скажем, пробританские статьи «Русского вестника» 1859–1863 гг. были продиктованы англофильскими настроениями тогдашнего катковского благодетеля — князя П. А. Вяземского, товарища министра народного просвещения, заведовавшего делами печати в России. В 1859 г. Катков даже съездил в командировку в Лондон, где, видимо, выполняя задание властей, пытался расположить Герцена к сотрудничеству с новым правительством «реформаторов»[1]. За все эти старания Вяземский в 1863 г. дал решившую дело рекомендацию Каткову, намеревавшемуся арендовать «Московские ведомости». Получив МВ, Катков сразу же взялся за отработку нового правительственного заказа — серию публикаций о Польском восстании, ориентированную специально на иностранцев. Передовицы МВ того времени были прямыми репликами Горчаковского МИДа, «сливавшего» в МВ секретную информацию через сотрудника газеты А. И. Георгиевского, родственника председателя Комитета цензуры иностранной литературы при МИДе Ф. И. Тютчева. Именно высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел и одновременно великий русский поэт Федор Тютчев сделал тогда МВ «рупором» своего министерства и мастерски раскрутил газету Каткова, добившись ее оглушительной известности за границей.

Но в 1887 г. Катков не только не «координировал» публикаций, скажем, с «профильным» министром иностранных дел Н. К. Гирсом, но и в весьма презрительном тоне отзывался о последнем на публике, заявляя, что «поездки Гирса в Берлин похожи на поездки древних русских правителей в Золотую Орду»[3].

Чем же была продиктована эта вдруг проснувшаяся в Каткове, всю жизнь с гордостью называвшем себя «сторожевом псом самодержавия», отчаянная любовь к свободной Франции? Неужели старый «охранитель» осмелел от дыхания смерти?

Вопросу искренности веры умирающего Каткова в судьбоносность «союза сердец» России и Франции посвящена волнующая работа славянофила Константина Леонтьева «Невольное пробуждение старых мыслей и чувств»[4]. Резюме ее — растерянность: «Чего-то Катков не договаривает».

Посмотрим, чем же занимался новоявленный франкофил Катков перед появлением злополучной статьи?

4. Команда

В феврале 1887 г. в Петербург приехал уже знакомый нам редактор парижской газеты «Галл», приятель Каткова И. Ф. Цион. В то же время туда приехал и Катков. СЦионом он встречался ежедневно и пробыл в столице

[1] Красный архив. 1933. № 3 (88). С. 78.

[1] *Герцен А. И.* Былое и думы. М., 1959. С. 279.

[2] Этот сюжет убедительно развернут Вадимом Кожиновым в книге «Пророк в своем отечестве. Федор Тютчев». М., 2002. С. 448–449.

[3] *Якутин Н.* А Тургенев обиделся // Журналист. 2003. № 2. С. 12.

[4] *Леонтьев К. Н.* Невольное пробуждение старых мыслей и чувств // Леонтьев К. Н. Восток... С. 432–434.

долго, так что «и в здешнем обществе, живущем сплетнями, и в заграничной прессе поднимались вздорные толки, что с ним ежедневно совещаются о делах внешней политики»[1].

Цион приехал в Россию продвигать интересы французских банкиров в России. Контактеров тут у него было трое: собственно Катков, а также редактор петербургского журнала «Гражданин» кн. Мещерский и свежеиспеченный министр финансов И. А. Вышнеградский. За короткий срок этой небольшой группе удалось переориентировать курс российского правительства с Германии на Францию: 12 ноября 1888 г. при официальном посредничестве Циона между российским Минфином и представляющим Францию банкиром Госкье будет достигнуто соглашение о государственном займе в 500 млн. франков.

Компания «Цион — Катков — Мещерский — Вышнеградский» сложилась давно: МВ начали печатать статьи Вышнеградского в 1884 г.[2]; их сразу же поддержал «Гражданин»: «Вышнеградский спасет Россию от экономического хаоса!»[3]. Интерес в этом деле у компании был простой: комиссионные за посредничество при обеспечении России французским займом.

Присмотримся к соратникам поближе.

Илья Фаддеевич Цион (1842–1912) — личность более, чем противоречивая: с одной стороны — гениальный физиолог, учитель И. Павлова[4], с другой — паранойяльный реакционер, крещеный еврей, ставший ярым юдофобом; по мнению некоторых исследователей — предполагаемый автор «Протоколов сионских мудрецов»[5].

«Многие знавшие его — и я в том числе, — признавался И. И. Мечников, — его очень не любили за его злобный характер и неспособность стать на сколько-нибудь нравственно возвышенную точку зрения»[6].

Цион всплыл в высшем свете империи в 1870-х в виде роскошного молодого профессора СПб университета, хоть и мало кем любимого из-за строгости к студентам и жестокости в обращении с подопытными животными. Правда, в легкой любви молодежи Цион, видимо, и не нуждался, требуя ввести телесные наказания в университетах. В октябре 1874 г. Илья Фаддеевич «провалил» больше 80 студентов, и они дружно забросали профессора

[1] *Победоносцев К. П.* Письмо Александру III... С. 491.

[2] См.: *Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш.* И. А. Вышнеградский и С. Ю. Витте — корреспонденты «Московских ведомостей» // Проблемы общественной мысли и экономическая политика России XIX — XX веков. Л., 1972. С. 13–20.

[3] Гражданин. 1885. 24 и 28 ноября; 1886. 14 декабря; ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 111. Л. 3 об.; Д. 112. Л. 10–13; Д. 114, Л. 1, 4 об., 23–23 об., 32–39.

[4] *Ноздрачев А. Д., Марьянович А. Т.* Илья Цион и Иван Павлов: учитель и ученик // Вестник РАН. 1999. Т. 69. № 9. С. 813–823.

[5] *Дудаков С.* Гений и злодейство // URL 22. № 125 / http://www.sunround.com/club/22/22_125_dudakov.htm

[6] *Мечников И. И.* Страницы воспоминаний. М., 1946. С. 45.

его же книгами. Цион лекции свернул и отправился в Париж «для поправки здоровья». Там играл на бирже, заработал денег, завел связи в финансовых кругах и в начале 80-х гг. при помощи Каткова взялся за редакторство газеты «Галл». Только за 1887–89 гг. Цион написал более 200 статей против нигилизма и в пользу франко-русского союза.

Иван Алексеевич Вышнеградский (1830–1895) имел огромное состояние, был чертовски умен, оптимистичен, весел, жаден, работоспособен и от рождения обладал цирковыми способностями к вычислениям. Свои миллионы он заработал еще до получения министерского кресла, состоя членом советов директоров нескольких железнодорожных обществ и водопроводных компаний. Никаких политических убеждений у этого «реалиста» отродясь не было. И до сего дня золотой фонд «финансового комьюнити» составляют его уточняющие вопросы типа «до какой именно суммы честен» тот или другой чиновник, шуточки вроде «Ну, батюшка, да ведь казна же на то и создана, чтобы у ней воровать!» или «Молодцы донские казаки, здорово в этом году выпили!» (это об акцизных сборах по регионам).

«Душой» же команды был шутовской контр-реформатор князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) по прозвищу «Точка». Это прозвище он получил после своей статьи «Вперед или Назад», содержащей «летучую» фразу, взбесившую Александра II: «К реформам надо поставить точку, ибо нужна пауза»[1]. Мещерский наиболее известен как внук историка Карамзина и петербургский гей-король. В его доме проходили знаменитые «голубые среды». Блюстители нравственности дважды пытались завести против Мещерского уголовное дело, но безуспешно[2]. Судимость он получил позже (в 1892 г. арестован на 7 дней и оштрафован) и по косвенному поводу (клевета в газете на трех военных врачей)[3]. Журнал Мещерского «Гражданин», ориентированный на «бульвар», чистюля Тургенев называл «простым урыльником»[4], а его редактора, кроме «Точки», звали еще Обалдуем Тараканови̇м[5]. Коротко говоря, князь Мещерский был фигурой одиозной.

Каткова с Владимиром Петровичем связывали псевдосемейные узы: мать Михаила Никифировича, Варвара Акимовна Тулаева, воспитывалась в доме княжны Анны Борисовны Мещерской, родственницы будущей бабки Мещерского Софьи Сергеевны. Именно эта ветвь рода Мещерских хранила важную

[1] *Мещерский В. П.* Вперед или назад // Гражданин. 1872. № 2. С. 42.

[2] *Кон И. С.* Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. М., 2002. С. 331.

[3] *Кони А. Ф.* Дело о редакторе-издателе газеты «Гражданин» князе В. П. Мещерском, обвиняемом в опозорении в печати военных врачей // Кони А. Ф. Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 350–364.

[4] *Тургенев И. С.* Письмо А. А. Фету от 24 февраля (7 марта) 1872 // *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений в 28 томах. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 230.

[5] Письмо Р. В. Авдиева Ф. М. Достоевскому от 15 февраля 1873 // *Достоевский Ф. М.* Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С. 221–222.

государственную тайну о наличии в природе двух внебрачных детей Вел. Кн. Константина Павловича — Константина и Констанции Константиновых. После смерти Великой Княгини дети были записаны «воспитанниками» его адъютанта — Ивана Александровича Голицына[1], женатого на родной сестре упомянутой Софьи Сергеевны. Поэтому императорская семья состояла с Мещерскими/Голицыными в особых «отношениях признательности». В частности, наш герой Владимир Мещерский и другие отпрыски этой семьи имели статусы «друзей» (камер-юнкеров, фрейлин) разных обитателей высокого дома.

В юности Мещерский в некотором роде был близок будущему государю: 16-летний Александр и сестра Владимира княжна Мария, фрейлина императрицы, были влюблены друг в друга; Мещерский исполнял роль конфидента этой связи[2]. Но Александра скоро женили на датской принцессе, и Мещерский до самой гибели Александра II не имел к приятелю доступа. С восшествием же Александра III на престол, князь начал посылать императору свой «Дневник», в который заносил слухи о скрытой жизни российской элиты (взятки, любовницы, связи с иностранцами) в сочетании с «самыми дорогими» мыслями о грозящих России опасностях (жиды, анархисты) и забрасывал государя сотнями писем. В ответ получил 12 коротких посланий. Александр не нуждался во Владимире, но терпел его.

Сближение Каткова и Мещерского началось в начале 1860-х гг.[3] и активизировалось в 1872 г., когда стал выходить «Гражданин». За эти годы МВ и «Гражданин» провели немало согласованных кампаний, в основном связанных с отставками государственных деятелей.

Эта команда подпорченных вундеркиндов и пожилой золотой молодежи имела покровителей среди первых лиц государства.

Обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев (1827–1907 гг.) — «Великий инквизитор»[4], «Торквемада царизма»[5], «Серое Преосвящество», «Русский Папа»[6] и прочие «простер совиные крыла»[7] — был знаком с Катковым с 1865 г., когда начал публиковать в МВ и «Русском вестнике» статьи на темы образования и судопроизводства. Константин Петрович ценил Михаила Никифоровича исключительно: «Сила Каткова в нерве журнальной его деятельности, как русского публициста, и притом единственного, потому что все остальное — мелочь или дрянь, или торговая лавочка»[1]. Приязнь Победоносцева была очень важна команде: государь доверял Константину Петровичу бесконечно.

Другой покровитель команды — министр внутренних дел граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889), «вскормленный слюной бешеной собаки» (по выражению барона М. А.Корфа)[2], также был наперсником Каткова с середины 1860-х гг. Они «сотрудничали» в сфере народного просвещения, где и стали, в конце концов, полновластными хозяевами.

Таково было «ближайшее окружение» Каткова, во всяком случае, в последние полгода.

5. Пионеры русского «черного» пиара

В 1884 г. Иван Алексеевич Вышнеградский, тогда еще мало кому известный директор Петербургского политехнического института, начал посещать «голубые среды» князя Мещерского. Вероятно, именно в это время у Циона, Каткова и Мещерского возник проект «французских займов для России» и связанная с ним потребность сместить действующего министра финансов Н. Х. Бунге, стремящегося в конкурентном направлении «немецких займов». Вышнеградский для этого плана пришелся весьма кстати. В 1885 г. Катков и Мещерский принялись расчищать место для нового министра, яростно атакуя Бунге.

Кампания МВ и «Гражданина» против Бунге подробно прослежена В. С. Степановым[3]. Мы же опишем ее как сюжет из истории российского PR языком, практикуемым в этой сфере.

Для начала отметим, что на сомнительный в целом характер деятельности Каткова указывали еще его современники. Герцен в десятках публикаций «Колокола» говорит, что Катков «фаддейбулгарствует» и называет его «Видоком» (доносчиком); Тургенев пишет о временах сотрудничества с МВ: «надо было знать, с какими мазуриками я имел дело. Вот уж точно: “Не тронь говна”» и называет Каткова «самым гадким и вредным человеком на Руси»[4];

---

[1] *Качура П. И.* Константин Иванович Константинов // Земля и Вселенная. 1993. № 6.

[2] Письмо вел. кн. Александра Александровича князю В. П. Мещерскому от 7 (19) июня 1867 // Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. 10. P. 111

[3] *Мещерский В. П.* Памяти Каткова // Гражданин. 1887. № 60. С. 2.

[4] «Великим инквизитором» современники называли Победоносцева, в основном имея в виду его дружбу с Достоевским, которой обер-прокурор очень дорожил.

[5] *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений в 28 томах. М.; Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 329; Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 362.

[6] *Преображенский П.* Русский Папа // Печать и революция. 1924. Т. 1. С. 61–68.

[7] Самый известный текст о Победоносцеве принадлежит Александру Блоку:

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...

[1] *Победоносцев К. П.* Письмо Александру III... С. 491.

[2] Цит. по: *Валуев П. А.* Дневник. М., 1961. Т. 2. С. 322.

[3] *Степанов В. Л.* Н. Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998; *он же.* Предпосылки денежной реформы С. Ю. Витте: политика министра финансов И. А. Вышнеградского (1887–1892) // ОИ. 2004. № 5. С. 49–69.

[4] *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений. Т. 10. С. 305; *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полное собрание сочинений. Л., 1936. Т. 20 С. 313.

Вяземский окрестил Каткова «Хлестаковым»[1]; Достоевский опубликовал целую серию «антикатковских» статей[2], среди которых — шедевр со вставной новеллой «Сон о Каткове»[3], где Михаил Никифорович представлен безыдейным нарциссом и завиральным демагогом; у Салтыкова-Щедрина «литературные будочники»[4] катковцы, «полемизируют сами с собой «для оживления столбцов» и от нечего делать запугивают до умопомрачения добропорядочных провинциалов[5]; Тютчев писал, что Катков «страдает галлюцинациями больного воображения»[6]; Лесков жаловался, что Катков действует на него «просто ужасно»[7], и с сарказмом упоминал редактора МВ при любом удобном случае[8]; Алексей Толстой называл Каткова «герцогом Альбой»[9]; Успенский отказался ехать в командировку от «Русского вестника» на театр военных действий, полагая, что его заставят лгать[10]; Писемский ушел от Каткова из-за того, что тот привык «к какому-то холопскому и подобострастному отношению своих сотрудников»[11]; к 80-м гг. МВ имеет устойчивую репутацию «русской литературной полиции»[12], а Короленко, уже после смерти Каткова прозовет его «гасильником мысли»[13].

Способность Каткова использовать самые грязные методы для достижения своих целей в полной мере отразилась в шельмовании Бунге.

Итак, кампания против Бунге в пользу Вышнеградского.

Целевая группа: император, ведущие министры, члены госсовета.

Кампания распадается на две части.

[1] *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. СПб., 1882. Т. 7. С. 269.

[2] *Достоевский Ф. М.* «Г-н — бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», «Ответ редакции “Времени” на нападение «Московских ведомостей», «Ответ “Русскому вестнику”», «По поводу “Элегической заметки” “Русского вестника”», «Пожар в селе Измайлово», «Свисток и “Русский вестник”» // *Ф. М. Достоевский*. Полное собрание сочинений в 15 томах Т. 11–12. Л., 1993–1994.

[3] *Достоевский Ф. М.* Щекотливый вопрос (статья со свистом, с превращениями и переодеваниями) // Там же. С. 251–274, 516–526.

[4] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Литературные будочники // Свисток. М., 1981. С. 321–323; Сопелковцы (Отрывок из частного письма) // Там же. С. 324.

[5] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Дневники провинциала // *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений в 20 тт. М., 1980. Т.10.

[6] *Тютчев Ф. И.* Письмо жене от 9 июля 1866 года // Цит. по: *Кожинов в.* Пророк в своем отечестве Федор Тютчев. М., 2002 .

[7] *Лесков И. С.* Собрание сочинений в 11 томах. М., 1958. Т. 10. С. 400.

[8] *Лесков И. С.* Большие брани // Там же. Т.11., С. 55–71; *Он же.* Литератор-красавец // Там же. Т. 9. С. 42–43.

[9] *Толстой А. К.* Песня о Каткове, о Черкасском, о Самарине и о арапах // *Толстой А. К.* Собрание сочинений в 4 томах. М.,1980. Т.1. С. 278.

[10] Цит. по: *Бельчиков Ю. А.* г. Успенский. М., 1979. С. 151.

[11] Цит. по: *Плеханов С.* Писемский. М., 1986. С. 214.

[12] *Арсеньев К. К.* За четверть века (1871–1894). Пг., 1915. С.12.

[13] *Короленко В. Г.* Собрание сочинений в 10 томах. М., 1956. Т.10. С. 69.

I. Атака на конкурента

1. Критика конкурента кандидатом (конец 1884 — сер. 1885 гг.): публикации статей Вышнеградского в МВ о слабостях работы Минфина.

Контр-акции. 19 декабря 1884 г. по предложению госсекретаря Половцова император производит Бунге в действительные тайные советники, дабы «укрепить его положение противу множества нападающих на него и на Казначейство всякого рода журнальных и других враждебных сил».

2. Серия «клубных» презентаций (с конца 1884 г.): Вышнеградский посещает «среды» Мещерского и имеет там успех.

3. Давление на императора (со втор. пол. 1885 г.): Мещерский в частных письмах обращает внимание императора на «проблему финансового ведомства», обвиняя Бунге в «хитрости».

4. Клевета в печати (с ноября 1885 г.): МВ и «Гражданин» в серии статей обвиняют Бунге в «неблагонадежности»:

— он непатриотичен («наша финансовая система чуждается всякой русской самобытности»)

— он социалист (Бунге стремился к сбалансированному распределению финансового бремени по всем социальным слоям общества; МВ акцентируют внимание только на его действиях в интересах крестьянства: «это ограничение сферы социальных реформ одним народом есть именно идея социалистов»)

5. Распространение заведомо ложных слухов (с ноября 1885 г.). В салонах разносится слух, что в юности Бунге «чуть ли не был сенсимонистом или, по крайней мере, наклонен к этой социалистической партии».

Контр-акции: В полемику включаются «либеральные» СМИ («Вестник Европы», «Русские ведомости» и т. д.).

Катков называет оппонентов «прислужниками» Бунге и обвиняет их в продажности; полемика утихает.

Бунге просится в отставку и жалуется Победоносцеву на Каткова.

6. Секретная записка; «утечка» (начало декабря 1885 г.): в синодальной типографии издано 40 экз. секретной записки заместителя обер-прокурора Синода Н. П. Смирнова «Современное состояние наших финансов, причины упадка их». Автор утверждает, что Минфин «поставил себе задачей пересоздать русские финансы на иностранный лад» и «видит в конституции единственный якорь спасения», т. е. Бунге прямо обвиняется в шпионаже в пользу Германии и в стремлении к подрыву самодержавного правления. Записка доставлена каждому участнику целевой группы лично.

Эффект: Целевая группа запугана (один из немногих потенциальных сторонников министра — «либерал» Абаза — в декабре 1885 г. предлагает императору заменить Бунге Николаевым).

Контр-акция (Январь 1886 г.). Бунге разбирает аргументы Смирнова. Один из экземпляров своей записки преподносит императору.

Эффект: Александр называл Бунге «превосходным, благородным, без задних мыслей человеком» и сообщает Победоносцеву, что не намерен отдавать министра «на расправу Каткову».

8. Ложные слухи о новом назначении конкурента (декабрь 1885 г.). «Гражданин» распускает слух о скором отъезде Бунге в Африку.

Эффект: В «кулуарах» обсуждают кандидатуры преемников.

9. Давление на императора (25 января 1886 г.). Победоносцев во взволнованном письме Александру сообщает, что в области финансов «дело стоит плохо и угрожает опасность».

Эффекты: Император жалуется Победоносцеву, что «бедного Бунге травят газеты», не давая министру работать.

Команда в панике: «положение Бунге упрочилось, вопрос о замещении сдан пока в архив, и об этом перестали говорить».

10. Попытка компромисса (январь 1886 г.). Катков предлагает Бунге назначить Вышнеградского на освободившуюся должность директора Департамента торговли и мануфактур. Бунге отказывает, т. к. Вышнеградский связан «денежными отношениями» с предпринимателями.

Кажется, что команда окончательно проигрывает.

II. Перенос атак с конкурента на его ближайшее окружение

Команда меняет тактику и атакует не самого министра, пользующегося доверием государя, а приближенных к нему людей (Рихтер, Ковалевский, Картавцов), обвиняя их в «неблагонадежности».

1. Обработка императора (январь 1886 г.). Мещерский пишет государю: «К великому...горю России, финансы ее в руках опасных именно для Государя людей. Бунге сам вне всякого упрека. Это почтенный и честный человек! Но горе в том, что он окружен... прямо врагами монархического строя в России».

2. Клевета в прессе (5 января 1886 г.). МВ саркастически называет Картавцова «Робеспьером Дворянского банка», «Маратом Крестьянского банка» (за то, что тот отказывает в выдаче крупных ссуд разорившимся помещикам). Мещерский сообщает в «Гражданине», что в ведомстве Бунге «есть какие-то страшные лица, скрытые совсем от чинов Министерства финансов, которые работают против правительства и за анархистов».

Контр-акция. Бунге требует у министра внутренних дел Толстого защитить сотрудников министерства от клеветы.

3. Подтасовка сведений в официальных материалах органов госбезопасности (10 января 1886 г.). Толстой передает императору свидетельства о «неблагонадежности» по каждому из «подозреваемых» чиновников Минфина.

Контр-акция: 17 января 1886 г. Бунге обращается к Александру с просьбой объявить Мещерскому официальное предостережение за клевету. Однако Александр предлагает министру уволить двух особо «неблагонадежных» чиновников. Бунге обещает «перевести их на те места, где им нельзя

будет приносить вред своим предосудительным образом мысли, даже если предположить, что таковой у них имеется». Государь соглашается. Более того, в феврале Александр, демонстрируя благоволение, объявляет, что с осени Бунге будет преподавать наследнику престола.

4. Клевета в прессе. (25 февраля 1886 г.) Катков заявляет в МВ о «заговоре в министерстве финансов» в пользу либеральной «партии» Лорис-Меликова, потерпевшей поражение 29 апреля 1881 г.[1], но не считающей себя побежденной. МВ требует от Бунге отнять у этой преступной партии доступ к финансам. Александр пишет на полях газеты: «Замечательная статья; к сожалению, Катков не ошибается».

Контр-акции: в либеральной прессе разгорается сражение за Бунге.

5. Давление на императора (7 марта 1886 г.). Мещерский добивается аудиенции у Александра: «Я без утайки объяснил... куда нас ведет Бунге». Император впервые делает предположение, что «с Бунге придется расстаться». Мещерский предлагает на его место Вышнеградского, «человека дела и успеха».

6. Запрет на открытую полемику в прессе (апрель 1886 г.). Министр внутренних дел Толстой заявляет, что по вине министра финансов «мы дойдем до пугачевщины», и секретным циркуляром запрещает прессе касаться данной темы.

Эффект: Полемика в прессе прекращается.

7. Продолжение «секретной» клеветы (апрель 1886 г.): опубликована еще одна «секретная» записка Смирнова против Бунге.

Бунге уведомил императора о том, что сдается.

13 апреля 1886 г. император назначил Вышнеградского членом Госсовета, демонстрируя готовность заменить им Бунге. «То был первый пример бесцеремонного возвеличения темного человека по каким-то темным интригам», — писал Половцов[2].

1 января 1887 г. Вышнеградский назначен министром финансов. «Нет человека, который бы не был возмущен этим назначением», — свидетельствует Безобразов[3].

Заметим, что все без исключения техники «команды» были «черными»: клевета в печати и в «секретных» записках при запрете на публичное обсуждение темы; скрытое «дружественное» давление на императора и подтасовка официальных сведений о конкурентах; распространение заведомо ложных слухов; запугивание лиц, принимающих решения.

---

[1] 1 марта был убит император Александр II, что в скором времени повлекло за собой отставку руководителей ключевых министерств и «бархатного диктатора» М. Т. Лорис-Меликова.

[2] Из дневника А. А. Половцова (1895–1900) // Красный архив. 1931. Т. 3 (46). С. 111.

[3] Дневник В. П. Безобразова // Русская старина. 1912. № 11. С. 296, 297.

Открытым остается вопрос о том, насколько ясно понимали Победоносцев и Толстой тайные, корыстные, цели кампании Каткова и Мещерского против Бунге. Скорее всего, в «доле» обер-прокурор и глава МВД все же не состояли: по ходу дела и тот, и другой прочили на пост министра финансов своего кандидата: Победоносцев — бывшего министра государственных имуществ М.Н. Островского, Толстой — бывшего министра внутренних дел А.Е. Тимашева. После назначения Вышнеградского оба «попечителя» команды к новому министру тоже не благоволили.

6. Финиш

Чуть ли ни первое, что сделал Вышнеградский-министр — назначил Циона агентом Минфина в Париже. Уже в феврале 1887 г. Цион привез французских банкиров в Петербург. Для успокоения немцев император 27 февраля назначил Бунге, сторонника «немецких» кредитов, председателем Комитета финансов. Но стремление «команды» к срыву русско-немецких переговоров было столь решительно, что Катков прибег к крайнему средству: призвал в поддержку «народ», опубликовав ту самую «профранцузскую» статью. Весь апрель МВ по новой шельмовали Бунге.

Однако в мае Катков получил нежданный и роковой удар. В телеграмме Александру из Парижа доводилось до сведения, «будто Катков писал и через Циона переслал в Париж к Греви[1] какое-то письмо с соображением о том, какие назначения в новое министерство могут быть приятны или неприятны нашему правительству». Победоносцев уверяет Александра, что все это — «злонамеренная клевета»[2]. Однако, император возможность шпионажа Каткова в пользу Франции, видимо, не исключал. Он послал в Москву Феоктистова «выразить неудовольствие» и приказал начать расследование (в письмах государю Победоносцев упоминает о «деле Каткова»[3]).

Перспективы разоблачения плохо подействовали на Михаила Никифоровича, и его хватил паралич.

19 июня Россия и Германия подписали тайный «Перестраховочный договор», практически ни к чему стороны не обязывающий.

20 июля Катков скончался.

В ноябре Вышнеградский подписал договор с французскими банкирами о займе; Цион за содействие был произведен в действительные статские советники, получив т.о. потомственное дворянство. Русские больше не связывались с немецкими деньгами, переключившись на Францию. Немцы яростно кусали локти и не без оснований обвиняли министра финансов России и его агентов в получении от парижских банкиров чудовищных комиссионных (Витте упоминает «чуть ли не 200 тыс. франков»[1]). Император паниковал, публика жужжала, Мещерский (полгода назад рекомендовавший Вышнеградского государю) писал бесконечные письма в свое оправдание[2]. В конце концов, все свалили на Циона, с позором лишив его российского гражданства, пенсий, титулов и чинов.

[1] Жюль Греви (1807–1891) — президент Франции в 1879–1887.

[2] *Победоносцев К.П.* Письмо Александру III... С. 503.

[3] Там же. С. 504.

В 1890 г. Бисмарк ушел в отставку. В 1891 г. министр иностранных дел Гирс подписал стратегический союзный договор с Францией. В 1914 г. началась Первая мировая война. Россия и Германия были в ней врагами.

Кампания по обеспечению французского займа для России была высшим по эмоциональному накалу сюжетом в удивительной экзистенциальной картине карьеры Каткова. Михаил Никифорович полжизни провел в роли «клиента» влиятельных покровителей — Строгановых, Мещерских, Муравьевых, Блудовых, Вяземских, Горчаковых. Наиболее продуктивными оказались его «клиентские» отношения с графом Дмитрием Андреевичем Толстым, обладавшим сходной с катковской структурой личности. Толстой был обязан своими блестящими служебными достижениями почти исключительно своему «клиенту». Следуя за продвигаемым графом, Катков фактически получил полную власть над министерством народного просвещения вместе с его казной, и в 1868 г. основал собственный бизнес в сфере образования — открыл платный элитный Московский лицей памяти цесаревича Николая Александровича. В дальнейшем Катков, страстно желавший заменить «клиентскую» связь более свободными формами «кормления», долгие годы посвятил мало удачным поползновениям сбросить зависимость от Толстого. Сюжет с «французским займом» — весьма радикальная попытка Каткова освободиться от «кормильца» путем моделирования фигуры «фиктивного» хозяина, буквально приведшая к преждевременной физической смерти «клиента».

Вероятно, неприглядная роль Каткова в этой истории для государя в конце концов прояснилась. На телеграмме из Парижа напротив словосочетания «привезет де» Александр написал: «Пожалуйста, что бы это «де» не употребляли никогда в министерстве. Я слышать этого не могу». «По-видимому, — резюмирует В.Н. Ламздорф, — это привилегированное словцо, пущенное в ход покойным г. Катковым, действует теперь на нервы нашему августейшему повелителю»[3].

В 1916 году ехидный Розанов напишет о Каткове: «Поразительно, почти великий человек — он не оставил памяти. Его не хотят помнить. Ужасно!»[4]

[1] Витте С.Ю. Воспоминания. Л., 1924. Т. 2. С. 225.

[2] ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 897. Л. 128–132 об.

[3] *Ламздорф В.Н.* Дневник. 1891–1892. М.; Л., 1934. С. 10.

[4] *Розанов в.* Катков и Суворин // Колокол. 11 марта 1916 (под псевдонимом в. Ветлугин).



ПОЛИТИКА: МЕЖДУ РАМПОЙ И КУЛИСАМИ

Д. А. КОЛЬЧУГИН (МОСКВА)

СЭР ДЖЕРОМ БАУС: ОБРАЗ ДИПЛОМАТА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

В 1621 г. между двумя членами английского парламента произошла ссора, чуть не окончившаяся членовредительством. Как показало проведенное Палатой общин разбирательство, предметом столкновения двух почтенных мужей стало сатирическое стихотворение следующего содержания:

Бог создал людей; а люди — деньги.
Бог создал пчел; а пчелы — мед.
Бог создал сов; и обезьян; и ослов:
Бог создал Сэра Джерома Бауса,
а сэр Джером Баус — стекло[1].

Героем этой эпиграммы, которая к тому моменту считалась уже «старой рифмой» и, возможно, распевалась на мотив старинной колыбельной, известный в Англии до сих пор, стал посол Елизаветы I Тюдор к Ивану IV Грозному. Сэра Джерома Бауса (ум. 1616), сына дворянина средней руки из Дарема, едва ли можно отнести к первостепенным фигурам эпохи. Его имени не встретить в перечне выдающихся деятелей своего времени, а в поле зрения историков он попал лишь благодаря одной единственной миссии — в Московию в 1583–1584 гг.[2] Вместе с тем, в силу важности данного эпизода, без упоминания о Баусе не обходится ни один обзор ранней стадии англо-русских отношений, а сам он — замечательный образец того, как память о человеке и его деяниях не только намного пережила его самого, но и обросла легендами. В результате Баус и его посольство подчас предстают в мифологизированном свете, тогда как сведения об этом лице (особенно за период, предшествующий его визиту в Россию) крайне скудны. Достаточно сказать, что статья о дипломате в авторитетном Британском национальном биографическом словаре почти целиком состоит из перечисления связанных с ним исторических анекдотов, которые воспроизводятся без всякой критики[1]. Те же легенды, преподносимые как факт, находим как в популярных, так и во вполне академических трудах[2].

Все это делает фигуру Бауса чрезвычайно привлекательной для исследования, которое могло бы, отталкиваясь от изучения индивидуальности второго плана, предложить некоторые наблюдения касательно бытования образа дипломата в восприятии современников и потомков и его места в национально-культурной традиции. Иными словами, предпринимается попытка установить (с опорой на казусный подход), какую нишу занимал дипломат и его деятельность в культурном контексте Англии раннего Нового времени. Для этого попытаемся на основании известных данных «деконструировать» тот слой мифологических наслоений, который покрывает личность интересующего нас персонажа.

Знаменитый английский бытописатель 60-х гг. XVII в. Сэмюэль Пипс (1633–1707) в своем дневнике под 5 сентября 1662 г. поместил две «любопытные истории» о Баусе, которые он услышал на обеде со служащими таможни, «избранными из числа наиболее важных купцов». Согласно первому анекдоту об английском после (1), «как-то, поднимаясь в царские покои, он пропустил вперед себя нескольких вельмож, которых вскоре спустили с лестницы, причем с такой бесцеремонностью, что они, пересчитав головами все ступеньки, вскоре скончались. Когда же поднялся он, в дверях от него потребовали снять шпагу, на что он заявил, что, раз хотят его шпагу, пусть возьмут и башмаки; с этими словами он разулся и послал за ночной рубашкой, чепцом и шлепанцами и в таком виде предстал перед государем. (2) Когда же в другой раз государь, дабы продемонстрировать нашему послу, с каким презрением он относится к своим подданным, велел одному из них выпрыгнуть в окно и тот, на глазах у посла, сломал себе шею, сэр Джером заметил, что его государыня использует шеи своих подданных с большей пользой и искусством. Дабы показать, на что способны подданные Ее Величества, он бросил царю перчатку и призвал всех дворян выступить на защиту их повелителя против его королевы. С того самого дня имя сэра Джерома Бауса окружено было в той стране почетом и славой»[3].

Другое связанное с ним легендарное свидетельство (3) зафиксировал в своем описании Московского государства доктор Сэмюэль Коллинс (1619–1669/70), в течение ряда лет исполнявший обязанности придворного врача

[1] God made men; and men made money. / God made bees; and bees made honey. / God made owles; and apes and asses: / God made Sir Jerome Bowes, and Sir J. Bowes made Glasses. (*Croskey R.* A Further Note on Sir Jerome Bowes // OSP. New Series. 1977. Vol. X. P. 39–40; *Luria J. (Lur'e Ya. S.)* An Unpublished Epigram on an English Ambassador in Russia // OSP. New Series. 1974. Vol. VII. P. 13).

[2] Ср., напр.: Who's who in History. Vol. II. England 1485 to 1603 / By C. R. Routh. Oxford, 1964; Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. IV. СПб., 1891. С. 506–507.

[1] DNB. Vol. II. P. 965–966.

[2] См.: *Любименко И. И.* Англичане в допетровской Руси // Русская мысль. М.; Пг., 1915 (март). С. 82–83; *Dent P.* Early Anglo-Russian Relations // British Museum Society Bulletin. 1972. Vol. 10. P. 17.

[3] The Diary of Samuel Pepys / Ed. by R. Latham and W. Matthews. 8 vols. Vol. III. L., 1971. P. 188–189; *Пипс С.* Домой, ужинать и в постель. Из дневника. М., 2001. С. 88.

царя Алексея Михайловича. По его словам, «Иван Васильевич велел одному французскому посланнику пригвоздить *шляпу* к голове. Сэр Джером Баус, который вскоре после того приехал сюда [в Москву] в качестве нашего посланника, явился перед царем в шляпе». Когда последний «с гневом спросил у него, знает ли он, как наказан был французский посланник, сэр Джером Баус отвечал: «Тот посланник был представителем малодушного французского короля, а я посол непобедимой королевы английской, которая не обнажает головы ни перед одним государем и сумеет отомстить за обиду своего представителя». «Взгляните на него! — сказал Иван Васильевич своим боярам. — Вот молодец! Он смело говорит и действует за свою государыню; кто же из вас для меня то сделает?» Эти слова навлекли зависть на сэра Джерома, и придворные уговорили императора, чтобы он дал ему объездить дикую лошадь. Сэр Джером исполнил приказание, так утомил лошадь, что она мертвая пала на землю, и потом спросил у Его Величества, не нужно ли объездить еще нескольких диких лошадей. Император после этого очень уважал его, потому что любил таких удальцов»[1].

Хотя книга Коллинса отразила личный опыт, полученный автором во время пребывания в России[2], исследователи давно подметили литературную природу ряда его сообщений об Иване Грозном[3], в частности — рассказа об инциденте с французским посланником, который, как еще в середине XIX в. показал Ф. И. Буслаев[4], имеет прямую аналогию в сказаниях о пресловутом воеводе Мунтении (области в Восточной Валахии) Владе IV (II) по прозвищу Цепеш, т. е. Сажатель на кол, или Дракула, за тем лишь исключением, что в оригинальной, устной версии, известной в Центральной Европе начиная со второй XV в., речь шла о послах турецкого султана, отказавшихся снять шляпы перед коварным трансильванским господарем. В таком виде этот сюжет воплотился в латино-венгерской письменной традиции и, подхваченный русским автором, перекочевал из придунайских краев дальше на восток, где был переписан кирилло-белозерским книжником Ефросином в 1486 г. и впоследствии тиражировался вплоть до начала XVIII столетия. Общий смысл интересующего нас эпизода, как он читается в различных вариантах русской повести, сводится к тому, что когда явившиеся к Дракуле турецкие послы не сняли перед ним своих колпаков («кап»), или шляп, оправдывая себя тем, что «таков обычай» их земли, тот, дабы подтвердить («утвердити») их закон, повелел им «шапки на главах своих крепко вздети и те шапки гвоздием во главы прибивати», а султану передать, что он, Дракула, не привык терпеть оскорбления от кого бы то ни было[1]. Попав на российскую почву в числе прочих анекдотов об «изверге», сурово карающем своих и чужих подданных, эпизод с наказанием иностранных послов (в котором жестокость поступка Дракулы, в глазах русского автора, компенсируется настойчивым стремлением правителя подчеркнуть высокий статус государственной власти, на что, кстати сказать, были в ту пору направлены усилия московских государей, требовавших от иноземных владык признания их полного «титла» и т. п.) в середине — второй половине XVI в., возможно, наложился на какие-то фольклорные предания о «грозном, но справедливом царе» и был адаптирован к местным реалиям[2].

Как бы там ни было, в следующем столетии указанный сюжет рассказывался посетившими Московское государство иностранцами про Ивана Грозного. Сохранилась датируемая 1700 г. западная гравюра, вклеенная в один из списков Двинской летописи, с изображением того, как царь приказывает прибить послу шляпу к голове. Голландский путешественник И. Данкерт, бывший в России в 1609–1611 гг. связывал эту историю с итальянским послом. Тот же эпизод, но с некоторым добавлением, приводит в своем пространном «Сказании Светлейшему герцогу Тосканскому Козимо Третьему [Медиче] о Московии» (Падуя, 1680) проживший там с 1671 по 1673 г. уроженец Курляндии Яков Рейтенфельс, согласно которому «раньше мосхи до того считали себя всячески вправе нарушать почитаемые священными у всех права послов, что Иван Васильевич приказал пробить голову гвоздем некоему татарскому послу, не снявшему шляпы, а другого посла, от Римского императора, недостаточно почтительного, отправил в изгнание в холодную Сибирь. (Известно, что отец нынешнего царя [т. е. Михаил Федорович] поступил таким же образом с неким английским послом)»[3]. В этом же ряду

[1] The Present State of Russia, in a Letter to a Friend at London. Written by an Eminent Person residing at Great Tzar Court at Moscow for the space of nine years. L., 1671. P. 49–51; Нынешнее состояние России, изложенное в письме другу, живущему в Лондоне. Сочинение Сэмюэля Коллинса, которые 9 лет провел при дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича. 1667 г. // Утверждение династии. М., 1997. С. 202. Книга Коллинса издавалась в Лондоне в 1667, 1668, 1671, 1698 гг. и на французском языке в Париже в 1679 г.

[2] См., напр.: *Шокарев С.* Россия в царствование Алексея Михайловича глазами иностранцев // Утверждение династии. С. 412–415; DNB. Vol. IV. P. 831–832; *Loewenson L.* The Works of Robert Boyle and «The Present State of Russia» by Samuel Collins (1671) // SEER. 1955. Vol. XXXIII. № 81. P. 470–485.

[3] *Алексеев М. П.* К анекдотам об Иване Грозном у С. Коллинса // Сравнительное литературоведение. Л., 1983. С. 43–48.

[4] *Буслаев Ф. И.* Русская народная поэзия. СПб., 1861. С. 512–515. Это наблюдение, однако, не помешало более полувека спустя другому автору использовать данный анекдот Коллинса в качестве исторического свидетельства: *Евреинов Н. Н.* История телесных наказаний в России: Репр. изд. (СПб., 1913). Белгород, 1994. С. 45.

[1] Повесть о Дракуле / Иссл. и подг. текстов Я. С. Лурье. М., 1964. С. 3–6, 14–17, 28–35, 44, 65, 117, 123, 126, 135, 140, 145, 150–151, 159, 163, 172, 179.

[2] Там же. С. 45–47.

[3] Там же. С. 64–65 (вклейка), 66, прим. 20; Утверждение династии. С. 315. Происхождение последнего сообщения неясно. В царствование Михаила Романова (1613–1645) в Москве побывало 7 официальных английских представителей: Дж. Меррик (1613 — совместно с У. Расселлом, 1614–1617, 1620–1621), Д. Диггс

стоит и приведенный выше рассказ Коллинса, приуроченный им к миссии Бауса.

Трудно сказать, восходит ли легенда, популярная среди побывавших в России в XVII в. иноземцев, к русской «Повести о Дракуле» или же перед нами «бродячий сюжет», свободно связывавшийся с различными персонажами, в пользу чего высказывается академик М. П. Алексеев, который предлагает видеть в анекдотах Коллинса о Грозном продукт «применения к определенным историческим лицам занесенных в Москву с Запада готовых повествовательных схем». По мнению ученого, «то обстоятельство, что особенно много подобных приурочений падает на XVII в., заставляет предполагать достаточно явное участие живших в Московском государстве иноземцев как в занесении в Москву, так и в популяризации и переработке этих сказаний»[1]. Применительно к изложению интересующего нас эпизода у Коллинса эта догадка как будто подкрепляется тем, что здесь слышится отзвук немецкого варианта предания, в котором Дракула покарал не турок (как в русской повести), а именно послов «валов» (wahlen), т. е. итальянцев или французов[2].

Для нас, однако, важнее подчеркнуть то, что именно воспоминание о Баусе позволило другому англичанину спустя более полувека после смерти своего соотечественника таким специфическим образом проассоциировать известный литературный сюжет, откуда бы он его ни почерпнул. Как мы видели, память о представителе Елизаветы при дворе Грозного была жива в Англии, что нашло отражение в дневниковых записях Пипса, если, конечно, не считать, что эти истории собеседники мемуариста не услышали от коллег-купцов, торговавших с Россией. Последнее, впрочем, весьма сомнительно, учитывая явно проанглийский дух приведенных анекдотов. Вряд ли «подвигами» елизаветинского дипломата восхищались в Москве, где, как показывает хотя бы составленный в 1615 г. в связи с приездом туда очередной английской миссии в Посольском приказе обзор взаимоотношений двух стран, прекрасно помнили все проблемы, возникшие в связи с посольством Бауса и его поведением, дискуссия о чем долго еще не утихала в дипломатической переписке дворов[1]. Это напрямую подводит к вопросу о генезисе фантастических историй об английском дипломате.

В самом общем виде питательной средой для возникновения и распространения подобного рода легенд служили субъективные впечатления посетивших далекую Московию европейцев вроде того, что вынес из своей поездки туда в 1588–1589 гг. еще один представитель английской королевы Джайлс Флетчер (1546–1611), который сразу же по возвращении на родину поспешил воздать хвалу Господу и поделиться с другом своим облегчением от того, что ему, как Улиссу из пещеры Полифема, удалось целым и невредимым выбраться из страны, управляемой государем, «который, считая себя по высокомерному и произвольному заблуждению Императором всех Государств, ни во что не ставит Право Народов, и который настолько привык к крови, что ему ничего не стоило отрезать послу голову»[2]. Если Флетчер действительно произнес эти слова, он явно преувеличил степень грозившей ему опасности. Хотя во время своей миссии к царю Федору Ивановичу он и столкнулся с рядом затруднений и неудобств, в целом типичных для дипломатии того времени, ни его собственный отчет о посольстве, ни русские приказные документы не содержат ничего, что могло бы вызвать столь эмоциональную реакцию англичанина[3]. Объективной основой такого рода негативных суждений, которые нашли отражение и в знаменитом сочинении Флетчера «О государстве русском», на содержании которого сказалось раздражение дипломата от «дурного приема» в Москве, являлось несходство природных, культурно-бытовых, конфессиональных и прочих условий, с которым сталкивались западные путешественники на востоке Европы,[4] своеобразно преломлявшееся в их восприятии в зависимости от конкретных обстоятельств пребывания в чужой стране и деятельности

(1618), К. Кокс (1623–1624), Ф. Смит (1626?–1632), Т. Уич (1633), Р. Свифт (1633–1635) и С. Дигби (1635–1640). (*Bell G. M.* A handlist of British diplomatic representatives. 1509–1688. L., 1990. P. 224–225). Однако в источниках отсутствует информация о подобных намерениях государя в отношении к кому-либо из них, тогда как есть сведения, что его сын — Алексей будто бы в сердцах грозил сослать в Сибирь посла Карла II графа Карлайла (1663–1665) и его людей за отказ дипломата принять прощальный царский подарок, но не выполнил своего обещания. (*Lachs P. S.* The diplomatic Corps under Charles II and James II. New Brunswick, 1965. P. 129). Возможно, именно этот казус и имел в виду автор, ошибочно связав его с отцом Алексея Михайловича.

[1] *Алексеев М. П.* К анекдотам... С. 48.

[2] Повесть о Дракуле. С. 19–20, 26–28.

[1] «Как при котором царе жаловальные грамоты... даны»: Выписка Посольского приказа 1615 г. // Исторический архив. 1995. № 1. С. 208–211.

[2] The English Works of Giles Fletcher, the Elder / Ed. by L. E. Berry. Madison, 1964. P. 29–30.

[3] Ibid. P. 367–375; Статейный список приезда и пребывания в России английского посла Елизара Флетчера // ВМОИДР. Кн. 8. М., 1850. С. 1–48, 58–80, 82–96. Подробнее о посольстве Дж. Флетчера см.: *Толстой Ю. В.* Флетчер его книга о русском государстве при царе Федоре Ивановиче // Библиотека для чтения. 1860. Т. 158. № 1. С. 1–44; *Baron S. H.* Fletcher's mission and the Anthony Marsh affair // Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. Bd. 46. Berlin, 1992. P. 107–130; *Baron S. H.* Ivan the Terrible, G. Fletcher and the Muscovite Merchants: a Reconsideration // SEER. 1978. Vol. 56. № 4. P. 563–585.

[4] Об условиях деятельности англичан в России см.: *Anderson M. S.* Britain's discovery of Russia 1553–1815. L., 1958. Ch. 1, 2; *Phipps G. M.* Britons in Russia: 1613–82 // Societas. A Review of Social History. 1977. Vol. VII. № 1. P. 19–41. Уже в нач. XVIII в. первый постоянный британский посол в Москве Чарльз Уитуорс, всячески стремившийся избежать этого назначения, в своих письмах горько жаловался на непривычные условия и трудности, с которыми он столкнулся в этой «варварской стране». (*Hartley J.* «Losing my best days»: Charles Whitworth,

в инокультурном окружении. Н.М. Рогожин отметил, что в Западной Европе XVI — XVII вв. формирование отрицательного образа России нередко было связано с обоснованием и подкреплением экономической и колониальной экспансии[1]. Не менее значим и политический фактор: успехи на первом этапе Ливонской войны, в русско-польской и русско-шведской войнах Московского государства, заявившего претензии на роль равновеликой западным державам силы, вызвали их обеспокоенность, страх перед нашествием московитов, что стимулировало появление химерических образов[2]. Именно здесь следует видеть корень тех отрицательных стереотипов в отношении России, которые по сей день не изжиты до конца в западном общественном сознании и историографии, оперирующей тезисами о русской отсталости, «восточном варварстве и деспотизме». Описывая складывающееся российское самодержавие как тиранический образ правления сродни существующему в Османской империи, доктор права, выпускник Итона и Кембриджа Дж. Флетчер[3] выступил не столько как критик английского абсолютизма, сколько как патриот, воспитанный на идее «смешанной монархии», противопоставляемой континентальным формам неограниченного правления[4]. На этом же фоне следует, по нашему мнению, рассматривать и анекдоты об английском после, твердо отстаивающем «честь» своей государыни перед лицом московского «тирана», хотя вспышка интереса к этим историям, безусловно, носит ситуативный характер.

Американский историк Р. Кроски[5], попытавшийся реконструировать гипотетический контекст появления легендарных рассказов о Баусе, предположил, что это могло быть спровоцировано ожиданием прибытия в Англию в 1662 г. «великих послов» московского царя П. Прозоровского, И. Желябужского и И. Давыдова, — событие, всколыхнувшее интерес к «русскому вопросу» не только определенной части правящей элиты и купечества, ожидавшего от этой миссии восстановления привилегий английской торговли, нарушенной в годы Гражданской войны[6], но и широких кругов

first British ambassador to Russia, [1705–10] // History Today. 2000. Vol. 50 (6). P. 40–46).

[1] *Рогожин Н.М.* Иностранные дипломаты о России XVI — XVII веков // Проезжая по Московии (Россия XVI — XVII веков глазами дипломатов). М., 1991. С. 5.

[2] *Шокарев С.* Россия в царствование... С. 414.

[3] *Флетчер Дж.* О государстве русском // Проезжая по Московии... С. 43–45.

[4] Ср.: *Вайнштейн О.Л.* Западноевропейская средневековая историография. М.; Л., 1964. С. 444–445; *Сапрыкин Ю.С.* От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в Англии. М., 1985. С. 59–91.

[5] *Croskey R.* A Further Note on Sir Jerome Bowes // OSP. New Series. 1977. Vol. X. P. 41.

[6] Подробнее см.: *Лодыженский А.* Русское посольство в Англию в 1662 г. // Исторический вестник. 1880. Т. III. С. 433–453; *Konovalov S.* England and Russia: Three Embassies, 1662–1665 // OSP. 1962. Vol. X. P. 60–64.

лондонцев, что зафиксировано в мемуарах Пипса, а также в сочинениях писавших тогда же Джона Эвелина и Роберта Бойла[1]. Вместе с русскими дипломатами в Англии находились Коллинс, а также ранее завербовавший его на царскую службу агент Алексея Михайловича в Европе — англичанин Джон Хэбдон, с которым можно было бы связать записанные Пипсом анекдоты, если бы удалось обнаружить следы присутствия первого на упомянутом обеде.

Но, пожалуй, еще большее значение для распространения легенд о Баусе, чем русское посольство в Лондоне, имела ответная миссия в Москву в 1663–1664 гг. во главе с Чарльзом Ховардом, графом Карлайлом[2]. Несмотря на то, что по сравнению с записями Пипса рассказ о после Елизаветы у Коллинса выглядит более фантастическим, в некоторых отношениях его происхождение поддается более четкой интерпретации. Как показал Л. Лоуэнсон, книга личного медика царя о России, очевидно, основана на письмах, которые он посыл оттуда в Англию Р. Бойлу как раз в период пребывания представителя Карла II в российской столице[3]. В этой связи логично было бы ожидать возрастания интереса к личности Бауса постольку, поскольку новое английское посольство во многом было схоже с памятной миссией 80-х гг. XVI в. Разительные параллели двух посольств, начиная с того, что они оказались одинаково безуспешными в достижении своей главной цели — подтверждении привилегированного режима английской торговли, — до скандального возврата государевых даров «соболми», должны были будить как у русских, так и у англичан воспоминания о строптивом представителе Елизаветы при дворе Ивана IV[4]. Как в свое время царь Федор жаловался Елизавете на неприемлемое поведение ее представителя, в 1664 г. бояре пеняли Карлу II на его посла[5]. В обоих случаях имелась в виду приверженность дипломатов бесконечным спорам по бытовым и церемониальным вопросам[6], что, как

[1] См.: The Diary of Samuel Pepys. Vol. III. P. 267–268, 274, 297; The Diary of John Evelyn / Ed. by E.S. de Beer. In 6 vols. Vol. III. Oxford, 1955. P. 344; *Loewenson L.* The Works of Robert Boyle and «The Present State of Russia» by Samuel Collins (1671) // SEER. 1955. Vol. XXXIII. № 81. P. 484–485; *Пипс С.* Домой, ужинать С. 21, 23.

[2] О миссии Карлайла см.: *Jollife J.* Lord Carlisle's Embassy to Moscow // The Cornhill Magazine. 1967. Vol. 1053. P. 207–232; *Konovalov S.* England and Russia... P. 65–75, 86–104; *Robbins C.* Carlisle and Marvell in Russia, Sweden and Denmark, 1663–1664 // The History of Ideas. 1957. Vol. III. № 1. P. 8–17.

[3] *Loewenson L.* The Works of Robert Boyle and «The Present State of Russia» by Samuel Collins (1671) // SEER. 1955. Vol. XXXIII. № 81. P. 473, 478, 483.

[4] *Croskey R.* A Further Note... P. 42.

[5] Сб. РИО. Т. XXXVIII. СПб., 1883. С. 146, 163; Первые 40 лет сношений между Россией и Англией. Грамоты собранные, переписанные и изданные Юрием Толстым. СПб., 1875. Док. № 57; Статейный список... Флетчера. С. 17; *Konovalov S.* England and Russia... P. 97, 99, 102, 104.

[6] Ср. отчеты о посольствах Карлайла и Бауса: CSPF. Vol. XIX. August 1584 — August 1585. L., 1916. P. 83–86; *Hakluyt R.* The Principal Navigations, Voyages,

видно, и составило историческую первооснову анекдотических рассказов о Баусе.

Сколь бы невероятными ни казались истории о Баусе, сопоставление их с собственными отчетами посла и другими источниками о его миссии показывает, что эти легенды в известной мере отразили реальные события и проблемы[1]. Перечисляя «обиды», нанесенные ему в России, Баус сообщает о своем столкновении с царским слугой — «ничтожным дворянином», который, доставив ему ужин, «объявил о своем поручении с шапкой на голове», но требовал от дипломата, чтобы он снял шляпу и долго препирался с послом из-за того, что тот не желал этого сделать[2]. В данном случае, англичанин, не знавший русских обычаев или намеренно презирая их, был не прав: даже в присутствии самого царя слуги разносили кушанья, не снимая своих шапок; при произнесении же царского титула, которым непременно начиналась всякая речь царских порученцев к европейским послам, от последних требовалось, чтобы они обнажали свою голову, точно так же как царь снимал с себя венец, произнося имена их государей. Присылка же дипломату ужина в день приезда его в Москву являлась, по местным понятиям, знаком особой милости, а человек, которого тот именует ничтожным дворянином, Савелий (Савва) Фролов, был одним из доверенных лиц Ивана Васильевича и значительным лицом в Посольском приказе[3].

Вопрос о том, кто и в каких случаях должен был обнажать голову, был одним из краеугольных моментов дипломатического протокола того времени и неоднократно поднимался в отношениях двух стран на протяжении всего XVII в.: в связи с русскими посольствами А. Зюзина и А. Витовтова в 1613–1614 гг., в. Есипова в 1628 г., г. Дохтурова в 1646 г., П. Прозоровского в 1662 г., А. Виниуса в 1673 г., П. Потемкина в 1681–1682 гг., Д. Симоновского в 1682 г., в. Постникова в 1687 г.; а также английскими миссиями У. Придо в 1654–1655 гг. и Карлайла в 1663 г. Он и его свита стояли с непокрытыми головами на протяжении всей аудиенции и, хотя царь встал, чтобы ответить на речь посла, он не обнажил головы[4]. Впрочем, насколько позволяют судить источники, по мере продвижения вглубь столетия английская сторона демонстрировала все более явную тенденцию обходить основополагающее требование взаимности в соблюдении указанной процедуры, что, по-видимому, своеобразно преломилось в рассказе Коллинса о не снявшем шляпу французском после и непоколебимом англичане.

Traffiques and Discoveries of the English Nation... 12 vols. Vol. III. Glasgow, 1903–1905. P. 463–485, 315–329; *Любименко И. И.* История торговых сношений России с Англией. XVI век. Юрьев, 1912. Док. № 9; Первые 40 лет... Док. № 52, 53.

[1] *Croskey R.* A Further Note... P. 42–43.

[2] Первые 40 лет... С. 231.

[3] *Толстой Ю. В.* Последнее посольство английской королевы Елизаветы к царю Ивану Васильевичу. Сэр Еремей Баус // Русский вестник. 1861. Т. 36. С. 18–19; *Юзефович Л. А.* Как в посольских делах ведется... (Русский посольский обычай кон. XV — нач. XVII вв.). М., 1988. С. 129–141.

[4] См.: *Лодыженский А.* Русское посольство... С. 440, 438, 449; Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. В 10 т. Т. IV. СПб., 1856. Стб. 813–814, 928; Посольская книга по связям России с Англией. 1613–1614. М., 1979. С. 216, 220–223; *Рогинский З. И.* Поездка Г. С. Дохтурова

Другим ключом к пониманию смысла этого эпизода, позволившим связать анекдот о наказании Дракулой неподчинившихся требованию его страны иноземных послов с Баусом, служат саркастические слова первого о его желании «подкрепить» их обычай. Это отсылает нас к заявлению Ивана IV, который на просьбу посла Елизаветы о переговорах лично с царем ответил, что ему «не образец Францовское государство, хоти там и говорят послы, а у нас издавна того не ведетца, что нам великим государем самим с послы говорить»[1]. В то же время приведенные Коллинсом слова Бауса о том, что его государыня сумеет отплатить за обиду своему представителю, напоминают о другом столкновении между английским дипломатом и московским государем. Когда последний понял, что тот не намерен идти на уступки в переговорах, он, если верить послу, потеряв терпение, «дал волю своему гневу и с угрожающим видом сказал ему, что не считает Королеву Англии равной себе: т. к. есть [государи] лучше ее». Тогда Баус, которому «очень не понравились эти речи», движимый желанием, сколь бы опасным это ни было для него самого, не позволять царю ни в чем «умалить достоинства и величия» королевы, а также найдя малодушным отступать перед гневом и дурным расположением последнего, смело и с самообладанием ответил, что «его Госпожа Королева является столь же великой государыней Христианского мира, равной ему, что, хотя он и величайший, она в состоянии защитить себя от его злобы». Эти слова вывели из себя царя, который сказал, что, «если бы Баус не был послом, он выставил бы его вон за двери», на что тот ответил, что он может поступать, как ему вздумается, т. к. он, посол, находится сейчас в его стране, но «у него есть Повелительница, которая (он не сомневается) отомстит за любой причиненный ему ущерб». После этого Бауса немедленно отослали со двора, но вскоре Грозный сменил гнев на милость и стал всячески проявлять свое благоволение к дипломату. В более поздней, отредактированной версии отчета о посольстве Бауса под 18 декабря 1583 г. сообщается еще об одной его перепалке с Иваном Васильевичем, который, отчаявшись добиться

в Англию в 1645–1646 гг. Ярославль, 1959. С. 42–44; A Collection of State Papers of John Thurloe / Ed. by T. Birch. 7 vols. Vol. III. L., 1742. P. 256–257; Ceremonies of Charles I, The Note Books of John Finet, Master of Ceremonies, 1628–1641 / Ed. by Albert L. Loomie. N. Y., 1987. P. 50; England and the North: the Russian embassy of 1613–1614 / Ed. by M. Jansson, P. Bushkovitch. Philadelphia, 1997. P. 170–178, 201, no. 280; *Lachs P. S.* The diplomatic Corps under Charles II and James II. New Brunswick, 1965. P. 107; *Vinogradoff I.* Russian missions to London. 1569–1587 // OSP. New Series. 1981. Vol. XIV. P. 39, 45, 58, 63, 66–67, 69.

[1] Сб. РИО. С. 113.

от него согласия на свои требования, жестко упрекал англичанина за его «чрезмерное упорство» (for my too much stoutness), ставя представителю Елизаветы в пример «многочисленных послов, которые приезжали к нему от многих великих государей, но никто из них не смел вести себя столь дерзко, как он, или бросать вызов величию государя». Англичанин же посоветовал царю успокоиться и не судить о нем в раздражении: тогда-де тот сможет убедиться, что он, посол, «никогда не делал того, чего не должен был делать». На это Грозный ответил, что в таком случае Баус напрасно потратил столько времени при иностранных дворах, раз «так и не научился тому, как следует вести себя с государем, тем более столь великим». Однако после обмена резкими репликами, что, по собственному признанию дипломата, потребовало от него недюжинного терпения, они оба «успокоились и расстались такими же хорошими друзьями... как и прежде». Впоследствии Иван IV сказал своим советникам, что английский посол «был бы гораздо вежливее, если бы с ним хорошо обращались»[1].

Отголоски этих споров звучат, кажется, и в одном из рассказов Пипса (2), где подчеркивается бесстрашное стремление Бауса защитить «честь» своей королевы перед лицом грозного царя. Еще легче выявляется историческое ядро другого анекдота (1), повествующего о том, как дипломата лишили оружия, вынудив явиться к государю в неподобающем виде. Согласно приказным записям, перед тем, как 13 декабря 1583 г. английский посол был сопровожден на государев двор, пристав предупредил его, чтобы тот «на собе ни корда ни меча ни долгова ножика не возил»[2]. По словам Бауса, накануне этой встречи с царем, тот через своего «канцлера» (т. е. посольского дьяка) специально прислал к нему сказать, чтобы он не брал с собой во дворец шпаги, которую прежде всегда носил с собой, а на следующее утро ему вновь напомнили о том, что, по желанию царя, он «не должен иметь при себе ни кинжала, ни ножа». Перед тем, как посол предстал перед государем для отпуска, его и бывших с ним людей разоружили и по пути в приемную палату «чинили ему такие оскорбления, что если бы он не проявил больше терпения, чем позволяло его положение или требовали обстоятельства, он, возможно, не выбрался [оттуда] живым»[3]. По другим сведениям, перед тем, как отвести Бауса для прощания к новому царю Федору Иоанновичу, бояре говорили послу, что «он должен снять свой меч, что он отказался сделать, ибо это было противно его законам и присяге. Они вновь принуждали его, [говоря], что перед столь милостивым и миролюбивым государем, чей дух еще скорбит [об умершем отце], не пристало являться в военном облачении», и «заставили, таким образом, подчиниться»[4]. Самое подробное описание

[1] *Hakluyt R.* The Principal Navigations... P. 320–321, 472; Первые 40 лет... С. 232.

[2] Сб. РИО. С. 103.

[3] *Hakluyt R.* The Principal Navigations... P. 471, 326.

[4] *Горсей Дж.* Записки о России. XVI — начало XVII в. М., 1990. С. 89.

событий содержится в «жалобах» посла, представленных им английскому правительству по возвращении домой. Перед тем как отвести Бауса к царю, ему велели снять рапиру и кинжал и обезоружили всю его свиту, что было воспринято послом как неслыханное «бесчестье» и очень не понравилось ему, т. к., во-первых, он опасался злоумышлений своих врагов, а во-вторых, «считал неприличным» в бывшем на нем «весьма коротком платье идти без меча торжественно представляться государю, скорее как пленник, чем как посол». Пытаясь избежать грозившего ему позора, дипломат остановился и изъявил желание лучше вернуться обратно на квартиру, нежели предстать перед царем в таком несоответствующем своему рангу обличии, и одновременно послал одного из слуг за длинной одеждой, «более подходящей для ношения без шпаги», но русские, поняв его намерение, в грубой форме заставили его снять оружие и поспешно повели к царю. По дороге он заметил своего слугу, прежде отправленного им за одеждой, которого немедленно вытолкали прочь, чтобы он не смог передать ее послу, а его самого быстро повели дальше, подавая «множество поводов к ссоре», если бы только тому захотелось ее затеять. Позднее Баусу передали, чтобы он благодарил Бога за благополучный исход: откажись он тогда явиться к царю, «он был бы разорван на куски и сброшен со стены»[1].

Забота дипломата о том, чтобы в буквальном смысле не уронить лица, вполне объяснима из условий эпохи, когда о социальном статусе человека во многом судили по внешним проявлениям, с которыми тесно увязывалось чувство собственного достоинства. Поэтому нет ничего удивительного в той настойчивости, с которой Баус отстаивал свое право явиться в присутствие царя вооруженным и в одежде, соответствующей его положению посла и статусу дворянина — не просто джентльмена, а рыцаря на королевской службе. Учитывая, что со времени Марии Тюдор и Филиппа II, английские придворные сверх обыкновенного платья, плотно облегавшего стан, набрасывали короткую испанскую епанчу, которая в торжественных случаях заменялась широкой, спускавшейся ниже колен верхней одеждой с короткими, выше локтя, рукавами, понятно, что, по тогдашним английским понятиям, посол считал неприличным предстать перед монархом в коротком платье[2]. Упорство представителя Елизаветы в данном вопросе должно было симпатизировать королеве, которая позднее (6 июля 1597 г.) издала особую прокламацию, регламентирующую внешний вид подданных в зависимости от их рангов и занимаемых должностей. Этот документ, зарезервировавший за теми, «кто был нанят в посольство к иностранным государям» целый ряд видимых отличий (позументы или галуны из золота или серебра, а также шпоры, мечи, рапиры, кинжалы, кортики, пряжки или запоны для поясов, украшенные насечками из золота, серебра,

[1] Первые 40 лет... С. 233–235.

[2] *Толстой Ю. В.* Последнее посольство... С. 37.

или посеребренные, бархат на мантиях, плащах, верхней одежде, коротких куртках, штанах, камзолах; вышивку шелком, шелковые чулки и т. д.), способствовал выделению их обладателей в особую социо-профессиональную группу и помещал лиц, состоявших на дипломатической службе, на одну ступень со всеми благородными нетитулованными подданными королевства; причем специально отмечалось исключительность их положения, обусловленная близостью к персоне государя, что свидетельствует о сравнительно высоком статусе дипломата в современной общественной и должностной иерархии[1]. В письме царю Федору Ивановичу от 23 марта 1586 г. Елизавета, жалуясь на дурное обхождение со своим послом, выражала протест по поводу того, что у Бауса было отобрано оружие, «тогда как он принадлежит к сословию рыцарей, которым по древнему постановлению европейских государей [дано право] опоясываться мечом»[2]. Все это побудило ее подозревать в Его Величестве «иные чувства, чем те, которых она заслуживает от особы, ей любезной». Оправдывая своего представителя, она указывала, что он, «будучи рыцарем, который в своей вере по крестному целованию не винен, и меч с собою носить всегда повелех, и по славе своей, ино его, посланного от меня... а вы... у него меч отняли, а то у нас в наших землях великое бесчестье, что над таким великим человеком и рыцарем славным и послом так учинили, и за такое бесчестье в сердце его великая кручина была». В ответ на упреки королевы царский гонец Р. Бекман должен был в 1585 г. объяснять в Лондоне: «обычаи держить и ведетца на Руси, что никоторому послу вооруженному или в кордах не быти перед государем». Только после того, как Елизавета уверилась в том, что в России «меч отнимают у послов по своему обычаю... а також учинили преж и над послы Литовскими», она смирила недовольство и, со своей стороны, принесла извинения за то, что ее посол «того обычая не ведал» (ille loci consuetudinem ignorans)[3]. Тем не менее подобные же недоразумения периодически возникали в дипломатических отношения Англии и России и много позже. В феврале 1655 г. посланник О. Кромвеля в Москве У. Придо доносил главе внешнеполитического ведомства госсекретарю Джону Терло, что перед аудиенцией в Кремле пристав от имени главы Посольского приказа велел ему оставить шпагу дома, пояснив, что иностранным дипломатам запрещено являться к государю с оружием, и разрешив оставить на себе только пояс, но тот счел более подходящим снять и его, а впоследствии подал русскому «канцлеру» протест по поводу этого странного обы-

[1] Tudor Royal Proclamations / Ed. Hughes P. L., Larkin J. F. 3 vols. Vol. 3. New Haven; L., 1964–1969. P. 176.

[2] Первые 40 лет... С. 271, 278. В России эту латинскую фразу королевской грамоты перевели не совсем точно: «а посол наш,... будзеи он рыцерского стану, бывал из давных лет в Европе у королей и у княжат, всегды с мечом к ним хаживал». (Сб. РИО. С. 271).

[3] Там же. С. 159, 170–171; Первые 40 лет... С. 271–272.

чая, считающегося при дворах других государей крайне невежливым[1]. Аналогичное требование было предъявлено несколько лет спустя Карлайлу[2].

Вызывающее поведение Бауса, который не стеснялся вступать в споры не только с московскими должностными лицами, но и с самим царем, создали ему отнюдь не лестную репутацию у историков, которые уделили немало места спекуляциям о его личных качествах, сильно контрастирующих с теми критериями, которые предъявлялись теоретиками того времени к идеальному послу. Совершенный дипломат, по их мнению, должен был объединять в себе все мыслимые добродетели, будучи воздержанным, благоразумным, честным, справедливым, рассудительным, благочестивым, великодушным, щедрым, мудрым, образованным, красноречивым, терпеливым, смелым, выдержанным и стойким во всем, гармонично соединяя этические и интеллектуальные достоинства с тем, чтобы успешно выполнять возложенные на него обязанности. В своем написанном в 1578–1579 гг. и изданном в середине XVII в. с посвящением известному дипломату елизаветинской поры Генри Бруку, лорду Кобхэму английский литератор и антиквари Френсис Тинн указывал, что человек, который предназначен исполнять обязанности посла, «должен быть (как это требуется во всех делах правительства) образованным, благородным... пользующимся надежной славой в отношении своей честности, уважаемым в отношении своего призвания, не лжецом, не хвастуном, не лицемером, или заговорщиком, но... мудрым, энергичным, осмотрительным... красноречивым, обладающим живым умом», короче, «чтобы он был украшен всеми достоинствами, необходимыми или похвальными в хорошем человеке, и лишен каких-либо пороков, которые вредили бы его репутации или которые могли бы снабдить его прозвищем испорченного человека». Во второй половине XVI в. от посла требовали, помимо прочего, «выдающейся храбрости, известного терпения и необыкновенного благоразумия», а также «великого дарования», состоящего в умении «сочетать два столь далеких друг от друга качества, как любезность и достоинство»[3], чего, с точки зрения большинства исследователей, совершенно был лишен Баус и намек на что содержится в процитированном выше четверостишии, где тот сравнивается с обезьяной и ослом.

Историки сходятся во мнении, что такой репутацией англичанин во многом обязан своему дурному нраву. Вопреки похвальным отзывам королевы

[1] A Collection of State Papers of John Thurloe. P. 174, 257; *Phipps G. M.* Britons in Russia. P. 21; *Лодыженский А.* Русское посольство... С. 440.

[2] *Lachs P. S.* The diplomatic Corps... P. 107.

[3] См.: *Behrens B.* Treatises on the Ambassador Written in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries // EHR. 1939. Vol. 51. № 204. P. 624–626; The application of certain histories concerning ambassadors and their functions... by Fr. Thynn... L., 1651. P. 13–33, 182–183, 189–190; *Балашова Н. Ю.* Альберико Джентиле и его трактат «Три книги о посольствах» (1585) // Культура Возрождения XVI века. М., 1997. С. 299–300.

о своем представителе, которого она рекомендовала царю как человека исключительных достоинств, полностью полагаясь на «верность, усердие, прозорливость, осмотрительность и довольно большой навык в делах» своего «прелюбезного слуги» и нисколько не сомневаясь, что при исполнении своих обязанностей он употребит все свое «старание и усердие»[1], последний отличался крайне неприятным, вздорным характером, будучи упрямым и раздражительным, что сильно осложнило переговоры и сделало его миссию почти легендарной, хотя Елизавета и не уставала его защищать. Отвечая на нарекания в адрес своего посла, она лишь «удивлялась» и «сожалела» по поводу того, что «тот, кто при исполнении наших поручений в Англии всегда вел себя благоразумно, осторожно и самым достохвальным образом... не так поступал с великим государем», готовая приписать выдвинутые против Бауса обвинения всему, чему угодно (незнанию им русских нравов и обычаев; оскорблениям, нанесенным ему некоторыми лицами; клевете и противодействию ряда советников и слуг государя и т. д.), но только не собственным ошибкам человека, которого она знала как «рассудительного и искусного в ведении дел». «А о том нам добре кручинно, — читаем в русском переводе королевского письма, — которого мы посла нашего Еремея Боуса, выбравши из двора своего, посылали в посолстве; что он... негораздо делал, а у нас он в Аглинской земле и в ыных землях, куды мы его ни посылывали в посолстве, везде смирно и умно всякие дела делал с великою похвалою...»[2] В данной послу инструкции Елизавета обосновывала свой выбор имевшимся у нее мнением о том, что он больше, чем кто-либо иной, способен, благодаря своему опыту, исполнить возложенные на него ответственные поручения[3]. К сожалению, королева не раскрывает источника подобной уверенности, тогда как, насколько можно судить, вся предшествующая деятельность Бауса в Европе, на которую он ссылался в переговорах с царскими уполномоченными, ограничилась его участием в экспедиции лорда Клинтона, графа Линкольна во Францию, чтобы отомстить за падение Кале весной 1558 г., что противоречит собственному утверждению дипломата о том, что он «бывал посолством у Францовского и у иных государей»[4].

На основании слов Елизаветы, недоумевает Ю. В. Толстой, следовало бы предположить, что Баус был искусным дипломатом и человеком, известным ей с лучшей стороны, но это опровергается поведением его в России, которое «обличает в нем надменность человека, не привыкшего к важности посланнического звания, и малодушную обидчивость ничтожного царедворца, возведенного

[1] Первые 40 лет... С. 220–221, 225–226.

[2] Там же. С. 243–244, 247. Позднее Федор Иоаннович писал Елизавете, что его отец списывал «дурное» поведение ее посла на то, что «он человек не ученой, а при великих государях не бывал». (Сб. РИО. С. 152).

[3] Первые 40 лет... С. 201.

[4] См.: DNB. Vol. II. P. 965; Сб. РИО. С. 113, 148.

в степень значения, которого он не вправе был ожидать». Среди отличительных свойств Бауса историк называет «тщеславие, большею частию мелочное, вздорливость и совершенное незнание обычаев русского народа и обрядов московского двора»[1]. По словам другого автора, этот человек, «благодаря своему высокомерию и недобросовестности, стал невыносимым для русского народа и английских купцов, живших в Москве. Своей коварностью он вызвал у своих подчиненных и у людей, равных себе, ненависть, но, с другой стороны, он умел сделаться необходимым человеком для государей, от которых он зависел; в то же время он всегда злоупотреблял доверием последних»[2]. Ход посольства свидетельствует, что «сэр Еремей» (как называли Бауса на Руси) являлся человеком неуравновешенным, вспыльчивым и высокомерным, что с самого начала породило многочисленные конфликты и столкновения с русскими[3].

Все это заставило И. И. Любименко считать, что «единственной причиной, по которой он был избран, явилось его плачевное финансовое положение; ему хотели дать шанс подзаработать в России»[4]. Данная версия основывается на порочащих дипломата слухах, распущенных в Москве его слугой-смутьяном Джорджем Роупером с сотоварищем, которые утверждали, будто королева позволила Баусу отправиться туда, т. к. предполагала, что тот сможет извлечь для себя выгоду из путешествия, ибо он настолько беден, что не имеет возможности прожить дома, а также потому, что Лейстер его не выносит. Эти люди говорили в насмешку, что на родине у Бауса был только один единственный слуга, а часто его можно было видеть и вовсе без оного. Враги англичанина при московском дворе А. Щелкалов и Н. Романов высмеивали его скаредность, говоря, будто он собирает объедки со своей кухни и выделяемые ему кормовые деньги, чтобы увезти их с собой в Англию, а также хочет нажиться на шкурах отпускаемых ему царем баранов[5]. Трудно проверить правдивость этих наветов, которые сильно повредили «имиджу» посла, побудив царя считать, что он «не такой великий человек, каким бы ему хотелось казаться», однако какая-то доля истины здесь была, как показывают затяжной торг Бауса с царской администрацией по поводу отпускаемого ему содержания и последовавшее вслед за его возвращением на родину разбирательство по поводу незаконно вывезенных из Московии товаров[6].

[1] *Толстой Ю. В.* Последнее посольство... С. 6, 22.

[2] *Нотович Н. А.* Россия и Англия. Историко-политический этюд. СПб., 1907. С. 42.

[3] См., напр.: *Соколов А. Б.* Навстречу друг другу: Россия и Англия в XVI — XVIII веках. Ярославль, 1992. С. 47–48; *Willan T. S.* The early History of Russian Company. 1553–1603. Manchester, 1956. P. 163–165.

[4] *Lubimenko I.* Les Relations diplomatique de l'Angleterre avec la Russie au XVIe siècle. Extrait de la Revue historique. 1916. T. CXXI. P. 17–18.

[5] *Любименко И. И.* История торговых сношений России с Англией. С. 151 (док. № 9); Первые 40 лет... С. 231–233 (док. № 53).

[6] См.: Сб. РИО. С. 118, 120–123, 126–127; *Толстой Ю. В.* Последнее посольство... С. 15–16, 41–42; CSPF. August 1584 — August 1585. P. 94–95, 100–101,

Вместе с тем, откровенное противоречие между крайней щекотливостью миссии Бауса (которому надлежало добиваться преимуществ для английской торговли, маскируя отказ от брачных и союзнических предложений царя) и личностью того, кому она была поручена, побудило некоторых исследователей искать за его назначением скрытые мотивы. Оспаривая распространенное мнение о том, что выбор «лишенного всяких дипломатических дарований» и «полного настоящего английского высокомерия» Бауса в качестве посла был неудачен, т. к. он «был характера дерзкого, надменного, вел себя вызывающе, не стесняясь давать пустые и лживые обещания, от которых легко отпирался впоследствии», И. Любименко, а вслед за ней Н. Т. Накашидзе сочли, что посылка его в Россию со столь деликатным заданием была сознательным ходом английской короны, т. к. именно благодаря своим недостаткам он весьма подходил к той роли, которую ему предстояло играть при русском дворе: добиваться новых привилегий для купцов, не заключая никаких связывающих Англию политических договоров, т. е., «в сущности морочить старого царя». В ситуации, когда действовать прямолинейно было невозможно, «послу необходимо было обладать достаточной долей мужества, хитрости и нахальства, а именно эти качества были основными в характере Бауса», обладавшего «смелостью, которая не дала ему уклониться от отказа в некоторых требованиях, даже когда они исходили от самого царя лично. Ему ничего не стоило лгать государю, а, когда было необходимо, он мог легко пообещать то, что, как он знал, никогда не будет исполнено». Другое дело, если он немного «пересолил»[1].

Если при посылке Бауса королева, действительно, имела в виду что-то подобное, то это была «игра на грани фола». Отъезд посла, который, сев на корабль, презрел все приличия и отослал назад данную ему царскую грамоту вместе со своим «ругательным» письмом против ближайших советников царя[2], поставил страны на грань дипломатического конфликта и создал серьезную угрозу положению английских купцов в России, что в эмоциональной форме выразил один из слуг Московской компании, который поспешил известить своих лондонских нанимателей об «укоризненном» (despytefull) поведении дипломата, заключив, что «лучше бы он вообще никогда сюда не приезжал»[3]. Тогда как эта миссия на время прервала русские попытки вступить в союз с Англией, главы торгового общества имели все основания

132–133; *Hakluyt R.* The Principal Navigations... P. 475–478; *Willan T. S.* The early History... P. 165–166.

[1] *Любименко И. И.* Англичане в допетровской Руси... С. 82; *Накашидзе Н. Т.* Русско-английские отношения во второй половине XVI века. Тбилиси, 1956. С. 99–103; *Lubimenko I.* The correspondence of Queen Elisabeth with Russian tzars // The American Historical Review. 1914. Vol. XIX. № 3. P. 534–535.

[2] См.: Первые 40 лет... Док. № 52.

[3] Первые 40 лет... С. 228.

для того, чтобы сокрушаться по поводу приезда «испортившего все дело» Бауса, о назначении которого они сами прежде ходатайствовали перед короной[1], и жалеть средств, потраченных на посольство, которое не только не принесло им желаемых преимуществ, но лишь обострило двусторонние отношения.

Сложившийся в литературе отрицательный образ Бауса восходит, с одной стороны, к русским документам[2], а с другой, к запискам близкого к московским правящим кругам англичанина Джерома Горсея (ок. 1550 — ок. 1626), много лет подвизавшегося на поприще отношений с Россией. По словам мемуариста, чьи суждения несут на себе печать личной вражды к дипломату, тот «не имел никаких других качеств, кроме представительной внешности» и своими поступками возбудил к себе ненависть всех, «особенно тех важных чиновников, которые так страдали от его высокомерия», до такой степени, что после скоропостижной кончины Ивана IV «многие требовали расплаты за его поведение», угрожая расправой. Находясь под охраной в своем доме, Баус «дрожал, ежечасно ожидая смерти и конфискации имущества»; лишь Горсей на свой страх и риск выступил в его защиту, но, как только первый оказался вне опасности, то быстро забыл о благодарности и отплатил своему благодетелю доносом, в котором утверждалось, что будто бы тот «провозгласил у себя за столом... в присутствии знатных людей», что граф Лейстер «сбросил с лестницы свою жену, сломав ей шею, чтобы сделаться любовником королевы», — сплетня, долго муссировавшаяся в Англии после загадочной смерти первой супруги Роберта Дадли Эмми Робсарт в 1560 г. Заявление Бауса, который, по некоторым данным, сам в прошлом являлся клиентом графа и был удален от двора за какие-то высказывания против него[3], привело фаворита Елизаветы в ярость, и он потребовал наказать виновного. Если верить Горсею, в последовавшем за этим судебном разбирательстве его поддержали лорд-казначей Берли, Кристофер Хэттон и особенно госсекретарь сэр Френсис Уолсингем, а на стороне Бауса выступил лорд-камергер Генри Кэри, Первый барон Хансден[4].

Отталкиваясь от этой расстановки, а также сообщения Горсея о том, что первоначально «в посланники ее величества к царю был назначен сэр Уильям Расселл... сын пэра Бэдфорда, умный и благородный джентльмен» — заметный военный и государственный деятель времен Елизаветы и активный

[1] См.: *Горсей Дж.* Записки о России. С. 81. Интересы Бауса перед правлением Московской компании защищал его брат Ральф — придворный Елизаветы, главный распорядитель королевских охот (hunt master), который, по-видимому, и предложил его кандидату купцам, а те — королеве. (*Любименко И. И.* История торговых сношений... С. 152 (док. № 10); *Толстой Ю. В.* Последнее посольство... С. 6).

[2] Сб. РИО. С. 72–144.

[3] См.: CSPD. Addenda, 1566–1579. L., 1871. P. 517; DNB. Vol. II. P. 965; Любименко И. И. История торговых сношений... С. 151.

[4] *Горсей Дж.* Записки о России... С. 82–84, 87–90, 98–100.

сподвижник Лейстера[1], — «но его друзья, после серьезного обсуждения..., отговорили его»[2], Я. С. Лурье счел, что конфликт Горсея и Бауса «выходит за рамки личной неприязни» и предложил искать его глубинные корни в борьбе двух противоположных внешнеполитических курсов в английском руководстве, представленных соперничающими при дворе и в правительстве фракциями: возглавляемыми Уильямом Сесилом, лордом Берли сторонниками острожной политики и «умиротворения» Испании, которые считали нежелательным связывать Англию какими-либо конкретными соглашениями с Московским государством, и предводительствуемыми Уолсингемом и Лейстером адептами более жесткой линии на конфронтацию с католическими державами, выступавшими за создание широких международно-политических альянсов против Габсбургов, в т. ч. и с Россией. Установив «политическое лицо» дипломата, которого, в отличие от признанного протеже Уолсингема — Дж. Горсея, он считает креатурой «партии мира», ученый заключил, что назначение послом Бауса означало победу противников рискованных внешнеполитических комбинаций, а его поведение в Москве «вполне соответствовало политической линии этой группы: Баус не только не пошел на союз с Грозным, но и отклонил вообще всякие переговоры на международно-политические темы»[3].

Впрочем, это лишь любопытная гипотеза, которой явно недостает строгости аргументации. Хотя для поры, когда большую роль сохраняли межличностные связи и система патроната, а послы нередко являлись фактическими ставленниками той или иной группировки, связанными неформальными узами с ее лидерами — крупными фигурами при дворе и/или в Тайном совете, потенциальную возможность такой подоплеки полностью исключить нельзя, Лурье опирался на трактовку проблемы фракционности, данную К. Ридом еще в начале XX в. и с тех пор во многих аспектах скорректированную[4], что делает

[1] Сэр Уильям Рассел (1558?–1613) — младший сын Френсиса Рассела, 2-го графа Бэдфорда. В конце 70 — начале 80-х гг. воевал в Ирландии. В декабре 1585 г. вместе с Лейстером отправился в Нидерланды, где командовал кавалерией, а после гибели сэра Филиппа Сидни в 1587 г. сменил его на посту губернатора крепости Флашинг. С 1594 по 1597 гг. был наместником (lord deputy) Ирландии, а летом 1599 г. в ожидании испанского вторжения в Англию возглавил военные силы на западном побережье. (DNB. Vol. XVII. P. 476–479).

[2] *Горсей Дж.* Записки о России... С. 81.

[3] См.: *Лурье Я. С.* Английская политика на Руси конца XVI века // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 61. Л., 1947. С. 129–131, 135–138; *он же.* Письма Джерома Горсея // Ученые записки ЛГУ. № 73. Л., 1941. С. 189–201; *он же.* Русско-английские отношения и международная политика второй половины XVI века // Международные связи России до XVII века. М., 1961. С. 434–442; Путешествия русских послов XVI — XVII веков. Статейные списки. М.; Л., 1954. С. 398, прим. 57; *Luria J. (Lur'e Ya. S.)* An Unpublished Epigram... P. 16–17.

[4] Дискуссию о системе патроната и фракциях в елизаветинской Англии см.: *Adams S.* Leicester and the Court. Essays on Elizabethan Politics. Manchester, 2002. Ch. 1–4; *MacCaffrey W. T.* Place and Patronage in Elizabethan Politics // Elizabethan government and society. Essays presented to Sir John Neale. L., 1961. P. 95–126; *Neale J. E.* The Elizabethan Political Scene // Essays in Elizabethan History. P. 59-84; *Read C.* Faction in the English Privy Council under Elizabeth // Annual Bulletin of the American Historical Association. 1911. P. 111–119; *Read C.* Walsingham and Burghley in Queen Elizabeth's Privy Council // EHR. 1913. Vol. 28. № 131. P. 34–58; *Smith A. G. R.* The Government of Elizabethan England. L., 1967. Ch. 5; *Williams P. T.* Faction, Clientage and Party, English Politics, 1550–1603 // History Today. 1982. Vol. 32.

построения первого несколько схематичными. Но главное, из-за недостатка конкретных данных и неясности обстоятельств назначения Бауса, невозможно точно установить, в какой степени колебания его репутации отразили игру различных политических сил в Англии вокруг отношений с Россией. Есть указание, что в июле 1597 г. он присутствовал на деловом обеде в доме Берли, но в 1583 г. посол обращался из России за помощью в устройстве своих личных дел в Англии к Ф. Уолсингему. Кроме того, выполненный Баусом в 1579 г. перевод полемического сочинения в пользу французских кальвинистов свидетельствует о близости религиозных взглядов дипломата и госсекретаря[1]. И это, не говоря о том, что в 1586 г. Берли поддержал в суде не его, а Дж. Горсея. Запутанность межличностных связей, которые далеко не всегда совпадали с линиями политического размежевания, размытость понятий «фракция» и «клиентела», тем более нетождественных современным «партиям», крайне затемняет возможную политическую природу столкновения Бауса с Горсеем.

В 1592 г. бывшему послу в Московии было пожаловано исключительное право на производство стеклянной посуды в Англии[2], что, по-видимому, и послужило непосредственным поводом к появлению эпиграммы, авторство которой приписывается некоему сэру Джоселину Перси (1579?–1631), седьмому сыну восьмого графа Нортумберленда. Остается лишь гадать, что именно в осуществлении Баусом своей монополии сделало его объектом насмешек[3]. Однако если предпринимательские способности последнего и заслужили невысокой оценки у современников («занявшись этим делом, он потерпел крах»)[4], проблемы, спровоцированные его миссией в Московию (на самом деле, не многим более успешной, чем его деловая активность) очень скоро стерлись из памяти англичан, и в глазах ближайших потомков елиза-

[1] См.: *Croskey R.* A Further Note... P. 43–44; CSPF. July 1583 — July 1584. L., 1914. P. 44; *Read C.* Lord Burghley and Queen Elizabeth. N. Y., 1960. P. 529.

[2] *Price W. H.* The English patents of Monopoly. L., Boston, 1906. P. 70–71.

[3] См.: *Croskey R.* A Further Note... P. 40, 44–45; *Luria J. (Lur'e Ya. S.)* An Unpublished Epigram... P. 14–15.

[4] «Be [ошибочно вместо: He — ?] brought in th[a]t art but was ruined by it» — рукописная ремарка на полях одного из английских изданий XVII в. (Purchas his Pilgrimage, or Relations of the World... L., 1626), где Я. С. Лурье обнаружил эпиграмму на Бауса, вписанную напротив сокращенной версии рассказа Горсея об этом посольстве. (*Luria J. (Lur'e Ya. S.)* An Unpublished Epigram... P. 13).

ветинский дипломат предстал в совершенно ином свете, чем он изображается большинством позднейших историков. Даже если принять на веру утверждение Дж. Горсея о том, что наделавший в России столько шума посол впал на родине в немилость и был удален от двора[1], опала длилась недолго. В начале XVII столетия он благополучно выступал в качестве пристава русского посольства г. Микулина в Лондоне[2].

После смерти Бауса его репутация подверглась причудливой трансформации. Из скандалиста и склочника он превращается в образцового дипломата, чьей смелостью и решительностью в новых условиях начинают восхищаться[3]. Под пером отца английской исторической школы Уильяма Кэмдена (1551–1623)[4] и особенно в сочинении о Московии выдающегося литератора и государственного деятеля Джона Мильтона (1608–1674), бывшего в период протектората секретарем по иностранным делам («латинским секретарем») О. Кромвеля, имя печально известного посла Елизаветы к Грозному очищается от отрицательных коннотаций, а положительные черты его деятельности гиперболизируются и выступают на первый план в полном соответствии с собственными отчетами дипломата, на которые опирались оба названных автора при описании его посольства. В их интерпретации Баус превращается в подобие «национального героя»: отважно, невзирая на страх смерти, защищает честь своей государыни перед лицом московского деспота, выходит победителем во всех спорах с ним и его советниками, в конечном итоге завоевывает уважение царя, который признается, что «желал бы иметь такого слугу», и сокрушает своих врагов так, что «тогда счастлив был тот боярин, которому сэр Джером Баус оказывал расположение... несчастливы же те, которые противились ему»[5].

Эта тенденция к «реабилитации» Бауса нашла завершение в легендах о нем, которые еще долго циркулировали среди англичан, став фактом их национального самосознания и патриотической гордости, что, в частности, воплотилось в словарной статье о нем, автор которой счел, что такая дипломатия вполне соответствовала «варварскому» московскому двору, а все неудачи посла Елизаветы, вслед за ним самим, приписал смерти Грозного[6]. За всем этим скрывается реальная противоречивость личности Бауса как опре-

[1] *Горсей Дж.* Записки о России... С. 100.

[2] См.: Путешествия русских послов... С. 162–164, 168, 171, 173, 175, 177, 178, 181–184, 198, 202, 353; *Толстой Ю. В.* Последнее посольство... С. 48–49.

[3] *Croskey R.* A Further Note... P. 43, 45.

[4] *Camden W.* The History of the Most Renowned and Victorious Princess Elizabeth late Queen of England. Selected Chapters. Chicago; L., 1970. P. 158–159.

[5] Московия Джона Мильтона / Пер., ст. и примеч. Ю. В. Толстого. М., 1875. С. 37–40. Полное название его трактата, впервые изданного в Лондоне в 1682 г.: «A brief history of Moscovia and other lessknow Countries lying eastward of Russia as far Cathay. Gather'd from the writings of several eyewitness».

[6] DNB. Vol. II. P. 965–966.

деленного типажа — одного из «второстепенных царедворцев Елизаветы»[1], который ищет в России своей «беспутные чести и корысти», выпрашивая себе «кормов многих», но между тем ни в чем не отступает от своих инструкций; твердо стоит за честь королевы и одним упорством едва не достигает исполнения своих требований; слушает брань своих недоброжелателей и в то же время заботится о щеголеватости костюма; в гневном письме выплескивает бессильную злобу на русских, но не забывает вывезти из ненавистной ему земли подарок для государыни и груз контрабандных товаров для себя, а после, чтобы отомстить за обнаружение своих действий, не гнушается прибегнуть к доносу, клевете и подлогу.

[1] *Толстой Ю. В.* Последнее посольство... С. 47.

А.П. ПЕТУХОВА (МОСКВА)

«СЛОВО СИЛЬНЕЕ МЕЧА»: МИХАИЛ БОРОДКИН И «ФИНЛЯНДСКИЙ ВОПРОС»

В начале 1900-х гг. в Петербурге квартиру в доме за номером 46 на девятой линии Васильевского острова занимал некий генерал Михаил Михайлович Бородкин. Среди петербургской военной и бюрократической элиты он был довольно известной личностью, и добился этой известности скорее благодаря личной активности и неформальным связям, нежели служебному положению. С фотографии на нас смотрит степенный и довольно добродушный пожилой человек, с небольшой окладистой бородкой, в мундире и орденах. Его можно было встретить в редакциях газет и журналов, в основном правого направления, в стенах Русского собрания, в политических салонах, в кулуарах военного министерства и разнообразных правительственных кабинетах. Широкой публике, однако, он был практически неизвестен. Потомкам эта фамилия также ни о чем не говорит.

Михаил Бородкин попадает в поле зрения историков в связи с изучением «финляндского вопроса» в Российской империи в конце XIX — начале XX вв. При первом знакомстве с ним исследователь готов принять генерала за своего коллегу: количество работ М. Бородкина по истории взаимоотношений России и Финляндии чуть ли не превосходит совокупное творчество советских историков на эту тему. Поэтому современные авторы нередко помещают в раздел историографии и охотно цитируют его выводы.

«Финляндский вопрос», между тем, с самого своего возникновения напоминал историческую шараду. Весь XIX век Великое княжество Финляндское не причиняло хлопот имперским властям. Финны проявляли максимум лояльности к своей новой метрополии, а Петербург платил за это расширением автономии края вплоть до конца 1880-х гг. В области практической политики эти взаимоотношения устраивали обе стороны. Ситуация не изменилась и в 1880-е гг.: у имперских властей не появилось никаких конкретных причин обращать свой взор в сторону «страны озер». И, тем не менее, идиллия вдруг оказалась разрушена. При Александре III в правительстве началась разработка политического курса по ограничению автономии и русификации княжества. Эта программа в общих чертах осталась действующей вплоть до Февральской революции. Поворот правительственной политики сопровождался организацией беспрецедентно широкой информационной поддержки в органах правой печати.

Конкретные меры по воплощению программы в жизнь были приняты уже при Николае II. Нельзя сказать, чтобы они оказались успешными. Большинство проектов, обсуждавшихся в 1880-е — 1890-е годы в рамках различных комиссий, не было реализовано. Наиболее полно «антифинляндский курс» осуществлялся в период генерал-губернаторства Н.И. Бобрикова в 1898–1904 гг. и при премьерстве П.А. Столыпина. Самыми важными мерами, принятыми в отношении Финляндии, были: лишение финнов права на автономное войско с предписанием служить в общеимперских войсках и изъятие вопросов «общегосударственного значения» из ведения финляндского сейма. Первое положение так никогда и не начало исполняться. Второе было принято в нарушение десятилетиями гарантировавшихся российскими самодержцами «особых финляндских прав» и обеспечивало возможность неограниченного вмешательства имперских властей во внутренние дела княжества. Воспринятое финнами как coup d'etat, оно ни на йоту не способствовало более полной интеграции края в имперский организм. Вместо лояльного княжества власти получили надежное убежище для революционеров всех сортов и озлобленное население, преуспевшее в пассивном сопротивлении любым правительственным мероприятиям.

Внезапный поворот монархии к жесткому курсу в отношении вполне благополучного княжества, особенно на фоне многочисленных и куда более реальных имперских проблем, вызвал искреннее недоумение современников. Противники политики унификации Финляндии среди представителей власти и общества единодушно называли ее противоречащей здравому смыслу[1]. Позже историки пытались объяснить действия правительства экономическими или военными соображениями, а также необходимостью борьбы с революцией (что выглядело правдоподобным только в отношении второго этапа русификации)[2]. Однако, действительно убедительных причин столь

[1] *Богданович А.В.* Три последних самодержца. М.; Пг., 1924. С. 128, 229–230; *Витте С.Ю.* Воспоминания. М., 1994. Т. 2. С. 263; *Гурко В.И.* Черты и силуэты прошлого. М., 2000. С. 126–127; *Данилов Ю.Н.* На пути к крушению: Очерки последнего периода Российской монархии. М., 2000. С. 82; *Епанчин Н.А.* На службе трех императоров. М., 1996. С. 191; *Курлов П.* Гибель императорской России. Берлин, 1923. С. 101; *Куропаткин А.Н.* Дневник // Красный архив. 1922. Т. 2. С. 17, 31; *Палеолог С.К.* Около власти: Очерки пережитого. М., 2004. С. 49; Переписка С.Ю. Витте и А.Н. Куропаткина в 1904–1905 гг. // Красный архив. 1926. Т. 6 (19). С. 74; *Поливанов А.А.* Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощника. 1907–1916. Т. I. М., 1924. С. 70, 95; *Половцов А.А.* Дневник // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 103; 1929. Т. 3. С. 76–77, 92–93 и др.

[2] *Бахтурина А.Ю.* Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы первой мировой войны. (1914–1917 гг.). М., 2004. С. 233; *Бобович И.М.* Русско-финляндские экономические отношения накануне Великой Октябрьской социалистической революции. Эпоха империализма. Л., 1968. С. 10, 21, 75; *Клинге М.* Очерк истории Финляндии. Хельсинки, 1990. С. 87–90; *Новикова И.Н.* Великое княжество Финляндское в имперской политике России // Имперский строй России в региональном измерении (XIX — н. XX в.). М., 1997. С. 136; и др.

последовательного проведения непопулярного и бесполезного курса так и не было найдено, что признавалось отдельными историками[1].

Когда исследователь доходит до этой стадии ознакомления с «финляндским вопросом», у него постепенно пропадает желание считать Михаила Бородкина своим предшественником, а его многочисленные фолианты по этому предмету начинают раздражать. Выясняется, что все книги и статьи этого автора задумывались как обоснование максимально жесткого политического курса властей в отношении княжества. В значительной части это скорее публицистические работы, в которых Бородкин клеймил финнов за их более или менее доказанные сепаратистские настроения и нежелание становиться истинными членами русской государственной нации. Не брезговал он и пропагандистскими приемами: многократно повторенные тезисы не становились более обоснованными, но лучше запоминались читателем. Аргументы Бородкина строились скорее на эмоциях и логике националистической идеологии (Финляндия — завоеванная страна, в которой самодержец волен принимать любые законы, а русские люди должны чувствовать себя дома)[2], нежели на фактах, и были далеко не безупречны, что восполнялось очевидной убежденностью автора в своей правоте. Политические пристрастия автора и его приверженность бесперспективному курсу просматриваются настолько явно, что заслоняют собой все достоинства его работ.

В результате исследователь находит выход, комментируя труды Бородкина в историографическом разделе с изрядной долей критики и сожалений по поводу вечной политической ангажированности исторической науки. Однако на этом распрощаться с активным генералом не удается. Его имя с завидной регулярностью начинает всплывать в разного рода документах, связанных с решением «финляндского вопроса» в правительственных кругах.

Современники нередко предполагали, что «финляндский вопрос» зародился не столько на просторах озерного края, сколько в головах некоторых русских государственных деятелей и определенной части русский прессы, «искусственно»[3]. Видные знатоки политической кухни начала XX в. включали Бородкина в «группу влиятельных финноведов», являвшихся движущей

[1] *Дубровская Е.* Первая мировая война в Финляндии: империя против нации, российская армия против финляндцев // Ab imperio. 2001. № 4. С. 171.

[2] *Бородкин М.М.* Итоги столетия. Харьков, 1909. С. 3–6; *он же.* Современное положение русского дела на финляндской окраине. СПб., 1905. С. 4; *он же.* Финляндский вопрос. СПб., 1905. С. 27–28; *он же.* Финляндия в составе Русского Государства. СПб., 1906. С. 9.

[3] *Бородкин М.М.* К. Ф. Ордин и финляндские дела (Доклад, читанный в Русском собрании) // Русский вестник. 1902. Июнь. С. 626–628; Июль. С. 191; Материалы по финляндскому вопросу. Берлин, 1901. С. V; Мысли о современном положении Финляндии. Лондон, 1900. С. 3, 57, 70; *Ордин Б.К.* О правах России на Финляндию. СПб., 1906. С. 8; Россия и Финляндия. Очерк Л.М. Василевского.

силой политического курса на унификацию края[1]. Подобные факты заставляют вспомнить о слабо развитом направлении в историографии, предлагавшем отказаться от поиска рациональных причин «антифинляндского курса» и искать ключ в идеологии его создателей[2]. В этом случае позиция Бородкина сама становится объектом исторического изучения, а образцы его творчества переходят в раздел источников.

На этой стадии исследователь начинает осознавать, что и от ярлыка простого придворного историографа, выполняющего государственный заказ за известное вознаграждение, в случае с Бородкиным придется отказаться: уж слишком близко на протяжении всей своей жизни этот историк оказывался к предмету своего изучения.

Его судьба оказалась предопределена самим местом рождения. Произошло это событие 1 сентября 1852 г. на острове Аланд, в Финляндии, в семье бедного штабс-капитана. Кроме нужды, в наследство от рано умерших родителей Михаил получил принадлежность к старинному дворянскому роду, восходящему к концу XVII столетия и предположительные финские корни по материнской линии[3]. С детства он прекрасно знал финский и шведский языки. После курса в Гатчинском сиротском институте и Константиновском военном училище М. Бородкин начал службу в 1875 г. также в Финляндии, в 23-й полевой артиллерийской бригаде. Это обеспечило ему входной билет в местное общество и близкое знание обстановки в крае.

В начале ничего не предвещало необычной карьеры. Молодой военный тянул лямку, перемещался из одной батареи в другую, без опозданий возвращался из отпусков, женился на учительнице местной русской гимназии, купеческой дочке Александре Кудряковой и пять лет служил в чине подпоручика. Шанс изменить свою судьбу пришел к нему в образе не штыка (в военных действиях он так никогда и не участвовал), а книги. Начав совершенствовать свое образование с занятий по письмоводству при Окружном артиллерийском управлении, он сумел в 1879 г. поступить в Военно-Юридическую академию в Петербурге. Прослушав за два года полный курс и завершив обучение по первому разряду, он стал быстрее продвигаться по служебной лестнице

СПб., 1906. С. 4; Русская политика насилия в Финляндии. Берлин, 1902. С. 19; Финляндский разгром. Purleigh, 1900. С. 13–14.

[1] *Гурко В.И.* Черты... С. 125–126; *Крыжановский С.Е.* Воспоминания. Б/г, б/д. С. 218.

[2] *Кэмпбелл Е.И.* «Единая и неделимая Россия» и «инородческий вопрос» в имперской идеологии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 204, 209; *Нумминен Р.* П.А. Столыпин в истории Финляндии // На пути к революционным потрясениям. СПб.; Кишинев, 2001. С. 233.

[3] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии. М., 1992. Т. 2. С. 443; Civis finnicus. Мехелин Л. Опровержение книги М.М. Бородкина. Стокгольм, 1903. С. 3.

и значительно расширил свой кругозор. В капитаны он был произведен «за отличные успехи в науках». Следующие два десятилетия оказались заполнены службой по военно-судебному ведомству в Вильно, Одессе, Варшаве и Петербурге. В конце 80-х — начале 90-х он вновь служил в Финляндии, активно участвуя в жизни местной русской диаспоры[1]. Несколько лет Бородкин был военным судьей Петербургского военно-окружного суда, получил несколько орденов и «по итогам отличной службы» был пожалован в 1899 г. чином генерал-майора[2].

Однако карьерные успехи М. Бородкина были связаны не столько с усердным исполнением прямых обязанностей, сколько с особыми заслугами в области решения «финляндского вопроса». Шанс показать свою осведомленность в финляндских делах представился ему впервые в 1885 и 1889 гг., когда он в качестве юриста был привлечен графом Гейденом (в то время — генерал-губернатором княжества) к работе комиссии Вейсенберга по кодификации основных законов края[3].

Труды этой комиссии послужили точкой отсчета к витку напряженности в отношениях окраины и центра. Финны составили проект таким образом, что члены «русской партии», в которую входил и Бородкин, усмотрели в нем стремление провести под носом у императора законодательное закрепление фактической автономии края. С этого времени начинается «война перьев»: яростная полемика в прессе и отдельно издаваемых сочинениях финских и русских публицистов, юристов, историков по вопросу о положении и перспективах Финляндии в составе империи. Параллельно ей активизировалась и уже не прекращалась вплоть до 1917 г. деятельность правительства в направлении унификации княжества. Так Михаил Бородкин оказался задействован в «финляндской драме» с первого же ее действия.

С этого момента он активно действовал в двух направлениях — как публицист и как эксперт в различных комиссиях при правительстве по «финляндскому вопросу». В обеих ипостасях он последовательно проводил линию на ограничение «особых финляндских прав» и обеспечение «русских интересов» на окраине.

В 1893 г. он был утвержден членом двух комиссий при Главном штабе: для составления проекта нового устава о воинской повинности в Финляндии и по организации финских войск. В 1898 и 1899 гг. он участвовал в работе двух Особых совещаний под председательством К.П. Победоносцева, в качестве эксперта давал специальные разъяснения Государственному совету.

[1] Отчет о 25-летней деятельности Русского благотворительного общества в Финляндии. 1872–1897 гг. Гельсингфорс, 1898. С. 24, 26, 30.

[2] *Кузьмин-Караваев В.В.* Военно-юридическая академия. 1866–1891. Краткий исторический очерк. СПб., 1891. С. 58–59; РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 133652/1-29. Л. 62–63; Ф. 409. Оп. 1. Д. 133428/1-13. Л. 31–35.

[3] Правительствующий Сенат. СПб., 1912. С. 77; *Хорсов П.* Михаил Михайлович Бородкин // Мирный труд. 1904. № 3. С. 90–94.

По совокупности заслуг на этом поприще был удостоен Высочайшего благоволения[1].

Однако участие в работе комиссий не удовлетворяло честолюбивого и уверенного в своей правоте военного. Как уже отмечалось, политика давления на финнов была далеко не очевидной. Александр III не питал ни малейших симпатий к «особым финляндским правам», но трогать их без необходимости опасался. Поэтому труд комиссий в начале 1890-х годов носил скорее подготовительно-теоретический характер. Николай II был более склонен к решительным действиям. Однако в верхних эшелонах власти существовало мощное течение, противостоявшее попыткам осуществить жесткие меры на практике. Общество же вообще ничего не знало о наличии «финляндской проблемы».

В этих обстоятельствах Михаил Бородкин повел себя как последовательный идеолог и лоббист антифинляндской программы на самых разных уровнях. Свою первую заметку о финляндцах под характерным названием «Самовлюбленные» он написал в 1881 г., когда о русификации никто, кроме, пожалуй, Михаила Каткова, еще и не помышлял[2]. В конце 1880-х гг. он активно включился в газетную полемику, пропагандируя необходимость урезонить не в меру независимых финнов. Он сразу стал полноправным членом группы интеллектуалов — историков и юристов, — которая с конца 1880-х гг. поставила задачей обратить внимание общества и власти на процветающую и свободную Финляндию, добившуюся своего уникального положения во многом за счет завоевавшей ее империи. Историки К.Ф. Ордин и К.И. Якубов, юристы Ф.П. Еленев, Н.М. Коркунов и ряд других действовали на свой страх и риск, публикуя монографии, брошюры и статьи. Они констатировали незнание финляндских реалий и невнимание к ним как в обществе, так и во власти; декларировали свое намерение открыть глаза тем и другим[3]. Своими трудами они создали «финляндский вопрос» и начали вокруг него информационную кампанию. В Финляндии «завоеванное мечом, отдали пером», любил повторять Бородкин, и пером же он намеревался вернуть утраченное[4].

Он публиковал свои изыскания по «финляндскому вопросу» в десятке центральных и местных изданий[5]. В 1890-е гг. Бородкин вел активную переписку с С.А. Петровским, главным редактором «Московских ведомостей», ставших флагманом первой волны «антифинляндской кампании» в прессе.

[1] РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 20762. Л. 1–4; Ф. 409. Оп. 1. Д. 133428/1-13. Л. 37; *Хорсов П.* Михаил Михайлович Бородкин. С. 93.

[2] Санкт-Петербургские ведомости. 1881. 6 сентября.

[3] *Абов Г.А.* Густав-Мориц Армфельт и его русско-финские отношения. Исторический очерк. СПб., 1901. С. 3.

[4] Бородкин М.М. Итоги столетия. С. 4.

[5] РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 1220. Л. 1; ОР РНБ. Архив Исторического вестника. 1895. Л. 89.

В этой переписке обращает на себя внимание серьезное отношение ее участников к своей деятельности: Бородкин высказывал твердую уверенность, что ее результатом будут реальные политические шаги по отношению к княжеству. Намекал он и на некие казенные столы власть имущих, на которые благодаря ему ложились идеологически «полезные» статьи по финляндской проблеме из «Московских ведомостей»[1]. Статьи по «финляндскому вопросу», опубликованные в 1890-е годы в одном только этом издании составили три объемных тома[2]. В своих сочинениях Михаил Бородкин любил цитировать фразу финского поэта Топелиуса: «Слово сильнее меча. Оно проникает далее, влияет более»[3]. Его усилия позволяли надеяться на то, что идеологическое воздействие на современников принесет бóльшие дивиденды в решении «финляндского вопроса», чем до поры до времени бесплодные комиссии. Одновременно, они составили ему прочную репутацию эксперта по этой проблеме.

К моменту назначения на пост финляндского генерал-губернатора Н.И. Бобрикова в 1898 г. Михаил Бородкин уже обладал определенным влиянием на выработку политики в крае. С началом личных контактов и даже дружбы с Бобриковым это влияние усилилось многократно. Еще в те месяцы, когда Бобриков ожидал в Красном селе окончательного решения о своем назначении генерал-губернатором княжества и до конца не был уверен в нем, он уже работал рука об руку с Бородкиным над «финляндским вопросом»[4]. Он знакомился с положением дел в крае, черпая информацию из «книжных материалов» (что означало, прежде всего, творчество упоминавшихся выше историков и юристов), передовицы «Московских ведомостей» (по трехтомной подборке статей по финляндским проблемам) и личных бесед с Бородкиным. В ходе первой же аудиенции по поводу своего назначения Бобриков изложил монарху общее видение желательного поведения на окраине, целиком и полностью соответствующее «русскому государственному взгляду». В том же разговоре выяснилось, что он видел корни возникновения «финляндского вопроса» не в экономике и не в военной угрозе. Нет, он говорил именно об идеях, о возникновении «домыслов» об особом государстве, что и требовало немедленных и жестких действий. В письмах В.К. Плеве Бобриков называл «корнем всего зла» то, что «финляндцы извратили истину»[5]. Соответственно этим взглядам он строил свою политику в крае[6].

Объяснение Бобрикова почти слово в слово совпадает с публицистическими пассажами Бородкина на ту же тему. Он отсчитывал «финляндский вопрос» с появления трудов И. Вассера, заложившего первый камень в стену теории об «особом государстве». Вся система ценностей, выработанная генералом, настраивала его на понимание значения слова в общественной жизни. И взгляды М. Бородкина на роль идеологического воздействия стали приносить реальные плоды.

[1] ОР РГБ. Ф. 224. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 1, 7.

[2] Финляндская окраина России. Вып. 1–3. М., 1891–1897.

[3] *Бородкин М.М.* Полтавский завет Государя Императора. Харьков, 1909. С. 17.

[4] РГВИА. Ф. 59. Оп. 1. Д. 71. Л. 15, 26, 32.

[5] ОР РНБ. Ф. 586. Д. 28. Л. 1–5, 67, 70–71.

[6] *Федоров Е.* Подготовка финляндской революции. 1889–1905 гг. СПб., 1905. С. 97–98.

Постоянные консультации продолжались в течение всего периода генерал-губернаторства Н.И. Бобрикова. При личных встречах и в переписке двое военных подробно обсуждали положение в княжестве, все перипетии закулисной борьбы в царском правительстве по этому вопросу. Бобриков высоко ценил опыт Бородкина в «финляндских делах», часто запрашивал у него различные справки. Бородкин рекомендовал достаточно жесткие меры в отношении края. Бобриков полностью разделял такой взгляд на вещи, однако, предостерегаемый более реалистичным и осторожным В.К. Плеве от поспешных и раздражающих финнов мер, сам был вынужден объяснять Бородкину причины промедления, а также упрекать его за преувеличение фактов[1].

Издание Бородкиным очередной книги по истории Финляндии было осуществлено при содействии военного министра. В июне 1901 г. Николай II выразил Н.И. Бобрикову свое желание, чтобы тот приступил к сбору материалов «для составления правдивой истории Финляндии». Бобриков указал на Бородкина, как на более подходящую кандидатуру и император утвердил его. Итогом как раз и стало написание многотомной «Истории Финляндии», печатающейся в Государственной типографии и отмеченной наградами[2]. Как написал ее автор, предваряя очередной том, «историография всегда зарождается, когда к тому предоставляется повод»[3]. Сам Бородкин был переведен на нештатную должность, с сохранением прежнего оклада, что давало ему время и средства на многочисленные разъезды и написание книги.

Не оставлял он и публицистики. Нередко его сочинения походили на своего рода план действий по тому аспекту русско-финляндских отношений, который был или мог стать в ближайшее время ключевым в правительственной политике[4]. Аналогичные задачи выполнял «Обзор периодической печати», посвященный развитию «финляндского вопроса». По признанию самих редакторов и осведомленных источников, он составлялся для ознакомления с финляндскими реалиями в «нужном ключе» в том числе и правительственных лиц (а логика заставляет признать именно их основным адресатом, поскольку форма и тираж издания делали невозможным ознакомление с ним широкой публики)[5].

[1] ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 158. Л. 8–9, 14, 24, 26, 35, 207, 243; Ф. 586. Ед. хр. 11. Л. 3, 26.

[2] Там же. Л. 210, 288.

[3] *Бородкин М.М.* История Финляндии. Т. IV. Время императора Александра I. СПб., 1909. С. XI.

[4] *Бородкин М.М.* Из истории финляндской монеты. Гельсингфорс, 1903.

[5] Обзор периодической печати. СПб., 1907. С. IX — X; Охрана русских интересов в Финляндии. СПб., 1907. С. 15–16.

Одно время обсуждалась возможность непосредственной службы Бородкина в крае, однако, по невыясненным обстоятельствам этот вариант так и не осуществился. Он остался на службе у А. Н. Куропаткина, и по заверениям Бобрикова военный министр весьма нуждался в таком сотруднике. Однако Бородкин продолжал активно влиять на финляндские дела и из Петербурга. Он лоббировал их общий с Бобриковым взгляд в доступных ему властных структурах[1]. Он являлся автором «объяснений», которые обсуждались в комиссиях по финляндскому вопросу и прилагались затем как сопроводительные документы к резолюциям правительства[2]. Возможно, он был также задействован в статс-секретариате по делам Финляндии[3].

С годами вес и влияние М. Бородкина упрочились, хотя правительство по-прежнему шло по пути ограничения финской автономии медленнее, чем ему хотелось бы. Борьба в верхних эшелонах власти продолжалась. В ходе работы комиссии Таганцева в 1904 г. Бородкин и его друг и соратник Н. Д. Сергеевский по собственному желанию вышли из нее, поскольку оказались в меньшинстве в вопросе о разграничение общеимперского и финляндского законодательства[4]. После убийства Бобрикова и революционных событий 1905 года многое из достигнутого сторонниками «антифинляндской политики» было утрачено. Но это была достаточно сплоченная группа лиц, по-прежнему причастных к правым группировкам Госсовета и других бюрократических структур, а также к правой печати. Обсуждая ежегодные собрания этой группы в Петербурге, финляндские газеты писали, что ее члены продолжали настаивать на дальнейшем проведении курса Н. И. Бобрикова даже в обстановке 1905-1906 гг., когда большинство представителей власти считали за благо временно оставить край в покое[5].

Связей и влиятельности Бородкину добавило участие в работе Русского собрания с момента его открытия в 1900 г. Он входил в состав его учредителей и отнюдь не был там свадебным генералом. Бородкин заседал в совете собрания, делал доклады, открывал местные отделы, печатался в периодических изданиях, входил в Русское окраинное общество, созданное под его эгидой[6].

[1] ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 158. Л. 2, 11–13, 15, 30, 106; Ф. 586. Ед. хр. 11. Л. 10; Россия. Государственный совет. Временные организации. (Дополнение). Материалы. Т. 79. 1910. Комиссия вторая. Продолжение. СПб., 1910. С. 39–42.

[2] ГАРФ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 1511а. Л. 2; Журнал заседания Особого совещания по делам княжества Финляндского по вопросу о присоединении двух приходов Выборгской губернии к составу Петербургской губернии 13 ноября 1910 года; Civis finnicus... С. 4.

[3] СИЭ. Т. 2. М., 1962. С. 630.

[4] Россия. Государственный совет. Временные организации. (Дополнение). Материалы. Т. 79. 1910. Комиссия вторая. Продолжение. СПб., 1910. Л. 2.

[5] РГВИА. Ф. 400. Оп. 3. Д. 3152. Л. 66, 94.

[6] ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1243. Л. 2, 8; Д. 1499. Л. 61, 182; Д. 1244. Л. 12, 22, 25, 30, 35, 45, 69, 93; Журнал Императорского русского военно-исторического общества. 1913. Апрель. С. 167.

Первоначально не являясь политической организацией, Русское собрание объединило в себе дворянские и бюрократические элементы и стало «мозговым центром» всех формирующихся черносотенных организаций. Впрочем, до 1905 г. основной акцент в его работе делался на культурно-просветительской деятельности, организации докладов и публичных лекций. Собрание распространяло среди населения пропагандистские листовки и брошюры, популяризировало монархическую идею, призывало к изучению русского национального движения, русской литературы[1]. Эта направленность соответствовала взглядам Бородкина и его трактовке собственной деятельности: воспитание власти и общества в духе той идеологии, которая казалось правильной, прививание национального образа мышления.

Официально в тот период он был чиновником особых поручений при военном министре, затем — помощником начальника главного военно-судного управления и главного военного прокурора, а также, по совместительству, начальником Александровской военно-юридической академии[2]. Бородкин производил расследования в Киевском арсенале в 1905–1906 гг., Императорской военно-медицинской академии в 1907 г., Туркестанском военном округе в 1909г. С 6 декабря 1907 г. он служил в чине генерал-лейтенанта.

Бородкин входил в состав комиссий по финляндским делам Столыпина (1907–1908), а позже — П. А. Харитонова (1909–1910)[3]. В 1910 г., в период борьбы в верхних эшелонах власти по поводу распространения на Великое княжество общегосударственного законодательства, он принимал участие в работе соответствующей думской комиссии, не будучи при этом депутатом Думы. Включение его в состав комиссии наряду с двумя другими деятелями, известными своими «объединительными» взглядами, служило для корреспондентов финляндских газет явным маркером победы антифинляндского лобби[4].

11 марта 1911 г. Бородкин был назначен сенатором[5]. Он был вхож в салоны генерала Богдановича, а позже — будущего председателя Совета министров Штюрмера и А. А. Римского-Корсакова. Там встречалась знать, правые члены Госсовета (долгое время игравшие в нем руководящую роль)[6], представители высшей бюрократии. Эти салоны были каналом лоббирования и одновременно — средоточием тех сил, которые современники и исследователи считали опорой реакции. Позиция участников салона

[1] *Залежский в.* Монархисты. Харьков, 1929. С. 11–12; *Кирьянов Ю. И.* Русское собрание. 1900–1917. М., 2003. С. 139–141; Союз русского народа. М.; Л., 1927. С. 4.

[2] ОР РГБ. Ф. 169. Оп. 51. Д. 20; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 72893. Л. 1–8, 13б, 14.

[3] ГАРФ. Ф. 586. Оп.1. Ед. хр. 1496. Л. 3; Д. 1511а. Л. 1–2; РГВИА Ф. 1. Оп. 1. Д. 72893. Л. 13б; Ф. 400. Оп. 3. Д. 3214. Л. 4, 19.

[4] ГАРФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 485. Л. 40.

[5] Разведчик. 1911. № 1066. 5 апреля. С. 1.

[6] *Черменский Е. Д.* IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 227.

Штюрмера передавалась непосредственно председателю Совета министров И. Л. Горемыкину, соответствующим министрам, учитывалась ими. По вопросу о Финляндии в салоне придерживались линии на «объединительную» политику.

Уже в 1916 г. Бородкин в числе других лоббировал кадровые перестановки в княжестве, пытаясь оказать влияние на императора, в том числе — через Распутина и Вырубову. Он был товарищем председателя Всероссийского общества попечения о беженцах православного вероисповедания — организации, созданной при поддержке МВД и на его субсидии с прицелом на возможную политическую деятельность в будущем. Помимо него туда входили весьма влиятельные представители правого лагеря, в том числе С. П. Белецкий, Н. Е. Марков 2-й, а председателем был глава правой группы Госсовета А. А. Римский-Корсаков[1]. С 24 апреля 1916 г. Михаил Бородкин сам стал членом Госсовета, что давало ему не только солидные по тем временам 14 000 рублей жалованья, но также возможность постоянно и непосредственно участвовать в работе влиятельнейшей государственной структуры[2].

Начиная с 1890-х гг. и до революции, Михаил Бородкин был причастен к вынесению большинства решений по финляндской проблеме. Все это время он продолжал издавать публицистические и научные труды по этой теме. Описание его карьеры дает наглядное представление о подлинной влиятельности этого человека и уровне, на котором шла борьба по вопросу о финляндских «особых правах».

Так факты заставляют исследователя совсем по иному оценивать роль Михаила Бородкина. Вместо полузабытого историка перед нами оказывается искусный лоббист, мастер использования неформальных связей, идеолог одного из важнейших направлений правительственной политики. «Финляндский вопрос» в начале XX в. стал одной из соломинок, сломавших спину имперскому верблюду. И теперь, уже на новом этапе возникает соблазн прицепить к фамилии Бородкин нелицеприятный ярлык и посетовать на невезение Российской империи, в которой многие лидеры не только первого, но и второго плана оказались неспособны к здравому взгляду на вещи и упорствовали в проведении ошибочной политики. Однако и сейчас что-то мешает поставить точку в этом жизнеописании.

В ярлыках у генерала Бородкина не было недостатка еще при жизни. Политические противники называли его «одним из наиболее плодовитых финнофобов», сочиняющим наряду с другими представителями «шайки

[1] ГАРФ. Ф.1467. Оп. 1. Д. 31. Переписка с Мин. юст. и др. учреждениями о деятельности и привлечении к уголовной ответственности бывшего ген.-губ. Финляндии Ф. А. Зейна и вице-губ. М. М. Боровитинова. Л. 6–8; Показания С. П. Белецкого // Падение царского режима. По материалам Чрезвычайной комиссии Временного правительства. Л., 1926. Т. IV. С. 122, 382–383, 473–474.

[2] Список гг. членам Гос. совета по Высочайшему назначению, по старшинству в чинах, с краткими о службе их сведениями. Сост. По 15 фев. 1917. С. 72.

публицистов-шовинистов» «мерзкие статьи и пасквили о Финляндии»[1]. Это было закономерно: Бородкин тоже не деликатничал в выборе ответных выражений[2]. По итогам ознакомления с ключевыми вехами его биографии у читателя может сложиться впечатление о нем, как о некоем ультраконсерваторе-Держиморде. А если почитать финские источники, можно найти и вовсе убийственные характеристики. Так, вице-председатель Сената Константин Линдер сетовал в 1902 г., что представители российской власти позволяют «полубезумному Бородкину, который страдает маниакальной финнофобией, а сестра его сидит в сумасшедшем доме, — строить неосуществимые планы...»[3].

Надо сказать, что знакомство с многочисленными письмами Михаила Бородкина не располагает к принятию гипотезы о каких-либо психических отклонениях. Почерк генерала оставляет у исследователя самые приятные воспоминания. Ровный и понятный, он позволяет не только легко понимать текст, но и наводит на мысль о человеке аккуратном, деловитом, ответственном, вдумчивом. При желании можно добавить «усидчивом и занудном», что вполне согласуется со сведениями о манере работы генерала над своими сочинениями, но никак не «полубезумном».

Если уж до конца увлечься разбором манеры письма генерала, памятуя о том, что они — практически единственный источник, сохранивший в себе его «живое» присутствие, не искаженное внешними воздействиями, то наибольший интерес представляет его автограф. Четкость написания каждой буквы в фамилии говорит об известной открытости человека окружающим, однако линия под фамилией свидетельствует о сознании собственной значимости, самолюбии и упорстве. Тот факт, что линия эта имеет форму полукруга, при анализе почерка обычно оценивается как показатель зацикленности на каких-то проблемах и идеях. Впрочем, почерк генерала не единственное, что заставляет исследователя быть осторожнее в оценках этого человека.

В своем дневнике известный деятель правых сил Борис Никольский характеризует Бородкина как «чудного человека», «основательного», хотя и чересчур «узкого специалиста»[4]. А Николай Энгельгардт оговаривался, что Бородкин был «по существу очень либеральным человеком»[5]. Обе характеристики сделаны в личных записях, между делом, и потому заслуживают внимания, хотя и принадлежат людям одного с Бородкиным направления, а значит — сочувствующим ему.

[1] Civis finnicus... С. 3, 103.

[2] *Бородкин М. М.* К военному вопросу Финляндии. СПб., 1909. С. 2, 9–10.

[3] Цит. по: *Рингбом М.* Никколо и Николай. М., 2006. С. 172.

[4] Дневник Бориса Никольского. 1905–1907 // Красный архив. 1934. Т. 2 (63). С. 59.

[5] *Энгельгардт Н.* Эпизоды моей жизни. (Воспоминания) // Минувшее. Исторический альманах. Т. 24. СПб., 1998. С. 39.

Есть факты в биографии Бородкина, которые действительно корректируют однозначное восприятие его личности. В своих письмах он всегда доброжелателен. Присутствовало у него и чувство юмора. Он вполне способен был написать знакомому цензору письмо, стилизованное в старославянской манере, явно рассчитывая на юмористический эффект: «бью челом достопочтенному цензурных дел мастеру... и вопию: избави мя, грешнаго, от грозного ока, в душу проникающего...»[1]. Нередко он демонстрировал совершенно неожиданную откровенность. В 1916 г. он писал молоденькому сотруднику «Финляндской газеты», консультируясь с ним по финской художественной литературе: «хочу, чтобы меня не упрекали в односторонности. Я не крайний, я не враг финляндцев, я всегда и во всем стремился быть правдивым, писать то, что знал, и что видел».

Оценивая эту фразу, важно помнить, что в основе видения ее автором окружающей действительности лежала идеология национализма. Она целиком и полностью определяла его подход к происходящему вокруг, включая и научное творчество.

Наука для него не была пустым звуком. Профессиональный военный, он в самом начале своей карьеры напечатал под псевдонимами ряд статей на самые разные темы. В одной из них он пытался последовательно обосновать неосновательность материалистического учения о происхождении человека от обезьяны. Будучи глубоко православным по убеждениям, публикуясь в православном журнале, Бородкин не нуждался в «научных» доказательствах божественной природы человека. Тем не менее, он демонстрировал знакомство с научной литературой по данному вопросу, активно цитировал антропологов, биологов, философов[2]. Обладая четкой системой ценностей, он предпочитал вести аргументацию с позиций науки даже в таких обстоятельствах, которые, казалось бы, этого не требовали.

К своим историческим трудам он также относился весьма серьезно и искренне считал их соответствующими научным требованиям. «История Финляндии» содержит слишком много ссылок на источники и исследования, чтобы быть просто политической публицистикой. Сохранились данные о его работе в архивах и переписка с московскими букинистами, свидетельствующая о внимательном отношении к источникам, о постоянном поиске необходимой литературы[3]. Он декларировал необходимость не только знать исторические события, но и понимать их. Стремился заинтересовать читателя, писать ярким образным языком, вводить в повествование элемент интриги. Он формулировал как свое кредо необходимость освещения культурной и бытовой истории, а не только военной или политической. Имел представление о принципе историзма и о научной этике. В сугубо исторических работах он действительно более сдержан и корректен, нежели в публицистике. Только вот факты всегда подбирались им в нужном ключе и оценивались в русле авторской концепции. Бородкин не считал это противоречием, он настоятельно требовал нравственной оценки исторических событий и отмечал, что наука сама по себе может быть только «национальной».

Однако Бородкина сложно причислить к «крайним» и в том, что касается национализма. В отличие от многих своих соратников по правому лагерю, он вовсе не отрицал достоинств и перспектив западной цивилизации. Напротив, он призывал не отгораживаться от Запада «китайской стеной», восхищался его достижениями в области науки и культуры, порицал «квасной патриотизм»[2]. Просто следуя логике националистического мышления, он считал, что задачей каждого народа является создание собственного вклада в процесс постижения истины: у каждой страны и культуры он свой, но они дополняют, а не отменяют друг друга.

В сочинениях Бородкина слово «либерализм», безусловно, гораздо чаще можно встретить в негативном либо нейтральном контексте[3]. Однако в своей публицистике и лекциях он ни в коем случае не призывал к возвращению в доконституционный период. По его мнению, манифест 17 октября открыл перед русским обществом колоссальные возможности для саморазвития. Фраза «мы вступаем в область свободы» произносилась им скорее с призывом к активной деятельности, с надеждой на грядущие перемены, нежели с ужасом перед ними. Он нередко упоминал о пагубности революций и важности реформ, необходимости просвещения русского народа, о значении науки, постоянно пропагандировал значение «пера и книги»[4].

Именно в этой части его творчества, да еще в идее «воспитания общества», проявилось влияние подлинного, раннего славянофильства. На протяжении всей жизни Бородкин считал себя продолжателем идей славянофилов, писал работы по истории этого движения, сотрудничал в журналах, считавшихся славянофильскими. У него была соответствующая репутация[5]. Но из его работ совершенно очевидно, что к исследованию этого направления он подходил не как историк, а как идеолог, смешивающий взгляды А. Хомякова и К. Аксакова с консервативным национализмом, панславизмом, творчеством Данилевского, Леонтьева, Соловьева, со всеми вытекающими

[1] РГАЛИ. Ф. 1317. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 7.

[2] *М. Б-нъ*. Человек и животное // Православное обозрение. 1890. Июль — август. С. 462, 493.

[3] ОР РГБ. Ф. 342. Картон №11. Ед. хр. 74. Л. 1–21.

[1] *Бородкин М.М.* Национальность в науке. СПб., 1912. С. 7.

[2] *Бородкин М.М.* Поэтическое творчество А.Н. Майкова. СПб., 1900. С. 51; *Бородкин М.М.* О литературных заслугах гр. А.К. Толстого // Мирный труд. 1904. Октябрь. С. 95, 100.

[3] *Абов Г.А.* Густав-Мориц Армфельт... С. 3, 8, 51, 70, 73; Бородкин М.М. Краткая история Финляндии. СПб., 1911. С. 44.

[4] *Бородкин М.М.* Современные беседы. О революции. О свободе. СПб., 1907. С. 12–13, 24, 38, 72; *он же*. Полтавский завет... С. 10, 20.

[5] ОР РГБ. Ф. 249. Ед. хр. 44. Л. 1.

последствиями. Впрочем, следует учитывать, что в то время именем славянофильства назывались любые проявления общественной мысли, выраженные в национальном ключе.

В вопросе об отношении к Западу сказывалась не только исповедуемая Бородкиным идеология, но и принцип организации мышления, отдающий безусловный приоритет идеальным соображениям перед рациональными. Этот принцип проявился в его подходе к финляндским проблемам, присутствовал он и в отношении к жизни в целом. Именно здесь ключ к неприятию западного рационализма и стремлению руководствоваться «идеальными материями»: «Мое мнение таково, что культура Финляндии мещанская (вспомните Герцена о Западе), а посему интересно было бы прочесть, как финляндцы понимают Бога, красоту, истину; как относятся к общечеловеческому? к философии? к поэзии? к религии вообще? Что они более всего читают?»[1]. Он постоянно, что достаточно неожиданно для военного, писал и говорил о русской литературе. Его любовь к поэзии, литературным образам и цветистым оборотам была неподдельной — и, видимо, хорошо известной окружающим[2]. Она также была связана с его общей жизненной философией: «Говорят: поэзия отжила свой век! Неправда! Она отражает и впредь будет в образах изображать характерные черты времени и идеалы поколения!»[3]. Даже к родоначальнику теории особой финляндской государственности Бородкин начинал относиться сочувственно, выяснив, что им руководили «идеальные начала и стремления»[4].

Изучение работ и биографии Бородкина оставляет ощущение некоего лабиринта, сходящегося к единому центру, суть которого — идеология. Финляндский вопрос не имел под собой прагматической основы, не был элементом имперской Real Politik, поэтому и казался бессмысленным тем современникам и потомкам, которые не сочувствовали национализму. Косвенно это признал и сам Бородкин, обронив фразу: «когда проснется национальное чувство, наши соотечественники поймут, что вопрос о Финляндии — вопрос русский»[5]. Но этот вопрос позволял властям решать важные идеологические задачи, чем и объясняется его подчеркнуто публичный характер.

«Множество идей не может иссякнуть, потому что без идей нет жизни», — писал Бородкин. В своих сочинениях он обличал меркантильный XIX век, забывший об идеалах, и очень любил цитировать Виктора Гюго: «Если хотите иметь великие мысли и творить великие дела, — верьте! Живите верой!

[1] ОР РНБ. Ф. 273. Ед. хр. 40. Л. 1–2.

[2] Государственный совет. Стенографические отчеты. 1916 год. Пг., 1916. Стб. 1421, 1427–1428.

[3] *Бородкин М. М.* Происхождение славянофильства. СПб., 1891. С. 46.

[4] *Бородкин М. М.* Вассер и Арвидсон. Гельсингфорс, 1914. С. 22; *он же*. Современные беседы. О нравственности. СПб., 1907. С. 167.

[5] *Бородкин М. М.* Н. Д. Сергеевский и его отношения к финляндскому вопросу. Харьков, 1909. С. 30.

Имейте веру религиозную, патриотическую, веру литературную. Верьте в человечество, в талант, в грядущее, в себя... Вера хороша и здорова для разума. Мало мыслить. Надо верить»[1]. Он говорил это искренне. Вся его жизнь действительно представляла собой деятельность под влиянием и во имя определенных идей. Это пример особого типа организации мышления, далекого от рационализма, а соответственно — и от реальной политики.

Славянофильство, искаженное до неузнаваемости, теория официальной народности, классический национализм, все сливалось в специфическую идеологию, активно пропагандировавшуюся и имевшую следствием вполне практические действия. Связь Бородкина с правящими кругами и тот факт, что именно его (или аналогичные) взгляды были положены в основу политического курса в Финляндии, заставляет предположить, что такой стиль мышления и мотивация были характерны и для некоторых весьма важных для управления страной фигур, фигур первого плана. К сожалению, цена следования идеологическим принципам порой оказывалась весьма высокой.

Лидия Успенская, сестра небезызвестного Бориса Савинкова, спустя много лет после распада империи и гражданской войны в России с горечью говорила: «... Я видела своими глазами весь ужас, который приносит идеология. Я видела, как белые били красных, как красные били белых, как зеленые били тех и других. Я слишком много видела бед от идеологии...»[2]. Многие современники разделяли с Бородкиным отнюдь не только убеждение в том, что Финляндия должна остаться неотъемлемой частью Российской империи. Весьма распространенным был и принцип мышления в идеальных категориях, пренебрежение рациональными требованиями Real Politik. В разгар гражданской войны, когда решался вопрос о присоединении Финляндии к Антанте и ее участии в антибольшевистском походе, представители белого движения и просто видные эмигранты не смогли поступиться имперским комплексом ради соображений политической конъюнктуры.

В 1919 г. глава русского либерального движения П. Н. Милюков отказался дать однозначный ответ на вопрос о будущей независимости Финляндии, в случае если она поможет Антанте справится с большевиками. Он отметил, что край получил достаточно уступок в годы первой русской революции и последующую его судьбу должно решать легитимное русское правительство[3]. Премьер-министр деникинского правительства генерал Драгомиров сообщил представителю Антанты, что «Украина и Финляндия не могут даже и думать об отделении от России»[4].

[1] *Бородкин М. М.* Всеславянское братство (панславизм). СПб, 1892. С. 64.

[2] Интервью с Лидией Александровной Успенской (1906 г. р., урожденной Мягковой, сестрой Бориса Савинкова) // Ab imperio. 2004. № 1. С. 356.

[3] Известия Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов. 1919. 26 ноября. С. 1.

[4] Белофинны на службе англо-французских интервентов в 1919 г. // Красный архив. 1940. №1 (98). С. 54

Весной 1919 г. шли активные переговоры с генералом Маннергеймом по вопросу об участии финнов в военном ударе союзников по Петрограду[1]. Все зависело от согласия лидеров белого движения на требования финнов, главным из которых была гарантия независимости. Однако Колчак счел эти требования чрезмерными и категорически отказался идти на уступки. Все шансы на поддержку Финляндии были утрачены. Как пишет участник и историк описываемых событий, в тот момент «многие пришли к заключению, что вооруженные силы Финляндии могли бы сыграть решающую роль и может быть судьба всех белых фронтов была бы другой, но не будем строго судить за это адмирала Колчака и предоставим разрешение этого вопроса суду истории»[2].

Судьба империи была решена — благодаря твердости лидеров белого движения в «финляндском вопросе» или независимо от нее. 1919 год оказался роковым и для главного героя этой истории. О жизни генерала Бородкина после революции практически не сохранилось сведений. Еще в мае 1917 г. он давал неустановленному лицу разъяснения, где можно найти его работу «История Финляндии»[3]. В списке государственных деятелей, привлеченных Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства в качестве обвиняемых или свидетелей «преступлений старого режима», его имя отсутствует. По сравнению со многими известными подследственными, оно действительно казалось малозначимым.

В 1918 г. Михаил Бородкин еще был на свободе. Тогда он был озабочен поисками покупателя своей огромной библиотеки. Обязательным условием он ставил то, чтобы она осталась в Петрограде[4]. К продаже его могли побудить намерения переезда в другой город, а возможно за границу, или просто банальный голод. Если он еще имел в то время возможность читать газеты, он знал, что для значительной части бывшей политической и социальной элиты империи Финляндия стала единственным из возможных путей к свободе. Из газет он мог узнать также и о надеждах, которые возлагали союзники на помощь финнов, столь критикуемых им в течение всей жизни за неприязнь к России[5]. В 1919 г. шестидесятисемилетний генерал был взят в заложники во время красного террора и расстрелян. Более точная дата и обстоятельства гибели Михаила Бородкина неизвестны.

[1] Из секретного доклада. О причинах неудачи борьбы с большевиками на северо-западном фронте // Архив русской революции. Т. 2. Берлин, 1922. С. 166.

[2] Добровольский С. Борьба за возрождение России в северной области // Архив русской революции. Т. 3. Берлин, 1921. С. 39–40.

[3] ОР РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 594. Л. 1.

[4] ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 91. Л. 4.

[5] Известия. 11 июля. С. 1; 22 августа. С. 1; Правда. 1919. 13 февраля. С. 2; 5 марта. С. 2 и др.

А. М. ЕРМАКОВ (ЯРОСЛАВЛЬ)

НА ВТОРОМ ПЛАНЕ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ: ИМПЕРСКИЙ ТРУДОВОЙ ФЮРЕР КОНСТАНТИН ГИРЛЬ

Механизм осуществления власти в нацистской Германии долгое время является дискуссионным в исторической науке. Историки-традиционалисты считали полновластным хозяином Третьего рейха фюрера и рейхсканцлера Адольфа Гитлера, стремившегося последовательно реализовать все цели, изложенные им на страницах книги «Моя борьба». Исследователи-ревизионисты, напротив, доказывают, что тоталитарное государство не было монолитной и беспрекословно следовавшей воле фюрера структурой, политические решения являлись результатом анархической конкурентной борьбы между соперничающими группами и инстанциями в государственном и партийном аппарате, промышленности и вооруженных силах. «Институциональный дарвинизм», существование множества противоборствующих центров власти, взаимно переплетающихся влияний и волеизъявлений имели следствием непоследовательное и неполное выполнение приказов Гитлера и возникновение все новых и новых организаций, руководители которых вступали в непрерывную и жестокую борьбу за свою долю полномочий.

Одной из таких организаций была Имперская служба труда (РАД). Перед РАД, через трудовые лагеря которой за время нацистского господства прошли несколько миллионов юношей и около одного миллиона девушек, ставились задачи нацистского воспитания молодого поколения посредством выполнения сельскохозяйственных и строительных работ, непосредственной политической обработки, организованного досуга и физической подготовки. Через полгода пребывания в лагере юноши благодаря строевым занятиям, ношению униформы со знаками различия, военным упражнениям и приучению к дисциплине были подготовлены к службе в вермахте, а девушки, помогавшие многодетным крестьянкам и освоившие курс домоводства, — к роли образцовой домохозяйки и матери. Это полностью соответствовало национал-социалистическому идеалу разграничения гендерных ролей мужчины и женщины.

Глава РАД имперский трудовой фюрер Константин Гирль, несомненно, находился на вторых ролях в нацистской государственной и партийной иерархии. «Он любит работать и действовать в тени. Он очень неохотно выдвигается на первый план, очень неохотно попадает в свет политического прожектора. Только этой весьма специфической “скромностью” Гирля объясняется тот факт, что сей национал-социалистский политик, несмотря на свою более чем решающую роль за кулисами фашистской диктатуры, вплоть до самого последнего времени скрывался на заднем плане, почти забывался всеми теми,

кто изучал отдельных представителей фашистской диктатуры», — писал в 1937 г. советский журналист Н. Корнев[1].

В государстве Гирль занимал посты депутата рейхстага от Померании (1930), статс-секретаря министерства труда (1933), имперского комиссара по Добровольной службе труда в министерстве внутренних дел (1934), имперского трудового фюрера (1935), министра без портфеля (1943), в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) — посты второго организационсляйтера (1929), уполномоченного фюрера по трудовой повинности (1931), имперского трудового фюрера (1933), рейхсляйтера (1936). Имея непосредственный доступ к фюреру, он не мог оказывать влияние на политику Рейха в той же мере, что и его соперники — министр труда Франц Зельдте, министр авиации, главнокомандующий люфтваффе и уполномоченный по Четырехлетнему плану Герман Геринг, министр народного просвещения и пропаганды рейхсляйтер Йозеф Геббельс, рейхсфюрер СС рейхсляйтер Генрих Гиммлер, шеф Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) Вильгельм Кейтель и другие представители нацистской верхушки. Однако под руководством Гирля Служба труда превратилась в важное звено национал-социалистической системы воспитания молодежи и инструмент рынка труда, а в годы Второй мировой войны стала кадровым резервом германской экономики и вооруженных сил.

Анализ жизненной траектории Гирля свидетельствует о том, что он был одним из многих людей второго плана, сыгравших важную, но не решающую роль в бурных и трагических событиях германской истории первой половины XX в.: Первой мировой войне, Ноябрьской революции, установлении гитлеровской диктатуры, Второй мировой войне.

Константин Гирль родился 24 февраля 1875 г. в небольшом баварском городке Бургхаузен на реке Инн в семье судейского чиновника средней руки. По окончании школы он избрал популярную в Германской империи карьеру военного и 14 июля 1893 г. поступил кандидатом в офицеры в 11-й баварский пехотный полк «Фон дер Танн». Успешно пройдя все ступени подготовки, в марте 1895 г. Гирль был произведен в секунд-лейтенанты. Вскоре старательный молодой офицер был замечен начальством и направлен для продолжения обучения в баварскую Военную академию. Это учебное заведение было обязано своим существованием особенностям объединения Германии в XIX в.: войдя в состав империи Гогенцоллернов, Бавария сохранила не только королевскую династию Виттельсбахов, но и армию, включая Генеральный штаб и Военную академию. Вскоре после завершения трехлетней подготовки Гирлю было присвоено звание старшего лейтенанта, а в 1904 г. он сам приступил к преподаванию военной истории и оперативного искусства в Академии. В 1907 г. способный офицер был переведен в прусский Генеральный штаб — мозг всей германской военной машины, — где прослужил почти пять лет[1].

[1] *Корнев Н.* Третья империя в лицах. М., 1937. С. 301.

Первую мировую войну майор без патента Гирль начал в качестве офицера штаба 6-й баварской армии принца Рупрехта, сражавшейся на Западном фронте. Его военные заслуги были отмечены «Железным крестом» II и I класса. Как и многие немецкие офицеры, Гирль, преклонявшийся перед Фридрихом Прусским и Наполеоном, воспринял поражение Германии в войне как личную катастрофу и посчитал его результатом «удара кинжалом» в спину победоносной императорской армии, итогом разрушительной деятельности демократических политических партий и евреев, которые через подконтрольную прессу вели антиправительственную и антивоенную пропаганду в тылу и на фронте, способствовали вступлению в войну на стороне Антанты Соединенных Штатов и организовали революцию в союзной с Германией Австро-Венгрии[2].

Выполнение условий Версальского договора было связано с гигантским сокращением офицерского корпуса. Командование проводило строгий отбор остающихся в республиканском рейхсвере 4 тысяч офицеров, руководствуясь не столько их профессиональными качествами, сколько происхождением и политическими убеждениями. Гирль успешно прошел этот отбор — он не был сторонником реставрации монархии, но возненавидел Веймарскую республику и «Версальский диктат». Его зачислили в засекреченный отдел министерства рейхсвера, который заменял запрещенную Версальским договором Военную академию и занимался подготовкой будущих офицеров-генштабистов. В марте 1919 г. он вступил в один из отрядов, сформированных правительством для подавления левых сил, а вскоре сколотил из солдат разных частей собственный добровольческий корпус (фрайкор)—«группу майора Гирля». Правительство направило этот отряд на подавление Баварской советской республики, поручив ему отбить у спартаковцев Аугсбург. В ходе боев за город 20—22 апреля 1919 г. 2,5-тысячное войско Гирля понесло тяжелые потери, но майор добился принятия защитниками города условий ультиматума[3].

После взятия Аугсбурга Гирль принял участие в боях с антиправительственными силами в других городах Баварии, затем оказался в Мюнхене в штабе генерала фон Меля, а через некоторое время в Берлине. Начало 1920 г. в Германии было связано с путчем националистического политика Вольфганга Каппа и командующего войсками на северо-востоке Германии генерала Вальтера фон Лютвица. Используя недовольство в войсках распоряжением о сокращении армии с 800 до 100 тысяч человек, они захватили

[1] См.: *Erb H., Grote H.-H.* Konstantin Hierl. Der Mann und sein Werk. München, 1939. S. 10—21.

[2] См.: *Hierl K.* Im Dienst für Deutschland 1918—1945. Heidelberg, 1954. S. 14, 28.

[3] *Erb H., Grote H.-H.* Konstantin Hierl... S. 30.

Берлин и попытались установить военную диктатуру. Гирль оказался в рядах тех офицеров, которые остались верными бежавшему в Штутгарт законному правительству, но заявили, что не будут стрелять в мятежников — своих боевых товарищей. Выполняя функции правительственного офицера связи, он познакомился с лидерами Социал-демократической партии Германии — председателем Совета Народных Уполномоченных Фридрихом Эбертом и военным министром Густавом Носке. Оба произвели на Гирля приятное впечатление: Эберт показался ему симпатичным человеком, прагматичным политиком, способным к нестандартному мышлению, еще большую симпатию офицера вызвал «сильный человек» Носке — один из главных организаторов террора против левых сил в 1918–1919 гг[1].

После подавления путча Гирль вернулся в министерство рейхсвера, где преподавал военную историю и оперативное искусство, дослужившись к моменту своей отставки в конце сентября 1924 г. до полковника. Гирль, как это предписывали нормы поведения офицерского корпуса, тратил свободное время на самообразование и не ленился публиковать результаты своих изысканий. Еще в 1912 г. в газете «Militärwochenblatt» появилась его первая статья «Значение изучения военной истории наполеоновской эпохи», в ноябре 1919 г. на страницах баварской газеты «Münchener-Augsburger Abendszeitung» он выступил за тактическое сотрудничество Германии с одним смертельным врагом — Россией против других смертельных врагов — стран Запада. Статья вызвала такой интерес лидера нарождавшегося нацистского движения Гитлера, что тот даже направил автору письмо. Однако в этот момент личной встречи Гирля и будущего нацистского фюрера не состоялось: либо кадровый офицер посчитал ниже своего достоинства поддерживать контакты с никому неизвестным выскочкой, либо этому попросту помешала сумятица бурных послевоенных лет. В 1923 г. Гирль обобщил опыт деятельности добровольческих корпусов, опубликовав брошюру «Ведение войны с помощью импровизированных армий». Вывод автора гласил, что наспех собранные части могут эффективно использоваться в боях, если находятся под руководством грамотного и решительного командира[2].

Изучая в целях самообразования самую разнообразную информацию, полковник Гирль натолкнулся на сведения о существовании в Болгарии, также разоренной войной и униженной Нейиским мирным договором, трудовой повинности для юношей. Призванная отчасти заменить запрещенную всеобщую воинскую повинность, болгарская организация Трудовой службы была сформирована по армейскому образцу, поставлена под командование офицеров и подчинена военному министру. Гирль же увидел в подобной организации и иную возможность — воспитать молодое поколение в духе классового сотрудничества и уважения к ручному труду, а главное — обойти версальские

[1] *Hierl K.* Im Dienst... S. 15.
[2] *Erb H., Grote H.-H.* Konstantin Hierl... S. 33, 40.

положения о запрете всеобщей воинской повинности. Шанс реализовать свои замыслы, как ему казалось, возник в момент тяжелейшего кризиса Веймарского государства в 1923 г., когда командующий сухопутными войсками генерал Ганс фон Сект получил широкие полномочия. Многие офицеры министерства рейхсвера рассчитывали на то, что генерал установит в стране военную диктатуру, утвердит авторитет центрального правительства на всей территории страны, прекратит хаос в экономике, остановит инфляцию и проведет «ожидаемые военным поколением радикальные внутренние реформы с целью оздоровления и реорганизации жизни нашего народа[1]».

18 ноября 1923 г. Гирль направил Секту меморандум, в котором предлагал ввести всеобщую трудовую повинность для юношей. Он обратил внимание генерала на крайне негативные последствия отмены всеобщей воинской обязанности для воспитания молодежи, которая, утратив веру в авторитет родителей и государства, может попасть под влияние радикальных левых сил. Между тем, из юношей послевоенного поколения необходимо воспитать достойных граждан государства и защитников отечества. Этого можно добиться путем введения всеобщей трудовой повинности для 17–20-летних молодых людей. В трудовых лагерях в противовес «марксистскому духу классовой борьбы» будет культивироваться «дух трудового единства», апробироваться модель будущего германского государства, построенного на чувстве ответственности, верности долгу, самодеятельности и сотрудничестве. Трудовой лагерь одновременно будет местом, где господствуют авторитарный дух, по-военному строгая дисциплина и подчинение приказам, молодые люди закаляются физически и развивают черты характера, присущие настоящему вождю. Именно такие немцы в будущем сумеют сплотить нацию и составят костяк граждан государства[2].

Сект, сторонник концепции небольшой профессиональной армии, отверг эти предложения, и Гирлю не оставалось ничего иного, как подать в отставку. Он немедленно окунулся в политическую деятельность — вступил в организованный генералом Эрихом Людендорфом Танненбергский Союз, сформировал и возглавил его филиал в Южной Германии. Гирлю была близка цель союза — беспощадная борьба с «внутренними врагами государства»: евреями, масонами и марксистами. В брошюре «Наша позиция по отношению к государству» он резко высказался против Веймарской республики — «Системы» — и выступил за авторитарную форму правления, чистоту крови немецкой нации, всеобщую воинскую обязанность, силовую внешнюю политику, подготовку народа к войне, «социальное государство труда[3]».

Эти взгляды, характерные для традиционных правых сил Германии, были весьма близки идеям, которые проповедовали Гитлер и его партия. Гирль

[1] *Hierl K.* Im Dienst... S. 19.
[2] Ibid. S. 180–181.
[3] См.: *Erb H., Grote H.-H.* Konstantin Hierl... S. 47–53.

впервые увидел будущего диктатора в 1920 г., когда в качестве военного коменданта Мюнхена посетил одно из собраний НСДАП. Их личное знакомство состоялось в кризисном 1923 г., но отставной офицер примкнул к нацистской партии под влиянием главного внутрипартийного оппонента Гитлера Грегора Штрассера. Деятельность в Танненбергском Союзе свела его и с другими видными нацистами: руководителем баварских штурмовиков генералом Францем фон Эппом, а также будущим рейхсляйтером, имперским наместником в Баварии в 1933–1945 гг. и имперским казначеем НСДАП Францем Ксавером Шварцем. В 1927 г. Гирль окончательно разошелся с Людендорфом, отношения с которым всегда были довольно напряженными, и покинул Танненбергский Союз. В 1929 г. он вступил в НСДАП и сразу же возглавил Второй организационный отдел «Национал-социалистическое государство», занятый подготовкой предстоящего государственного строительства[1].

На этом посту Гирль занялся разработкой аграрной программы партии и выработкой ее позиции в вопросах обороны страны, но главной сферой его интересов стала трудовая повинность молодежи. 5 июня 1931 г. правительство Генриха Брюнинга ввело трудовую повинность для безработных юношей. Добровольная служба труда (ФАД), финансирование которой осуществлялось из средств страхования по безработице, занималась мелиоративными работами, подготовкой земли для поселений и приусадебных участков, улучшением путей сообщения и строительством спортивных сооружений. Открывать трудовые лагеря могли местные органы власти, партии и общественные организации. На обитателей лагерей не распространялось действие законодательства о профсоюзах, стачках, защите и оплате труда. Кроме карманных денег, доброволец по окончании службы получал квитанцию из расчета по 1,5 марки за каждый отработанный день. Предъявив квитанцию в банк, он мог получить кредит на 2 года из 6% годовых в том случае, если решит организовать свое хозяйство в деревне[2].

В условиях массовой безработицы Служба труда быстро завоевала популярность, и к октябрю 1932 г. количество обитателей трудовых лагерей достигло 250 тысяч, что стимулировало интерес политических партий к ФАД. К давним принципиальным противникам любой формы трудовой повинности относились Коммунистическая партия Германии (КПГ) и ее молодежная организация — Коммунистический Союз Молодежи Германии. Напротив, Социал-демократическая партия, католические и протестантские объединения, популярная организация ветеранов Первой мировой войны «Стальной шлем» открыли по всей стране тысячи лагерей[3].

[1] *Hierl K.* Im Dienst... S. 58.

[2] Reichsgesetztblatt. 1931. Teil I. S. 295, 401; *Syrup F.* Hundert Jahre staatliche Sozialpolitik 1839 - 1939. Stuttgart, 1957. S. 357.

[3] *Köhler H.* Arbeitsdienst in Deutschland. Pläne und Verwirklichungsformen bis zur Einführung der Arbeitsdienstpflicht im Jahre 1935. Berlin (West), 1967.S. 152–153.

Нацистская партия оказалась среди них аутсайдером, хотя еще летом 1930 г. Гирль направил Гитлеру доклад о необходимости введения всеобщей трудовой повинности. Второй организационсляйтер был убежден в том, что государство имеет право на тотальное распоряжение индивидом: не только в военное, но и в мирное время «немец должен служить своему народу». Служба труда должна не создавать конкуренцию частному хозяйству и оказывать давление на заработную плату, а быть «средством государственно-политического воспитания в духе национал-социализма». Ее задачами провозглашались заселение сельской местности в восточных районах страны, чтобы воспрепятствовать урбанизации и проникновению в Германию поляков, укрепление продовольственной базы, обучение юношей военному делу, а девушек — домоводству и садоводству и, наконец, политическая подготовка молодежи. Характерно, что Гирль ни словом не упомянул о главной проблеме, стоявшей перед молодежью — массовой безработице. Рвавшиеся к власти нацисты видели в Службе труда не способ помочь молодым людям пережить тяжелейший экономический кризис, а только инструмент для достижения собственных целей — реграризации страны, достижения продовольственной автаркии, индоктринации подрастающего поколения[1].

В другом докладе, сделанном зимой 1931 г. в присутствии Гитлера перед рейхсляйтерами и гауляйтерами НСДАП, Гирль поставил безработицу на первое место среди причин введения всеобщей трудовой повинности. Но он тут же обесценил это утверждение, заявив, что такое понимание Службы труда было бы «слишком узким». Главными целями провозглашались воспитание молодежи и подготовка к восстановлению всеобщей воинской обязанности. В этом докладе Гирль впервые выдвинул идею трех ступеней воспитания гражданина в тоталитарном государстве: в школе молодой немец получает основы знаний и умений, из него воспитывают «немецкого человека». В армии молодой человек изучает обращение с оружием, учится сражаться на поле боя, из него воспитывают солдата. Наконец, в Службе труда он познает тяжелый физический труд, из него воспитывают «гражданина государства, обладающего чувством долга». Второй организационсляйтер предложил слушателям проект закона об обязательной двухгодичной трудовой повинности для юношей 17–25 лет. По его расчетам, стране была необходима «трудовая армия» численностью 1 млн. человек, включая 100 тысяч командиров[2].

Зимой 1931 г. Гирль был назначен уполномоченным фюрера НСДАП по трудовой повинности, а осенью пост его помощника получил ставленник Штрассера Гельмут Штелльрехт. Постепенно Гирль начал понимать, что ФАД позволяет гитлеровской партии собрать опыт и создать собственные руководящие кадры. Он уступил настояниям Штелльрехта и согласился

[1] *Hierl K.* Ausgewählte Schriften und Reden. München, 1941. Bd. 2. S. 14–16.

[2] Ibid. S. 17–27.

на открытие нескольких лагерей, призванных подготовить командиров для будущей массовой нацистской организации. В январе 1932 г. начал работу первый учебный трудовой лагерь НСДАП на полигоне рейхсвера в Хаммерштейне (Нижняя Померания), а к моменту прихода нацистов к власти в их трудовых лагерях находились 12–13 тысяч юношей[1].

О формировании Гитлером правительства уполномоченный фюрера НСДАП по трудовой повинности узнал из сообщения по радио. Он был жестоко разочарован тем, что руководитель «Стального шлема» Зельдте был назначен не только министром труда, но и имперским комиссаром по ФАД. Своим помощником по Службе труда он сделал главного организатора трудовых лагерей «Стального шлема», бывшего школьного учителя Генриха Манкена. Гирль понял, что может оказаться не у дел, и на первом же скором поезде поспешил из Мюнхена в Берлин добиваться аудиенции у Гитлера[2]. Его опасения оказались напрасными: 1 апреля рейхсканцлер назначил в несколько министерств, руководимых консервативными партнерами НСДАП, нацистских статс-секретарей, чтобы контролировать деятельность министров. Должность статс-секретаря по ФАД в министерстве труда получил Гирль. Не прошло и месяца, как ему удалось добиться увольнения Манкена под тем предлогом, что он действует во вред национал-социалистам[3], и получения по партийной линии звания имперского трудового фюрера.

Назначение Гирля статс-секретарем ускорило процесс унификации трудовых лагерей, который начался еще в марте 1933 г. В июле все ненацистские лагеря исчезли. С особым рвением свежеиспеченный статс-секретарь преследовал католические лагеря и лагеря «Стального шлема», обитателей которых часто обвиняли в оппозиционных режиму настроениях и разгоняли с помощью полиции, штурмовых и охранных отрядов. Теперь усилия Гирля были направлены на построение единой, строго централизованной организации, которая в общих чертах соответствовала тому, что было запланировано еще до прихода национал-социалистов к власти. Штаб сотрудников статс-секретаря был преобразован в имперское управление ФАД, которому подчинялись начальники 30 арбайтсгау — руководители земельных организаций Службы труда. Нелояльные по отношению к Гирлю начальники — трудовые фюреры — были уволены. В том числе, был переведен в Гитлерюгенд потенциальный соперник имперского трудового фюрера Штелльрехт. Полностью Гирль смог освободиться от опеки Зельдте лишь в начале июля 1934 г., когда был назначен имперским комиссаром по ФАД и переведен в министерство внутренних дел[4].

[1] *Scheibe W.* Aufgabe und Aufbau des Reichsarbeitsdienstes. Leipzig, 1938. S. 15.

[2] *Hierl K.* Im Dienst... S. 74.

[3] Центр хранения историко-документальных коллекций. Ф. 1235. Оп. 2. Д. 6. Л. 455–457.

[4] *Benz W.* Vom Freiwilliger Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1968. Heft 4. S. 339–340.

Пассивная реакция Великобритании и Франции на восстановление в Германии всеобщей воинской повинности в марте 1935 г. позволила нацистскому правительству три месяца спустя ввести и трудовую повинность. Имперская служба труда (РАД) была объявлена «почетной службой немецкому народу», ее задачами провозглашались воспитание немецкой молодежи «в духе национал-социализма и народного сообщества», воспитание уважения к ручному труду и выполнение общественно-полезных работ. Отбывать полугодичную повинность были обязаны как юноши, так и девушки 18–25 лет, хотя в действительности в женские трудовые лагеря по-прежнему попадали очень немногие молодые немки. Усилия Гирля по созданию специального министерства не увенчались успехом. Формально он остался статс-секретарем, подчиненным министру внутренних дел Вильгельму Фрику. Правда, его зависимость от министра проявлялась только в вопросах бюджета, в остальном же РАД была вполне самостоятельной, чему способствовало и довольно высокое положение имперского трудового фюрера в нацистской партии. Гирлю не удалось добиться законодательного введения запрета для участников Службы труда на политическую деятельность, как это было принято в армии, но вступление в НСДАП было возможно только с его согласия. Военные традиции копировались и в том пункте, который объявлял вступление в брак возможным лишь с разрешения имперского трудового фюрера[1].

Говоря словами немецкого историка Мартина Брошата, «двойственное положение РАД как государственной организации по созданию рабочих мест и допризывному обучению, в которой, тем не менее (в отличие от вермахта), национал-социалистические принципы единоначалия и национал-социалистическое обучение играли значительную роль, превратило ее в показательный пример переплетения государства и партии, которое в государстве Гитлера являлось предпосылкой самостоятельности»[2].

Во второй половине 1930-х гг. Гирль направил свои усилия на совершенствование организационной структуры РАД, ее совершенствование в качестве инструмента идеологической обработки молодежи и ячейки в сети тотального контроля государства над личностью. В апреле 1939 г. в Германии насчитывалось 36 арбайтсгау, 235 групп и 1650 подразделений мужской Службы труда, а ее общая численность достигла 297,5 тысяч человек. РАД располагала 19 школами для обучения командиров отделений в ранге труппфюреров, 5 школами для подготовки командиров взводов в ранге фельдмейстеров и 5 окружными школами, в которых проходили обучение руководители трудовых лагерей. Расположенная в Гросс-Кюнау имперская школа РАД выпускала трудовых фюреров высшего звена — руководителей групп

[1] Reichsgesetztblatt. 1935. Teil I. S. 769–771.

[2] *Broszat M.* Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung. München, 1989. S. 334.

и арбайтсгау. Помимо того было открыто несколько школ для администраторов высшего и среднего звена — амтсвальтеров[1].

В начале 1936 г. Гирлю удалось отстранить от руководства женской Службой труда единственную представительницу «второго пола» в нацистской верхушке — имперскую руководительницу женщин Гертруду Шольц-Клинк. Это было одним из проявлений подчиненного положения женщины в Третьем рейхе, который многие исследователи называют «мужским государством». Глава РАД был не единственным, кто вторгался в сферу компетенции Шольц-Клинк: Бальдур фон Ширах руководил не только Гитлерюгендом, но и Союзом немецких девушек, а шеф Германского трудового фронта Роберт Лей прибрал к рукам вопросы, связанные с профессиональной занятостью женщин. Имперскому трудовому фюреру достались 13 округов женской Службы труда, в которых функционировали 400 лагерей с 12 тысячами обитательниц, что составляло 5,4% от общей численность РАД. Усилиями Гирля к началу Второй мировой войны количество округов возросло до 23, трудовых лагерей — до 1575, а призванных в них девушек — до 36,2 тысяч, что не превышало 10% от общей численности организаций[2].

Соперниками Гирля в нацистских «институциональных джунглях» были руководители учреждений Третьего рейха, заинтересованных в рациональном использовании рабочей силы, эффективной функционировании хозяйства и подготовке страны к войне: министр труда Зельдте, министр экономики и финансов Яльмар Шахт, ответственный за Четырехлетний план Геринг, глава ОКВ Кейтель. В этих условиях имперский трудовой фюрер пошел по пути более тесного сплочения РАД с нацистской партией. Введенная осенью 1935 г. формулировка присяги содержала клятву в верности лично Гитлеру, а в апреле 1936 г. заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс получил право участвовать в назначении высших чиновников Службы труда. В марте 1937 г. так называемый «арийский» параграфа (§7) закона о РАД приобрел явно выраженную антисемитскую направленность: евреи не допускались в «социальную школу нации», а «еврейские гибриды» были лишены права занимать в Службе труда какие-либо руководящие должности[3].

Рвение имперского трудового фюрера на поприще подчинения РАД нацистской партии было вознаграждено Гитлером. 19 мая 1936 г. он получил чин генерал-майора, а 10 сентября Гитлер назначил Гирля рейхсляйтером НСДАП, «признавая его прошлые заслуги в построении германской РАД». Формально это поставило Гирля в нацистской иерархии в один ряд с собственным шефом по государственной линии Фриком и двумя десятками

[1] *Hierl K.* Arbeitsdienst. Berlin, 1939. S. 7.

[2] *Dudek P.* Nationalsozialistische Jugendpolitik und Arbeitserziehung. Das Arbeitslager als Instrument sozialer Disziplinierung // Politische Formierung und soziale Erziehung im Nationalsozialismus. Hrsg. von H.-U. Otto und H. Sünker. Frankfurt am Main, 1991. S. 147.

[3] Reichsgesetztblatt. 1935. Teil I. S. 1216; 1937. Teil I. S. 395.

других высших партийных руководителей. Наконец, 9 ноября, в годовщину «пивного путча» 1923 г., Гирль был награжден золотым значком НСДАП[1].

В годы Второй мировой войны имперский трудовой фюрер был вынужден, с одной стороны, противостоять требованиям военного командования использовать обитателей лагерей в своих целях и даже планам роспуска РАД, а с другой стороны — стараться оправдать в глазах Гитлера существование Службы труда, изменив цели ее деятельности в соответствии с новыми условиями. Еще до начала войны значительная часть трудовых лагерей была переброшена на строительство Западного вала, а в ходе Польской кампании вермахту было придано несколько сформированных из участников РАД строительных батальонов. Распоряжение от 20 декабря 1939 г. декретировало принципиальное изменение целей Службы труда, превратив ее из «школы нации» в кадровый резерв вермахта. Отныне приоритет отдавался требованиям шефа ОКВ, а «работы в интересах ведения войны» считались первоочередными[2].

Строительные подразделения РАД действовали на всех европейских театрах войны и были расквартированы во всех оккупированных странах Европы. Реже они передавались в распоряжение флотского начальства, а чаще придавались частям сухопутных войск и люфтваффе. Юношам, не принявшим военной присяги, доверяли не только восстановление разрушенных объектов, но и охрану коммуникаций, а также конвоирование военнопленных. На советско-германском фронте им приходилось вступать в бои с партизанами и регулярными частями Красной Армии, а в тылу — заменять солдат вермахта на 420 зенитных батареях. Отправка обитателей трудовых лагерей на фронт была связана с ужесточением дисциплины: с 1940 г. на участников РАД были распространены некоторые положения военного уголовного права. Контингент Службы труда ощутимо сократился уже в первом военном году в связи с сокращением сроков службы с 6 до 3 месяцев и призывом 60% трудовых фюреров в вооруженные силы. «За боевые отличия» Гирль, находившийся в Берлине, был удостоен высших наград нацистской Германии: «Креста военных заслуг с мечами» II и I класса, «Золотого ордена Германского креста с дубовыми ветвями и мечами». В августе 1943 г. он добился выхода из-под опеки министра внутренних дел и превращения Имперской службы труда в самостоятельное учреждение, подчиненное непосредственно Гитлеру.

Эти награждения и административные перестановки были призваны завуалировать очевидный упадок мужской РАД, который, впрочем, в определенной мере компенсировался ростом женской Службы труда. Около 150 тысяч девушек, призванных не только из «Старого рейха», но и из Эльзаса,

[1] *Rühle G.* Das Dritte Reich. Dokumentarische Darstellung des Aufbaues der Nation. Das vierte Jahr - 1936. Berlin, 1937. S. 204.

[2] Reichsgesetztblatt. 1939. Teil I. S. 2465–2466.

Лотарингии, Люксембурга, трудились на военных предприятиях и на транспорте, несли службу на пунктах связи люфтваффе, заменили солдат прожекторных батарей. Только ценой отказа от работы в многодетных крестьянских семьях и от педагогической деятельности в трудовых лагерях, ранее занимавшей значительную часть дня, имперскому трудовому фюреру удалось спасти женскую РАД от неминуемого роспуска, которого добивались руководители вермахта и военной экономики.

В апреле 1945 г. Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) сформировало из подразделений мужской РАД три плохо вооруженные и слабо подготовленные дивизии «Альберт Лео Шлагетер», «Теодор Кёрнер» и «Фридрих Людвиг Ян», которые были брошены в бой. Руководители некоторых арбайтсгау формировали из подчиненных им участников РАД и отбившихся от своих частей солдат боевые группы, пытавшиеся остановить противника. Сам имперский трудовой фюрер в последние дни войны перебрался из Берлина в расположение двух горно-стрелковых бригад Службы труда. 7 мая он отдал приказ об увольнении всех призванных в РАД юношей и отправил в отставку всех желающих трудовых фюреров, а сам на следующий день перебрался в американскую зону оккупации. Здесь он был арестован и интернирован. В августе 1948 г. комиссия по денацификации включила его в группу главных военных преступников и приговорила к трем годам трудового лагеря при зачете предварительного заключения. Позднее наказание было увеличено до 5 лет трудового лагеря с конфискацией половины имущества. Приговор гласил, что Гирль, «несмотря на личную честность, участвовал в осуществлении национал-социализма в качестве руководителя»[1].

После освобождения Гирль поселился в Гейдельберге. Он сотрудничал с националистическими газетами и журналами, опубликовал воспоминания и две получившие низкую оценку демократической печати книги, в которых доказывал свою непричастность к преступлениям германского фашизма и рассуждал о необходимости введения всеобщей трудовой повинности в ФРГ[2].

Некрологи о бывшем имперском трудовом фюрере, умершем 23 сентября 1955 г., поместили линь немногие неонацистские периодические издания. Такая реакция, равно как и сравнительно мягкий приговор Нюрнбергского трибунала, показывает, что ни сторонники, ни противники нацизма не

[1] См.: Neue deutsche Biographie. Hrsg. von der Historischen Komission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1972. Bd. 8. S. 110; Bosls Bayerische Biographie. 8 000 Persönlichkeiten aus 15 Jahrhuhderten. Hrsg von Karl Bosl. Regensburg, 1983. S. 347; *Wistrich R.* Wer war wer im Dritten Reich. Ein biographischee Lexikon. Anhänger, Mittäufer, Gegner aus Politik, Wtrtschaft, Militär, Kunst und Wissenschaft. Frankfurt am Main, 1987. S. 163.

[2] *Hierl K.* Schuld oder Schicksal? Studie über Entstehung und Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Heidelberg, 1953; *Hierl K.* Gedanken hinter Stacheldracht. Eine Lebensschau. Heidelberg, 1953.

склонны были причислять его к вождям Третьего рейха. Тем не менее, реальная роль Гирля в становлении и функционировании нацистского режима была более значительной, чем место в официальной партийной и государственной иерархии.

Не стремясь быть на первых ролях, Гирль нередко становился полезным исполнителем воли политиков, которые оказывали определяющее влияние на судьбы Германии на разных этапах ее истории: Эберта, Секта, Людендорфа, Гитлера. Нетрудно заметить, что крайне националистические и антидемократические убеждения всегда приводили его в лагерь тех, кто жестоко расправлялся с рабочим движением в ходе революции 1918–1919 гг., спасал от уничтожения германскую военную машину, боролся с либерализмом и марксизмом в 1920-е гг., толкал в пропасть Веймарскую республику в начале 1930-х. Гирль был одним из многих отставных военных, которые помогли Гитлеру построить тоталитарную диктатуру и развязать Вторую мировую войну. В отличие от группы офицеров и консервативных политиков, ставших попутчиками гитлеровского движения, но внутренне не принимавших нацистскую идеологию, он стал убежденным национал-социалистом. Созданная Гирлем Имперская служба труда внесла вклад в идеологическую обработку молодого поколения немцев, способствовала воплощению на практике нацистской аграрной романтики, расистских демографических и переселенческих проектов, антиславизма и антисемитизма, культивировала антимодернистские взгляды на роль женщины в политике, экономике, обществе, семье. Наконец, РАД формировала у граждан Германии веру в миф о свободном от социальных противоречий и внутренних конфликтов «немецком народном сообществе», что способствовало внутренней стабильности гитлеровского режима.



БИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

А. А. ХАРЧЕНКО (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

АСАНДР И ХРИСАЛИСК (ОПЫТ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ)

В научной литературе последнего времени все более отчетливо проявляется исследовательский интерес к человеку в истории, к изучению его поступков, их побудительных причин и влиянию этих поступков на ход исторических событий. При этом внимание историков привлекают не только наиболее известные деятели прошлого, но и люди второго плана. Однако деятельность последних зачастую оказывается в тени свершений великих современников. Это подчас приводит к тому, что не только все (или многие) важные исторические события связываются с выдающимися личностями, но последним приписывается и принятие «исторических» решений, и инициатива их осуществления, и непосредственное участие в их реализации. Между тем, зачастую идеи, служившие основой для проведения конкретных мероприятий, разрабатывались и предлагались фигурами не столь известными, но игравшими в свое время весьма важные роли. Нередко и самый способ претворения в жизнь тех или иных идей определялся не лидером, а человеком второго плана. Последний вовсе не лишен самостоятельности; он имеет свои интересы, привычки, идеалы. Являясь характерным представителем своей эпохи, того общества, в котором живет, он во многом определяет специфику тех событий, в которых принимает участие.

Данная схема, разумеется, не претендует на объяснение феномена человека второго плана в истории. Далеко не всегда и не везде можно обнаружить связь его действий с поступками исторической личности первой величины. Однако, иногда такая связь представляется очевидной. Например, судьбы Фидия и Анаксагора были определенным образом связаны с судьбой Перикла; Флавия Арриана и Сальвия Юлиана — с судьбой императора Адриана. Подобную тенденцию можно проследить и в боспорской истории. Людьми первого плана здесь, безусловно, были правители Боспора. Они не только определяли внешнюю и внутреннюю политику, но также концентрировали в своих руках управление торговой деятельностью и религиозной жизнью государства. Впрочем, источники сохранили прискорбно мало сведений о свершениях боспорских правителей; о большинстве их нет даже упоминаний в письменных источниках. Еще хуже обстоит дело со сведениями о людях второго плана. Можно вспомнить военачальника конца IV в. до

н. э. Мениска, участников посольства Перисада II к Птолемею Филадельфу (имена послов нам неизвестны) или наварха Панталеонта, действовавшего во второй половине I в. до н. э. Недостаток сведений о фигурах второго плана в боспорской истории приводит к появлению серьезных пробелов в исследованиях. Между тем, роль таких фигур во многих событиях боспорской истории была достаточно заметна. Подтверждением этому может служить судьба деятеля второй половины I в. до н. э. Хрисалиска.

Жизнь и деятельность Хрисалиска была связана с правлением Асандра (47–17 гг. до н. э.). Это правление явилось одной из самых ярких и драматичных страниц боспорской истории. События, связанные с ним, до сих пор привлекают внимание исследователей. Наибольшее внимание уделялось и уделяется перипетиям борьбы за власть, развернувшейся на Боспоре в конце правления Асандра и продолжившейся после его смерти. В разное время отечественные историки обращались к изучению тех бурных событий. Получили освещение и отдельные стороны деятельности Асандра — такие, как его строительная деятельность, внешняя политика, борьба с пиратством[1]. Фигура Хрисалиска долгое время оставалась неизвестной историкам, пока исследования Н. И. Сокольского на Тамани не позволили узнать имя одного из боспорских чиновников времени правления Асандра. Н. И. Сокольский в своих работах собрал богатый фактический материал, который позволил ему сделать ряд важных выводов о положении Хрисалиска в высших слоях боспорского общества, о связи его судьбы с судьбой Асандра, о его роли в некоторых событиях боспорской истории. Однако существует необходимость рассмотрения деятельности Хрисалиска как человека второго плана, что, возможно, позволит более полно осветить

[1] Среди множества работ, авторы которых уделяли внимание перипетиям боспорской истории периода правления Асандра и его преемников, необходимо выделить следующие: *Ростовцев М. И.* Бронзовый бюст боспорской царицы и история Боспора в эпоху Августа // Древности. Труды Московского археологического общества. Т. XXV. 1916. С. 1–31; *Фролова Н. А.* О времени правления Динамии // СА. 1978. № 2. С. 49–61; *она же.* К вопросу о начале правления Аспурга на Боспоре // ВДИ. 1979. № 1. С. 139–147; *Латышева В. А.* О роли Динамии в период правления на Боспоре Полемона // Вестник Харьковского университета. № 214. 1981. С. 101–107; *Масленников А. А.* Еще раз о боспорских валах // СА. 1983. № 3. С. 14–22; *Сапрыкин С. Ю.* Аспургиане // СА. 1985. № 2. С. 65–78; *он же.* Уникальный статер боспорской царицы Динамии // СА. 1990. № 3. С. 204–214; *он же.* Понтийское царство. Государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996. С. 297–327; *Анохин В. А.* Монетное дело Боспора. Киев, 1986. С. 76–79; *Яйленко В. П.* Материалы по боспорской эпиграфике // Надписи и языки Малой Азии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 1987. С. 5, 31–43, 78–82, 157–158; *он же.* Женщины, Афродита и жрица Спартокидов в новых боспорских надписях // Женщина в античном мире. М., 1995. С. 220–225. *Виноградов Ю. Г.* Очерк военно-политической истории сарматов в I в. н. э. // ВДИ. 1994. № 2. С. 151–170.

его отношения с Асандром, лучше понять его действия в период правления Асандра и в последующие годы.

К моменту прихода Асандра к власти Боспорское государство оказалось в сложном положении, обусловленном последствиями неудачной борьбы Понтийского царства с Римом. Как известно, понтийские цари — Митридат VI Евпатор и его сын Фарнак II Боспорский — использовали Боспор в качестве одной из важнейших баз для подготовки и ведения войн. После гибели Фарнака Боспор оказался в сфере интересов Римской державы, готовившейся к новому противостоянию — на сей раз с Парфянским царством. Боспор, сильно истощивший свои ресурсы, не мог более принимать участие в противоборстве крупных держав. Экономика Боспора нуждалась в восстановлении, а его население — в отдыхе от больших войн. Пребывание у власти представителей династии понтийских Ахеменидов не могло гарантировать отсутствия новых столкновений с Римом. Назрела необходимость смены не только политического курса, но и правящей династии. Выполнение этих актуальных задач боспорской политики взял на себя Асандр.

Путь Асандра к власти начался во время правления на Боспоре Фарнака (63–47 гг. до н. э.). В 47 г. до н. э. Фарнак вторгся в Малую Азию, занял несколько областей, зависимых от Рима, разбил римского полководца Домиция Кальвина и захватил Понт. Вскоре после этого против Фарнака выступил Цезарь и разбил его в сражении при Зеле (Цезарь. Александрийская война. 34–41; 74–76). Во время этого похода Асандр находился на Боспоре, в качестве наместника Фарнака. И пока последний захватывал земли, некогда составлявшие царство его отца, Асандр объявив себя единоличным правителем Боспора, (Дион Кассий. XLII. 46–47). Разбитый Цезарем Фарнак вынужден был бежать на Боспор; высадившись на Европейском Боспоре, он сумел захватить Феодосию и Пантикапей. Однако Асандр, вместо того, чтобы перейти к оборонительным действиям, атаковал Фарнака. Последний испытывал нехватку солдат, особенно — конников; это обстоятельство решило исход битвы, в которой Фарнак потерпел поражение и погиб (Аппиан. XII. 120). Тем временем Цезарь принял решение об организации похода на Боспор с целью установления власти ставленника Рима[1]. В качестве такового был выбран Митридат Пергамский — выходец из малоазийской знати, претендовавший на родство с Митридатом VI Евпатором. Нового претендента на боспорский престол, возглавившего поход, постигла та же участь, что и Фарнака — войско его было разбито, а сам он погиб (Страбон. XIII. 4. *3*). После поражения и гибели Митридата Пергамского Асандр на долгое время был избавлен от необходимости отстаивать свою власть от чьих-либо посягательств.

[1] Недавно А.Р. Панов, тщательно изучив данные письменных источников, пришел к достаточно обоснованному выводу о том, что решение об отправке на Боспор Митридата Пергамского было принято Цезарем еще до поражения и гибели Фарнака в борьбе с Асандром — в августе 47 г. до н. э. (*Панов А. Р.* Боспорское царство во внешнеполитических планах Рима в 47–46 гг. до н. э. // ВДИ. 2008. № 2. С. 197–201).

В борьбе за власть Асандр, естественно, должен был иметь поддержку могущественных людей Боспора. Он мог найти ее и среди зажиточных граждан боспорских городов, и среди аристократии варварских племен Азиатского Боспора. Достаточно быстрый захват Фарнаком Пантикапея и Феодосии, а также указание на то, что Асандр «изгнал его из Азии» (Аппиан. XII. 120), показывают, что правящие круги городов Европейского Боспора не могли служить надежной опорой Асандру. И в войне с Фарнаком, и в противоборстве с Митридатом Пергамским базой Асандра был Азиатский Боспор. Именно из среды варварских племен Таманского п-ова он набирал свое войско. Одним из наиболее могущественных племен Азиатского Боспора были аспургиане, занимавшие прибрежную полосу между Фанагорией и Горгиппией (Страбон. XI. 2. *11*), а также территорию нынешнего Фанталовского п-ова. Существует несколько точек зрения на то, кем были аспургиане — военными колонистами, дружиной царя Аспурга или варварским племенем[1]. По нашему мнению, аспургиане выделились из среды прикубанских варваров около середины II в. до н. э. В пользу этого предположения говорят, прежде всего, археологические материалы поселений Таманского п-ова, свидетельствующие о близости культуры их обитателей культуре ираноязычных племен Прикубанья[2]. Степные районы Прикубанья с конца IV в. до н. э. населяли племена, вероятно, бывшие потомками так называемых «геродотовских савроматов»[3] (примечательно, что некоторые представители династии, основанной царем Аспургом, носили имя Савромат).

Обращение Асандра за помощью к аспургианам было обусловлено не только стратегически важным положением этого племени, позволявшим оказывать определенное давление на греческие города Азиатского Боспора — Фанагорию, Кепы, Гермонассу, Горгиппию. Не исключено, что сам Асандр был аспургианином. В пользу этого предположения свидетельствуют две надписи: в одной из них боспорский царь Аспург назван «происходящим от царя Асандроха»[4], в другой фигурирует как «сын царя Асандроха»[5] Если верно предположение о том, что имя Асандрох является варваризацией греческого имени Асандр[6], то происхождение Асандра из среды аспургиан более чем

[1] См. об этом: *Блаватский В. Д.* Пантикапей. М., 1964; *Гайдукевич В. Ф.* Боспорское царство. М.-Л., 1949; *Сапрыкин С. Ю.* Аспургиане // СА. 1985. № 2. С.65–78.

[2] *Сокольский Н. И.* Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М., 1976. С. 106–107.

[3] *Виноградов В. Б.* Сарматы Северо-Восточного Кавказа. Грозный, 1963. С. 36–39.

[4] КБН, 40.

[5] *Кузнецов В. Д.* Новые надписи из Фанагории // ВДИ. 2006. № 1. С. 157.

[6] *Сапрыкин С. Ю.* Аспургиане... С. 67.

вероятно. В этом случае опора Асандра на аспургиан являлась не просто логичной, но совершенно закономерной. Возможно, в правление Фарнака Асандр был предводителем аспургиан[1] (может быть — их царем), и возвысился благодаря влиянию своего племени. Вряд ли Фарнаку удалось бы захватить непокорную Фанагорию и подчинить своей власти дандариев (Аппиан. XII. 120; Страбон. XI. 2. *11*) без поддержки племени, контролировавшего территорию Азиатского Боспора.

Появление аспургиан на Тамани следует относить к середине II в. до н. э. Около этого времени отдельные отряды аспургиан совершили ряд набегов на территорию Боспорского государства. В ходе этих набегов ими было разрушено святилище Апатур на Фанталовском п-ове. На месте разрушенного святилища вскоре была воздвигнута мощная крепость. Во второй половине I в. до н. э. она служила резиденцией одному из приближенных Асандра — Хрисалиску[2].

Предки Хрисалиска принадлежали к племенной знати. Об этом говорит сам факт сооружения достаточно мощной крепости, представлявшей собой, судя по размерам и внутреннему устройству, не город, но, скорее, родовой замок. Возведение подобных крепостей не было чем-то необычным для варварских племен, соседивших с Боспором — известна, например, «царская крепость» Арифарна (Диодор Сицилийский. XX. 23). В пользу того, что крепость на Фанталовском п-ове была родовым замком знатного вельможи, говорит расположение помещений, среди которых выделялся двухэтажный дом Хрисалиска, занимавший наиболее выгодное положение в крепости[3]. Обращает на себя внимание факт обнаружения на территории крепости многочисленных предметов культа — статуэток, курильниц, алтариков. Высокая концентрация этих предметов на небольшой площади позволяет предположить, что крепость играла роль религиозного центра. Необходимо отметить, что религиозным центром выступало не святилище или город, но резиденция частного лица. Вероятно, это лицо должно было иметь знатное происхождение и высокий социальный статус. Не исключено, что сам Хрисалиск выполнял жреческие функции. Это подтверждается тем, что большинство статуэток, найденных на территории крепости было обнаружено в доме Хрисалиска[4].

Весьма важную роль для обитателей крепости играл культ Тюхэ. Большинство статуэток Тюхэ найдено в доме Хрисалиска. Кроме того, Тюхэ упомянута в надписи, высеченной над воротами этого дома[5]. Богиня удачи Тюхэ считалась не только покровительницей городов, но также покровительницей

[1] *Сокольский Н. И.* Крепость аспургиан на Боспоре // КСИА. Вып. 143. 1975. С. 28.

[2] *Сокольский Н. И.* Таманский... С. 107.

[3] Там же. С. 90.

[4] *Сокольский Н. И.* Крепость... С. 24; *он же*. Таманский... С. 93–94.

[5] *Сокольский Н. И.* Таманский... С. 40, 104.

отдельных людей, зачастую — царей. Видимо, Хрисалиск считал себя вполне достойным личного покровительства одного из небожителей. Избрание покровителей из среды богов было прерогативой представителей высших слоев древнего общества. Примечателен и факт обнаружения погребения воина в основании вала, окружавшего крепость. Это погребение имело ритуальное значение. Погребенный в полном облачении воин становился «вечным стражем» крепости[1]. Он призван был оберегать не город или деревню, но замок аристократа. Это обстоятельство, а также большая редкость подобных захоронений позволяет говорить об исключительном положении Хрисалиска в племени аспургиан.

Наконец, на территории крепости обнаружены многочисленные остатки столовой и кухонной посуды. Посуда, высокого качества и самого разнообразного назначения, изготовлена, в основном, греческими мастерами. Была обнаружена и продукция греческих городов Малой Азии[2]. Предметы культа, о которых говорилось выше, также были изготовлены греческими мастерами. Видимо, предки Хрисалиска испытали значительное влияние греческой культуры и греческого образа жизни. Об этом свидетельствует греческое имя самого Хрисалиска. Влияние более развитой культуры на менее развитую, как известно, наиболее быстро сказывается на представителях правящей верхушки варварского племени, а не на рядовых его членах. История Северного Причерноморья дает немало примеров этого — представители скифского царского дома Анахарсис и Скил (Геродот. IV. 76; 78–80), обладатели греческих имен синдский царь Гекатей (Полиэн. VIII. 55) и погребенный в Пантикапее тавр Тихон (КБН, 114), и др. Следовательно, предки Хрисалиска и он сам восприняли греческую культуру раньше большинства своих соплеменников, и именно в силу их высокого положения среди аспургиан.

Отмеченные нами особенности позволяют присоединиться к предположению Н. И. Сокольского о том, что даже среди знатных людей своего племени Хрисалиск занимал исключительное положение[3]. Думается, Хрисалиск был главой знатного рода, едва ли уступавшего царскому роду в авторитете среди соплеменников. Разумеется, помощь одного из предводителей аспургиан была необходима Асандру, искавшему сильных союзников для борьбы за боспорский престол. Нельзя также упускать из виду, что расположение крепости Хрисалиска позволяло ее владельцу контролировать стратегически важный район Азиатского Боспора. Последнее обстоятельство делало поддержку Асандра Хрисалиском особенно ценной.

Несомненно, Асандр мог решиться выступить против Фарнака только в том случае, если был твердо уверен в своих силах, а главное — в своих

[1] *Сокольский Н. И.* Таманский... С. 91.

[2] Там же. С. 96–99.

[3] Там же. С. 108.

соратниках. Эти последние, в свою очередь, должны были найти в себе решимость последовать за Асандром, зная, что в случае неудачи они не смогут рассчитывать на снисхождение со стороны Фарнака. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что Асандр выступил против своего повелителя еще до битвы при Зеле (Дион Кассий. XLII. 46–47). К моменту начала этой битвы Фарнак захватил несколько государств, в том числе Малую Армению, Каппадокию, Понт. У него было опытное, закаленное в боях войско; до боя с Цезарем он не знал поражений, одержав верх в 22 сражениях (Цезарь. Александрийская война. 74). Наконец, он имел опыт удачного сражения с римлянами — победу над легионами Домиция Кальвина. Можно предположить, что большую часть своих побед Фарнак одержал в процессе завоевания Азиатского Боспора и покорения соседних племен — маловероятно, чтобы он отправился отвоевывать царство отца со вновь набранным войском. Следовательно, Асандр должен был хорошо знать силу армии Фарнака. Не менее хорошо ее должны были знать и те, кто решился поддержать выступление Асандра. Весьма вероятно, что это выступление поддержали главы всех знатных родов аспургиан, в том числе и Хрисалиск.

Возможно, Хрисалиск оказал важные услуги Асандру в войне с Фарнаком. Примечательно, что временно уступив последнему Европейский Боспор, Асандр сохранил за собой наступательную инициативу. Именно он, собрав сильное войско, вынудил Фарнака принять бой в невыгодных для него условиях (Аппиан. XII. 120). Подобные действия можно было предпринять лишь при наличии прочного тыла, обширных ресурсов и боеспособной армии. Прочность тыла обеспечивалась сплоченностью греческого и местного населения Азиатского Боспора. Что же касается ресурсов и армии, то здесь можно предположить следующее. Для решающей битвы Асандру потребовались дополнительные войска, поскольку имевшихся в наличии не хватило для удержания Европейского Боспора. Не исключено, что в наборе новых отрядов существенную помощь оказал Хрисалиск. Такого рода услуги он мог оказать Асандру и при подготовке к сражению с Митридатом Пергамским. После гибели последнего Асандр правил Боспором, в течение трех лет нося титул «архонта». Только после смерти Цезаря в 44 г. до н. э. Асандру удалось получить титул царя и «друга римского народа» из рук пасынка Цезаря — Октавиана. Об этом говорит указание на то, что Асандра именно «божественный Август сделал из простого князька царем Боспора» (Псевдо-Лукиан. Долговечные. 17), а также факт начала выпуска монет с царским титулом Асандра на четвертом году его правления[1].

Придя к власти, Асандр не забыл услуг Хрисалиска и в награду за оказанную помощь назначил его на одну из важных должностей. Скорее всего, это была должность «начальника острова». Данная должность засвидетельствована эпиграфически для Боспора I — II вв. н. э.[1], однако она могла быть учреждена и ранее. Как представляется, «остров» был одной из территориально-административных единиц Боспорского государства[2]; деление Боспора на указанные единицы окончательно сложилось именно при Асандре. Есть все основания считать, что упомянутым «островом» был современный Фанталовский п-ов, на котором находилась крепость Хрисалиска[3].

[1] *Анохин В. А.* Монетное дело... С. 77.

Назначение Хрисалиска «начальником острова» произошло, видимо, в самом начале правления Асандра. Такой вывод позволяет сделать надпись над изображением богини — покровительницы крепости. Надпись гласит: Χρυσαλίσκου Τύχη βα[σι]λεύς Ἀσόανδρος φιλ[ορώμαιος] («Хрисалиска Тюхэ. Царь Асандр друг римлян»). Возможно, резчик выполнивший надпись не был греком. Об этом говорят ошибки в титуле царя и в имени Асандра, а также то обстоятельство, что резчик не сумел высечь целиком слово φιλορώμαιος[4], являющееся греческим переводом формулы amicus populi Romani («друг римского народа»). Учитывая высокое положение Хрисалиска и его пристрастие к греческому образу жизни, трудно представить, что он за время своего пребывания при царском дворе не сумел обзавестись грамотным резчиком. Скорее всего, надпись была сделана в самом начале службы Хрисалиска. Поводом к ее созданию могло быть получение Асандром упомянутых титулов либо назначение Хрисалиска «начальником острова». В любом случае, смысл надписи можно толковать следующим образом: судьба Хрисалиска связана с царем Асандром, в служении своему повелителю — счастье Хрисалиска.

Какие же шаги предпринял Хрисалиск, став «начальником острова»? Ответ на это позволяют дать сведения о деятельности его повелителя. Одним из главных направлений своей деятельности Асандр избрал строительство фортификационных сооружений на территории Боспора. Известно, например, что на Европейском Боспоре Асандр укрепил Узунларский и Тиритакский валы, а также вал на Ак-Монайском перешейке[5], что отразилось в сообщении о постройке им стены (Страбон. VII. 4. *6*). В правление Асандра были построены многочисленные укрепленные поселения поблизости от Фанагории и Горгиппии — двух важнейших городов Азиатского Боспора. Очевидно, перипетии борьбы с Фарнаком и Митридатом Пергамским побудили Асандра уделить первостепенное значение укреплению этой территории. На одном только «острове» было возведено 12 крепостей[6]. Подобной концентрации оборонительных сооружений не зафиксировано ни для одного района

[1] КБН, 40; 697; 982; 1000.

[2] *Шепко Л. Г.* О территориально-административной структуре Боспорского государства в первые века нашей эры // Из истории древнего мира и средневековья. М., 1988. С. 53.

[3] *Сокольский Н. И.* Таманский... С. 112.

[4] Там же. С. 40, 106.

[5] *Масленников А. А.* Еще раз... С. 17.

[6] *Сокольский Н. И.* Таманский... С. 107.

Боспорской державы. Видимо, свою роль сыграла, помимо стремления реализовать стратегические замыслы Асандра, личная инициатива Хрисалиска. Подтверждением этому может служить следующее обстоятельство. Каждое из возведенных укреплений располагалось в непосредственной близости от неукрепленного поселения. Основным видом деятельности жителей этих поселений было сельское хозяйство[1]. Очевидно, «начальник острова» Хрисалиск стремился обеспечить безопасность населения управляемого им района. Возведение крепостей рядом с поселениями значительно повышало защищенность последних. В случае вторжения неприятеля их жителям уже не нужно было сбегаться под защиту одной — двух крепостей, удаленных от большинства поселений и занятых немногочисленными гарнизонами. Теперь поселенцы могли укрыться в своих укреплениях и отразить врага собственными силами или, по крайней мере, продержаться до прибытия подкреплений из соседних крепостей либо лежащих неподалеку городов Азиатского Боспора. Все это позволяет говорить о том, что Хрисалиск проявил не только хорошие организаторские способности, но также внимание к своим соплеменникам и заботу об их безопасности. В сочетании отмеченных качеств он был достоин Асандра, стремившегося повысить обороноспособность своего государства.

Возможно, на посту «начальника острова» Хрисалиск пробыл до конца правления Асандра. Впрочем, нельзя исключать, что он занимал еще какую-нибудь должность, например, военную. Практика совмещения должностей на Боспоре в правление ближайших преемников Асандра засвидетельствована эпиграфически[2]. Во всяком случае, качества, проявленные Хрисалиском во время борьбы Асандра за власть и в годы управления «островом», вполне позволили бы ему занимать не одну должность.

Последние годы правления Асандра были ознаменованы новым противоборством за боспорский престол. Римляне, не беспокоившие Асандра со времени неудачной экспедиции Митридата Пергамского, проявили интерес к боспорским делам. Август и Агриппа, озабоченные созданием системы «буферных» государств, направленной на сдерживание агрессии Парфии, стремились подчинить Боспор римскому влиянию[3]. Для этого они привлекли на свою сторону супругу Асандра — дочь Фарнака Динамию. Ее усилий, впрочем, оказалось недостаточно для свержения Асандра. Тогда на Боспоре появился Скрибоний, объявивший себя внуком Митридата VI Евпатора (Дион Кассий. LIV. 24. *4*), а в действительности являвшийся, скорее всего, выходцем из малоазийской знати, клиентом Луция Скрибония Либона — одного из сподвижников Августа[4]. Что именно предприняли Скрибоний и Динамия

[1] *Сапрыкин С. Ю.* Аспургиане... С. 71.
[2] КБН, 36.
[3] *Сапрыкин С. Ю.* Понтийское царство... С. 313.
[4] *Парфенов В. Н.* Император Цезарь Август: Армия. Война. Политика. СПб., 2001. С. 110.

на первых порах, нам неизвестно, однако их действия завершились переходом права чеканки монет к Динамии в 20 г. до н. э. О враждебном, по отношению к Асандру, характере этого выпуска монет говорит то, что они выпускались по вифино-понтийской эре, которой следовали предки Динамии, тогда как Асандр датировал монету по годам своего правления [1]. Однако Асандр не сложил оружия и дал бой своим противникам, причем сражался и сам, несмотря на 90-летний возраст (Псевдо-Лукиан. Долговечные. 17). В этой битве престарелый царь одержал победу; не исключено, что рядом с Асандром сражался его верный соратник Хрисалиск. В результате победы Асандр вернул себе право выпуска монет, и чеканил их еще три года[2].

Но враги Асандра не прекратили борьбу. Скрибонию, видимо, были выделены значительные денежные средства из римской казны. С помощью этих средств Скрибоний сумел набрать новое войско. Кроме того, ему, по всей вероятности, удалось подкупить кого-то из приближенных Асандра[3]. В решающей битве часть воинов Асандра перешла на сторону Скрибония; это настолько потрясло Асандра, что он отказался принимать пищу и уморил себя голодом (Псевдо-Лукиан. Долговечные. 17). Кто же оказался в рядах изменников? Вряд ли на Асандра произвела такое впечатление измена, скажем, контингентов греческих городов Боспора. Скорее, изменниками оказались военачальники аспургиан, долгое время служившие Асандру. Мог ли среди них оказаться Хрисалиск? С абсолютной уверенностью ответить, положительно либо отрицательно, на этот вопрос нельзя. Однако в нашем распоряжении имеются некоторые косвенные данные. Во-первых, Хрисалиск принял сторону Асандра в его борьбе с Фарнаком и ставленником Цезаря Митридатом Пергамским. Странно было бы оставить удачливого царя во время войны со Скрибонием, которого, если наша догадка верна, аспургиане уже побеждали. Во-вторых, после смерти Асандра Скрибоний был убит «боспорцами». Прибывший вскоре после этого на Боспор Полемон также был вынужден сразиться с «боспорцами», которых он не сумел подчинить даже несмотря на победу над ними (Дион Кассий. LIV. 24. *4–6*). Может, этих «боспорцев» в обоих случаях возглавляла Динамия? Против этого говорят и ее проримская позиция, и ее враждебное отношение к Асандру, и ее брак со Скрибонием, а затем — с Полемоном. Мы полагаем, что «боспорцев», сражавшихся с двумя римскими ставленниками, возглавлял Хрисалиск. Наиболее ярким подтверждением этому служит не столько его деятельность при Асандре, сколько его судьба после гибели последнего. Крепость Хрисалиска была взята штурмом и сожжена Полемоном[4]. Вряд ли Хрисалиск был настолько недальновиден и непоследователен, что сначала перешел на сторону

[1] *Сапрыкин С. Ю.* Уникальный статер... С. 204, 207.
[2] Там же. С. 211.
[3] *Парфенов В. Н.* Император... С. 110.
[4] *Сокольский Н. И.* Крепость... С. 29.

Скрибония, затем воевал с ним, а потом выступил против Полемона. Для человека, связавшего свою судьбу с Асандром и служившего ему всю жизнь, более естественным было бы продолжение борьбы с врагами Асандра.

Кто же возглавил воинов, перешедших на сторону Скрибония? Возможно, этим человеком оказался военачальник аспургиан Матиан. Сохранилось его надгробие, поставленное от имени царицы Динамии. Отмеченный исследователями факт уникальности установления надгробия от имени царственного лица позволяет предположить совершение Матианом поистине выдающегося поступка[1]. По нашему мнению, этим поступком была измена Асандру, приведшая к гибели последнего. В надгробной надписи Динамия названа просто «царицей», без титула φιλορώμαιος, присутствующего в тексте большинства надписей, содержащих ее имя[2]. Следовательно, надгробие было поставлено до утверждения Августом царского титула Динамии, т. е. в 17 г. до н. э. Но это говорит о гибели Матиана вскоре после решающей битвы Асандра со Скрибонием. Нам представляется, что события развивались следующим образом. Оставшиеся верными Асандру воины не были разбиты Скрибонием; об этом нет никаких свидетельств. Более того, Асандр умер после битвы и совсем не от ранений. Значит, какая-то часть его войска уцелела и смогла отступить с поля боя не бегством, но сохранив порядок. После смерти Асандра войско его возглавил Хрисалиск. Он нанес поражение Скрибонию, причем в битве пали и сам римский ставленник, и изменник Матиан. Однако Хрисалиску удалось удержать за собой лишь Азиатский Боспор, причем не исключен переход городов Азиатского Боспора на сторону Динамии[3]. Около 14 г. до н. э. на Боспор прибыл Полемон. Войско Хрисалиска выступило ему навстречу и было разбито, а сам Хрисалиск, скорее всего, пал в бою. Подтверждением последней догадки может служить факт внезапности гибели замка Хрисалиска, обитатели которого были застигнуты врасплох нападением врагов[4]. Очевидно, если бы Хрисалиск остался жив после битвы, то он, наверняка, отступил бы в свой замок. Известить жителей крепости об исходе битвы с Полемоном мог бы и кто-либо из свиты Хрисалиска. Впрочем, скорее всего, Хрисалиск выступил против Полемона не с большим войском, но с немногочисленным отрядом (например, личной дружиной). Этот отряд, во главе с Хрисалиском, был полностью уничтожен противником, который затем нанес удар по крепости аспургиан на Фанталовском п-ове.

Нам хотелось бы обратить внимание на одну любопытную деталь. Как известно, Полемон не ограничился сожжением резиденции Хрисалиска. Его действия привели к гибели еще одной крепости на «острове», а также трех

[1] *Яйленко В. П.* Материалы... С. 5; *он же*. Женщины, Афродита... С. 224.
[2] КБН, 31; 38; 978; 979; 1046.
[3] Об этом может свидетельствовать надпись КБН, 979.
[4] *Сокольский Н. И.* Таманский... С. 91.

укрепленных поселений близ Горгиппии[1]; кроме того, им была предпринята военная экспедиция против Танаиса (Страбон. XI. 2. *3*). Результатом этой акции стало срытие стен и разрушение целого района Танаиса[2]. Интерес представляет следующий момент. В крепости Хрисалиска было обнаружено рельефное изображение покровительницы Хрисалиска — Тюхэ. Рядом с богиней был изображен тамгообразный знак[3]. Этот знак имеет крайне мало аналогий, и две наиболее близких обнаружены в Танаисе[4]. Знак мог принадлежать либо боспорскому царю, либо его чиновнику[5]. Так как Танаис был взят Полемоном «за неповиновение» (Страбон, XI. 2. *3*), то резонно предположить сопротивление ему со стороны кого-либо из чиновников Асандра. Видимо, Танаис подчинялся Асандру (а, может быть, еще Фарнаку) (Страбон. XI. 2. *11*), и оказал неповиновение не центральной боспорской власти как таковой, а конкретно Полемону. Упомянутые знаки из Танаиса — родовые эмблемы, как и тамга Хрисалиска. Несомненная близость этих знаков и высокий статус их обладателей могут говорить о том, что некий родственник Хрисалиска занимал высокую должность в Танаисе. Для I — II вв. н. э. засвидетельствованы должности «пресбевта», «эллинарха», «архонта танаитов»[6], причем пресбевт, судя по всему, был главным лицом в городе, подчинявшимся непосредственно царю[7]. Следовательно, Асандр мог назначить пресбевтом Танаиса человека, имевшего родство с Хрисалиском — крупным чиновником Боспорского царства и приближенным Асандра. Лучшей рекомендацией новому пресбевту могла служить верность Хрисалиска своему повелителю. После прибытия на Боспор Полемона жители Танаиса, возглавленные своим руководителем, отказались подчиниться римскому ставленнику. В итоге Танаис до известной степени разделил судьбу замка Хрисалиска, хотя последствия в целом для города были менее губительны, нежели для крепости аспургиан.

Сопротивление аспургиан на этом не прекратилось, и в конце концов они смогли погубить Полемона при помощи военной хитрости (Страбон. XI. 2. *11*). А через 20 с небольшим лет на боспорский престол взошел Аспург — потомок Асандра и соплеменник Хрисалиска.

Судьба Хрисалиска была неразрывно связана с судьбой Асандра. Последний, несомненно, являлся важнейшей фигурой боспорской истории второй половины I в. до н. э. Именно его политическая воля позволила принять

[1] *Сокольский Н. И.* Крепость... С. 29; *Алексеева Е. М.* Античный город Горгиппия. М., 1997. С. 52–53.
[2] *Шелов Д. Б.* Танаис и Нижний Дон в III — I вв. до н. э. М., 1970. С. 227–229.
[3] *Сокольский Н. И.* Таманский... С. 40–42.
[4] *Драчук В. С.* Системы знаков Северного Причерноморья. Киев, 1975. С. 134, табл. XI, 874; С. 142, табл. XIV, рис. 12, *4*.
[5] Там же. С. 70.
[6] КБН, 1237; 1239; 1241–1245.
[7] *Шепко Л. Г.* О территориально-административной... С. 57.

меры, необходимые для восстановления экономики Боспора и усиления его военной мощи. Успех этих мер в значительной степени был обусловлен выдающимися личными качествами Асандра. Он разрабатывал планы возведения фортификационных сооружений, принимал самое непосредственное участие в создании военно-административной системы территориального устройства Боспорского государства, сам водил в бой войска. Под стать Асандру был и его соратник Хрисалиск. Будучи главой знатного рода аспургианского племени, он сумел занять высокое положение в Боспорском государстве. Хрисалиск управлял одним из округов Боспорской державы, и лично руководил организацией строительства крепостей на его территории. Замок Хрисалиска был не только военным и политическим, но и религиозным центром этого округа; следовательно, Хрисалиск мог выполнять жреческие функции. Наконец, он мог поставлять войска Асандру, а также вести их в бой, причем не без успеха. Иными словами, всякое дело, во главе которого Хрисалиск становился, по поручению ли царя или по собственной инициативе, он организовывал лично. Эта черта являлась, безусловно, общей для него и для Асандра. Вообще тип руководителя, каковой представляли собой Асандр и Хрисалиск, был традиционным для Боспора и в эпоху Спартокидов, и при понтийских Ахеменидах. Асандр и Хрисалиск сумели продолжить традиции боспорской политики в изменившихся условиях I в. до н. э. Деятельность Асандра во многом предопределила политику новой, савроматской (аспургианской), династии боспорских правителей, сменивших династию понтийских Ахеменидов. И, бесспорно, Хрисалиск оказался одним из тех людей в окружении Асандра, без помощи которых было бы невозможно осуществление политической воли последнего.

А. В. КОРЕНЕВСКИЙ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

«ФИЛИП ПОПОВИЧ, КУПЧИНА ПСКОВИТИН»: ОСКОЛКИ БИОГРАФИИ

«Мир — театр, люди — актеры», — привычно и часто повторяем мы шекспировскую сентенцию, не отдавая отчета в том, что это суждение, как и всякое сравнение, «хромает». При всем сходстве театрального действа с той пьесой, что придумана Всевышним Драматургом, нельзя игнорировать по крайней мере одно принципиальное расхождение: в отличие от театральных подмостков, где первый и второй планы четко обозначены и разграничены, где трудно спутать тех героев, *о ком* повествует пьеса, с персонажами, составляющими сюжетный фон, в истории ни одна фигура первого плана (за исключением, быть может, венценосных особ) не является таковою изначально. Даже если человек рождается, как говорят англичане, «с серебряной ложкой во рту», ему далеко не сразу удается пробиться на авансцену истории. Уже это придает особую интригу сюжетам о превращении «вторых» в «первых»: коль скоро история — magistra vitae, то что́ может быть поучительнее рассказа о восхождении великих к жизненным вершинам? И подтверждение тому — неослабевающая популярность сочинений, повествующих об этом — от «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха до «Стратегий гениев» гуру нейро-лингвистического программирования Роберта Дилтса. Но порой случается так, что в промежутке между «кем был» и «кем стал» происходит столь серьезный жизненный излом, что в источниках эти два состояния отражаются, как известия *о разных людях*. Даже в Новое время такое превращение из Эдмона Дантеса в графа Монте-Кристо происходит не так уж редко, а в средневековье это случалось сплошь и рядом, и отнюдь не по криминально-романтическим причинам, а потому, что человек покидал мир и принимал иноческий образ. С богословской точки зрения, это событие есть завершение одной жизни и начало новой, и наречение монашеским именем знаменует полное отрешение от прежнего существования, забвение своего мирского «Я». И общество — по нравственным понятиям того времени — не должно было мешать иноку в этом нелегком труде во спасение души. Разве что, завершив свой жизненный путь, подвижник удостоится канонизации, и тогда агиографы постараются собрать сведения, необходимые для составления жития святого. Либо человек и до пострига, и после него был столь знаменит и влиятелен (пример — Вассиан Патрикеев или патриарх Филарет), что ни он сам, ни окружавшие, даже если бы очень захотели забыть о его прежней жизни, не смогли бы этого сделать.

Иное дело, когда самореализация личности, ее превращение в фигуру первого плана происходит уже после принятия монашеских обетов, но масштаб деяний этого человека еще не стал очевиден для современников в той мере,

чтобы подвижник уже вскоре после кончины удостоился канонизации. В таком случае восстановить воедино мирскую и монашескую страницы жизни оказывается не так-то просто. Порой это удается (как смог И. Денисов доказать тождественность Максима Грека и «человека второго плана» эпохи Возрождения Михаила Триволиса), чаще — нет.

Сюжет, предлагаемый вниманию читателей, отражает описанную выше ситуацию. В псковских источниках рубежа XV — XVI вв. имеются фрагментарные сведения о человеке, сыгравшем не последнюю роль в наиболее значимых событиях того времени и неожиданно, на самом пике жизненной активности, покинувшем историческую сцену. Но вскоре после того, как из источников исчезают упоминания об этой «фигуре второго плана», начинается творческая биография книжника, которому суждено было сыграть ключевую роль в развитии русской средневековой политической мысли.

Одним из переломных моментов в истории средневекового Пскова является ликвидация его независимости и присоединение к Московскому государству в 1510 г. Этому драматическому событию посвящена «Повесть о псковском взятии», написанная «по горячим следам» и отличающаяся как эмоциональным накалом повествования, так и детальной его точностью. Именно это — хорошая информированность и острое чувство сопричастности судьбе родного города — дает право исследователям видеть в авторе непосредственного участника описанных им событий[1]. При этом в самой повести присутствует персонаж, который, судя по изложенным в ней обстоятельствам, оказался в эпицентре конфликта и как никто другой был посвящен во все его детали.

Прологом к драматическим событиям 1510 г. стала ссора псковичей с московским наместником князем Иваном Репней. Возмущенные чинимым им произволом, отцы города вознамерились искать правды у великого князя, находившегося в то время в Новгороде. Однако Василий III не только не принял сторону челобитчиков, но приказал заключить депутацию под стражу и принял решение лично учинить суд и расправу над своевольными псковичами. «Полоняную весть» о судьбе нарочитых мужей и скором приходе великого князя в Псков жители города узнали от «Филипа Поповича от купчины от псковитина»[2], находившегося в то время в Новгороде и поспешившего возвратиться домой, дабы предупредить земляков о нависшей угрозе. Таким образом, именно Филипп был единственным, кто обладал всей полнотой информации и о том, что произошло в Новгороде, и о последовавших за этим событиях в Пскове. К тому же, обстоятельства, при которых он стал «гонцом черной вести», говорят, что Филипп был хоть и «купчиной», но отнюдь не средней руки: он явно вхож в высшие сферы Пскова и Новгорода,

[1] *Охотникова В. И.* Повесть о псковском взятии // СККДР. Л. 1989. Вып. 2 Ч. 2. С. 272.

[2] Псковские летописи. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. 95.

что и позволило ему получить всю информацию из первых рук. Иными словами, Филиппа можно считать представителем псковского патрициата, что согласуется с социальной позицией автора «Повести о псковском взятии», возлагающего всю вину за случившееся на городские низы, их «самоволие и непокорение», «лихия дела и у вечь кричание»[1]. Наконец, прозвище Филиппа, указывающее на его происхождение — Попович — может служить объяснением того, что повесть написана не просто очевидцем, но и человеком, достаточно хорошо знакомым с церковной книжностью. Об этом говорит не только вкрапление в текст библейских аллюзий и стилистически отточенный экспрессивный язык произведения, но и наличие в нем явных архаизмов, которые вряд ли могли быть свойственны заурядному «купчине». Так, например, автор последовательно использует в тексте аорист и имперфект — формы прошедшего времени, к XVI в. уже вышедшие из употребления в разговорной речи и в языке летописей, но еще остававшиеся вполне типичными для церковной литературы.

Дополнительные аргументы в пользу предлагаемой атрибуции дает источник, на первый взгляд, не имеющий ничего общего с повестью кроме имени его автора. Речь идет об адресованной архиепископу Новгородскому Геннадию грамоте, в которой сообщается о состоявшемся в Пскове диспуте между местным духовенством и католическими монахами «из немец»[2]. Этот отчет, датированный 1491 г., подписан неким Филиппом Петровым, что уже само по себе немаловажно, поскольку данное имя никак нельзя отнести к числу распространенных в средневековой Руси (для примера: из 84 посадников, упоминаемых в псковских летописях, названы так лишь двое[3]). Впрочем, и само событие, которому посвящена грамота, не столь уж малозначимо, как может показаться на первый взгляд. Описанное в ней «прение» — это, по сути, переломный момент в развитии русской средневековой богословско-полемической традиции. Дело в том, что древнерусские антилатинские, антииудейские, антиеретические сочинения в действительности представляют собой *квазиполемику*, т. к. обращены они не к «чужим», а к «своим». Здесь же мы встречаемся с фактом открытой дискуссии с идейным противником, причем не «виртуальным» — неким обобщенным образом «латинянина», «иудея» и т. д., а вполне конкретными оппонентами. При этом основные аргументы русских полемистов, изложенные в грамоте Филиппа Петрова, будут в дальнейшем неоднократно встречаться в антилатинских произведениях XVI в.

Попытаемся прояснить ряд обстоятельств, которые не нашли непосредственного отражения в тексте грамоты. Легче всего ответить на вопрос, где состоялся диспут. Разумеется, в главном соборе города — Троицком,

[1] Псковские летописи. Вып. 1. С. 96.

[2] АИ. СПб., 1841. Т.1. С. 522–523; Древняя российская вивлиофика. М., 1788–1791. Ч. 14. С. 216–218.

[3] Евгений, митр. (Болховитинов). История княжества Псковского. Киев, 1831. Ч. II. С. 38–45.

т. к. клир именно этого храма состоял из наиболее уважаемых и опытных священников, которым можно было доверить столь ответственное дело — отстаивать истинную веру в прении с латинянами. Труднее ответить, кем был автор этого донесения. По какому-то недоразумению в статье М. А. Салминой, опубликованной в «Словаре книжников и книжности Древней Руси»[1], Филипп Петров назван диаконом, хотя в источнике сан автора грамоты не указан. Если бы он действительно был диаконом или священником, то естественно, что столь престижный статус был бы непременно указан. Следовательно, Филипп Петров принадлежал к младшему причту Троицкого собора. Но почему такое важное дело, как написание донесения владыке о диспуте с латинянами было доверено столь малозначительной фигуре? Это противоречие может быть снято достаточно просто, если вспомнить, что в Пскове в XV — XVI вв. сохранялась древнерусская корпоративная организация городского белого духовенства («клирошане»), группировавшаяся вокруг кафедрального храма[2]. Поскольку клирошане являлись наследственными владельцами недвижимости, принадлежавшей собору, в состав корпорации фактически входили не только сами клирики, но и члены их семей. Соответственно, положение каждого отдельного клирошанина внутри корпорации определялось не только саном, но и родственными узами. Наличие такой организации в определенной степени компенсировало фактическое отсутствие в средневековой Руси как светских, так и духовных школ и обеспечивало воспроизводство клира: дети диаконов и священников получали образование в семье, в подростковом возрасте становились певчими и служками, повзрослев — причетниками (чтецами, псаломщиками, пономарями), и только потом — либо принимали сан (при наличии вакансий), либо уходили в монастырь, либо избирали мирское поприще и таким образом теряли связь с клиросом.

Итак, причетник мог присутствовать на диспуте, и ему могли даже поручить составление отчета архиерею, если он был сыном одного из священников кафедрального собора. В этом случае и образовательный уровень, и положение внутри корпорации клирошан вполне соответствовали мере ответственности данного поручения.

Все это в полной мере согласуется тем, что нам известно о Филиппе Поповиче. К тому же, обратим внимание, что между двумя источниками временной разрыв в 19 лет — срок, вполне достаточный для превращения юного клирошанина в преуспевающего купчину, обратившего на пользу собственной негоции узы, связывающие клир кафедрального собора как с местной элитой, так и с Новгородом.

Можно ли проследить дальнейшую судьбу Филиппа по «Повести о Псковском взятии»?

[1] *Салмина М. А.* СККДР. Л. 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 470.

[2] Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 50–52.

Кульминацией повести является рассказ об аресте и депортации лучших людей Пскова вместе с их семьями. Искренне сопереживая изгнанникам, автор сообщает, что многих устрашила их участь. И потому те, кто имел основания опасаться монаршего гнева, предпочли изгнанию постриг: «мнози постригахуся в черньцы, а жены у черницы и в монастыри поидоша, не хотяще в полон поити от своего града во иные грады»[1]. Филипп Попович, известивший земляков о намерениях великого князя, более других должен был осознавать нависшую над ним опасность, поэтому имеются веские основания для отнесения цитированных слов к рассматриваемой персоне.

В пользу того, что в 1510 г. Филипп Попович был вынужден уйти в монастырь, может свидетельствовать еще один источник псковского происхождения — «Житие св. Никандра», повествующее о псковском подвижнике, жившем в 1507–1582 гг. Памятник этот давно привлекал внимание историков тем, что, формально относясь к агиографическому жанру, несет в себе черты, несвойственные житийной литературе.

Как писал В. О. Ключевский, «историческая биография воспроизводит прежде всего частные индивидуальные черты известного лица. Житие же, напротив, берет из индивидуальной жизни только то, что подходит под общий тип, т. е. в чем непосредственно отразился общий христианский идеал. Житие относится к исторической биографии так, как иконописное изображение к портрету»[2]. Но, как отмечал уже первый публикатор «Жития Никандра Псковского» Н. И. Серебрянский, это произведение значительно ближе к биографическому, чем к агиографическому жанру и отражает ряд моментов, позволяющих относиться к содержащимся в житии сведениям с высокой степенью доверия. Простой, почти разговорный язык самой ранней редакции памятника, почти полное отсутствие литературных клише, свойственных агиографическому жанру, а также «фактичность и подробность» в изложении биографических сведений позволили исследователю сделать вывод, что «автор имел под руками очень хороший источник, какими не могли быть воспоминания и рассказы современников»[3]. То, что это был именно письменный источник, и что автор ему достаточно скрупулезно следовал, избегая домыслов, наглядно видно на следующем примере: рассказывая о диаконе, у которого Никандр (в миру — Никон) учился грамоте, агиограф замечает, что «диакона же сего имене писание не поведа»[4]. Таким образом, биографическая информация, содержащаяся в «Житии Никандра Псковского» в целом заслуживает доверия.

Более всего обращают на себя внимание сведения жития о происхождении Никона: «Сей убо преподобный отец рождение и воспитание имеяше

[1] Псковские летописи. Вып. 1. С. 96.

[2] *Ключевский В. О.* Сочинения. М., 1959. Т. VI. С. 73.

[3] *Серебрянский Н.* О редакциях жития преподобного Никандра Псковского. СПб., 1904 (ПДПИ. Вып. 157). С. 17.

[4] Там же. С. 18.

от славнаго града Пскова, от Порховския страны, отца же имеяше именем Филиппа»[1]. Вряд ли эти совпадения случайны, если учесть, что все население Пскова в начале XVI в. немногим превышало 30 тыс. человек[2], а имя «Филипп» не было очень уж распространенным. Таким образом, «Житие св. Никандра» дает нам информацию о некоем Филиппе, постригшемся примерно в то же самое время, когда «нарочитые» псковичи (и среди них — Филипп Попович) искали за монастырскими стенами спасения от изгнания.

Кроме имени отца псковского подвижника «Житие Никандра» содержит еще ряд любопытных совпадений с данными других источников. Вернемся к событийной канве «Повести о псковском взятии». Напомним, что после взятия Пскова «мнози постригахоуся в черньцы, а жены оу черницы и в монастыри поидоша, не хотяще в полон поити от своего града во иные грады»[3]. Одновременный постриг мужа и жены — поступок, отвечающий средневековым этическим представлениям и подтверждаемый многими конкретными примерами из древнерусской истории. Но такое решение могли принять либо бездетные супруги, либо уже вырастившие своих чад, либо потерявшие их (подобно Никите Минову, будущему патриарху Никону). А как должны были поступить родители малолетних детей, если обстоятельства (в данном случае — угроза депортации) не позволяют обоим отложить постриг до их взросления? Очевидно, мать должна была остаться в миру до тех пор, пока дети нуждаются в ней, а далее — как того и требовал нравственный идеал — последовать за мужем. При этом нетрудно догадаться, что это может оказать решающее влияние и на жизненный выбор детей. Но именно такие биографические обстоятельства описаны в «Житии Никандра Псковского»! В нем сказано, что мать будущего подвижника ушла в монастырь, когда Никону исполнилось 17 лет (по мерке XVI века — взрослость), а еще раньше постриг принял его старший брат. При этом напомним, что родился Никон в 1507 г., т. е. в 1510 г. ему было три года.

А теперь вновь вернемся к событиям 1510 г., попутно сделав одну немаловажную ремарку. Хотя с богословской точки зрения инок есть «непогребенный мертвец», и ничто не должно напоминать ему о прежней мирской жизни, еще с XV в. на Руси прочно укоренилась традиция, в известной мере противоречившая данной установке. Было принято выбирать монашеское имя не только по тезоименитству одного из святых, чья память приходится на день пострига, но и на ту же букву, что и прежнее светское имя принимающего иноческий образ. Примечательно, что уже Епифаний Премудрый в «Житии Сергия Радонежского» (написано примерно в 1417–1418 гг.[4]), говорит о прежнем обыкновении нарекать инока *только* по Святцам, не

[1] *Серебрянский Н.* О редакциях... С. 47.

[2] *Кулаков И. С., Манаков А. Г.* Историческая география Псковщины. М., 1994. С. 170–171.

[3] Псковские летописи. Вып. 1. С. 96.

[4] *Дробленкова Н. Ф.* Житие Сергия Радонежского // СККДР. Л., 1998. Вып. 2. Ч. 1. С. 330.

сообразуясь с мирским именем, как о чем-то давнем и странном: «тако бо тогда нарицаху *сплоха* (!) имена, не съ имени; но вън же день, аще котораго святого память прилучашеся, в то имя прорицаху постригающемуся имя»[1]. А к XVI в. данная традиция настолько укоренилась, что иноческое имя выбирали не только по первой букве мирского, но зачастую даже созвучное ему (примеров — несть числа: Ермолай-Еразм, Василий-Вассиан, Никита-Никон, Никон-Никандр и т. д.). Таким образом, зная дату пострига, нетрудно с помощью Месяцеслова определить наиболее вероятное монашеское имя нашего героя.

Как сообщает «Повесть о псковском взятии», великий князь прибыл в Псков 24 января 1510 г., в четверг и велел посадникам и всем лучшим людям явиться к нему в «неделю», т. е. в воскресенье[2]. Таким образом, арест знатных горожан произошел 27 января, после чего еще остававшиеся на свободе «нарочитые» стали подумывать об уходе в монастырь, дабы избежать той же участи. И если все это произошло в ближайшие дни (а сложившиеся обстоятельства, право, не располагали к длительному раздумью), то какое же иноческое имя должен был избрать Филипп Попович? На конец января в Месяцеслове приходится память только одного святого, чье имя начинается на «ферт». Это — мученик Филофей Самосатский (29 января)[3]. Но если так, то не в праве ли мы предположить, что искомая персона — не кто иной, как автор теории «Москва — Третий Рим» старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей, чья литературная деятельность приходится на ближайшие к «Псковскому взятию» десятилетия? Для такого вывода имеется немало весьма веских оснований.

Во-первых, «Повесть о псковском взятии» дошла до нас в составе Летописного свода 1547 г., составителем которого бóльшая часть историков считает инока Филофея[4]. Во-вторых, обвинения в адрес латинян, имеющиеся в произведениях Филофея, почти полностью совпадают с инвективами, содержащимися в донесении Филиппа Петрова (Флорентийская уния, опресноки, ересь Македония), но ни тот, ни другой автор ни словом не упоминают учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (filioque) — главное догматическое расхождение между православием и католицизмом.

В-третьих, в пользу отождествления Филиппа Петрова и Филофея говорит и то, что время жизни нашего героя и автора теории «Третьего Рима» примерно совпадает. Этот вывод позволяет сделать анализ адресованного

[1] ПЛДР. XIV — середина XV века. М., 1981. С. 300.

[2] *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1895. Т. 2. Стб. 380.

[3] Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1995. Т. 3. С. 694.

[4] *Шахматов А. А.* К вопросу о происхождении хронографа // СОРЯС. СПб., 1899. Т. 66. № 8. С. 108–113; *Насонов А. Н.* Из истории псковского летописания // ИЗ. М., 1946. Т. 18. С. 269; *Охотникова В. И.* Летописи Псковские // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 28.

Филофею послания Федора Карпова. В нем автор, используя пышные и цветистые этикетные формулы, благодарит псковского старца за полученные от него послания и при этим в превосходных степенях оценивает его мудрость, ученость и красоту слога[1]. Применение этих изощренных форм выражения почтения со всей очевидностью указывает, что Федор Карпов, будучи сам влиятельным дипломатом и уважаемым книжником, обращался к человеку, *по меньшей мере* равному ему по возрасту и авторитету. А поскольку известно, что время активной политической и литературной деятельности Федора Карпова выпадает на 1495–1539 гг.[2], можно сделать вывод, что время жизни Филофея, Филиппа Поповича и автора донесения архиепископу Геннадию совпадает.

С этим согласуется и то обстоятельство, что к моменту, когда мы застаем начало литературной и общественной деятельности автора теории «Третьего Рима» (1521), Филофей уже имел репутацию опытного книжника и авторитетного духовного наставника. Об этом говорит тон его посланий, адресованных главе великокняжеской администрации в Пскове дьяку М.Г. Мисюрю Мунехину: Филофей позволяет себе весьма нелицеприятную критику действий Мисюря, а тот не только принимает это, как должное, но в дальнейшем и сам неоднократно обращается к старцу за консультациями по богословским вопросам. В то же время, мы не можем проследить по источникам, как формировалась и укреплялась репутация старца Елеазаровой обители. Следовательно, это произошло еще до пострига, и, обретя известное нам монашеское имя, он *уже* был достаточно заметной фигурой на общественном поприще (тут напрашиваются аналогии с Вассианом Патрикеевым или Ермолаем-Еразмом), но в данном случае источники молчат о прежней, мирской жизни Филофея. Резонно предположить, что для этого были свои основания. И таким обстоятельством, огласка которого была весьма нежелательна, вполне могли стать мотивы ухода в монастырь, описанные в «Повести о псковском взятии».

Укажем и еще на один немаловажный момент сходства в биографических характеристиках рассматриваемых персон: Филиппу Петрову доверяют письменные сношения с новгородским владыкой, Филиппа Поповича связывают с Новгородом торговые интересы, и о тесных контактах Филофея с новгородской элитой также имеются достаточно надежные свидетельства. Во-первых, в своих сочинениях псковский старец цитирует III Книгу Ездры, которая на рубеже XV — XVI вв. была переведена с латыни при дворе архиепископа Геннадия. Во-вторых, адресатом многих посланий Филофея был М.Г. Мисюрь Мунехин, который, в свою очередь, активно

[1] *Зимин А.А.* Общественно-политические взгляды Федора Карпова // ТОДРЛ. 1956. Т. XII. С. 172–173.

[2] *Буланин Д.М.* Карпов Федор Иванович // СККДР. Вып. 2. Л., 1988. Ч. I. С. 458.

покровительствовал ближайшему сотруднику новгородского владыки Дмитрию Герасимову (в своих посланиях тот называл себя «вскормленником» Мисюря). Таким образом, это был один круг общения. В-третьих, новгородской теме — «вдовству» архиепископской кафедры — посвящено послание Филофея «О крестном знамении». Более того, как справедливо заметила Н. Синицына, данное сочинение фактически является завуалированным прошением о поставлении Макария на новгородскую епархию[1]. В то же время, именно благодаря Макарию послание Филофея «На звездочетцев и латин», содержащее изложение теории «Москва — Третий Рим» стало известно новгородским и московским книжникам: его распространение началось с помещения послания в Успенский список Великих Четий-Миней, работа на которым была начата в новгородском окружении Макария в 1541 г. Причем, судя по всему, текст этого сочинения был привезен в Новгород самим Филофеем.

Сделать такой вывод позволяют следующие обстоятельства. В ряде списков произведений псковского старца он назван игуменом Спасо-Елеазарова монастыря. Это подтверждается свидетельством «Жития преподобного Евфросина», в котором также упоминается игумен Филофей. Из текста жития можно заключить, что он возглавлял обитель до 30-х или до начала 40-х гг. XVI в.: Филофей упомянут в рассказе о покаянии и постриге разбойника Василия Тесные Очи, а в следующем сюжете — о чуде исцеления некоего Иуды — фигурирует уже другой настоятель. При этом указано, что исцеление имело место в великое княжение Ивана Васильевича (т.е. не ранее 1533 г.) и при архиепископе Новгородском Макарии (следовательно, до марта 1542 г., когда тот был возведен на Московскую митрополию). Таким образом, смена игуменов в Спасо-Елеазаровом монастыре произошла между 1533 и 1542 гг. А это хронологически согласуется с известием Псковской Первой летописи о том, что в 1541 г. из-за преследований наместников «игумены честные из монастырей избегоша в Новгород»[2]. Поскольку, с одной стороны, данный свод был создан в стенах Спасо-Елеазаровой обители, а с другой — о смене настоятелей в других псковских монастырях в это время нам ничего не известно, то совершенно очевидно, что речь идет именно о Филофее. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что после смерти М.Г. Мисюря Мунехина власти начали следствие о якобы утаенных им доходах, в результате чего пострадали многие из тех, кто был близок к всесильному дьяку[3]. Итак, можно сделать вывод, что в 1541 г. из-за разногласий с великокняжеской администрацией Филофей покинул Псков и перебрался в Новгород, под покровительство архиепископа Макария. В свою очередь, указанные

[1] *Синицына Н.В.* Третий Рим. Истоки и эволюция средневековой концепции. М., 1998. С. 270.

[2] Псковские летописи. Вып. 1. С. 105.

[3] Там же. С. 105; *Дмитриева Р.П.* Мунехин Михаил Григорьевич // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 121.

обстоятельства позволяют объяснить тот факт, что рукописный сборник, в составе которого до нас дошел самый ранний список «Слова об обидах церкви» — последнего произведения из цикла сочинений о «Москве — Третьем Риме» — имеет новгородское происхождение. Поскольку «Слово» — риторическое произведение, обращенное к митрополиту Макарию по какому-то торжественному случаю, а сам сборник, согласно проведенному Н. Синицыной кодикологическому анализу, датируется концом 30-х — началом 40-х гг. XVI в.[1], то единственным разумным объяснением этим фактам служит то, что написано оно Филофеем во время его пребывания при дворе новгородского архиепископа Макария в связи с избранием последнего в марте 1542 г. митрополитом Московским и всея Руси.

А поскольку никаких более поздних сочинений псковского старца до нас не дошло, и сходство авторской манеры Филофея и составителя Псковской Первой летописи прослеживается лишь до 1541 г., мы вправе заключить, что жизненный путь автора теории «Москва — Третий Рим» завершился вскоре после 1542 г.

Итак, обрывочная информация о некоем Филиппе в трех разных псковских источниках одного временного диапазона оказывается соотносимой по всем параметрам с имеющимися в нашем распоряжении биографическими сведениями об авторе теории «Москва — Третий Рим» старце псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофее.

Разумеется, большая часть предлагаемых в пользу такого отождествления аргументов представляет собой «косвенные улики». Но, во-первых, историки средневековья не избалованы обилием источников, и даже о персонах первой величины они далеко не всегда могут получить исчерпывающую информацию, что уж говорить о «фигурах второго плана». А во-вторых, в истории, как и в юриспруденции, косвенные факты (те самые «черты и черточки», о которых дискутировал В. Д. Спасович в деле о поджоге мельницы[2]), должным образом собранные, сгруппированные и проанализированные, могут иметь весьма значительную доказательную силу.

[1] *Синицына Н. В.* Третий Рим... С. 166.

[2] *Кони А. Ф.* На жизненном пути. СПб., 1912. Т. I. С. 19: «С особой силой ответил Спасович на упрек защитника Овсянникова, что он строит все свои выводы на одних косвенных уликах, на чертах и черточках: «Ну да! Черты и черточки! — воскликнул он, — но ведь из них складываются очертания, а из очертаний буквы, а из букв слоги, а из слогов возникает слово, и слово это: *поджог*!»

М. В. ВИНОКУРОВА (МОСКВА)

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОГ БЫ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ: ГЕНРИ ТИЛСОН

С Генри Тилсоном я познакомилась лет восемь назад. Знакомство состоялось в Отделе средневековых источников библиотеки Бирмингемского университета, куда я была приглашена поработать над документами по истории английского манора. Мне удалось отыскать некий свод источников, посвященный аграрному развитию поместья Рочдейл (Ланкашир), который относился к середине XVII столетия. Документы эти представляли собой внушительный земельный кадастр, в состав которого входили в основном земельные описи 20 маноров, из которых состоял Рочдейл в указанное время[1].

Я сразу обратила внимание на то, что особенностью этих описей является то обстоятельство, что они практически не фиксировали «церковного» фригольдыа. Документы свидетельствовали о наличии в поместье лишь одного духовного лица — приходского священника Рочдейла. Этим священником и оказался викарий Генри Тилсон. Однако примечательным является то обстоятельство, что в интерполяциях к описям маноров Castleton и Wardleworth, котрые фиксируют лишь два небольших земельных участка Генри Тилсона в поместье Рочдейл, содержатся некоторые данные не только об условиях его держаний, но и сведения, немного проливающие свет на этапы жизненного пути этого, как мы, надеюсь, сейчас убедимся, весьма интересного человека с необычной судьбой[2]. Сведения наших источников минимальны — они сжато, буквально в нескольких фразах, фиксируют условия упомянутых держаний Тилсона и содержат, как представляется, весьма неполную датировку основных вех его жизненного пути. Но наличие и этих сведений, представленных, в частности, в интерполяциях к описям, кажется весьма странным для источников по аграрной истории, которые, как правило, не содержат данных биографического характера.

Поэтому так же странно было воспринимать процесс оформления в моем сознании образа этого человека, который рождался вопреки всему: весьма сромным по содержанию и объему свидетельствам источников; тому факту, что за этими специфическими данными, относящимися по преимуществу к сюжетам аграрной истории, казалось бы, невозможно увидеть судьбу

[1] The Survey of the Manor of Rochdale in the County of Lancaster. Possessions of the Worshipful Robert Heath, Knt., His Majesty's Attorney General, made in 1626. Manchester, 1913.

[2] Сведения о Генри Тилсоне почерпнуты также из дополнительного источника — списка викариев поместья Рочдейл за XV — XVII вв., который был обнаружен мной, наряду с самими описями, в библиотеке Бирмингемского университета: The Vicars of Rochdale / Ed. by H. Howorth. Part I. Manchester, 1883.

человека, тем более — человека маленького, невидного, незаметно шагавшего по своей жизненной тропе. Итак, Генри Тилсон, образно говоря, на моих глазах вырастал прямо из земли...

Однако в результате оказалось, что был он не столь уж незаметен, сыграв определенную роль не только в истории Рочдейла, но и в истории Англии эпохи революции середины XVII столетия. Вот то немногое, что, вопреки специфике наших источнков, удалось «вытянуть» из них.

Генри Тилсон, сын Генри Тилсона, как утверждают наши документы, родился в поместье Мидглей, приход Галифакс, Ланкашир и был крещен 13 октября 1577 г. Вскоре он поступил в Balliol College (Оксфорд), по прошествии трех лет получил степень бакалавра, а еще через три — магистра искусств. В октябре 1615 г., в возрасте 38 лет, он был назначен викарием Рочдейла и в течение длительного времени отправлял эту службу. Так, например, как свидетельствуют наши материалы, Генри Тилсон, помимо своих прямых обязанностей духовного лица вел регистрационные книги местной приходской церкви — их листы исписаны его изящным почерком. Свидетельство о том, что некий йомен Ричард Линней, назначив перед смертью душеприказчиком своего дядю Йордана Чадвика из манора Healy, распорядился передать через последнего «мистеру Генри Тилсону» (to Mr. Henrie Tilson), клирику, викарию Рочдейла, свою лучшую одежду и «греческий лексикон» –«Greeke lexicon»(!), помимо чувства удивления, возникающего от осознания уровня образованности простого крестьянина и его приверженности Церкви, вызывает еще и интуитивное чувство понимания того, что Генри Тилсон мог пользоваться заслуженным уважением в поместье не только как духовное лицо, но и как человек, занимающийся насущными проблемами прихожан. Так, об этом совершенно определенно свидетельствует еще один любопытный документ, представленный в одной из интерполяций к нашим источникам, датированный 21 марта 1621 г., подписанный самим викарием и адресованный эсквайру Эдуарду Лею (Leigh) — в нем содержится разрешение Генри Тилсона, данное упомянутому эсквайру, на «обзаведение» персональной скамьей в местной церкви: «... мы даем наше разрешение Эдуарду Лею из Рочдейла с тем, чтобы он возвел (erect) на свободном месте напротив маленькой двери в южной части приходской церкви... скамью для себя, названного Эдуарда Лея, своей жены и семьи с тем, чтобы сидеть и слушать божественную службу и проповедь (devine service and sermon)[1]...»

4 июня 1620 г. Генри Тилсон женился на Грейс Чадвик, дочери богатого торговца из Clegg Hall; от этого брака родились дети: Дороти (крещена 1 июля 1621 г.), Генри (крещен 14 марта 1623 г.), Маргарет (крещена 7 мая 1626 г.), Джон (16 ноября 1628 г.), Натан (30 января 1630 г.) и Томас (15 мая 1636 г.).

Семью надо было кормить, и Генри Тилсон, вопреки установлениям канонического права о том, что приходские священники должны жить с духовных бенефициев и не отягощать свое бренное существование приобретением земельной собственности, обзаводится участками земли в двух манорах поместья — их-то и регистрируют наши описи. Один из этих участков, зафиксированный в источниках в качестве фригольда манора Castleton, был довольно внушительным, составляя около 209 акров. В его состав входили несколько огороженных «блоков» пашни и пастбища, в сумме составляющие чуть более 51 акра, сады «около Воробьиной горы», участки луга возле речки Роч, обширные земли «у болота» площадью более 50 акров, пустоши и т. д. Семья Генри Тилсона извлекала также в указанном маноре доход, поступавший от содержания «шести домов вдоль Церковной улицы (Church Street) к северу от речки Роч». Совокупный годовой доход Тилсонов в данном маноре составлял 84£ — цифра, безусловно свидетельствующая как о рачительном хозяйствовании, так и о том, что это земельное держание явно было основой материального благополучия большой семьи приходского священника.

В другом маноре, Wardleworth, Тилсон владел свободной землей общей площадью 17,5 акров, состоящей из двух огороженных участков луга, которые в совокупности приносили доход в 3£ и 6s.

К сожалению, источник на основании этого единичного примера церковного фригольда не дает ни малейшей возможности определить хозяйственную специфику этого вида свободного держания — слишком мало данных сообщается описью для того, чтобы посметь сделать хоть какие-то выводы обобщающего характера. Скорее, наоборот, данные о материальном состоянии семьи священника, отраженные в описях, служат немаловажной иллюстрацией к описанию его жизненного пути: весьма странный феномен, совсем нехарактерный для исследования социально-экономического характера.

В качестве викария Рочдейла Генри Тилсон прослужил около 20 лет; в 1635 г. ему пришлось сложить с себя эти обязанности в связи с переводом в Дублин на место декана кафедральной церкви Святой и Неделимой Троицы, о чем свидетельствует прошение об отставке, датированное 3 апреля указанного года, написанное рукой викария. Тилсон покидает Рочдейл, в котором он провел 20 лет относительно спокойной и безбедной жизни, ради весьма опасного возвышения в церкви, к которому, впрочем, судя по документам, он отнюдь не стремился сам: дело в том, что еще в начале 30-х годов XVII в. он назначается (по протекции епископа Бриджмена (Bishop Bridgeman) капелланом графа Страффорда, одного из главных советников Карла I, назначенного лордом-наместником английской короны в Ирландии. Как известно, Страффорд, будучи ярым поборником англиканской церкви, отличался крайней ненавистью, с одной стороны, к пуританам, с другой — к католикам, особенно к ирландским католикам-рекузантам, в среде которых он с помощью самых жестоких мер пытался достичь религиозного «единообразия» на английский (вернее — англиканский) манер, и прежде всего путем введения в Ирландии Суда Высокой комиссии (высший церковный суд). Страффорд известен также политикой «землеустройства» в Ирландии, и в частности, насильственной попыткой устройства плантаций в Коннауте и Ормонде

[1] The Vicars of Rochdale... C. 82.

с целью реальной конфискации ирландских земель в пользу английской короны. Именно этого человека в начале 30-х гг. XVII в. Тилсон время от времени и должен был сопровождать в его поездках по Ирландии.

Характеризуя Тилсона в своем письме от 29 июня 1632 г., адресованном Страффорду, епископ Бриджмен положительно отзывался о нем: «...я не назвал бы в моем диоцезе ни одного человека, которого я мог бы порекомендовать Вам с большим удовольствием... Многие и многие годы Вы можете управлять королевством к вящей его славе с помощью таких людей...»[1]. Очевидно, это письмо возымело свое действие на графа, и тот смог убедительно ходатайствовать в пользу Тилсона перед монархом: капелланом графа, а впоследствии деканом Церкви Святой Троицы в Дублине был назначен именно Тилсон, а не Джон Максвелл, епископ из Росса, как хотел того ранее сам король[2].

Итак, Генри Тилсон с семьей поселился на Castle Street в Дублине. 3 апреля 1635 г., как мы упоминали, он сложил с себя обязанности викария Рочдейла, написав прошение об отставке. Вскоре он становится вице-канцлером университета в Дублине, а также получает пребенду в Соборе святого Патрика, о чем свидетельствует «патент», датированный 11 мая 1635 г. и упоминаемый в нашем источнике.

Друг Страффорда, Лода и Бриджмена, Тилсон был поборником англиканской церкви («maintained High Church views»); пуританизм имел в его лице в «ирландский период» весьма строгого оппонента; он был, подобно Страффорду, «непреклонен, умерен и мудр»[3]. Его «процветание» в Ирландии, однако, не могло длиться долго: в начале 40-х гг. там разразилось восстание местного населения против англичан, во время которого (в августе 1641 г.) дом Тилсона в Дублине был разграблен (в частности, восставшие сожгли прекрасную библиотеку). Общий ущерб, причиненный в результате этих насильственных действий семейству Тилсонов, составил 400 £.

Наш герой был вынужден спасаться бегством и нашел себе приют благодаря покровительству одного из родственников Страффорда, сэра Вильяма Сэвиля, недалеко от Рочдейла, в местечке под названием Сутхилл Холл (странная прихоть судьбы, возвратившей епископа к концу его жизни в те края, где он когда-то начинал свою деятельность в должности простого викария!). Сутхилл Холл некогда принадлежал сэру Джорджу Сэвилю, рыцарю, имя которого, кстати, дважды упоминается на страницах описей манора Рочдейл как опекуна двух зажиточных фригольдеров. На дочери Джорджа Сэвиля был, оказывается, женат сам знаменитый граф Страффорд.

Поселившись в Сутхилл Холл и оказавшись опять в очень стесненных материальных обстоятельствах, Генри Тилсон на старости лет (в то время ему было уже 68) был вынужден зарабатывать на жизнь своей огромной семьи,

[1] The Vicars of Rochdale... P. 84.
[2] Ibid. P. 84.
[3] Ibid. P. 86.

разросшейся к тому времени до 13 человек (дети женились и выходили замуж, появились внуки) подчас весьма неожиданными способами, которые, может быть, не всегда соответствовали убеждениям этого весьма строгого, судя по отзывам современников, человека. Например, как свидетельствуют документы, он основал так называемую «Гостиную Епископа — The Bishop's Parlour» (персонально освятив для этой цели специальный зал в Сутхилл Холл), где тайно, за определенную мзду, посвящал ищущих истины у Бога в духовный сан. Кроме того, раз в неделю он был вынужден посещать некое забытое Богом местечко в горах под названием Cumberworth с тем, чтобы читать проповеди местному населению, почти сплошь состоявшему из пуритан, коих епископ Тилсон некогда так презирал! И все это за мизерную плату 16 фунтов в год.

В письме своему другу, почтенному джентльмену по имени Джордж Радклифф, когда-то работавшему секретарем все у того же графа Страффорда, которого в описываемое время уже давно не было в живых (письмо датировано 1651 г), Тилсон жалуется на своих прихожан: «...я знал, что я найду огромное стадо паршивых овец — great companie of scabbed sheepe»[1]. Тем не менее это «стадо паршивых овец» надо было пасти несмотря на душевные муки, и Тилсон даже был вынужден пойти навстречу местным пуританам, несмело требовавшим (by murmuring), чтобы он читал им не одну проповедь в течение часа, а две, по двадцать минут каждую.

Так, в трудах ради хлеба насущного проходили последние дни того, кто когда-то начинал молодым в этих местах и был полон если не радужных надежд, то по крайней мере — вполне довольствовался тем «хлебом», который получал с двух владений в поместье Рочдейл, зафиксированных нашими документами — именно с них мы и начали наше повествование о своеобразной судьбе человека, чье имя возникло почти случайно.

Тилсон окончил свое земное существование в 1655 г., в возрасте 78 лет. Он был похоронен 2 апреля в стенах приходской церкви Dewsbury, в ее юго-восточной части. Наверное, и до сего дня сохранилось упомянутое в наших источниках мраморное надгробие с грубо начертанной надписью, свидетельствующей о том, что жил когда-то на свете преподобный (reverendi in Christo) Генри Тилсон.

Итак, весьма краткий пример из истории Англии XVII столетия... Но не свидетельствует ли он все о том же, вечном и неизменном: что извивы человеческих судеб весьма прихотливы, удивительны, порой непостижимы. А главное — открытие этих судеб, их восстановление и «реконструкция» возможны для исследователя вопреки, казалось бы, отсутствию основательных данных биографического характера, а просто — на основе некоторой «точки отсчета» (в нашем случае — краткая информация об условиях земельных держаний), присутствующей в документах массового характера, совсем, казалось бы, не подходящих для того, чтобы уловить в них те пути и тропы в истории, по которым шагает человек — неважно, «большой» или «маленький».

[1] The Vicars of Rochdale... P. 88.

Д.П. ИСАЕВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

КНЯЗЬ В.В. ГОЛИЦЫН ГЛАЗАМИ В.Н.ТАТИЩЕВА

(Опыт реконструкции работы историка над «Историей Российской»)

Смута в России начала XVII в., явившись глубочайшим кризисом государственности, выдвинула на политическую арену множество случайных и неслучайных персонажей, каждый из которых сыграл определенную роль в этот сложный и драматичный период русской истории. Сыграл свою роль и боярин князь Василий Васильевич Голицын (?–1619), которого никак нельзя причислить к деятелям Смутного времени первого плана. Напомним основные вехи его политической деятельности.

Будучи потомком великокняжеского рода Гедиминовичей и членом Боярской думы, В.В. Голицын принадлежал к правящей аристократической элите Русского государства. Современник Василия Васильевича князь И.М. Катырев-Ростовский характеризовал его как «мужа великого разсужения и изяшна, в посолственных уставех искусна»[1]. Выразив свою оппозиционность правительству Федора Годунова под Кромами, князь Голицын присягнул на верность Лжедмитрию I и принял участие в низложении и убийстве царя Федора и его матери царицы Марии. Разочарованность в политике Лжедмитрия I привела к тому, что Голицын оказался в составе участников заговора против него, возглавляемого боярином Василием Шуйским. Свержение Шуйского с царского престола также не обошлось без В.В. Голицына. Последним актом его политической карьеры стало участие в Великом посольстве к Сигизмунду III под Смоленск, во многом благодаря которому Голицын заслужил в историографии вполне положительную характеристику. Князю не суждено было вернуться на родину — он умер в польском плену.

Конечно же, фигура князя Голицына довольно часто мелькает на страницах сочинений, посвященных истории Смутного времени. Но в целом, она заметно проигрывает в «известности» таким одиозным личностям, как Б.Ф. Годунов, самозванцы, В.И. Шуйский, наконец, Романовы. Естественным образом Голицын теряется и на фоне деятелей всего XVII столетия[2]. При описании событий, в которых принимал участие Голицын, историки, как правило, упоминают его вторым в ряду других лиц, словно подчеркивая

[1] Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени // РИБ. Т. 13. Вып. 1. Л., 1925. Стб. 687.

[2] В указателе третьего тома академического издания сочинений В.О. Ключевского, предпринятого в конце 1950-х гг., деятель Смутного времени князь В.В. Голицын оказался «слит воедино» с другим В.В. Голицыным, сподвижником царевны Софьи (*Ключевский В.О.* Сочинения. Т. 3. М., 1957. С. 415).

тем самым второстепенность князя. Даже идущий сегодня процесс антропологизации истории пока проходит мимо него[1]. Наиболее полной биографией Голицына и по сей день остается изданный в 1836 г. поверхностный очерк Д.Н. Бантыш-Каменского[2].

Характерно, что уже на заре отечественной исторической науки личность князя В.В. Голицына обратила на себя особое внимание одного из создателей этой науки — Василия Никитича Татищева. Некоторые из введенных им в научный оборот фактов, непосредственно связанных с Голицыным, настолько оригинальны, что позволяют уверенно отнести их к разряду так называемых «татищевских известий».

Как известно, в отечественной историографии сложилось неоднозначное отношение к «татищевским известиям». Их изучению посвящена весьма обширная литература. Наибольшее распространение получило мнение, связывающее наличие этих уникальных известий с использованием автором не сохранившихся до наших дней источников. В то же время, ряд исследователей (Н.М. Карамзин, С.Л. Пештич, С.Н. Валк и др.) выражали сомнения относительно достоверности таких известий. Настоящим прорывом в этой области можно считать работу А.П. Толочко, посвященную анализу творческой мастерской В.Н. Татищева. Убедительно показав, что в его распоряжении не было никаких источников, неизвестных современной науке, Толочко пришел к выводу, что целью вымысла известий было стремление историка придать «осмысленность повествованию», оставаясь при этом в рамках летописной формы изложения[3].

Основываясь на главных выводах и результатах исследования А.П. Толочко, мы предполагаем, что содержащиеся в «Истории Российской» уникальные сведения о В.В. Голицыне являются сознательным авторским вымыслом. В данной работе мы попытаемся доказать саму возможность выдумки этих известий, проанализировать их содержание, а также определить цели, которые историк ставил перед собой, фальсифицируя факты.

Интересующие нас сведения о Василии Голицыне находятся в 4-й части «Истории Российской», полностью опубликованной лишь в 1966 г.[4] Несмотря на то, что с тех пор прошло совсем немного времени, особенности работы Татищева над событиями рубежа XVI-XVII вв. успели привлечь внимание историков. Так, В.И. Корецкий, исследуя некоторые оригинальные свидетельства Татищева, выдвинул гипотезу об использовании им некой

[1] К примеру, в биографическом сборнике Л.Е. Морозовой о людях Смуты, среди нескольких десятков очерков нет посвященного В.В. Голицыну (*Морозова Л.Е.* Смута: ее герои, участники, жертвы. М., 2004).

[2] *Бантыш-Каменский Д.* Словарь достопамятных людей Русской земли. Ч. II. М., 1836. С. 53–58.

[3] *Толочко А.П.* «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005. С. 21, 285.

[4] *Татищев В.Н.* История Российская. Т. 6. М.; Л., 1966.

«Истории Иосифа о разорении русском», впоследствии утраченной[1]. Современный исследователь «Нового летописца» (далее — НЛ) В. Г. Вовина-Лебедева, сравнивая этот памятник с «Историей Российской», говорит о применении Татищевым метода амплификации текста источника. Но в конечном выводе Вовина-Лебедева более осторожна, предполагая, что историк обладал какими-то другими вариантами известных летописей, от которых и может происходить ряд известий[2]. В данной статье мы попытаемся поставить на более доказательную основу вывод о присутствии и в 4-й части «Истории Российской» мистифицированных фрагментов.

Вопреки мнению Толочко мы склонны утверждать, что Татищев работал над описанием Смуты до самой смерти[3]. Следовательно, и в этих материалах должны содержаться «татищевские известия». В пользу этого вывода говорит само наличие различных вариантов текстов, освящающих события 1584–1613 гг. В академическом издании опубликованы два варианта «Выписки из гистории с начала царства царя Феодора Иоанновича» — черновой и беловой, существенно различающиеся по объему и содержанию. Назовем их условно 1-м и 2-м вариантом. К ним примыкает глава «Царство царя Василиа Ивановича Шуйскаго, сего имяни в царех втораго», в некоторой своей части хронологически и текстуально совпадающая с «Выпиской...». Это позволяет нам условно назвать главу 3-м вариантом. Как видится, историк вряд ли мог еще в конце 1730-х гг. проделать подобную работу над последней частью своей «Истории», впоследствии занявшись только более ранним периодом. Косвенным подтверждением этому может также служить и упоминание Татищевым в письме И. Д. Шумахеру от 1749 г. о таких посвященных Смуте сочинениях, как «Сказание» Авраамия Палицына и, как представляется, вымышленная «История Иосифа о разорении русском»[4]. Таким образом, мы предполагаем, что интересующая нас часть «Истории Российской» также содержит недостоверные известия.

Перейдем непосредственно к исследованию сюжетов о князе Василии Голицыне.

В основе интересующих нас глав 4-й части «Истории Российской» лежит НЛ. В нем упоминания о князе заключены в хронологических рамках с 1605 по 1610 г. — начиная от мятежа правительственных войск под Кромами

[1] См.: *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском» — летописный источник В. Н. Татищева // ВИД. Л., 1973. Т. 5.

[2] *Вовина-Лебедева В. Г.* Новый летописец: история текста. СПб., 2004. С. 18–26.

[3] Как предполагает данный исследователь, 3 и 4 части «Истории Российской» не содержат «татищевских известий», поскольку были написаны еще в конце 1730-х гг., в то время как активная деятельность Татищева по «изобретению» сведений развернулась в 1740-е гг. (*Толочко А. П.* «История Российская»... С. 38–39). Мы отвергаем первое утверждение, соглашаясь со вторым.

[4] Переписка В. Н. Татищева за 1746–1750 гг. // Исторический архив. Вып. VI. М.-Л., 1951. С. 286.

и завершая Великим посольством к польскому королю[1]. В труде Татищева подобная канва сохраняется, но зачастую характер известий, их полнота, существенно меняется. То есть, в «Истории» мы находим уникальные сведения о Голицыне, которые отсутствуют в летописи. Появление их могло произойти только в двух случаях: либо в результате дополнения Татищевым текста НЛ данными, почерпнутыми из других источников, либо в результате самостоятельного придумывания этих данных. Займемся их разбором, чтобы подтвердить одно из двух предположений. Забегая вперед, отметим, что собственно уникальные сведения о В. В. Голицыне приходятся у историка лишь на период прихода к власти и царствования Василия Шуйского, что имеет под собой определенные основания.

Первый по хронологии событий оригинальный факт связан с обстоятельствами воцарения Шуйского 18 мая 1606 г. Приводится он во 2-м варианте. В. Н. Татищев подробно и красочно воспроизводит события того дня. Историк пишет, что собравшиеся в Грановитой палате Кремля бояре стали спорить, кого выбрать в цари: «Одни стали говорить, чтоб выбрать князя Василья Ивановича Шуйского... Другия, и большее число, представляли князя Василья Васильевича Голицына, взирая на его способность и заслуги. А иные говорили о Мстиславском, но сей сам отрекся». По предложению окольничего М. И. Татищева окончательный выбор был вынесен на всенародное обсуждение. Однако честные выборы не состоялись, поскольку собравшуюся толпу заранее уверили, что государь уже избран и остается только приветствовать его[2]. Несомненно, в тексте присутствуют легендарные сведения.

Многие источники, причем самого разнообразного характера, сообщают о том, что помимо бояр непосредственное участие в избрании царя приняли представители московского посада в лице гостей, торговых людей и ремесленников, а также московские дворяне, стрельцы, черные и сотенные люди (См.: НЛ по списку князя М. А. Оболенского, «Пискаревский летописец», «Московскую хронику» К. Буссова, донесение Д. Мерика (?), «Карамзинский хронограф»). Однако все эти источники очень кратко освещают данное событие, и многие из сообщенных В. Н. Татищевым обстоятельств в них отсутствуют. Таким образом, появление Голицына в данном эпизоде следует квалифицировать как плод творческой активности и фантазии историка. Переходя к доказательству данного тезиса, нельзя не отметить, что описанный Татищевым сюжет возник не на пустом месте. В «Пискаревском летописце» воспроизводится почти идентичная картина: «И приговорили все бояре и дети боярские и гости и торговые люди: что выбрати дву бояринов и на Лобном месте поставити и спросити всего православного християнства и всего народу: ково выберут народом, тому бытии на государьстве. И выбрали дву бояринов князя Федора Мстиславского да князя Василья Шуйскаго... и всем народом выбрали...

[1] Ср.: НЛ // ПСРЛ. Т. 14. М., 2000.

[2] *Татищев В. Н.* История... С. 298.

боярина князя Василья Ивановича Шуйского, и нарекли его на все православное християнство царем и великим князем...»[1]. Как видим, разница в том, что в летописце отсутствует в качестве претендента на престол В.В. Голицын, и Шуйский избран без обмана. Был ли «Пискаревский летописец» или подобный ему источник под рукой Татищева, или нет,- вопрос, пока не поддающийся однозначному ответу[2]. Но вернемся к эпизоду. Предполагается, что, автор «Пискаревского летописца» приводит в целом достоверные сведения, отражающие реалии политической борьбы тех дней. В поддержку данного утверждения говорит информация от независимого источника — «Записок» капитана Жака Маржарета. По его словам, Федор Иванович Мстиславский «получил много голосов при выборах и был бы избран, если бы жители страны собрались»[3]. Получается, что после убийства Лжедмитрия в качестве кандидатов в цари были выдвинуты двое бояр — Ф.И. Мстиславский и Василий Шуйский. Сведения о Голицыне как реальном кандидате источниками не подтверждается. В.Н. Татищев, несомненно, знакомый с легендой, счел необходимым вставить его в тот ряд, по причине, которую мы укажем позднее.

Следующее оригинальное известие находится в 3-ем варианте. Говоря о «злобе» царя Василия, Татищев пишет, что после воцарения Шуйский «междо всеми особливо стал на князя Василья Васильевича Голицына и князя Ивана Семеновича Куракина иметь подозрение, стал их утеснять»[4]. В 1-м и 2-м вариантах подобных сведений нет. О том, что перед нами предполагаемая вставка, специально задуманная историком при работе над очередным вариантом, свидетельствует следующее. Данная рукопись, в основе своего изложения по-прежнему имеющая НЛ, также содержит в себе сведения из многих иностранных источников. Можно было бы предположить, что рассматриваемые сведения взяты оттуда. Но строгая система ссылок на сочинения иностранцев, существующая в рукописи, убеждает в обратном. Перейдя к содержательной стороне дела, следует отметить, что данные о плохом отношении Шуйского к Голицыну в источниках вообще отсутствуют. Упоминание же о недоверии царя к И.С. Куракину тем более изобличает Татищева в вольности, так как этот князь фигурирует в НЛ в качестве положительного героя[5]. Сделав подобную вставку, историк не замечает, что тем самым придает своему тексту противоречивый характер, так как далее он продолжает пользоваться сведениями из НЛ. Например, несколькими страницами далее Куракин все еще верно служит

[1] Пискаревский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 211.

[2] Этот памятник был открыт для науки лишь в середине XX столетия. См.: *Яковлева О.А.* Пискаревский летописец // Материалы по истории СССР. Т.II. М., 1955.

[3] «Записки» Жака Маржарета // Смута в Московском государстве. М., 1989. С. 227.

[4] *Татищев В.Н.* История... С. 311.

[5] Об отношении НЛ к И.С. Куракину см.: *Вовина-Лебедева В.Г.* Новый летописец... С. 351–359.

царю на поле битвы и проявляет геройство у Брянска[1]. В пользу татищевского видения картины могло бы служить следующее обстоятельство. Сохранилось адресованное этим двум князьям письмо тушинского гетмана князя Р. Ружинского, в котором он призывает их примкнуть к новому самозванцу[2]. Но оно было послано в преддверии выступления царских войск против Лжедмитрия II и битвы под Болховом, где участвовали и Голицын, и Куракин. Таким образом, предложение гетмана выглядит вполне естественным в условиях создавшегося положения. Но сам по себе этот факт не может служить подтверждением данных Татищева. Как мы увидим далее, известие о недоверии Шуйского играет роль очередного звена в выстраиваемой историком логической цепочке, служащего предпосылкой последующих выступлений Голицына против царя.

Третье известие связано с обстоятельствами самой битвы под Болховом весной 1608 г., а точнее, участия в ней самого В.В. Голицына. Сражение произошло в ходе начавшейся после разгрома сил И. Болотникова военной кампании против Лжедмитрия II. Подробности этой провалившейся боевой операции были зафиксированы НЛ. Его автор отметил факт бегства воеводы передового полка князя Василия Голицына, что в конечном итоге привело к разгрому царского войска[3]. В.Н.Татищев, пользуясь данным источником, скорее всего, намеренно убрал имя князя из текста, в остальном дословно следуя за летописцем[4]. Подобное «изъятие» является единственным в отношении В.В. Голицына. В остальных случаях Татищев только добавляет сведения. Очевидно, дискредитация князя явно не входило в планы историка. Чтобы разобраться в этом, обратимся к более ранним событиям.

Татищев изображает Голицына недоброжелателем Василия Шуйского, но нигде не упоминает о нравственных качествах князя, тем более не указывает на негативные черты его характера. А ведь позорное бегство военачальника с поля боя — явно не добродетель. Вспомним, как историк говорит о «способностях» князя, его «заслугах и любви в народе», отмечает «большее число» идущих за ним[5]. Вполне очевидно, что в соответствии с отведенной по авторскому замыслу Голицыну ролью, компрометирующему факту нет места в его биографии.

Четвертый уникальный факт относится к событиям мятежа против Василия Шуйского под руководством князя Романа Гагарина, Григория Сумбулова, и Тимофея Грязного, состоявшегося в феврале 1609 г. НЛ включает в число примкнувших к заговорщикам лиц единственного боярина — князя Василия Голицына. По справедливому замечанию Вовиной-Лебедевой, подобное свидетельство напоминает запоздалый извет. Как предполагает исследовательница, Голицын был явно не в почете у автора НЛ, причиной чему послу-

[1] *Татищев В.Н.* История... С. 320.

[2] *Смирнов И.И.* Восстание Болотникова (1606–1607). М.; Л., 1951. С. 510.

[3] НЛ. С. 79.

[4] *Татищев В.Н.* История... С. 304, 320.

[5] Там же. С.298.

жили, вероятно, обстоятельства, связанные с его политической конкуренцией с Романовыми в период междуцарствия[1]. Так или иначе, но В. Н. Татищев явно позаимствовал данное свидетельство из НЛ. Но если 2-й вариант дословно повторяет его текст, то в 3-ем Голицын уже предстает пред нами не просто примкнувшим к заговору, а, ни много, ни мало, его тайным организатором[2].

Самое интересное происходит потом. Если следовать летописному источнику, то мы увидим, что после неудачи заговорщики «побегоша все из города и отъехаша в Тушино человек с триста»[3]. Но, судя по дальнейшему изложению, В. В. Голицын остается в Москве. Но Татищев предлагает нам другую интерпретацию событий. В «Истории Российской» князь отправляется вместе с остальными в лагерь Лжедмитрия II (!) и остается там до самого его распада. Более того: Голицын оказывается едва ли не сподвижником гетмана Ружинского. Далее, князь находится в числе тушинцев, принимавших польских послов (вместе с М. Г. Салтыковым, князьями Ю. Д. Хворостининым и В. М. Мосальским)[4].

Очевидно, в Тушино Голицын попал не случайно. Но об этом речь впереди. Сейчас же хотелось бы вернуться к самим обстоятельствам мятежа против царя Василия. Как уже говорилось, Голицын вряд ли принимал участие в данном заговоре. Но, поместив князя в ряды заговорщиков, автор НЛ не позаботился объяснить, каким образом он мог оставаться в городе, не попав при этом в опалу. Этим занялись уже последующие историки. Так, Н. И. Костомаров обосновывает такое положение тем, что благодаря «высоте» своего рода Голицын «не боялся гнева Шуйского в случае неудачи»[5]. Р. Г. Скрынников выдвинул компромиссную точку зрения, предположив, что князь лишь «наблюдал за происходящим, но в дело не вмешался»[6]. Следовательно, и не могло быть повода для опалы. Но представляется, что самым последовательным и логичным при трактовке данных событий оказался все же В. Н. Татищев. Исходя из ложной посылки об участии В. В. Голицына в заговоре против царя, он в принципе достоверно и логично обрисовал картину того, как могли бы развиваться события, если бы все происходило именно так, как описано в НЛ. Однако важно подчеркнуть, что Василий Голицын не перебегал в Тушино. Вывод о том, что он стал одним из тушинских бояр, не подтверждается данными источников. Анализ текста НЛ показывает, что присутствие нашего героя в этом ряду является результатом механических вставок.

И, наконец, последний уникальный факт биографии В. В. Голицына у Татищева относится к обстоятельствам низложения Василия Шуйского, состо-

[1] *Вовина-Лебедева В. Г.* Новый летописец... С. 294.

[2] *Татищев В. Н.* История... С. 307, 326.

[3] НЛ. С. 87.

[4] *Татищев В. Н.* История... С. 331, 332.

[5] *Костомаров Н. И.* Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. 1604–1613. М., 1994. С. 456.

[6] *Скрынников Р. Г.* Василий Шуйский. М., 2002. С. 315.

явшегося 17 июля 1610 г. Голицын снова находится в Москве (!) и является одним из организаторов свержения царя. В этом вопросе Татищев не расходится с источниками, за исключением описания завершающего акта этого драматического действия, развернувшегося на Лобном месте. Если верить современникам, в том числе иностранцам, в ходе этих событий князь предпочел остаться в тени[1]. Татищев же снова записывает его в непосредственные участники свержения очередного самодержца. Все это очень похоже на возмездие за некогда узурпированный Шуйским трон. Историк описывает сцену, в которой Голицын якобы останавливает схватившегося за нож Шуйского со словами: «Не дерзай, ежели свой живот хочешь спасти»[2]. Безусловно, такой финал противостояния боярина и царя выглядит крайне эффектно.

Свержением Шуйского у Татищева завершается и ряд уникальных сведений, связанных с князем Голицыным. В последующей главе он присутствует как один из сторонников приглашения на российский престол королевича Владислава. При описании дальнейших событий приводятся достоверные сведения, не противоречащие имеющимся в известных источниках.

Завершая проделанный обзор, сравним варианты на предмет полноты сведений о В. В. Голицыне, чтобы определить, каким образом оттачивался и наполнялся объемом его образ в «Истории Российской».

В 1-м, наиболее раннем, варианте появляются факты лишь относительно пребывания Голицына в Тушино. Но из этого следует, что уже тогда у автора сложилось ясное представление о том, каким должен выглядеть князь в его сочинении. 2-й вариант, по существу, раскрывает весь замысел историка. Он описывает деятельность Голицына от Кром до бегства в Тушино. Сцена избрания Василия Шуйского является здесь одним из узловых моментов «новой» биографии князя. 3-й вариант мог бы считаться простым продолжением 2-го, если бы не два обстоятельства. Во-первых, он в своей общей со 2-м вариантом части добавляет отсутствующее в нем новое известие о князе. Имеется в виду «утеснение» В. В. Голицына и И. С. Куракина царем В. И. Шуйским. Во-вторых, уже известный факт участия нашего героя в заговоре против царя теперь несколько иначе интерпретируется — из «примкнувшего» к заговору князь превращается в его главу. Таким образом, становится отчетливой картина работы В. Н. Татищева над вариантами, в ходе которой скупая биография В. В. Голицына обрастает все новыми подробностями, подтвердить связь которых с текстами каких-нибудь источников не представляется возможным.

Остается найти ответ на главный вопрос: для чего «отцу» русской истории понадобилось подобным образом создавать оригинальные известия, и какой интерес для него представляла фигура боярина князя Василия Васи-

[1] НЛ. С. 100; «Московская хроника» Конрада Буссова // Смута в Московском государстве. С. 378.

[2] *Татищев В. Н.* История... С. 338.

льевича Голицына? Ответ на данный вопрос просматривается в самом обзоре. Но попытаемся придать нашим наблюдениям систематичный характер.

Благодаря Татищеву личность князя Голицына предстала перед нами более яркой и исторически значимой, а его политическая деятельность — более последовательной и целеустремленной. Продемонстрируем это на следующем примере.

Описанную в «Истории Российской» деятельность Голицына в течение почти 5-летнего временного отрезка от восстания под Кромами до Великого посольства можно условно разделить на три периода: до воцарения Василия Шуйского, во время его царствования, и в годы междуцарствия. Мы уже упоминали, что татищевские известия приходятся на период правления царя Василия. Обнаруживается, что данный период играет роль связующего звена. Деятельность князя в эти годы объясняет, почему он участвовал в свержении царя и почему был последовательным сторонником королевича Владислава. В последнем вопросе Татищеву помог сам источник — НЛ, который содержал, скорее всего, ложные сведения об участии Голицына в неудачном заговоре против царя. С легкой руки неизвестного автора НЛ князь отправился в Тушино, где его деятельность оказалась связанной с именем королевича. Отъезд Голицына в интерпретации Татищева помогает объяснить дальнейшую политическую позицию князя. По утверждению историка, еще в тушинском лагере Голицын, «прельстяся королевскими великими... обещаниями», стал приверженцем Владислава[1]. Так реальные факты оказались у Татищева естественным образом связаны с вымышленными. Объяснение этому заключается в особенностях творческой лаборатории историка. Как пишет А.П. Толочко, Татищев старался придать «собственным предположениям и конъюнктурам вид сообщений о реально происшедших событиях». Причина этому — стремление остаться в рамках традиционной летописной формы[2]. Такая мотивация фальсификации фактов выдают в авторе историка — рационалиста.

Но основное решение данного вопроса связано с личностью самого Василия Шуйского, к которому обращен особый интерес Татищева. Здесь следует упомянуть о политических взглядах самого историка. Для него — возмужавшего в эпоху петровских реформ дворянина и неплохо образованного высокопоставленного чиновника, — вполне естественным является предпочтение монархии в качестве наиболее приемлемой для России формы правления. «Великие... области, — писал историк, — открытые границы, а наипаче, где народ учением и разумом не просвясчен, а более за страх, нежели от собственного благонравия в должности содержится, тамо... нуждно быть монархии»[3]. Татищев, конечно же, представлял себе фигуру идеального монарха. Из работ забытых сегодня Юста Липсия и Христиана Вольфа Василий Никитич усвоил мысли о необходимых нравственных качествах правителя, пагубности клятвопреступления и т.д.[1] Историк был первым из отечественных авторов, кто рассмотрел проблему избрания монарха в теоретическом аспекте с позиций естественного права и в русле теории общественного договора. По убеждению Татищева, согласно «закону естественному, избрание должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других через поверенных», и такой порядок существует во многих государствах[2].

Обратившись к личности царя, мы видим, что как монарх Шуйский заслужил у Татищева самую нелицеприятную оценку. Царь Василий не соответствует идеалу, и это ключевое положение всего повествования об его царствовании. Историк пишет о клятвопреступлении Шуйского, его прегрешениях перед народом[3]. Поэтому справедливым выглядит позднейшее возмездие «всевышнего судии», одним из орудий которого и стал Василий Голицын. Вероятно, Татищев вставил этого боярина в эпизод «неправедного» избрания Шуйского в качестве соперника именно для того, чтобы затем сделать его исполнителем неотвратимого наказания при свержении непопулярного монарха. А для того, чтобы противостояние Голицына царю выглядело обоснованным, последовательным и закономерным, историк поместил в промежутке между избранием и свержением Шуйского сообщения о его гонениях на Голицына, а также об активном участии князя в неудачном заговоре против царя.

В заключение отметим, что в своем труде В.Н. Татищев определенно отвел В.В. Голицыну роль исторического деятеля второго плана, поскольку это вполне соответствовало отображенной в источниках исторической действительности. Но в силу сложившихся субъективных причин князь оказался изображенным в «Истории Российской» более выпукло, масштабнее и значимее, чем в дошедших до нас источниках. При этом налицо явная тенденциозность и заданность авторской трактовки данного образа. Историк облекает В.В. Голицына в некий ореол благородства и словно забывает, что во время Смуты он изменил трем монархам и не только участвовал в их свержении, но и был причастен к убийству двух из них. Сам же факт подобного видения автором своего персонажа свидетельствует о том, что в целом достаточно стихийный процесс трансформации исторического сознания зачастую бывает тесно связан с намеренным переосмыслением исторической реальности.

[1] *Татищев В.Н.* История... С. 342.

[2] *Толочко А.П.* «История Российская»... С.262–263.

[3] *Татищев В.Н.* История... Т. 1. М.-Л., 1962. С. 362; Историография истории России до 1917 года. М., 2003. Т.1. С. 106.

[1] *Толочко А.П.* «История Российская»... С. 408.

[2] *Татищев В.Н.* Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном // *Татищев В.Н.* Избранные произведения. Л., 1979. С. 146; О трактовке избрания Владимира Мономаха Татищевым см.: *Добрушкин Е.М.* К вопросу о происхождении сообщений «Истории Российской» В.Н. Татищева // Исторические записки. Т. 97. М., 1976.

[3] *Татищев В.Н.* История... Т. 6. М.-Л., 1966. С. 300.



ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ В «МУЖСКОЙ» ИСТОРИИ

М.И. ДЕГТЯРЕВА (МОСКВА)

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ: СОФЬЯ СВЕЧИНА

Над судьбой этой женщины,
как и над судьбой всех русских католиков... нельзя не задуматься.
Россия вправе сожалеть, что
Свечина не была ей ничем полезна.
Д.Л. Мордовцев

...Я знала Вас, и я буду всегда о Вас сожалеть.
Р. Стурдза-Эдлинг

Когда говорят о пропаганде католицизма в России в период правления Александра I, имя Жозефа де Местра оказывается несколько в тени. Это вполне понятно: де Местр не принадлежал к ордену иезуитов, а статус посланника сардинского короля ограничивал его свободу правилами дипломатического этикета. Однако все без исключения исследователи признают, что де Местр оказывал братству значительную помощь. Если бы не его протекция, иезуитам едва ли удалось бы добиться открытия Полоцкой коллегии и сохранить независимость их учебных учреждений. Впрочем, публицистика не исчерпывала заслуг Жозефа де Местра перед орденом. Где бы он ни появлялся, яркий, необычный, он был носителем духа католицизма, его живым воплощением, «лицом». Он не только увлекал, вызывал расположение к католикам, но подчас не уступал своим учителям в искусстве обращения, настойчивости и хватке. По крайней мере, один случай перехода в католицизм с уверенностью можно отнести на его счет — это история жены петербургского генерал-губернатора Софьи Свечиной.

Знакомство де Местра с иезуитами Петербурга началось почти сразу по приезде в Россию — с посещения их учебных заведений и присутствия на экзаменах. Будучи и сам воспитанником иезуитского пансиона, он сблизился с генералом ордена Габриэлем Грубером и выбрал деятельность, наиболее соответствующую его личному опыту, — светского проповедника. Очагами католицизма в Петербурге были пользовавшийся известностью «католического штаба» салон графини Головиной, близкой подруги де Местра — Софьи Свечиной и графов Толстых. В них Местр был желанным гостем, а в популярности у дам мог соперничать с самим Розавеном, о чем свидетельствует графиня Нарышкина: «...графу де Местру отдавали дань большего восхищения и истинного понимания женщины, а не мужчины моей страны, и он отвечал им теми же чувствами. Веселый и занимательный с молодыми дамами, серьезный с теми, кто мог поддержать умственную беседу, он был бы душой общества, если бы не те внезапные приступы полуобморочного сна, которые иногда одолевали его»[1]. Среди приятельниц де Местра особенно выделялись две — Софья Свечина и ее подруга — фрейлина Елизаветы Алексеевны — Роксандра Скарлатовна Стурдза. Так завязались две истории, во многом похожие, кроме одного — отношения к перемене веры.

[1] *Мордовцев Д.Л.* Русские женщины нового времени. СПб., 1874.
[2] Edling la comtesse. Memoirs. Moscou. 1888. P. 99–100.

Софья Свечина родилась в Москве 22 ноября 1782 г., и первые впечатления ее жизни были связаны с патриархальным укладом древней столицы. Ее отец — Петр Соймонов — был сенатором и действительным тайным советником и происходил из старинной московской фамилии, мать — дочерью генерала Ивана Волгина, известного историка, члена Российской академии. Дед Софьи — Федор Иванович — прожил довольно напряженную жизнь между царствованиями Петра I и Екатерины, где, как в капле воды, отражались события эпохи. В ней уместилось все: и мореходная школа Петра, и обучение в Голландии, участие в баталиях и персидский поход, жестокая немилость и ссылка при Анне Иоанновне — до момента, пока Екатерина не назначила вчерашнего ссыльного губернатором Сибири. Переживший славные и трудные времена Отечества, он умер почти ста лет отроду за два года до рождения внучки, которую ждала совсем иная судьба, разделенная на две части — *Россия* и *эмиграция*. Прелюдией к ней могли быть некоторые эпизоды из истории материнской ветви семьи. Дед Софьи по линии матери — Иван Болтин — был оппонентом первого русского традиционалиста — князя Михаила Щербатова и участником масштабного по тем временам проекта, связанного с переводом на русский язык «Энциклопедии» и доведенного его усилиями до XVIII тома, а один из его предков служил послом в Дании. Но все же определяющее значение для формирования Софьи имел переезд Соймоновых в Петербург, вызванный служебным продвижением ее отца. Здесь московская барышня была поручена заботам гувернеров-иностранцев и со временем превратилась в полу-иностранку, настоящую петербургскую барышню.

Детские и юношеские впечатления Софьи впитали дух екатерининского времени. Огни и фейерверки заснеженной площади, представления и спектакли в Зимнем дворце. Маленькая москвичка понемногу врастала в жизнь северной столицы, щедрой на затеи и развлечения. Позднее она вспоминала, что любимым ее детским развлечением было сооружение игрушечных декораций на мраморной поверхности камина. А вхождение в мир культуры началось с балета собственного сочинения с «модным» названием «Пастушка верная и пастушка легкомысленная».

[1] Цит. по.: *Местр Ж. де.* Петербургские письма. 1803–1813. СПб., 1995. С. 13.

Соймонов уделял большое внимание воспитанию дочери, остававшейся в течение десяти лет его единственным ребенком. Софья рано начала изучать языки — говорила по-итальянски и по-английски так же чисто и свободно, как по-французски, по-немецки, как и полагалось, с ошибками, изучала латынь, греческий и иврит. К числу «редких» языков относился и русский. В программе обучения ему было уделено два года, и Софья занималась им с 12 до 14 лет, что отличало ее от большинства сверстников их круга, часто не знавших родного языка.

По замечанию самого известного биографа Софьи Свечиной — графа де Фаллу, Соймонов был «человеком своего века, подверженным всем его заблуждениям». «Он был щедрым, либеральным, относившимся сочувственно ко всякой возможности улучшения социальных условий, но недооценивающим опыт времени, склонным увлекаться утопией, подверженным а-религиозным предрассудкам. Воспитание его дочери проходило в этой обстановке. *Ничто не было упущено нем, кроме Закона Божия* [курсив наш — М. Д.]»[1].

Первые выезды Софьи пришлись на правление Павла. К этому времени она была уже изящной девушкой, чьи манеры, деликатность, красивый звучный голос привлекали внимание не меньше, чем обаятельная внешность. Белокурая, голубоглазая, с мягкими чертами лица, она притягивала взгляды и скоро стала одной из «завидных невест». Отец внимательно выбирал жениха для своей любимицы, пока, наконец, взгляд его не остановился на генерале Свечине — его друге, находившимся на взлете карьеры. Свечину было 42 года, но юная Софья послушно приняла этот выбор, как все, что исходило от отца — самого близкого человека, оставшегося после смерти матери. Брак обещал покой и постоянство, в его пользу было и то, что жених не возражал, чтобы младшая сестра Софьи осталась при ней, на ее воспитании. Вскоре после замужества Софье пришлось пережить вторую в ее жизни утрату — отец, переселившийся в Москву, более тихую и спокойную, впервые за долгие годы оказался предоставлен сам себе и, по-видимому, жестоко страдал от одиночества. Вскоре он умер. Известие о его смерти для Софьи было сильнейшим потрясением. Де Фаллу замечает по этому поводу с чисто французской сентиментальностью: «Не имея уже возможности сказать: *Отец мой!* она воскликнула: *Мой Бог!*» Много лет спустя Софья Петровна, действительно, вспоминала, что поиск Бога начался для нее с потери отца, но она была далека от церкви и обращалась к «абстрактному Богу», не имея никаких ясных представлений. Духовные поиски Софьи пришлись на время, когда иезуиты, обосновавшиеся в Петербурге, начали кампанию по пропаганде католицизма.

[1] Madame Swetchine, sa vie et ses oeuvres, publiees par le C-te de Falloux, Paris. Librairie academique. Didier et C-e, Libraires- Editeurs, 35, Quai des augustins et a la Librairie d'Auguste vaton, rue du Bac, 50. 1860. P. 18.

Успеху иезуитских проповедников способствовало то, что петербургский свет до начала войны 1812 г. был *франкоязычным*. И дело было не только в «языковом барьере», разделявшем православных священников с аристократической частью паствы; язык определял круг чтения, формировал систему представлений, самоидентификацию. Общество, где Софья Свечина занимала заметное положение — жены столичного генерал-губернатора и хозяйки большого дома, в то время, как никогда прежде, испытывало влияние французской культуры. Эмигранты, устремившиеся в Петербург, заполняли салоны, и лакеи произносили имена, еще недавно звучавшие в Версале: принц Кондэ, герцог Ришелье, граф Ланжерон, княгиня де Тарант, Растиньяк, Торси, Ла Гард, д' Отишан, Ла Мезонфор, Сен-Приест, маркиз де Ла Ферте, граф де Блака и др. Всем им высший свет старался оказать знаки гостеприимства.

Еще до приезда де Местра здесь уже появился аббат Николь — иезуит и признанный педагог. Его пансион очень скоро стал одним из самых престижных образовательных учреждений столицы (плата за обучение в нем составляла 2000 руб в год). С тех пор, как Людвиг Вюртембергский доверил аббату воспитание своего сына, к нему устремился поток именитых родителей, готовых передать ему своих наследников. На попечении отцов-иезуитов оказались отпрыски известнейших фамилий: Трубецкой, Толстые, Галицины, Любомирский, Нарышкин, Гагарин, Орлов, Меньшиков, Кочубей и др. Судьбы этих людей впоследствии сложились по-разному. Среди выпускников пансиона аббата Николя и иезуитского Коллежа, а со временем — и их родственников, нашлось место и для будущих декабристов (М. Ф. Орлов), и для тайных католиков (И. С. Гагарин). Некоторые из них предпочли впоследствии эмиграцию. Аббат Николь стал одним из близких знакомых Софьи Свечиной. Это знакомство продолжалось многие годы — и тогда, когда они «поменялись ролями» — аббат вернулся во Францию, а Софья стала эмигранткой — до самой смерти знаменитого воспитателя. Стоит упомянуть и о менее известном ее знакомом — кавалере Доминике д'Огаре. Много лет спустя в одном из писем, стараясь воздать должное забытому другу, Софья напоминала о том, что «*честь распространения католицизма среди русских*» принадлежала ему *не меньше*, *чем графу де Местру*[1]. Сравнивая д'Огара с де Местром, она одновременно подчеркивала и роль Жозефа в пропаганде католицизма, что не удивительно, поскольку ее обращение произошло после сближения с де Местром и под его руководством.

Французы подготовили «почву», *культурную основу* для последующего перехода в католицизм Софьи Свечиной и других представителей высшего света. Светские обязанности предписывали возможность свободного обсуждения литературных новинок, преимущественно французских. Дневник Софьи свидетельствует о том, что за два года до приезда в Россию Ж. де Местра, в 1801 г., она читала многое из того, что заполняло салоны и гостиные —

[1] Madame Swetchine... P. 30.

Фенелона и m-me Жанлис, Руссо и Мармонтеля, m-me де Сталь и Мишо. Вместе с привычкой к чтению появилась привычка *думать* и *чувствовать* по-французски, и так было у большинства людей из ее окружения.

Приглашаемые по особым случаям в дома придворных и знати, приходские священники часто были воспринимаемы как принадлежность иного мира, отделенного от блестящего светского круга тысячью культурных и социальных барьеров. Иезуиты, конечно же, знали об этом от дам, сетовавших «на отсутствие общего языка» с исповедниками. В небольшой, но крайне пристрастной работе «О нравах и религии русских» де Местр не упустил случая привести примеры отдаленности православных священников от наиболее именитой и состоятельной части дворянства Петербурга. От него не ускользнуло и едва скрываемое пренебрежительное отношение к духовенству, распространенное среди его высокопоставленных знакомых, и колебания в отношении православной веры. Он, не без видимого удовольствия, воспроизводит услышанные в свете анекдоты, повествующие о незавидном положении[1] и невысоком, с точки зрения света, уровне образования приходских священников, пересказывает устрашающие истории из жизни религиозных сект и говорит о крайнем духовном «невежестве» народа. Примечательно, что одну из историй — о сектах, во главе которых стояли старицы, почитавшие себя безгрешными — он воспроизводит со слов княгини Александры Галициной (урожденной Протасовой), в последующем перешедшей в католицизм. При этом сам де Местр только однажды выезжал за пределы Петербурга, и *единственным источником сведений* для него служили светские разговоры. Имея весьма отдаленное представление о России, в «Четырех главах о России» (1812 г.) он, тем не менее, делает безапелляционное заключение о «плачевном состоянии» православной церкви и о том, что со времен Петра I, подорвавшего авторитет духовенства в глазах общества и лишившего его поддержки со стороны влиятельных семей, *суеверие соседствует с обрядоверием*. В письме к кавалеру де Росси он мог позволить себе еще большую откровенность: «*...там, где служители религии суть пустое место, пустым местом является и сама религия*»[2]. Жозефу было известно, что его корреспонденция подвергается высочайшей перлюстрации.

В контексте рассуждений из «Четырех глав» о воспитательном значении католической церкви для всей Европы, вероятно, выводы о *необходимости латинизации* России напрашивались «сами собой». Зная о либеральных политических вкусах Александра, де Местр поставил и успех преобразований

[1] В «одном из лучших домов» Петербурга он узнал, что быть сыном священника в России — менее почетно, чем сыном крестьянина: Religion et moeurs des Russes. Anecdotes recueillies par le comte Joseph de Maistre et Le P. Grivel. Paris. Est Leroux, Editeur. 1879. P. 13.

[2] Кавалеру де Росси. 7 (19) декабря 1810. // *Местр Ж. де*. Петербургские письма. С. 161.

в зависимость от того, насколько народ «проникся и руководствуется духом христианства». Однако Александр не так-то просто поддавался влиянию.

Петербургские дамы не могли с виртуозностью своего государя *играть с католицизмом, не связывая себя обещаниями*. Очарованные образованностью и обходительностью иезуитских проповедников, они наперебой приглашали их в свои гостиные. И только немногие могли подобно Роксандре Стурдза сохранить приверженность православию. Несмотря на возникшее между ней и де Местром взаимное расположение, Жозеф встретил непреклонность в отношении всех попыток посодействовать ее обращению в католицизм. Роксандра допускала дружбу, но не духовное кураторство. Независимость была одним из самых удивительных качеств этой девушки. Самостоятельность и осмотрительность этой молодой дамы, не меньше, чем ум и обаяние, сделали де Местра ее верным поклонником. Установившаяся между ними переписка продолжалась много лет. А во время пребывания в Петербурге де Местр часто предпочитал общество Роксандры Скарлатовны компании дам, искавших его внимания и куда менее твердых в вопросе о перемене веры.

Как свидетельствуют опубликованные де Фаллу письма, Софья одно время слишком часто оказывалась в роли посредницы в отношениях де Местра и Роксанды Стурдза. Жозеф был женат и имел троих детей, но его долгая, с 1803 г., разлука с женой и дочерьми вызвала в романтичной Софи порыв довольно провокационного сочувствия[1]. К счастью, ее друзья умели справляться с душевными волнениями и удерживать их в русле твердых правил. Наконец переполнявшие Софью смутные чувства выплеснулись в более желательную для ее воспитателя устремленность — к самоопределению в отношении католической церкви. И все же движение это было непростым, и сохранившиеся документы вполне раскрывают роль Жозефа де Местра в истории этого обращения.

Письма Софьи Свечиной к Роксандре Стурдза позволяют предположить, что дружеские отношения между ней и де Местром установились еще до войны. В 1811–1812 г. г. без упоминания о де Местре не обходилось уже ни одно послание. В эти годы жизнь принесла Софье неожиданное разочарование. Стало известно, что из-за болезни она не сможет иметь детей. Отъезд мужа в действующую армию в 1811 г. усугубил чувство подавленности. И, хотя Софья, приученная отцом к деятельному времяпрепровождению, с четким распорядком и хорошо расписанными обязанностями, старалась найти себе полезное применение, болезнь и слабость брали свое. Днем она погружалась в заботы, связанные с воспитанием приемной дочери — Надин, какое-то время была даже Президентом Санкт-Петербургского женского общества по-

[1] В письме к Роксандре Стурдза (август 1813 г.) она сообщает об эффекте, произведенном на Жозефа ее рассказом о том, что один из католических соборов одобрил случай развода в деле некоего немецкого барона. Однако рассказ заканчивается сокрушенной констатацией: «*Рим всегда стоит между ним и его сердцем*». Madame Swetchine... P. 85.

жертвований в пользу армии, а вечерами, оставаясь одна и подверженная частым недомоганиям, испытывала потребность в поддержке и общении. Именно в это время Жозеф де Местр становится частым гостем в доме Свечиных, и его начинают принимать отдельно от остальных гостей. Первое время он избегал затрагивать вопросы, касающиеся веры, понадобилось время для того, чтобы возникла привязанность и доверие — необходимые условия для откровенных бесед.

Трудно сказать, как часто Софья бывала в церкви. Но одно из сохранившихся писем свидетельствует о том, что, вопреки ее последующим утверждениям, что она «искала и *не находила Бога*», православная служба отзывалась в ней и оставляла ощущение благодати. Это письмо не сразу обратило на себя внимание, и долгое время удивляло одно обстоятельство. Если в устах Жозефа де Местра утверждения о «слабости православного духовенства» являются вполне ожидаемыми, то Софья могла бы знать о нем несколько больше, тем более, что эти события относились ко времени Серафима Саровского и Филарета Московского. Правда, слава о старце Серафиме разошлась уже после войны и его выхода из затвора. А вот Святитель Филарет (Дроздов) в 1809 г. был переведен в Петербург и в период с 1811–1819 гг., в сане архимандрита, являлся ректором Санкт-Петербургской Духовной академии. Среди писем Софьи в самом деле обнаружилось такое, где чувства, вызванные службой Филарета, непроизвольно вылились на бумагу: «Нигде столько вещей не располагало к молитве, как во время освящения часовни князя Галицина, на котором я побывала сегодня утром. Друг мой, я много думала о Вас, сожалея, что вас там не было. Никогда прежде не видела я ансамбля более удивительного. Часовня такой изысканной формы, украшенная с такой простой элегантностью, в сумерках едва коснувшегося ее рассвета, мелодичные голоса, раздающиеся неведомо откуда, *благочинная торжественность службы, Филарет — в центре всего этого*, посреди тридцати собравшихся, тишина, имя которой — *глубочайшее почтение и трепет*, наполняющий тебя, и, наконец, друг мой, — *истинное волшебство, ощущение которого еще до сих пор владеет мной*. О! Насколько чувства, подобные этим, способствуют молитвенному погружению. Я в самом деле ощущала, будто бы стою одна, и рассталась с этим лишь для того, чтобы насладиться созерцанием людей таких разных, охваченных одним и тем же чувством, владеющим всеми. *Только религиозные чувства могут объяснить это состояние*. Невозможно перестать удивляться этому — *одни и те же слова вызывают движение души и в простых горожанах, не ведающих, что такое уединение, и еще сегодня казавшихся легкомысленными, это трогает души расслабленные и, возможно, испорченные, созданий, опьяненных благополучие*» [курсив наш — М. Д.][1].

[1] Madame Swetchine... P. 69–70.

Едва ли Жозеф де Местр последовал примеру Софьи: у его друзей-иезуитов архимандрит Филарет вызывал едва сдерживаемую ярость. Филарет был фигурой, по-своему, неповторимой. Уже тогда современников впечатляло редкостное соединение необыкновенного духовного дара и высокой образованности. Его, владевшего греческим и древнееврейским, свободно писавшего по-французски и по-русски, одаренного сверх того и литературными способностями, просто рискованно было бы упрекать в *невежестве*, и иезуиты обвиняли его в «несправедливости». Особое негодование вызвало то, что, будучи ректором Духовной Академии, Филарет допускает к преподаванию гуманитарных — философских — дисциплин преподавателей-немцев (протестантов), не делая подобного исключения для «янычара» иезуитов — отца Розавена[1].

Между тем отношения де Местра и Софьи становились все более доверительными и близкими. И хотя она часто шутливо относила его внимание к себе на счет Роксандры Скарлатовны, из писем ясно, что присутствие де Местра, мало-помалу, стало для нее самой не только привычным, но и необходимым. В письмах 1813 г. к Роксандре Стурдза эта привязанность чувствуется особенно остро: «Вы уехали только три недели назад, для него это чересчур долгий срок [...]. Как в песенке поется, без ростка любви наскучит даже при дворе; [...] но не отнимайте у бедных их пропитание, пусть у каждого будет то, что ему причитается. Вчерашний вечер был очень нежным. Когда пришел Месье де Местр, мне немного нездоровилось, он был умилен, стало быть, больше возвышенного, больше — догмы, больше дружбы и прощения. Мы смеялись, беседовали, разговорились и, наконец, каждый отправился спать, довольный собой и другим[2].

«Граф де Местр приходил повидаться со мной, но не застал меня [...]. Он скучает по Вас и, Вы знаете, дорогая, это — новый повод для общения между ним и мной. Я хотела бы, чтобы дружба, которую я испытываю к нему, сделала мое общество приятным для него, однако следует присоединить к нему Ваше. Между нами он выглядит довольным[3].

Софья приобрела друга, а Жозеф ни на минуту не забывал о задачах ордена. Он оказался рядом в самый удобный момент. В эти годы в настроении Софьи становится заметна перемена. Если раньше она была в большей степени связана кругом семейных и светских обязанностей, теперь в письмах к друзьям она все чаще задает вопросы духовного характера, и особенно ее волнует все, что связано с существованием души в новом качестве, после смерти. Трудно сказать, чем это было вызвано в большей степени — пережитой потерей родителей или слабым состоянием здоровья, войной и причиненным ей разорением или уходом знакомых и друзей, среди которых была и принцесса

[1] Religion et moeurs des Russes. P. 111–112.
[2] Madame Swetchine... P. 80–81.
[3] Ibid. P. 84.

де Тарант. Но в ее корреспонденции часто встречаются такого рода размышления: «Где будет личное своеобразие, без которого бессмертие, как говорится, напрасный дар, если памяти больше не будет, если «я» перестанет существовать? [...] Никогда не заставят меня поверить в то, что я не испытаю больших чувств, встретив душу моего отца, чем — душу китайца, с которым, быть может, и проделала большое путешествие. Я хорошо знаю, что следует остерегаться судить о небесных вещах в понятиях земных, но не являются ли они только тенью или эхом небесных? И если это только тень, только эхо, не есть ли это бледный слепок, лишенный ясности черт, но все же всегда верный?»

Интерес Софьи к де Местру был вызван не только личными его качествами и успехом в обществе, но и тем, что он был автором книг. Все началось с бесед, желания познакомиться с размышлениями по волнующим ее вопросам, литературой, написанной, что немаловажно, на доступном ей французском языке. Де Местр со своей стороны проявил к этому живое участие, а затем стал направлять ее интерес в нужное русло. Ей не пришлось искать ответов и духовного руководства у священника. Ее друг незаметно для нее самой взял на себя полную заботу об ее духовном устроении. Он был при ней почти неотлучно — и в Петербурге, и во время выездов ее в сопровождении сестры в Петергоф. Письма к Роксандре Стурдза 1813–1814 гг. сохранили свидетельства того, что санкт-петербургские вечера де Местра проходили не только в компании графа де Блака и сенатора Томары. Летом их беседы с Софьей об истории времен Ветхого Завета, о грехе и искуплении заканчивались далеко за полночь. Просматривая эти письма, невозможно не отметить, что скоро Софья оказалась под неусыпным контролем. Отеческая нежность де Местра легко переходила во властность, и некоторые письма оставляют впечатление, что де Местр так подчеркивал физическую слабость своей подопечной, что подчинение ему казалось и ей самой оправданным и понемногу входило в привычку: «Уже более часа назад граф де Местр, *тоном, полным власти, отправил меня спать* [...]он говорит мне, что у меня жар, хотя, право же, ничего особенного; это всего лишь ром, от которого я немного охрипла и который вызвал кашель» [курсив наш — М. Д.][2].

И все же, несмотря на все усилия по обращению Софьи, были моменты, когда ее сознание как будто ускользало из-под опеки, и тогда внешне незначительные эпизоды производили на нее сильное впечатление. Так, однажды повстречав в окрестностях своего имения деревенскую женщину, она спросила ее, не принадлежит ли та к раскольникам, поскольку в округе было множество сект. Ответ — *«Нет, матушка, я старой дорогой иду, как Господь благословил»* — поразил ее своей безыскусностью, и она признавалась Роксандре Скарлатовне, что ее все больше привлекают самые *простые истины, открытые даже младенцам*

[1] Madame Swetchine... P. 95–96.
[2] Ibid. P. 124.

В ее окружении был человек, способный поддержать ее в момент душевного смятения, когда притязания католической классики, вопреки ожиданиям де Местра, вдруг всколыхнули ее *живое, интуитивное* влечение к православию; им был Александр Стурдза. Даже еще в 1815 г., на волне успеха Юлии Крюденер, имевшей большое влияние на царя, Софья, по-видимому, обращалась к нему за разъяснениями происходящего, тем более, что основные известия об отношениях государя и немецких мистиков поступали от Роксандры. Александр Скарлатович тогда как раз готовил книгу «Размышления о духе и доктрине Православной Церкви». И вот в одном письме к Роксандре у Софьи вдруг вырывается признание: «Известно ли Вам, что Ваш брат делает меня *более истинной православной*, чем я когда-либо была?»[1] [курсив наш — М. Д.]. Но Стурдза был так поглощен полемикой с католицизмом в публицистике, что, вероятно, просто не заметил, насколько важен был этот момент для Софьи Петровны. Ее влечение к православной вере не получило поддержки и очень скоро было попросту подавлено волей ее наставника в католицизме. «Всевидящее око» де Местра моментально уловило сомнения и робость, и на Софью обрушился целый поток укоризны. Жозеф искусно старался внушить ей чувство вины и вернуть ее в положение *ведомой*: «Сударыня, Вы *не идете по тому пути, который избрали. Вас давит усталость*, Вы стенаете, но не имеете ни целительного елея, ни утешения; *Вы попали в сети, и я не знаю, какого рода холод грызет одну за другой клетки Вашего сердца, бессильного вырвать Вас и из плена Вашего сознания, и Вашей гордости*[2].

Сопровождающие это письмо события июня 1815 г. имели самые серьезные последствия. Прямое давление Жозефа, так явно ощутимое в этом письме его к Софье, приняло форму практического дидактизма. И вот, Софью Петровну, в компании ее приемной дочери, на время изолировали от возможных влияний со стороны православных друзей, создав условия для «знакомства» с основами католического вероучения. Лето она провела в имении князя Баратынского на берегу Финского залива. Шестидесятилетний генерал Свечин, чье здоровье резко ухудшилось, вынужден был остаться в Петербурге и терпеливо дожидаться возвращения жены в столицу. Все руководство по подготовке обращения Софьи осуществлял Жозеф де Местр.

В отношении программы чтения примечательно письмо-инструкция, удивляющее не столько содержанием подборки, сколько все тем же императивным тоном: «*Сейчас Вы прочтете* Флери, осужденного государем-понтификом, для того, чтобы в точности узнать, чего Вы придерживаетесь при власти государя-понтифика, это очень важно. Но, когда Вы закончите, сударыня, я советую Вам прочесть опровержение Флери доктором Маршетти; *затем Вы прочтете* Феврониуса, чье произведение направлено

[1] Madame Swetchine... P. 136.
[2] Ibid. P. 174.

против Рима и после — *анти-Феврониуса* аббата Захария, где он выступает в качестве судьи, слышавшем аргументы обеих сторон. *Затем, если Вы доверяете мне, сударыня, Вы выучите греческий* для того, чтобы точно узнать, что означает эта знаменитая *гегемония*, которую Святая Ирина в III веке, следуя древней традиции, приписывает Римской Церкви, чтобы понять, что означает это слово — первенство Римской Церкви, или княжество Римской Церкви, или юрисдикция Римской Церкви [...]»[1].

Из письма С. Свечиной к герцогине Лианкур следует, что в программу чтения входили еще и любимые де Местром Боссюэ и Фенелон[2].

Что могла Софья? Она и не догадывалась, что ее добрый знакомый бывал необыкновенно-рассудочным, мог умело и вполне сознательно производить *нужное* впечатление, быть настоящим «игроком» и проводить сложные партии. Если бы ей случилось взглянуть на его дипломатические депеши, где эти качества раскрыты довольно полно — де Местр без смущения делился со своим корреспондентам некоторыми профессиональными приемами и тонкостями изобретенных им комбинаций — возможно, исход этой истории был бы иным. Но Софья доверяла ему и буквально поэтизировала его: «Ничто не могло удержать его от преданности и укротить его *искренность*. Нет лучшего критерия преданности, чем *искренность*»[3]. В отношениях с ней де Местр, и в самом деле, взял «исключительно-*доверительную*» интонацию Именно Софье он поверял свои переживания, и это не могло не производить на нее впечатления. В одном письме к Роксандре Софья намекает даже на то, что Местр говорил с ней откровенно и о душевных волнениях: «... он сказал мне несколько раз о вещах столь нежных [...] Испытайте свой разум. — Ну как? — Нет, не угадали. Обратитесь к Вашему сердцу и следуйте за моим. Я довольна, Вы угадали»[4]. Словом, перед ней был не католический миссионер, а *близкий друг*, и она следовала за ним, боясь *разочаровать его* и *лишиться его внимания и заботы*. Де Местр безошибочно угадал «нерв», позволявший ему удерживать и направлять Софью — ее хрупкость и одиночество. Личные, психологические мотивы этого обращения оказались исключительно важными.

Несмотря на кажущуюся потребность друг в друге и одинаковую близость всех троих — Софьи, Жозефа и Роксандры, когда дело дошло до подготовки к переходу из православия в католичество, Софья приняла предписанные ей условия строгой секретности и ни словом не проговорилась об этом ближайшей подруге. В письмах за июнь и июль 1815 г. она лишь упомянула о том, что вместе с Наденькой находится в некоем доме, где бывала Роксадра, но это вполне можно было принять за загородный отдых: «Я нахожу здесь

[1] Madame Swetchine... P. 174–175.
[2] Ibid. P. 187.
[3] Ibid. P. 53.
[4] Ibid. P. 104.

все, что мне нужно: уединение и солнце. Усталость от шума и суеты пустила во мне такие глубокие корни, что многие дни покоя и свободы не вернули их еще моей голове и нервам»[1].

Для прохождения программы чтения, составленной де Местром, летних месяцев оказалось недостаточно, и Софья продолжала занятия осенью и зимой 1815–1816 гг.

Об обстоятельствах ее обращения известно не так уж много. В ее личном архиве сохранились кое-какие заметки, обрывочные, несколько сумбурные, характеризующие ее душевное состояние, но не содержащие почти никаких фактических свидетельств. В одной из тетрадей до нас дошел текст на французском, без какого-либо предисловия, фрагмент которого стоит процитировать: «Счастлив день, когда сумерки моего разума были рассеяны [...]. Безоблачная ясность еще не проникла туда, но первый луч, предшествующий ей, показал мне путь, по которому я должна следовать [...]. Господь мой! Да свершится Ваша воля! Примите меня не для того лишь только, чтобы подчинить, но для того, чтобы полюбить, любить нежно, так, чтобы быть единственным руководителем моих действий и моих мыслей! Вам я обязана сегодня первыми минутами счастья, которое вкусила впервые за много лет; продлите их, Вы, Отец Милосердия! [...] Неужели я обречена потерять веру, так глубоко затронувшую меня, и снова попасть в плен неясности и сомнения? Несомненно, я была бы этого достойна, но, Господь мой! соответствуют ли Ваши милости нашим достоинствам, не бесконечны ли они, как Вы сами? Я бросаюсь в Ваши объятья, я умоляю Вас, я приношу Вам мои слезы и мою радость, соблаговолите довести до конца мое просветление, внушите желание жить лишь Вами и силу, в которой я нуждаюсь, чтоб не свернуть с пути. Прошу Вас, именем сына Вашего, Господа нашего Иисуса Христа! Его Крестом и смертью надеюсь я этого достичь»[2].

Как видно из этого отрывка, Софья сохранила присущую ей «непосредственность» интонации в обращении к Богу. В этом отношении весьма показателен ее собственный комментарий из письма более раннего времени к Роксандре Стурдза: «Меня постоянно высмеивают за то, что определяют как мои дружеские отношения с Богом, однако же, следуя тому, что ни одно из любящих существ не бывает оскорбленным в своем доверии, это справедливо — я обращаюсь к нему для того, чтобы рассказать о моих огорчениях, радостях, желаниях и разочарованиях. Я называю это tete-a-tete в полном смысле слова, и сожалею лишь о том, что это монолог»[3]. Но появилось и нечто новое - стиль отрывка, с характерным обращение к Богу на «*Вы*», уже выдает влияние католических авторов и сентиментальной французской формы.

[1] Lettres de Madame Swetcine, publiees par le comte de Falloux de l'Academie francaise I. Paris a la Librairie Academique, 1862. P. 147.
[2] Madame Swetchine... P. 185–186.
[3] Ibid. P. 123.

В рассказе о сладостном озарении души светом католицизма угадываются и чувства героинь романов того времени, и умиленная, растроганная манера Жана-Баптиста Массильона.

Конечно же, Софье оказались близкими католическая *эстетика и стиль*. Не малое значение имел и язык — Софья знала и русский, но все же недостаточно. Пушкин, в отличие от нее в совершенстве владевший родным языком, сохранил, благодаря этому, непосредственность, позволявшую ему «перепрыгивать» через «бытие в культуре» — культуре французской — к тому, что отзывалось в нем *чувством истины*. Ни французское образование, ни дендизм не помешали ему однажды откликнуться на стихотворный призыв Филарета[1], без малейшего опасения выглядеть смешным в глазах

[1] Речь идет об обмене стихотворными посланиями между А.С. Пушкиным и святителем Филаретом (Дроздовым) по поводу пушкинского стихотворения «Дар напрасный, дар случайный».

Пушкин А.С. — 26 мая 1828.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Филарет — Пушкину

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!

Стансы (*Пушкин — Филарету***)**

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

блестящего окружения. Софья, не владевшая родным языком так же свободно, легче восприняла *истины, «отлитые в тигле культуры», подобающей ее положению и не угрожавшие изменением привычного уклада жизни*. А вот *осознанное обращение к православию* потребовало бы от нее, действительно, серьезных усилий и опосредующей поддержки со стороны православных друзей. Их не оказалось рядом.

Сам переход выглядит «сыгранным, как по нотам». Погружение в католическую литературу, постоянное присутствие бдительных наставников. При всей физической слабости, Софья была достаточно цельным человеком. Зыбкость мистицизма и сектантство были не для нее. Обладая прямым характером, она могла выбрать только «*проверенное» и, выбрав, уже не могла помыслить об обращении к другой возможности*. Это *не было выбором истины*, это был *женский выбор*, продиктованный обстоятельствами. Сделав его, Софья стала наделять православие отрицательными чертами, что, видимо, помогало ей забыть о недавних муках. Остается только удивляться тому, как переменилась она в отношении святителя Филарета. И вот уже из-под ее пера выходят «признания» о том, что ее переход в католицизм определило впечатление от его книги «Разговор между испытующим и уверенным в православии». Ее отзывы о работе Филарета раскрывают *механизм выбора*. Читая эти «откровения», невольно обращаешь внимание на то, что содержание *духовного* произведения измеряется не подходящими «инструментами» — так называемые «*исторические аргументы*» и искусство *рационального обоснования*, то есть формальная *логика,* в этом случае «попадают мимо цели». Высказывания Софьи свидетельствуют лишь о присоединении автора к *католической* дискуссионной традиции, придающей «историческим данным» значение *исчерпывающего* доказательства, как если бы вопрос о *духе христианства* и в самом деле мог быть решен установлением «*юридической* правопреемственности» современной Церкви и Церкви первых веков. Простота слова Филарета теперь для нее — лишь свидетельство его «неосведомленности». Но чем больше Софья подражает манере французских философов и докторов богословия и уверяет воображаемого читателя в том, что она никогда не могла бы принять что-либо *на веру, без знания наверняка*, тем очевиднее, что рациональный *анализ* привел ее к *умственной убежденности*, далеко отстоящей от *условия веры — доверия*. Для ее образованных православных современников блеск

(В академическом издании сочинений Пушкина последняя строфа этого стихотворения дается так:

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

См.: *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений. Изд. 4-е. Л.,1977. С.157 — Прим. ред.)

и стройность аргументов католических авторов, если и вызывал литературное удовольствие, не мог ничего прибавить к тому, что во время Пасхального богослужения в Иерусалиме Священный огонь на протяжении многих веков сходит *тогда*, когда оно совершается архиереем восточной Церкви.

В дневниках Софьи Петровны сохранилась и еще одна запись, указывающая на дату отречения от православия: «Мое последнее *греческое причастие*, 29 июня 1815 г., в капелле Петергофа, было совершено с единственной целью — рассеять те колебания, какие у меня еще остались. Милостивый Господь не ошибся в выборе средства, и 27 октября (8 ноября) этого же года я совершила свое отречение» [курсив наш — М. Д.][1].

Известно, что при отречении исповедь Софьи Свечиной принял иезуит — отец Равиньяк. Возможно, ее обращение в католицизм произошло не без участия и отца Розавена. Де Фаллу, например, упоминает о том, что, когда появился первый Указ, от 3 января 1816 г., запрещавший деятельность ордена в обеих столицах, Софья открыто признала, что является католичкой, и даже навещала Розавена в его келье, доставляя ему и его братьям облегчение, «какое только было в ее силах».

Известие о переходе Софьи в католицизм не отразилось на отношении к ней Александра I; и царь, и его семья продолжали выказывать к ней расположение. Его переписка с Роксандрой Стурдза также свидетельствует о том, что личное отношение к Софье Свечиной осталось неизменным. Однако при дворе поступок жены генерала Свечина послужил сигналом для оживления его противников. В Петербурге упорно ходили слухи о том, что генерал будто бы был подстрекателем убийства Павла I, избежавшим осуждения. Первое время Свечин сохранял спокойствие, не считая нужным опровергать толки, но, когда он увидел, что его давние противники приобретают расположение царя, его гордость была уязвлена, и он принял решение уехать из России. Казавшийся смущенным этим известием Александр выразил свои сожаления мадам Свечиной, однако не стал удерживать супругов и все же просил Софью писать ему во время путешествия. Переписка между ними продолжалась до самой его смерти. Известно, что позднее Николай I счел нужным вернуть Софье ее письма и отослал их в Париж. По данным де Фаллу, еще в 1845 г. эти документы читал *некий выдающийся человек*, но в бумагах Софьи не обнаружено ни строчки. По одной из версий, переписка могла погибнуть во время беспорядков 1848 г.

В том же 1816 г. определилась и участь Роксандры Скарлатовны Стурдза. Она уже не вернулась в Россию за императрицей, став женой веймарского дипломата графа Эдлинга, с которым они познакомились в Вене. С тех пор, до возвращения в Россию, Роксандра почти постоянно жила в Веймаре, а Софья путешествовала по Европе.

Первая поездка Свечиных была «пробной». Они провели в Париже зиму 1816–1817 гг. И здесь Софья нашла многих знакомых из числа бывших эмигрантов — маркиза д'Отишана, графа де Ла Гарда, графа де Блака. Де Местр из России написал о ней де Бональду рекомендательное письмо, где уверял его: «Вы никогда не увидите большей нравственности, духовности и образованности, соединенных с такой добротой». И не разочаровал своего корреспондента. Де Бональд подтвердил: «Это подруга, достойная Вас, и один из лучших умов, какие я только встречал, произведение самых блистательных сердечных свойств, какими может быть наделена смертная».

[1] Madame Swetchine... P. 186–187.

Местом, где Софья появилась раньше всего и оказавшимся наиболее близким ей по духу, был салон герцогини де Дюрас. Там она впервые увидела старинную знакомую Жозефа де Местра — мадам де Сталь, там собирался «цвет» монархической мысли — Шатобриан и Абель Ремюза, виконт де Монморанси и Моле, и там ее ждал самый теплый прием.

После первого путешествия Свечины ненадолго вернулись в Россию, чтобы в 1818 г. уехать снова. Только через много лет Софье доведется еще раз побывать в Петербурге — с сентября 1834 до марта 1835 гг., — а генерал покидал Россию навсегда.

Переход в католицизм не произвел в образе жизни Софьи заметных перемен. Напрасно было бы искать последствий этого обращения в отказе от прежних привычек, посвящении себя служению нуждающимся или попытках духовного перерождения. Различие с предыдущим состоянием заключалось в том, что она оказалась в культурно-близкой среде, и теперь не надо было играть в таинственность. Она по-прежнему вела жизнь светской дамы, а, оказавшись за границей, стала уделять больше времени осмотру достопримечательностей, посещению музеев, изучению истории искусства. Особенно сильное впечатление произвели на нее художественные собрания в Риме, Генуе, Турине и Неаполе. Это было размеренное и приятное времяпрепровождение, иногда — в компании старых друзей из России, например — графини Нессельроде. Время от времени слабое здоровье напоминало о себе, и тогда Софья отправлялась на воды в Карлсбад, в Богемии, или гостила в фамильных замках друзей.

В 1817 г. в Европе оказался и Жозеф де Местр. Они не встречались, но в переписке Софья выражала ему сочувствие и в связи с несбывшейся надеждой получить назначение папского нунция, и по поводу смерти брата. После Петербурга де Местру недоставало внимания знакомых. В одном из писем он сетовал на то, что отправленные с оказией его письма к ней в Москву (еще до ее окончательного отъезда) и в Вену остались без ответа. Софья помнила о нем, и его портрет всегда был перед ее глазами между портретами графини Нессельроде и герцогини Дюрас, но теперь ее принимали в аристократических гостиных. Де Местр же, будучи известен как писатель, довольствовался скромными служебными обязанностями при Сардинском дворе. Может быть, это несколько охладило былую дружбу, а, может быть, жизнь

[1] Madame Swetchine... P. 205.

среди католиков лишила ее отпечатка *исключительности*. Или просто прошло время, и былое неравенство этой дружбы стало заметно и для самой Софьи? Теперь де Местр стал одним из ее корреспондентов.

В 1825 г., через четыре года после смерти Жозефа де Местра, она устала путешествовать и вернулась в Париж, обосновавшись на улице Варенн, неподалеку от герцогини де Дюрас. В обстановке все было по-прежнему — салон, библиотека, картины, привезенные из России. Так же неизменны были и консервативные предпочтения. В эти годы Софья познакомилась с Доносо Кортесом. Вероятно, он напоминал ей де Местра. Кортес испытывал к ней более чем просто симпатию — глубокую привязанность. Европейский либерализм, напротив, не вызывал у Софьи особого интереса. В письме к Роксандре Стурдза, написанном в 1824 г., по поводу событий в Греции, она признается: «Нынешняя борьба Греции, столь выдающаяся, столь героическая и вызывающая у Вас такие справедливые, такие святые надежды, вызывает и во мне такое же горячее сочувствие. *Либералы Европы большую часть времени оставляют меня* [...] *равнодушной или возмущают*; либералы *религии и национальной независимости* в Греции кажутся мне заслуживающими высшего восхищения»[1].

В отношениях с Роксандрой у них, похоже, не возникало причин для взаимных расхождений. Даже если Роксандра Стурдза-Эдлинг не одобряла поступка Софьи, она проявляла сдержанность, а Софья умела угодить дружбе и найти повод для выражения добрых чувств, обходя острые вопросы.

Труднее было с католическими друзьями из Петербурга, осудившими ее эмиграцию. В этом отношении любопытны ее письма к княгине Александре Галициной. В свое время та оказала ей большую поддержку в период, предшествующий ее обращению в католицизм. Княгиня даже сама составила специальное молитвенное обращение о помощи подруге. Сама она перешла в католицизм еще в 1806 г. под влиянием сестры — Е. П. Растопчиной и аббата Сюрюга. Но отъезд Софьи из России даже тайным католикам показался излишне демонстративным.

В письме от 1 марта 1831 г. Софья писала княгине: «...Вы — единственный человек в России, который способен меня ранить или укрепить, [...] если я спасена, я чувствую, что Вам я обязана в большей степени моим спасением, я чувствую, что Вы проявляете интерес к моему возрастанию, как если бы Вы были мой матерью»[2].

Именно Александре Галициной — самому значительному для нее человеку — Софья объявляет в другом письме, от 17 октября 1831 г.: «Практические соображения говорят в пользу продолжения моего пребывания здесь [...] Признаюсь Вам, что день ото дня, по мере того, как я все больше приближаюсь к Богу, *призрак мнения* теряет свое значение в моих глазах; я ценю вещи

[1] Madame Swetchine... P. 277.
[2] Lettres de Madame Swetchine... P. 443.

лишь тогда, когда нахожу их ценными, подвергнув их испытанию в душе. Необоснованные суждения, продиктованные предрассудками или антипатией, в моих глазах не в силах оказать сопротивление этому испытанию»[1] [курсив наш — М. Д.].

В пользу продолжения пребывания в Париже, по словам Софьи, было и то, что во время революции 1831 г. она особенно чувствовала братское единение католиков в момент, когда «Бог оскорбляется самым преступным образом». В том же письме к А. Галициной она описывает обстановку в Париже в период волнений: «...никогда еще храмы Господа не были так полны, никогда за священным столом не было столько гостей [...] Вокруг меня находятся только люди, любящие то, что люблю я, мечтающие о том же, о чем я, в одном аккорде сливаются мысли, интересы, и их торжество для меня по-настоящему дорого»[2].

Но, видимо, сознание того, что ее длительное пребывание за границей не вызывает сочувствия у друзей и знакомых, побуждает Софью развеять сомнения — она *отказалась* от России: «Ничто в мире не могло бы заставить меня добровольно жить среди разлива ненависти или только антипатии или пренебрежительного безразличия к имени католика»[3]. Софья дает понять, что именно *культурная идентификация* и *среда* имеют для нее не меньшее значение, чем сами религиозные причины, побудившие ее к отъезду. В ее представлении важно не только *быть католиком*, но быть им с правом вести *наиболее близкий образ жизни среди близких людей*. «*Бытие в культуре*» в этом случае послужило основанием для гражданской самоидентификации. По-существу, Софья заявила о праве *выбирать родину* на основании *культурных предпочтений*. Это любопытно, поскольку, несмотря на то, что ее интеллектуальные симпатии оставались на стороне консерваторов, собственное ее отношение к жизни скорее отвечает *этике современного либерализма*.

В середине 30-х годов в ее жизни произошло несколько драматичных событий, сделавших ее еще более твердой католичкой. В 1835 г, вернувшись в Париж из Петербурга, она тяжело заболела и три месяца находилась между жизнью и смертью. В 1836 г. скоропостижно умирает ее приемная дочь — Надин, а затем — князь Гагарин, также принявший католицизм.

В дневниковых записях того времени встречаются фрагменты, напоминающие интонацией те, что относятся ко времени ее обращения: «Молитва, это — бесконечность! Одно сердце, обращающееся к Вам, о, Владыка, понимает все сердца. Молитва — это вечность, она охватывает все времена; молитва — это бесконечность, она заполняет собой всякое место в пространстве...»[4]

[1] Lettres de Madame Swetchine... P. 445.
[2] Ibid. 447.
[3] Ibid. P. 447.
[4] Madame Swetchine... P. 386–387.

В этот период ее одиночество скрашивают, в основном, посещения московских и петербургских друзей, приезжавших в Париж: графа Ксавье де Местра, графов Строгановых, княгини Витгенштейн, князя Николая Трубецкого и князя Михаила Галицина.

Ей довелось увидеть события 1848 г., которые она оценила как «триумф анархии». Русско-турецкая война вызвала в ней чувство, похожее на ностальгию по России, а осада Севастополя заставила вспомнить о «двойном» подданстве. «Для всего мира это — война, для меня это война гражданская»[1]. Она пережила Александра I и Николая, вела довольно размеренную жизнь, но всегда находилась в курсе последних событий.

Когда Ламартин написал «эскиз к портрету» Жозефа де Местра, у Софьи Свечиной, уже пользовавшейся известностью в аристократических кругах, появилась возможность выступить в качестве «эксперта». От этого произведения уцелело немногое после ее внимательной критики. Софья опровергала все — от описания внешности де Местра до его отношения к современной литературе. Ламартину де Местр запомнился высоким человеком с мужественным и красивым лицом. Софья внесла коррективы: «Граф де Местр был человеком среднего роста, черты его лица были неправильны; в его взгляде не было ничего орлиного, вследствие близорукости некоторые вещи ускользали от него. Это лицо, далекое от совершенства, не имевшее внешнего блеска, тем не менее, было исполнено величия. А общий вид, посадка головы были поразительны и полны духа античной мудрости»[2].

Не прошло незамеченным и утверждение Ламартина о том, что де Местр «черпал свои знания только из книг и вообще читал мало». Она срочно парировала: «Откуда Ламартин взял, что месье де Местр читал мало? Я знала его задолго до Ламартина и видела его на протяжении многих лет имевшим привычку заниматься по двенадцать — пятнадцать часов в день, и большую часть этих занятий занимало чтение [...] Расин, Монтень, Ла Фонтен, Корнель постоянно были у него на устах; он прочел всего Вольтера, все запомнил, не делая исключения и для того, что он совершенно не признавал [...] Он не мог избежать в полной мере и чтения известного красноречием Руссо»[3].

Воспоминания — хороший повод продлить жизнь некогда близкого человека. С годами они приобрели для Софьи особую ценность. Но и в настоящем по-прежнему находилось место для интересных собеседников. Одним из последних стал Алексис де Токвиль.

Несколько писем де Токвиля демонстрируют личное расположение к Софье Свечиной и то, что он находил удовольствие в обсуждении с ней интересных и важных вещей, несмотря на то, что оба хорошо чувствовали разницу их взглядов.

[1] Madame Swetchine... P. 434.
[2] Ibid. P. 439.
[3] Ibid. P. 439.

В письме Софье от 28 июля 1855 г. де Токвиль выражает сожаление по поводу того, что «ее душа, способная примирить любовь к разным предметам», к его досаде, «*остается равнодушной к цепям, разделяющим людей*»[1]. А следующее его письмо — от 7 января 1856 г. — является настоящим гимном свободе. Видимо, Софье удалось каким-то образом задеть чувствительную струну: «Свободу я рассматриваю, как и всегда до сих пор, как одно из наивысших благ; я всегда вижу в ней один из самых плодотворных источников мужественных добродетелей и великих дел. Не существует ни такого спокойствия, ни такого благополучия, которое бы заставило меня удалиться от нее. И, напротив, в наше время я встречаю людей, и людей честных, *мечтающих лишь как можно лучше приспособиться к совсем другому режиму*, и что волнует меня и приводит в ужас, *имеющих расположение к рабству, в котором они находят нечто вроде составляющей — добродетели*. Хотелось бы и мне думать и чувствовать так же, как они то, но я не способен; моя природа сопротивляется еще больше, чем моя воля»[2] [курсив наш — М. Д.].

Можно предположить, что Софья, следуя урокам де Местра, писала де Токвилю о заповеди *подчинения власти*, обязательной для христиан. А для ее корреспондента большее значение имела *заповедь любви* — деятельной, практической и, как он полагал, *входившей в обязанность* христианина *не только в личной жизни*, но и во внешней — *общественной деятельности* — по крайней мере, до тех пор, пока *он не будет скован властью последних времен*: «Я думаю, что в том аду, который описан в Евангелии перед последним Воскресением, обязанность христианина в политической сфере *ограничится послушанием власти такой, какая она есть*. Но позвольте мне думать — это следует скорее из толкования, чем из текста, что этим *не ограничивается для христианина гражданская добродетель* [...] Да, несомненно, христианство может существовать при всех правительствах, и в области нравов дурные правительства внушают людям превосходные добродетели; но, если не ошибаюсь, отсюда не следует, что оно *должно оставаться бесчувственным или равнодушным к нравственности и не обязывает каждого бороться с дурным правительством теми легальными способами, которые открывает ему свет его совести*»[3].

Позиции де Токвиля и Софьи Свечиной раскрывают возможные подходы к отношению верующего человека и власти. В этом обмене мнениями различие *консервативного* и *либерального* взгляда обозначилось достаточно полно: «*милость*» и «*жертва*», «*любовь*» и «*смирение*», сопряженные с общественно-политическим контекстом, приняли вид альтернатив; в каноническом же смысле они не исключают друг друга. *Жертва* и *смирение*

[1] Madame Swetchine... P. 450.
[2] Ibid. P. 453.
[3] Ibid. P. 459.

имеют источником *любовь*, а *милость* и *любовь* могут быть *вынужденно ограничены* внешними условиями, в соответствии с заповедью *подчинения власти*. Остальное определяет упование. Де Токвиль как раз демонстрирует большую решимость в отодвигании той границы, за которой *открытая деятельность* по заповеди любви и добра в *общественной сфере* уже не возможна. Он полагает, что пределом может быть только бесчеловечная, карающая и тотальная власть перед всеобщим концом.

И все это — предмет всего лишь частной переписки с дамой весьма почтенного возраста... Насколько сложен мог быть внутренний монолог Софьи Свечиной, обогащенный беседами с де Местром и де Токвилем, Доносо Кортесом и мадам де Сталь, де Бональдом и Александром Стурдзой.

В 1857 г. здоровье Софьи резко ухудшилось. Дочь графини де Дюрас предоставила ей свой замок в Фонтебло, где Софья жила еще некоторое время. Там, среди случайных вещей, ей попадались иногда небольшие «сувениры», например, портрет принцессы де Тарант как память о молодости, о Петербурге и тех, кого уже давно не было рядом с ней. Ее обращение к католицизму не произвело в ней перемены, которая могла бы сделать ее более близкой де Токвилю — мысль о филантропической деятельности не тревожила ее. Софья выбрала покой, умиротворение и размеренность. А для *жертвы* хватало места в беседах с замечательными современниками. Что стояло за этим в ее внутреннем мире, мы не можем судить, но, коль скоро самые разные люди отмечали ее доброту, возможно, там было место и для *милости*.

По-видимому, ее судьба произвела сильное впечатление на современников. Когда княгиня Галицина в 1838 г., чувствуя слабость последних лет, решила оставить своей внучке небольшое «завещание», она просила ее только об одном — «любить Бога и свою страну». «*Бог есть повсюду, но, когда есть возможность, лучше оставаться на родине*»[1].

[1] Madame Swetchine... P. 493.

В. А. САГАЛАЕВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

«ТРУДЕН УДЕЛ ОДАРЕННЫХ ЖЕНЩИН...», ИЛИ О ТОМ, КАК «ЧИТАЛИ» БИОГРАФИЮ ГАРРИЕТ ТЕЙЛОР МИЛЛЬ ПОСЛЕДНИЕ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Еще несколько лет назад у Гарриет Тейлор Милль не было своей собственной биографии. Она была вписана в биографию другого человека — ее супруга Джона Стюарта Милля, выдающегося ученого, философа и политического деятеля викторианской Англии. За прошедшие после ее смерти в ноябре 1857 г. 150 лет о Гарриет было написано немало — главным образом, оскорбительного и уничижительного. Ей досталось за нежелание соблюдать принятые в обществе того времени приличия, за смелость высказываемых ею взглядов на права женщин, а главное — за то, что в опубликованной посмертно в 1873 г. «Автобиографии» Милль «отписал» ей авторство почти всех своих новаторских и востребованных эпохой идей[1].

Понятно, что ни для современников, ни для авторов многочисленных биографий Милля, написанных в XX в., о подобном повороте не могло быть и речи — вся история с Гарриет компрометировала имя ее супруга, была «пятном» на его безупречной научной репутации. Однако совсем позабыть имя этой женщины было невозможно. Ее случай стал примером спонтанного, теоретически неосознанного принятия концепта человека второго плана: жизнью и взглядами Гарриет Тейлор интересовались лишь до тех пор, пока это позволяло узнать больше о жизни и взглядах ее великого супруга. Несмотря на его пронзительные строки о невероятных заслугах этой женщины, история ее жизни так и не стала самостоятельным биографическим исследованием.

Биография Гарриет Тейлор Милль не написана до сих пор. Тем не менее, за истекшие 150 лет кое-что удалось сделать для реабилитации ее имени. Сегодня, после публикации ее полного собрания сочинений[2], все громче раздаются голоса в пользу решительного пересмотра ее роли в интеллектуальной истории XIX в. Она получила право считаться полноправным соавтором политэкономических сочинений Милля, и, как показали новейшие исследования, ей действительно принадлежало авторство многих идей супруга по женскому вопросу.

Даже сегодня лик Гарриет Тейлор Милль смотрит на нас сквозь тексты, посвященные пусть и близкому, но другому человеку. В настоящей публикации мы проанализируем то, как на протяжении последних полутора веков англоязычные исследователи и публицисты «читали» ненаписанную биографию

[1] *Mill J. S. Autobiography and Literary Essays* // *Collected Works of John Stuart Mill* / Ed. by J. Robson and J. Stillinger. Toronto, 1981. Vol. I. P. 193–197.

[2] *Mill H. T. The Complete Works of Harriet Taylor Mill* / Ed. by Jo Ellen Jacobs. Bloomington, 1998.

Гарриет Тейлор, и постараемся назвать причины устойчивого предвзятого отношения к ней. Учитывая, что российскому читателю вряд ли известны элементарные факты жизненного пути этой женщины, то именно с них мы и начнем.

Гарриет Тейлор Милль, в девичестве Гарриет Харди, родилась в октябре 1807 г. Она вышла замуж за процветающего оптового торговца Джона Тейлора в марте 1826 г., когда ей исполнилось 18, а ему — 29 лет. У этой четы было трое детей, которые появились на свет сразу после брака. Джон Тейлор умер от рака в 1849 г., а весной 1851 г. Гарриет Тейлор снова вышла замуж, на этот раз за Джона Стюарта Милля. Страдая от туберкулеза, впрочем, как и сам Милль, Гарриет умерла от дыхательной недостаточности в ноябре 1858 г.

На ее могиле начертана следующая эпитафия, автором которой и был ее второй супруг: «Если бы я мог рассказать миру хотя бы о половине тех великих мыслей и возвышенных чувств, что погребены здесь, я бы смог сделать гораздо больше, чем если бы попытался изложить их сам, лишенный вдохновения и поддержки ее непревзойденной мудрости».

Гарриет Тейлор и Милль познакомились в 1830 г., когда им было соответственно 23 и 24 года. Их первая встреча была организована главой унитаристской конгрегации Лондона преподобным Уильямом Фоксом, знаковой фигурой в английском диссентерском движении. Однажды Гарриет пожаловалась своему духовному наставнику на отсутствие у Джона Тейлора интереса к философии и искусству. Фокс не нашел ничего лучше, как познакомить ее с молодым, но уже прославившимся мыслителем Миллем. Гарриет познакомилась с ним спустя несколько месяцев после рождения своего второго ребенка. Их дружба быстро переросла в любовь, когда Гарриет ждала появления третьего и последнего ребенка, дочери Хелен. Во время последней беременности она стала активно публиковаться в печати, писала поэмы, обзоры книг и статьи для «Мансли Репозитори».

То, что происходило дальше в течение двадцати лет, шокировало всю викторианскую Англию. Интересно, что именно поведение Гарриет, которая все еще оставалась миссис Джон Тейлор, считалось не иначе, как возмутительным. Очень часто, практически каждый вечер, Милль посещал дом Тейлоров. Джон Тейлор, к тому времени уже член парламента, способствовал этому, отправляясь после прихода Милля в клуб. В целом поражает удивительная терпимость Джона Тейлора к тому, что его супруга, которой он был беззаветно предан, состоит в тесной связи с другим мужчиной. Однако и его терпение тоже имело пределы. В 1833 г. он настоял на том, чтобы Гарриет поселилась отдельно, если она хочет продолжить встречи со своим другом. Собственно так она и прожила большую часть первого замужества — одна, но с ежевечерними визитами одного из умнейших людей Англии. Правда, ее дочь жила вместе с ней. В 1840-х –1850-х гг. Гарриет стала соавтором ряда газетных статей о насилии в семье вопреки

своему практически инвалидному состоянию по причине чахотки и частичного паралича.

Как уже было сказано, в 1849 г. врачи поставили Джону Тейлору смертельный диагноз, и он обратился к своей законной супруге за помощью и уходом. Сперва она отказала, считая себя связанной только отношениями с Миллем. Но поскольку состояние Джона Тейлора резко ухудшилось, то Гарриет поменяла решение и посвятила себя заботе об умирающем супруге. После кончины Джона Тейлора Гарриет и Милль ждали практически два года, после чего поженились.

С момента близкого знакомства с Миллем Гарриет была исключена из общества из-за слухов, которые оно неминуемо порождало. Единственным человеком, который питал восторженные чувства в отношении ее ума и талантов, был ее будущий второй муж. Милль был необычайно чувствителен к любому проявлению неуважения по отношению к Гарриет. По большому счету он занимался пропагандой положительного образа своей супруги, он преклонялся перед ее многочисленными достоинствами при каждом удобном случае — публично и письменно. Ситуация только усугубилась после ее смерти. По большому счету в своем посвящении к эссе «О свободе» и, главное, — в «Автобиографии», он отписал ей практически все свое интеллектуальное наследие. Получалось, что новатором была она, а он только лишь обращал ее бесценные мысли в литературную форму.

Современники ответили на это с недоверием, отвращением и неодобрением. Миллю никто не поверил, его рыцарственный бред списали на страстную преданность возлюбленной и скорбь от невосполнимой утраты.

Первые отзывы признавали некоторое участие Гарриет в работе Милля и высоко оценивали ее собственные труды. Например, в 1873 г., в год смерти Милля и публикации его «Автобиографии», Генри Ричард Фокс Бёрн писал: «В течение более чем 20 лет она помогала ему своим талантом и вдохновляла своим сочувствием во всех трудах, которые он совершал», а также: «Создается впечатление, что слабое здоровье миссис Милль совсем не повлияло на силу ее интеллекта. Ею было написано выдающееся эссе “Освобождение женщин”»[1].

Мансфилд Марстон также в 1873 г. пришел к выводу, что «должно быть, она была одарена редчайшей силой духовного и интеллектуального сопереживания, ибо она пробудила в Милле восхищение настолько страстное, насколько и чистое... После смерти своего первого супруга миссис Тейлор стала женой Джона Милля, и нельзя было найти более преданного спутника философу»[2].

---

[1] *Bourne H.R.F.* John Stuart Mill: A sketch of his life // Examiner. 1873. Vol. 17. P. 582, 586.

[2] *Marston M.* The life of John Stuart Mill: politician and philosopher, critic and metaphysician. L., 1873. P. 9–10.

Но все это было сказано незадолго до появления в печати всем хорошо известного негативного отношения к Гарриет. В 1874 г. С. Е. Хеншоу заявил: «Трудно понять, кем же была на самом деле миссис Тейлор в кругу ярких костров, которые мистер Милль всегда разжигал вокруг нее, фимиама лести, которым он ее окуривал... Мужчины бывали ослеплены любовью и очарованы женским полом... однако Джон Стюарт Милль их всех превзошел»[1].

Получается, что Гарриет околдовала беззащитного и невинного Джона: «Под ее прикосновением апатичные душевные качества этой подвергающейся дурному обращению, обманутой, но прекрасной натуры (т. е. Милля — В. С.) наконец были растревожены, и стесненный дух восстал и распростер свои крылья»[2]. Согласно Хеншоу, это ее «колдовские чары» были не просто метафорой, поскольку главными прегрешениями Гарриет были «безбожие и атеизм», что делало ее еще более соблазнительной.

Обвинения в использовании колдовских чар еще не раз повторятся в оценках жизни и деятельности Гарриет. Самые ранние ее критики скорее всего полагались на заявления Томаса Карлейля о Гарриет. Карлейль, печально известный своей предвзятостью, к характеристике которой можно добавить женоненавистничество, изначально считал Гарриет «воплощением романтической героини, с тончайшей интуицией, королевской силой воли, очень интересной, с неясным будущим»[3]. Однако такое отношение к ней длилось до тех пор, пока он считал ее «одной из молодых и красивых моих читательниц»[4]. Когда же выяснилось, что Гарриет не является последовательницей Карлейля, он написал, что она «опасного вида женщина, и к тому же поглощенная опасными страстями», иными словами, она стала «чаровницей», околдовавшей Милля. Карлейлю «не приходилось встречать более непонятного существа, о котором бы я смог составить более неясное представление», но это не остановило его перед обвинениями в адрес Гарриет в том, что она «очаровала» Милля. Исследователи и биографы подхватили тему Милля, «ослепленного любовью», «околдованного» и «очарованного» (или даже в следующей интерпретации — «околдованного, лишенного покоя и сбитого с толку»). Его представляли в роли наивного простака, который так неопытен в обращении с женщинами, что готов пасть ниц перед первой оказавшейся на его пути. Гарриет же была в роли жестокой соблазнительницы, которая, используя свои чары, захватила необычную добычу.

В 1882 г. Александр Бейн, друг и последователь Милля, предпринял попытку беспристрастно оценить роль Гарриет в его жизни, но вне зависимости от

[1] *Henshaw S. E.* John Stuart Mill and Mrs. Taylor // Overland Monthly. 1874. Vol. 13. P. 521, 523.

[2] Ibid. P. 523.

[3] Цит. по: *Hayek F. A. John Stuart Mill and Harriet Taylor: Their Correspondence and Subsequent Marriage*. Chicago, 1951. P. 80.

[4] Ibid. P. 81.

того, какими средствами он пытался объяснить привязанность Джона к Гарриет, он все равно не мог оторваться от типичного для того времени представления о женщине. В целом, он согласен с оценкой младшего брата Милля, Джорджа, в том, что Гарриет была достаточно умной, но не удивительно умной, как считал Милль[1]. Бейн пытается объяснить то, что принимает за источник ошибочного понимания Миллем достоинств Гарриет: «Выдающиеся мыслители особенно часто бывают *очарованы* (курсив мой — В. С.) не другими мыслителями, а умами более практичного и артистического склада»[2]. Бейн признает, что Милль мог считать Гарриет более практичной и артистической натурой, однако эти черты он приписывал к признакам ее гениальности. Милль не согласился бы с возражениями Бейна по поводу способностей Гарриет, но он не может удержаться от того, чтобы прийти к следующему заключению: «Такого рода *состояние подчиненности* воле другого человека, как он сам открыто заявляет и чем гордится, нельзя назвать правильным порядком вещей. Оно нарушает наше представление о надлежащей соразмерности в отношениях между людьми. И все же, это ничто иное, как прямое следствие его причудливой галлюцинации, а не личностные качества его жены»[3]. Он старается понять эти странные отношения и не причинить урон репутации Милля как великого мыслителя. Бейн отрицал, что Гарриет — это попугай, повторяющий идеи Милля, как посчитали некоторые, или что Джон настолько эгоистичен, чтобы восхищаться этим повторением своих идей[4], однако у Бейна не нашлось ни одного положительного объяснения привязанности Милля, кроме как неясного «колдовства противоположного пола»[5]. Проблема в сочинении Бейна — это проблема, стоявшая перед большинством исследователей жизни и творчества Милля: как можно, восхищаясь Миллем, расценить эту его чрезмерную преданность нашей героине?

Чуть позже в те же 1880-е гг. Уильям Кортни предпримет попытку объяснить «странное влияние, которому Милль был подвержен» в своей «Жизни Джона Стюарта Милля». Эта безрассудная страсть — «ибо только безрассудной страстью можно назвать порыв, в котором человек с интеллектуальным величием Милля позволяет себе писать о своей подруге посредством такой неприкрытой лести»[6] — имеет два объяснения. Во-первых, женщинам свойственна манера «приукрашать» идеи — делать идеи ясные и внятные более нарядными и образными. Как Конт и Декарт, Милль был примером «философской слабости». Мужчина, поглощенный философией, часто бывает очарован «конкретным и практичным» умом женщины. «Данная способность прежде отрицалась им, в результате чего он переоценил ее значение.

[1] *Bain A. John Stuart Mill: A Criticism with Personal Reflections*. L., 1882. P. 166.

[2] Ibid. P. 168.

[3] Ibid. P. 171.

[4] Ibid. P. 173.

[5] Ibid. P. 172.

[6] *Courtney W.* The life of John Stuart Mill. L., 1889. P. 115.

Может показаться неземным откровением то, что женщина большого ума и воображения может наделять живой и осязаемой плотью некоторые из засушенных скелетов, среди которых его разум чувствовал себя дома»[1]. Настоящая тенденция переоценивать идеи, образно переосмысленные женщинами, — ошибка, которую должны осознавать все мужчины-философы. Примечательно, что даже в 1960 г. один исследователь деятельности Милля все еще предостерегал других о том, что ряд предшественников, высказывавшихся с благосклонностью в отношении Гарриет, пали жертвами чар, от которых пострадал Милль и о которых предупреждал Кортни[2].

Другая опасность, о которой предупреждал Кортни, состоит в опрометчивой способности женщин перешагивать через логику со своим интуитивным пониманием вещей. «Умные женщины — вопреки умным мужчинам — часто извлекают знание с помощью игры воображения, а не "напряженного размышления" или "внутренней дисциплины", которые применяют мужчины. Мужчина привычно недооценивает быстроту женской способности понимать и ее утонченную и интуитивную проницательность в некоторых проблемах, над которыми он бьется. Поэтому он обожает ее соразмерно серьезности своей собственной логики, а не в связи с ее собственными врожденными возможностями». И снова, как и Бейн, Кортни признает, что подобное объяснение недвусмысленно отрицалось самим Миллем. Однако то, что Милль настаивал на схожести умов мужчины и женщины, «является подтверждением такого рода ложного представления, которое было прослежено выше. В конце концов, неопровержимым *фактом* является то, что *женский ум на удивление быстр в усваивании и воспроизводстве мыслей и идей*, которые были благожелательно ему представлены. Вполне возможно, что он может приспособиться с большей готовностью, чем средний мужской интеллект, к новой среде»[3]. И снова пример Милля служил предупреждением другим философам, которые могут попасть под влияние схожей женской интуиции.

С окончанием викторианского периода, в особенности с 1910-х гг. и на протяжении 1920-х гг., исследователи выдвинули более благожелательное отношение к Гарриет. В книге «Жизнь У. Дж. Фокса» Ричард Гарнет заявил, что «Гарриет Милль занимает более низкое положение, чем она достойна, в интеллектуальной истории своего времени. И это в определенном смысле неизбежно в отношении тех, кто не оставил вещественного доказательства своих способностей. Труден удел одаренных женщин: если они пишут сочинения, то их скорее всего назовут "бумагомарательницами", если же они довольствуются тем, чтобы направлять и вдохновлять, то само существование этого невидимого влияния будет поставлено под сомнение»[4]. Автор рассматривает работы Милля до и после дружбы с Гарриет и приходит к выводу, что Милль «не был жертвой галлюцинации», хотя, вполне возможно, он и «утратил чувство соразмерности»[1].

1 *Courtney W.* The life... P. 116.
2 *Pappe H. O.* John Stuart Mill and Harriet Taylor Myth. Melbourne, 1960. P. 28.
3 *Courtney W.* The life... P. 117–118.
4 *Garnett R.* The life of W. J. Fox. L., 1910. P. 97.

Мери Тейлор, в лучших традициях своей тети, Хелен Тейлор, впрочем как и бабушки — героини нашего повествования, разнесла в пух и прах труд исследователя, который в 1910 г. настаивал на том, «что ни один мужчина выдающихся дарований не должен обзаводиться высоко образованной помощницей, чтобы она "своими непродуманными взглядами на жизнь" — а это, как считает автор, вполне закономерное последствие высокой образованности женщин — не оказывала на него вульгаризирующее воздействие»[2]. Данный исследователь открыто предложил тип отношений между мужчиной-интеллектуалом и его спутницей, который подспудно подразумевается, но остается не проговоренным во многих негативных критических оценках деятельности Гарриет как до статьи Мери Тейлор, так и после нее. Критикуемый исследователь предлагает отношения Руссо и его любовницы как надлежащую модель подобных отношений. Однако, настаивает Мери Тейлор, тип отношений, сложившихся у Руссо, вряд ли вообще можно назвать подходящим для мужчины-гения и, тем более, для мужчины с элементарным чувством совести: «Согласно автору "Эмиля", Тереза родила ему пятеро детей, каждого из которых сразу же по рождении он тайно подкидывал в сиротский дом. Эта обиженная и несчастная женщина, которая не умела ни читать, ни назвать имена месяцев в году, ни определить время по циферблату часов, и чьи недостатки становились поводом для шуток между ним и его друзьями, представлена обозревателем "Эдинбург ревю" как подобающая спутница Руссо»[3].

Мери Тейлор заявила, что просто невежественно считать умную женщину неспособной быть помощницей гения: «Замечание о том, что никто из "тогда живущих" не мог оказать помощь таким выдающимся писателям, как Руссо, Гете или Милль, в создании и выражении своих идей — пример интеллектуального невежества и тщеславия, в которых — я осмелюсь заявить — нельзя обвинить ни одного гения»[4]. Мери указывает на одно доказательство в пользу высоких способностей Гарриет, не замеченное предшествующими исследователями: это сама продолжительность отношений Милля и Гарриет, которые более двадцати лет никак формально или юридически не связывали обе стороны[5].

М. Ашворт в статье «Брак Джона Стюарта Милля» поддержал точку зрения Мери Тейлор, заявляя, что «Гарриет обладала определенными

1 *Garnett R.* The life... P. 97.
2 *Taylor M.* Mrs. John Stuart Mill: A vindication by her granddaughter // Nineteenth Century and After. 1912. Vol. 71. P. 358. (357–363)
3 Ibid. P. 357.
4 Ibid. P. 358.
5 Ibid. P. 363.

интеллектуальными качествами и была проницательным критиком, что оставалось невостребованным ее окружением» до встречи с Миллем[1]. Ашворт признает их совместное творчество: «По мере продолжения дружеских отношений у них появилась привычка работать вместе... Она вплела несколько нитей — золотых нитей — в ткань его мыслей»[2].

В 1920-х гг. Гай Линтон Диффенбо исследовал историографию деятельности Гарриет и пришел к выводу, что «на самом деле за редким исключением миссис Тейлор была дана высокая оценка всеми теми, кому была дана возможность общаться с ней»[3]. Тем не менее, он цитирует с одобрением слова Карлейля: «Она была женщиной с *дурным умом*, всегда задавала разного рода вопросы, ставящие в тупик — почему, как, ради чего, в чем именно различие — а Милль был всегда рад отвечать на них»[4]. Возможно, это одно из нескольких едких суждений Карлейля о Гарриет, хотя есть сомнения, что он сам понимал его значение. Как и многих из последующих критиков Гарриет и Джона Стюарта Милля, Карлейля страшно раздражала любовь Гарриет задавать вопросы. Большинство биографов воспринимали как личное оскорбление ее стремление задавать провокационные вопросы. Диффенбо пытается быть беспристрастным: «Тем не менее, нужно отдать должное миссис Милль и признать, что только умный человек мог задавать вопросы, достойные Милля — эти “почему, как, ради чего, в чем именно различие”; и что требовалась женщина выдающейся умственной подготовки, чтобы как минимум понять ответы Милля со степенью интеллектуальной расторопности, достаточной, чтобы мысленно внушить ему сильную страсть»[5]. Диффенбо находит вопросы Гарриет просто «умными», и этот дар был использован для того, чтобы одурманить сознание Милля, но в данном исследовании по крайней мере ее «чары» хотя бы основывались в некотором смысле на интеллектуальных способностях.

В исследовании Рея Стречи «Причины: Краткая история женского движения в Великобритании» нашлось место для анализа инсинуаций вокруг Гарриет. «Возможно, причиной разлада с остальным миром стал тот факт, что она жила раздельно со своим первым супругом; возможно, за это ей всегда приходилось защищаться от общественного порицания, впрочем, как и за излишнюю исключительную преданность Миллю. Возможно, ее совсем не интересовало мнение других людей, была бесчувственной и даже злой, нетерпимой к глупости и условностям. Могла найтись дюжина подобных очевидных причин, по которым бы она оказалась не в ладу с остальным миром, и которые бы затемнили ее образ в заметках, которые могут быть обнаружены в жизнеописаниях и письмах ее современников. Сегодня мы не можем судить о том, что заставило его друзей не доверять ей»[1].

[1] *Ashworth M.* The marriage of John Stuart Mill // Englishwoman. Vol. 30. P. 164.
[2] Ibid. P. 169–170.
[3] *Diffenbaugh G.L.* Mrs. Taylor seen through other eyes than Mill's // Sewanee Review. 1923. Vol. 31. P. 198.
[4] Цит. по: *Diffenbaugh G.L.* Mrs. Taylor... P. 204.
[5] Ibid. P. 204.

Таким образом, главным аргументом против нападок на Гарриет, выработанным в этот период, стало заключение, сделанное ее внучкой — двадцатилетний срок формально несвязанных отношений Милля и будущей супруги говорит сам за себя.

Кнут Хагберг продолжил линию негативной критической оценки, впервые предложенную Хеншоу в 1874 г. Гарриет оказала сильное, но отрицательное воздействие на Милля. И проблема заключалась в атеизме, который она исповедовала. Хагберг приходит к выводу, что Гарриет «оказывала решающее воздействие на Милля. К несчастью, оно не принесло ничего хорошего». Она «сделала из него радикального рационалиста»[2]. Именно этот рационализм направлял ею и соблазнил Милля принять агностицизм или даже атеизм. Как только Милль освободился от влияния Гарриет, он обратился к романтическому мистицизму. «Милль стал мистиком, но только с того момента, когда оказался один и независимый от той, службе которой он посвятил всю свою жизнь подобно средневековому рыцарю»[3]. Таким образом, перед нами объяснение, которое удваивает достоинства Милля — он и средневековый рыцарь, посвятивший всего себя возлюбленной; кроме прочего, он сам смог исправить собственные заблуждения, вызванные рационализмом Гарриет, сразу после ее смерти.

В 1940-е гг. Франсис Е. Минека смог переключить дискуссию от интеллектуальных дарований Гарриет к ее моральной поддержке деятельности Милля. Ее следовало восславить только за то, что она оказала ему духовную помощь. Гарриет была «женщиной утонченной и изысканной, она интересовалась литературой и философскими и политическими вопросами, но при этом была наделена богатыми эмоциональными переживаниями и не превратилась в этакий “синий чулок”... И насколько бы не было переполнено чувствами его отношение к ее качествам, нет ни малейших сомнений, что она была спасительной благодатью его духовной жизни. Вполне возможно, без нее Джон Милль мог оказаться совсем другим человеком, но вряд ли приходится думать, что его жизнь сложилась бы так замечательно, что он бы нашел достаточно понимания, или просто стал великим человеком без нее»[4].

До 1951 г. все исследователи жизни Гарриет строили свои заключения на основе анализа вторичных источников, т.е. спекулятивной критики суждений, сделанных ранее. И только с публикацией почти спустя сто

[1] *Stratchey R.* The cause: A short history of the women's movement in Great Britain. Portway, 1928. P. 68.
[2] *Hagberg K.* Personalities and powers. Translated by Elizabeth Sprigge and Claude Napier. L., 1930. P. 196.
[3] *Diffenbaugh G.L.* Mrs. Taylor... P. 198.
[4] *Mineka F.E.* The dissidence of dissent: «The Monthly Repository», 1806–1838. Chapel Hill, 1944. P. 273–275.

лет после смерти Гарриет Фридрихом фон Хайеком монографии «Джон Стюарт Милль и Гарриет Тейлор: их дружба и последующее супружество» ученые смогли обратиться к некоторым из ее писем, неопубликованным сочинениям и стихам. Хайек также упомянул несколько ее газетных публикаций, обозначенных как написанные в соавторстве в рукописной библиографии Милля, однако они до сих пор так и остаются неисследованными.

Хайек писал, что «помимо Милля никто из тех, кто имел возможность высказать свое мнение о человеческих качествах Гарриет Тейлор, не имел достаточных для этого оснований, за исключением разве что У. Дж. Фокса, чей голос, единственный из многих, присоединяется к похвалам в ее адрес»[1]. После исследования только что обнаруженных документов мнение Хайека было следующим: «Ее воздействие на его мысли и мировоззрение, какими бы ни были ее умственные способности, было настолько велико, насколько сам Милль об этом заявляет, однако осуществлялось способом, отличным от того, который раньше было принято считать. И отнюдь не чувственный, а рационалистический элемент учения Милля был усилен за счет ее влияния»[2]. Письма, впервые опубликованные Хайеком, обнаружили высокую степень участия Гарриет в работе над сочинениями, опубликованными под именем Милля.

Анализ сочинений Гарриет, опубликованных в книге Хайека, произвел совсем другое впечатление на исследователя Диану Триллинг. Если исследование этих источников Хайеком обнаруживает, что ранние неопубликованные сочинения Гарриет «на удивление предвосхищают некоторые из аргументов “О свободе” Милля», Триллинг утверждает, что эти письма и статьи положили конец дискуссиям о Гарриет Тейлор Милль.

«Миссис Милль была одной из ничтожнейших и скучнейших дам в интеллектуальной истории, памятником отвратительному эгоизму, лишенному не только женского очарования, но и духовной силы»[3]. Гарриет была «заносчивой, тщеславной, низкой по побуждениям... Этот интеллектуальный маяк на деле оказался ничем иным как карманным фонариком»[4]. Эти заявления стали самыми повторяющимися в отношении Гарриет. Какие доказательства в их пользу Триллинг обнаруживает в письмах или других источниках? Никаких. Однако Триллинг уверена, что «она не была женщиной, настоящей женщиной — письма, как обычно полные уязвленного тщеславия, мелочного эгоизма и амбиций, демонстрируют полное отсутствие признаков женственности, даже тени подобающего женского беспокойства, которые поддерживают нашу уверенность в мудрости таких, как

[1] *Hayek F. A.* John Stuart Mill and Harriet Taylor: Their friendship and subsequent marriage. N. Y., 1951. P. 15.
[2] Ibid. P. 17.
[3] *Trilling D.* Mill's intellectual beacon // Partisan Review. 1952. Vol. 19. P. 116.
[4] Ibid. P. 120.

Джейн Карлейль»[1]. Изъян Гарриет в том, что она не «настоящая женщина», у нее отсутствуют черты «подлинной женственности». Возможно, если бы она просыпалась до рассвета, как это делала Джейн Карлейль, и прогоняла от дома птиц, чтобы те не беспокоили ее мужа, Триллинг не отказала бы ей в женственности[2].

«Жизнь Джона Стюарта Милля» Майкла Пека была первой биографией, написанной с использованием новых источников, обнаруженных в архиве Лондонской школы экономики и обнародованных Хайеком. Тогда как Триллинг обвинила Гарриет в отсутствии достаточной женственности, Пек, возвращаясь к подходу Минеки, считал, что Гарриет использовала все свое женское обаяние, чтобы контролировать деятельность Милля. Его портрет — это практически карикатура представлений о женщине 1950-х гг. Она была «очаровательной мелкой рыбкой», которую другой мог использовать для того, чтобы «ловить исключительную макрель»[3].

Пек посчитал, что вначале у Гарриет были собственные писательские амбиции, когда она, например, публиковала обзоры книг, статьи и стихи в «Мансли репозитори» в начале 1830-х гг.: «Гарриет, еще не подозревая, какой лакомый кусок ей вскоре достанется, очень сильно хотела стать писателем, подобно Гарриет Мартино»[4]. Но после размолвки с Джоном, во время которой он не написал ничего стоящего, проявилась ее настоящая женская сторона, и она, наконец, смирилась с более скромной ролью. Гарриет рассталась со своими «отчаянными амбициями» и перешла на полное услужение Милля, «... чтобы проявить себя в более женственным образе посредством воздействия на него... Влияние Гарриет Тейлор на Милля в этот период было мягким и женственным. Она утоляла его печали, беспокоилась о его здоровье. Она подарила ему эмоциональное облегчение. В этом отношении она была абсолютно на своем месте»[5].

Приведем еще несколько цитат, наиболее полно отражающих отношение Пека к вопросу о Гарриет: «Вполне возможно, как и положено женщине, она принимала менее трагичный взгляд на происходящее, имея гораздо лучшее представление, чем любой из мужчин, что следует ожидать и чем все может обернуться»[6]. «Во время деятельности Милля в качестве редактора и политика участие Гарриет в его работе было ничем не примечательным и типичным для женщины... Хотя на публике она и не играла роли в принятии важных решений, все было подчинено ее воле»[7]. Или: «Ее страстное и полное сочувствие всем угнетенным, ее крепкий и практичный здравый смысл — два качества,

[1] *Trilling D.* Mill's... P. 119–120.
[2] *Rose Ph.* Parallel lives: Five Victorian marriages. N. Y., 1984. P. 246–267.
[3] *Packe M. S. J.* The life of John Stuart Mill. N. Y., 1954. P. 128.
[4] Ibid. P. 131–132.
[5] Ibid. P. 237.
[6] Ibid. P. 143.
[7] Ibid. P. 236.

которые можно обнаружить вместе скорее у женщины, чем у мужчины — заставили ее поверить в то, что положение бедных было гораздо более отчаянным, чем она могла предположить в начале»[1].

Однако, согласно Пеку, по мере утраты своей красоты, испарялась и ее нежная женственная поддержка: «Теперь ей было 34 года. Ее красота стало постепенно увядать, и как следствие нервного беспокойства, прежняя оживленность ее стремительного экспрессивного темперамента стала все более и более буйной»[2]. Теперь языковые средства Пека в отношении Гарриет меняются. Она настаивала на том, чтобы Милль переработал «Основы политической экономии»: «Она требовала полного изменения содержания его экономического исследования по самым ключевым вопросам. И она получила то, чего добивалась... он был вынужден привести ее волю в исполнение»[3]. А если в двух словах, то «поразительная, почти гипнотическая власть Гарриет над разумом Милля не ограничилась только пересмотром направления развития его экономической теории»[4].

Странно, но вопреки выше сказанному, Пек отрицает, что влияние Гарриет сводится только к «колдовству и женским чарам над его разумом»[5], как считают другие исследователи. Он полагал, что ее влияние было гораздо глубже: «Воздействие, которое она над ним постепенно усиливала, теперь превратилось в безраздельную власть, и все последующие его сочинения не были результатом усилий одного ума, а слияния двух... Ее доминирование было намного больше, чем он сам заявлял о нем»[6]. Милль был не только эмоционально подавлен Гарриет, она использовала принуждение в его интеллектуальном труде: «Милль перестал делать различие между умом своим и Гарриет. Как в малом, так и великом, он следовал за ней, куда бы она не повела»[7]. Пек признал значение личности Гарриет, но только за счет излишней гиперболизации ее власти над Миллем. Вместо равного партнера в совместном интеллектуальном труде, она представлена как вершительница научной судьбы своего супруга. Иными словами, вместо партнерства, Пек увидел матриархат.

В 1957 г. Рут Боршард опубликовала свой труд «Джон Стюарт Милль: Человек». Гарриет в ее интерпретации оказалась «неистовой доминирующей личностью», которая подавила Милля «своим чрезвычайно женским вниманием»[8]. Милль во всем подчинился Гарриет. «Нездоровые наклонности» Гарриет проявились в интересе к вопросу о насилии в семье, о чем

[1] *Packe M. S.J.* The life... P. 312.
[2] Ibid. P. 289.
[3] Ibid. P. 313.
[4] Ibid. P. 315.
[5] Ibid. P. 316.
[6] Ibid. P. 316.
[7] Ibid. P. 370.
[8] *Borchard R.* John Stuart Mill: The Man. L., 1957. P. 38, 46.

свидетельствовал ряд статей в газетах. «Она заставила Милля публиковать статьи против подобных правонарушений. Такого рода озабоченность проблемой и страстное желание от нее защититься свидетельствуют о том, что был затронут какой-то первобытный росток в самой Гарриет. Отпечаток мазохизма есть часть нормальной женской психологии; он готовит ее к тяжести родов. ...Но жадное любопытство Гарриет к садистскому обращению с женщинами... указывает на глубоко укоренившийся мазохизм, делающий ее неспособной к нормальной физической любви»[1].

Боршард утверждала, что Гарриет «благополучно заняла место отца Милля в его жизни»[2]. Обвинение в том, что Гарриет играла мужскую роль в жизни Милля, в то время как он сам играл женскую роль, повторялось не раз в исследованиях о них обоих. Во всех случаях посылка, лежащая в основе анализа их отношений, следующая: Джон не управлял отношениями, не был в них главным — следовательно, ими управляла Гарриет, а их роли распределялись по гендерному принципу. Боршард отдает власть Гарриет, причем деспотическую власть, которая делает ее ответственной за появление тех идей в философии Милля, которые Боршард осуждает, например, его социализм. Она заявляет: «Ее влияние на Милля вряд ли можно преувеличить. Какое бы влияние Милль ни оказал на современный ему период истории Англии, оно должно быть одинаково отнесено к Гарриет. И мощная поддержка социализму, оказанная в его книгах, и современное государство всеобщего благосостояния имеют гораздо большее отношение к Гарриет, чем к самому Миллю»[3]. Таким образом, в поддержке социализма они «виноваты» оба, но в роли злодея все равно осталась Гарриет.

Пара небольших по объему статей, увидевших свет также в 1950-х гг., попыталась сбалансировать представленный портрет миссис Милль. В критическом очерке на книгу Пека Л. Робинс обратила внимание на вполне здравую реакцию Гарриет по вопросу переписки мужа с Огюстом Контом[4]. Морис Кранстон назвал Гарриет «прекрасной, сильной, честолюбивой женщиной, живущей подобно героине пьесы Ибсена, в атмосфере, противоречащей ей и сдерживающей ее дух, в которой она чувствовала отсутствие интеллектуальной культуры и духовной страсти»[5]. Кранстон назвал их партнерство «браком умов», что весьма необычно в оценках их совместного творчества. Тем не менее, ни одна из статей не имела достаточных аргументов, чтобы противостоять двум упомянутым биографиям Милля, написанным в 1950-х гг.

[1] *Borchard R.* John Stuart Mill... P. 66–67.
[2] Ibid. P. 72.
[3] Ibid. P. 99.
[4] *Robbins L.* Packe on Mill // Economics. 1957. № 24 (August). P. 250–259.
[5] *Cranston M.* Mr. and Mrs. Mill on liberty // The Listener. 1959. Vol. 62. P. 385 (385–386).

Хотя в 50-е гг. XX в. Гарриет обрела в интеллектуальной истории образ роковой женщины, она заняла в ней значительное место — пусть это место принадлежало злобному персонажу, источнику нездорового влияния. И пусть это покажется странным, но авторы 1950-х гг. сыграли большую роль в пересмотре традиционно негативного отношения к ней. В 1960 г. Х. О. Пэпп опубликовал свою монографию из сорока восьми страниц «Джон Стюарт Милль и миф о Гарриет Тейлор», которая получила неожиданно широкий резонанс, по мнению некоторых авторов, совсем незаслуженный[1]. Пэпп жестоко критиковал предшествующих биографов Милля за то, что они изобразили Гарриет уж чересчур влиятельной особой. Он восхвалял Боршард за то, что «будучи женщиной, она не подпала под обаяние женской сущности Гарриет. В ней достаточно женского здравого смысла, чтобы не заметить некоторые из истинных намерений Гарриет и ее уловки»[2]. На этом Пэпп не останавился и заявил, что сама Боршард «сделала недостаточно для изучения мазохизма Гарриет»[3]. Пэпп считал, что Гарриет не слишком умна, и что она не могла повлиять на идеи Милля никаким существенным образом[4]. Он говорил о том, что все предшествующие исследователи пошли по неверному пути — вместо влияния Гарриет на Милля следует говорить об обратном явлении.

В следующем году Джек Стилинжер опубликовал «Раннюю рукопись «Автобиографии» Джона Стюарта Милля». Страницы черновика этой работы Милля долгое время были разбросаны по разным библиотекам и недоступны для исследователей; теперь же они были собраны воедино и опубликованы. Черновик обнаружил поправки, внесенные по предложению Гарриет, как и тот факт, что сам Милль принял эти поправки. Благодаря находке стало возможным исследовать механизм их совместного творчества в рамках работы над одним конкретным произведением — причем таким произведением, как автобиография, которое по определению является голосом одного человека, и никак не двух. Вот заключение Стилинжера по поводу участия Гарриет: «Ее вариант ранней рукописи обнаруживает присутствие чувства стиля и подобающего тона изложения, но он не подтверждает оценку ее интеллектуальных качеств, данных Миллем»[5]. Он одобрительно цитирует уже упомянутую статью Триллинг и называет себя сторонником психоаналитической теории о том, что Гарриет заняла место отца в жизни Милля[6].

[1] Hypatia's Daughters. P. 226.

[2] *Pappe H. O.* John Stuart Mill and the Harriet Taylor myth. Melbourne, 1960. P. 28.

[3] Ibid. P. 29.

[4] Ibid. P. 19, 22, 46.

[5] *Stillinger J., ed.* The early draft of John Stuart Mill's «Autobiography». Urbana, 1961. P. 25.

[6] Ibid. P. 28.

В 1960-е гг. только одна Гертруда Гиммельфарб в своей короткой статье, которая затем переросла в монографию, оставалась сторонницей теории о том, что Гарриет была влиятельной фигурой, однако, вслед за исследователями 1950-х гг., она признавала, что это влияние было негативным. Она заявила, что принятие Миллем позиций социализма — худшее, по мнению Гиммельфарб, что он совершил — было результатом трудов Гарриет: «Теперь понятно, что он поддался ее очарованию, а не очарованию коллективной собственности»[1].

Помимо одной короткой и не подкрепленной источниками биографии Милля, написанной Джоном Эллери[2], прочие биографы в последующее десятилетие применили очень даже оригинальный подход к исследованию жизни и деятельности Гарриет — они ее проигнорировали. Джозеф Гамбургер в своей монографии «Интеллектуалы в политике: Джон Стюарт Милль и философские радикалы»[3] лишь трижды упоминает имя Гарриет. Это притом, что книга посвящена 20-м — 40-м гг. XIX в., иными словами — периоду, когда сформировалась близкая дружба Милля и Гарриет, и времени, когда она уже играла определенную роль в его жизни. Алан Райан в классической работе «Джон Стюарт Милль»[4] даже не упомянул имя Гарриет — его нет в именном указателе в конце книги. Если же вернуться к работе Эллери, то это один из лучших образчиков нападок на Гарриет: «Создается впечатление, что Гарриет Тейлор имела склонность выражать свои взгляды по малейшему поводу, и что, скорее всего, ею двигало честолюбивое желание обессмертить их в печати. ...Силой своей личности она установила над ним (Миллем — В. С.) власть и прекрасно отдавала себе в этом отчет»[5].

Два «защитника» Гарриет в период 60-х гг. XIX в. вяло реагировали на подобные выпады. Франсис Минека снова повторил свое соображение, сделанное двадцать лет назад, о том, что Гарриет была скорее эмоциональным, а не интеллектуальным помощником Милля в жизни и работе: «Гарриет стала бунтовщиком не без оснований. ...Его (Милля — В. С.) недавние биографы не убедили нас в том, что она была автором идей, изложенных в его трудах, однако никто не может усомниться в ее значении для внутреннего мира Милля, росткам которого грозила засуха§.

[1] *Himmelfarb G.* The two Mills // The New Leader. 1965. № 10 (May) P. 26. См. также: *Himmelfarb G.* On Liberty and liberalism: The case of John Stuart Mill. N. Y., 1974.

[2] *Ellery J. B.* John Stuart Mill. N. Y., 1964.

[3] *Hamburger J.* Intellectuals in politics: John Stuart Mill and the philosophic radicals. New Haven, 1965.

[4] *Ryan A.* John Stuart Mill. N. Y., 1970.

[5] *Ellery J. B.* John Stuart Mill. P. 37.

[6] *Mineka F. E.* The «Autobiography» and the lady // University of Toronto Quarterly. 1963. Vol. 32. P. 306 (301–306).

Джон Робсон в статье «Гарриет Тейлор и Джон Стюарт Милль: художник и ученый» подтвердил, что в литературе сложилось два отношения к заслугам Гарриет: одно, согласно которому Гарриет управляла работой Милля, было сформулировано в 1950-е гг.; другое, сложившееся в 1960-е гг., настаивало на том, что ее вклад в сочинения мыслителя был минимальным. Робсон высказывался в пользу гипотезы, согласно которой «скорее всего, отношения между Миллем и Гарриет были типичными, если не самыми обычными, для браков, где оба члена семьи происходили из интеллигенции: частые дискуссии, взаимное обучение, свобода суждений — то, что претерпело изменения в наши дни — подчинение честолюбивых замыслов жены интересам мужа»[1]. В стремлении обосновать эту гипотезу Робсон сосредоточился на вопросе конкретного вклада Гарриет в труды Милля с помощью исследования написанных ее текстов. Таким образом, был произведен переворот в изучении жизни и деятельности Гарриет Тейлор Милль. Спустя более чем сто лет после ее смерти была предпринята первая попытка анализа ее рукописных трудов, хоть и незначительная — длиной всего в два абзаца. Однако цель, с которой был предпринят этот текстологический анализ, так и осталась вторичной — выяснить, повлияла или нет Гарриет на сочинения мужа, а не установить, что именно она хотела сказать.

Выводы, к которым пришел Робсон, не совсем однозначны. Хотя он заявляет, что ранние работы Гарриет и ее «Освобождение женщин» можно рассматривать как предтечи «Порабощения женщин» и «О свободе» Милля[2], его общая оценка сводится к тому, что она не оказала на него влияния, более того, это она оказалась объектом его влияния. Робсон не объясняет, как получилось, что ранние работы Гарриет предшествовали фундаментальным сочинениям Милля, когда «не обнаружено никаких бесспорных доказательств влияния»[3]. Причина тому становится ясна, когда на первый план выступают знаменитые слова Милля из последней главы его «Основ логики» об артистическом и научном в познании: Робсон наделил Гарриет качествами познающего художника, а Милля — познающего ученого. И хотя сам Милль считал, что роль художника в познании является фундаментальной, Робсон настаивает, что такое понимание «не совсем типично»[4].

Примечательно, что сама Гарриет восставала против взглядов Милля на женщин как на «мечтательниц», живущих эмоциями, и на мужчин, расчетливых и последовательных «ученых». Таким образом, намерение Робсона — доказать, что из них двоих Гарриет была менее теоретически подготовленной: «Система убеждений других мыслителей и рациональность программ,

[1] *Robson J.* Harriet Taylor and John Stuart Mill: Artist and scientist // Queen's Quarterly. 1966. Vol. 73. P. 171 (167–186).

[2] Ibid. P. 171.

[3] Ibid. P. 172.

[4] Ibid. P. 178.

извлеченных из практики и повседневного осознания существующих конфликтов и непредвиденных обстоятельств... нет причин сомневаться, что Гарриет Тейлор, чей подход поэта и пророка был более конкретным, чем абстрактным, также повлиял на него в этом направлении»[1].

Окончательная оценка Робсоном роли Гарриет — она вдохновляла «многосторонность» Милля, однако «теоретические основы работы принадлежат ему... Она не была, в каком бы то ни было значении этого слова, соавтором его сочинений»[2]. Таким образом, в основе данного анализа лежат слова Уильяма Кортни, предупреждающие об особом уме женщин, «опережающем логику», впрочем, как и заключение Минеки о том, что Гарриет давала эмоциональную, но не интеллектуальную поддержку Миллю. И хотя данный анализ оказался наиболее добросовестным, тем не менее, он не изменил существующих представлений о Гарриет Тейлор Милль — высокие научные достижения и авторство сочинений все так же принадлежали ее супругу, а Гарриет только мечтала, поддерживала и давала советы.

В 1970 г. под редакцией Элис Росси вышли «Сочинения о равенстве полов» Джона Стюарта Милля и Гарриет Тейлор. По мнению Росси, сопротивление принятию заслуг Гарриет в выработке научной системы ее супруга обусловлено тремя факторами: борьбой между философскими радикалами и радикалами-диссентерами[3], отношением конкретных исследователей к социализму[4] и самым обыкновенным сексизмом[5].

Росси считает, что для начала нужно изучить работы Гарриет, а уже затем делать выводы о ее влиянии на Милля: «Никто из числа исследователей научного творчества Милля не занимался исследованием сочинений, собранных в данном томе, чтобы понять суть отношений, сложившихся между Миллем и Гарриет за годы, прожитые вместе. На мой взгляд, не была также принята в расчет устойчивость Милля к постороннему влиянию. Он не был человеком, на которого можно было так просто повлиять или который мог оказаться одержимым одной идеей или человеком»[6]. Росси согласна с тем, что Гарриет было принято рассматривать либо как незначительную и мало влиятельную фигуру, либо фигуру значительную только потому, что она соблазняла Милля дурными и вредоносными идеями. «Хотя не совсем научно делать подобные заявления, и, тем не менее, в работе исследователей творчества Милля можно почувствовать непреднамеренное желание исключить Гарриет Тейлор как способную внести какой-либо значительный вклад в силу анализа политических и социальных

[1] *Robson J.* Harriet Taylor... P. 179.

[2] Ibid. P. 186.

[3] *Rossi A.S.* Essays on sex equality, by John Stuart Mill and Harriet Taylor Mill. Chicago, 1970. P. 36.

[4] Ibid. P. 38.

[5] Ibid. P. 45.

[6] Ibid. P. 39.

проблем, сделанного у Милля, до тех пор пока не обнаружится некоторое суждение, с которым наш исследователь будет не согласен, — и тогда пришедшееся не по нраву мнение будет приписано дурному влиянию Гарриет»[1].

Виржиния Хелд в рецензии на введение Росси к «Сочинениям о равенстве полов» поддержала такой подход к наследию Гарриет. Хелд обнаружила важный момент, связанный с исследованиями о Гарриет: «Что касается холодности и безразличия Гарриет Тейлор, то это скорее мнение исследователей, чем свидетельство источников»[2]. Сделанное во введении к «Основным работам Джона Стюарта Милля» высказывание Макса Лернера, о том, что «нам известно, что (Гарриет — В. С.) была фригидной женщиной»[3], Хелд отметает в пользу следующего суждения о ее отношениях с Миллем и Джоном Тейлором: «Она стремилась достичь приемлемого решения, которое причинило бы меньше всего страданий всем вовлеченным сторонам»[4].

Спустя два года было опубликовано первое академическое исследование «Подчиненности женщин» Милля[5]. И хотя нам достоверно известно, что Гарриет не участвовала в написании данного текста хотя бы потому, что он появился много лет спустя ее смерти, автор публикации А. Таталович смогла обнаружить ее непосредственное влияние: Гарриет продемонстрировала силу интеллектуальных возможностей женщины, а их партнерство послужило основой его понимания «преимуществ брака, основанного на равенстве»[6].

Почему исследователи отнеслись к Гарриет с такой строгостью? Тому есть несколько причин. Вначале назовем три, обозначенные Элис Россель: это борьба между философскими радикалами и радикалами унитарианскими, негативное отношение большинства исследователей к социализму, а также сексизм, понимаемый в самом широком смысле слова.

Философские радикалы, такие как Бентам, Джеймс Милль, Грот и другие, верили в необходимость реформы правовой системы. Они считали, что самыми серьезными противоречиями в обществе были противоречия между аристократией и «народом». Унитариане, в их число входили Джеймс Фокс и Гарриет Мартино, были скорее обеспокоены вопросами личной ответственности и социальной реформы и скептически относились к реформе правовой системы. Они мыслили менее шаблонно. Они осознавали глубокие противоречия между рабочим и средним классом, наряду с противоречиями между средним классом и аристократией. Хотя эти

[1] *Rossi A. S.* Essays on sex equality... P. 44–45.
[2] *Held V.* Justice and Harriet Taylor // The Nation. 1971. October 25. P. 406.
[3] Цит. по: *Held V.* Justice... P. 405.
[4] Ibid. P. 406.
[5] *Tatalovich A.* John Stuart Mill: The subjection of women: An analysis // Southern Quarterly. 1973. Vol. 12 (1). P. 87–105.
[6] Ibid. P. 88.

группы частично совпадали, между ними все равно существовала напряженность.

Гарриет Тейлор придерживалась унитарианизма, когда познакомилась с Миллем, и была автором статей в унитарианском издании «Мансли Репозитори». После духовного кризиса 1826 года Милль стал все больше отдалятся от философских радикалов, он поставил под сомнение саму возможность прогрессивного правового переустройства общества. Те, кто был пламенным защитником дела философских радикалов, и кому пришлись не по нраву перемены в образе мыслей Милля, обвинили в случившемся Гарриет Тейлор. Те же, кто с сочувствием относился к радикалам-унитарианам, также снисходительно отнеслись к влиянию Гарриет Тейлор на Милля. Такое различие в оценках можно обнаружить не только среди участников этих двух течений, но и среди исследователей, этими двумя течениями занимавшихся. Росси убедительно показывает, что Гарнет и Минека, которые изучали унитариан, отнеслись к Гарриет с самым большим сочувствием. Тогда как Ласки, Ринегард, Стиллинжер, Лернер и Триллинг, которые специализировались по философским радикалам, оказались самыми жестокими ее критиками[1].

Другая причина нелюбви большинства исследователей к Гарриет, указывает Росси, — это неприязнь к социализму. Если авторы, такие как Хайек, а позже — Гиммельфарб и Боршард (последние два исследователя у Росси не упомянуты), относятся к социализму крайне отрицательно, то значит и Гарриет в их трудах наделена особой властью над Миллем, и это ее вина, что Милль со временем стал более благосклонен к социализму. Таким образом, критики социализма «могли интерпретировать период его увлечения социализмом как временное заблуждение, вызванное дурным влиянием Гарриет»[2].

Однако большинство социалистов не признают сам факт влияния Гарриет. Например, «Ласки, социалист, не желал рассматривать социалистическую мысль Милля как результат женского влияния и, следовательно, избрал отрицательную оценку личности Гарриет и ее вклада в идейное наследие Милля»[3].

В обоих случаях Гарриет оказывалась проигравшей. Если исследователю был не по душе социализм, то именно Гарриет была виновата в том, что Милль склонялся к его принятию. Если, наоборот, исследователь был сторонником социалистических идей, то он не мог позволить связать их принятие с не более чем женским влиянием. Так в исследовательской литературе появилось два отрицательных образа Гарриет Тейлор Милль: она представала либо как женщина властная и коварная, либо как добродетельная, но весьма недалекая.

[1] *Rossi A. S.* Essays on sex equality... P. 33–34.
[2] Ibid. P. 38.
[3] Ibid. P. 38.

Наконец, Росси указывает на всеохватывающий сексизм в отношении современников и исследователей к Гарриет: «Для викторианцев напористые женщины без сомнения были еще большим источником раздражения, чем сегодня. Гарриет Тейлор не походила на увядшую фиалку, она не была кроткой и податливой женщиной»[1]. Бесчисленные ссылки на присущие ей мазохизм, ибо ее интересовала проблема насилия в семье, фригидность, ибо она отказалась вступать в интимные отношения с Миллем, а также настойчивые попытки изобразить Гарриет тупой, несведущей или агрессивно невежественной женщиной подтверждают вывод Росси.

Рассматривая историю исследований о Гарриет Тейлор Милль с высоты настоящего времени, можно обнаружить еще одну закономерность. Для этого нужно ответить на вопрос, кто и когда был ее наиболее активным защитником. Это Гарнет и Мери Тейлор в 10-е, Диффенбо и Рей Стречи в 20-е, Минека в 40-е и Хайек в самом начале 50-х, Росси, Гельд и Огаст в 70-е годы XX в. Краткое сравнение этих дат с событиями в истории феминизма позволит нам провести очевидные параллели. Все это — периоды обострения борьбы за права женщин, тогда как 30-е, 50-е и 80-е годы XX в. были временем ее ослабления. В некотором смысле история исследований о Гарриет Тейлор Милль — это история западноевропейского и американского женского движения за последние сто лет в миниатюре.

Даже несмотря на процветающий сексизм в истории философии и общественных наук в целом, Гарриет вряд ли привлекла бы так много внимания и навлекла на себя столько гнева, если бы «вела себя как подобает». Историки не были так жестоки к другим женам ее великих современников — Джейн Карлейль, Элизабет Браунинг или Саре Остин. Но Гарриет отказывалась играть роль типичной викторианской дамы без собственного мнения. Она задавала вопросы, раздражала и провоцировала на неудовольствие всех, кроме Милля. В XIX веке дамам не подобало задавать столь дерзкие вопросы, как «Откуда вы знаете?», «Почему?», «В чем различие?» Интеллектуальное любопытство и обращение к собеседникам с неудобными вопросами не было социально приемлемым атрибутом викторианской женщины.

[1] *Rossi A. S.* Essays on sex equality... P. 35–36.

Л. М. МАКАРОВА (СЫКТЫВКАР)

МИФ ЭВЫ ПЕРОН: ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АРГЕНТИНЫ СЕРЕДИНЫ XX В.

Эва Перон (1919–1952), с 1945 г. до конца жизни — супруга диктатора Аргентины Х. Д. Перона, одна из самых выдающихся женщин в истории Аргентины. Обычное для Латинской Америки политическое противостояние в Аргентине двух групп генералитета дополняется в этот период выступлением женщины в нетрадиционной роли политика, чье воздействие на общество в силу указанных обстоятельств принимает своеобразные формы.

Источники по этому вопросу можно разделить на две группы. В первую входят официальные свидетельства политической деятельности Эвы Перон — речи, текст ее отказа от поста вице-президента Аргентины, завещание[1], изданные под ее авторством «История перонизма»[2] и мемуары «Смысл моей жизни»[3]. Обе последние книги имеют небольшой объем, который соответствует имиджу «народного» политика, да к тому же еще и женщины, человека из низших слоев, не пишущего крупных работ. Текст в обоих случаях разбит на крохотные главки, поскольку предполагалось ознакомление с его содержанием самых широких слоев населения Аргентины. Во времена доминирования в Аргентине перонистской идеологии эти сочинения были предметом обязательного школьного изучения, и такая разбивка материала помогала быстро ориентироваться в тексте даже неискушенному читателю. Все перечисленные источники имеют явно пропагандистский характер, их структура и содержание организованы так, чтобы внимание читателя было сосредоточено на основных позициях доктрины перонизма и на ключевой роли в реализации этой доктрины Х. Д. Перона и его супруги. Дополнительную сложность представляет собой дифференциация этих ролей, поскольку акценты меняются в зависимости от источника. Часть этих официальных материалов создавалась в последний период жизни Эвы Перон, в расчете на формирование ее уже посмертного образа, поэтому имеет явно выраженный «житийный» характер. Для уточнения обстоятельств, повлиявших на создание этого образа, отмеченные источники дополнены информацией, содержащейся в трех ее

[1] Они опубликованы, в частности, в: *Perón Eva*. Discursos, testamento. Buenos Aires, 1974.

[2] *Perón Eva*. Historia del peronismo. Buenos Aires, 1971.

[3] *Perón Eva*. La razón de mi vida. Buenos Aires, 1951. В мемуарах сосредоточены основные идеи выступлений Эвы Перон, однако ее авторство здесь наиболее спорно. В научной литературе господствует мнение о них как об официальном сочинении, составленном по государственному заказу специально приглашенным для этого специалистом.

беллетризованных биографиях, которые помогают составить представление об имидже Эвы Перон в общественном мнении Аргентины. Две из них принадлежат перу аргентинских писателей А. Поссе и Т.Э. Мартинеса, третья — француженке С. Райнер[1]. Появились они в период с 1994 по 1997 гг., когда прошло уже достаточно времени после смерти героини этих биографий. Общей для них является попытка представить варианты имиджа Э. Перон, созданные не только представителями разных слоев аргентинского общества, но и самой героиней. Несколько параметров, на основании которых интерпретируются действия Эвы Перон, являются общими для всех авторов: внешность, любовь как смысл женской жизни, способы действий Эвы, прямые результаты этих действий, наконец, проблема кумира и толпы. Наибольшей вариативностью в обеих группах источников отличаются суждения о месте и значимости Эвы Перон в политической жизни Аргентины, сравнительно с Х.Д. Пероном.

Самым ранним из рассмотренных беллетристических источников (1994) является работа А. Поссе, который от лица Эвы говорит о создании в Аргентине ее посмертного «жития», идеализированной биографии, выполненной по государственному заказу[2]. Третье лицо повествования постоянно перемежается с первым, так что не всегда ясно, от чьего имени ведется рассказ, все это создает впечатление потока сознания и позволяет сохранить эмоциональность изложения. Сочинение Поссе, опубликованное в рубрике «документальная проза», базируется на устной истории и на мемуарах. У второго аргентинского писателя, Т.Э. Мартинеса, реконструкция образа Эвы происходит через картину ее смерти, абсолютизируется не-бытие. По мнению Мартинеса, «реальность нельзя воскресить, она преображается и воспроизводит себя заново в литературном произведении»[3]. Источники, с которыми работает Мартинес, принадлежат, в основном, также устной истории, поскольку его интересует не столько фактографическая, сколько эмоционально действенная информация, в которой максимальную роль играет образный строй языка говорящего. Особенно он подчеркивает различие женского и мужского восприятия, речевую специфику женщин в целом[4]. Поэтому Мартинес отказался от первоначальной идеи вести повествование от третьего лица, он сохраняет первое, и предоставляет слово представителям разных социальных групп. Однако Мартинес строго отделяет одни свои источники от других. О том, что генералы противились избранию Эвы на пост вице-президента, не желая подчиняться женщине, он упоминает, апеллируя к «слухам»[5]. Мартинес отмечает весьма условную достоверность своих

[1] *Мартинес Т.Э.* Святая Эвита // ИЛ. 1998. № 10; *Поссе А.* Страсти по Эвите // ИЛ. 2005. №№ 1–3; *Райнер С.* Эвита. Подлинная жизнь Эвы Перон. Смоленск, 1998.

[2] *Поссе А.* Страсти по Эвите // ИЛ. 2005. № 1. С. 232–234.

[3] *Мартинес Т.Э.* Святая Эвита. С. 74.

[4] Там же. С. 55, 90, 146.

[5] *С. Райнер* приводит эту же информацию без комментариев, как вполне достоверную. (*Райнер С.* Эвита... С. 301). Вероятно, причина здесь все же более основательная, и касается это не только Эвы, но и ее мужа. Армию, по всей вероятности, тревожила опора Перона на «массы», при определенных условиях это могло привести к неконтролируемым социальным последствиям.

источников, что закономерно при апелляции к устной истории, однако он приводит примеры искажения фактов в том числе и в официальных документах. Объясняет он это тем, что и Перон, и Эва — прирожденные актеры, которые по собственному желанию «формируют» действительность. Иными словами, вне зависимости от того, препарируются свидетельства очевидцев или официальные документы, речь, по его мнению, может идти только об уже мифологизированной трактовке личности Эвы Перон. Поэтому он последовательно рассказывает «посмертную историю», явно отделяя ее от «прижизненной» — реальной, и обосновывая, таким образом, соответствие своего повествования уже существующему мифу. Его интересует механизм создания харизмы Эвы через близкую смерть как вариант сакрализации[1]. Несмотря на это, в целом аналитический элемент в его работе выражен сильнее, чем у А. Поссе. Наконец, С. Райнер рассматривает историю Э. Перон на фоне общей истории Аргентины, в заключение сопоставляя ее с ее преемницей, следующей женой Перона, Марией-Эстелой де Перон, оказавшейся в плену созданного в Аргентине культа Эвы. Своих источников С. Райнер не называет, подчеркнуто создавая беллетризованную биографию. Отличие позиции С. Райнер состоит также в существенно большей ее дистанцированности от ее героини. Она говорит о чужой стране, события в которой ее лично никак не затрагивают, поэтому для нее не редкость отрицательные оценки многих действий Эвы. В отличие от проперонистской апологетичности суждений первых двух авторов, в книге Райнер создан отрицательный образ женщины, любой ценой рвущейся к цели, стремящейся достичь неограниченной власти.

В российской историографии история Эвы Перон не привлекает особого внимания исследователей. Специальных работ о ней написано совсем немного, и они носят статейный характер[2]. Что же касается зарубежной историографии, там ей посвящена довольно значительная литература. Жизнь и общественно-политическая деятельность Эвы Перон по-прежнему привлекают внимание. В частности, в 80-е гг. появились работы Р. Кресвеллера, А. Креспо, Н. Фрезера и М. Наварро, М. Мейн[3]. Отдаленность повествователей

[1] *Мартинес Т.Э.* Святая Эвита. С. 90, 145–146, 153–154.

[2] К наиболее значительным работам относятся статьи: *Шокина И.Е.* Эва Дуарте Перон // ВИ. 1998. № 4; *Докучаева О.Н.* Ева Перон (1919–1952). Жизнь и общественно-политическая деятельность // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2000. № 4. С. 18–43. О.Н. Докучаевой принадлежит также сопроводительная статья к работе А. Поссе. Упоминают о ее политике также: *Фадеева Л., Лаптева М.* 100 портретов. Кто правил миром. Очерки о политических деятелях XVIII — XX веков. Пермь, 2002; *Пименова Р.А.* Аргентина. М., 1987. Серия «У карты мира». С. 35–37.

[3] *Crasweller R.D.* Peron and the enigmas of Argentina. N.Y.; L., 1988; *Crespo A.* Evita: Le destin extraordinaire d'Eva Peron. Paris, 1982; *Fraser N., Navarro M.* Eva Peron. London, 1980; *Main M.* The woman with the whip. New York, 1980.

от Аргентины и, следовательно, свобода от перонистских симпатий и антипатий в то же время приводит их к некоторой модернизации аргентинской истории. Особенно это касается представления о роли женщины в аргентинском обществе 40–50-х гг. XX в. Эве Перон посвящен особый сайт в Интернете[1], правда, большинство перечисленных там работ балансируют на грани беллетристики. Это мемуары, перонистские пропагандистские издания, публицистика, художественные произведения в жанре биографии, подробная история ее похорон. Почти все публикации страдают субъективизмом, поверхностностью и односторонностью («за» или «против»). После появления мюзикла «Эвита»[2] Э. Перон стала еще и объектом массовой культуры, и рамки, отделявшие реальное историческое лицо от бесконечных мифов, оказались окончательно размытыми. При ознакомлении с жизнью и деятельностью Эвы Перон возникает вопрос, насколько возможна в тот период, в условиях страны с выраженным культом мужчины, была самостоятельная политическая роль женщины. Не менее интересна и вторая проблема, касающаяся уровня политического сознания этой женщины, понимания ею не только своекорыстных интересов, но и политических проблем страны.

Все источники о ней единодушны в одном — они подчеркивают сложность для женщины в условиях послевоенной Аргентины проявлять какую-либо инициативу, тем более на государственном уровне. Все они, так или иначе, говорят об аргентинском мачизме как мировоззрении, признающем только общество, устроенное мужчинами и для мужчин. Женщине в таком обществе отведено место лишь в сфере приватного, публичная деятельность ограничена благотворительностью — единственно доступной и приличной для нее общественной функцией. Эва Перон, в силу этих причин, начинает свою политику с вытеснения благотворительности аргентинских аристократок, занимая уже существующую легитимную нишу. В стремлении противостоять представительницам светских салонов она часто подчеркнуто отождествляла себя с народом Аргентины, апеллировала к историческим авторитетам. Но, с другой стороны, занималась она этим не по-женски, в частном порядке, как было принято до нее, а подняла дело на уровень государственного масштаба, формируя из него орудие собственной власти. А. Поссе, делая максимальный акцент именно на благотворительной деятельности Э. Перон, идеализирует ее, подчас показывая почти как революционерку, разрушающую благополучие привилегированных слоев общества[3]. Т. Э. Мартинесу удалось избежать

[1] См.: http://www.evaperon

[2] Э. Л. Уэббер и Т. Райс, 1979 г.

[3] Это соответствует возникшему в 60-е гг. XX в. перонистскому тезису о «революционерке Эве Перон». Благотворительность Э. Перон О. Н. Докучаева оценивает как насквозь популистское мероприятие, дополнительной целью которого была ликвидация аристократической оппозиции. См.: *Докучаева О. Н.* Ева Перон... С. 19, 40–41. Все же можно предполагать, что актерская сущность Эвы приводила ее к искреннему вживанию в создаваемый образ.

чрезмерной идеализации практической деятельности Э. Перон, но, с другой стороны, своим способом повествования он почти приравнивает ее к христианским святым. Однако Эва Перон, судя по этому источнику, прекрасно отдавала себе отчет в ситуации. Информация об этом содержится и в мемуарах Эвы: она хочет о себе только одного упоминания в историческом будущем — того, что рядом с Пероном была женщина, известная под именем Эвиты[1]. Мемуары подчеркивают ее безусловно подчиненное положение относительно Перона, который оказывается главным лицом как в жизни Эвы, так и в целом в Аргентине.

Когда представительницы женского профсоюзного движения после многочисленных намеков Эвы предложили ей баллотироваться на пост вице-президента, она, которая очень хотела занять этот пост, тем не менее, ответила, что все будет зависеть от согласия мужа. Мартинес полагает, что Эва во многом была искуснее Перона, в частности, в создании сети осведомителей, тех, кто ей помогал властвовать. Но, одновременно, он считает (и в этом вопросе резко противостоит Райнер), что Эва не думала о том, чтобы сознательно затмить Перона — просто он изначально был слабым человеком[2]. Казалось бы, этому соответствует и текстовое содержание ее отказа от поста вице-президента Аргентины, в котором Эва Перон подчеркивает, что она — простая аргентинская женщина, никогда не предполагавшая занять этот пост[3]. Вместе с тем, с психологической точки зрения, это может означать такой уровень популярности, при котором уже нет необходимости упоминать официальную должность, достаточно просто назвать имя. Она вынуждена была отказаться от баллотировки на пост вице-президента, который сделал бы ее признанным активным политиком. Причины здесь, вероятно, комплексны, это и прогрессирующая болезнь, и недовольство генералов. Вместе с тем, Введение в ее «Историю перонизма» начинается информацией не о доктрине и Пероне, а о Фонде Эвы Перрон[4]. Далее она подчеркивает свою якобы отстраненность от официальной власти и в то же время не забывает упомянуть, что ее Фонд занимает то здание, в котором прежде работал Х. Д. Перрон[5].

Женщина в Аргентине той эпохи не могла быть явным политиком, она могла стать лишь супругой политика, с четко определенными обязанностями, ограниченными чисто представительскими функциями. Поэтому в мемуарах Эва стремится по-своему интерпретировать этот вопрос, подчеркивая свою якобы двойную ипостась — супруги президента, госпожи Перон, и Эви-

[1] *Perón Eva*. La razón... P. 95.

[2] Ibid. P. 69, 75.

[3] *Perón Eva*. Discursos, testamento... P. 53.

[4] *Perón Eva*. Historia del peronismo... P. 7.

[5] *Perón Eva*. La razón... P. 96. Даже принимая во внимание сомнительную достоверность мемуаров Эвы, следует признать, что, вне зависимости от их происхождения, там могли быть изложены лишь официально одобренные суждения.

ты, кумира «безрубашечников», представителей трудовых масс Аргентины, с которыми она постоянно подчеркивает полное единство[1]. С другой стороны, благополучие женщины было в Аргентине достижимо лишь при опоре на мужчину. Достигнув этого благополучия, она расставляет акценты следующим образом: именно Эвита уникальна, в то время как роль госпожи Перон стандартна, ее в разные времена играли многие женщины[2]. Действуя в тени Перона, она становится идеологом перонизма и, одновременно, как вполне автономный феминистский лидер, возглавляет женское отделение перонистской партии[3]. Формально она самостоятельна, но феминизм ориентирован на партию Перона. Разделение по половому признаку членства в партии наглядно демонстрирует положение женщин в аргентинском обществе, начавшееся (пока еще обособленно от мужчин) их включение в политику. Женщины именно в этот период, с 1951 г., получают избирательные права. Цель такой акции была вполне прагматической — они должны были голосовать за Перона. Однако перонистская историография связывает как принятие закона о предоставлении избирательных прав аргентинским женщинам, так и создание в стране массовой женской политической организации, с именем Эвы Перон. Однако вряд ли движение за права женщин увенчалось бы таким успехом без заинтересованной поддержки Перона. Вместе с тем, Эва хотела пробиться в целом в мире, а не только в мире мужчин, поэтому она противопоставляла себя не только противоположному полу, но и женщинам — аристократкам. В ее мемуарах представлены два социальных мира — аристократический, которому она чужда и который ее отторгает, и мир «безрубашечников», в котором она и народ Аргентины едины[4]. Женщины же из высших классов, стремясь сохранить исключительно за собой традиционное право заниматься благотворительностью, узурпированное Э. Перон, вышли на улицы, чтобы, распевая «Марсельезу», протестовать против участия в выборах. И жизнь, и деятельность Эвы Перон, с одной стороны, обнажают гендерные противоречия, а с другой — своим вмешательством она несколько сглаживает раскол аргентинского общества на мужскую и женскую части.

Еще при жизни Эвы был задуман памятник Неимущему — для увековечения ее благотворительной деятельности; в последний момент фигуру Неимущего предполагалось заменить фигурой самой Эвы[5]. После ее смерти эта идея была отставлена, но самое ее возникновение свидетельствует о существенно большей политической значимости, по крайней мере, пока она была

[1] *Perón Eva*. La razón... P. 90–92.

[2] Ibid. La razón... P. 95.

[3] Эта партия создана Х. Д. Пероном в 1947 г., окончательно сформировалась под названием хустисиалистской после свержения генерала Перона в 1955 г.

[4] *Perón Eva*. La razón... P. 90–92.

[5] *Мартинес Т. Э.* Святая Эвита. С. 49–50, 69, 107. Идея с памятником не была реализована из-за кончины Эвы.

жива и могла контролировать ситуацию, чем рекламируемая Пероном роль его простой помощницы, а не самостоятельного политика.

Поскольку речь идет о женщине, все авторы делают акцент на ее внешности. У Мартинеса первоначальное описание ее внешности приводится для того, чтобы подчеркнуть оригинальность героини — хотя Эва не обладала красотой в общеупотребительном смысле слова, она сделала себя красивой в глазах окружающих, ее красота шла «изнутри», основана была на одухотворенности всего облика[2]. Перон также публично придерживается именно этой оценки: он увидел достоинства преданной делу женщины[3]. Здесь снова используется принцип «житийного» повествования. С позиции стандартной для аргентинского общества той эпохи оценки достоинств женщины, Эва внимания не привлекала — ни по происхождению, ни за счет выигрышной внешности или артистического таланта — всех тех черт, которые оправдывали бы в глазах аристократической общественности ее популярность. Позиция Эвы осложнялась еще и ее не совсем респектабельным прошлым, и представители военных кругов стремились помешать Перону в заключении с ней брака, поскольку это был бы недопустимый для государственного деятеля мезальянс. Эва, по аргентинским критериям, была недостойна роли официальной супруги. Но одновременно именно это прошлое и позволяло ей впоследствии нарушать строгие поведенческие каноны, предписанные «женщине из общества». Последняя в силу этих канонов должна быть лишь тенью мужа, и ни при каких обстоятельствах не выступать самостоятельно[4]. Образ Эвы оказывается связанным одновременно с ее сексуальной жизнью и судьбой ее мертвого тела. В представлениях не только низов общества, но и интеллектуальной элиты это объединялось, Мартинес даже считает возможным говорить об «эротическом перонизме». Но сама Эва обсуждала собственный пол, ограничиваясь единственно оценкой судьбы женщин в мужском мире, и выражение этот тезис нашел только в литературе[5]. Вместе с тем, телесность, которая буквально истаивает по мере обострения болезни, ставит Эву за пределы отведенного женщине положения в земном

[1] *Fraser N., Navarro M.* Eva Peron. P. 169, 171. В пользу значимости Эвы свидетельствует и тот факт, что после ее смерти Х. Д. Перон резко сворачивает политическую активность из-за отсутствия пропагандистской патетики.

[2] Т. Э. Мартинес считает, что «создателем» внешнего образа Эвы был парикмахер. Святая Эвита. С. 44, 73. О ее природной некрасивости упоминает и А. Поссе — Страсти по Эвите // ИЛ. 2005. № 1. С. 192.

[3] *Докучаева О. Н.* Ева Перон... С. 25.

[4] *Мартинес Т. Э.* Святая Эвита. С. 74, 69.

[5] Там же. С. 109. Однако Поссе останавливается на специфике феминизма Эвы, ее представлении о мужчинах как о хозяевах жизни, собственниках всего, в том числе и женщин. Власть их, по авторской интерпретации, Эва оценивает с чисто сексуальной позиции как «власть ширинок». *Поссе А.* Страсти по Эвите. С. 230.

мире, страдания приравнивают ее к святой. Еще прижизненно она становится кумиром как женщин, так и мужчин из низов общества. Во славу ее совершают поступки и требуют ее канонизации (называя «святой» при жизни). В ее истории смерть играет едва ли не главную роль, поскольку она подводит черту под всеми стремлениями Эвы. Противопоставление идет вначале по линии соотнесения жизни Эвы и ее смерти, которая из простого не-бытия превращается в миф о кончине святой. Тело ее слилось с судьбой страны. Мачизму постоянно противопоставляются именно мощи. Такая точка зрения характерна для современных перонистов, которые больше апеллируют к Эве, чем к Перону. Следует иметь в виду, что Аргентина — страна католиков, с выраженным культом Богоматери, и Эву накануне ее смерти воспринимают как существо, которое вскоре предстанет перед Господом и сможет поведать Ему о страданиях конкретных людей.

Харизма Эвы после ее кончины существенно укрепляется. Максимально подробно, в силу специфики поставленной проблемы, занимался этим вопросом Т. Э. Мартинес. После смерти Эвы и свержения Перона опасность, по мнению пришедшего к власти генералитета, представляют именно останки Эвы (те самые «мощи», питающие миф Эвы, конкуренции с которыми режим генералов может не выдержать). С. Райнер, рассматривая проблемы посмертной ее судьбы, отмечает, что тело мертвой Эвы обладало большей властью, чем прежде живая Эвита[1]. Предполагается, что в этом качестве она способна сыграть роль в политике, став знаменем для беднейших слоев населения[2]. Может быть, пока это только опасения генералов, поскольку их правительство, созданное в результате переворота, не легитимно. Мумифицированная телесность материализует память об Эве, становится последней реликвией. Прикоснуться к ней — значило прикоснуться к небу. Даже экземпляры ее биографии «Смысл моей жизни», с автографами Эвы, распространяются, как молитвенники. С. Райнер особо обращает внимание на психологию масс, подробно поясняя способы манипулирования толпой, к которым прибегала Эва Перон. Мартинес также рассматривает отношение толпы к кумиру, акцентируя внимание на том, что кумир — женщина, и поклонение ей, несомненно, носит иной характер. Особенно такое поведение характерно для низов общества, толпа собирается, чтобы увидеть Эву, а не президента, ее супруга. Объясняется это как популистской политикой Эвы, так и необычностью для Аргентины подобного женского поведения. Вместе с тем, Эва понимает специфику восприятия людей, когда они превращаются в «массу». «Когда множество людей объединяются, они уже не тысячи отдельных душ, а одна единая душа»[1]. В подобного рода маргинальных обстоятельствах у Эвы оставалось поле для маневра, был шанс отступить без большого бесчестья, поскольку ее поведение соответствовало общепринятым нормам. Эва сталкивалась с неприятием со стороны, во-первых, защитников традиционного общества, в том числе среди женщин — противниц избирательных прав, во-вторых, сторонников демократии, как мужчин, так и женщин, выступавших против тирании. Режим справедливо обвиняли в стремлении подчинить профсоюзы, иными словами, в авторитарности. Впрочем, низкая образованность Эвы не всегда позволяла ей даже правильно оценить характер обвинений, сопоставлений с историческими якобы предшественницами. Описываемое авторами прошлое Эвы используется для того, чтобы еще раз подчеркнуть гендерное своеобразие ее политической роли. Выдвинутые против нее обвинения не могли не быть противоречивыми: высказывалось предложение Перону надеть женское платье, и, одновременно, Эву обвиняли в его обожествлении. Аргентинская общественность явно не могла адекватно оценить ситуацию.

Речи Эвы, ее средство воздействия на население Аргентины, были, по характеристике незаинтересованного наблюдателя, невыносимо патетичны. Однако эта патетичность была предназначена для достаточно экзальтированного, особенно в Латинской Америке, рядового населения, слушателей радиосериалов. Источники позволяют Мартинесу сделать вывод о том, что конструируется миф об Эве. В редакционном предисловии к работе Т. Э. Мартинеса отмечено, что Эва Перон — одно из самых загадочных явлений в истории Аргентины[2]. Однако любой миф создается в соответствии с особенностями восприятия населения, для которого этот миф предназначен. Мифологизированность мышления, прививаемая сериалами, в которых Эва участвовала прежде как заштатная актриса, предусматривала патетичность даже для частных рассуждений. Мартинес воспроизводит одну из ее бесед с матерью, смоделированную по канонам радиопередач. Перед Эвой все время возникали мифологические образы для подражания, начиная с Золушки, чью историю она тоже примеряла на себя[3]. Эва принадлежала к тому же кругу, что и слушатели сериалов, говорила их языком. В первую очередь миф касается взлета Эвы из безвестности радиоактрис. Поэтому в Аргентине она все еще остается Золушкой из телероманов, в то время как за границей она стала устойчивым символом беспредельной власти. Американка М. Мэйн называет ее «женщиной с хлыстом». Миф об Эве питался фантазиями о том, что она могла бы сделать, если бы осталась жива, а Перон сохранил бы власть. В любом случае, Эва не существует отдельно от Перона. Второй показатель мифа — смерть ее, как и других аргентинских мифологических фигур XX в. (Гардель, Че Гевара) в молодые годы. Но, в отличие от них,

[1] *Райнер С.* Эвита... С. 373.

[2] Впоследствии, уже в начале 70-х гг., третья жена Перона, Мария-Эстела, должна была под воздействием экзальтированной толпы внешне и поведенчески стремиться соответствовать Эве. Только после смерти Перона наступает ее психологическое освобождение от навязанного образа. В частности, она возвращается к собственному имени. *Райнер С.* Эвита... С. 384–392.

[1] *Райнер С.* Эвита... С. 67.

[2] *Мартинес Т. Э.* Святая Эвита. С. 43.

[3] Там же. С. 47, 56, 74–75.

агония Эвиты протекала на глазах у толпы, и ее смерть стала, в соответствии с традициями мифа, коллективной трагедией[1]. Мартинес отмечает, что Эва Перон продолжает оставаться женщиной со всеми ее слабостями и эмоциональными особенностями — покупает новое белье, незадолго до агонии ей шьют новое платье[2]. И одновременно у нее все время присутствует сильное стремление преодолеть женское начало за счет поразительной активности, поскольку традиция именно женщине предписывает пассивное поведение. Эва, которой остается сто дней до смерти, по-прежнему занята политикой[3].

У женщины, по понятиям мачизма, должен быть кумир, которому она подчинена и служит. Постоянно встречаясь с профсоюзными деятелями, Эва произносит много речей, где всегда речь идет о любви к Перону и к стране. Здесь она не выходит из традиционной женской роли, утверждая, что влюбилась в Перона «за его дела». «Я не перестану благодарить Перона за то, чем я являюсь». Но в то же время Эва отмечает, что Перон уникален, поскольку у него иное отношение к женщине, он не склоняет ее к «вязанию пуловеров», как несомненно сделали бы другие мужчины. Мартинес отмечает своеобразный комплекс Пигмалиона — поскольку женщина существо не самостоятельное, двое мужчин присваивают себе статус «создателей» Эвы: ее парикмахер и ее супруг[4]. Мартинес и другие авторы говорят об огромной взаимной любви Эвы и Перона, история их знакомства и отношений подробно расписана у всех авторов, только оценивается по-разному. Райнер считает их отношения совершенно лишенными даже какой-либо теплоты, не говоря о более сильных чувствах[5]. Р. Кресвеллер в своей лишенной эмоций работе о Х.Д. Пероне полагает, что труд Эвы был прекрасным дополнением деятельности Перона. Ссылаясь на высказывания Перона, автор констатирует рабочий характер их взаимоотношений. Однако рассуждения Перона о совместном, его и Эвы, служении на благо общества, этот автор считает элементом создания мифа[6]. Он уточняет также период трансформации Эвы в преданную служительницу общего дела. По его мнению, это произошло отнюдь не моментально, как утверждает Перон, преувеличивая масштабы собственного влияния на мировосприятие Эвы. В то же время, он несколько модернизаторски, применительно к ситуации в Аргентине, считает Эву безусловно публичным политиком. Рассматриваемые авторы приходят к общему выводу, что признания в мужском мире Эва Перон

[1] *Мартинес Т.Э.* Святая Эвита. С. 104–105. Вопрос об обстоятельствах возвышения Эвы (через брак или в силу личных качеств) уже после ее смерти И.В. Сталин задавал аргентинскому послу. Но в Аргентине однозначного ответа на этот вопрос не было — см.: *Барбоса А.С.* «Событие года» (встреча И.В. Сталина с послом Аргентины 7 февраля 1953 г.) // Латинская Америка. 1994. № 6. С. 90.

[2] *Мартинес Т.Э.* Святая Эвита. С. 82, 87.

[3] *Поссе А.* Страсти по Эвите. С. 174, 178.

[4] *Мартинес Т.Э.* Святая Эвита. С. 54, 57, 73, 77.

[5] *Райнер С.* Эвита... С. 60.

[6] *Crasweller R.D.* Peron... P. 132–133.

при жизни не добилась. В качестве критерия обычно приводится ее неудачная попытка выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента. Но ей удалось добиться иного — признания ее за счет ее маргинального статуса: она не вошла в мужской мир, но и не осталась в женском, ее популярность опиралась на мистическое настроение населения, не последнюю роль в создании которого играл приобретенный Эвой опыт участия в радиосериалах с их бесконечным мифотворчеством разного уровня и масштаба. Поэтому в аргентинском обществе популярность Эвы также объяснялась отнюдь не чисто личными качествами и не была взвешенным суждением; ее или боготворили, или считали олицетворением зла. В таких случаях не были исключением и представители интеллектуальных кругов. Даже рассуждения о ее необыкновенной судьбе казались сценами все из тех же сериалов, поскольку эта необычность предъявлялась при помощи блокировки реалистических суждений. Смерть окончательно превратила Эву Перон в миф.

Специфика беллетристики — учет не только проверенных фактов, но и собственных впечатлений автора, а подчас и слухов. Необходимо поэтому делать поправку на особенности миропонимания авторов художественных текстов. Их сознание, временами вне зависимости от их собственной воли, склонно абсолютизировать значение одних фактов и преуменьшать роль других. Отпечаток на авторские концепции накладывает и то обстоятельство, что перонистская партия в Аргентине продолжает пользоваться популярностью, и некоторые суждения авторов могут по этой причине быть откровенно апологетическими. А. Поссе и Т.Э. Мартинес пишут об Эве Перон с большой симпатией, положительно или хотя бы сочувственно оценивая большинство ее действий. Возможно, здесь отражаются их партийные пристрастия. Райнер значительно критичнее, она больше всего внимания уделяет психологии толпы, способностям Эвы к манипулированию. Однако в целом она многословнее остальных авторов и пересказывает события там, где другие предоставляют слово источнику со всем его своеобразием.

И все же Эва Перон — политик, именно такой, какой тогда был необходим Аргентине: популист с четким пониманием необходимости привлечь на свою сторону массы. Эва имеет большой опыт работы на радио, точнее — участия в радиосериалах, который она и использует. Остается только отметить, насколько серьезную и самостоятельную роль могла она сыграть тогда в аргентинской политике. А. Поссе считает ее второй политической фигурой в эту эпоху, своеобразным сочетанием лидера и маргинала. Он отмечает, что власть Эвы была «женской», параллельной «мужской» власти Перона. По его мнению, для режима она делала много больше, чем Перон. Кресвеллер демонстрирует ее первые шаги — она слушала Перрона и затем перекладывала на язык эмоций его высказывания. Для противников она стала символом «безграмотного, дикарского, демагогического перонизма»[1]. Эва Перон, занимая активную

[1] *Crasweller R.D.* Peron... P. 135.

политическую позицию, усваивала мужской тип поведения. Она всегда держалась на шаг позади мужа, но он казался ее тенью. Она имела громадную власть, но не занимала никакой официальной должности: это необычное и двусмысленное обстоятельство особенно проявилось во время ее путешествия в Европу, где ее принимали как «особого рода главу государства»[1]. Эвиту превозносят как инициатора и организатора беспрецедентной по масштабу благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи беднейшим слоям населения. В исторической литературе левоперонистского толка особое внимание уделяется той роли, которую сыграли в укреплении «народного правительства» Перона агитационные выступления и пропагандистское искусство Эвы, а также ее сотрудничество с профсоюзами, с руководством ВКТ.

Изученные материалы позволяют предположить, что без Х. Д. Перона пропагандистский талант Э. Перон не имел бы приложения, поскольку концептуальной значимости ее суждения не имели. Бесконечные заверения в любви к Перону и Родине предполагают все же реализацию конкретных действий в этом направлении. В определенной степени собственные проблемы Э. Перон совпадали с проблемами Аргентины; это касается прежде всего положения женщины в этой стране. Поэтому, борясь за свою жизненную самостоятельность, она одновременно могла затронуть и более широкую проблему места женщины в обществе. В политике на уровне целой страны Эва Перон воспроизводит ситуацию домашнего круга: почти обоготворение мужа, создание ему условий для максимально успешной работы. Микромир переносится на макроуровень. В качестве жены президента Эва открыто вмешивалась в государственные дела и, якобы ради «интересов народа», добивалась назначения на важные и прибыльные должности «своих людей», прежде всего родственников. Но это — стандартный прием в политике недостаточно политически развитых стран, где отсутствуют законы, запрещающие подобные действия. С другой стороны, личность Эвы Перон не могла избежать мифологизации, поскольку эта женщина объединяла в своей деятельности несколько, на первый взгляд, противоречивых позиций — лидера и покорной помощницы, супруги президента и народного кумира, женщины в мужском мире. Миф же стремится к созданию целостности образа. Согласно этому мифу, Эва была намного левее и радикальнее самого Перона и, в отличие от него, представляла интересы рабочего класса, а не буржуазии. О «мадонне безрубашечников», как часто называли Эву ее сторонники, с перонистами спорят некоторые аргентинские и многие зарубежные, в основном, англо-американские, историки и публицисты, которых, несмотря на различия в политических взглядах, объединяет критическое отношение к перонизму как таковому.

[1] *Поссе А.* Страсти по Эвите. С. 186.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ГЕРОЙ ВТОРОГО ПЛАНА

И. А. КРАСНОВА (СТАВРОПОЛЬ)

ФОРМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ФЛОРЕНТИЙСКИХ ГРАЖДАН КОНЦА XIV — НАЧАЛА XV ВВ. В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА

Развитие форм государственности флорентийской республики в XIV в. отличалось сложным сочетанием различных тенденций, зачастую противоречащих одна другой. Наряду с идеей законности монархического правления, особенно полномочий императоров Священной Римской империи, принцип единоличной власти проявлялся в лице чужеземных должностных лиц — подеста и капитана народа, сосредотачивающих в своих руках значительные функции исполнительной и контролирующей власти. Эта тенденция реализовывалась в призвании венценосцев или феодальных владетелей, которым в кризисные моменты коммунального общества первой половины XIV в. на некоторый срок вручались чрезвычайные полномочия власти. Прекращение действия этой практики, хотя и с известными оговорками, можно констатировать лишь к середине XIV в., когда в 1343 г. была свергнута одиннадцатимесячная диктатура последнего чужеземного властителя Готье де Бриенна, герцога Афинского. Одновременно с этим шел неуклонный процесс формирования и совершенствования республиканских властных структур и государственного законодательства (реформы статутов 1322–1323, 1325, 1328 гг.), а также распространения идей пополанского суверенитета и коммунальной свободы, складывания комплекса ценностей, заключающих в себе демократическое начало[1].

Флорентийские граждане получали значительные шансы быть избранными на многочисленные общественные должности внутри города и контадо (по-

[1] О проявлении монархического принципа власти в коммунальном обществе Флоренции см.: *Rubinstein N.* The Place of the Empire in Fifteenth Century Florentine Political. Opinion and Diplomacy // Bulletin of the Institute of Historical Research. XXX, 1957. P. 126; *De Rosa D.* Coluccio Salutati: il cancelliere e il pensatore politico. Firenze, 1980. P. 106–107. О формировании и развитии республиканских органов власти см.: *Brucker G.* Florentine Politics and Society 1343–1378. Princeton, 1962; *Guidi G.* Il governo della città-Republica di Firenze del primo Quattrocento. T. I — III. Firenze, 1980. T. I — Politica e diritto pubblico; T. II. — Gli istituti «Di Dentro» che componevano il governo di Firenze nel 1415; *Najemy J.* Corporatism and consensus in Florentine electoral politics 1280–1400. North Carolina, 1982.

рядка трех тысяч) с кратковременными сроками полномочий (от двух месяцев до одного года). Можно спорить о месте и влиянии членов младших цехов в коммунальных структурах власти, но нельзя отрицать, что они постоянно, в большей или меньшей степени, были в них представлены. Именно в XIV в. флорентийские граждане приобретали вкус к управлению государством, подвизаясь в роли избирателей, членов Синьории и соответствующих коллегий, дипломатов, «призванных» в разнообразные Советы и комиссии, не говоря уже о возрастающем числе постов в приходах и крепостях постоянно расширяющегося контадо. Одновременно в этом городском социуме формировался комплекс ментальных установок, который известный итальянский исследователь В. Бранка определил как «государственный разум» (ragion di stato)[1].

Его можно наблюдать в «Хрониках», «Домашних хрониках», «Воспоминаниях», «Семейных книгах», «Секретных тетрадях» и других записках такого же рода. Какие бы оценки не давались этим источникам, их аутентичность никогда не подвергается сомнению, как и ценность для изучения разных сфер исторического знания[2]. В этих образцах «купеческой литературы» почти всегда представлены регистрации перечней занимаемых коммунальных должностей и аннотации, относящиеся к внутренней и внешней политике города-государства. В ряде случаев присутствуют авторские комментарии, интерпретации и мнения, заключающие особый интерес для историков, поскольку они даются непосредственными свидетелями или участниками событий.

В этих записях выявляется ряд установок, выражающих формы идентификации авторов с государством-республикой. Многие флорентийские граждане являлись носителями «положительной идентичности», в той или иной мере полно отождествляя себя и свою фамилию с общественными корпорациями (цехи, партия гвельфов, религиозные братства), данным политическим режимом и правящими структурами города-коммуны. Чаще всего это личности, активно стремящиеся к социальной эскалации и успешно продвигающие вперед свою политическую карьеру, зачастую жертвуя при этом экономическими интересами и семейно-клановыми связями. Такие горожане отличались высокой степенью публичной активности и рвением

[1] *Branca V.* Prefazione // Morelli G. Ricordi. A cura di V. Branca. Firenze, 1956; *Branca V.* Introduzione // Mercanti scrittori: Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento. A cura di V. Branca. Milano, 1986. P. XXIV.

[2] *Pandimiglio L.* Ricordanze e libro di famiglia. Il manifestarsi di una nuova fonte // Lettere italiani. XXXVII. I. 1987; *Castellani A.* La prosa italiana delle origine. I — Testi toscani di carattere italico. Bologna, 1982; *Cicchetti A., Mordenti R.* La scrittura dei libri di famiglia // *Asor Rosa A.* Letteratura italiana. Vol II — La prosa. Vol. III — Le forme del Testo. Torino, 1984; *Cicchetti A., Mordenti R.* I libri di famiglia in Italia. I — Filologia e storiografia letteraria. Roma, 1985; II — Geografia e storia. Roma, 2001; *Bizzocchi R.* La famiglia. Storia di interessi e affetti nell' Italia moderna. Roma; Bari, 2001; *Cazalé Bérard C., Klapisch-Zuber C.* Mémoire de soi et des autres dans les livres de familles italiens // Annales. ESC. P., 2004.

к государственной службе. Они изъявляли готовность исполнять должности, следуя идеальным предписаниям, что часто не соблюдалось на практике[1]. Флорентийский гражданин Грегорио Дати, заключая сделку с собственной совестью, клялся штрафовать самого себя на 2 золотых флорина, если нарушит некоторые морально-политические нормы: «Если Господь предоставит мне должность в Коммуне или цехе, то я подчинюсь, не стану избегать никакого трудного дела, буду исполнять должность настолько хорошо, насколько смогу, питая отвращение к пороку гордыни, постараюсь не впадать в самонадеянность, оставаться свободным и никому не служить по просьбе»[2]. Исполнение большого числа коммунальных должностей составляло для граждан предмет законной гордости и свидетельствовало об уважении и признательности в обществе.

Выделяются еще несколько наиболее заметных составляющих «положительной идентичности» в социально-политической сфере. В частности, осознание недостатков современного им режима и сбоев в организации и действиях государственных структур вызывало стремление лично способствовать их исправлению и усовершенствованию. Живший в середине XIV в. Донато Веллути (1313–1370), даже невзирая на мучительные приступы подагры, активно участвовал в попытках проведения реформ, направленных против диктаторских поползновений партии гвельфов[3]. Несмотря на то, что отношение Бонаккорсо Питти к государству в первой четверти XV в. отличалось большей сложностью, его политическое поведение также характеризовалось служебным рвением в государственной деятельности и даже чрезмерным желанием лично поспособствовать преодолению кризисных ситуаций в конце XIV в.[4]

Важными признаками идентичности индивида с его государством представляются коммунальный патриотизм и утверждение системы ценностей пополанской демократии, отмеченной своеобразным «урбанизмом». Например — настойчивая «антикуртуазность» Донато Веллути, полемически

[1] «Я не желал ничего, как только бы не оставаться неблагодарным за оказанную мне честь и не выказывать ненасытного аппетита» — это высказывание принадлежит перу флорентийского гражданина Грегорио Дати по поводу избрания его на одну из высших должностей. См.: *Dati G.* Il libro segreto. A cura di C. Gargiolli. Bologna, 1869. P. 72–73. Кроме того, ссылки на чрезмерную политическую активность сограждан и их рвение к общественным постам составляют рефрен хроники Маркьонне ди Коппо Стефани, который считал эти явления одной из причин распрей в коммуне. См.: *Stefani M.* Cronaca fiorentina // Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani. A cura di N. Rodolico. // Rerum italicarum scriptores. Cittá di Castello. 1903–1913. T. XXX. P. I. Rubr. 382. P. 139; Rubr. 446. P. 158; Rubr. 775. P. 307–308.

[2] *Dati G.* Il libro segreto... P. 72–73.

[3] *Velluti D.* La cronica domestica scritta tra il 1367 e il 1370. A cura di I. Del Lungo e C. Volpi. Firenze, 1914. P. 249–252.

[4] *Питти Б.* Хроника. Пер. с ит. З. В. Гуковской. Л., 1972. С. 100–103.

заостренная против образа жизни и совокупности качеств, характеризующих рыцаря и профессионального воина[1]. Апологетическая «Хроника» уже упоминаемого купца Грегорио Дати[2] является не только показателем взрыва патриотических настроений во время противостояния Флоренции миланскому правителю Джангалеаццо Висконти (90-е гг. XIV в.), она содержит доказательства превосходства флорентийского народовластия по сравнению с тиранническими типами государственного устройства[3].

К устойчивым ценностям республиканского городского общества следует отнести стремление граждан позиционировать себя в качестве полноправных пополанов и правоверных гвельфов, род которых давно обитает во Флоренции. Таким же образом следует оценить саморепрезентации политической лояльности, выражающиеся в подчеркнутых отказах идентифицировать себя в качестве политического сектанта, то есть приверженца какой-либо партии или выделяющейся из общества группировки[4].

Но основным объектом исследования в этой работе станут формы социально-политической идентичности тех флорентийских граждан, которые оказывались в условиях, отторгающих их от участия в управлении государством. Длительный период с 1382 по 1434 г., который связывают с процессом окончательного становления флорентийской олигархии, отнюдь не характеризовался прямолинейностью и поступательной равномерностью политических процессов. Однако в эту эпоху особенно заметны ситуации понижения политического статуса граждан, принадлежащих к старинным и влиятельным городским домам, обладающих гражданским полноправием, культурно-образовательным и символическим капиталом. Причины исключения представителей таких семей из участия в государственном управлении сводились к двум основным факторам. Во-первых — экономическая несостоятельность, поскольку после свержения правления младших цехов доступ малообеспеченных горожан к должностям все более затруднялся. Второе обстоятельство - политические вендетты, нацеленные на вытеснение

[1] *Velluti D.* La cronica domestica... P. 81–82, 89–90, 96–97.

[2] *Dati G.* Istoria di Firenze dal 1380 al 1405. Norcia, 1904. P. 70–74, 120.

[3] Ibid. P. 37, 74, 120. См также.: *Baron H.* The Crisis of the early Italian Renaissance. Princeton, 1966. P. 167–170, 175–177, 187–188.

[4] *Velluti D.* La cronica domestica... P. 241. Донато писал об этом так: «Едва избавились мы от внешней войны, как начала разгораться гражданская война внутри между наихудшими сектами, которые у нас были. Наверное, угодно было Богу, чтобы они имели добрую цель, но я думаю напротив; и находились в одной секте Альбицци со Строцци и их сторонники, а Угуччоне де Риччи с другими его сторонниками — в другой, которые, еще до того как я стал гонфалоньером справедливости в 1350–1351 гг., не нравились мне, и когда я был призываем ими, то не хотелось мне ни к какой из них присоединяться, но больше всего хотелось [их] уничтожить, и когда я стал Гонфалоньером Справедливости, то вместе с моими сотоварищами мы не могли склонить их ни к какому соглашению, хотя направляли туда для этого инквизитора...»

из публичной сферы тех, кто казался пришедшей в 1382 г. к власти олигархической группе фамилий потенциальными противниками или ненадежными союзниками.

В нашем распоряжении имеются записки трех современников, переживающих и осознающих понижение своего статуса в обществе города-коммуны. Одним из авторов является флорентийский гражданин из пополанского рода Джованни Морелли, мемуары которого (1348–1411) достаточно известны отечественным читателям[1]. В первой половине своих записей этот горожанин отождествлял себя со своей коммуной и ее республиканским строем, гордясь тем, что происходил из старого пополанского рода: «Великий и великолепный народ и Коммуна Флоренция, враг, преследователь и сокрушитель преступных тиранов, грабителей и разрушителей народов, и особенно враг гибеллинов, видела и знала о тирании... Убальдини, тиранов Альп и Муджелло, и положила наша Коммуна уничтожить этот разбой... И как было угодно нашему Синьору Господу Богу, помощнику и защитнику всякого блага, ... все их крепости были захвачены и покорены с великой победой и честью для нашей Коммуны»[2]. Сравнивая порядки Флоренции с устройством Синьорий в других городах Тосканы и Италии, он отмечал превосходство своего Государства: «Флоренция справедлива и хранит мир для своих подданных»[3].

Со всей тщательностью Джованни докапывался до истинно гвельфских корней своего рода, приводя в пример прадеда Морелло, сражавшегося за партию и ранившего нескольких гибеллинов из секты Белых в начале XIV в.[4] Он полностью идентифицировал себя с Флоренцией и народом, повествуя о войне коммуны с папским престолом 1375–1378 гг.: «Была Коммуна Флоренция сильно угнетена Церковью... так, что в начале возникла опасность, как бы не утратить нам нашу свободу»[5]. Джованни Морелли отождествлял себя не только с коммуной, но и с правящим режимом: « Я хочу быть согласен с теми, кто управляет государством, со всеми стоящими у власти... хочу быть всегда солидарным со старыми и добрыми фамилиями Флоренции, верными Коммуне Гвельфами, и не соглашаться с тем, кто мыслит иначе и не желает славы, чести, величия нашей Коммуне. Не имею пока от Господа возможностей продемонстрировать ей свою добрую волю, устремленную к благу Республики, но, полагаю, Господь сподобит меня на это»[6]. «Мы», «наша Коммуна» и аналогичные клише, бессознательно употребляемые Джованни

[1] См.: *Брагина Л.М.* Итальянский гуманизм. Этические учения XIV — XV веков. М., 1977; *Баткин Л.М.* Этюд о Джованни Морелли // ВИ. 1962. № 12. С. 88–106; *Абрамсон М.* Л. Человек итальянского Возрождения. Частная жизнь и культура. М., 2005.

[2] *Morelli G.* Ricordi. A cura di V. Branca. Firenze, 1956. P. 127.

[3] Ibid. P. 101.

[4] Ibid. P. 131–132.

[5] Ibid. P. 315–318.

[6] Ibid. P. 195–197.

Морелли, как и другими горожанами, свидетельствуют о связи личности и государства, частью которого она себя ощущает.

Судя по политическим убеждениям Морелли, его можно назвать выразителем исключающих тираническое правление позиций средней прослойки жирного пополанства[1]. Поначалу он, осуждающий восстание чомпи и установившееся после этого правление младших цехов 1378–1382 гг.[2], был удовлетворен реформами 1382 г., аннулирующими возможность повторения диктатуры партии гвельфов и положившими конец засилью подмастерьев и работников. Фраза «Наконец, наше государство пребывало в покое»[3] — редко встречается на страницах хроник и мемуаров. При этом Морелли консервативен в своих выступлениях против расширения круга лиц, имеющих доступ к правлению, из которого он исключал «новых людей» и молодых, не достигших возраста, строго ограниченного цензом[4].

Однако, покой для представителей семьи Морелли, респектабельных членов цеха Лана, продолжался недолго. Внутри нового режима началось извечное для Флоренции соперничество двух могущественных фамильных кланов Альберти и Альбицци, которое привело в 1387 г. к победе последних и изгнанию Бенедетто дельи Альберти, главы влиятельной фамилии. В 1393 г. выслали и других членов клана[5]. Семья Морелли обитала по соседству с домами Альберти, а сам Джованни и его родственники являлись их консортами через посредство совместных браков[1]. В реформах 1393–1394 гг. проявлялись тенденции к олигархическому правлению[2].

Поскольку был принят закон о том, что все родственники и консорты осужденных и высланных в 1393 г. исключаются из избирательных списков и лишаются права занимать государственные должности, представители дома Морелли оказались в опале у заправил господствующего режима. С этого момента в записях Джованни Морелли идентичность, выражающая его отношения с государством, начинает принимать «спутанные», смешанные формы. Выступая как беспристрастный историк при регистрации событий, а также как член коммуны, бессознательно ощущающий себя ее неотъемлемой частью и в какой-то мере рупором мнения большинства представителей своей социальной страты, писатель не мог осудить реформы 1393–1394 гг.: «Этот новый порядок являлся неплохим, поскольку был определенным, и его поддерживала вся наша коммуна»[3]. Он сдержанно одобрял и избирательные нововведения: «Новый список был более или менее добрым, но он оказался слишком узким...». Но Морелли констатировал: «Во всех горожанах поддерживалось единство, хотя с некоторыми гражданами — пополанами и гвельфами — поступили несправедливо, не оставив их там [в списках] по подозрению; и мы были в числе тех, с кем обошлись несправедливо, несмотря на то, что мы одобряли то, что случилось, и не сочувствовали Альберти, как считали некоторые наши дурные соседи»[4].

[1] *Morelli G.* Ricordi... P. 426–427. Он приветствовал роспуск коллегии 81 с чрезвычайными полномочиями и тираническими тенденциями: «простой народ был очень доволен», явно относя к простому народу и себя с братом.

[2] Ibid. P. 322–323. Созидательную роль мастеров цеха Лана, представляющего жирных пополанов-владельцев сукнодельческих боттег, в деятельности коллегии (103-х), чрезвычайного органа, призванного реформировать город в 1382 г., после свержения режима тощего народа отмечал хронист Стефани. См.: *Stefani M.* Cronaca. Rubr. 914. C. 405–406; Cronichetta Strozziana // I Ciompi. Cronache e documenti. A cura di O. Corazzini. Firenze, 1887. P. 145–146. Интересно, что одинаковую позицию высказывают в этом случае лица, находящиеся по разные стороны баррикад. Стефани — ставленник свергнутого режима младших цехов, анонимный автор «Хроникетты» — его непримиримый враг, но оба жаждут «золотой середины» и возвращения к обычному образу жизни в стенах своего города. С ними солидарен и еще один неизвестный современник: «Добрые граждане и ремесленники хотели мира в городе, чтобы заниматься своими делами и не допустить поджогов и грабежей по требованию персон, имеющих дурные цели» — Diario di anonimo fiorentino // Alle bocche della piazza: Diario di anonimo fiorentino (1382–1401). Firenze, 1986. P. 30–31.

[3] *Morelli G.* Ricordi... P. 322–323.

[4] Ibid. P. 195–197. «Всем, и вновь пришлым мастерам, и людям малых дел я желаю изобилия, мира и доброго согласия, но не во всем удовлетворен их поведением, ибо они проникнуты слишком дерзким духом, особенно возрастающим, когда они объединяются в некоторых делах».

[5] Ibid. 71a. P. 326–328. Хотя Джованни писал свои мемуары после 1393 г., когда Альберти уже подверглись остракизму и почти все были высланы, он выражал уважение к мессеру Бенедетто: «человек мудрый и распорядительный... действующий с любовью к добрым людям и гвельфам».

[1] О последствиях борьбы с «заговором», в который, якобы, вступили члены семей Альберти, Риччи, Медичи, Джиролами и Спини, см. подробно: Diario di anonimo fiorentino (1382–1401) // Alle bocche della piazza: Diario di anonimo fiorentino (1382–1401). Firenze, 1986. 74–77. P. 150–163.

[2] Созванная в октябре 1393 г. Балия (чрезвычайная коллегия, получающая значительные полномочия власти для проведения реформ) постановила о том, что из «сумочки» (в этой суме содержались имена немногих, считающихся особо благонадежными граждан) теперь будут выбираться не 2 приора, а 3; все родственники и консорты осужденных в 1393 г. были исключены из списков; повысили возрастной ценз для избрания на должности. Наконец, была основана еще одна чрезвычайная коллегия на 5 лет для реформ избирательных списков — «Коллегия 81», срок полномочий которой потом продлили. См.: Diario di anonimo fiorentino. 77–78. P. 159–166. См. также: *Rubinstein N.* Il regime politico di Firenze dopo il Tumulto dei Ciompi // Il Tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea. Firenze, 1981. P. 118–120.

[3] *Morelli G.* Ricordi... P. 334. Джованни Морелли мог одобрить многие меры, введенные Коллегией 81: освободив на 5 лет от уплаты налогов некоторую часть тощего народа, она предотвратила восстание младших цехов; запретила ввоз в город иноземных тканей, удовлетворив насущную потребность мастеров цеха Лана; усилила городскую милицию.

[4] Ibid. P. 336–337.

Семью Морелли и его самого отторгало не только государство, но и тот социальный слой, к которому он себя относил, — зажиточные и добропорядочные граждане, преимущественно мастера цеха Лана и других старших цехов, казалось бы, прочно утвердившиеся у власти в конце XIV в.

Интересно, что при описании следующего катаклизма, пострясшего флорентийское общество в 1396 г. и окончившегося очередной серией осуждений и изгнаний, Морелли решительно выступил на стороне обвиненного в государственной измене и высланного Донато ди Якопо Аччайуоли. Более того, он недвусмысленно заявлял о несправедливости сфабрикованного обвинения[1], солидаризируясь с мессером Донато и «теми гражданами, которые из-за волнений 1393 г. были несправедливо отстранены от участия в правлении по причине подозрения, или недоброжелательности, или по другой неправедной причине, но которые являлись гвельфами и пополанами»[2]. При этом должностных лиц Синьории, осудивших и выславших Донато ди Якопо Аччайуоли, — выходцев из пополанских фамилий, он называл «грандами», явно вкладывая в этот термин негативный смысл. Сомнения в беспристрастности правосудия, косвенное осуждение правящих структур свидетельствуют об изменении восприятия целостности связей собственного «я» и коммуны в той части мемуаров, где автор старался выступать как беспристрастный историк.

«Воспоминания» и «Домашние хроники» отличались многослойностью текста. Авторы, как правило, выступали не только историками, регистрирующими и интерпретирующими события. В такой же мере они заявляли о себе, как о моралистах и наставниках последующих поколений. В дидактических рассуждениях этот флорентиец преподавал своим потомкам вполне определенные уроки социально-политического конформизма. Описывая пагубные последствия для участников заговора, пытающихся совершить государственный переворот в августе 1397 г. (казнь через отсечение головы), он выражал свое мнение в следующей сентенции дидактического характера: «Об этих новшествах я упоминаю по многим причинам, и особенно потому, чтобы каждый наш потомок имел добрый образец и никогда не выступал против правления или какого-либо установления, оставаясь согласным с волей Синьоров и благоприятствуя ей, и, в частности, стремился бы пребывать с людьми добрыми из старых фамилий, и гвельфами: ведь вы сами видите вред и позор, который воспоследует для того, кто против»[3]. Морелли снабжал потомков подробнейшими указаниями: не слушать агитации против властей, всеми силами избегать персон, ведущих подобную пропаганду, не общаться с теми, кто слывет недовольными, даже если они не высказываются прямо: «Более всего остерегайтесь раздраженных и недовольных, готовых на все, лишь бы найти себе союзника. Если плохо говорят о какой-то персоне, не участвуйте в этом, в крайнем случае, только повторяйте то, что скажут другие, и то если будете уверены, что вас поддержат»[1]. При малейшем подозрении о том, что затевается заговор или переворот, он советовал немедленно доносить об этом властям или городской охране: «И только таким способом сможете жить честно и открыто, и никакие интриги не коснутся вас»[2].

Морелли понимал, что идеал политического соглашательства не всегда исполним в обществе Флоренции с его борьбой фракций и клановых группировок. В этом случае его поучения отражают настроения циничного практицизма: если уж невозможно станет придерживаться середины и сохранять нейтралитет, то следует примкнуть к наиболее могущественной и влиятельной партии, в которой состоит большинство именитых граждан и гвельфов[3]. Точно такие же сентенции высказывал Джино ди Нери Каппони (ум. в 1421), видный олигарх и выдающийся политик Флоренции[4]. Справедливости ради стоит отметить, что подобные установки — избрание ради сохранения целостности и порядка в обществе наиболее жизнеспособной политической структуры или фракции — не лишены социально-созидательного смысла. Они не исключали искренней заинтересованности Морелли в благе своей Республики, судя по сохранившемуся в архиве документу, написанному его рукой, под названием «Протест» (Protesto) с призывом строго придерживаться «Установлений справедливости» и осуждением многих методов правления

[1] *Morelli G.* Ricordi... P. 344. «И это послужило предлогом для тех, которые являлись заправилами власти, принизить мессера Донато, и они захотели найти средства, и, не имея возможности сдвинуть мессера Донато с его позиций, они решили обвинить его перед Синьорами и «Коллегией 8», заявляя и показывая, что он желает возмутить и перевернуть государство, и под этим видом сделать синьором».

[2] Ibid. P. 344.

[3] Ibid. P. 377. Аналогичные наставления обнаруживаются в «Домашней хронике» Донато Веллути: «Я и другие из моей фамилии никогда не пойдут на то, что может причинить вред Коммуне, но мы будем действовать всегда только для ее блага...» (*Velluti D.* La cronica domestica... P. 241–242, 250), в «Книге о добрых нравах» Паоло да Чертальдо: «Остерегайся того, чтобы под видом услуги твоему другу совершить что-нибудь против Коммуны, оказавшись в сборище с мятежными целями, замешавшись в интриги, заговор или что-либо подобное... Не может быть твоим другом враг твоей Коммуны. Не позволяй никому втянуть себя в такого рода дела, ибо в них можно лишь потерять честь свою и достояние» (*Paolo da Certaldo.* Il libro di buoni costumi. (Documento di vita trecentesca fiorentina). A cura di A. Schiaffini. Firenze, 1945. 336. P. 203–209).

[1] *Morelli G.* Ricordi... P. 281–282.

[2] Ibid. P. 275–276.

[3] Ibid. P. 429–430.

[4] *Capponi G.* Ricordi // Miscellanea di studi offerta a Antonio Balduino e Bianca Bianchi. Presso di seminaria di filologia moderna dell' università. Padova, 1962. XXVII. P. 38–39. Он писал или диктовал в предсмертных записках, адресованных сыновьям: «Если вы хотите поддержать государство и быть с теми, кто служит ему опорой, то отдавайте преимущество тем, кто ныне правит, чтобы государство оставалось в порядке, а пополаны не разъединялись... Из тех людей, которые есть сейчас, придерживайтесь Бартоломео Валори, Николо д' Уццано и Лапо Никколини. В государственных и имущественных делах советуйтесь с ними и прислушивайтесь к их мнению».

современных ему структур, а также злоупотреблений, допускаемых стоящими у власти по отношению к «meni possenti». Видимо, эта попытка исправить механизм политического управления оказалась неудачной, что поспособствовало в дальнейшем отказу от активной позиции[1].

Что скрывалось за этими конформистскими установками, принимающими в XIV в. устойчивый, почти традиционный характер? Можно предположить, что позиции невмешательства в политическую борьбу выражали стремление к единству и целостности общества, постоянно разделенного на партии и фракции. Но в сознании Джованни Морелли, видимо, они приобретали новое значение, которое Кристиан Бек определял как «политический миметизм»[2]. Соглашательское приспособленчество в этом случае граничило с политической индифферентностью и пассивностью, проистекающими от ощущения невозможности самому повлиять на усовершенствование государственной системы. Эти настроения можно охарактеризовать как предпосылку будущей победы синьориального режима в республиканском социуме[3]. Приходя к таким выводам, не следует упускать из виду, что мы имеем дело с определенным жанром — дидактикой, возможно, предписывающим определенные формулы и стереотипы топосов, позволяющих выразить оценки и мнения.

Настроения разочарованности и обиды на государство, не оценившее преданность и лояльность граждан из рода Морелли, приобретают полное звучание в тех фрагментах мемуаров, которые посвящены истории семьи и психоаналитическим попыткам определить смысл своего существования. В этих случаях автор был в меньшей степени скован традициями жанра. Джованни ди Паголо выражал глубокую неудовлетворенность тем, что члены его семьи, как и он сам, занимали не те посты, которых они были достойны: его дед Бартоломео исполнял мало почетные и обременительные должности в контадо, не приносящие выгоды, авторитета и славы в обществе. В оценке деятельности деда Морелли выражал собственную субъективную позицию: «А ведь Бартоломео был достоин большего...и даже находясь среди грандов и послов, сумел бы добиться уважения для себя и своих детей. Вот почему, как я полагаю, дед, став старше, не хотел больше обременять себя участием в управлении... из-за соображений экономии и всяких неподобающих случаев»[4]. Некоторое разочарование проявляется и в комментарии по радостному поводу: в 1404 г. Джованни Морелли и его

[1] Подробно об этом см.: *Pandimiglio L.* Giovanni di Pagolo Morelli e la ragion di famiglia // Studi sul Medioevo cristiano offerta a Raffaelo Morghen. Roma, 1974. II. P. 585–586.

[2] *Bec Ch.* Les marchands ècrivains. Affaires et humanisme á Florence (1375–1434). Paris, 1967. P. 58.

[3] Эту точку зрения высказывала Леонида Пандимильо . См.: *Pandimiglio L.* Giovanni di Pagolo Morelli e la ragion di famiglia. P. 588–589.

[4] *Morelli G.* Ricordi... P. 144. «Неподобающий случай» имел место, когда Бартоломео Морелли исполнял обязанности судьи в Муджелло и вынужден был иметь дело с некой «необычной, грубой и зверской женщиной», которая набросилась на него с побоями, а он в порыве ярости задушил ее.

брат Морелло после длительного периода полного исключения из политической сферы, наконец, попали в списки на должности. По этой причине Морелли благодарил гонфалоньера компании своего квартала, но не мог скрыть досады из-за того, что их не оказалось ни в одном из списков на высшие должности[1].

В записях, где Джованни Морелли проявлял себя как налогоплательщик, более всего заметны стремления отделить экономические интересы своей семьи от государства. Он не только подвергал республику резкой критике за беспорядок и злоупотребления в фискальной сфере[2]. Даже злую фортуну он представлял как несправедливую налоговую систему, предупреждая потомков, что роковых бедствий из-за чрезмерных обложений избежать не удастся[3]. Джованни детальным образом разработал целую систему по борьбе с коммунальным налогообложением: всяческое сокрытие доходов и расходов от учета должностных лиц[4]; постоянные жалобы на чрезмерное отягощение и петиции в письменной форме, направляемые в Синьорию[5]; наконец, нескончаемая тяжба с государством[6]. Во всем, что касалось налоговой сферы, Джованни Морелли даже подвергал попранию основные нормы морали. Советуя потомкам ловчить и обманывать Коммуну, он писал: «Говори ложь, похожую на правду, так, чтобы тебе поверили и не заподозрили в обмане, но берегись, как огня, лжи в любом другом деле, здесь же неправда допустима...»[7]. Он призывал

[1] *Morelli G.* Ricordi... P. 429–430.

[2] Ibid. P. 473–474. См. также: *Macinghi Strozzi A.* Lettere di una gentildonna fiorentina ai figliuoli esuli. A cura di C. Guasti. Firenze, 1877. 5/ IV 1450. P. 78–81; 21/ VII 1459. P. 160. Вдова Строцци писала: «Я не удовлетворена только тем, что слишком велико обложение, которое наносит основательный урон нашему имуществу, поскольку при его уплате умаляется основной капитал, а при неуплате слишком много огорчений и неприятностей, и как ни поверни, все плохо, и я уж стараюсь платить, когда могу, а если не имею денег, то тяну, покуда время терпит».

[3] *Morelli G.* Ricordi... P. 244–247.

[4] Ibid. P. 252–253; P. 256. «Если получил 1000 флоринов прибыли, всем говори, что получил 500...». Подобные наставления давал и Паоло да Чертальдо. См.: Paolo da Certaldo. Il libro di buoni costumi. 96, 97.

[5] *Morelli G.* Ricordi... P. 253.

[6] Ibid. P. 267. «В благоприятный момент, когда заключен мир после войны или сбор налогов уже закончен, запасись прошением и иди в Синьорию просить, чтобы обложение снизили до 1/3 или 1/5 от прежней суммы. Жалуйся на большие лишения. Информируй о своей несостоятельности. Сражайся с приорами. А если не согласятся, показывай всему народу, как ты чрезмерно обременен, тогда сделают послабление в следующий раз».

[7] Ibid. P. 253. Интересно, что честный, добрый и очень набожный нотариус сер Лапо Маццеи давал такие же советы по поводу отстаивания своих интересов в деле налогообложения: «Идите в Советы, говорите и спорьте, клянитесь и обещайте,

в фискальных делах к прямому мошенничеству: «Если громадные налоги обрушатся на тебя, то они тебя разорят. Не плати их! Укради у Коммуны, приспосабливайся так, чтобы она не украла у тебя...»[1]. Все эти советы не декларация, а прямое руководство к действию, которое члены семьи Морелли воплощали в жизнь. В 1394 г. Джованни с братом Морелло выехали из фамильного дома, очень престижно расположенного у стен монастыря Санта Кроче, и сняли жилье на окраине своего квартала. Оттуда вскоре снова переехали в «гонфалон для бедных Карро», где «ютились» у отдаленного родственника вместе с семьями, зато вместо 80 флоринов годового обложения платили только 28–«непомерно большую сумму». Вернуться в родовое пристанище им удалось только через 10 лет[2]. В комментариях Джованни сквозит глубокая рефлексия: «С восемнадцати лет мне пришлось начать всячески отбиваться от обложения, менять квартиры, дома и кварталы вплоть до 35 лет. Так долго гоняла меня моя судьба. Я терял свое из-за Коммуны и злобных родственников, оставался без денег и без родных, и не знал почета от Коммуны»[3]. Столкновение собственных материальных интересов и воли государства наносило значительный удар по формам традиционной идентичности флорентийских граждан, что становится особенно заметным на рубеже XIV — XV вв.

Тема взаимоотношений с государством заметна в тех фрагментах мемуаров Морелли, в которых автор пытался разобраться в своей собственной душе, выражал глубокие обуревавшие его чувства: любовь к своему первородному сыну Альберто и скорбь по поводу его недавней смерти[4]. В рассказе об экстатических видениях, передавая свой диалог с душой сына Альберто, он вопрошал: «Если я буду надеяться на милосердие божье и никогда не стану перечить его заповедям, то можно ли будет рассчитывать, что я обрету доброе положение в мире, в имуществе, а также почести, которые окажет мне моя Коммуна»? Душа умершего сына дала ему вполне обнадеживающий ответ[5]. Интересно, что это мистическое предсказание полностью оправдалось. Джованни Морелли прожил долгую жизнь, обещанную ему посланцем с того света. Более того, в конце земного пути его ожидало повышение политического статуса. После 1434 г. медичейская олигархия стремилась привлечь в свои ряды «обиженных» заправилами власти предыдущего режима: Джованни Морелли получил доступ к высшим должностям и дважды успел

будьте дьяволом в аду среди дьяволов». См.: *Mazzei ser Lapo*. Lettere di un notaro a un mercante dal sec. XIV. Per cura di C. Guasti. Firenze, 1880. Vol. I. P. 9.

[1] *Morelli G*. Ricordi... P. 266.

[2] Ibid. P. 339–340. *Pandimiglio L*. Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità familiare // Studi medievali. Spoleto, 1981. P. 137–140.

[3] *Morelli G*. Ricordi... P. 499–500.

[4] Ibid. P. 478–480, 508–516.

[5] Ibid. 97a. 515–516.

достичь вожделенного поста Гонфалоньера справедливости (1436, 1441)[1]. К сожалению, он не продолжал в конце жизни своих воспоминаний, заканчивающихся 1411 годом.

Следующий гражданин Флоренции, о котором пойдет речь, принадлежал к старинной, очень знатной и выдающейся фамилии коммуны. Джованни ди Филиппо Кавальканти (1381–1451) происходил из рода, давшего городу на Арно великого поэта — Гвидо Кавальканти и видных политических деятелей, играющих заметную роль в управлении Флоренцией в конце XIII — начале XIV в.[2] Со второй половины XIV в. клан Кавальканти неудержимо клонился к упадку, а с 1427 г. испытывал серьезные финансовые трудности[3]. Джованни ди Филиппо только один раз удалось занять мало-мальски значимый пост: в 1422 г. он был избран одним из капитанов гвельфской партии, которая уже не обладала прежним влиянием на политические дела Флоренции. Постоянная неуплата налогов привела к тому, что имя Джованни Кавальканти оказалось в списке должников коммуны (Specchio), что полностью лишило его доступа к государственным должностям[4]. Он не являлся в полном смысле этого слова нищим: в кадастре 1427 г. Джованни числился как мелкий землевладелец, сохраняющий в собственности 4 небольших участка земли в контадо. Беда заключалась скорее в том, что Джованни, содержа трех детей от первого брака, привык вести образ жизни типичного рантье: «Мне 46 лет, и я ничего не умею делать...» - писал он о себе самом[5]. Неудивительно, что к тридцати годам Джованни Кавальканти задолжал государству, своему гонфалону, некоторое

[1] См.: *Varese C*. Storia e politica nella prosa del Quattrocento. Torino, 1961. P. 43, 49–50.

[2] Хронист Джованни Виллани причислял род Кавальканти к старой гвельфской знати Флоренции — «благородным семействам», но с оговоркой — «недавние выходцы из купечества». — *Виллани Д*. Новая хроника, или История Флоренции / Пер., статья и прим. М.А. Юсима. М., 1997. V. 39. С. 131; VI. 33. С. 153. О том же свидетельствует хроника Малиспини: Storia fiorentina di Ricordano e Giacotto Malispini / Per cura di F. Costèro. Milano, 1880. Cap. C. P. 99; Cap. CIV. P. 105. Согласно исследованиям современных итальянских историков, Кавальканти во второй половине XII в. уже входили в узкий круг политической элиты. Представители этого рода избирались в консулат, в следующем столетии они находились в составе лиц, управляющих гвельфской партией. — *Tarassi M*. Il regime guelfo // Ghibellini, guelfi e popolo grasso: I detentori del potere politica a Firenze. Firenze, 1978. P. 112–113.

[3] «Меня обложили столь несправедливым займом (prestanza), что наряду с другими старинными семьями мы были возведены в ранг новых деревенских дурней и не могли проживать в городе» — писал он о своем положении: *Cavalcanti G*. Istorie Fiorentine. Firenze, 1838. I. Prologo, 3.

[4] *Grendler M*. The «Trattato politico-morale» of Giovanni Cavalcanti. Geneve, 1973. P. 14–15.

[5] Ibid. P. 15. Об эволюции аграрных отношений в XV в. см.: *Fiumi F*. Fioritura e decadenza dell' economia fiorentina // Archivio storico italiano. CXVI, 1958. P. 423–448.

время уплачивающему за него налоги, и частным лицам. За это, после 1430 г., он был заключен в долговую тюрьму Стинке, где ему предстояло провести десять лет. По иронии судьбы Стинке являлся, согласно бытующей легенде, родовым замком фамилии Кавальканти, конфискованным коммуной Флоренцией и превращенным в узилище для несостоятельных должников.

После выхода из Стинке его дела продолжали ухудшаться по мере возрастания семьи. К 1446 г. его семейство выросло до девяти человек, к которым добавлялись пять детей овдовевшего старшего сына Алессандро, а проблемы оставались прежними: «Среди нас нет никого, кто мог бы делать что-либо, потому что мы не умеем. Мы босы, раздеты, и живем очень тяжелой жизнью» — писал он в очередной из своих петиций[1]. Хотя ему шли на уступки, Джованни продолжал выплачивать по 10 флор. в год в счет недоимок, видимо, до своей смерти. Даже если допустить, что в прошениях и письмах в Синьорию несчастья Джованни Кавальканти значительно преувеличены, все равно не остается сомнений в том, что он и его семья не могли противостоять бедности вследствие неприспособленности и привычки к образу жизни знатного рантье. Джованни был не лишен изрядной доли дворянских амбиций, заставляющих его с презрением относиться к занятиям ремеслом и торговлей.

Полностью отстраненный от участия в политической жизни, Джованни Кавальканти, обладая высоким образовательным статусом, стремился реализовать себя как писатель и историк, к тому же он располагал свободным временем во время длительного срока тюремного заключения и после его окончания. В своих трудах он мог достойно представить и «символический капитал», являющийся достоянием его фамилии, выражаемый в гордости славным прошлым древнего и очень знатного рода Кавальканти, а также деяниями лучших выходцев из этого дома. Его творчество известно по трем фундаментальным произведениям[2]. Наиболее интересным сочинением является «Политико-моральный трактат», содержащий сложный синтез исторических эпизодов, произвольно избираемых автором для анализа и философских сентенций, рассуждений правового, политического и религиозного характера, а также дидактических заключений[3]. Автор посвятил его видному политическому деятелю Флоренции Нери ди Джино Каппони, находящемуся в оппозиции к режиму Козимо Медичи[1]. У исследователей есть мнение, что «Трактат» Кавальканти послужил образцом для трудов Никколо Макиавелли[2].

[1] *Grendler M.* The «Trattato politico-morale»... P. 15–16.

[2] *Cavalcanti G.* Istorie Fiorentine (1420–1440). A cura di F. Polidori. Vol. I — II. Firenze, 1838–1839; *Cavalcanti G.* La nuova opera (1440–1447). Paris, 1989; *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale // *Grendler M.* The «Trattato politico-morale»...

[3] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. Название трактата условно и дано позднейшими исследователями. Сам трактат является составной частью неопубликованных полностью записок Джованни Кавальканти, составленных им в 30-е — 40-е гг. XV в., во время и после тюремного заключения в Стинке. Кавальканти оставил свидетельства о том, что он занимался там писательским трудом. См.: Cavalcanti G. Istorie Fiorentine. Vol. I. P. 3.

Следует констатировать, что Джованни Кавальканти идентифицировал себя и свой род с флорентийским государством и обществом, особенно, если речь заходила о славном прошлом — порядках до 1434 г. Но в любом случае он наставлял потомков следовать идеалам гражданского общества: «Не противопоставляй себя воле народа. Люби народ, почитай знатных. Будь добр к злым и люби добрых. Превыше всех благ люби республику»[3]. В его сознании еще не померкли и «славные времена гвельфов», поскольку именно среди гвельфов он стремился находить примеры доблести и благородства[4].

Отметим также, что во многих случаях Джованни Кавальканти употреблял клише, позволяющие ему отделять собственное «я» от государства и общества, например, использование местоимения «вы» вместо «мы»: «Вы же имеете наилучшие законы, но вы не соблюдаете их, разве лишь в том случае, когда они могут опровергнуть доводы слабых. Поищите в камерах ваших магистратов, и вы найдете кровь Бальдиначчо[5], которая бросает тень позора и порицания на всю республику. ...ваша свобода будет существовать в течение того времени, пока ее будут защищать справедливые законы»[6]. Автор не отождествлял себя даже с главной ценностью коммунального общества,

[1] Наиболее выдающимся государственным деятелем считался Джино ди Нери Каппони (1350–1421), сыгравший значительную роль в деле завоевания Пизы и Пизанского порта (1405–1406). Его сыну Нери ди Джино (1388–1457), известному политику и полководцу, Джованни посвятил свое сочинение. Трактат был написан в виде поучения для Джино ди Нери Каппони (1423–1487), сына Нери, который в конце 40-х гг. XV в. находился в возрасте 16–17 лет.

[2] Сходство между трудом Кавальканти и «Рассуждениями о первой декаде Тита Ливия» было замечено еще в начале XIX в. и привело к выводу о том, что трактат Кавальканти послужил источником и прообразом для труда Макиавелли. См: *Gervinus G.G.* Geschichte der Florentinischen Historiographia bis zum sechzehnten Jahrhundert. Frankfurt-am-Mein, 1833. S. 75–80; *Varese C.* Storia e politica nella prosa del Quattrocento. Torino, 1961. P. 112–113; *Villari P.* Niccolo Machiavelli e suoi tempi. Milano, 1914. P. 254. Наблюдается некоторое подобие методов изложения, заключающихся в сравнении и поиске аналогий между событиями флорентийской истории и ситуациями, почерпнутыми у античных авторов.

[3] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 132.

[4] Ibid. P. 170–171. Он приводил в качестве образца поведение Якопо дель Пацци, проявленное в сражении при Монтеаперти (1260), который погиб, сжимая знамя партии обрубками своих рук.

[5] Бальдиначчо д' Ангвилара — кондотьер на службе у Флоренции, казненный в 1443 г. по обвинению в заговоре и предательстве. Осуждение не опиралось на неопровержимые доказательства. Этот Бальдиначчо был другом Нери ди Джино Каппони, поэтому, возможно, Джованни Кавальканти считал его казнь делом вопиюще несправедливым. Подробнее об этой истории см.: *Gutkind C.* Cosimo de' Medici: pater patriae (1389–1464). Oxford, 1938. P. 151–152.

[6] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 141.

используя формулу «ваша свобода», хотя из текста всех произведений Кавальканти явствует, что он считал коммунальную свободу высшим благом и превозносил ее над всеми формами тираний.

Этот писатель идеализировал прошлые периоды флорентийской истории, которые отнюдь не казались живущим в то время горожанам образцом «наилучшего управления». Он восхищался «самыми доблестными гражданами» среди глав партии гвельфов 60–70-х гг. XIV в., Пьеро ди Филиппо дельи Альбицци и Угуччоне Риччи[2], тогда как их современники Маттео Виллани и Коппо ди Маркьонне Стефани очень осуждали их политику и образ действий[3]. Декларации о доблести и совершенстве нравов предков часто встречаются на страницах трактата[4]. Эти топосы не только дань традиции прославления «доброго старого времени»: они наполнены конкретными примерами благородных либо порочных предков и современников.

В данном случае можно говорить о разрыве «цепи времен»: от великого и блестящего прошлого Флоренции резко отделяется неприглядное и сурово порицаемое автором настоящее, ибо и «Политико-моральный трактат», и «Новые труды» содержат непримиримое осуждение современной автору Флоренции. Кавальканти заявлял, что образцы людей, правдивых и любящих отечество, следует искать только до 1434 г., «потому что потом от людей такого рода был очищен город граждан»[5]. Главными пороками современного ему общества автор считал «жадность и нелюбовь к отечеству»[6]. Он предрекал скорое крушение Флоренции: «...если ваши сограждане не перестанут стараться, насколько мне известно, превратить его [отечество] в гнездилище всяких мерзостей, то враждебные варвары будут призваны для разрушения ваших земель и людей. И... получится так, что, разорванные силами варваров, не останутся порочные уста безнаказанными... Желает Господь, чтобы вернулся твой дед, как суровый мститель за несправедливости по отношению к Коммуне, поскольку такие обманы и столько

[1] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 148, 157, 194–195.

[2] Ibid. P. 121–122, 206–207, 219

[3] См.: *Stefani M.* Cronaca fiorentina. Rubr. 730–731.

[4] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 134.

[5] Ibid. P. 151. И в «Историях» Кавальканти давал олигархическому режиму 20-начала 30-х гг. XV в. нелицеприятную характеристику: «В республике надо преследовать тиранию, нельзя вершить политику вне Палаццо [Синьории]... Государством управляют главным образом на ужинах и в конторах нотариусов, а не в Палаццо. Многие избранные на должности не способны их исполнять, и для Республики от этого проистекают большие неприятности». См.: *Cavalcanti G.* Istorie. I. P. 273. Однако в «Историях» Кавальканти часто дистанцировался от описываемой им политической материи, вкладывая указанное суждение в уста других персонажей. Подобные замечания можно встретить и у столь ненавидимого нашим автором Бонаккорсо Питти. См.: *Питти Б.* Хроника. С. 118–129.

[6] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 146.

незаконно погубленных людей не должны оставаться без праведного отмщения»[1].

Замутненность идентичности, выражающей отношения гражданина к государству и обществу, проявляла себя в горьких сетованиях на «неблагодарное отечество», не признающее заслуг, отторгающее и изгоняющее самых доблестных и полезных своих членов. В частности, превознося законодательные таланты вождя чомпи Микеле ди Ландо, возглавившего первую Синьорию с преобладанием членов младших цехов 20 июля 1378 г., автор не преминул заявить по поводу его дальнейшего изгнания и смерти на чужбине: «Ему была нанесена несправедливая обида. По воле Господа вынужден был он уйти из города, охваченного мятежом (1382), и умер в изгнании. Знай же, Джино, как воздает по заслугам этот народ!»[2]. Он приводил в пример удачливого и храброго кондотьера Сфорца да Кутиньола (1369–1424), участвующего в завоевании Пизы (1405–1406), которому республика не воздала должных почестей[3], а также благородного рыцаря Ринальдо дельи Альбицци, главного врага Козимо Медичи, «каковой и добротой был обойден, и неблагодарным отечеством был объявлен мятежником»[4].

От системы ценностей, которую Джованни Кавальканти противопоставлял порочности и испорченности современного ему флорентийского общества, веяло рыцарскими идеалами. Здесь не обошлось и без стремления автора удовлетворить личные амбиции: очень часто положительные примеры прошлого связаны с представителями фамилий грандов, древней городской знати, к которым автор относил свой род и самого себя[5]. Им почти полностью посвящен раздел трактата под заголовком «Стойкость», в котором автор воспевал готовность к самопожертвованию ради блага отечества и героические порывы отчаявшихся — качества, не очень свойственные рассудочным, осторожным и прагматичным горожанам.

[1] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 120. Джино ди Нери де Каппони (1350–1421 гг.) приходился отцом Нери Каппони и дедом Джино Каппони, которого Кавальканти наставлял в своем трактате. В этом фрагменте впервые встречается резкая критика недостатков коммунального режима, которые автор негласно связывал с политикой правящей фамилии Медичи.

[2] Ibid. P. 135–136. О его законах подробно см.: P. 137–138

[3] Ibid. P. 177–178.

[4] Ibid. P. 207.

[5] Ibid. P. 142–143, 158, 169–170, 178–179, 180–181, 194–195. 209–211. На этих страницах носителями рыцарской доблести выступали Джаноццо и Америго Кавальканти, Джакопо Росси, Манно Донати, представители рода Бостики, Сколари, Делла Тоза. Он прославлял замечательные рыцарские качества выдающихся властителей Фаринаты дельи Уберти, Карло де Малатеста (правителя Римини), но особенно выдающегося кондотьера графа Альбериго да Барбиано.

[6] Ibid. P. 178–186. 192–193. Справедливости ради стоит отметить, что под рубрикой «Стойкость» он помещал и описания проявлений благородной сдержанности

В рядах положительных образцов всех добродетелей не обнаруживается имен представителей самого знаменитого в 40-е гг. XV в. семейства Медичи. В «Историях Флоренции», особенно в первой книге[1], Джованни Кавальканти выступал как апологет медичейского режима, неумеренно восхваляя Джованни ди Биччи Медичи и его сына Козимо Старшего: «Природа Джованни скорее божественная, чем обыкновенная, человеческая», «божественный Козимо»[2]. Критика в адрес Козимо Медичи появилась во второй части «Историй», но она высказывалась от лица флорентийских граждан, участвующих в Советах «Призванных» и совещаниях по вопросам управления государством[3]. Позже, на страницах «Трактата», его позиция полностью изменилась, что доказывает «фигура умолчания», словно ранее прославляемые представители рода Медичи и не обитали во Флоренции. Это позволяет предположить, что Кавальканти переместился в лагерь противников режима, установившегося в 1434 г. Интересно, что и главного врага Медичи — Ринальдо дельи Альбицци в «Историях Флоренции» автор осуждал за стремление стать синьором города и противопоставить народу союз жирных пополанов с грандами: «Это тот, который возвышал себя над простым народом, смешивая его с навозом»[4]. Но в «Трактате» появились щедрые славословия, звучащие в адрес Мазо и Ринальдо дельи Альбицци[5]. В этом случае трудно выделить самостоятельную позицию автора.

и рассудительности, свойственной его согражданам Никколо и Донато дельи Аччайуоли, Никколо д' Уццано, Джованни Веспуччи, Гвидо дель Паладжо, Джино ди Нери и Нери ди Джино Каппони, Вьери де Черки в тех случаях, когда они противостояли вспышкам необузданности, дикости и ярости или преодолевали собственные пристрастия и пороки (P. 186–190, 196–201, 203–206, 213–215).

[1] Первые «Истории Флоренции» отражают события периода 1420–1442 гг., вторые — периода 1442–1447 гг.

[2] *Cavalcanti G.* Istorie. I. P. 1, 92, 96, 218–219, 265, 536–538, 552–554. Он писал, что римские изгнанники явились повидать Козимо в таком количестве, что он, испугавшись огромной толпы, укрылся в доме. Он уподоблял его «славнейшему мужу древности Сципиону», указывая, что «множество людей шло из разных мест преклониться перед ним, как перед святой реликвией».

[3] Ibid. P. 189, 200–201, 210.

[4] Ibid. P. 408.

[5] Он называл Мазо дельи Альбицци «кавалером мудрым и прозорливым», «доблестным рыцарем» (*Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 127–128), отмечал «великие дела благородного рыцаря дельи Альбицци» (P. 130.). Автор постоянно возвращался к этой теме, восхваляя Мазо Альбицци, как великого законодателя (P. 139–140), как миротворца (P. 159, 200), как образец мудрой сдержанности в гражданском сообществе (P. 204–205). Кавальканти не упускал случая вознести добродетели и сына Мазо — Ринальдо дельи Альбицци, отмечая его правосудие, милосердие, справедливость по отношению к людям незнатным, беднякам и несостоятельным должникам (P. 166–167), его миролюбие (P. 202). В «Историях» встречаются также и мотивы порицания олигархического режима до 1434 г., заправилами которого являлись Альбицци, Уццано, Каппони, Валори, столь превозносимые автором

Кавальканти широко прибегал к распространенному в XV в. литературно-риторическому приему. В своих «Историях» он часто вкладывал реплики и пространные монологи в уста разных персонажей, хотя не следует думать, что эти речи являлись в рассматриваемом случае только результатом авторского вымысла[1]. В «Трактате» он подчеркнуто демонстрировал собственную точку зрения. Но чем она мотивировалась? Возможно, за ней скрывались стремление угодить богатым антимедичейцам Каппони, а также желание выразить собственную разочарованность режимом, не облегчившим его положения. Наконец, можно предположить зависть к успеху, политическому влиянию и даже неразборчивости в средствах ради достижения цели, которые были свойственны «наглым выскочкам». Более других автор имел в виду Бонаккорсо Питти, наиболее одиозного в его глазах приспособленца[2].

Особенности воззрений Джованни Кавальканти заметны при сопоставлении их с идеями, содержащимися в некоторых трудах его современников. Речь идет об исторических произведениях апологетического характера, написанных флорентийским канцлером, выдающимся гуманистом Леонардо Бруни Аретино, а также консулом шелкового цеха Грегорио Дати. В «Истории» Дати прославлялись мощь флорентийского государства, сплоченность общества граждан и превосходство республиканского режима над тиранией миланских Висконти[3]. Но эти сочинения все-таки вышли из-под пера активно действующих политиков, в разной степени, но успешно подвизающихся на государственном поприще. При этом мы далеки от того, чтобы абсолютизировать вывод о непосредственном влиянии социально-политической эскалации или упадка того или иного флорентийского гражданина на содержание постулируемых им идей. Но если учесть, что произведение является реализацией социокультурной модели сознания и специфики психического склада его творца, то вряд ли возможно и полное отрицание этого влияния.

в его «Трактате». См.: *Cavalcanti G.* Istorie. I. P. 83–84, 78–79. Автор писал: «Не делайте вид, будто у нас народное правление, когда на самом деле каждый старается помножить зло и составить компанию с теми, кто хочет возвыситься...». Он обвинял этих олигархов в том, что они проводили свою политику с помощью «новых людей», отстраняя достойных граждан из старинных семей. Об опоре представителей олигархической элиты, включая и Медичи, на «новых людей» см. подробно: *Kent D.* The Rise of the Medici. Faction in Florence 1426–1434. Oxford, 1978. P. 51–101.

[1] В частности, в июле 1426 г. действительно состоялся Совет Призванных (70 человек) по обсуждению налоговой реформы, подробно описанный Кавальканти в первой книге «Историй», на котором много и горячо выступал Ринальдо Альбицци, выражая жестко олигархическую тенденцию. Официальные документы подтверждали, что Кавальканти верно передавал смысл этих речей. См.: *Anselmi G.M.* Contese politiche e sociale nelle «Prime Storie» del Cavalcanti: il ruolo di Giovanni de' Medici // Archivio storico italiano. Firenze, 1977. Disp. I — II. P. 120–122.

[2] *Cavalcanti G.* Trattato politico-morale. P. 130.

[3] *Dati G.* Istoria di Firenze...

Третий персонаж нашего исследования, очень богатый купец и предприниматель Джованни ди Паоло Ручеллаи (1403–1481)[1], был младшим современником Кавальканти и Морелли. Подобно Джованни Морелли, он очень рано остался без отца (в возрасте 3 лет). Мать Джованни Ручеллаи отдала его для обучения торговому делу в банк Палла ди Нофри Строцци, где деловитый, активный и смышленый подросток вскоре добился расположения Строцци, который не только сделал его своим компаньоном в торговых делах, но и выдал за него замуж дочь. Когда в 1434 г. к власти пришли сторонники Медичи, Палла ди Нофри, как один из главных противников этой фамилии, был выслан из города, а его зять Джованни Ручеллаи полностью отстранен от участия в управлении государством почти на 30 лет. Понижение политического статуса отчасти компенсировалось экономическим процветанием, обеспечиваемым банковскими филиалами фирмы Ручеллаи, особенно в Лионе и Константинополе, что позволило Джованни оставить своим двум сыновьям колоссальное состояние. О большом богатстве свидетельствовали щедрое меценатство и благотворительность[2], строительство великолепного палаццо во Флоренции по эскизам Леона Баттиста Альберти, каменной лоджии в коринфском стиле, украшение черным и белым мрамором фасада церкви Санта Мария Новелла, возведение изящной капеллы в честь Девы, принявшей благую весть, при церкви Сан Панкрацио по образцам Иерусалимских святынь. Его судьба в старости также обнаруживает сходство с участью Джованни Морелли. Мудрый Козимо Медичи предпочел превратить сильного потенциального врага[3] в друга и родственника своим излюбленным способом: он выдал одну из своих племянниц за Бернардо, сына Джованни Ручеллаи, открыв новым консортам доступ к государственным должностям. В 1463 г. Ручеллаи стал приором, затем одним из управляющих Монте (подобие государственного банка), занимая также эту должность в 1464 и 1468 гг. Успешная политическая карьера достигла своего пика при Лоренцо Великолепном, который не забыл помощи Ручеллаи его отцу Пьеро

[1] Ручеллаи — старая городская пополанская фамилия Флоренции. Возможно, родовое имя произошло от названия травы «Оричелла», обнаруженной в XIII в. одним из предков в Леванте, из которой можно было получать краситель необыкновенного для Флоренции фиолетового цвета. Сукна, окрашенные этой краской, снискали большую популярность и привели к быстрому обогащению фамилии. С начала XIV в. заметен и социально-политический подъем семьи, давшей 85 приоров и 14 гонфалоньеров справедливости. См.: *Passerini L.* Origini della famiglia // *Passerini L.* Genealogia e storia della famiglia Rucellai. Firenze, 1866. P. 1–6.

[2] Оставил, например, определенную сумму, чтобы из нее ежегодно выделялись по 40 лир в приданое для нескольких девушек из прихода Кваракки, каковых должны были определять его потомки и аббат Сеттимо. См.: *Passerini L.* Genealogia e storia... P. 120.

[3] Помимо очень больших богатств, Ручеллаи, окруженный многочисленными домочадцами и клиентами, в любую минуту мог поставить под оружие более 60 человек. См.: *Passerini L.* Genealogia e storia... P. 118.

Медичи в борьбе с заговором Питти, Нерони и Аччайуоли (1466 г.). В 1471 г. Ручеллаи стал членом избирательной комиссии (accoppiatori), а в 1475 — гонфалоньером справедливости и членом магистрата 70-ти.

«Записная книжка» Ручеллаи создавалась с 1457 по 1481 гг., хотя сам автор утверждал, что составил ее в 1457 г., когда, возможно, возникло лишь первоначальное ядро. Образованный флорентиец находился под влиянием круга своего общения: в текст он включал фрагменты из произведений Данте, Петрарки, Чекко д' Асколи, некоторых трактатов Леонардо Бруни, Марсилио Фичино, сера Джованни, ученого юриста из Сан Джиминьяно, Маттео Пальмьери, вульгаризованного перевода писем Сенеки. Переписка с Джованни да Витербо, гуманистами Донато Аччайуоли и Джаноццо Манетти в свою очередь отразилась в тексте «Записной книжки». В попытке составления истории Флоренции Ручеллаи также не был оригинален, используя выдержки из сочинений Доменико Буонинсеньи, анонимных историков, Грегорио Дати[2]. По сути, содержание «Записной книжки» Ручеллаи похоже на антологию текстов выдающихся авторов. Индивидуальность Джованни проявилась лишь в подборке наиболее, с его точки зрения, интересных и значимых фрагментов, позволяющих ответить на волнующие вопросы о смысле жизни: о человеческом счастье, о фортуне, о доверии и подозрительности, о том, как честно и правильно заниматься торговлей, и о гражданской жизни.

Текст «Гражданская жизнь» (La vita civile) входил в первоначальное ядро «Записной книжки» Ручеллаи, то есть был включен туда не позднее 1457 г.[3], когда Джованни был отстранен от политической деятельности. Этот фрагмент позаимствован из «Трактата об управлении фамилией», приписываемого Анджело Пандольфини, образованному горожанину, близкому к кругу гуманистов[4], поэтому вряд ли стоит подвергать его содержание детальному анализу. Следует подчеркнуть, что Джованни Ручеллаи избрал в качестве наставления для своих сыновей произведение, выражающее позицию политического абсентеизма — сознательный и обоснованный отказ гражданина от участия в управлении своим государством: «Не советую вам, Пандольфо и Бернардо, желать и добиваться государственных должностей. Никакое другое дело не ценится менее и не кажется мне более бесчестным, чем исполнение государственных должностей...»[5]. Отказ от участия в гражданской деятельности нельзя считать категорическим: наличие имен в избирательных сумках — знак лояльности и признания в обществе, но ему не следует отдавать предпочтения перед другими жизненными ценностями. Осуждению подвергались хлопоты, связанные с пребыванием на постах, утрата независимости в коллективных

[1] *Passerini L.* Genealogia e storia... P. 118–119.

[2] *Perosa A.* Prefazione // Giovanni Rucellai ed il suo Zibaldone. A cura di A. Perosa. London, 1960. P. XI — XVIII.

[3] Ibid. P. XIII.

[4] *Perosa A.* Note: La vita civile, nota I. // Giovanni Rucellai... P. 146.

[5] *Rucellai G.* La vita civile (ff. 26a — 29a) // Giovanni Rucellai... P. 39.

формах правления, неизбежные отношения ненависти, зависти и вражды, возникающие со стороны сограждан и коллег по магистратам: «Нет в нашем государстве никого, кто, развернув полные паруса, собрал бы их потом целыми, а не драными и замаранными, а ведь плаванию больше вредит одно дурное дело, нежели 100 добрых...»[1]. Далее отмечаются неизбежно связанные с властью злоупотребления, насилия и жестокость, стремление обогатиться, присваивая имущество других, перекладывание налогового бремени с собственных плеч на сограждан, бесполезность добрых начинаний, не применимых на практике из-за бесконечных обсуждений на совещаниях и заседаниях республиканского правления[2]. В рассматриваемом дискурсе отрицается сама возможность проявления лучших нравственных качеств при исполнении должностей. Но даже если откроется путь к честному и добросовестному участию в публичной власти, нельзя жертвовать ради него более счастливым уделом частной жизни[3]: «И поэтому, сыновья мои, я не желаю для вас общественных постов ради того, чтобы превращать общественное благо в ваше частное..., тот, кто хочет скакать на этом коне-государстве, обязательно упадет, и чем более высоко он находился, тем с большим ударом и крушением для себя»[4]. В качестве более значимых ценностей предлагались семейные радости, гордость хорошо воспитанными детьми, богатства, проистекающие от правильного управления делами наживы, польза, доставляемая образованием и чтением, жизнь в гармонии с самим собой[5]. Интересно отметить, что и Джованни Кавальканти наставлял юного Джино Каппони ограничивать сферу гражданской деятельности[6]. Участие в общественных делах несовместимо со статусом «истинного гражданина» — таково резюме Ручеллаи[7]. Настоящее противопоставлялось «доброму старому времени» прошлого, когда правосудие вершили «прежние, скромные, обремененные долгом граждане..., достойные высших общественных должностей»[8].

Приведенный риторический топос, выражающий отказ от общественной деятельности, получил широкое распространение в различных контекстах середины — второй половины XV в., прежде всего в биографиях. Веспасиано де Бистиччи отмечал, что известный гуманист Никколо Никколи «избегал

[1] *Rucellai G.* La vita civile. P. 39.
[2] Ibid. P. 40–41.
[3] Ibid. P. 42–43.
[4] Ibid. P. 41.
[5] Ibid. P. 41–42.
[6] При том, что писатель стремился наставить юного Джино ди Нери именно в искусстве управления республикой, он изначально ограничивал сферу политической деятельности: «Не стремись устанавливать налоги. Не стремись быть продавцом благ, которые тебе не принадлежат. Избегай отягощать какую-либо персону. Бери в жизни пример с тех, кто сохраняет репутацию наиболее достойных и благородных, они-то ведь не стремятся стать оценщиками благ, принадлежащих другим».
[7] *Rucellai G.* La vita civile. P. 42.
[8] Ibid. P. 42–43.

любых должностей во Флоренции..., несколько раз надлежало ему занять должность подеста, однако все это он отвергал под тем предлогом, что уступает стервятникам их поживу...»[1]. В биографии Бартоломео Фортини Бистиччи описал горе флорентийского гражданина, избранного в 40-х годах XV в. на одну из самых высших должностей, которой он не добивался: «Сегодня произошло крушение всей моей семьи, потому что тот, кто добивался этой должности с такими усилиями, не оставит этого. Я знаю, что отныне навсегда лишен покоя»[2]. Лука делла Роббиа также демонстрировал убежденность в том, что «для тех, которые исполняют должности, почти всегда существует опасность для жизни, и не только для них самих, но и для их сыновей»[3]. Биограф Лоренцо Строцци в жизнеописании своего дяди Филиппо ди Маттео Строцци, богатого банкира и купца, пользующегося покровительством Неаполитанского королевского двора и благоволением Лоренцо Великолепного, указывал: «К делам государственным он был не то, чтобы неспособен, но осознавал исходящие от них тогда опасность и несправедливость, поэтому не желал в них вникать...»[4]. Но насколько добровольно осознанной была эта позиция? Филиппо Строцци, сына политического изгнанника, выслали из Флоренции в ранней юности, а вернулся он только спустя более 20 лет по настоятельному ходатайству неаполитанского короля и подвергся действию законов о запретах и ограничениях доступа к государственным постам для подобных ему лиц. О них писал хронист Бенедетто Деи, указывая, что именитые и обладающие политическим опытом граждане, лишенные по различным причинам права участвовать в управлении государством, выражали пассивный протест отказом от фискальных обязанностей и удалялись из города на виллы или иные места в контадо[5].

Проявления смешанной идентичности в отношении к государству более заметны в XV в., нежели в предыдущем столетии. Они выражаются в настроениях обиды и недовольства, в критических замечаниях по поводу

[1] *Веспасиано да Бистиччи*. Жизнеописания прославленных людей XV века. Часть четвертая. Государственные мужи и ученые. Никколо Никколи / Пер., комм., статья О.Ф. Кудрявцева // Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. М., 1996. С. 455.
[2] *Bisticci V.* Commentario della vita di messer Bartolomeo di Fortini // Archivio Storico Italiano. Firenze, 1843. IV. P. 375–376.
[3] *Della Robbia L.* Vita di messer di Bartolommeo di Niccolo di Taldo di Valore // Archivio Storico... P. 271.
[4] *Strozzi L.* Le vite degli uomini illustri della casa Strozzi. Firenze, 1892. P. 70. Даже в спорах с Лоренцо Медичи о проекте и строительстве знаменитого палаццо Строцци Филиппо ди Маттео, если верить его племяннику, всячески подчеркивал частный характер своего сооружения и заботился о его комфортабельности для семьи, категорически отказавшись украсить фасад рельефами на гражданские темы, предложенными правителем Флоренции (*Strozzi L.* Le vite... P. 72).
[5] *Dei B.* La Cronica dall' anno 1400 al' anno 1500. A cura di R. Barducci. Firenze, 1985. P. 59.

«извращенного правления», со стороны тех, кто переживал процесс маргинализации в социально-политической сфере. Эти горожане, продолжая считать себя неотъемлемой частью коммунального социума, часто стремились солидаризироваться и с «несправедливо», с их точки зрения, отверженными, изгоями и сектантами, о чем свидетельствует распространение дискурсов о «неблагодарном отечестве» и «порочных согражданах». Конформистские заповеди начинали обретать новый смысл, заключающий не только толерантность, стремление к «золотой середине» и отрицание вспышек политического экстремизма, но также индифферентность к общественной деятельности и отдающее цинизмом намерение заручиться покровительством сильных и влиятельных «квиритов», а не отстаивать ценности коммунальной демократии. Открыто эгоистические позиции более всего становятся ощутимы в фискальной сфере, где интересы государства отвергаются ради личной наживы и благополучия в категорических сентенциях, граничащих с аморальностью. У представителей наиболее знатных родов, утрачивающих высокое положение в обществе, обнаруживалась ностальгическая тяга к рыцарским и куртуазным ценностям или архаическим идеалам «скромности и умеренности» образа жизни в старое доброе время, противостоящим прагматическим и рациональным установкам развивающегося урбанистического социума. Несомненно, рефлексии такого рода не были чужды и вполне успешным гражданам, но у тех, кто осознавал себя отщепенцами, они становились устойчивой и преобладающей доминантой сознания, доходя до отказа от собственных активных попыток усовершенствования политической системы.

В итоге можно предположить, что к объективной тенденции сужения круга правящей элиты, усилившейся после 1434 г. вследствие сосредоточения власти в руках представителей одного семейного клана, добавлялась субъективная позиция политического абсентеизма по отношению к государственным структурам, выражающая полный «отказ от игры», приносящей слишком много страхов, опасений и разочарований, не компенсируемых приобретением социального капитала в такой степени, как ранее. Заметное, по сравнению с предыдущим столетием, распространение в обыденном сознании граждан дискурса о предпочтении частной жизни в кругу семьи служению государству и обществу можно рассматривать как признак кризиса идентичности в отношениях между индивидом и коммуной, постепенно перерождающейся в иную форму государства.

С.Г. МАЛКИН (САМАРА)

«ТАЙНЫЕ СОВЕТНИКИ»: КОРРЕСПОНДЕНТЫ ДАНКАНА ФОРБСА ИЗ КАЛЛОДЕНА И УМИРОТВОРЕНИЕ ГОРНОЙ ШОТЛАНДИИ В 1715–1745 ГГ.

Совсем немного найдется фигур, так же отражавших собой британское присутствие в Горной Шотландии в первой половине XVIII столетия, как Данкан Форбс из Каллодена. Принадлежа к крепкой «вигскими традициями» фамилии Форбсов из Каллодена[2] и с 1725 г. последовательно занимая в структуре управления Шотландией ключевые посты (с 1725 г. — лорд-адвокат Шотландии[3], с 1737 г. — лорд-президент Сессионного суда Шотландии[4]), этот Форбс из Каллодена воспринимался Лондоном в качестве чрезвычайно важного политического агента в Горной Стране в период ее умиротворения в 1715–1745 гг.

Расположившись у самого рубежа Горного Края, Форбсы из Каллодена, хотя и не проживая в крае исконно, к началу XVIII века имели здесь позиции прочные. Первые Форбсы прибыли в Инвернессшир из Абердиншира еще в 1560 г.[5], и с тех пор благодаря личным талантам и успешному ведению дел обзавелись широким кругом полезных знакомств и дружеских привязанностей в пограничной среде инвернессширского общества[6]. И когда Хайленд

[1] * Статья подготовлена при поддержке областного конкурса 2006 г. на предоставление грантов студентам, аспирантам и молодым ученым за счет средств бюджета Самарской области; № гранта: 55 Г 1.1 К, название проекта: «По курсу к Британской Шотландии: пограничные процессы на рубежах Горной Страны в первой половине XVIII столетия».

[2] Имя деда Данкана Форбса из Каллодена, Джона Форбса из Каллодена, например, в период Реставрации содержалось в так называемом «List of persons exempted from the Act of Indemnity» и ему не раз грозила смертная казнь, а отец Данкана, так же Данкан Форбс из Каллодена, принимал активное участие в смещении Якова II (VII) Стюарта с престола в 1688 г.: *Forbes D.* Culloden Papers: comprising an Extensive and Interesting Correspondence from the year 1625 to 1748; including numerous letters from the unfortunate Lord Lovat, and other distinguished persons of the time; with occasional state papers of much historical importance. L., 1815. P. IV, VI.

[3] English Historical Documents. Vol. X. 1714–1783 / Ed. by D.B. Horn, M.A. Ransome and M. Ransome. L., 1957. P. 963.

[4] English Historical... P. 963.

[5] *MacLean J.* Historical and Traditional Sketches of Highland Families and of the Highlands. Dingwall. 1848 // URL Electricscotland.com / http:// www.electricscotland.com/books/highlands.htm

[6] Показательный факт: первые известия о высадке принца Карла Эдуарда Стюарта, «младшего Претендента» на британскую корону, к Данкану Форбсу из Каллодена поступили от одного из клановых вождей в Хайленде: *MacLeod N.* Letter to the Lord-

стал для Лондона синонимом якобитской угрозы «коронованным» в 1689 г. «вигским» принципам, Форбсы из Каллодена поставили свои обширные связи в крае на службу новой династии.

Самый выдающийся в этом деле представитель фамилии, 3-й Данкан Форбс из Каллодена, в период 1715–1745 гг., по сути, выполнял обязанности резидента правительства в Горной Шотландии, в том числе, осуществляя сбор и анализ сведений военно-политического характера и сообщая их ответственным чинам королевства[2]. Край и после подавления мятежа 1715–1716 гг. слабо поддавался политическому влиянию новых властей[3], и для последних представители известной в Хайленде фамилии были одним из немногих, порой единственным источником надежной информации о положении в Горной Стране.

Вместе с тем, на других концах почтовых маршрутов в этой части Соединенного Королевства находились люди, корреспонденция которых и доставляла Данкану Форбсу из Каллодена те рекомендации и сведения, которые делали его пребывание в Горной Стране для Короны и ее правительств незаменимым. Эти «тайные советники», люди «второго» и «третьего» плана, личным усердием послужили одним из важнейших залогов умиротворения Горного Края. О некоторых из них нам совсем ничего не известно, поскольку свою корреспонденцию с Форбсом они вели анонимно, а содержание таких писем предполагает самые разные варианты их авторства[1]; другие, напротив, хорошо видны в «перспективе» нескольких «планов».

Из 24 корреспондентов Данкана Форбса из Каллодена по военно-политическим вопросам между 1715 и 1745 гг. 6 человек составляли устойчивую корреспондентную группу: Джон Форбс из Каллодена, родной старший брат Данкана Форбса из Каллодена, парламентарий; Джон Кэмпбелл, 2-й герцог Аргайл, крупнейшая политическая фигура Шотландии в свое время; Саймон Фрэзер, 12-й лорд Ловэт, вождь клана Фрэзер, самый большой и самый ненадежный (в политических пристрастиях) друг Данкана Форбса; Чарлз Делафей, заместитель государственного секретаря Южного департамента, курировавший агентурную (антиякобитскую, прежде всего) деятельность правительств Соединенного Королевства[2]; Томас Пелхэм, 1-й герцог Ньюкасл, государственный секретарь Южного департамента в 1724 –1746 гг.; сэр Роберт Уолпол, первый министр в 1721–1742 гг[3].

Еще два человека вели активную переписку с Данканом Форбсом в 1716–1719 гг., во время так называемой «первой волны» умиротворения Горной Страны, связанной, прежде всего, с разоружением кланов, конфискациями имений и указами о запрете на пребывание в королевстве[4], — мистер Роберт Бэйли, священник в г. Инвернесс, выполнявший, видимо, обязанности капеллана в армии разоружавшего кланы Горной Шотландии в феврале — апреле 1716 г. генерала Уильяма Кэдогэна, 1-го барона Ридинга (титул получен как раз сразу после активного участия в подавлении якобитского мятежа 1715–1716 гг. и реализации «Акта о разоружении» кланов Горной Шотландии весной 1716 г.), 1-го графа Кэдогэна (с 1717 г.)[5], и мистер Джон Хоссэк, бывший в то время провостом в г. Инвернесс[6].

По одному надежному корреспонденту прибавили конец 1720-х гг. — генерал-майор Джордж Уэйд[7], командовавший королевскими войсками в «Северной Британии» в 1725–1740 гг., автор и руководитель программы так называемой «второй волны» умиротворения Горной Шотландии[8] (военное строительство, военное сотрудничество и активная агентурная деятельность британского военного командования в крае); и первая половина 1740-х

President. Dunvegan. August 3. 1745 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 203–204; и во многом именно влиянию лорда-президента правительство обязано тем, что в армии якобитов вместо возможных 10.000 горцев (*Wade G.* Report, &c, relating to the Highlands. December 10. 1724 // Historical Papers relating to the Jacobite Period 1699–1750. Vol. I / Ed. by J. Allardyce. Aberdeen, 1895. P. 131–145) в самые решительные моменты никогда не насчитывалось более 5.000 клансменов: *McLynn F.J.* The Jacobite Army in England, 1745: The Final campaign. Edinburgh, 1983. P. 25; *Black J.* Culloden and the 45'. L., 1990. P. 170–176.

[1] В 1689 г., в ходе первой же попытки вернуть Якову II (VII) Стюарту утраченные им короны, владения Форбсов из Каллодена в Каллодене были разграблены якобитами как земли сторонников Вильгельма Оранского: *Forbes D.* Culloden Papers... P. VII.

[2] *Forbes D.* Culloden Papers... P. 41–77; 94–151; 184–188; 354–369.

[3] Еще в 1725 г., накануне реализации «Акта о разоружении» кланов Горной Шотландии от 1 июня 1725 г. («An Act for more effectual disarming the Highlands in that part of Great Britain called Scotland». June 1. 1725 // Wade G. Report to His Majesty concerning the Highlands, of Scotland, in 1725. January 31. 1726 // Burt E. Letters from a Gentleman in the North of Scotland to His Friend in London. With large Appendix, containing various important historical documents, hitherto unpublished; with an introduction and notes by R. Jamieson. Vol. II / Ed. by R. Jamieson. Edinburgh; Glasgow; L., 1822. P. 289–290) этот вопрос активно обсуждался в лагере якобитов и для многих вождей сдача оружия носила исключительно демонстративный характер: History of the Scottish Highlands, Highland Clans and Highland Regiments. With an Account of the Gaelic Language, Literature, and Music by T. Maclauchlan and an Assay on Highland Scenery by J. Wilson. Vol. I — II / Ed. by J. S. Keltie. Edinburgh; L., 1875. P. 495–496.

[1] Напр.: Anonimous to Duncan Forbes. Coll. August 28. 1714 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 29–30.

[2] *Fritz P.S.* The Anti-Jacobite Intelligence System of the English Ministers, 1715–1745 // The Historical Journal. Vol. 16. № 2 (Jun. 1973). P. 265–289.

[3] Например: *Forbes D.* Culloden Papers... P. 41–77; 94–151; 184–188; 354–369.

[4] *Plank G.* Rebellion and Savagery: The Jacobite Rising of 1745 and the British Empire. Philadelphia, 2006. P. 16.

[5] *Forbes D.* Culloden Papers... P. 43, 44, 47, 51, 56.

[6] Ibid. P. 46, 49, 52, 73.

[7] Ibid. P. 109, 356, 359.

[8] *Plank G.* Rebellion... P. 16.

гг. — Джон Хэй, 4-й маркиз Туиддейл, государственный секретарь по делам Шотландии в феврале 1742 — январе 1746 гг[1].

Такая организация военно-политической корреспонденции сразу же обозначила уникальность положения Форбса из Каллодена. По отношению к представлявшим Лондон государственным лицам «первой величины» он был «второстепенной» фигурой, для своих корреспондентов из Горной Страны, между тем, представляя «первый план» британского присутствия в крае в 1715–1745 гг. Именно пером Данкана Форбса из Каллодена Лондон и самая беспокойная часть Соединенного Королевства общались между собой.

Значение этого человека, находившегося между «рампой и кулисами» «шотландской» политики Лондона, раскрывает его обширное эпистолярное наследие. Например, именно мистер Роберт Бэйли был основным и наиболее содержательным источником информации для Данкана Форбса из Каллодена о руководимом генералом Кэдогэном процессе разоружения горцев весной 1716 г.[2] И так как Форбс из Каллодена являлся одним из признанных руководителей про-ганноверской партии в Горной Стране также в военных делах в мятежные 1715–1716 гг.[3], поддерживая связи с герцогом Аргайлом, сэром Дэвидом Далримплом, лордом-адвокатом Шотландии (1714–1720 гг.), сэром Робертом Уолполом[4], то положение, связи и усилия Данкана Форбса в это время для правительства переоценить очень трудно.

Данкан Форбс из Каллодена, между тем, являлся источником не только информации (что само по себе было крайне необходимо правительствам), но и многих принципиальных идей по умиротворению Горного Края. «Казнить нельзя помиловать» — эта формула без «запятой», разделявшей два прямо противоположных решения проблемы мятежности Горной Шотландии, стала главной дилеммой для Лондона в определении его позиции по отношению к ситуации на севере Соединенного Королевства в 1715–1745 гг.

Политика правительства в данном случае первоначально предполагала масштабные судебные преследования и конфискации по примеру того опыта, который был вынесен из подавления якобитского мятежа в конце XVII века в Ирландии[5]. Однако специфика региона непреложно означала в этом случае

[1] *Forbes D.* Culloden Papers... P. 184–186, 364–369.

[2] Численность, вооружение королевских войск в Горной Стране весной 1716 г., маршруты их передвижения, результаты разоружения, размещение гарнизонов и общая ситуация в крае: *Baillie R.* Letter [to Culloden]. Inverness. March 23. 1716; same to same. Inverness. March 30. 1716; same to same. Inverness. April 6. 1716 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 43–45, 47.

[3] *Baynes J.* The Jacobite Rising of 1715. L., 1970. P. 155–161.

[4] *Forbes D.* Culloden Papers... P. 38, 40, 45–46, 50, 52–54, 61–65.

[5] Ср. например: «An Act to prevent the further Growth of Popery» (1703) о праве протестанта наследовать родственнику-католику в первую очередь, основные положения которого раскрываются, скажем, в: Denys S. A Statement of the Penal Laws, which aggrieve the Catholics of Ireland: with commentaries in two parts. Part I — II. Dublin, 1812. P. 40–43, с одной стороны, и, с другой: «An Act for appointing Commissioners to Enquire of the Estates of Certain Traytors...» (1715) // A Selection of Scottish Forfeited Estates Papers 1715; 1745 / Ed. by A.H. Millar. Publications of Scottish History Society. First Series. Vol. LVII. Edinb., 1909. P. 337–339, по результатам которого законность земельных держаний определяла лояльность Короне (Ганноверскому дому), бывшая в Шотландии к 1715 г., как известно, такой же локализованной, как и протестантизм в Ирландии в это же время и раньше.

начало полномасштабной гражданской войны в Шотландии, и в горной ее части, и на Равнинах, в Лоуленде.

Осознанием неизбежности такого поворота событий государственные мужи Соединенного Королевства во-многом были обязаны аналитическим запискам Данкана Форбса из Каллодена, самый яркий образчик которого — его неподписанное и, видимо, тайное письмо к сэру Роберту Уолполу[1]. Масштаб вовлеченности шотландцев в события 1715–1716 гг. через личное участие и родственные связи с мятежниками означал, по мнению Форбса, необходимость не менее жестких, чем предполагалось, но более адресных и, скорее, демонстративных мер насильственного характера[2]. Учитывая низкий уровень военно — политического контроля правительства в Горной Стране в то время[3], верность этих предложений не вызывает сомнений.

Однако самой важным в деятельности Данкана Форбса из Каллодена на «втором плане» британской политики и «первом плане» «шотландской» было пристальное внимание к военно — политической ситуации в Хайленде. Стоит отметить, что в этом деле его возможности как лорда-адвоката Шотландии, затем как лорда-президента Сессионного суда Шотландии заметно расширились. С упразднением в 1708 г. Тайного Совета Шотландии вся правительственная корреспонденция велась через руки лорда-адвоката Шотландии[4], должность которого наряду с должностью лорда-президента Сессионного суда стала главной в системе «шотландских» постов[5].

И этот факт, наряду с положением и влиянием Форбса из Каллодена в Горной Стране, в Лондоне, конечно, учитывался. Более того, со смещением Джона Керра, 1-го герцога Роксбурга, с поста государственного секретаря по делам Шотландии в августе 1725 г., обязанности по информированию

[1] Y.Z. Letter to Sir Robert Walpole. August. 1716 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 61–65.

[2] Ibid. P. 64.

[3] К началу 1730-х гг., с первыми значительными успехами предложенной генерал-майором Джорджем Уэйдом в 1724 г. (*Wade G.* Report, &c... P. 131–145) и дополненной в 1725 г. (*Wade G.* Shame delivered to the King. April. 1725 // *Wade G.* Report, &c... P. 146–149) программы умиротворения Горной Шотландии, ситуация в крае будет заметно отличаться от первых 15 лет после мятежа 1715–1716 гг.

[4] *Simpson J.M.* Who Steered the Gravy Train, 1707–1766? // Scotland in the Age of Improvement / Ed. by N.T. Philipson and R. Mitchison. Edinb., 1970. P. 50.

[5] Например: English Historical Documents. Vol. X. 1714–1783 / Ed. by D.B. Horn, M.A. Ransome and M. Ransome. L., 1957. P. 963.

правительства о ситуации в Шотландии, в том числе, в Хайленде легли на плечи нового лорда-адвоката Шотландии (хотя и без введения в бывшую должность герцога Роксбурга). Чтобы оценить действительное значение такой кадровой рокировки, достаточно сказать, что именно с августа 1725 г. берет начало реализация «второй волны» умиротворения Горной Шотландии.

С августа 1725 г. к Данкану Форбсу стали с завидной периодичностью поступать также указания о необходимости регулярного контроля за военно-политической ситуацией в Хайленде[1]. Учитывая изложенные обстоятельства, причина таких совпадений ясна. Особый интерес вызывает другое: подобные указания поступали вплоть до середины 1732 г.[2], — почти до того момента, когда Лондон счел критично необходимые мероприятия по умиротворению Горного Края законченными[3]. И все это время именно Данкан Форбс был для правительства надежным источником информации о положении в крае при том, повторимся, что таких информаторов было очень немного.

В то же время и тогда, когда пост государственного секретаря по делам Шотландии в феврале 1742 г. перестал быть вакантным, лорд-президент Сессионного суда не оставил агентурную деятельность в Горной Шотландии. Более того, по ряду причин военно-политическая ситуация в Горной Стране к началу 1740 гг. лишилась прежней относительной стабильности, и знания и опыт Данкана Форбса из Каллодена вновь были востребованы, теперь уже от имени маркиза Туиддейла, нового государственного секретаря по делам Шотландии в феврале 1742 — январе 1746 гг[4].

Неизбежная, учитывая положение «шотландских» чинов в иерархии британских должностей первой половины XVIII века, роль «второго плана», которую Данкану Форбсу в Лондоне готовы были доверить, не позволила ему настоять на реализации собственных предложений 1742 г.[5], которые могли бы предотвратить или, по крайней мере, минимизировать ущерб от все же случившегося последнего якобитского выступления 1745–1746 гг.

При этом именно этот мятеж сыграл в восприятии Данкана Форбса его современниками и определении его места в исторической памяти потомков особую роль. Опираясь на свое положение и влияние в горношотландской

[1] Одно из первых в этом ряду: *Pelham T.*, Duke of Newcastle. Letter to the Lord Advocate. Whitehall. August 24. 1725 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 94.

[2] *Delafaye C.* Letter to the Lord Advocate. Whitehall. July 10. 1732 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 123–124.

[3] Debates on Motion for granting 25, 348 l. 2s. for Out-Pensioners of Chelsea-Hospital // First Parliament of George II. Fifth session (part 2 and 4, from 28.01.1732) // The History and Proceedings of the House of Commons. In 10 Vols. Vol. 7. L., 1742. P. 133–159.

[4] Например: *Hay J.*, the Marquis of Tweeddale. Letter to the Lord President. Whitehall. August 24. 1742 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 184.

[5] *Forbes D.*, the Lord President. Letter to General Clayton [about the end of 1742] // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 360–363.

среде, лорд-президент с августа 1745 г. по апрель 1746 г. мобилизовал в свою корреспондентную группу более 45 информаторов и агентов в Горной Шотландии[1], благодаря чему Лондон имел значительно более ясную картину событий в «Северной Британии» в течение почти всего периода возмущения якобитов 1745–1746 гг.[2]

Однако, «романтизм, похоже, провозгласил эпизод якобитизма своим собственным, так яростно встречая любое посягательство на свои владения, что история покинула поле в отчаянии»[3]: образ горца, превратившегося из «мятежника» в «верного подданного» своего короля (причем уже со второй половины XVIII века эта лояльность будет означать преданность суверенам дома Ганноверов)[4], накрыл и исказил собственной тенью другую часть британской, шотландской, горношотландской истории XVIII столетия, — то, что было между «особенными» 1715 и 1745 гг., которые в якобитском мифе заняли едва ли не центральное место. И этот историографический факт по-прежнему играет очень важную роль в восприятии шотландского прошлого. На фоне заполнивших собою усилиями литераторов и историков почти всю первую половину XVIII века шотландской истории «милого принца Чарли» и «мясника» герцога Камберленда, фигура лорда-президента Данкана Форбса из Каллодена отошла на «задний план» исторической памяти.

Вместе с тем, исторический факт с историографическим может и должен поспорить. Умиротворение Горной Шотландии в первой половине XVIII века в не меньшей степени повлияло на развитие края, чем движение якобитизма, предполагая, конечно, широкий опыт вооруженного расширения присутствия Короны в Горной Стране. Эта часть решения горношотландской проблемы (мятежности вооруженных и лояльных прежде всего собственным вождям кланов Горного Края) была, возможно, самой трудной, но и, конечно, самой значительной по ожидавшимся от нее результатам. И «многоплановая» роль, которую в этом процессе довелось сыграть 3-му Данкану Форбсу из Каллодена, с полным основанием может быть признана лучшей ролью «второго плана», достойной, между тем, игры многих фигур «первой величины» в масштабах всего королевства.

[1] *Forbes D.* Culloden Papers... P. 203–277, 370–474.

[2] Повторимся: именно Данкан Форбс первым доставил правительству известия о высадке «младшего Претендента» в Горной Шотландии, получив эти сведения от одного из своих давних знакомых в Горной Стране: MacLeod N. Letter to the Lord President. Dunvegan. August 3. 1745 // *Forbes D.* Culloden Papers... P. 203–204.

[3] *Dixon W.* The Jacobite Episode in Scottish History and its Relative Literature // Essays: Glasgow Saint Andrew Society. Edinb.; Glasgow; L., 1874. P. 1.

[4] Например: *Trevor-Roper H.* The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland // The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger. Camb., 2000. P. 15–41.

Ю. А. ГИРЕНКО (МОСКВА)

КОНДОТЬЕРЫ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Не все напрасно в этом мире,
Хотя и грош ему цена,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна.
Александр Галич

Политика выглядит неприглядно почти всегда. Особенно в межвременье, вроде переживаемого нашей страной после Новой русской революции[1]. Поэтому, пытаясь понять смысл происходящего, вольно или невольно приходится измерять уровень субстанции, упомянутой в эпиграфе. Вопрос в том, что выбрать в качестве измерительного инструмента. На мой взгляд, для этого больше всего подходит профессиональная корпорация, без которой сегодняшний политический процесс в России немыслим — и которую не без оснований считают ответственной за то, каков характер этого процесса.

Речь идет о политических технологах, консультантах, имиджмейкерах, пиарщиках... Названий и самоназваний у этой корпорации много, и все они имеют право на существование. Ведь люди, профессионально занимающиеся организацией политического процесса и формированием политического дискурса, и разрабатывают технологии, и консультируют, и формируют имиджи политических субъектов, и организуют PR-сопровождение. Чтобы не путаться, будем называть их политическими технологами, поскольку это обозначение наиболее широко.

Политический технолог — одна из самых легендированных профессий в нашей стране. О технологах много говорят и пишут. Они сами о себе пишут и говорят довольно много. В последние годы опубликован ряд работ, написанных практикующим технологами о себе и своей профессии[2]. Впрочем, почти все эти работы носят скорее пиаровский, чем рефлексивный характер, а потому больше множат мифы, чем реконструируют реальность. И в целом политическая технология остается terra incognita не только для широкой публики, но и для большинства участников политического процесса, не принадлежащих к технологическому цеху.

Очень интересный феномен! Существует профессиональная корпорация, довольно многочисленная, публичная и оказывающая заметное влияние на

[1] См.: *Гиренко Ю.* Новая русская революция. М., 2005.

[2] См. например: *Гусев Д., Матвейчев О., Хазеев О., Чернаков С.* Ushi mashut oslom. Екатеринбург, 2002.

ход политического процесса не только в нашей стране, но и в соседних странах. В частности, во время печально знаменитой «оранжевой революции» на Украине российские технологи играли роль, едва ли не большую, чем главные герои и антигерои. Причем, вопреки господствующему убеждению, играли они за обе стороны. Но при этом вся эта корпорация остается в тени! Чем не коллективный «герой второго плана»? Давайте же попытаемся взглянуть на него непредвзято.

Периодизация

Профессия политического технолога появилась в нашей стране на рубеже 80–90-х годов, одновременно с первыми ростками публичной политики. Первый — «эмбриональный» — этап развития профессии охватывает 1989–1993 гг., когда политика внезапно перестала быть монополией иерархии партийных функционеров и стала достоянием масс. Естественно, профессионалов в публичной политике в позднем СССР быть не могло. Были отдельные самонадеянные гуманитарии (точнее, обществоведы), попытавшиеся применить к отечественной практике методы, о которых читали в западных книгах.

Кроме того, что таких «прото-технологов» было мало, использовались они лишь спорадически: до осени 1993 г. в стране прошли всего три общенациональные кампании, а об использовании политтехнологий в партийном строительстве тогда вообще никто не думал. У тогдашних консультантов не хватало как практической, так и теоретической подготовки. Российская политология тогда только начиналась, а знакомство с западной политологической литературой было фрагментарным. Прото-технологи мало работали, но много учились: в 1991 г. ряд западных фондов и институтов начал проводить в СССР обучающие семинары. Как выяснилось несколько позже, реальная ценность усвоенных на этих семинарах знаний была невелика, но они стимулировали формирование профессионального языка и профессионального взгляда на политику. Ну а главным достижением «эмбрионального» этапа стало то, что была обозначена ниша «обслуживающего персонала» (интеллектуального и организационного) публичной политики и необходимость ее занять.

Первые выборы Федерального Собрания России (тогда избирались обе палаты — как Государственная Дума, так и Совет Федерации) знаменовали начало нового этапа: этапа становления профессии (1993–1996 гг.). Осень 1993 г. открывает непрерывную череду выборов, что дает возможность технологам (которых тогда еще так не называли) обрести необходимый практический опыт. В это время появляются структуры, объединяющие специалистов по политическому консалтингу — частные компании («Никколо М», «Имидж-контакт», фонд «Политика», Центр политических технологий и т. д.) и общественные ассоциации (Уральская гильдия политических

консультантов). Формируется рынок политтехнологических услуг. Происходит наработка инструментария, реально применяемого в отечественной политической практике. Вырабатывается своя «табель о рангах».

Президентские выборы 1996 г. дали российскому политтехнологическому сообществу своего рода «аттестат зрелости». Именно после президентских выборов произошло признание обществом факта существования политических технологий, как значимого фактора политической жизни — и технологов, как реальной профессии. Именно в это время профессия политического технолога приобретает кондотьерские черты. Подобно итальянским кондотьерам эпохи Возрождения, технологи были наемниками, становящимися самостоятельной силой.

Выборы 1996 г. открыли третий этап развития профессии — этап расцвета (1996–1999 гг.). В это время российские технологи проявляют максимум креативности, открывая собственные оригинальные методы манипуляции. Электоральный конвейер, начатый президентской кампанией, не прерывался ни на день, и это придало профессии технолога стабильность и значимость. В это же время российские технологи выходят за рамки национального рынка — они оказываются востребованными в странах СНГ, где не было возможности занять профессиональную нишу своими ресурсами. В это время появляется понятие «черный пиар», с которым у большинства россиян до сих пор ассоциируются политические технологии.

Справедливости ради надо отметить, что эффективность и значение «черного пиара» (т. е. технологий, направленных на дискредитацию политического субъекта) сильно преувеличены. В действительности, поскольку в российской политике до сих пор практически не имеет существенной ценности такое понятие, как репутация (точнее сказать, в общественном мнении у любого политика заведомо плохая репутация), то и создание репутационных издержек не оказывает серьезного влияния на судьбу того или иного политика. Так что в данном случае речь идет не об эффективной манипуляции, а о создании «дымовой завесы», отвлекающей внимание обывателя от основных конфликтов.

Осенью 1999 г., когда беспрецедентный электоральный успех сопутствовал чисто технологическому проекту «Единство», начался четвертый этап развития технологий в России — этап могущества (1999–2003 гг.). В течение этого этапа технология быстро и уверенно заместила собой публичную политику. Сформировался миф о всемогуществе технологии в политике, которому во многом способствовал сложившийся союз технологии и административного ресурса. Результатом этого союза стал настоящий триумф технологии на парламентских выборах 2003 г., когда три из четырех фракций Госдумы (включающих 80% депутатских мест) были сформированы партиями, представляющими собой чисто технологические проекты.

Но высшая точка могущества политических технологий одновременно стала началом кризиса профессии политического технолога. «Схлопывание» публичности сузило спектр профессиональных возможностей и упрочило унию

технологии и администрации. Кондотьеры стали превращаться в регулярную армию, что коренным образом меняет характер профессии. При всем том технологи — вольно или невольно — стали брать на себя не только обслуживающую функцию, но и роль субъектов политики. Это повлекло за собой как самонадеянность, так и растерянность. Этап кризиса продолжается и по сей день, что никоим образом не снижает влияние технологов на российскую политику.

Типология

Кто же такие политические технологи? Возможны разные типологии профессии: например, функциональная (менеджер, идеолог, райтер и т. д.) или ролевая, но они интересны, главным образом, самим технологам и заказчикам технологических услуг. С точки зрения политического аналитика, гораздо интереснее «уровневая» типология, позволяющая судить о структуре и социальной значимости профессии.

Верхушку технологического «айсберга» составляют те, кого знает широкая публика: «звезды». Надо отметить, что зачастую (если не чаще всего) «звездный» статус является скорее результатом автопиара, чем реальных успехов технолога в деле проведения избирательных кампаний. Так, широко известный технолог Марат Гельман не имеет на своем счету ни одной заметной победы на выборах. Отнюдь не электоральными успехами обязаны своей известностью такие медийные персонажи, как Сергей Марков, Вячеслав Никонов, Глеб Павловский и др.

Помимо звезд, вершину профессиональной пирамиды занимают «мэтры»: они не так широко известны широкой общественности, но в элите считаются лидерами технологического «цеха». Эту группу составляют руководители крупных фирм, занимающихся политическим консалтингом: Игорь Бунин («Центр политических технологий»), Екатерина Егорова-Гантман и Игорь Минтусов («Никколо М»), Алексей Ситников («Имидж-Контакт») и т. п.

Особняком стоят на верхнем этаже профессии «начальники» — административные политтехнологи, самым известным и влиятельным из которых является заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков. Помимо собственно технологического обеспечения политического процесса, «начальники» играют роль диспетчеров, распределяя заказы и расставляя акценты. Тем самым они оказываются одновременно и внутри профессии, и за ее пределами.

Реальной практикой ни «звезды», ни «мэтры» почти не занимаются. Ядро профессии составляют неведомые средствам массовой информации и публике люди, которых можно разделить на две группы: «вольные стрелки» и «служивые». Первые работают по заказам, не связывая себя узами лояльности ни с какой государственной, общественной или частной структурой. Главным образом именно из «вольных стрелков» крупные технологические компании формируют команды по проведению конкретных избирательных

кампаний. Они придумывают, организовывают, консультируют — и остаются в тени. Что касается «служивых», то это, как правило, технологи поневоле: государственные и (реже) партийные функционеры, работающие под руководством технологов-«начальников».

Ну а нижний этаж занимают «сержанты» и «хулиганы». Первые — узкие специалисты по какому-либо одному направлению (прежде всего — организаторы полевых работы). Вторые — начинающие технологи, не входящие ни в какую из команд и стремящиеся обратить на себя внимание особо экстравагантными методами.

Роль

Российские политтехнологи, разумеется, профессионально формировались по западным образцам. Вся их профессиональная терминология заимствована из западной (преимущественно американской) практики: «электорат», «таргет-группы», «пиар», «сегментирование», «фандрайзинг» и т. п. Однако за полтора десятилетия существования в нашей стране публичной политики отечественные политические технологии обрели ряд черт, свойственных только российской практике.

Дело даже не в том, что технологи в России креативнее, чем на Западе, и располагают более изощренным инструментарием для манипуляции избирателями (хотя это правда — у наших меньше юридических ограничений и меньше наработанных стереотипов). Самое существенное отличие — в социальной роли, которую играют политические технологи в России.

Социальная роль политтехнологов определяется, в первую очередь, их собственной политической мотивацией. Поскольку формирование профессии происходило в условиях революции, и вышли политтехнологи только из одной части политического спектра — из демократической, то им оказалось свойственно специфическое отношение к партийности. С одной стороны, российским технологам присуща (сейчас, правда, уже меньше) сильная политическая ангажированность. В частности, до 2000 г. почти никто из них не работал на левые партии, а в критических ситуациях (как в 1996 г.) подавляющее большинство из них становилось на сторону правящего режима. В то же время, включенность в систему, прямое участие в ее формировании — при отсутствии внятных идейных мотивов — способствовало укоренению предельно прагматичного, до открытого цинизма, отношения к политике в целом.

Осмысление реальной роли политтехнологов в нашей политике затруднено тем, что профессия эта, как уже говорилось ранее, весьма мифологизирована. Существует две основные группы мифов, сложившихся вокруг этой профессии. Первая — мифы внешние, преимущественно негативные. В рамках этой мифологии технологи — злые гении российской политики, виноватые во всех ее бедах. Такая мифология начала формироваться левыми в 1996 г. (именно технологи и технологии в версии коммунистов обеспечили

победу Ельцина). На рубеже веков ее подхватила и либеральная общественность: теперь технологи оказались главными виноватыми в победе Путина.

Вторая группа — мифы внутренние, позитивные. Эту мифологию — о технологах, как о кудесниках, способных решить любые задачи, формируют сами технологи. Тем самым они решают свою ключевую задачу: «раскручивают» заказчиков. Надо отметить, что получение заказов и «освоение» средств для российских технологов всегда было важнее, чем собственно технологическое обеспечение политического процесса.

В обоих случаях технологам приписывается более значительная роль, чем они играют на самом деле. Поскольку же в последние пять-шесть лет происходило «схлопывание» публичной политики, то такое преувеличение стало еще большим.

Надо признать, что не без оснований: технологические проекты в последние годы действительно оказываются более эффективными (или, точнее, эффектными) в политических кампаниях, чем реальные организации. Технологический подход господствует и в действиях официальных властей, на сегодня оставшихся единственным реальным субъектом политики. Однако это не означает, что технологи являются истинными «вершителями» политики.

Скорее надо говорить о том, что технологи и технологии оказались в роли симулякра политических институтов. Технологические разработки стали компенсаторами бессмыслицы. Технологи не только и не столько помогают политикам в конкретных кампаниях, сколько заменяют отсутствующие в стране партии, идеологии, смыслы.

Это не только российская специфика, и даже не только специфика посткоммунистических стран. Феномен медиатизации общества, наблюдающийся в течение последних двух десятилетий, привел в значительной мере к выхолащиванию демократических процессов и на Западе. И там появились свои технологи, занятые созданием симулякров (так называемые «spin-doctors»). Однако на Западе все же сохраняются и другие институты — партии, СМИ, негосударственные организации. У нас же существуют только их заменители, реально насыщаемые лишь технологиями.

Наследие

Что сделали технологи и технологии с российской политикой? Они не изменили ее облик, но обеспечили насыщение политического процесса в условиях послереволюционного застоя. Технологи и технологии создали иллюзию нормы, то есть обеспечили рутинность выборов и сохранение легальной рамки. Попутно они усугубили кризис доверия общества ко всем общественным институтам — будь то государство, партии, медиа или негосударственные организации. Общество уже не очень беспокоится о выборах, как то было во время «судьбоносных» кампаний 1989, 1990, 1991, 1993 и 1996 гг. Оно спокойно воспринимает победы и поражения любых политических

сил — и никому не верит. Общество привыкло воспринимать политику, как манипуляцию.

В чем воздействие технологов и технологий сказалось в наибольшей степени, так это в культуре. Можно сказать, что они оказали определяющее воздействие на сегодняшнюю политическую культуру в России. Определяющими чертами этой культуры стали прагматизм без идеологии, средства без цели, инженерия без органики. Последнее хорошо легло на советский субстрат: уверенность в том, что любую общественную проблему можно решить, выработав и осуществив правильный план, глубоко сидит в сознании советского человека.

При этом политтехнологи сами себя загнали в угол. Достигнув колоссального влияния, они совместили функции обслуги и субъекта. Они стали одновременно публичными и теневыми участниками процесса. Они оказались вынуждены заниматься вещами, глубоко противными их природе — например, разработкой политической идеологии. Такие противоречия не могли не породить кризис профессии — и кризис начался.

Разумеется, если политическое развитие России сохранит модернизационный вектор (а пока он сохраняется, несмотря на очевидные авторитарные тенденции), то каким-то образом кризис разрешится и политические технологии вернутся в свою нишу. Но это уже не будет политическое кондотьерство, каким мы его привыкли видеть в 90-х годах XX века; оно сегодня находится на закате. И это означает, что мы находимся на пороге серьезных перемен в характере политического процесса и политического режима.

В какую бы сторону ни стал развиваться политический режим, технологическая симуляция институтов ему уже не поможет. Политтехнологическая «гиря» опустилась очень низко, а, значит, измеряемая ею субстанция поднялась выше допустимого уровня.



ИСТОРИОПИСАТЕЛИ ВТОРОГО ПЛАНА

В. С. САВЧУК (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

НЕМЕЦКИЙ ИСТОРИК РУДОЛЬФ КЁЧКЕ: ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ

Творческие биографии, как хорошо известно из истории культуры, складываются по-разному. К одним ученым или художникам судьба благоволит еще смолоду, слава или, во всяком случае, известность становится постоянной спутницей их жизни, что, правда, не всегда гарантирует им признательность потомков. Удел других менее завиден: их работы, творческие идеи поначалу представляются современникам важными и оригинальными, но проходит непродолжительное время, и эти труды, как и сами их создатели, оказываются забытыми, а бывшие почитатели, неожиданно услышав о новых работах своего прежнего кумира, удивленно восклицают: «А я и не знал, что он еще жив!» Бывают и трагически складывающиеся творческие судьбы: то, что современникам кажется не заслуживающим внимания или даже просто абсурдным, потомки признают созданием гения, увы, уже после смерти самого творца...

Научная биография немецкого историка Рудольфа Кёчке[1] не «вписывается» ни в одну из этих схем. Громкой славой его имя не было окружено ни при жизни историка, ни после его кончины, и в этом смысле он всегда оставался ученым «второго плана». Более того: его профессиональная карьера, то, что немцы называют удивительным словом Laufbahn[2], оказалась труднее, чем у многих исследователей, менее значительных, чем Р. Кёчке. Достаточно заметить, что ординарным профессором он стал лишь в 63 года, то есть в том возрасте, когда другие уже готовятся к уходу на пенсию. Вместе с тем следует подчеркнуть, что его «негромкая» известность год от года становилась в кругу профессиональных историков все более определенной, а научный авторитет еще более упрочился после кончины ученого. Об этом свидетельствуют и посмертное издание избранных работ Р. Кёчке[3], и включение сведений о нем в компактные

[1] В отечественной научной литературе фамилия ученого транскрибируется поразному. Например, в цитируемой ниже монографии А. И. Данилова — как «Кёчке», а в статье А. И. Патрушева — как «Кётцшке».

[2] Буквально — «беговая дорожка».

[3] *Kötzschke R.* Deutsche und Slaven im mitteldeutschen Osten. Ausgewählte Aufsätze. Hrsg. von Walter Schlesinger. Darmstadt, 1961.

биографические словари об историках[1], и частые упоминания о деятельности ученого в новейших историографических трудах [2].

Известный медиевист Вальтер Шлезингер писал в своем предисловии к тому избранных сочинений Р. Кёчке «Немцы и славяне на средненемецком Востоке», что этот край (Mitteldeutscher Osten) был родиной ученого, с ним связана большая часть его жизни[3]. Будущий историк родился 8 июля 1867 г. в Дрездене и был сыном королевского[4] музыканта. Семья Кёчке, в которой было еще четверо детей, очевидно, принадлежала к т. н. среднему классу: особого богатства не было, но и нужды не испытывали. В 1885 г. Рудольф окончил одну из лучших гимназий, получив на выпускном экзамене высшую оценку. Как и отец, он имел музыкальные способности, но посвятить свою жизнь музыке не решился — помешало недостаточно крепкое здоровье. Р. Кёчке поступает на отделение классической филологии Лейпцигского университета, причем постепенно расширяет круг изучаемых дисциплин, в который вошли санскрит, германское языкознание, география и, наконец, история. Один семестр он занимался в Тюбингенском университете. Среди профессоров Лейпцигского университета, оказавших, возможно, влияние на Рудольфа Кёчке, можно назвать специалиста по классической филологии и древней истории Курта Ваксмута, медиевиста, сотрудника «Monumenta Germaniae historica» Вильгельма Арндта, историка философии Макса Гейнце, географа и этнолога, одного из основателей «антропогеографической» школы Фридриха Ратцеля. В 1890 г., в 23-летнем возрасте, Р. Кёчке успешно защищает в Лейпциге свою первую диссертационную работу и сдает государственный экзамен, причем не только по профилирующим дисциплинам (латинской филологии и истории), но также по немецкому и греческому языкам и географии. Этот факт, вероятно, свидетельствует о широте интересов начинающего исследователя.

После окончания университета Рудольф Кёчке вернулся в родной Дрезден и работал учителем в одной из частных школ. «Позже он называл это время, не оставлявшее никакой возможности для научной деятельности, самым несчастливым временем своей жизни», — писал Вальтер Шлезингер[5]. Возвращением к серьезным исследовательским занятиям Кёчке обязан знаменитому историку Карлу Лампрехту, получившему в 1891 г. профессуру в Лейпцигском университете и пригласившему в 1894 г. подающего надежды молодого Кёчке[6].

[1] *Schom-Schütte L.* Rudolf Kötzschke (1867–1949) // Historiker Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. . München, 1991. S. 170–171.

[2] Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Peter Moraw und Rudolf Schieffer (Vorträge und Forschungen. Bd. LXII). Ostfildern, 2005.

[3] *Schlesinger W.* Vorwort // *Kötzschke R.* Deutsche und Slaven... S. VII.

[4] В 1806–1871 гг. Саксония была королевством, а Дрезден — его столицей.

[5] *Schlesinger W.* Rudolf Kötzschke (1867–1949) // Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völker im ostlichen Mitteleuropa. 1. Jahrgang. 1952, S. 274.

[6] В том же 1894 г. появилась диссертация Р. Кёчке «Предприниматели в средневековой восточной немецкой колонизации», обозначившая и его дальнейшие научные интересы. См.: *Kötzschke R.* Das Unternehmertum in der ostdeutschen Kolonisation des Mittelalters. Diss. Leipzig, 1894.

В научном отношении Кёчке было поручено издание кадастров (поземельных книг) аббатства Верден (Рейнская область), но, кроме того, он выполнял и другие обязанности, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Он занимал должности библиотекаря Исторического института Лейпцигского университета, затем — вспомогательного сотрудника основанной в 1896 г. К. Лампрехтом Саксонской исторической комиссии, позже (после успешной защиты в 1899 г. второй диссертации по средневековой и новой истории) — ассистента Историко-географического семинара и руководителя отдела по картографированию.

Казалось бы, за пять лет Рудольф Кёчке добился значительных успехов в науке. Но его дальнейшая профессиональная карьера складывалась очень нелегко. В чем же дело? Историки, писавшие о Кёчке, высказывают мысль, что в этом был косвенно «виноват» немало сделавший для него Карл Лампрехт. В историографических трудах много внимания уделено той теоретико-методологической дискуссии, которая развернулась в Германии в 90-е годы XIX века и была вызвана публикацией первых томов многотомной «Немецкой истории» Лампрехта, а затем и его полемических статей[1]. Не останавливаясь подробно на характеристике этих научных споров, приведем мнение знатока немецкой историографии Г. Иггерса: «В глазах Фридриха Мейнеке, Георга фон Белова и Макса Ленца Карл Лампрехт вел атаку западноевропейского позитивизма бастионов немецкого идеализма. Когда оглядываешься сегодня, разногласия между обеими позициями представляются выраженными гораздо слабее, чем это тогда выглядело, чем они были “раздуваемы” резким языком и свойственной обеим сторонам фразеологией. Против Лампрехта историки привлекли Виндельбанда и Риккерта, причем они упускали из виду, что неокантианская критика исторического познания означала гораздо более серьезную угрозу основам их историографических традиций, чем поиски законов Лампрехтом»[2]. Хотя тот же Г. Иггерс считает, что «нападение Лампрехта на идеалистическое наследие немецкой исторической науки осталось безрезультатным»[3], вряд ли можно с ним безоговорочно согласиться. «Новое направление» и тот «культурно-исторический метод», за который ратовал Карл Лампрехт, отвергнутые большинством его современников — коллег по профессиональному «цеху», несомненно, нашли отзвуки в науке XX века, с ее обостренным вниманием к социально-психологическим аспектам бытия, с ее новым пониманием «социального» и «культурного».

[1] См., например: *Данилов А.И.* Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX в. М, 1958. С. 63–94; *Гутнова Е.В.* Историография истории средних веков. М., 1985. С. 153–155; *Патрушев А.И.* Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856–1915) // ННИ. 1995. № 4. С. 179–193.

[2] *Iggers G.* Deutsche Geschichtswissenschaft. Wien; Köln; Weimar, 1997. S. 257.

[3] Ibid. S. 260.

Расширение проблематики исторических исследований, междисциплинарное сотрудничество ученых, чему отдал дань и Рудольф Кёчке, — на всем этом лежит определенный отпечаток идей Лампрехта.

Можно предположить, что позиция Кёчке в дискуссии 90-х годов оставалась двойственной — и с формальной стороны, и по существу. Не будучи по характеру полемистом и, вероятно, не считая себя учеником Лампрехта, как об этом позже многие писали, Р. Кёчке с середины 90-х годов был его сотрудником и «волей-неволей» оказался вовлеченным в эту дискуссию. Если говорить о сути затронутых проблем, то надо подчеркнуть, что на протяжении всего творческого пути Кёчке, с одной стороны, не был склонен к теоретизированию и систематизации, а, с другой стороны, был солидарен с Лампрехтом в необходимости рассматривать исторические факты и явления в более широком социальном и культурном контексте. Эта идея была в последующие десятилетия реализована в рамках т. н. Landesgeschichte[1], изучение которой позволило перейти от рассмотрения, пусть даже глубокого, изолированных вопросов к постановке комплексных проблем общественного развития. Именно в этом смысле можно считать Рудольфа Кёчке продолжателем дела Карла Лампрехта[2]. Сам Кёчке в 1902 г. писал: «Из региональной истории сформировалась всеобщая история немецкого народа, из исторического краеведения происходит немецкое историческое страноведение и фольклористика»[3]. Известная близость к Лампрехту[4], как в организационном, так и собственно в исследовательском плане, видимо, привела к тому, что многие историки на протяжении ряда лет «отстраненно» относились к работам Кёчке, старались не замечать выдвигаемых им идей и положений.

Но сам ученый продолжал напряженно трудиться. В 1899 г. вышли в свет его «Исследования по истории управления крупной вотчины Верден» («Studien zur Verwaltungsgeschichte der Grossgrundherrschaft Werden»), в значительной

[1] Этот термин, родственный понятию «Landeskunde» («страноведение», «краеведение»), можно по-разному перевести на русский язык: «история земель», «региональная история» и т. п.

[2] А. И. Данилов относит Р. Кёчке к числу тех немецких медиевистов начала XX века, которые пытались «придерживаться в своих работах некоторых из основных принципов марковой и вотчинной теорий второй половины XIX в.», и это в контексте его исследования звучит скорее похвалой, чем упреком. См.: *Данилов А. И.* Проблемы аграрной... С. 365.

[3] Цит. по: *Schlesinger W.* Rudolf Kötzschke. S. 275. Немецкий термин «Volkskunde», который обычно переводят как «фольклористика» или «этнолингвистика», имеет, по-моему, более широкое значение. Это — скорее «наука о народной культуре». Употребление терминов «Volkskunde» и «Völkerkunde» («народоведение») иногда трудно различимо.

[4] Уже после кончины К. Лампрехта Р. Кёчке написал о нем: *Kötzschke R.* Karl Lamprecht // Deutsches Biographisches Jahrbuch. Berlin, 1929. Űberleitungsband 1. См. также: *Kötzschke R. und Tille A.* Karl Lamprecht. Gotha, 1915.

мере подводившие итог той работе, на которую Р. Кёчке был приглашен в Лейпциг Карлом Лампрехтом. Хотя в дальнейшем Кёчке еще будет возвращаться к этой проблематике[1], но все же не история Рейнской области, а «средненемецкий Восток», в частности история Саксонии и областей немецкой восточной колонизации, станет главным предметом его исследований.

С 1903 г. Рудольф Кёчке является действительным членом Саксонской исторической комиссии. Отныне его научные идеи и инициативы во многом будут определять всю работу этой комиссии, хотя формально Р. Кёчке ее возглавит лишь через несколько десятилетий, в 1939 г. В 1906 г.[2] Рудольф Кёчке становится экстраординарным профессором и руководителем специально образованного Семинара по региональной истории и изучению поселений (Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde). В том же году выходит его работа «Источники и основные понятия исторической географии Германии и соседних с ней стран», свидетельствующая о том, что проявившийся еще в студенческие годы интерес к географии не был мимолетным увлечением юного Кёчке. Через несколько лет ученый предпринимает попытку создания обобщающих, предназначенных не только для специалистов, но и для более широкого читателя, работ по истории немецкой восточной колонизации: в 1910 г. выходит небольшая книга «Государство и культура в эпоху восточной немецкой колонизации»[3], а в 1912 г. были опубликованы «Источники по истории восточной немецкой колонизации в XII — XIII вв.» («Quellen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation im 12. bis 13. Jahrhundert»). Последняя работа вышла новым изданием в 1931 г.

Создание в Лейпциге Р. Кёчке нового семинара, то есть своеобразную институционализацию изучения «истории земель и поселений», можно рассматривать в более широком контексте — как проявление определенных тенденций в развитии всей немецкой медиевистики. Так, Рудольф Шиффер подчеркивает, что в конце XIX — начале XX вв. политическая история, хотя и пользовалась по-прежнему предпочтительным вниманием исследователей, но уже не абсолютно преобладала. Георг фон Белов изучает во Фрейбурге историю городского строя, Эрнст Бернхайм в Грейфсвальде — историю идей, Альфонс Допш в Вене и Алоис Шульте в Бонне — хозяйственную историю. Благодаря Рудольфу Кёчке, серьезные перспективы в развитии немецкой

[1] *Kötzschke R.* Urbare der Abtei Werden. 1–2 Bände. 1906–1907.

[2] *Schorn-Schütte L.* Rudolf Kötzschke... S. 170. А. И. Патрушев называет этот семинар «координирующим центром исследований по региональной истории во всей Германии» (*Патрушев А. И.* Взлет и низвержение... С. 183.), хотя немецкие ученые видят определенные различия между Landesgeschichte и Regionalgeschichte. См., напр.: *Schorn-Schütte L.* Territorialgeschichte — Provinzialgeschichte — Landesgeschichte — Regionalgeschichte // Civitatum Communitas. Festschrift für Heinz Stoob. Kö1n — Wien, 1984.

[3] *Kötzschke R.* Staat und Kultur im Zeitalter der ostdeutschen Kolonisation / Aus Sachsens Vergangenheit. Hrsg. von der Sächs. Kommission für Geschichte. 1910, Heft 1.

медиевистики появились и в связи со становлением Landesgeschichte как нового научного направления[1].

К сожалению, в доступной мне литературе я не нашел прямых сведений о позиции Р. Кёчке в годы первой мировой войны, о его отношении к послевоенному устройству Германии и Европы в целом. Но, судя по некоторым его поступкам более позднего времени и исходя из общей оценки его мировоззрения, можно высказать следующие предположения. Р. Кёчке, родившийся за несколько лет до возникновения второй Германской империи, воспитывался в достаточно консервативной среде и в той социальной обстановке, в которой национальное величие Германии понималось как укрепление в первую очередь ее политической и военной мощи. Вероятно, разгром империи и союзной с ней «двуединой» монархии (Австро-Венгрии), появление новых, в том числе славянских, государств, принятие Веймарской конституции в самой Германии — все это (и многое другое) воспринималось Рудольфом Кёчке, как и большинством консервативно настроенной немецкой научной интеллигенции, не только с болью, но и как не вполне заслуженное (а, может быть, и как ничем не оправданное) национальное унижение великой и родной страны.

Если говорить об исторической науке Германии и, в частности, о медиевистике межвоенного периода, то, по мнению немецкого историка О.Г. Эксле[2], следует обратить внимание на три феномена. Во-первых, речь идет о переориентации исторической науки на идеи Ф. Ницше — как науки, которая, как «монументальная история», служит «жизни». Подобная тенденция была типична в начале XX в. для сторонников взглядов знаменитого немецкого поэта и мыслителя Стефана Георге, в том числе она проявилась и в написанной в 20-е годы известной книге Эрнста Канторовича о Фридрихе II. После прихода Гитлера к власти «георгеане» заняли разную позицию: одни из них примкнули к национал-социалистическому движению, другие, подобно Э. Канторовичу, эмигрировали[3].

Во-вторых, многие ученые (например, Отто Бруннер в 30-е годы) стали стремиться к преодолению современного «разделенного мышления» (Trennungsdenken) и созданию «интегрированной» исторической науки под знаком «целостности» («Ganzheit») и «общности» («Gemeinschaft»). О. Бруннер в вышедшем в 1939 г. исследовании «Страна и власть» («Land und Herrschaft») выступил, в определенной мере справедливо, против модернизации истории средневековья, в том числе против использования при изучении этой эпохи терминов более позднего времени. За два года до этого, на съезде историков в Эрфурте, он говорил о том, что следует «описывать исторические структуры средневековья как конкретные системы (порядки)». Разумеется, подчеркивает О.Г. Эксле, «понятие “konkrete Ordnung” не было “невинным” термином». Отто Бруннер его заимствовал из сочинения Карла Шмитта «Национал-социалистическое правовое мышление» и затем перенес в историческую науку. Сам Бруннер, как это выяснилось гораздо позже, сотрудничал не только с национал-социалистами, но даже с СС[1]. Таким образом, в данном случае, пишет О.Г. Эксле, «методические инновации лежат в основе вполне недвусмысленной политической практики».

Наконец, в-третьих, подобные цели интеграции исторического знания выдвигали перед собой представители развивавшегося «регионоведения», выступавшего в Германии под разными названиями (Landesgeschichte, Landeskunde, Historische Landesforschung). После 1918 г. они все чаще именовали свою интерпретацию истории «народной историей» («Volksgeschichte»), а с 1933 г. поставили себя как представителей «Westforschung» и «Ostforschung» непосредственно на службу политике национал-социалистического государства[2]. Но, как справедливо подчеркивает О.Г. Эксле, при анализе исследований, созданных в рамках Landesgeschichte или даже Volksgeschichte, ни в коем случае не следует ограничиваться «идеологической критикой». Пусть это нам неприятно, надо отдавать должное методическим инновациям подобных работ, в частности стремлению их авторов преодолеть сосредоточенность лишь на «государстве», надо по достоинству оценить и компаративизм трудов по региональной истории, и интеграцию в них различных методических и дисциплинарных начал (всеобщей истории, археологии, исследования поселений, истории языка и др.)[3].

В 20-е годы Рудольф Кёчке, все еще не занимая профессорскую кафедру в Лейпцигском или каком-либо ином из немецких университетов, продолжает вести напряженную исследовательскую деятельность. Ее результатом стали и многочисленные публикации ученого по частным вопросам истории славяно-германских отношений эпохи средневековья[4], и вышедшие в свет

[1] Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert. S. 52–53.

[2] Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить Отто Герхарда Эксле, незамедлительно откликнувшегося на мою просьбу и приславшего мне в Ростов-на-Дону вышедшую в 2005 г. книгу «Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert», одним из авторов которой он является.

[3] Сам С. Георге, как известно, не принял фашистский режим и, несмотря на заискивания перед ним нацистских главарей, эмигрировал, а, умирая, запретил хоронить себя в «осквернённой варварами» Германии. Об этом в свое время писал Л.З. Копелев, столь много сделавший для знакомства русского читателя с немецкой культурой XX века.

[1] См. об этом: *Fahlbusch M.* Wissenschaft im Dienste der nationalsozialistischen Politik? Die «volksdeutschen Forschungsgemeinschaften» von 1931–1945. Baden-Baden, 1999. S. 255ff.

[2] См.: Deutsche Historiker im Nationalsozialismus. Hrsg. von Winfried Schulze und Otto Gerhard Oexle. Frankfurt am Main, 1999.

[3] См.: Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert. S. 89–94.

[4] Назову лишь некоторые вышедшие в этот период исследования Р. Кёчке: Die deutschen Marken im Sorbenland // Festgabe Gerhard Seeliger zum 60. Geburtstage. Leipzig, 1920. S. 79–114; Markgraf Dietrich von Meissen als Forderer des Stadtebaues // Neues Archiv fur sächsische Geschichte und Altertumskunde. 1924. Band 45.

его труды обобщающего характера. Так, в 1921 г. вторым изданием выходит работа Кёчке «Основные черты немецкой хозяйственной истории вплоть до XVII столетия» («Grundzüge der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis zum 17.Jahrhundert»), а в 1924 г. — его «Всеобщая хозяйственная история средневековья» («Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters»), в которой он попытался охарактеризовать экономическую жизнь различных областей средневековой Европы, в том числе Византии, часто остававшейся в начале двадцатого века еще вне поля зрения западноевропейских медиевистов. Эти труды Кёчке свидетельствовали о том, что он стал одним из ведущих специалистов в области изучения аграрного строя средневековья[1], который он исследовал в тесной связи с социальной, конституционной историей. Указанные работы ученого по хозяйственной истории соответствовали уровню науки того времени и широко использовались преподавателями и студентами, заменив в качестве своеобразного пособия по аграрному строю средневековья вышедший еще в конце XIX столетия и тогда же подвергшийся аргументированной критике со стороны ряда немецких медиевистов известный труд Августа Мейцена[2], изрядно к тому же устаревший за четверть века.

Изучение различных аспектов истории «средненемецкого Востока» вновь и вновь возвращало Рудольфа Кёчке к характеристике средневековой немецкой восточной колонизации в целом, способствуя уточнению отдельных положений уже сложившейся концепции ученого. Не только собственно научные, но, вероятно, и национально-политические интенции привели к тому, что через несколько лет после поражения Германской империи в Первой мировой войне два историка, принадлежащие к одному и тому же поколению, публикуют обзорные работы о средневековой немецкой восточной колонизации. Речь идет, во-первых, об одиозно известной книжечке Карла Хампе «Движение на Восток. Великое колонизаторское дело немецкого народа в средние века»[3], о которой современный французский исследователь этой проблематики писал, что она «не скрывает ни своей тенденции, ни тоски автора как по давно прошедшему, так и по совсем недавнему прошлому»[1]. Во-вторых, я имею в виду обобщающий очерк средневековой немецкой восточной колонизации, который дал в том же 1921 году в VI-м томе 2-го издания «Всемирной истории» Гельмольта[2] Рудольф Кёчке, а также его главу в «Основных чертах немецкой хозяйственной истории», где немецкое восточное поселение рассматривается с точки зрения исследователя аграрного строя. К этим работам Кёчке обобщающего характера примыкают и написанные им через несколько лет два раздела в коллективном труде с типичным для того времени названием «Восточнонемецкая народная земля» («Der ostdeutsche Volksboden»), вышедшем под редакцией В. Фольца двумя изданиями — в 1924 и 1926 гг.

Совместно с Вильгельмом Фольцем Р. Кёчке основывает в 1927 г. Институт краеведческих исследований (Institut fur Heimatforschung). Краеведению (Heimatkunde), как и ряду других научных дисциплин (этнологии, археологии и пр.), в период между двумя мировыми войнами в Германии уделялось серьезное внимание — и не только учеными, но и политиками. Вероятно, логика их рассуждений была следующая: изучение природы, истории и культуры «малой родины» укрепляет любовь к ней, а, стало быть, и к «большой родине» — Германии. Возникший как сугубо исследовательское учреждение, необходимое для научного обоснования введенной в немецких университетах для будущих учителей т.н. народных школ специальности «краеведение», Институт краеведческих исследований позже стал совмещать научные и учебные функции. Кроме того, Рудольф Кёчке являлся с 1924 г. председателем Совета по публикациям в области региональной истории (краеведения), секретарем которого он был с 1903 г. Долголетняя исследовательская и научно-организаторская работа ученого наконец-то увенчалась в 1930 г. предоставлением ему в Лейпцигском университете должности ординарного профессора, которую он из-за своего пожилого возраста смог занимать всего лишь в течение пяти лет, до 1935 г.

Эти годы, как известно, были весьма драматическим периодом в жизни Германии: немецкое общество в своем большинстве поддержало национал-социализм, увидело в Адольфе Гитлере «фюрера», который, якобы, сможет сделать для страны то, что не в состоянии были осуществить демократические сторонники Веймарской республики. Как это ни печально, приходится констатировать, что некоторые идеи национал-социалистов в той или иной степени разделяли и вполне респектабельные немецкие ученые. Например, широко

S. 7–46.; Die Quellen der slavischen Namenforschung in Thüringen und Sachsen // Zeitschrift für slavische Philologie. 1926. Band 111. S. 438–447.; Die Frühzeit deutscher Kultur auf Leipzigs Heimatboden // Heimatgeschichte für Leipzig und den Kreis Leipzig. Leipzig, 1927. S. 49–122.; Die Anfänge der Markgrafschaft Meissen // Meissnisch-Sächsische Forschungen. Dresden, 1929. S. 26–53. Интересна также более ранняя работа Кёчке о роли Лейпцига в истории немецкой восточной колонизации: Leipzig in der Geschichte der ostdeutschen Kolonisation //Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs. 1917. Band 11. S. 1–32.

[1] В.Е. Майер называет Р. Кёчке одним из «крупнейших буржуазных историков аграрной истории Германии», наряду с О. Гирке, К. Лампрехтом, Т. Инамой-Штернегом, А. Допшем и Т. Майером. См.: *Майер В.Е.* Деревня и город Германии в XIV — XVI вв. Л., 1979. С. 13.

[2] *Meitzen A.* Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven. Berlin, 1895. Bd.1.

[3] *Hampe K.* Der Zug nach dem Osten. Die kolonisator[sche Grosstat des deutschen Volkes im Mittelalter. Leipzig; Berlin, 1921.

[1] Цит. по нем. переводу: *Higounet Ch.* Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter. München, 1990. S. 16.

[2] Немецкий историк Ганс-Фердинанд Гельмольт (Helmolt), ныне уже почти забытый в самой Германии, в конце XIX — начале XX вв. был широко известен, главным образом благодаря выходившему под его руководством коллективному труду — «Всемирной истории» («Weltgeschichte»), затем переиздававшемуся с дополнениями. Русский перевод 1-го издания этого труда выходил до революции под названием «История человечества».

известный в то время, и не только в узком профессиональном кругу, тюбингенский профессор Иоганнес Галлер подписал в 1932 г. предвыборное воззвание в поддержку Гитлера[1]. «Национально ориентированные» исследования Рудольфа Кёчке привели их автора к подобной же позиции: в 1933 г. он, вместе с такими известными историками, как Гельмут Берве, Герберт Грундманн, Вильгельм Моммзен и др., подписал заявление, в котором ученые объявляли себя сторонниками Гитлера и национал-социалистического государства[2].

Можно ли в таком случае называть Рудольфа Кёчке «нацистским», или, как это было принято в советской исторической литературе, «фашистским» историком?[3] Подобное определение, несомненно, было бы неверным и поэтому — несправедливым. Думается, что есть все основания присоединиться к аргументированной оценке А.И. Патрушева, подчеркивающего различия (при существовании и некоторых «точек соприкосновения») между консервативной историографией и собственно нацистскими историческими сочинениями, которые «писали исключительно молодые историки»[4].

Анализируя научную и общественно-политическую позицию Рудольфа Кёчке в 30-е годы, хочется понять, в какой мере она была искренней, а в какой — вынужденной обстоятельствами. И невольно хочется сопоставить, каким бы болезненным ни выглядело для многих моих соотечественников подобное сопоставление, условия работы профессиональных историков в гитлеровской Германии и в Советском Союзе в эпоху Сталина. При этом сразу подчеркну, что речь не может идти о сравнении марксистской методологии, являющейся одним из великих достижений европейской общественной мысли XIX века, с нацистскими «теориями». Речь идет о сопоставлении общественной практики (в данном случае — в сфере исторической науки), типичной для Германии и СССР 30–40-х годов.

Бросается в глаза то обстоятельство, что многие немецкие ученые старшего поколения, к которым принадлежал и Р. Кёчке, как бы естественно нашли «свое место в системе национал-социализма», рассматривая его «как радикальное выражение национальных немецких традиций. Поэтому они не видели никаких причин для отказа от сотрудничества с режимом»[5]. Для русских медиевистов (не только, скажем, для Д.М. Петрушевского, но и для более молодых Н.П. Грацианского или Е.А. Косминского), сформировавшихся в дореволюционное время, компромисс с господствующей в стране в 30-е годы идеологией и практикой либо был не возможен, либо давался им внутренне очень нелегко, ценой идейных, а иногда и нравственных, уступок. При этом надо учитывать, что репрессиям в Германии в середине 30-х годов была подвергнута лишь незначительная часть университетской профессуры, главным образом из-за «неарийского происхождения», а не по политическим мотивам, да и сами репрессии означали в те годы увольнение, а не физическое уничтожение[1].

Поскольку большая часть немецких профессоров-историков после 1933 г. сохранила свое прежнее служебное положение, то вакансий для молодых, собственно нацистских, историков почти не было. Важная деталь: до прихода Гитлера к власти ни один ординарный профессор-историк в Германии не был членом национал-социалистической партии, хотя многие, в том числе такие известные ученые, как Карл Александр фон Мюллер и Гельмут Берве, явно симпатизировали нацистской идеологии и вступили в партию сразу же после событий 1933 г.[2] Хотя в Германии в середине 30-х годов «дружеское отношение к партии» явно учитывалось и способствовало успешному продвижению по служебной «лестнице», но только оно, как и само членство в НСДАП, не могло определять научную карьеру. Как отмечает в своем исследовании В. Шульце, подавляющая часть претендентов на получение штатных должностей на университетских кафедрах проходила через обычные диссертационные испытания, и их научная квалификация не вызывала сомнения. В подобных обстоятельствах «ужас цеха профессиональных историков» вызывали редкие исключения, когда старым «партийцам» (например, берлинскому краеведу Вилли Хоппе или гейдельбергскому военному историку Паулю Шмиттхеннеру) удавалось сделать после 1933 г. научную карьеру. Однако попытка властей «протащить» того же Хоппе в Берлинскую Академию провалилась из-за сопротивления ученых[3]. Таким образом, в Германии 30-х годов речь шла не

[1] См.: *Schulze W.* Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945. München, 1993. S. 34.

[2] Правда, идентичность подписей на этом документе вызывает известные сомнения. См. об этом: *Schulze W.* Deutsche... S. 35.

[3] Например, известный специалист по средневековой истории славяно-германских отношений Г.Э. Санчук причисляет к «фашистским» историкам не только Р. Кёчке, но также Г. Аубина и В. Шлезингера. См. его статью: Полабские славяне // СИЭ. М., 1968. Т. 11. Стлб. 261.

[4] См.: *Патрушев А.И.* Германская историография в 1918–1945 гг. Проблема преемственности или разрыва с прошлым // Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки. М., 2000. С. 76–78, 89–91.

[5] *Патрушев А.И.* Германская историография... С. 90–91.

[1] Для сравнения приведу такой печальный пример из истории университетской науки советского времени. В 30-е годы были репрессированы и затем расстреляны четыре (!) директора (ректора) Воронежского университета, а также «все без исключения директора воронежских институтов». См.: *Карпачев М.Д.* Воронежский университет: Вехи истории. 1918–2003. Воронеж, 2003. С. 222. Ср. также воспоминания известного медиевиста Е.В. Гутновой о подлинном разгроме истфака Московского университета в 1937–1938 гг.: «Факультет был разгромлен: декан Фридлянд и его заместитель Лурье (Эмэль) были арестованы и объявлены “врагами народа”. За ними последовала целая вереница профессоров и преподавателей: П.Ф. Преображенский, Дубровский, Ванаг, Лукин, Далин, Фрейдлин и многие другие. Остальные, напуганные и ничего не понимающие, ждали своего часа» (*Гутнова Е.В.* Пережитое. М., 2001. С. 169.).

[2] См.: *Schulze W.* Deutsche... S. 34. А.И. Патрушев ошибается, когда указывает, что Мюллер стал членом НСДАП еще до 1933 г. Ср.: *Патрушев А.И.* Германская историография... С. 89.

[3] *Schulze W.* Deutsche... S. 35.

о массовой замене старых, квалифицированных в профессиональном отношении научных кадров, как это часто происходило в то время в Советском Союзе, а о привлечении этих научных сил на службу национал-социалистическому государству — естественно, при условии их политической лояльности.

Сама эта лояльность понималась достаточно широко. Если историк придерживался консервативных взглядов, а его труды были пронизаны идеей величия «немецкого национального духа», то власти не требовали от ученого, чтобы он пресмыкался перед нынешними политическими лидерами. Поэтому в исследованиях немецких авторов, даже посвященных проблемам национально-политической истории Германии и взаимоотношений со славянскими народами (например, в трудах того же Рудольфа Кёчке или близкого ему по духу Германа Аубина), мы не найдем прямых ссылок на выступления Адольфа Гитлера или публицистические работы Альфреда Розенберга, хотя, казалось бы, не представляло особой сложности найти у них уместные по данному поводу цитаты. В этом отношении положение советских историков сталинского времени было более тяжелым: они были вынуждены, как говорится, «к месту и не к месту» (даже в работах по средневековой истории!) цитировать выступления и самого Сталина, и других «руководителей Партии и правительства», реагировать на «злобу дня»[1].

В Германии 30-х годов ученые, считавшиеся вполне лояльными по отношению к национал-социалистическому режиму, могли позволить себе открыто высказывать по отдельным проблемам немецкой истории взгляды, расходящиеся с официально принятой трактовкой того или иного вопроса. Это создавало, быть может, иллюзорное, представление о по-прежнему свободном и подлинно научном обсуждении дискуссионных проблем немецкого и европейского прошлого[2]. Трудно сказать, была ли это заранее продуманная политика нацистских властей по отношению к профессиональным историкам или такая ситуация сложилась как бы сама собой. Но ее результат был налицо: большинство ученых консервативного мировоззрения (в том числе, вероятно, и Рудольф Кёчке) было искренно убеждено, что сотрудничество с национал-социалистическим режимом является «высоким служением» нации, своему народу и государству, а отнюдь не «прислуживанием» предержащим властям и их идеологам. Такое положение дел позволяло значительной части ученых сохранять научное и человеческое достоинство, а, учитывая присущие консервативной немецкой историографии претензии на «духовный аристократизм», сохранять также свое эстетическое отношение к истории[1].

Вернемся, однако, к научной деятельности Р. Кёчке. Тридцатые годы были для него временем создания итоговых исторических трудов. Это прежде всего его «Саксонская история», вышедшая первым изданием в 1935 году и написанная Рудольфом Кёчке совместно с Гельмутом Кречмаром (Кречмар является автором второй части этого большого сочинения, в которой рассматривается период с середины XVI века до двадцатых годов XX столетия)[2]. В следующем 1936 году выходит большой коллективный труд с участием Кёчке «Культурные области и культурные течения на средненемецком Востоке», которому сам ученый придавал большое значение[3]. В этом исследовании предпринята попытка представить «морфологию культуры» обширного и важного для всего европейского развития региона. При этом были использованы самые разнообразные источники и методы их изучения, характерные как для исторической науки, так и для географии, фольклористики, лингвистики. Указанная работа продолжила ту традицию создания междисциплинарных исследований,

[1] Например, Н.П. Грацианский в статье, посвященной критике фашистской историографии, делает типичную для того времени сноску: «Ср. тесно смыкающуюся с фашистской “теориею” о своеобразных национальных особенностях славянина клеветническую “концепцию” подлого предателя и убийцы, фашистского агента Бухарина о России как стране, где обломовщина была якобы самой универсальной чертой характера...» (*Грацианский Н.П.* Немецкий «Drang nach Osten» в фашистской историографии // Против фашистской фальсификации истории. М.; Л., 1939. С. 139.). Ученик Грацианского А.Е. Москаленко уверял меня в 70-е годы, что вряд ли сам Грацианский мог написать такой пассаж — возможно, его статью подобным образом «дополнили» редакторы этого сборника, а ученый просто не посмел им возражать... Но если предположить, что эта версия справедлива, то она в еще большей мере свидетельствует об абсолютно подчиненном положении ученых в Советском Союзе 30-х годов — значит, в их труды власти могли вносить какие угодно изменения!

[2] Вряд ли можно согласиться с недавним категорическим утверждением, что в Германии 30-х годов «появление работ, не соответствовавших официальной идеологии, стало невозможным» (см.: *Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю.* История исторического знания. М., 2004. С. 222–223.).

[1] На роль эстетического фактора при оценке немецкой консервативной историографии обратил мое внимание при обсуждении настоящей статьи мой коллега А.В. Кореневский, за что я ему признателен. Чуть позже сходные мысли я обнаружил в статье Б. Фауленбаха о творчестве уже упоминавшегося Карла Александра фон Мюллера, отношение которого «к истории и политике было выражено не в последнюю очередь эстетически» (Historiker Lexikon. S. 220.).

[2] Ровно через 30 лет книга была переиздана, причем редакторы нового издания сочли необходимым подчеркнуть, что появление подобного труда в 1935 году «доказывает, что и в “тысячелетнем рейхе” историки имели мужество объективно изображать историю». См.: *Kötzschke R., Kretzschmar H.* Sächsische Geschichte. Werden und Wandlungen eines Deutschen Stammes und seiner Heimat im Rahmen der Deutschen Geschichte. Frankfurt am Main, 1965. (Цитируемые выше слова взяты из аннотации, помещенной на суперобложке настоящего тома.) В дальнейшем ссылки на этот труд даются по второму изданию. Кстати, хочу с благодарностью вспомнить моего, к сожалению уже покойного, немецкого коллегу и друга, профессора Дортмундского университета Клауса Лампе, подарившего мне это издание из своей библиотеки. В гостеприимном доме Юты и Клауса Лампе в г. Виттене (ФРГ) я начал работу над изучением научной биографии Рудольфа Кёчке.

[3] *Ebert W., Frings Th., Gleissner K., Kötzschke R., Streitberg G.* Kulturräume und Kulturströmungen im mitteldeutschen Osten. 1–2 Bande. 1936.

начало которой было положено за десять лет до этого Германом Аубином и его коллегами (одним из авторов в обоих изданиях был Теодор Фринг[1])

В 1937 г. Рудольф Кёчке публикует (в соавторстве со своим учеником по уже упоминавшемуся Лейпцигскому семинару Вольфгангом Эбертом) «Историю восточной немецкой колонизации». Славяно-германским отношениям средневековой эпохи, анализируемым с различных точек зрения, посвящены и другие исследования Кёчке 30-х годов[2]. Ученый по-прежнему придавал важное значение изучению истории права и последовательно расширял поле своих историко-правовых изысканий. Не только Восточная Германия, но и вся средневековая Ostmitteleuropa («Восточно-Центральная Европа») давала исследователю благодатный материал для рассмотрения проблемы становления и распространения так называемого «немецкого права». Р. Кёчке подчеркивал, что утверждение немецкого права, сначала на т. н. «средненемецком Востоке», а затем и на более отдаленных территориях, вплоть до Литвы, Белоруссии, Венгрии и Валахии, было сложным процессом. Западноевропейские (главным образом — немецкие; отсюда — и название права) переселенцы на Восток, с одной стороны, получали привилегии, а, с другой стороны, сами являлись носителями весьма устойчивых в средневековье народных правовых обычаев, имевших четко выраженную племенную или региональную специфику. В результате взаимодействия этих двух факторов, осложнявшегося к тому же конкретной политической и правовой ситуацией на Востоке, и сложился ставший впоследствии знаменитым jus teutonicum. Важной, по-своему также итоговой, работой Р. Кёчке по этой проблематике стало вышедшее уже в 1941 г. исследование «Начала немецкого права в истории поселений Востока (Jus teutonicum)».

Наконец, следует упомянуть о многолетней работе Рудольфа Кёчке над «Историческим атласом Германии», которую он вел совместно с Вальтером Фогелем, а после его кончины — уже самостоятельно. Этим материалам не суждено было увидеть свет: они погибли во время Второй мировой войны.

Предвоенные и военные годы были временем официального признания научных заслуг маститого ученого. Основанный Кёчке еще в 1906 г. Семинар по региональной истории и изучению поселений был преобразован в 1936 г. в Институт немецкой региональной и народной истории (Institut für deutsche Landes- und Volksgeschichte), который после некоторого перерыва вновь возглавил Кёчке. Как уже было выше сказано, в 1939 г. он стал председателем Саксонской исторической комиссии. Кёчке был избран действительным членом Саксонской Академии наук и членом-корреспондентом Прусской

[1] См.: *Aubin H., Frings Th., Muller J.* Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Geschichte, Sprache, Volkskunde. Bonn, 1926.

[2] См.: Zur Sozialgeschichte der Westslaven. Beobachtungen aus dem Mittelelbegebiet // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. N.F. Band VIII. 1932. S. 5–36.; Vogtei und Weichbild in der Oberlausitz zur Zeit der deutschen Wiederbesiedelung // Oberlausitzer Beitrage. Festschrift für Richard Jecht. Gorlitz, 1938. S. 16–33.

Академии наук. Юбилеи ученого (в 1937 и 1942 году) также не остались незамеченными: коллеги и ученики посвятили Рудольфу Кёчке два юбилейных сборника[1], а в 1942 г. он был награжден медалью им. Гете. Долгим оказался путь историка к признанию, но все же на склоне лет оно пришло. Несомненно, признание было заслуженным: Кёчке упорно и плодотворно трудился на протяжении нескольких десятилетий, а такие отрасли исторической науки, как Landesgeschichte и Siedlungskunde, сформировались в Германии в значительной степени благодаря его исследованиям и организаторским усилиям. Но, думается, признание наступило в 30–40-е годы еще и потому, что и сам Рудольф Кёчке, более чем лояльно относившийся к новому режиму, и его «национально ориентированные» сочинения «пришлись ко двору» «третьего рейха».

Каким же сегодня, по прошествии более чем полувека, видится вклад этого ученого в немецкую историческую науку конца XIX — первой половины XX столетия? Можно согласиться с мнением Вальтера Шлезингера, писавшего вскоре после кончины Рудольфа Кёчке, что его научные заслуги определяются в первую очередь исследованиями по двум направлениям. «Он был лучший знаток истории т. н. восточной немецкой колонизации и всех с ней связанных вопросов, и он был лучший знаток истории Саксонии и соседних областей, то есть территории, которую языкознание обычно обозначает как «средненемецкий Восток»»[2].

Как гласит подзаголовок к «Саксонской истории», она посвящена «становлению и изменениям одного немецкого племени и его родины в рамках истории Германии». При этом Р. Кёчке в самом начале труда подчеркнул существование тесной связи общественного развития народа с природно-географическими обстоятельствами: «Кто хочет достаточно глубоко осмыслить историю страны и находящегося в процессе становления ее народа, исходит при своем рассмотрении из той почвы, на которой образовалась формирующаяся общность и шло все развитие народной жизни от самого раннего зарождения культуры до границы высоко развитой современности. Территория по южной и средней Эльбе, восточнее Заале и до Нейсе в районе г. Герлица, которой сейчас после длительного исторического становления принадлежит имя Саксония, занимает юго-восток окаймленной горами тюринго-саксонской излучины северо-германской низменности»[3].

Уделяя значительное внимание славяно-германским отношениям в эпоху раннего средневековья, Р. Кёчке, с одной стороны, подчеркивает более низкий уровень хозяйственного и социального развития сорбов (лужицких сербов), а, с другой стороны, те преимущества, которые получало славянское население края с его включением в сферу распространения культуры Запада

[1] В вышедшем под редакцией В. Эммериха к 70-летию Р. Кёчке в 1937 г. юбилейном сборнике «О стране и культуре» («Von Land und Kultur») имеется обширная библиография трудов ученого.

[2] *Schlesinger W.* Rudolf Kötzschke... S. 276.

[3] *Kötzschke R., Kretzschmar H.* Sächsische Geschichte... S. 17.

(«Абендланда») и германских правовых и государственных институтов. «Были ли они (сорбы — В. С.) в состоянии создать собственную более высокую культуру, войти однажды в большую историю? Фактически это было им невозможно — стать народом вполне самостоятельного исторического значения. Уже рано они были включены в сферу господства крупного, соседнего с ними на Западе государства и тем самым очутились под постоянно преобладающим влиянием чужой культуры. Так утратили они свою полную самостоятельность, но вступили отныне на путь, который вел в действительно большую государственную общность и к участию в высокой культуре всех западных народов»[1]. Немцы, покорившие территорию, где в X веке численно преобладали славянские жители, не стремились к их уничтожению, но «в гораздо большей мере они привлекали чуждое им население к соблюдению полученных обычаев и правовых норм, втягивали его в земельные структуры, в немецкое марковое устройство»[2].

Переломной эпохой немецкой истории Рудольф Кёчке считает период правления династии Гогенштауфенов. Это было время «быстрого и сильного преобразования политической и хозяйственно-социальной жизни народов западного "культурного круга", в обычаях и праве, в научной мысли, в мировоззрении и религии, поэзии и изобразительном искусстве; это было время, когда начал формироваться новый идеал личности, время, в которое вошел уже целый ряд замечательных мужчин и женщин с вполне характерной самобытностью, к которым мы в состоянии быть, с сочувствием и пониманием, внутренне ближе, чем сами носители известнейших имен упомянутой выше эпохи»[3].

По-своему знаменательным, по мнению Кёчке, был и период, наступивший вскоре после кончины стяжавшего громкую славу императора Фридриха II, то есть с середины XIII века. Ученый писал в своей «Саксонской истории»: «С тех пор, как потускнел блеск средневековой императорской власти, немецкий народ вступил в новый период своей истории, воздействия которого зримо доходят почти до современности... Самая важная по значению перемена произошла в пространственном отношении. Если во время императорской эпохи "центр тяжести" немецкой истории лежал на Западе, вокруг золотого Майнца, то отныне решающее значение приобрел Восток. Большие государственные структуры Востока перехватили ведущую роль в политическом смысле, восточное пространство постепенно стало также "силовым полем" культурного развития»[4]. Возвышение мейсенско-саксонского территориального государства в эпоху позднего средневековья, то есть, по привычной для западноевропейской историографии периодизации, в XIV — XV веках, во многом определялось его «срединным» положением. Теснимая с севера и юга двумя

[1] *Kötzschke R., Kretzschmar H.* Sächsische Geschichte... S. 41.
[2] Ibid. S. 52.
[3] Ibid. S. 69.
[4] Ibid. S. 115.

другими крепнущими территориальными государствами — Бранденбургом и Богемией (Чехией), Саксония была лишена также выхода к морю и не могла рассчитывать на заметное расширение подвластных ей земель. Но, благодаря успехам восточной колонизации, Саксония оказалась как бы в середине заселенного немцами пространства и, используя это свое положение, смогла, по мнению Р. Кёчке, значительно упрочить свою мощь и влияние, опираясь преимущественно на собственные, внутренние силы.

Обобщающий труд Рудольфа Кёчке и Гельмута Кречмара, с точки зрения изучения истории самой исторической науки, представляется весьма знаменательным. Это достаточно успешная, пусть иногда и несколько тенденциозная, попытка дать социокультурную панораму истории одного региона на фоне общенациональной истории. Авторы стремились воссоздать прошлое Саксонии с учетом изменений в этнической и конституционной, хозяйственной и политической истории региона. Социальные и правовые основы жизни саксонского общества, роль церковных учреждений, развитие искусства и научных представлений — все это нашло отражение в труде немецких ученых. Возможно, при его подготовке Кёчке чувствовал те импульсы к более широкой трактовке понятий «социального» и «культурного», которые в определенной мере шли от идей Ф. Ратцеля и К. Лампрехта. В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на то, что в отечественных историографических исследованиях при характеристике новых тенденций в науке первой половины и середины XX века абсолютно преобладающее место занимает анализ идей и трудов французской школы «Анналов». Безусловно, то, что сделали Люсьен Февр и Марк Блок, является вершинным достижением европейской, да и мировой, исторической науки. И все же при подобной характеристике как-то не учитывается то важное для целостного представления об исторической науке прошлого столетия обстоятельство, что в чем-то близкие, хотя и не столь рельефно обозначенные, явления были типичны и для исторического познания в других европейских странах, причем даже в тех, где, как принято говорить, историческая наука стала «служанкой идеологии». В этом смысле творческий опыт Рудольфа Кёчке выглядит достаточно любопытным.

С историей Саксонии и всего «средненемецкого Востока» была связана и вторая главная научная проблема, которой Кёчке отдал немало времени и сил, — проблема средневековой немецкой восточной колонизации. В предисловии к вышедшей в 1937 г. обобщающей работе Кёчке прямо указывал на актуальность данной темы: «Немецкая колонизация восточных земель является одним из важнейших, основополагающих фактов общегерманской народной истории. Каждый, кто хочет глубже понять и оценить современную немецкую жизнь, должен себе составить ясную, четко очерченную картину этих событий»[1]. Вряд ли было случайным совпадением, что в одном и том же

[1] *Kötzschke R., Ebert W.* Geschichte der ostdeutschen Kolonisation. Leipzig, 1937. S. 7.

году, наряду с исследованием Р. Кёчке и В. Эберта, появляется принципиально важная работа Г. Аубина, в которой последний сформулировал тезис о необходимости целостного (причем в трех отношениях — пространства, времени и содержания) изображения немецкого восточного движения[1]. Сам Кёчке в значительной мере придерживался подобного принципа, хотя у историков имелись некоторые расхождения, например, в использовании терминологии (Кёчке употребляет традиционное выражение «восточная колонизация», а Аубин, принадлежавший тогда не к старшему, а, скорее, к среднему поколению немецких ученых, чаще использует термин «восточное движение» — эти различия носили отнюдь не только филологический характер).

Продвижение немцев в восточные области, начиная с X века, Рудольф Кёчке называет «возвращением (или «получением обратно» — Wiedergewinnung) Востока», как бы напоминая читателям, что эти территории некогда были населены древнегерманскими племенами, и тем самым подчеркивая некую «историческую справедливость» немецкой восточной колонизации[2]. Стремясь представить ее целостную картину, авторы анализируемого труда обращают внимание на различные факторы, вызвавшие сам процесс колонизации или способствовавшие ему, на сложный социальный состав колонистов. «Пионерами» (Bahnbrecher — буквально: «пробивающими дорогу») колонизационной деятельности повсюду являлись обладатели территориальной власти, но существенную роль сыграли также епископы, представители «нищенствующих» и даже духовно-рыцарских орденов, светская знать. Но именно крестьянское поселение, настаивает Р. Кёчке, «создало прочную основу для новой немецкой национальности (буквально — «немечества»)» на восточных территориях[3]. Эта идея Кёчке (колонизация Востока — дело всего немецкого народа) прямо или косвенно прослеживается во многих его трудах. Несомненно, она пришлась бы по душе и лидерам национал-социалистического государства, если бы у них нашлось время и желание читать работы ученого.

Широкий размах переселение на Восток приобрело с середины XII в., причем, судя по некоторым данным, прослеживается определенная корреляция переселенческого движения и климатических периодов, отмеченных неурожаями, голодом и т. п. Наибольших масштабов средневековая немецкая восточная колонизация достигла, очевидно, во втором десятилетии XIII в. и на рубеже XIII — XIV вв., после чего явно заметен ее спад. По мнению Р. Кёчке, «все племена немецкого народа приняли участие в великом восточном движении», но все же преобладающее значение имели выходцы из Нидерландов, из областей нижнего Рейна, в частности из Фландрии, Голландии, Фрисландии, где была высокая плотность населения и в то же время — высокий уровень хозяйственного развития[4].

[1] *Aubin H.* Zur Erforschung der deutschen Ostbewegung // Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung. 1937. Band 1. О научной деятельности Германа Аубина см.: *Савчук В. С.* Герман Аубин и его место в исторической науке Германии XX века // Человек второго плана в истории. Ростов-на-Дону, 2004. Вып.1. С. 133–159.

[2] *Kötzschke R., Ebert W.* Geschichte... S. 29 ff.

[3] Ibid. S. 44–45.

В труде Р. Кёчке и В. Эберта рассматриваются разнообразные последствия переселенческого движения на Восток, его воздействие на право, конституционное устройство, хозяйственное и культурное развитие областей Центральной и Восточной Европы. При этом значительная (примерно — четвертая) часть их работы посвящена характеристике процесса колонизации в отдельных регионах — Судетской области, Силезии, Поморье, Пруссии, Польше, Австрии, Венгрии и т. д. Таким образом, имевшие место в ходе «восточного движения» заметные, а иногда весьма существенные различия, обусловленные как природными , так и социально-политическими обстоятельствами, не «затушевываются». Напротив, на них обращается внимание и дается им объяснение[2].

Отдавая должное работам Р. Кёчке по истории немецкой восточной колонизации, в том числе и написанному в соавторстве с В. Эбертом обобщающему труду, нельзя не видеть и их слабостей. Подобно тому, как в XIX в. обычно рассматривали эллинизм как распространение более высокой эллинской культуры на культуру народов Ближнего Востока, так и Кёчке , уже в 20–30-е годы XX в., склонен был явно упрощать германо-славянское культурное взаимодействие в ходе немецкой восточной колонизации. Для него это тоже преимущественно перенесение немецкими переселенцами более высокой культуры их Mutterlande («материнской страны», т. е. родины) на территорию «восточно-центральной» Европы. Такая точка зрения не учитывала несколько факторов. Прежде всего — того, что восточная колонизация протекала отнюдь не в культурном «вакууме»: и западнославянские народы, и пруссы, и венгры прошли определенный, к тому времени порой значительный, путь самостоятельного культурного развития. В результате сложного взаимодействия «местных» культур и культуры «колонистов» сформировалось и уже самостоятельно эволюционировало новое «культурное пространство». Наконец, оно, в свою очередь, оказывало обратное воздействие на культуру Mutterlande.

Вряд ли оправданным, и это отмечал в свое время В. Шлезингер[3], является рассмотрение средневековой колонизации и «восточного движения» нового времени как внутренне единого процесса. Во-первых, и мотивы, и воздействие переселения немецкого населения на Восток в разные исторические эпохи были различными. Во-вторых, невозможно игнорировать тот факт, что между двумя фазами колонизации существует хронологическая «лакуна», чтоб не сказать «пропасть» — большая часть XIV-го и весь XV век.

[1] *Kötzschke R., Ebert W.* Geschichte... S. 43.

[2] Ibid. S. 51–105.

[3] *Schlesinger W.* Vorwort. S. IX.

Трудно представить, чтоб это не смущало такого знатока, каким был Р. Кёчке. Быть может, на его концепции невольно отразился тот Volkstumskampf («борьба за народность, за народный дух»), который в период между двумя мировыми войнами охватил многих консервативно настроенных немецких интеллектуалов? Наверное, существовал соблазн, объединив «восточное движение» средневековья и нового времени в единый процесс, продолжить эту «линию», хотя бы в потаенных мыслях, и дальше, в современную эпоху?

Немало споров вызывает среди специалистов и предложенный Рудольфом Кёчке метод изучения форм поселений. Его предшественником в разработке этой проблемы был Август Мейцен[1]. Метод изучения поселений основывался на учете, по меньшей мере, двух моментов: происхождения данной формы поселения и его предназначения, то есть этот метод принимал во внимание как генетический, так и функциональный аспекты. Mitteldeutscher Osten («средненемецкий Восток»), являвшийся местом передачи («трансляции») разнообразных социокультурных традиций, возможно, казался Кёчке очень «удобным» регионом для анализа типов и форм поселений. Подобный анализ, по мнению ученого, может иметь решающее значение для воссоздания всей истории поселений на «средненемецком» Востоке, а, значит, и всей истории немецкой восточной колонизации. Уже в 50–60-е годы, по мере развития такой отрасли знания как Siedlungskunde, стало очевидно, что Рудольф Кёчке с излишним оптимизмом оценивал «информационную выразительность» форм поселений и особенно земельных карт (Flurkarten). В течение почти 50 (!) лет ученый работал над «Саксонским земельным атласом» («Der S chsische Flurkartenatlas»), но крайне неблагоприятная ситуация в годы Второй мировой войны привела к утрате многих собранных Кёчке материалов[2]. Правда, позже высказывалось соображение, что не только внешние обстоятельства, но и внутренние причины (возможно, неудовлетворенность ученого достигнутыми результатами) «тормозили» завершение этого столь долго подготавливаемого труда[3]. Р. Кёчке, вероятно, несколько схематизировал историю форм поселений и самих земельных угодий на «средненемецком» Востоке. Действительно, земельные участки, давно уже освоенные славянскими жителями края, и земли, раскорчеванные немецкими колонистами, явно различаются по формам поселений. Но, с другой стороны, в данном регионе в период немецкой восточной колонизации часто не встречается то парцеллирование земельных наделов, которое было характерно для западнонемецких областей. Слабость Р. Кёчке заключалась в том,

[1] *Meitzen F.* Urkunden schlesischer Dorfer zur Geschichte der ländlichen Verhältnisse und Flureinteilung insbesondere (Codex Diplom. Silesiae. Bd. 4.). Breslau, 1863.

[2] Уже после кончины Р. Кёчке, в 1953 г., была опубликована под редакцией г. Гельбига вводная, пояснительная часть к этому Атласу под названием «Сельское поселение и аграрный строй в Саксонии» («Ländliche Siedlung und Agrarwesen in Sachsen»).

[3] *Schlesinger W.* Vorwort. S. VIII.

что он, хотя и замечал более поздние изменения в разбивке полей и в форме поселений, но все же склонен был явно преувеличивать «консервативность» этих явлений.

Наконец, отметим, что Рудольф Кёчке предпочитал использовать термин (во всяком случае — в названиях своих работ) «восточная немецкая колонизация», хотя нередко употреблял и выражение «восточное поселение». По мнению ведущего специалиста в этой проблематике В. Шлезингера, термин «колонизация» является неудачным, искажает суть происходившего в средние века исторического явления. Поэтому в послевоенной, тогда еще — западногерманской, историографии утвердились дефиниции «Ostbewegung», «Ostsiedlung» («восточное движение», «восточное поселение»), адекватно якобы отражающие реалии той эпохи[1]. В советской исторической литературе подобные тенденции были названы «ненаучными» и расценены как «попытки некоторых современных западногерманских историков затушевать остроту славяно-германских отношений в прошлом, вопреки общеизвестным историческим фактам идеализировать прежде всего польско-германские и германо-чешские отношения в средние века и новое время»[2]. Но ведь можно посмотреть на изменение употребляемой терминологии не с откровенно «идеологизированных» позиций! Это явление можно рассматривать как свидетельство утверждающегося в европейской исторической науке XX века принципа оценивать события прошлого в терминах, типичных для соответствующей исторической эпохи, а не для времени написания труда.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о самой личности Рудольфа Кёчке. Как обычно отмечают хорошо знавшие его немецкие историки, это был ученый «старой школы». Державшийся подчеркнуто скромно, но с удивительным достоинством, Кёчке отличался в течение всей своей жизни исключительной работоспособностью. Казалось, что даже в пожилом возрасте он не знал усталости. Человек несомненно консервативного мировоззрения, проявлявшегося и в быту, и в образе жизни, и в научных трудах, Кёчке вместе с тем был «открыт» и для новых методов исторического исследования, и для новых идей, и для общения с научной молодежью. У него было огромное число учеников: только из его Лейпцигского семинара вышло около 120 исследователей, защитивших диссертационные работы. При этом

[1] См., например: Kuhn W. Geschichte der deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit. Bd.1. Vom 15. bis 17. Jahrhundert. Köln-Graz, 1955; Schlesinger W. Die geschichtliche Stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung // Historische Zeitschrift. 1957. Bd. 183, S. 517–542; Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte (Vorträge und Forschungen, Bd. 18.) 1–2 Bände. Sigmaringen, 1975.

[2] *Королюк В.Д.* «Дранг нах Остен» и историческое развитие народов стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в период феодализма // «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. М., 1967. С. 4.

даже близких ему по духу учеников и коллег Р. Кёчке намеренно держал на определенной дистанции, не допуская какого бы то ни было «панибратского» отношения. Он был приверженцем отчеканенной формы, необходимой, как он сам говорил, «для внутреннего и внешнего порядка». Это проявлялось и в его повседневном поведении, и в его научных сочинениях. Четкость, но иногда и чрезмерная краткость последних может быть оценена по-разному: и как достоинство, и как известный недостаток, поскольку интересная мысль ученого часто не бывает всесторонне развита и аргументирована.

Характеристика Рудольфа Кёчке, как человека и ученого, будет неполной, если не упомянуть еще о двух важных чертах его личности. Все его бытие покоилось на незыблемом фундаменте евангелической веры, а сама эта вера была неразрывно связана с немецким национальным духом. Самопознанию немецкого народного духа, укреплению этого чувства в своих соотечественниках призваны были служить и научные труды историка Кёчке. Он сам подчеркивал, что исторические исследования должны основываться на подлинно научных методах анализа разнообразных источников, но «воодушевлять и согревать» эти исследования может лишь мысль о родине.

Умер Рудольф Кёчке 3 августа 1949 г.

Н. А. МИНИНКОВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

ДЖИН-ПАДИШАХ, МЕДВЕДЬ НА ЦЕПИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ СИМВОЛИЗМ И ПРОТЕСТ ВТОРОГО ПЛАНА

(личная и литературная судьба Н. Л. Янчевского в конце 20-х — начале 30-х годов).

Известный в 20-х — 30-х годах прошлого века советский писатель, литературный критик, журналист и историк Н. Л. Янчевский был активным участником революционных событий 1917 г. в Москве и борьбы за советскую власть в Сибири. Порвав с эсерами и вступив в ряды РКП(б) в 1920 г., после гражданской войны он перешел на журналистскую работу. Свой путь журналиста Н. Л. Янчевский начал в Иркутске, продолжил на страницах краснодарских и ростовских органов печати. Долгое время он вел агитационно-пропагандистскую работу, будучи журналистом (а впоследствии — главным редактором) крупной региональной газеты «Советский Юг». В то же время в своих научных исследованиях, посвященных изучению исторических проблем, он формировал марксистскую концепцию истории гражданского противостояния на Юге России в 1917–1920 гг. и истории донского казачества XVI — начала XX вв.

Еще в Иркутске выходили в свет сборники его поэтических и прозаических произведений, в которых художественная форма вполне соответствовала агитационно-пропагандистскому содержанию. Определялось это содержание умением тонко внедрять в сознание читателя идеи справедливости дела большевистской партии, неизбежности ее победы в только что завершившейся гражданской войне и в грядущей борьбе за переустройство общества на идеалах социализма и коммунизма. Эти произведения выявили две стороны личности и культуры их автора. С одной стороны, это — культура партии, к которой он принадлежал. Данной культуре были присущи непримиримость к инакомыслию, нетерпимость, отчетливое дихотомическое разделение окружающего мира, а также связанное с ним представление о своих и чужих, выраженное в образе врага, отчетливо фиксирующемся в сознании индивида. Также для этой культуры было характерно представление о реализме как методе художественного творчества, способном наиболее полно и отчетливо выразить революционную эпоху. Но, с другой стороны, на Янчевского оказала влияние культура среды, в которой сформировалась его творческая личность литератора и историка — «серебряный век» русской культуры. Этому феномену был свойственен пересмотр традиций реализма русской культуры прошедшего века, выразившийся в представлении о субъективных основах восприятия в сознании реальности окружающего

мира в виде образов и символов. Отсюда — отказ от реализма и интерес к осмыслению мира с опорой на символизм. В этой связи едва ли случайным был особый интерес Янчевского (еще в период его учебы) к творчеству выдающегося поэта-символиста Ф. Сологуба. Не только интерес к его поэзии, но и свою причастность к выраженному в его творчестве миру, наличие некой связывающей их тайны, мистической в своей основе и основанной на общности восприятия исторических сюжетов и смыслов далекого прошлого, выразил Янчевский в посвященном поэту стихотворении 1914 г., где имелись строки:

Чуть слышно шелестит листва,
И тайна древняя со мною.

Такое сочетание двух культурных оснований в творческой личности Янчевского составляло один из существенных признаков культурно-исторической ситуации революционной эпохи. Одно из них сложилось в семье, которая, по позднейшей характеристике дочери Янчевского, Инны Николаевны, была «сверхреволюционной»[1], а также среди революционеров в сибирской ссылке. Другое — в университете А.Л. Шанявского, который окончил Янчевский. Впрочем, между двумя культурами не было непроходимой пропасти, а революционная культура испытывала разносторонние воздействия со стороны русской культуры классического периода и «серебряного века». Не случайно в самой порожденной революцией культуре тяга к осмыслению реалий в виде символов находила весьма яркое проявление. Выразить это удалось Янчевскому в рассказе «Знамя», вышедшем в свет еще в ранний период его литературного творчества. В нем от имени рабочего повествовалось о том, как под влиянием почетного поручения произошло перевоспитание рабочего, запойного пьяницы и домашнего тирана по прозвищу Сучка. Поручение заключалось в изготовлении к первомайскому празднику пролетарского красного знамени. Русская литература уже знала образы пьяниц из среды мастеровых и рабочих. Достаточно вспомнить отца главного героя романа М. Горького «Мать», Павла Власова. Но дальнейшая судьба героя рассказа «Знамя» необычна. Он не только не подвел товарищей и изготовил знамя к празднику, но и сам глубоко изменился, забросил пьянство, и, в конце концов, из Сучки превратился в уважаемого Ивана Мартиновича[2]. Знамя, таким образом, выступило не только как символ, но и как фетиш, способный творить чудеса и решать задачу переустройства мира через переустройство человека. Сам Янчевский не стремился представить отраженную в рассказе ситуацию как типичную. Напротив, рассказчик, от имени которого писал

[1] *Янчевская И.Н.* «Стойкие большевики» жрали друг друга, как пауки в банке // Вечерний Ростов. № 87 (10629) от 12 мая 1994 г.

[2] Знамя. (Рассказ приятеля) // *Янчевский Ник. (Фросин)*. Во имя революции. Рассказы. Иркутск, 1920. С. 13–20.

автор, сообщал об этой истории, поскольку она была необычной, редкой, по существу — уникальной. Для литературы и искусства уникальное и необычное вполне могло быть таким же объектом внимания художника, как типичное и массовое. Но в этом отношении, сам того не желая, Янчевский сблизился с представителями той культуры, которую называли декадентской. Эта культура решительно отвергалась с позиций Пролеткульта, к которому Янчевский был близок. Вместе с тем символ, возведенный в степень фетиша, отражал глубинное внутреннее единство между революционной и религиозной идеологией и порожденными ими явлениями духовной культуры. Общей их основой являлось сочетание нетерпимости к иному мнению, отсутствия начал толерантности, с верой в чудотворные способности собственных идей и их материальных символов.

Еще раз к использованию литературной символики прибег Янчевский в рассказе «Конец борьбы. (Фантазия)»[1]. Рассказ относится к жанру социально-политической утопии. Сюжетом была фантастическая ситуация победы мировой пролетарской революции, которая вела последний бой с силами старого мира. Символами в рассказе выступали города. Центром мирового пролетариата и символом побеждавшей революции выступал в рассказе Париж, где Янчевский был в эмиграции в 1908–1909 гг., где в проходившей в городе первомайской демонстрации, в которой он участвовал, он перестал чувствовать себя в современном, «живом Париже, городе расчетливых торгашей». Он наяву увидел известный ему из истории «старый мятежный Париж, город революций». Центром старого мира и символом мировой реакции Янчевской сделал тибетскую Лхасу. В Европе начала XX в. выражался интерес к Тибету и Лхасе, к восточной мистике и буддизму. Едва ли не под влиянием этого интереса германские нацисты искали там мифическую прародину так называемой «арийской расы». Для Янчевского же выбор Лхасы ни в малейшей степени не был связан с интересом к мистическому Востоку, но являлся своеобразной его реакцией на такой интерес, в котором он как революционер не мог не усматривать выражения реакции, стремления к уходу от реальностей окружающего мира в мистику. Не следы какой-то древней тайны, не мистический свет с Востока видел Янчевский в Тибете и Лхасе, но одну из наиболее отсталых стран мира. Опора на символы, которыми выступали два города, давала возможность автору рассказа более наглядно для читателя провести мысль о глубокой исторической обусловленности и неизбежности победы мировой пролетарской революции.

Таким образом, символика ранних рассказов Янчевского содержала революционный смысл и была направлена на утверждение революционного стиля мышления у его аудитории.

[1] Конец борьбы (Фантазия) // *Янчевский Ник. (Фросин)*. Во имя революции... С. 36–42.

Еще более наглядно выступала склонность Янчевского к осмыслению мира при опоре на символы в рассказах второй половины 20-х — начала 30-х гг. Таким символом в рассказе «Карча», вышедшем в свет в 1927 г., выступал Эльбрус, или, как его называли проживавшие в Приэльбрусье карачаевцы и балкарцы, Джин-падишах, Царь духов. По рассказу, покрытая вечным льдом вершина стала безмолвным свидетелем разыгравшейся у ее подножья кровавой драмы гражданской войны. Заключалась она в столкновении пастуха, карачаевца Муссы, с белоказаками генерала Шкуро. Когда казаки потребовали от пастуха зарезать для них барана, он справедливо посчитал требование неправомерным, вспомнил о своей обязанности беречь стадо и увидел в поведении казаков грубое нарушение этикета, которого должны были придерживаться гости. Вынужденный подчиниться, он выбрал из стада самую паршивую овцу. Но казаки заметили его намерение. Один из них ударил пастуха плетью по лицу. Муссе пришлось исполнять требование непрошеных гостей.

Симпатии автора рассказа были целиком на стороне пастуха. Определялось это не только описанной в рассказе конкретной ситуацией, но и социальными причинами, близкими Янчевскому как революционеру. Происходил Мусса из низшего слоя карачаевского общества, рабов-каравашей. Он понимал, что «он должен пасти баранту, а шашлык будет есть его хозяин». Но он также понимал, что если он просто так отдаст казакам барана, то «весь аул будет указывать на него пальцами: — Вот идет Мусса, которому нельзя доверять баранту». Ночью, когда, наевшись баранины и выпив привезенного с собой вина, казаки уснули, Мусса вспомнил предание о том, как герой нартского эпоса Сосрыко, не имея возможности силой победить великана, одолел его хитростью. Чувствуя ненависть к непрошенным гостям и особенно к самому молодому из них (тому, который ударил его плетью), он бесшумно подкрался к нему и кинжалом перерезал ему горло. Месть была осуществлена. Но для Муссы дело не закончилось благополучно. Хорошо зная реалии гражданской войны, ожесточенность борьбы на Северном Кавказе, замешанной на взаимной ненависти, Янчевский не мог закончить рассказ с помощью такого известного в литературе приема, как happy end. Казаки были разбужены ржанием лошадей, и один из них застрелил из винтовки склонившегося над трупом зарезанного казака Муссу.

Завершил Янчевский рассказ постоянно звучавшим в нем рефреном: «И Джин-падишах — царь духов, как тысячи лет тому назад, сверкал своей ослепительной белизной»[1]. Джин-падишах Янчевского — одновременно и образ, и символ. Как образ, он содержал идею вечности природы, которую выражает постоянно покрытая снегом высочайшая вершина Кавказа, у подножья которой разыгрывалась драма гражданской войны. Оказывалось, что удачно найденный Янчевским образ напрямую перекликался с рассуждением Л. Н. Толстого из рассказа «Набег» о кричащем противоречии между величием природы и кровавыми деяниями людей. «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? — выражал удивление молодой тогда еще писатель, уже познавший службу и боевые действия на Кавказе, — Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра»[1]. Но литературный образ Янчевского не только напрямую вытекал из философского по своему характеру размышления Л. Н. Толстого. Он конкретизировал в доступном для понимания литературном образе суждение о сущности человеческого духа, о вытекающем отсюда противоречии между миром восхитительной природы Кавказа и войной у его подножья.

Символическое же наполнение образа Джин-падишаха выражалось в том, что он (даже, возможно, независимо от субъективных намерений автора) нес в себе другую идею — земной суеты, преходящего характера выражавшихся в форме войны человеческих страстей, по сравнению с миром природы. Между тем, казалось бы, подобное отношение к гражданской войне не мог выражать большевик и активный ее участник, каковым был автор рассказа. Для него, казалось бы, не могло быть выше идей, чем идеи большевистской партии, с которыми она выступала в революции и гражданской войне, не могло быть выше символов, чем символы этой партии, вроде Красного Знамени, о чем и говорилось в одном из ранних его рассказов. Само противопоставление феномена природы деяниям людей для писателя и историка-большевика вообще, казалось бы, не могло иметь смысла в контексте философии диалектического материализма, строго разграничивавшего мир природы и мир истории и социальной жизни. Тем не менее, такое противопоставление, характерное для последователя Л. Н. Толстого, но не для большевика, у Янчевского имело место. Очевидно при этом, что носило оно не столько рациональный, сколько эмоциональный характер. Очевидно также, что явилось оно результатом воздействия на Янчевского определенных литературных традиций, исходивших как от Л. Н. Толстого, так и от представителей распространенного в русской литературе начала XX в. символизма. Вместе с тем литературный образ Джин-падишаха, стоявшего как высшая мировая субстанция над всеми делами людей, происходившими на Кавказе, мог возникнуть и по другим причинам. Шел 1927 г., важная веха на пути формирования сталинской тоталитарной диктатуры. Разгром новой оппозиции, возглавлявшейся Зиновьевым и Каменевым, значительно ослабил позиции другого важнейшего политического

[1] *Янчевский Н.* Карча // На подъеме. 1927 г. Июнь. С. 3–9.

[1] *Толстой Л. Н.* Набег. Рассказ волонтера // *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений в 22-х т. М., 1979. Т. 2. С. 21.

противника Сталина — Троцкого. Соотношение сил в партии и стране, сложившееся после смерти Ленина, существенно менялось в пользу генсека ВКП(б), который, как это было заметно для политического наблюдателя, превращался в вождя, наделенного диктаторским полномочиями. Уже не столь уж весело воспринимался анекдот о Сталине, приписывавшийся К. Радеку. Когда Сталин будто бы упрекнул Радека в том, что он выдумывает и распространяет анекдоты о нем, ставшем после Ленина вождем партии, он якобы ответил: «Ты вождь? Этот анекдот не я выдумал»[1]. Тем более заметной была активизация карательной деятельности органов ОГПУ, когда стали выявлять и арестовывать тех участников гражданской войны на стороне белых, которые не вели антисоветской деятельности и работали в советских учреждениях. Между тем, сам Янчевский как журналист не раз достаточно осторожно, но твердо высказывался как сторонник Троцкого. Возможно, изменение внутренней обстановки привело к появлению у Янчевского мысли о преходящем, суетном характере политической борьбы, мысли мимолетной, расходящейся со всем строем его партийного сознания, но навеянной эмоциями, возникшими на почве складывавшихся политических перемен. Эта мысль не могла не быть мимолетной для автора капитального двухтомного труда «Гражданской борьбы на Северном Кавказе», вышедшего в свет в том же 1927 г. и выражавшего идею исторической правоты дела, за которую вела борьбу партия большевиков в период революции и гражданской войны. Янчевский был, однако, не только историком и партийным пропагандистом, но и художником. А для художника эмоциональное начало, оформленное в мимолетную мысль, могло породить яркий литературный образ вроде Джин-падишаха, бесконечно высоко вознесенного над безумием человеческих страстей.

Понимал ли автор этого образа, что он расходится с общим его взглядом на гражданскую войну, выраженном в «Гражданской борьбе...»? Очевидно, что в этом он вполне отдавал себе отчет. Но разве мог он — как писатель — отказаться от столь удачно найденного в художественном отношении образа? Эмоциональное состояние писателя, навеянное отраженными в его сознании реалиями гражданской войны на Северном Кавказе, сведения о которых он получал от ее участников, и выраженное в мимолетной мысли, породило яркий литературный образ. В личности же Янчевского на какой-то миг художник взял верх над большевиком и участником гражданской войны, над партийным пропагандистом и даже над историком.

Но Джин-падишах как образ-символ и в самом деле был порожден эмоциями и мимолетной мыслью. Партийное же сознание Янчевского порождало другие образы и символы. В 1931 г. вышла в свет его пьеса с характерным

[1] Исследователь анекдотов о Сталине Ю. Б. Борев отмечал: «Предание утверждает, что автором анекдотов о Сталине был Карл Радек». См.: *Борев Ю.* Сталиниада. М., 1990. С. 127.

названием «Вредители»[1]. Сюжет пьесы крайне прост и непритязателен. Он заключается в борьбе рабочих крупного советского предприятия «Гигант» с вредительством, которые готовил технический специалист со своими помощниками, наемник русского капитала в эмиграции и иностранных империалистов. Присущий Янчевскому талант пропагандиста проявился в пьесе в полной мере. Ему удалось создать ряд ярких образов героев. Среди них — «Русский капиталист», «Русский генерал», «Иностранный капиталист», «Иностранный полковник», а также «Лакированный коммунист». Также это были образы некоторых рабочих — «Шкурник», «Лодырь», «Рвач». Подобные «имена», литературные клише, представляли собой отражение социологических схем, внедрявшихся властью в мозги малограмотного и неграмотного населения, сознание которого было склонно к дихотомическому мышлению и связанному с таким стилем мышления поиску внутренних и внешних врагов. Стереотипам пропаганды соответствовали литературные символы, которыми являлись такие герои, причем символы до определенной степени окарикатуренные. В таком виде предстает «Русский генерал», хвастающийся своей беспощадностью к большевикам и готовностью к походу на СССР, «Иностранный капиталист», «снисходительно» разговаривающий с представителями русской эмиграции, рабочие с характерными признаками шкурника, лодыря и рвача, хорошо известные в народе на повседневном уровне.

При всем выражении в пьесе пропагандистского таланта автора символы ее были очевидны и бросались в глаза даже самому неискушенному в литературе и политике читателю и театральному зрителю. Вместе с тем, дальнейшее изменение обстановки в стране, происходившее с начала 30-х гг. и сказавшееся на личной судьбе Янчевского, высветило совершенно иную грань его таланта, когда он выступил как художник, способный на сложную игру-интригу со смыслами, выраженными в символах. С этого времени, как отмечала в своих беседах-воспоминаниях дочь писателя, И. Н. Янчевская, отец все более критично воспринимал политические реальности в стране. И поскольку ее мать, Ефросинья Николаевна, такая же революционерка, как и сам Янчевский, все еще не разуверилась в сталинском режиме, то, по словам Инны Николаевны, между ними дело доходило до ссор. Янчевский называл супругу мещанкой, что было весьма серьезным упреком в революционной среде[2]. С этим совпали неурядицы в отношениях его с парторганизацией. В декабре 1930 г. он получил «строгий выговор с предупреждением за отрыв от партии, пьянство и неуплату членских взносов в течение 6 месяцев». Через год, в декабре 1931 г., постановлением Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) он «был снят с работы в Истпарте за то, что в своих работах (книжки

[1] *Янчевский Н. Л.* Вредители. Пьеса в 6 картинах. Посвящается рабочим Ленинских мастерских г. Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону, 1931.

[2] По словам И. Н. Янчевской, отец спорил с матерью, «фанатично преданной партии и ее делу». В дальнейшем Е. Н. Янчевская уже «после ареста и гибели мужа казнила себя за это».

"1905 год на Северном Кавказе", "Гражданская война на Северном Кавказе" и другие) — протаскивал троцкистские установки по коренным вопросам истории партии»[1]. Вопрос о Янчевском рассматривался в мае 1932 г. на Контрольной комиссии крайкома партии. Было учтено, что он «признал допущенные им политические ошибки, осудил их и дал обещание исправить в последующей работе». Поэтому было сохранено его членство в ВКП(б), и ему также было разрешено продолжать научную работу[2]. Но, как писала Е. Н. Янчевская в 1955 г., «работать по истории ему уже не дали и на работе в Истпарте Крайкома ВКП(б) не восстановили, был безработным месяца 3»[3].

Критическое отношение к сталинскому руководству было достаточно распространено в начале 30-х гг. в партийной среде. Вызывалось оно проведением коллективизации, опиравшимся на методы прямого насилия над крестьянством, а наиболее общее выражение получило в голосовании по вопросу о кандидатуре Генсека ЦК ВКП(б) в январе 1934 г. на XVII съезде партии, когда значительное большинство голосов было отдано не Сталину, а Кирову. Среди же членов партии, особенно близких к Янчевскому, с наиболее смелым и решительным протестом выступил М. Н. Рютин. С ним Янчевский был знаком еще в годы иркутской ссылки, затем в период борьбы с колчаковским режимом в той же Иркутской губернии, и, наконец, во время работы в начале 20-х гг. в редакции ростовской газеты «Советский Юг». В пламенных строках рютинского обращения «Ко всем членам ВКП(б)», написанного в 1930 г., Сталин резко осуждался за измену делу Ленина, узурпацию власти, гибельную политику коллективизации, тяжелейшее экономическое положение в стране, нарушение законности. «Позорно и постыдно, — писал Рютин, — для пролетарских революционеров дольше терпеть сталинское иго, произвол и издевательство над партией и трудящимися массами. Кто не видит этого ига, не чувствует этого произвола и гнета, кто не возмущается им, тот раб, а не ленинец, холоп, а не пролетарский революционер»[4]. Рютин был арестован в 1930 г., а затем, в 1932 г., оказался в ссылке в Сибири, и погиб в 1937 г.[5]

Как и его друг, Янчевский также погиб в 1937 г. В застенках Азово-Черноморского управления НКВД он, несмотря на пытки, никого не оговорил[6]. Но в начале 30-х гг. он не решился на столь же решительный протест, на который пошел Рютин. Протест его был своеобразен, очень завуалирован и был выражен в новом литературном произведении. Это был рассказ «За

[1] Архив УФСБ РФ по Ростовской области. Материалы дополнительного расследования по делу Н. Л. Янчевского. Л. 16, 17.

[2] Архив УФСБ РФ... Л. 17.

[3] Архив УФСБ РФ... Л. 1 об.–2.

[4] *Рютин М. Н.* «Прочитав, передай другому!» Ко всем членам ВКП(б). Послесловие А. Ваксберга // Юность. 1988. № 11. С. 25.

[5] См.: *Анфертьев И.* Рютин против Сталина // Смерч. М., 1988. С. 339–387.

[6] Подробнее об этом см.: *Янчевская И.* «Стойкие большевики»...

волей»[1], связанный с историей распространения крепостного права в Войске Донском.

Известно, что историческая проблематика, которая ставится в исторических исследованиях и в произведениях литературы, определяется потребностями настоящего. Для такого писателя и историка, как Янчевский, который жил проблемами XX в., интерес к прошлому не мог быть связан исключительно с интересами исторического познания. Рассказ «За волей», отражавший историю распространения на Дону в конце XVIII в. крепостного права, имел очевидную связь с ситуацией того времени, когда произведение вышло в свет. О том, что в стране шли разговоры о восстановлении большевиками крепостного права в колхозной форме, было очень хорошо известно. Янчевский, постоянно находившийся в гуще политической жизни и следивший за общественным мнением, не мог не знать этого. Поэтому проблематика рассказа перекликалась с реальностью начала 1930-х гг.

Отражением этого служила символика рассказа, которую выражал медведь на цепи как символ несвободы. Такой символ был необычен. Традиционно символом несвободы и царского деспотизма в России были метла и собачья голова, которые были внедрены в русское историческое сознание еще в период опричнины Ивана Грозного. Медведь же был своеобразным анималистическим символом самой России, что нашло отражение в выражении «русский медведь». Но превращение медведя, причем на цепи, в символ несвободы, может свидетельствовать о появлении у Янчевского мысли о том, что даже революция оказалась не в силах преодолеть несвободу в России. Мысли о том, что крепостное право, даже несмотря на советскую власть, оказалась вечным, маркирующим признаком России, как и символ ее — медведь...

Жестокость рассказа соответствует жестокой реальности несвободной страны. Герой его, крестьянин помещика Протасова из Ряжского уезда Игнашка, бежал от помещика после того, как по его приказу был связан цепью с медведем за то, что не дал вовремя овса любимому барскому коню. Путь на Дон, к воле, не выдержала жена Игнашки, Наташка, которая умерла в дороге под Воронежем. Дочь свою, Дашку, Игнашка сам утопил в болоте, чтобы она не выдала его своим плачем. Добравшись до земли донских казаков — как ему казалось, вольной, — он обнаружил, что воли нет и здесь. После скитаний он вынужден был просить принять его есаула Ежова, новоявленного донского помещика. Приказал ему новый господин быть конюхом. Был он конюхом и в ряжском поместье. Но поскольку беглых великорусских крестьян принимать на Дону было нельзя, записали Игнашку малороссиянином Опанасом Охрименко. И, как и в ряжском поместье, увидел он у Ежова прикованного к столбу медведя. Это был «точно такой же бурый медведь, как тот, который таскал Игнашку за собой». «Променял кукушку на ястреба», —

[1] *Янчевский Н.* За волей // На подъеме. 1933. № 1. С. 21–29.

пронеслось в голове Игнашки, и «две сверкающие слезинки выкатились из его глаза». Этим завершался рассказ.

Символика рассказа отличается сложностью. Символом выступает не только медведь на цепи, но и возвращение Игнашки в прежнее положение, причем под иным именем. Стал Игнашка называться Опанасом, как и люди, прикрепленные при Сталине к земле, стали называться не крепостными крестьянами, а колхозниками. Несмотря на все усилия и на все великие его жертвы, Игнашке не удалось преодолеть свое крепостное состояние, словно проклятье. Провалу коренного переворота его жизни, связанному с бегством на Дон, за волей, соответствовал провал коренного революционного переворота в жизни страны, так и не нашедшей той воли, к которой она, как казалось многим революционерам, стремилась и для которой по воле революционеров были принесены такие жертвы...

Другой особенностью символики рассказа является скрытый ее характер. Насколько очевидна и непритязательна символика в пьесе «Вредители», настолько непростой и потаенной выступает она в рассказе «За волей». Выявление ее требовало сложной логической операции по деконструкции текста рассказа, смысл которого, казалось бы, вполне очевиден и носит исторический характер. Но за этим очевидным смыслом выступает другой смысл, также относящейся к исторической реальности закрепощения крестьянства, но уже не в конце XVIII в., а в период коллективизации. Однако этот — другой — смысл был в рассказе слишком глубоко спрятан, причем символы его требовали расшифровки[1]. В истории литературы такой прием известен. На существование его в летописях указывал И. Н. Данилевский. Он отмечал, что авторское произведение могло содержать «сокровенный текст» для «совершенно определенной аудитории»[2]. Для Янчевского же такой «совершенно определенной» аудиторией мог быть узкий круг единомышленников, в частности, из числа прежних сотрудников редакции «Советского Юга» или из редколлегии скапповского[3] журнала «На подъеме», хорошо знающих литературу и ее методы. Рютина же в их числе не было. В условиях сталинского концлагеря возможности получать ростовский литературный журнал не имелось.

[1] Яркий образец расшифровки скрытого смысла одного из образов популярного произведения советской литературы давал исследователь творчества А. Н. Толстого А. Варламов. Характеризуя такой известный образ из «Золотого ключика, или приключений Буратино», как «страна дураков», по поводу раскрытия его смысла А. Варламов отмечал: «Представляю догадаться читателю». Возможно, А. Варламов считал, что смысл созданного А. Н. Толстым образа «страны дураков» как Советской страны слишком очевиден для читателя. См.: *Варламов А.* А. Толстой. М., 2006. С. 456.

[2] *Данилевский И. Н.* Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004. С. 266.

[3] СКАПП — Северо-Кавказское отделение РАПП — Российской ассоциации пролетарских писателей.

Игра со смыслами путем использования литературной символики выражала протест Янчевского против сталинской политики проведения коллективизации. Такой протест был, однако, слишком замаскирован и недоступен для сколько-нибудь широкого восприятия. В отличие от рютинского протеста, выраженного в обращении «Ко всем членам ВКП(б)», он не содержал каких-либо призывов. Налицо, таким образом, своеобразный «протест второго плана», который, в отличие от решительного, открытого протеста друга Янчевского Мартемьяна Никитича Рютина, власть или не заметила, или не сочла нужным замечать. Последовавшая же 7 августа 1937 г., через четыре с половиной года после выхода в свет рассказа, гибель Янчевского была результатом общей обстановки массовых репрессий в стране. И, судя по материалам его следственного дела 1937 г. и реабилитационного дела 1956 г., обстоятельства гибели историка с содержанием рассказа «За волей» связаны не были.

М.А. ВАСЬКОВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

«НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — ИСТОРИК»: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА УТЕХИНА

Творчество исследователя русской политической мысли Сергея Васильевича Утехина (1921–2004 гг.) мало известно в российском научном сообществе. Между тем, разнообразие исследованных им проблем, масштаб личности самого ученого побуждают уделить самое пристальное внимание его жизни и деятельности. Особенности же биографии С.В. Утехина, его знакомство со многими учеными первой величины делают на редкость актуальной задачу рассмотрения его научного наследия именно в контексте проблематики «человека второго плана».

Сергей Васильевич Утехин родился 18 декабря 1921 г. в селе Теньки под Казанью в семье сельских учителей. С 1927 г. семья Утехиных жила в Казани, однако в 1934 г. была вынуждена срочно переехать в Караганду. По одной из версий, причиной переезда была угроза ареста отца С.В. Утехина, Василия Петровича, которого предупредил один из его учеников[1]. В 1939 г. С.В. Утехин окончил среднюю школу в Караганде, и в том же году поступил на исторический факультет МГУ. Среди его первых учителей были С.В. Бахрушин, К.В. Базилевич, А.Б. Ранович, А.В. Арциховский, В.С. Сергеев, С.П. Толстов. Летом 1941 г. непригодного по состоянию здоровья для действительной военной службы С.В. Утехина направили преподавать историю в одну из средних школ Анапского района Краснодарского края. Год спустя С.В. Утехин экстерном сдал выпускные экзамены в Краснодарском педагогическом институте. Вскоре после этого начался заграничный этап в его жизни. Семья Утехиных оказалась на оккупированной вермахтом территории и была угнана на принудительные работы в Германию, где находилась в лагерях принудительного труда для «восточных рабочих», работая, главным образом, на судоверфях Круппа. По окончании Второй мировой войны семья Утехиных, видимо, опасаясь политических репрессий на Родине, отказалась от репатриации в СССР. С.В. Утехин поступил в Кильский университет — один из крупнейших научных центров Германии. И именно в Киле в 1947 г. С.В. Утехин вступил в одну из крупнейших антисоветских эмигрантских организаций — Народно-трудовой союз (НТС)[2]. Учеба в Кильском университете положила начало формированию ученого, здесь же определилась и тематика будущих научных исследований Сергея Васильевича. Защищенная в 1949 г. докторская диссертация С.В. Утехина была просвещена разбору, классификации и аннотации документов, опубликованных в журнале «Красный архив».

В Кильский период С.В. Утехин начинает активно изучать социальные и политические теории, известные в западном научном сообществе, но запрещенные в СССР. Сильное влияние на ученого оказали работы Л. фон Мизеса и Ф.А. фон Хайека. Особенно импонировала С.В. Утехину предпринятая этими авторами сокрушительная критика любых форм коммунизма и социализма[1]. Однако общетеоретические построения австрийской экономической школы и социально-политической доктрины лебертарианства ученый не принял. Учеба в Кильском университете и знакомство с немецкими академическими традициями заложили основу для будущих исследований С.В. Утехина в области истории политической мысли и исторического метода. Можно сказать, С.В. Утехин — практически единственный историк, принадлежавший ко второй волне русской эмиграции, который мог опираться на опыт различных исторических и методологических школ.

В 1949–1952 гг. С.В. Утехин начал активно сотрудничать в изданиях НТС «Посев» и «Грани». Постепенно сложился коллектив ученых, в состав которого вошли Р.Н. Редлих, Н.Е. Андреев, Н.И. Осипов, С.В. Утехин, С.А. Левицкий и Л.Д. Ржевский. Р.Н. Редлих привлек С.В. Утехина, наряду с другими учеными этого круга, для участия в исследовательских проектах Института изучения СССР при НТС. С 1947 г. Р.Н. Редлих работал над обобщающим исследованием, посвященным рассмотрению политических, духовных, культурных, языковых аспектов советской действительности, созданной в Советском Союзе новой мифологии и т.д. С.В. Утехин принял предложение Р.Н. Редлиха участвовать в написании разделов методологии исследования большевизма, в частности, раздела, посвященного анализу советского общества[2]. Спустя много лет, даже после второго издания «Очерков большевизмоведения», С.В. Утехин считал эту книгу лучшим в мировой исторической литературе анализом сталинской системы[3]. В 1951 г. С.В. Утехин получает стипендию в Оксфордском университете. Обучение по специальности «политология» позволило ему познакомится с крупнейшими английскими учеными в области философии, экономики, истории, социологии. Здесь произошла встреча С.В. Утехина с И.М. Берлином — известным философом и политическим мыслителем, одно время возглавлявшим Британскую академию наук. Эта встреча оказалась, в известной степени, судьбоносной для историка. Именно под влиянием взглядов И.М. Берлина С.В. Утехин окончательно отошел от марксистского подхода к пониманию истории, социологии и политэкономии.

[1] *Энтин Дж., Ляндерс С.М.* «Национальность — историк. Памяти С.В. Утехина» // За Россию. № 35 (июль-сентябрь) 2004 г. С. 17.

[2] Там же. С. 17.

[1] Письмо С.В. Утехина от 2 марта 2003 г. Личный архив автора. С. 2.

[2] *Редлих Р.Н.* Очерки большевизмоведения. Франкфурт-на-Майне, 1956. С. 5.

[3] *Утехин С.В.* Посев и развитие русской политической мысли // Свободное слово «Посева». М., 1995. С. 30.

Можно сказать, что знакомство с выдающимся ученым сыграло решающую роль в эволюции взглядов С.В. Утехина на понимание истории. Неслучайно одной из своих последних работ (причем посвященной именно методологии истории) ученый дал заглавие: «Овладеть идейным наследием И.М. Берлина!»

После успешного окончания Оксфорда С.В. Утехин начинает работать в русской секции радиостанции BBC. Он сотрудничает в ряде влиятельных английских изданий: «Manchester Guardian», «Times Educational Supplement», «Survey», «Problems of Communism», «Twentieth Century», «Political Quarterly»[1]. В это время С.В. Утехин пишет несколько научных статей. В 1958 г. он по приглашению ведущего английского советолога Леонарда (Леонида Максимовича) Шапиро получает место старшего научного сотрудника в Лондонской школе экономических и политических наук, где читает лекции по истории русской политической мысли. Докторская диссертация С.В. Утехина в Оксфорде была посвящена анализу формирования правящего слоя в советском обществе[2]. В 1962 г. С.В. Утехин при содействии Л. Шапиро и И.М. Берлина возвращается в Оксфорд в колледж Св. Антония. В том же году С.В. Утехин основывает семинар, посвященный изучению России и СССР (The Soviet Affairs Seminar of St. Antony's College), существующий и поныне. Во время работы в Великобритании основное внимание С.В. Утехин сосредоточил на изучении идеологических аспектов русского революционного движения. Наиболее интересны его статьи о русском революционном движении в 1880-х гг., и о влиянии творчества Н.П. Огарева на развитие революционных традиций[3]. В ходе работы над этими проблемами он в начале 1960-х гг. близко знакомится с А.Ф. Керенским. С.В. Утехин также был среди тех ученых, которые помогали Леонарду Шапиро в работе над его фундаментальным трудом «Коммунистическая партия Советского Союза»[4]

Поистине знаковым в судьбе ученого стал 1964 г. В этом году С.В. Утехин выступил с серией лекций по истории русской политической мысли в университетах США. Во время этой поездки он познакомился со славянским библиографом Гуверовской библиотеки Стэнфордского университета Мариной Павловной Страгус (Тынковой), ставшей впоследствии его женой. И в этом же году увидела свет, пожалуй, самая значимая работа ученого — монография по истории русской политической мысли[5], и поныне считающаяся одной из лучших работ на эту тему в мировой историографии. Эта книга стала своеобразным итогом многолетней исследовательской работы С.В. Утехина. В последние годы жизни он занялся переработкой книги с целью подготовки

[1] *Энтин Дж., Ляндерс С.М.* «Национальность — историк...». С. 18.

[2] *Utechin S.V.* The Origin of Ruling Class in Soviet Society (Oxford).

[3] *Utechin S.V.* «The Preparatory Trend in the Russian Revolutionary Movement in the 1880's» // «St. Anthony's Papers» № 12. Soviet Affairs № 3. (1962); «Who Taught Lenin. N.P. Ogarev, Precursor» // «Twentieth Century» July 1960.

[4] *Шапиро Л.* «Коммунистическая партия Советского Союза». Лондон, 1990. С. 21.

[5] *Utechin S.V.* Russian political thought. A concise history. N.Y.; L., 1964. P. 320.

ее к изданию на русском языке. Несмотря на признанные мировым научным сообществом достоинства книги[1], сам С.В. Утехин считал, что его работа устарела, т.к. была написана для читателя, знакомого с историей политической мысли Западной Европы и совсем не знакомого с русской историей[2]. Однако, анализируя содержание книги С.В. Утехина, следует признать самокритичность ученого чрезмерной и отдать должное его блестящему мастерству исторического анализа и энциклопедическим знаниям. Так, он убедительно доказывает сходство существовавших на Руси политических идей с концепциями, распространенными в период средневековья в Западной Европе. Творчество Иллариона, Иосифа Волоцкого, Филофея, Ивана Грозного, Андрея Курбского, Ивана Пересветова было самобытным, оно демонстрировало, что русские мыслители могли делать теоретические выводы из наблюдавшейся ими действительности, вводить собственно русскую проблематику в контекст мировой истории (как античной, так и современной им), конструировать «идеальные модели» для подкрепления своих доводов. Весьма ценным представляется различие, которое С.В. Утехин проводит между философским славянофильством и политическим панславизмом. Данное различие нередко игнорировалось историками политической и общественной мысли[3]. Автор провел интересный анализ различных вариантов коммунистической доктрины, выполнявших в разные исторические периоды роль официальной советской идеологии — ленинизма, сталинизма, нео-ленинизма (оформившегося после XX съезда КПСС) [4]. Остается сожалеть, что С.В. Утехин не дополнил свою работу исследованием эволюции официальной советской идеологии после отстранения Н.С. Хрущева от власти, хотя такие планы у него были.

С.В. Утехину принадлежит заслуга того, что он первый выделил идеологию национал-большевизма как научную проблему. Эту идеологию он рассматривал как одно из появившихся после Октябрьской революции 1917 г. реформистских течений. Национал-большевизм являлся наиболее «левой политической доктриной», за ним следовали евразийство, персоналистический социализм, пост-сталинский реформизм[5]. Адепты этих реформистских доктрин признавали достижения ортодоксального большевизма, верили, что их собственные идеологические разработки обогатят большевистскую идеологию, надеялись на изживание крайностей и жестокостей существовавшей в СССР политической практики. Помимо упомянутых реформистских концепций, С.В. Утехин выделил три варианта революционного антикомму-

[1] В частности, высоко оценил работу С.В. Утехина такой известный специалист по истории русской культуры и политической мысли как Джеймс Х. Биллингтон. См.: Икона и топор. М., 2001. С. 698, 854.

[2] Письмо С.В. Утехина от 20 декабря 2000 г. Личный архив автора.

[3] *Левицкий С.А.* История русской политической мысли // Грани. Избранное, сборник № 5. С. 442.

[4] *Utechin S.V.* Russian political thought. A concise history. P. 214, etc.

[5] Ibid. P. 253 etc.

низма, сторонники которых не стремились к простой реставрации существовавшего до революции общественно-политического строя, а предлагали новые решения и пути развития России. К этим доктринам он отнес идеологию белого движения, идеологию солидаризма, а также революционный антисталинизм — отрицание коммунистической системы как таковой. Обстоятельно были исследованы составляющие идеологии белого движения, к которым ученый причислил программу генерала Л. Г. Корнилова, разработки П. Б. Струве и И. А. Ильина, и программу генерала А. А. Власова (последнего — как продолжателя антибольшевистских традиций белого движения в принципиально новых исторических условиях). Немалый интерес представляет анализ идеологии солидаризма — по сути, наименее исследованной страницы русской политической мысли (за исключением раздела в книге и более поздней статьи самого Сергея Васильевича[1]). Наконец, С. В. Утехин впервые в исторической науке стал серьезно изучать политические идеи советских диссидентов. В частности, он отметил вклад в становление неподцензурной мысли в СССР (самиздат) творчества Ю. Т. Галанского (особенно его поэмы «Человеческий манифест»), Есенина-Вольпина и др[2].

В 1965 г. С. В. Утехин получает постоянное место лектора по русской истории и советологии в университете в Глазго в Шотландии. Там он становиться редактором ведущего британского советологического журнала «Soviet Studies». В 1968 г. начался американский период в работе ученого. Он получил место постоянного профессора в Пенсильванском государственном университете. В США С. В. Утехин создает семинар по историческому методу и русской истории, возрождая лучшие традиции русских научных семинаров. По окончании преподавательской деятельности в 1984 г. С. В. Утехин поселился недалеко от Стэнфордского университета в городке Менло Парк (Калифорния). В это время ученый активизирует свою политическую деятельность. Он избирается в Руководящий круг НТС, много пишет для периодических изданий этой организации. С началом перестройки для С. В. Утехина появилась возможность полноценного общения с коллегами в СССР. Он активно сотрудничает с такими известными историками как В. И. Старцев, А. Г. Тартаковский, Н. Я. Эйдельман. В 1992–1993 гг. он преподавал историю русской политической мысли и философии права в РГГУ и НГУ. В последний раз С. В. Утехин приехал в Россию в 1996 г. в Пермь для участия в 6-м съезде НТС[3].

В этот период своей деятельности С. В. Утехин особое внимание уделил вопросам методологии исторического исследования. Одной из причин, побудивших ученого обратиться к данной проблематике, было, несомненно, влияние постмодернизма на историческую науку. Он подверг критике ряд

[1] *Утехин С. В.* Посев и развитие русской политической мысли // Свободное слово «Посева». М., 1995. С. 27–57.

[2] *Utechin S. V.* Russian political thought... P. 276–277.

[3] *Энтин Дж., Ляндерс С. М.* «Национальность — историк...». С. 19–20.

идей М. Фуко и Хейдена Уайта, в частности, попытки последнего свести результат работы историка к его идеологическому выбору, который тот делает, чтобы предопределить свои выводы с целью политического влияния на читателя. С. В. Утехин утверждал, что подобные рассуждения ведут к подрыву самой возможности исследования и положительного знания[1]. Он категорически не признавал теоретические разработки постмодернистов, касающиеся отношения к традиционным ценностям европейской культуры. Постмодернизм, по мнению С. В. Утехина, есть не просто методологическая парадигма, а целостная анти-западная теория, направленная на разрушение религиозных, нравственных, умственных, культурных, правовых, общественных ценностей. Негативную реакцию ученого вызывало признание постмодернистами допустимости чего угодно («anything goes»). Он считал, что, объявляя все на свете «текстами», постмодернисты подвергают «тексты», на которые обращают внимание, «деконструкции», обессмысливают их. «Отказывают словесному тексту в авторе, мысли в субъекте и логике. Собственную умственную, нравственную и телесную ущербность (показательно, что один из их главарей, Фуко, умер от СПИДа) переносят на все человечество, которому приписывают безумие и всеобъемлющую, всепроникающую сексуальность. Постмодернисты намеренно непоследовательны и противоречивы. Все у них — игра и в то же время везде насилие, везде (в науке, школе, больнице, тюрьме) действует безличная, “рассеянная” власть. Глашатаи одного из поздних отродий постмодернизма, “нового историзма” утверждают, что вернули автора. Но автор у них, как и в старом позитивистском и марксистском историзме, тут же растворяется в безличном социальном и политическом контексте»[2]. Такое выступление против постмодернизма в период его наибольшего влияния на европейское и американское научное сообщество говорит о незаурядной смелости С. В. Утехина и его бойцовском характере. Его выступления сыграли заметную роль в том, что среди историков появилось немалое число исследователей, подвергших критике теоретические и методологические разработки представителей постмодернизма.

Исследуя теоретические и методологические проблемы исторической науки, С. В. Утехин отстаивал следующие положения. Он считал, что история — занятие автономное и самодовлеющее, наука чистая, а не прикладная. Результаты исследовательской работы историка могут оказаться полезными и быть использованы для каких-то посторонних самому исследованию целей. Но, приступая к исследованию, и в ходе его, историк не должен ставить перед

[1] *Утехин С. В.* О понимании истории (неопубликованные заметки), http://utechin.narod.ru/libr.htlm С. 2.

[2] *Утехин С. В.* Овладеть идейным наследием И. М. Берлина! С. 2. К сожалению, автор не располагает сведениями, была ли эта статья где-либо опубликована. Здесь она цитируется по тексту, присланному самим С. В. Утехиным и находящемуся в личном архиве автора.

собой цель принести пользу (скажем, воспитательную — чтобы «на истории» люди «учились»). Обнаружение такого намерения неизбежно снижает доверие к его работе и может породить подозрение в тенденциозности. Задача исследователя, по выражению немецкого историка Леопольда фон Ранке, — постараться выяснить, wie es eigentlich gewesen (ist) («как оно, собственно, было»)[1]. Представляют научный интерес размышления С.В. Утехина относительно возможности выявления в историческом исследовании причинно-следственных связей происходивших событий и мотивов совершенных поступков. Другими словами, историк должен не только работать в рамках «формулы» Л. фон Ранке, отвечая на вопрос «как?», но также пытаться найти ответ на вопрос «почему?». По мнению С.В. Утехина, если речь идет о выяснении мотивов тех или иных решений или поступков, то такая задача вполне допустима и принципиально разрешима (при учете выводов психологии, где теория мотивации хорошо разработана). В этом смысле вопрос «почему?» равнозначен вопросу «из каких побуждений?». Если же поиск ответа на вопрос «почему?» направлен на выявление каких-либо причинно-следственных связей за пределами человеческой личности, то такая задача недостижима. В числе умений, навыков, приемов исторического ремесла просто нет таких, которые давали бы возможность пытаться установить такого рода причинную зависимость[2]. Итак, С.В. Утехин допускал возможность выяснять мотивы тех или иных исторических решений, но только в рамках междисциплинарного подхода и лишь в отношении конкретной человеческой личности. Такая постановка вопроса кажется в научном отношении вполне продуктивной, но при том условии, если ее применять к периодам, хорошо обеспеченным источниками, без серьезных пробелов. Другой проблемой, разрешение которой является принципиально важным моментом для исследования мотивов, является понимание того, что эпоху, в которую работает историк, и все предшествующие эпохи разделяет пропасть[3]. Последняя создана изменившимися мировоззрением, системой ценностей, бытовыми условиями и т.п. Этот вопрос нуждается в особенно тщательной дальнейшей методологической разработке. Собственно историческое исследование, по мнению С.В. Утехина, должно было начинаться после детального изучения и разрешения историографических и источниковедческих задач. Только успешно решив источниковедческие задачи, можно приступить к извлечению из источника нужных сведений и использованию их для ответа на поставленный вопрос. Такой найденный историком ответ (а не сведения источника сами по себе) называется историческим фактом. Исторический факт стоит не в начале, а в конце исследования. Он есть построение историка. Совокупность исторических фактов и есть история в смысле наших знаний о прошлом[4]

[1] *Утехин С.В.* О понимании истории... С. 1.
[2] Там же. С. 1.
[3] *Тош Д.* Стремление к истине. М., 2000. С. 18.
[4] *Утехин С.В.* О понимании истории... С. 1.

Наряду с собственно «историческим методом», С.В. Утехин довольно продуктивно разрабатывал понятие «осмысления истории». Исторический метод, способствуя достижению возможно более достоверного знания о том, «как оно, собственно, было», этим исчерпывает свои возможности. Для понимания смысла исторических событий на помощь приходит теоретическое осмысление исторического процесса. Взгляды авторов, пытавшихся дать теоретическое и философское осмысление истории, расходятся широко. От религиозной концепции промысла Божьего, до естественной причинности, непреложных законов истории, экономики, социологии и т.п. С.В. Утехин отстаивал точку зрения, согласно которой т.н. детерминистские теории страдают общим недостатком — исторические факты, построенные историком, обычно не укладываются в их узкие рамки. Не спасет положения и использование нескольких теорий сразу, так как и в этом случае теоретические схемы накладываются извне и создается лишь видимость установления многофакторной причинной зависимости[1]. С.В. Утехин считал наиболее приемлемым для понимания истории сочетание персоналистического подхода с аксиологическим (личностно-ценностный подход). Здесь внимание историка сосредотачивается на личности. Из разных ее составляющих — телесных, душевных (эмоциональных и волевых) и духовных — наибольший интерес представляет духовная сфера, к которой относятся религиозные, нравственные, умственные и эстетические переживания. В этой сфере пребывает присущая личности (перенятая или выработанная самостоятельно) система ценностей. Здесь формируются мотивы поступков, ставятся цели, определяются средства их достижения, осуществляется контроль над деятельностью, делаются выводы, производятся оценки. В этих действиях нет предопределенности, личность свободно выбирает, соотнося свой выбор со своей системой ценностей. Эта соотнесенность с системой ценностей и составляет смысл происходящего, как во внутренней жизни личности, так и во внешних ее проявлениях. Личностно-ценностный подход требует осознания самим историком своей личной системы ценностей и того, что в ходе своего исследования он будет руководствоваться собственной иерархией ценностей, что «объективное» (в понимании С.В. Утехина — «ценностно-нейтральное») исследование невозможно. Поэтому нужно, чтобы в иерархии достаточно высокое место занимали научно-исследовательские ценности — любознательность, стремление к истине, научный метод, «объективность» в смысле непредвзятости. Для исследователя необходимо, чтобы в соревновании с другими ценностями (идейными, политическими, экономическими, бытовыми), с его личными пристрастиями, научно-исследовательские ценности брали верх. Данный подход требует также осторожного, бережного отношения к людям, которых так или иначе касается исследование или с которыми оно связано, — предшественникам историка в обращении к конкретной теме

[1] *Утехин С.В.* Овладеть идейным... С. 2.

исследования, его коллегам (соратникам и соперникам), читателям и слушателям, которым адресованы результаты исследования.

Важнейшее значение имеет отношение к личности, выступающей объектом исследования. Отношение личности исследователя к исследуемой личности не может, по мнению С. В. Утехина, быть ценностно-нейтральным. Напротив, исследователь должен последовательно соотносить ценности, разделявшиеся исследуемой личностью, со своими, и оценивать мысли и поступки объекта исследования по собственной шкале ценностей. Следовательно, критерием оценки личности изучаемой выступает личность изучающая. Особое внимание следует уделять также той общественной среде, в которой существовала исследуемая личность, сопоставить коллективные ценности, разделявшиеся этим сообществом, с индивидуальными ценностями самой личности. Ведь, на взгляд С. В. Утехина, с одной стороны, личность в известной мере автономна по отношению к сообществу, а с другой — сообщество есть нечто большее, чем простая сумма входящих в него личностей, оно выступает как «соборная личность»[1]. Т. о., при личностно-ценностном подходе история понимается как соотнесение личностями, отдельными и соборными, своих мыслей и поступков со своими системами ценностей. Эти системы изменяются с изменением исторических условий, в которых существуют изучаемые личности. Изменение систем ценностей происходит вследствие использования внутренних возможностей личности (как отдельной, так и соборной) либо путем заимствования из систем ценностей других личностей и сообществ. Указанные изменения происходят в духовной сфере, которая обладает определенной автономией по отношению к телесной и эмоциональной сферам (хотя, безусловно, не изолирована от них)[2].

Таковы, в общих чертах, взгляды С. В. Утехина на содержание исторического процесса, методы его изучения и особенности применения этих методов. Предложенное С. В. Утехиным понимание «исторического метода» являлось переосмыслением подходов различных школ, синтезом этих подходов, направленным на избежание крайностей, присущих им. Формирование столь взвешенной и тщательно продуманной системы взглядов не вызывает удивления, учитывая, что С. В. Утехин лично общался с такими учеными как И. М. Берлин, А. Дж. Тойнби, Г. В. Вернадский, Хью Сетон-Уотсон, Дэвид Футман, Л. М. Шапиро, В. В. Леонтович, Г. М. Катков, А. Я. Новаковский, Р. Н. Редлих, С. В. Бахрушин, К. В. Базилевич, А. В. Арциховский.

В последние годы жизни из-за состояния здоровья С. В. Утехин не мог посетить Россию, но он смог продолжить свою научную и педагогическую деятельность, создав Синергетический виртуальный университет, занимаясь организацией семинара по истории русской политической мысли в Интернет-проекте Respublika.ru и ведя активную переписку с учениками в России.

[1] *Утехин С. В.* Овладеть идейным... С. 3.

[2] Там же. С. 3.

Немало молодых историков в современной России, в том числе и автор этой статьи, обязаны своим профессиональным становлением общению с Сергеем Васильевичем. Скончался С. В. Утехин 11 июля 2004 г. в университетской больнице Стэнфорда (Калифорния).

Творчество С. В. Утехина многогранно, и в рамках короткого очерка нет возможности рассмотреть все его аспекты. Однако даже краткий обзор содержавшихся в его работах идей показывает, насколько незаурядной личностью был этот историк. Безусловно, важнейшим произведением С. В. Утехина стала монография «Русская политическая мысль (сжатая история)». Но и помимо этой монографии, несомненную научную ценность представляют его статьи в различных периодических научных изданиях и сборниках. Так, наряду со статьей ученого об идеологии российского солидаризма, необходимо отметить публикации, относящиеся ко времени его работы в Великобритании и не потерявшие научной ценности до сих пор. Данные публикации тем более ценны, что изучению русского революционного движения второй половины XIX в., по сути, не уделялось должного внимания ни в советской, ни в зарубежной историографии.

Кроме несомненных заслуг в разработке конкретных исследовательских проблем, следует отметить оригинальный подход С. В. Утехина к трактовке многих теоретических и методологических аспектов исторического познания. Несомненно, на формирование С. В. Утехина как личности и как ученого повлияли разные события его жизни. Еще в юности, проживая в Караганде, он много общался с людьми, пострадавшими от политических репрессий. Свое резкое неприятие коммунизма ученый пронес через всю жизнь, более полувека активно сотрудничая с НТС. Безусловно, эти обстоятельства наложили отпечаток и на его научные взгляды. Однако совершенно недопустимо сводить формирование его мировоззрения к усвоению антикоммунистических лозунгов. В полном соответствии со своими взглядами на личные ценности, он на первое место всегда ставил ценности научно-исследовательские. Недаром ближайшие ученики С. В. Утехина профессора С. М. Ляндерс и Дж. Энтин употребили в его отношении характеристику: «Национальность — историк». Это определение лучше всего отражает главную жизненную установку Сергея Васильевича и характеризует его личность. Широко эрудированный человек, С. В. Утехин, никогда не пренебрегал возможностью почерпнуть что-то новое в идеях других ученых. Он отмечал, что на него, в разное время, сильное влияние оказали философские концепции Ясперса и Берлина, особенно теория общения Ясперса и учение Берлина о свободе, о ценностном плюрализме, его критика ценностно-нейтрального историзма. Помимо работ этих ученых, С. В. Утехин указывал следующие теории, повлиявшие на формирование его научных взглядов: позитивистский отказ от поисков «сущностей» и «причин», философская антропология Ротакера, бердяевский персонализм, теория понимания Дильтея и Вебера, философско-исторические взгляды неокантианцев Виндельбанда и Риккерта

(как и склонявшегося к неокантианству Бернхайма), неогегельянцев Кроче и Коллингвуда, теория исторической модальности опыта Окшота, теория фикций Бентама и Файхингера, критика исторического детерминизма Поппером и Берлином, теория «вызова и ответа» Тойнби. Большое значение имело долголетнее общение и сотрудничество с Р. Н. Редлихом, давшее возможность усвоить его последовательный аксиологизм (установку на ценностный анализ). В конце концов, сложилась довольно четкая позиция скорее неокантианского толка[1]. С. В. Утехин отмечал заслугу учителей в Московском и Кильском университетах, руководителей и старших коллег в университетах Оксфорда и Лондона в развитии его понимания исторического метода. С благодарностью вспоминал выдающихся историков, которые в многочисленных беседах, а больше всего — личным примером, помогли приобщиться к традициям исторической науки. Это были Хью Сетон-Уотсон (Hugh Seton-Watson), Дэвид Футман (David Footman), Роберт Карью Хант (R. N. Carew Hunt), Л. М. Шапиро (Leonard Schapiro), В. В. Леонтович, Г. М. Катков, И. М. Берлин, А. Я. Новаковский (Alec Nove). Из печатных пособий больше всего помог, несомненно, классический учебник: Ernst Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie (1889). Определенное сходство со своими взглядами ученый обнаружил в историческом подходе И. Д. Ковальченко[2], хотя, как считал С. В. Утехин, «чтобы добраться до мысли автора, приходится разгребать завалы “марксистско-ленинской” шелухи»[3].

С. В. Утехину не было суждено выдвинуться на первый план в мировой исторической науке, и многие грани в творчестве этого ученого еще только предстоит раскрыть. Количество его работ заметно уступает объему творческого наследия таких эмигрантских историков первого плана, как Г. В. Вернадский, С. Г. Пушкарев, М. М. Карпович, М. Я. Геллер. В отличие от работ этих авторов, монография С. В. Утехина об истории русской политической мысли, как и его важнейшие статьи, до сих пор не переведены на русский язык. Можно сказать, что С. В. Утехин является ярким примером человека второго плана, творчество которого должно быть востребовано современной российской исторической наукой. Изучение его творчества поможет осветить многие аспекты становления современной «россики» в Великобритании и США, а также особенности развития исторической мысли второй волны русской эмиграции.

[1] *Утехин С. В.* О понимании истории... С. 2.
[2] *Ковальченко И. Д.* Методы исторического исследования. М., 1987.
[3] *Утехин С. В.* О понимании истории... С. 1.



ГЕРОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

П. А. АВАКОВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

ТРУДЫ И ДНИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА РИГЕЛЬМАНА (1714–1789)

Как известно, становление русской исторической науки в XVIII в. проистекало в общем русле складывания новой культурной среды. Изучение исторического прошлого России было важнейшей и неотъемлемой частью процесса формирования национального самосознания, и неизменно вызывало интерес каждого просвещенного гражданина. Именно поэтому занятия историей тогда еще не были уделом лишь профессионалов — академических ученых. Вне стен Санкт-Петербургской Академии наук русскую историю пытливо изучали государственные деятели В. Н. Татищев и князь М. М. Щербатов, генерал-майор И. Н. Болтин, служащие В. Г. Рубан и М. Д. Чулков, купец И. Н. Голиков, архивист Н. Н. Бантыш-Каменский, и другие авторы.

Одним из типичных деятелей русского Просвещения был и военный инженер Александр Иванович Ригельман, написавший ряд оригинальных историко-статистических трудов. Занимая в структуре общероссийской историографии рядовую нишу «историка второго плана», в региональной историографии Ригельман почитается за знаковую фигуру. В наши дни он хорошо известен как один из первых исследователей истории Дона и Украины в целом, и донского и украинского казачества в частности. Тем не менее, жизнь и деятельность историка до сих пор остается слабо изученной, а имеющиеся его жизнеописания изобилуют неточностями и домыслами.

Первым, и до сих пор наиболее основательным опытом биографии Ригельмана является опубликованная в 1848 г. работа О. М. Бодянского. Основой для нее послужили только два источника: «Формулярный список, следующий Черниговского уезда к предводительским делам» с выправками самого Ригельмана, сделанными 29 апреля 1782 г., и «Добавление к этому послужному списку», написанное младшим сыном историка Аркадием Александровичем[1]. Характерно, что О. М. Бодянский использовал такие неравноценные источники без всякой критики и даже не пояснил, откуда именно взяты те или иные

[1] *Бодянский О.* Историческое сведение об Александре Ивановиче Ригельмане // ЧОИДР. 1848. № 6. С. I.

сведения. Ведь если формулярный список самого Ригельмана, составленный перед его выходом в отставку, — это официальный документ, отражающий все этапы военной службы, то дополнение к нему — это уже биографическое сочинение его сына, лишенное беспристрастности и объективности. Хотя А. А. Ригельман известный период своей сознательной жизни и был свидетелем некоторых событий жизни отца, не следует все же забывать, что о многих событиях он мог знать лишь понаслышке, получив информацию о них из вторых рук и спустя какое-то время. Нельзя исключать и вероятность того, что сын историка перемешал с подлинными фактами как семейные предания, не во всем достоверные, так и собственные субъективные представления о тех или иных событиях, очевидцем, или даже современником которых он не был. Таким образом, статья Бодянского представляет собой обычную компиляцию, абсолютно лишенную любых признаков научного анализа. Однако это не помешало ей стать настоящей «азбукой» для всех авторов, что-либо писавших о жизни Ригельмана[1]. Разумеется, при этом им не удалось избежать типичного для подобных случаев эффекта «испорченного телефона», когда перефразирование при изложении фактов зачастую приводит к их искажению, порой даже до неузнаваемости. Особенно отличились в этом не слишком внимательные донские краеведы, которые не только повторили приведенные Бодянским непроверенные сведения, но и еще неверно трактовали некоторые из них.

Настоящая статья отнюдь не претендует на всестороннее и исчерпывающее освещение жизненного пути Александра Ивановича Ригельмана. Это скорее попытка пересмотреть его хрестоматийную биографию и очистить ее от ошибочных штампов при помощи привлечения дополнительных источников. В этой связи особенный интерес представляет составленный в мае 1764 г. формулярный список Ригельмана, сохранившийся в материалах фонда «Крепость Святого Дмитрия Ростовского» Государственного архива Ростовской области. Несмотря на то, что этот источник охватывает лишь период от начала военной службы Ригельмана и до 1764 г., сопоставление имеющейся в нем информации с данными статьи Бодянского уже позволяет уточнить некоторые вопросы биографии историка. Упомянутый документ является копией, записанной в Журнале исходящих бумаг Инженерной команды крепости Святого Дмитрия Ростовского, а его подлинник был отправлен в Канцелярию главной артиллерии и фортификации в Санкт-Петербурге. Полное название документа: «Именной список, учиненной в крепости Святаго Димитрия Растовскаго при Инженерной каманде по силе присланной

[1] Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 52. СПб., 1889. С. 683; РБС. Т. Рейтерн-Рольцберг. СПб., 1913. С. 180–181; *Стефанов А. Т.* Предисловие // *Ригельман А. И.* Ростов на Дону 150 лет назад. Ростов-на-Дону, 1918. С. 1–4; СИЭ. Т. 12. М., 1963. С. 42–43; *Проценко Б. Н.* К читателю // *Ригельман А. И.* История о донских казаках. Ростов-на-Дону, 1992. С. 7; *Фрадкина Н. Г.* Первый историк Ростова // ДВ. Год 1995-й. Ростов-на-Дону, 1994.

при указе Ея Императорскаго Величества государственной Военной коллегии формы, с показанием время вступления в службу в настоящих чинах, сколко кому отроду лет, и о протчем, значит ниже сего»[1]. Кроме формулярного списка Ригельмана документ включает в себя формулярные списки его подчиненных — остальных служащих Инженерной команды упомянутой крепости. В достоверности и точности приведенных в документе сведений сомневаться не приходится, так как он составлен со слов самого Ригельмана в руководимом им подразделении, и, кроме того, записан в журнале трижды — в мае, сентябре, и декабре 1764 г., при этом все три записи абсолютно идентичны, что исключает возможность технической погрешности в тексте (описки и пр.)[2].

Самым спорным вопросом биографии историка является дата его рождения. Заполняя в 1764 г. формулярный список, в графе «Сколко отроду лет» Ригельман указал «50»[3]. Следовательно, он родился в 1714 г. Однако О. М. Бодянский, ссылаясь на формулярный список 1782 г., свидетельствует, что тогда Ригельману было 62 года, а значит, он родился в 1720 г.[4] Первая дата представляется нам более достоверной. Прежде всего, потому, что она взята из документального источника, информация которого намного ценнее опосредованного изложения Бодянского. К сожалению, нам пока не удалось обнаружить в архивах формулярный список Ригельмана 1782 г., без чего проверка приведенных Бодянских сведений невозможна. Кроме того, мы не знаем, располагал ли Бодянский его оригиналом, или только копией более позднего времени. Не исключено, что исследователь неверно прочел написанную в документе цифру, обозначавшую возраст Ригельмана — 62 вместо 68; если же это была копия, то ошибиться мог невнимательный переписчик. Правда, историкам известны многочисленные примеры намеренного завышения военнослужащими своего возраста в формулярных списках с целью преждевременного выхода в отставку «за старостью». А что, если Ригельман в 1764 г. проделал то же самое, и в действительности тогда ему было не 50 лет, а всего 44 года? Но против такого предположения есть аргумент — «время вступления в службу» Ригельмана, указанное не только в его формулярном списке, но и в «Списке Инженерного корпуса генералитету, штап, обер офицерам, кондукторам и протчим чинам...» от 15 апреля 1742 г. Согласно этим двум официальным документам, будущий историк поступил на военную службу 12 июля 1730 г., то есть в возрасте 16 лет — как и было принято в те времена[5]. Если бы он родился в 1720 г., ему пришлось бы начать свою службу на 10 году жизни, что маловероятно. Окончательно разрешить это

[1] ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200.
[2] ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200 об.–201, 448 об.–449, 645 об.–646.
[3] ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200 об., 448 об., 645 об.
[4] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. VI.
[5] ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200 об., 448 об., 645 об.; *Савельев А.* Исторический очерк Инженерного управления в России [Ч. 1.]. СПб., 1879. Прибавление 45. С. 304.

противоречие и точнее определить дату рождения Ригельмана можно будет после сопоставления данных нескольких (не менее трех) его формулярных списков за другие годы. Пока же, первая дата представляется нам более достоверной.

О происхождении историка известно очень мало, неизвестны даже его родители. Но мы знаем, что имя Александр не было дано ему от рождения, так как в списке чинов Инженерного корпуса он фигурирует как «Яган Готфрид Ригельман». Формулярный список 1764 г. скупо сообщает, что инженер-подполковник Александр Ригельман «немецкой нации[и], из обер-афицерских детей, веры греческого исповедания, деревень и крестьян за собой не имеет»[1]. Следовательно, он не был потомственным дворянином, так как родился до получения своим отцом обер-офицерского чина, дающего право на такое дворянство. О. М. Бодянский туманно писал: «Фамилия Ригельман, как показывает само название — немецкая, и прибыла в Россию с невестою царевича Алексея Петровича, принцессой Брауншвейг-Бланкенбургской, Шарлотой Софией, происходя “из шляхетских детей”»[2]. Здесь не совсем ясно, что именно хотел сказать автор: что отец Ригельмана приехал в Россию одновременно с брауншвейгской принцессой, или что при этом он еще и состоял в ее свите. Последнего мнения придерживался А. Т. Стефанов, писавший, что отец Ригельмана был «небогатый немецкий дворянин, прибывший... в Россию в свите невесты царевича Алексея Петровича»[3].

Следует заметить, что шляхетские дети — это более расплывчатая социальная категория, чем обер-офицерские дети. Шляхетством, на польский лад, в первой половине XVIII в. в России называли дворянство в целом, но принадлежность Ригельмана к категории обер-офицерских детей говорит о том, что его отец тоже не был потомственным дворянином. Кроме того, кронпринцесса Шарлотта-Христина-София Брауншвейг-Вольфенбюттельская прибыла в Санкт-Петербург в 1713 г. уже будучи женой царевича Алексея, с которым они обвенчались в 1711 г. в саксонском городке Торгау[4]. Сложно представить, что в придворный штат внучки герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского, свояченицы императора Священной Римской империи германской нации и жены наследника российского престола могло затесаться лицо недворянского происхождения, каковым являлся отец Ригельмана. В реалиях того времени в Европе это было просто невозможно. Окончательно прояснить данный вопрос можно будет только после целенаправленных разысканий в Нижне-Саксонском государственном архиве Вольфенбюттеля (Nieders chisches Staatsarchiv Wolfenb ttel). Известие Бодянского о приезде отца Ригельмана в Россию с брауншвейгской принцессой, скорее всего, произошло из области семейных преданий Ригельманов, но в основе его вполне могли лежать какие-то реальные факты. Например, факт приезда отца Ригельмана из владений герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского, возможно, в один год с женой царевича Алексея. О матери Ригельмана вообще нет никаких сведений. А. Т. Стефанов предположил, что она была русской, исходя только из того, что Александр Иванович якобы был воспитан в православной вере[1]. Вряд ли это предположение можно считать обоснованным, поскольку православие принимали и многие приезжавшие в Россию иностранцы. Кроме того, приведенное в списке чинов Инженерного корпуса настоящее, немецкое имя Ригельмана недвусмысленно указывает на то, что в 1742 г. он еще не был православным.

Что касается места рождения Ригельмана, то по данным Бодянского, это Петербург[2]. Б. Н. Проценко писал, что историк родился «в семье немецких дворян на Черниговщине», но это ничто иное, как ошибочный домысел[3]. Зная, что после выхода в отставку Ригельман поселился в селе Андреевка Черниговского уезда Черниговской губернии, которое Бодянский назвал его поместьем, а Стефанов — имением[4], Б. Н. Проценко сделал неверный вывод о том, что Андреевка была наследственным владением историка. При этом он наверняка почерпнул вышеупомянутую информацию у Стефанова, так как Бодянский, хотя и называл дважды Андреевку поместьем Ригельмана, все же указал, что село принадлежало его второй жене. Сам Александр Иванович после 1764 г., похоже, так и не обзавелся ни землей, ни крепостными.

По свидетельству О. М. Бодянского, оставшись на 10 году жизни круглым сиротою, Ригельман «выбрал инженерную службу, поступивши в Шляхетный корпус 1730 г., июля 12-го, откуда, через 8 лет, выдержав испытание в присутствии фельдмаршала Миниха, выпущен кондуктором, генваря 12-го, 1738 года...»[5]. Названные даты совпадают с датами его «вступления в службу» и получения им унтер-офицерского чина кондуктора, указанными в формулярном списке 1764 г.[6] Однако достоверность приведенных Бодянским сведений вызывает сомнение. Во-первых, непонятно, когда Ригельман осиротел: в 10-летнем возрасте, или в 1730 г.? Ведь 10 лет ему должно было исполниться в 1724 г., а в 1730 ему уже шел 17 год. Во-вторых, он не мог поступить в Сухопутный шляхетный кадетский корпус в 1730 г. по причине

[1] *Савельев А.* Исторический очерк ... [Ч. 1.]. Прибавление 45. С. 304; ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200 об., 448 об., 645 об.

[2] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. I.

[3] *Стефанов А. Т.* Предисловие. С. 2.

[4] *Устрялов Н.* История царствования Петра Великого. Т. VI. СПб., 1859. С. 26, 27, 32, 33, 313–314, 316–317.

[1] *Стефанов А. Т.* Предисловие. С. 2.

[2] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. VI.

[3] *Проценко Б. Н.* К читателю. С. 7.

[4] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. IV, VI; Стефанов А. Т. Предисловие. С. 4.

[5] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. I — II.

[6] ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200 об., 448 об., 645 об. Согласно списку чинов Инженерного корпуса 1742 г., Ригельман был произведен в кондукторы 24 января 1742 г. (*Савельев А.* Исторический очерк ... [Ч. 1.]. Прибавление 45. С. 304).

того, что это учебное заведение, учрежденное по указу императрицы Анны Иоанновны от 29 июля 1731 г., начало функционировать только с 1732 г.[1] В период с 17 февраля до 20 декабря этого года в корпус было зачислено 352 кадета, но среди них нет имени Александра Ригельмана. Более того — его вообще нет в списке выпускников Кадетского корпуса[2]. Таким образом, сведения об окончании Ригельманом этого элитного учебного заведения нуждаются в проверке и уточнении. Возможно, он получил образование в петербургской Инженерной школе, основанной в 1719 г., что более соответствует профилю его дальнейшей службы. Так или иначе, но в формулярном списке Ригельмана 1764 г. говорится, что он «грамоте читать и писать по росиски и по немецки умеет, инженерное искуство знает, також и рисовать»[3].

Последующие этапы жизни историка, связанные с прохождением им военной службы, в описании Бодянского почти целиком совпадают с данными формулярного списка 1764 г., но освещаются немного подробнее.

После получения 12 января 1738 г. младшего инженерного чина кондуктора, Ригельман отбыл в Киев, а оттуда в рядах 108-тысячной Главной армии во главе с фельдмаршалом графом Б.К. Минихом отправился в так называемый Днестровский поход. Кампания 1738 г. оказалась самой неудачной за всю русско-турецкую войну 1735–1739 гг. Русские войска, построенные в три огромных каре, пересекали множество рек и непрерывно двигались к Молдавии. После тяжелых усилий и нескольких сражений с татарами армия уперлась в Днестр. Турки не хотели давать генерального сражения, а атаковать их в лоб, форсируя Днестр, Миних не решился. Так и не дойдя до Хотина или Бендер, фельдмаршал вынужден был вернуть войска на зимние квартиры[4]. В следующем 1739 г. Ригельман принял участие в победоносном Хотинском походе, завершившемся генеральной баталией у молдавской деревушки Ставучаны и взятием Хотина и Ясс. 17 августа 1739 г. 90-тысячное турецкое войско атаковало при Ставучанах 48-тысячную русскую армию, но встретив яростный отпор, панически бежало, бросив свой укрепленный

[1] ПСЗ (I). Т. VIII. №№ 5811, 5881, 5886, 5894, 6050; *Епифанов П.П., Комаров А.А.* Военное дело. Армия и флот // Очерки русской культуры XVIII века. Ч. 2. М., 1987. С. 209; *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. X (т. 19–20). М., 1993. С. 220–221, 502.

[2] См.: Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе штаб-обер-офицерам и кадетам с показанием, кто из них с какими удостоинствами, в какие чины выпущены и в каких чинах ныне. СПб., 1761. Ч. I. С. 1–114 и далее.

[3] ПСЗ (I). Т. V. № 3330; *Епифанов П.П., Комаров А.А.* Военное дело... С. 195; ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 201, 449, 646.

[4] ГАРО. Там же; *Бодянский О.* Историческое сведение... С. II; Всеподданнейшие донесения гр. Миниха. Ч. II. // Сб. ВИМ. Вып. XII. СПб., 1899. № 27, С. 400–401; *Байов А.* Курс истории русского военного искусства. Вып. III. СПб., 1909. С. 52–53; *Соловьев С.М.* История России... С. 428–429; *Манштейн К.Г.* Записки о России. Ростов н/Д., 1998. С. 183–196.

лагерь. «Совершенная виктория» досталась России «малой кровью»: наши войска потеряли всего 13 человек убитыми, из них только одного офицера — донского казачьего полковника, и 54 человека ранеными. Потери турок были гораздо значительнее: погибло до 1000 человек. Вместе с турецкой армией бежал и гарнизон Хотина, что позволило Миниху через день без боя «взять» эту неприступную крепость, а вскоре и занять Яссы — столицу Молдавского княжества, перешедшего затем в российское подданство[1]. Безвестный молодой кондуктор Ригельман внес свой вклад в блестящие успехи русского оружия, слава которого долетела и до такого же безвестного марбургского студента Михайлы Ломоносова, написавшего в те дни «Оду... на взятие Хотина», прославившую его как поэта. Русские войска остались на зимние квартиры в Молдавии, в их числе и Ригельман. Вероятно, он вошел в группу инженеров и саперов, работавших над укреплением Ясс, так как из его формулярного списка 1764 г. известно, что в 1739 г. он был командирован «из Яс в Киев». Бодянский ошибочно относит эту командировку к 1740 г., но Яссы еще в конце 1739 г. были возвращены Турции по условиям заключенного 18 сентября Белградского мира[2]. В «Регистре инженерных и минерных служителей, которые при границах для укрепления Киева и прочих на Украине крепостей остаться имеют», составленном в 1739 г., мы встречаем кондуктора 2-го класса Иоганна Ригельмана. 26 января 1740 г. его произвели в кондукторы 1-го класса[3].

Из Киева в 1740 г. кондуктор отправился в Чернигов, а оттуда к разграничению с Турцией земель от устья р. Синюхи до Днепра, Миуса и Азова, после чего в 1741 г. вернулся назад в Киев. Во время демаркации границы он, по словам Бодянского, провел два года среди запорожцев, уже знакомых ему немного по Днестровскому походу, «и имел случай покороче изучить этих неустрашимых наездников». 2 июня 1743 г. Александр Иванович получил новый чин инженер-прапорщика (ошибочно названный Бодянским его первым чином). В 1745 г. Ригельман снимал пограничную карту от Киева до Смоленска и «сочинял» планы с проектами украинских городов Прилуцкого, Лубенского, и Миргородского полков. В 1746 г. он служил в Переяславле, а в последующие два года занимался строительством Васильковского, Обуховского,

[1] ГАРО. Там же; *Бодянский О.* Историческое сведение... С. II; *Байов А.* Курс истории русского военного искусства. Вып. III. С. 83–89; Ставучанский поход. Документы 1739 г. // Сб. ВИМ. Вып. III. СПб., 1892. С. 171–177, 185–188, 204; *Манштейн К.Г.* Записки о России. С. 210–215; *Соловьев С.М.* История России... С. 442–444.

[2] *Манштейн К.Г.* Записки о России. С. 216, 224–225; ГАРО. Там же; *Бодянский О.* Историческое сведение... С. II.

[3] *Байов А.* Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны: Война с Турцией в 1736–1739 гг.: Кампания 1739 г.: Приложения. СПб., 1906. № 63, С. 161; Савельев А. Исторический очерк Инженерного управления в России [Ч. 1.]. СПб., 1879. Прибавление 45. С. 304.

Трипольского и Стайковского ретраншементов на Киевщине. 15 апреля 1749 г. Ригельмана произвели в инженер-подпоручики, и в том же году направили в Оренбург «и по прочим тамо дистанциям и линиям», где он провел четыре года. По данным Бодянского, в 1750 г. инженера посылали «для заграничных дел» в Киргиз-Кайсацкую орду к Нурали-хану, после чего в 1751–1752 гг. он ремонтировал и перестраивал крепости Пояицкую, Самарскую, Сакмарскую, Верхояицкую и Уйскую, до самой Тоболо-Ишимской линии в Западной Сибири. 25 апреля 1752 г. Ригельману был присвоен чин поручика. В следующем году из Оренбурга инженера командировали в Царицын, потом — в Красный Яр, в 1754 г. — в Астрахань, в 1756 — опять в Царицын, в 1757 — в Кизляр. В Кизляре у него появился интерес к исследовательскому труду и он впервые взялся за перо. 1 января 1758 г. Александр Иванович получил чин капитана и затем вернулся в Оренбург. В том же году он закончил свое первое историческое сочинение — «Изъяснение о Кизлярской крепости», в котором, кроме прочего, освещалось происхождение гребенских и терских казаков. К сожалению, эта работа не дошла до нас. Из Оренбурга в 1761 г. Ригельман отбыл в крепость Святой Анны на Дону, для строительства новой крепости Святого Дмитрия Ростовского, призванной стать главным русским форпостом на приазовском участке границы с Турцией[1]. Некоторые авторы ошибочно приписали Ригельману ведущую роль в выборе места для ее строительства, но инженер не имел к этому никакого отношения. Данный вопрос начал обсуждаться в Правительствующем Сенате еще в 1744 г., при участии таких видных военачальников, как фельдмаршал граф П.П. Ласси и генерал-аншеф В.Я. Левашов, и окончательно был решен в 1748 г. Строить крепость на правом берегу Дона, немного выше устья Темерника, предложил генерал-лейтенант А. де Бриньи, а позже его выбор одобрил генерал-майор барон Р.К. фон Ведель[2]. Крепость Святого Дмитрия Ростовского была заложена 23 сентября 1761 г. Масштабные и трудоемкие строительные работы продолжались более шести лет и окончательно завершились лишь накануне русско-турецкой войны 1768–1774 гг., хотя доделки тянулись еще несколько лет[3]. Часто встречающееся в литературе утверждение об окончании постройки крепости уже в 1763 г. не соответствует действительности. По свидетельству Бодянского, в этом году, в разгар фортификационных работ, Ригельман был вызван в столицу и удостоен аудиенции у императрицы Екатерины II. Он лично преподнес ей план сооружавшихся укреплений, после чего получил в награду наполненную червонцами золотую табакерку и штофное платье для своей жены «с плеча императрицы», по выражению того времени. При этом «государыня спросила у инженера циркуля, которого тщетно искал он в своих карманах». Вероятно, в непосредственной связи с отчетной поездкой в Петербург, 3 марта 1764 г. Александр Иванович получил внеочередное звание подполковника[4].

В краеведческой литературе бытует ошибочное мнение, что в 1763 г. Ригельман стал первым, или одним из первых комендантов крепости Святого Дмитрия Ростовского[2]. На самом деле, в течение почти 9 лет со времени основания крепости он лишь возглавлял ее Инженерную команду. Первым комендантом крепости Святого Дмитрия был последний комендант крепости Святой Анны бригадир Иван Иванович Сомов, а к 1763 г. на этом посту его сменил бригадир Василий Осипович Сипягин, стоявший у истоков ее проектирования[3].

Ригельман находился в крепости Святого Дмитрия весь период ее строительства, вплоть до 1770 г. В 1769 г. он приезжал в Петербург, но вскоре опять вернулся назад, получив задание дополнительно укрепить крепость по новому проекту[4]. Работы у инженер-подполковника было предостаточно, однако он, будучи человеком любознательным и трудолюбивым, всегда умел находить свободное время для изучения истории, географии, природы и экономического положения тех краев, куда его заносила служебная деятельность. В 1768 г. Александр Иванович написал свой второй историко-статистический труд: «Ведомость и географическое описание крепости Святого Димитрия Ростовского с принадлежащими и прикосновенными к ней местами, сочиненное по указу Правительствующего Сената»[5]. Данный труд являлся ответом на географическую анкету, разработанную еще в 1759–1760 гг.

---

[1] ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200 об.–201, 448 об.–449, 645 об.–646; *Бодянский О.* Историческое сведение... С. II — III; *Ригельман А.И.* История о донских казаках. Ростов-на-Дону, 1992. С. 200, 202; РГВИА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 39-з. Л. 11 об.

[2] *Чалхушьян Г.Х.* История города Ростова-на-Дону // ДВ. Год 1999-й. Ростов-на-Дону, 1998. С. 113; *Кузнецов И.А.* Прошлое Ростова (Очерки по истории города Ростова-на-Дону). Ростов-на-Дону, 1897. С. 47–48; РГВИА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 39-з. Л. 1–3 об; *Ласковский Ф.* Материалы для истории инженерного искусства в России. Ч. III. СПб., 1865. С. 258–260.

[3] РГВИА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 39-з. Л. 26–31 об., 35 об.–36 об.; Д. 45-а. Л. 1–2; *Чеботарев Б.В.* Приазовье во II-й половине XVIII — начале XIX века и его хозяйственное освоение. Автореферат диссертации... канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 1965. С. 9.

[1] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. III; ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 6. Л. 200 об., 448 об., 645 об.

[2] *Краснянский М.Б.* Материалы к истории города Ростова на Дону // ЗСКОАИЭ. Кн. 1 (Т. III). Вып. 5–6. Ростов-на-Дону, 1929. С. 78; *Чеботарев Б.В.* Новые картографические материалы по истории Ростова-на-Дону и окрестных селений второй половины XVIII века // ИРОМК. № 1(3). Ростов-на-Дону, 1959. С. 57.

[3] РГВИА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 39-з. Л. 12 об., 26; Сборник событий в Новороссийском крае // ЗООИД. Т. VII, 1868. С. 301; ГАРО. Ф. 518. Оп. 1. Д. 1. Л. 31, 43, 64, 90, 91; Д. 6. Л. 16 об., 174 об., 356 об.; Русская армия в начале царствования императрицы Екатерины II // ЧОИДР. 1899, № 2. С. 21.

[4] РГВИА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 39-з. Л. 33 об.

[5] *Ригельман А.И.* Ростов на Дону 150 лет назад. Ростов-на-Дону, 1918.

в Академии наук и Сухопутном шляхетном кадетском корпусе. Упомянутый в названии труда сенатский указ от 13 декабря 1760 г. о присылке «из всех городов» подробных ответов на географический запрос был принят по представлению профессора М. В. Ломоносова и главного директора Кадетского корпуса великого князя Петра Федоровича (будущего императора Петра III). Инициатива в составлении и рассылке данной анкеты принадлежит Ломоносову. Однако при этом он руководствовался чисто практическими интересами подготовки нового атласа России, и поэтому его первоначальный вопросник отличался краткостью и включал лишь 13 пунктов. В дальнейшем другие профессора расширили круг вопросов до 30. Кадетский корпус ставил перед собой качественно иную задачу: сочинение «географическаго описания Российскаго государства». Поскольку для этого требовалось получить как можно больше разносторонних сведений, к академической анкете там были сделаны значительные уточнения и дополнения экономического, историко-культурного, и этнографического характера[1].

А. Т. Стефанов справедливо отдал должное заслугам Ригельмана в том, что он отнесся к запросу Академии наук «не только с формальной точки зрения, но счел нужным придать географическому описанию крепости законченный вид»[2]. Перед нами не список ответов на поставленные вопросы, но настоящее краеведческое исследование, составленное по определенной программе. Полнота и информативность труда позволяет поставить его в один ряд с написанными в сходном жанре работами И. К. Кирилова, С. П. Крашенинникова, П. И. Рычкова и Ф. И. Соймонова. Труд делится на две части: собственно статистическая ведомость из четырех таблиц, и дополняющее ее пространное описание из 16 глав. В первой части приводятся данные «о числе людей, о строениях казенных и партикулярных, и о доходах, какие получаютъся по месту и откупу»; во второй части рассказывается «о крепости со всем ее внутренним и смежном построении», и при этом делается краткий экскурс в историю края. Особого внимания заслуживает тот факт, что помимо собственных наблюдений и подсчетов, Александр Иванович пользовался при написании «Ведомости и географического описания крепости...» архивными документами и научной литературой. Анализ содержания 16 главы показывает, что автор определенно располагал книгой Г. (Т). З. Байера «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова...», а также первым томом «Истории Российской» В. Н. Татищева, на который он даже сослался с указанием страницы. Кроме того, к труду были приложены 7 чертежей с планами 14 бывших и действующих русских крепостей Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья, и карта края с показанием границы[1]. Неизвестно, попала ли в свое время «Ведомость и географическое описание крепости...» в Кадетский корпус или Академию наук вместе с остальными ответами на анкету, но два списка этой работы имелись в библиотеке императрицы Екатерины II, а еще один попал в архив Правительствующего Сената (правда, в них не бело указано авторство)[2]. Впервые «Ведомость...» была опубликована только в 1918 г. по списку из семейного архива Ригельманов. Следует добавить, что, судя по анализу текста данного труда, его окончательный вариант мог быть готов не ранее 1769 г., так как использованная автором вторая часть первого тома «Истории Российской» Татищева была впервые издана лишь в этом году.

[1] *Гнучева В. Ф.* Ломоносов и Географический департамент Академии наук // Ломоносов. Сборник статей и материалов. Т. 1. М.; Л., 1940. С. 257–259; Она же. Географический департамент Академии наук XVIII века. М.; Л., 1946. С. 73–75; *Мыльников А. С.* Искушение чудом: «Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы. Л., 1991. С. 54–56; ПСЗ (I). Т. XV. № 11165.

[2] *Стефанов А. Т.* Предисловие. С. 6.

В 1770 г. Ригельману поручили руководить постройкой новой Петровской крепости у впадения р. Берда в Азовское море. 25 ноября того же года «за двадцатипятилетнюю в офицерских чинах службу» он был награжден орденом Святого Георгия Победоносца 4-й степени, 13 декабря — произведен в полковники, а 28 декабря 1771 г. — в генерал-майоры. В следующем году инженер в составе 1-ой армии под командованием фельдмаршала графа П. А. Румянцева снова отправился на войну с Турцией, главным театром которой, как и 33 года назад, опять было Западное Причерноморье. Однако в кампанию 1772 г. боевые действия не велись, поскольку ранней весной начались мирные переговоры и все время, в которое возможны были военные операции, продолжалось перемирие. Военные действия возобновились в кампанию 1773 г., когда армия Румянцева начала наступление и переправившись через Дунай, подошла к Силистрии. 18 июня Ригельман участвовал в атаке этой крепости и взятии штурмом господствовавшего над ней редута. Бок о бок с ним сражался командовавший отдельным корпусом молодой генерал-поручик Г. А. Потемкин. Усердные действия инженер-генерал-майора «по своей должности» были положительно оценены в реляции командующего армией императрице Екатерине II от 30 июня 1773 г. Но взять Силистрию все же не удалось: полученные вести о приближении значительных сил противника заставили Румянцева отступить. После заключения в 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мира Ригельман отправился в Киев, откуда вскоре отбыл на Дон, получив новое назначение[3]. Сообщая об этом, Бодянский писал, что

[1] *Ригельман А. И.* Ростов на Дону 150 лет назад. С. 9, 39, 55; *Стефанов А. Т.* Предисловие. С. 7.

[2] *Альшиц Д. Н.* Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей: Памятники XI — XVII вв: Описание. М., 1968. Приложение. С. 149, 153; РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 543.

[3] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. III — IV; Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия: Именные списки 1769–1920: Биобиблиографический справочник. М., 2004. С. 79; *Чечулин Н. Д.* Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II (1762–1774). СПб., 1896. С. 351–352, 355–356; *П. А. Румянцев.* Документы. М., 1953. Т. II. № 333, С. 643.

инженер был «назначен департаментным командиром в построенную им крепость Св. Димитрия, к командованию и построению прочих крепостей Азовской губернии», и пробыл в этой должности по 1782 г. Данное событие почему-то получило в донском краеведении неверное отражение. Многие авторы, повторяя друг друга, истолковали его как назначение Ригельмана комендантом крепости Святого Дмитрия Ростовского и одновременно главным инженером по постройке других приазовских крепостей[1]. Это мнение верно только во второй части, так как Бодянский в действительности писал о назначении Ригельмана командиром Азовского департамента крепостей — своеобразного приазовского военно-инженерного округа, центром которого была крепость Святого Дмитрия — крупнейшая в регионе. Находясь в ней, инженер-генерал-майор руководил фортификационными работами во всех крепостях Азовского департамента, в который в то время входили крепости: Святого Дмитрия Ростовского, Азовская, Таганрогская, Бахмут, Изюм, и Тор. Например, в 1776 г. Ригельман занимался ремонтом Таганрогской крепости[2]. На посту коменданта крепости Святого Дмитрия в 1774–1782 гг. находились совсем другие лица (генерал-майоры И. А. Потапов и С. Г. Гурьев), и Ригельман никогда не занимал эту должность.

Второй период пребывания Александра Ивановича в крепости Святого Дмитрия Ростовского был еще более плодотворным в творческом отношении. В 1778 г. он окончил свой очередной исторический труд: «История или повествование о донских казаках»[3]. Это объемное и серьезное историческое исследование, в ту пору еще никому неизвестное, теперь по праву считается этапным в историографии донского казачества. В предисловии к нему автор бесхитростно сообщает «благосклонному читателю», что написать эту «не весьма нужную историю» его побудило любопытство, для удовлетворения которого он вынужден был «выбирать из разных летописей, записок и повествований» все имеющиеся там сведения о донских казаках. Но, не найдя «об них особого и настоящего описания» кроме «только по малому введенных в книгах от некоторых авторов», любопытный инженер решил «приложить

[1] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. IV; *Стефанов А. Т.* Предисловие. С. 3; *Краснянский М. Б.* Материалы к истории города Ростова на Дону. С. 80; *Проценко Б. Н.* К читателю. С. 7; *Фрадкина Н. Г.* Первый историк Ростова. С. 98–99.

[2] *Перепечаева Л. Б.* Азов — пограничная крепость России к. XVII — н. XIX вв. Азов, 2006. С. 289; Сборник событий в Новороссийском крае. С. 302.

[3] *Ригельман А.* История или повествование о донских козаках, отколь и когда они начало свое имеют, и в какое время и из каких людей на Дону поселились, какие их были дела и чем прославились и проч., собранная и составленная из многих вернейших российских и иностранных историев, летописей, древних дворцовых записок и из журнала Петра Великого, чрез труды инженер-генерал-майора и кавалера Александра Ригельмана, 1778 года // ЧОИДР. 1846. №№ 3–4; Ригельман А. И. История о донских казаках.

к тому труд, чтобы из оных соединить все дела войска сего козацкого, и... видеть было можно действа и обращения их по причине сопряжения их с делами, бывшими российскими и соседей своих».

Как указано в заглавии сочинения, оно было составлено «из многих вернейших российских и иностранных историев, летописей, древних дворцовых записок и из журнала Петра Великого»[1]. «История... о донских казаках» замечательна объемом привлеченных источников и чрезвычайно плодотворными попытками их интерпретации. Вот перечень только самой основной использованной автором литературы: «Степенная книга», «Синопсис» И. Гизеля, очерки К. И. Крюйса «Река Дон, издревле именуемая Танаис» и «Город Азов»[2], «История Сибири» Г. Ф. Миллера, «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова...» Г. (Т). З. Байера, «Родословная история о татарах» Абу-л-Гази, «История Российская» В. Н. Татищева, «Ядро российской истории» А. И. Манкиева, «Журнал или поденная записка императора Петра Великого» («Гистория Свейской войны»), и некоторые другие исторические исследования и нарративы. Большинство перечисленных произведений являлись тогда книжными новинками, изданными в 60–70-е годы XVIII в. Данное обстоятельство характеризует Александра Ивановича не только как любознательного книгочея и эрудита, но и как добросовестного исследователя, стремившегося привлечь максимально широкий круг источников. Это же стремление подвигло историка постараться «достать в дополнение в войске Донском точного сведения о их делах и списки с жалованных им от прежних государей царей грамот или с каких иных записок». Но войсковые власти мало чем помогли исследователю, так как архив Войсковой канцелярии

[1] *Ригельман А. И.* История о донских казаках. С. 11, 15.

[2] Данные очерки, опубликованные на голландском языке в атласе р. Дон, изданном в 1703/4 (?) г. в Амстердаме (См: Новая чертежная книга, сказующая великую реку Дон или Танаис по ея истинному положению разширению и течению из города Воронежа даже до того где оная в море впадает со своими втекушими реками островами, городами, деревнями, монастырями и проч., присем, зело любопытный чертеж Азовского моря или езера Меотского и понта Эуксинского или Черного моря со всеми их глубинами, мелями, приналежащими реками, пристанми городами, присем приложено изображение прокопа во еже бы Илавлу ввести Камышенкою рекою в Волгу или в Астраханскую реку еже б тем илавлинским наводнением в водити из Дону Илавлою и Камышенкою реками в великую реку Волгу карабли и протчие водные суды все зело прилежно и собственным изобретанием собрано и мерою оловянною водяною вымереной. Приписано или поручено его пресветлому высочеству Алексию Петровичю наследственному, принцу кесарств, королевств, княжеств г[о]с[у]д[а]рств, его г[о]с[у]д[а]ря отца его самодержавнеишаго ц[а]рского величества Корнелиа Креиса над его вышереченного величества морскими силами виц адмирала. Амстердам, б. г), скорее всего, были знакомы Ригельману опосредованно, через книгу Г. (Т). З. Байера, которой неоднократно ссылается на них (*Байер [Г. (Т). З.]* Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения онаго под Российскую державу. СПб., 1738).

в Черкасске сильно пострадал от многочисленных пожаров, последний из которых случился в 1744 г. и уничтожил едва ли не весь город. Вследствие этого Ригельман «о древности их никакого от них точного сведения, кроме что с новейших грамот списки, получить не мог, и притом несколько и словесного, и то, кто что от предков своих стариков слыхал». Например, копию грамоты Петра I Войску Донскому 1706 г. он «по нечаянному случаю достал... от знакомого человека, живущего на Дону»[1]. И чем ближе по времени к автору описываемые им события, тем больше он использует при их освещении документальные источники, и многие даже приводит целиком.

Особого внимания заслуживает проявленный историком неподдельный интерес к области народной культуры донского казачества в широком смысле этого понятия, включающем в себя образ жизни, быт, верования, обычаи, обряды, предания, менталитет, внешний облик. Обилие этнографических наблюдений такого рода являются характерной чертой всех работ Ригельмана. Запечатленные на их страницах свидетельства внимательного очевидца, много лет прожившего в гуще изучаемой им среды, поистине бесценны для современного читателя. Большой интерес представляют и приложенные к «Истории... о донских казаках» выполненные автором 17 рисунков с изображением печатей Войска Донского и разных типов донских казаков и казачек в традиционных «одеждах, уборах и нарядах», а также карта земли Донской[2].

Находясь на Дону, одновременно с работой над «Историей... о донских казаках» Ригельман начал писать свой четвертый труд, посвященный истории Украины. По данным Бодянского, первоначально он назывался «История Малороссийская или повествование о козаках», и первый его вариант тоже уже был подготовлен в 1778 г. По крайней мере, упомянув на страницах «Истории... о донских казаках» о грамоте Петра I патриарху Адриану 1696 г., историк указал, что она уже «находится в Истории Малороссийской»[3].

7 августа 1782 г., после 52 лет непрерывной службы, 68-летний инженер-генерал-майор и кавалер Ригельман наконец получил отставку. В соответствии с практикой того времени при увольнении ему было предложено на выбор: чин генерал-поручика или половинное жалование. Избрав последнее, Александр Иванович получал 1000 руб. пенсии и 100 руб. на орден Святого Георгия, имея также денщиков по положению[4].

Ко времени выхода в отставку историк уже был женат второй раз. От первой жены из рода Чертковых он имел сына Адама и дочь Екатерину, а от второй жены, урожденной Лизогубовой, — сына Аркадия и дочь Богдану[5].

[1] *Ригельман А.И.* История о донских казаках. С. 15–16.

[2] *Ригельман А.И.* История о донских казаках. С. 204; *он же* История или повествование... // ЧОИДР. 1846. № 4. Вклейка.

[3] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. V; *Ригельман А.И.* История о донских казаках. С. 123.

[4] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. IV.

[5] Там же. С. IV.

Уйдя на заслуженный отдых, Ригельман поселился в селе Андреевка — небольшом имении своей второй жены, в 20 верстах от Чернигова. Впоследствии, если верить Бодянскому, отставной генерал-майор покидал имение лишь дважды. Первый раз — во время проезда через Чернигов заграницу великого князя Павла Петровича с супругой, которому он был представлен, и второй раз — при посещении своего бывшего командира на ратном поле графа П.А. Румянцева-Задунайского в его деревне Вишенки Полтавской губернии. Все остальное время Александр Иванович посвятил переделке и окончанию своего последнего сочинения — «Летописное повествование о Малой России и ея народе, и казаках вообще». Данный труд, первоначально состоявший из двух частей, был расширен до четырех, после чего стал самой крупной по объему работой историка. Согласно заглавию, он был написан в 1785–1786 гг., однако изложенные в нем события доведены до 1787 г. — к этому времени и следует относить его окончание[1]. По стилю «Летописное повествование...» сходно с предыдущей работой Ригельмана, но отличается большей подробностью в изложении фактов. Это не удивительно — в отличие от истории донского казачества, многие аспекты истории украинского казачества к тому времени уже были разработаны и обобщены некоторыми авторами.

Данная работа Ригельмана — типичный исторический труд второй половины XVIII в., имеющий ярко выраженный компилятивный характер. На страницах его часто встречаются заимствования из чужих произведений. К числу главных источников, использованных Ригельманом, относятся: «Действия презельной и от начала поляков кровавшей небывалой брани Богдана Хмельницкого...» г. Грабянки, «Летопись Самовидца», «История о казаках запорожских» князя С.И. Мышецкого, «Краткое описание о козацком малороссийском народе и военных его делах...» П. Симоновского, «Ведомость о казаках запорожских» Г.Ф. Миллера, и другие работы его предшественников[2]. В книге нашлось место и пространным документам, и статистическим выкладкам со списками украинских гетманов и полков, и природно-географическим

[1] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. IV — V; *Ригельман А.* Летописное повествование о Малой России и ея народе и козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют, и по каким случаям они ныне при своих местах обитают, как то: черкасские или малороссийские и запорожские, а от них уже донские, а от них яицкие, что ныне уральские, гребенские, сибирские, волгские, терские, некрасовсие, и проч. козаки, как равно и слободские полки. Собрано и составлено чрез труды инженер-генерал-маиора и кавалера Александра Ригельмана, 1785–86 года // ЧОИДР. 1847. №№ 5–9; 1848, № 6 (алфавитный указатель); *Рігельман О.І.* Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. Київ, 1994.

[2] См.: *Сас П.М., Щербак В.О.* Історія Украіни у висвітленні О.І. Рігельмана // *Рігельман О.І.* Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. С. 10–17.

описаниям, и этнографическим наблюдениям, и местным легендам. Так, Ригельман зарегистрировал народную молву с двумя версиями причины смерти гетмана И. С. Мазепы в изгнании: «Сего злодея съела вошь, понеже, при напавшей на него печали о лишении всей надежды своей, такая вошь напала, что не мог он, переменяючи рубашку на каждый день поутру и ввечеру, освободиться от нее и тем, или тою болезнью, исчез. А иные объявляют, что ядом отравил себя». Примечательно, что сообщая читателю «о взятье турецкого города Хотина и всей Молдавии» русской армией в 1739 г., скромный автор ни слова ни упомянул о своем участии в этих памятных для него событиях. К труду были приложены «28 изображений малороссиян в древнем одеянии и 2 карты Малороссии в древнем и новом виде», и в том числе портрет гетмана Б. Хмельницкого. Сын историка А. А. Ригельман рассказывал, что эти рисунки нарисовал некий украинец с Черниговщины, происходивший из духовного звания и содержавшийся за какие-то проступки в крепости Святого Дмитрия Ростовского[1]. Карты, вероятно, начертил сам инженер.

Можно упомянуть еще о двух сочинениях, приписываемых Ригельману. Это ныне утерянное небольшое собрание анекдотов о Петре I и извлеченная Бодянским из знаменитых портфелей Г. Ф. Миллера «История о козаках запорожских...». В одном из трех списков последней работы к названию было приписано: «сочиненная от инженерной команды», что и дало повод Бодянскому считать ее автором Ригельмана[2]. Как выяснилось позже, автором этого небольшого труда являлся менее известный современник последнего князь С. И. Мышецкий, тоже военный инженер.

23 октября 1789 г. Александр Иванович Ригельман умер на 75 году жизни. Погребен он был в Андреевке, в построенной им самим каменной церкви[3].

Волею судьбы неприметный военный инженер и его исторические труды долгое время не имели своего места в структуре отечественной историографии. Скромная фигура Ригельмана потерялась на фоне блестящей плеяды его именитых современников, собратьев по перу. Причина этого, вероятно, в том, что большую часть своей жизни он провел на периферии Российской империи, в отрыве от культурной среды Санкт-Петербурга и Москвы, и поэтому ни один из трудов историка не был опубликован не только при его жизни, но и в течение более полувека после его смерти. Рукописи Ригельмана бережно хранились несколькими поколениями его потомков в семейном архиве. Но это не значит, что все это время творческое наследие одного из интереснейших русских историков-регионолистов XVIII в. прозябало

[1] *Ригельман А.* Летописное... // ЧОИДР. 1847. № 5. С. 97; № 9. С. 2–3 и вклейка; *Бодянский О.* Историческое сведение... С. V — VI.

[2] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. VI; История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся // ЧОИДР. 1847, № 6. С. III — VIII.

[3] *Бодянский О.* Историческое сведение... С. V; РБС. Т. Рейтерн-Рольцберг. С. 181.

в безвестности и оставалось невостребованным. Рукопись его «Летописного повествования о Малой России» использовал Д. Н. Бантыш-Каменский в работе над своей «Историей Малой России»[1]. Большинство работ Ригельмана (а вернее тех его работ, о существовании которых нам теперь известно) увидели свет благодаря стараниям членов Общества истории и древностей российских при Московском университете и Ростовского-на-Дону общества истории, древностей и природы.

Написанные на достаточно высоком для того времени методологическом уровне, труды Ригельмана представляют для современного читателя многогранный интерес. Одновременно они являются и самобытными историческими исследованиями, отражающими определенный уровень развития отдельных тем региональной историографии, и ценными документальными источниками, беспристрастными отпечатками той эпохи, и сводкой уникальных устных преданий и этнографических наблюдений. Приходиться только сожалеть, что остальные сочинения этого талантливого историка-любителя, похоже, утеряны для нас безвозвратно.

Увлеченность историей и склонность к литературному творчеству передались по наследству потомкам Ригельмана. То, что составляло хобби фортификатора и топографа, стало призванием его внука от второго брака — Николая Аркадьевича Ригельмана (1817–1888), известного в свое время украинского деятеля культуры и образования, историка и писателя. Он окончил Московский университет и был удостоен степени кандидата Философского факультета, пополнял свое образование в Вене, служил директором Второй Киевской гимназии и директором училищ Киевской губернии, состоял действительным членом Киевской временной комиссии для разбора древних актов и Общества любителей российской словесности при Московском университете, председателем Киевского отделения Русского музыкального общества и Киевского славянского благотворительного общества. Николай Аркадьевич написал ряд статей и ввел в научный оборот летопись Самуила Величко[2].

[1] *Бантыш-Каменский Д. Н.* История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением первобытного состояния сего края. Ч. I. М., 1822. С. VI.

[2] РБС. Т. Рейтерн-Рольцберг. С. 181.

В.Н. КОРОЛЕВ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОПОВ (1800–1859)

Полковник А.А. Попов не относится к историческим фигурам первого плана и для потомков остается *tabula rasa*, хотя внес определенный вклад в развитие донской культуры и был в свое время заметной фигурой на Дону как военно-административный деятель, педагог и организатор просвещения, историк, статистик и поэт. Сама его фамилия, наиболее распространенная в донской антропонимии, как бы способствовала историческому «растворению» этого человека среди многих других Поповых, среди массы людей, о которых словно не осталось «зарубки» в памяти неблагодарных потомков.

Это, конечно, несправедливо и является одним из проявлений той иронии, с которой судьба и история играют «человеками». С чисто же материалистической точки зрения дело можно объяснить проще — слабой изученностью донской истории и культуры первой половины и середины XIX в. Предлагаемый очерк — первая попытка представить биографию А.А. Попова.

Александр Алексеевич, казак города Черкасска, а затем Новочеркасска, был сыном автора известной «Истории о Донском Войске», первого директора гимназии и училищ Войска Донского коллежского советника А.Г. Попова и его супруги М.Г. Поповой, дочери полковника Г.Е. Колпакова, игравшего значительную роль в донских делах второй половины XVIII в. Учился в Новочеркасском уездном училище, в 1817 г. окончил Новочеркасскую гимназию и в 1822 г. со званием кандидата Харьковский университет, после чего до 1830 г. служил старшим учителем в Воронежской гимназии[1].

В Воронеже у него проявился интерес к исследовательскому труду, свидетельством чего является составленное им «Статистическое описание г. Павловска». «Долгом почитаю... засвидетельствовать, — писал П.П. Свиньин в 1825 г., — о любви и познаниях в отечественных древностях старшего учителя гимназии Александра Алексеевича Попова, который с пользою может быть употреблен по сей части, особенно к исследованию Воронежской губернии, бывшей театром важных происшествий...»[2].

[1] Здесь и далее сведения о служебной деятельности А.А. Попова и продвижении в чинах даются по его биографической справке, приложенной к книге: *Артинский И.* Очерк Новочеркасской войсковой гимназии. Новочеркасск, 1907, по тексту самой этой работы и послужным и иным спискам.

[2] *Свиньин П.П.* Обозрение путешествия издателя Отечественных Записок по России в 1825 году относительно археологии // Отечественные записки. 1826, январь. Ч. 25. № 69. С. 59–60.

Пожелания издателя и путешественника не осуществились, поскольку Попов, получив в 1829 г. чин коллежского асессора, в следующем году по болезни вышел в отставку. Однако впоследствии ему удалось приложить свои силы к изучению родного Донского края, где в прошлом происходили еще более важные события.

Находясь в отставке, Попов занимался домашними делами и, между прочим, состоял учителем детей героя Отечественной войны 1812 г. генерала от кавалерии графа В.В. Орлова-Денисова. Служебная «пауза» закончилась в 1836 г. Как «человек способной» — начальник штаба Войска Донского генерал-майор М.Н. Бердяев замечал, что «на Дону немного таких чиновников»[1] — Александр Алексеевич был привлечен новым войсковым наказным атаманом М.Г. Власовым на службу, переименован из гражданского чина в войсковые старшины и назначен по особым поручениям при атамане.

Власов в нем не ошибся: в следующем же году он отмечал «отлично — ревностное выполнение» Поповым разнообразных поручений и его «неусыпные труды по разным предметам гражданской части, особенно по приведению в порядок и составлению общего отчета по всем частям управления Войска»[2].

Позже, в 1848 г., Власов характеризовал Попова как человека, «свободную мысль имеющего»[3]. Очевидно, сказано это было совсем не случайно. В 1840 г. в безымянном доносе военному министру графу А.И. Чернышеву Попова обвиняли в том, что он имел связи с декабристом В.Д. Сухоруковым, входил в «совет нащет (на счет того. — В.К.), чтоб устоять (в Войске Донском. — В.К.) на старинном порядке», и участвовал в соответствующих «толках», которые «хоть и скрытно выпускаются, да нехорошее имеют впечатление в простых умах». Больше всех, говорилось в доносе, участвуют в «этаких рассказах» сам Сухоруков и братья Г.А. Попов (впоследствии генерал-майор, военный деятель, историк, мемуарист и поэт) и А.А. Попов, «только их беспокоит недолговечность Власова», и они строят планы относительно его преемника[4]. Бумага последствий не возымела, и в 1841 г. Попова произвели в подполковники, а в 1848 г. в полковники.

Одновременно со службой при Власове по его предложению Александр Алексеевич был утвержден правителем дел и непременным членом Новочеркасского статистического комитета, торжественно открытого 16 июля 1839 г., и сыграл выдающуюся роль в становлении этого нового учреждения, фактическим руководителем которого и являлся[5]. Александр Алексеевич

[1] ГАРО. Ф. 241. Оп. 3. Д. 34. Л. 46 об.

[2] ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 485. Л. 2 об.

[3] ГАРО. Ф. 697. Оп. 2. Д. 62. Л.76.

[4] Донос излагается по материалам Н.С. Коршикова.

[5] Деятельность Попова в комитете далее освещается по протоколам за 1839–1860 гг. (ГАРО. Ф. 353. Д. 17, 27, 31, 53, 54, 57, 75, 79), а также по Отчету комитета за 1860 г. (ДВВ. 1861. № 2. Часть неофициальная).

всячески старался организовать сбор материалов и затем составление статистического описания Земли Войска Донского. В 1840 г. комитет одобрил программы действий, составленные Поповым, разослал их своим членам и просил их подготовить статьи по предметам донской статистики. В 1843 г. Попов представил комитету обстоятельную «Программу статистики Донского Войска» с введением и 3 частями: «Основные силы», «Народная образованность (культура)» и «Управление»; каждая часть делилась на статьи[1].

Документ обсуждался на заседании комитета, и в его протоколе было записано: «Одобрив вполне общий план программы, основанный на новейшей теории науки и вместе на правилах, изданных Министерством внутренних дел в 1835 году (принимаемых в руководство при работах статистических), и сделав некоторые дополнения в подробном изложении предметов, [комитет] определил... разделить статьи программы между членами по желанию их и просить принять на себя труд для обработания оных к составлению общей статистики Войска Донского».

Из-за недостатка опыта по этой части у членов комитета и их занятости службой (членство в комитете, как бы мы сейчас выразились, было «общественной работой») дело продвигалось крайне медленно, и в 1847 г. комитет решил взять за основу статистическое описание Донской земли, составленное под руководством В. Д. Сухорукова в 1822-1832 гг. и не дошедшее до издания, пересмотреть и дополнить это сочинение новейшими данными, и еще раз распределил между членами части будущего статистического описания.

Труд этот так и не был подготовлен, но к 1860 г. члены комитета представили 36 статей, относившихся к различным частям статистики и истории Дона. Кроме того, при общей неудаче в основном деле комитет, возглавлявшийся Поповым, превратился в некое подобие малой донской «академии наук» и дал мощный толчок дальнейшим исследованиям Донской земли.

На долю Александра Алексеевича пришлась большая текущая работа по комитету, в первую очередь подготовка и проведение его заседаний. В 1840 г. Попов рассматривал и оценивал полученные комитетом медико-топографическое описание Новочеркасска, которое составил Ф. Е. Волохов, «Записки о Новочеркасской епархии» С. Н. Салтыкова, материалы для статистических записок о Миусском округе А. И. Картушина, в 1841 г. — сведения о Миусском округе А. А. Леонова и медико-топографические описания 1-го и 2-го Донских округов А. И. Бабичева и А. М. Суворова.

В том же году под наблюдениям Попова были сняты копии с некоторых сухоруковских материалов, хранившихся тогда в Комиссии для размежевания земель Войска Донского, а в 1843 г. получено разрешение принять на хранение из этой комиссии в комитет все бумаги Сухорукова, в том числе историческое и статистическое описания Донской земли, причем на Попова

[1] В ГАРО хранится несколько экземпляров программы. См., в частности: Ф. 353. Оп. 1. Д. 17.

и поэта А. А. Леонова возлагались «подробное рассмотрение всего, что только получится от комиссии, и потом составление докладной записки».

В 1841 г. Александр Алексеевич сделал сообщение о снятии копий с войсковых регалий. В 1847 г. участвовал в подготовке справки «О виноделии в Войске Донском» для директора Хозяйственного департамента Министерства государственных имуществ и кратких статистических сведений о Доне для французского путешественника графа А. де Куртижиса. В 1854–1855 гг. предоставил Мариинскому Донскому институту благородных девиц материалы комитета, необходимые для намечавшегося составления учебника по донской статистике и истории.

Предоставлял соответствующие материалы и другим учреждениям и отдельным лицам, в частности Н. И. Краснову, о чем тот упоминал в своей книге «Земля Войска Донского»[1]. По тексту, полученному от А. Ф. Попова фон Юргилевским, впоследствии было опубликовано «Сказание об Азовском сидении: как донские казаки сидели в осаде от турок во граде Азове, пять тысяч человек против триста тысяч человек»[2].

В 1844 г. Попов напечатал «Замечания на статью «Очерк сельского хозяйства на Дону», помещенную в «Земледельческой газете» в исходе прошедшего года»[3], которые представляли собой критический разбор раздела о донском коннозаводстве из статьи И. С. Ульянова. Автор решительно не соглашался с мнением Ульянова об упадке донского коннозаводства и, опираясь на официальные отчеты и материалы своего комитета, приводил сведения, которые свидетельствовали о развитии этой отрасли хозяйства. Ульянов в свою очередь не согласился с Поповым и подготовил непубликовавшийся «Ответ на замечания»[4].

В 1845 г. Попов напечатал статьи «Войсковой круг в Войске Донском»[5], где излагал историю этого «народного собрания» и описывал современный автору круг, носивший уже характер торжественной манифестации, и «Соборный храм в г. Новочеркасске»[6] с изложением истории сооружения собора, который должен был стать «Новым Иерусалимом донцов», рассказом о возобновлении работ по его строительству с 1844 г. и подробной характеристикой будущего здания в «стиле римской архитектуры».

В 1852–1854 гг. в «Донских войсковых ведомостях» был опубликован цикл статей Попова (или, согласно автору, очерк, состоявший из трех разделов) о войсковом управлении и его высших представителях: «Управление в Войске Донском и его атаманы с 1738 года»[7], «Алексей Иванович Иловайский

[1] *Краснов Н. И.* Земля Войска Донского. СПб., 1863.
[2] Донская газета. 1875. № 22–24.
[3] Земледельческая газета. 1844. № 66, 67. Подписано: «Донец».
[4] См.: ГАРО. Ф. 353. Оп. 1. Д. 65.
[5] Северная пчела. 1845. № 267–269.
[6] Иллюстрация. Т. 1. 1845. № 35.
[7] ДВВ. 1852. № 47, 48.

(С 15 февраля 1775 по май 1797 года)»[1] и «Василий Петрович Орлов (1797–1801 гг.)»[2]. В первой из этих статей, написанных главным образом по актам Войскового архива, давался краткий обзор управления от назначения войсковым атаманом Д.Е. Ефремова до 1750-х гг. включительно. Вторая и третья статьи посвящались характеристике атаманства А.И. Иловайского и В.П. Орлова, оценке их личностей и состоянию Войска под их началом.

В 1853 г. в той же газете Александр Алексеевич напечатал статьи «Открытие памятника в г. Новочеркасске бывшему атаману Войска Донского графу Матвею Ивановичу Платову»[3] и «Открытие Мариинского Донского института благородных девиц в г. Новочеркасске»[4], в которых рассказал соответственно об истории сооружения и торжестве открытия памятника Платову и об открытии, целях и характере названного учебного заведения. Автор участвовал в торжествах, связанных с возобновлением строительства собора и открытием памятника и института. Тогда же появился очерк Попова «Донские калмыки»[5].

По «Программе статистики Донского Войска» 1843 г. Александр Алексеевич обязался написать 1-ю, 2-ю, 3-ю и 6-ю статьи первой части. В 1844 г. он подготовил первую статью и к июню 1846 г. обещал представить все остальные. По программе 1847 г. за Поповым была переработка сухоруковских глав 1-й («Положение, пространство и разделение»), 2-й («Воды»), 10-й («Права и привилегии Войска Донского») и части 6-й («Населенность», до параграфа «Вера»). Согласно Артинскому, Попов написал 7 глав статистического описания.

В 1844 г. он представил в комитет сокращенный для учебных заведений вариант «Исторического описания Земли Войска Донского» Сухорукова, в 1845 г. продолжал работу по сокращению истории донских калмыков, написанной А.К. Кушнаревым. В отчете комитета за 1847 г. отмечалось, что Попов обязался к 1 мая 1848 г. представить две совершенно оконченные дополнительные статьи к статистическому описанию Сухорукова: «Управление» и «Состояние просвещения».

В 1844 г. Александр Алексеевич передал в комитет статьи «Каменный уголь (антрацит), добываемый в Войске Донском» и «Сведения о донском коннозаводстве в атаманства генералов от кавалерии В.П. Орлова и графа М.И. Платова». В отчете комитета за 1845 г. говорилось, что Поповым «собраны... и поверены на месте подробные топографические сведения о Кривой косе (на Азовском море) для предпринятого им описания этой местности, которое в непродолжительном времени будет представлено комитету». Отчет

[1] ДВВ. 1854. № 19.
[2] ДВВ. 1854. № 22–24.
[3] ДВВ. 1853. № 31. Перепечатка: Атаманский дом и памятник графу Платову в г. Новочеркасске // Дон. 1887. № 9.
[4] ДВВ. 1853. № 32.
[5] Русский художественный листок. 20.01.1853. 3.

за 1860 г. упоминал составленные Поповым записку об истории комитета от его возникновения до 30 апреля 1860 г. и сравнительную таблицу о движении населения в Войске Донском с 1820 по 1860 г. (сведения за 1860 г. добавлены к материалам автора уже после его смерти).

Ему же принадлежали неопубликованные записки о Власове, которые прилагались к статье об этом атамане, присланной А.П. Чеботаревым в редакцию журнала «Русская старина»; редакция называла их «весьма интересными»[1].

Попов увлекался и стихотворчеством. А.А. Карасев упоминал его имя среди авторов — поэтов сборника «Труды студентов императорского Харьковского университета за 1820 и 1821 года». В 1822 г. Александр Алексеевич опубликовал большое стихотворение «Овидий — изгнанник (Элегия)»[2]. В 1837 г. на отдельном листе было напечатано также большое стихотворение Попова «Дон верный! восхвали державу...», являвшееся панегириком Николаю I по случаю его приезда на Дон[3]. В 1842 г. в Новочеркасске Попов прочитал графу А.И. Чернышеву посвященное ему стихотворение «Опять ты здесь, наш гость желанный!..»[4].

С 1848 г. Александр Алексеевич оставался по особым поручениям и при новом войсковом наказном атамане М.Г. Хомутове, сменившем умершего от холеры Власова. Ульянов в связи с этим обвинял Попова в «бесстыдной угодливости» и использовании своей «ученой эрудиции» при подготовке церемониала возведения Хомутова в атаманскую должность, когда «услужливость церемониймейстеров» Чеботарева и Попова «придумала все роды блеска церемонии»[5]. Эту же эрудицию Александра Алексеевича, но в другом контексте отмечал в 1847 г. И.И. Краснов, писавший, что Попов подошел бы на должность главы «прекрасного корпуса донской образованности»[6]. Генерал как в воду глядел: свою карьеру Александр Алексеевич действительно закончил на учебной службе, состоя с 1854 г. до конца жизни директором гимназии и училищ Войска Донского.

«За такой кратковременный период своего директорства, - отмечал Артинский, — он был свидетелем и виновником разных по смыслу, достоинству и значению фактов в учебной, воспитательной, правовой и хозяйственной сторонах жизни вверенной ему гимназии. На основании сохранившихся от этого времени дел можно сказать, что это был человек доброй, мягкой и отзывчивой души, но не отличался решительностью в характере и смелостью инициативы. Поэтому он прежде всего старался поддерживать гимназию в том состоянии

[1] Атаман М.Г. Власов // Русская старина. 1875. № 6.
[2] Сочинения и переводы студентов императорского Харьковского университета, читанные 1822 года июня 30 числа по окончании экзаменов их. Харьков, 1822.
[3] Текст: ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 184.
[4] Дон. 1887. № 1.
[5] ГАРО. Ф. 243. Оп. 1.Д. 28. Л.127 об.–128 об.
[6] ГАРО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 34. Л. 370.

и порядке, какие установились ней за 16-тилетнее управление его предшественника (генерал-майора И.Я. Золотарева. — В.К.)... и был добросовестным выполнителем предначертаний, предписаний, распоряжений и предложений высшего начальства...».

Однако, как замечал тот же Артинский, поколебавшееся было при Золотареве «доверие к гимназии опять утвердилось: причины восстановления учебно-воспитательного престижа единственного тогда на Дону среднего учебного заведения лежали, конечно, прежде всего в нравственном характере личности директора и в обновлении и лучшем составе... учителей». Согласно Артинскому, «принял директор Попов Новочеркасскую гимназию с 245 учениками, а оставил с 451». В его директорство, в 1856 г., состоялся первый выпуск учеников Отделения восточных языков при гимназии. В 1855 г. в связи с эвакуацией в Новочеркасск из-за военных действий в Крыму Керченского института благородных девиц Попов стал членом по учебной части его совета, а гимназия обеспечивала учебный процесс в институте.

В последние годы жизни Александр Алексеевич много болел, и это была одна из причин того, что он, по мнению Артинского, «с трудом справлялся с сложным делом директора гимназии и училищ Войска Донского (окружных и приходских)». Во врачебном свидетельстве о смерти Попова (он умер 6 августа 1659 г.) говорилось, что покойный «страдал постоянным слизистым геморроем и последствиями его, приливами к грудным и брюшным органам, завалом застарелым печени, одышкою, сердцебиением, головокружением, бессоницею, потерею аппетита, совершенным упадком сил и истощением; все эти припадки усиливались постепенно и довели... Попова до высочайшей степени истощения (несмотря на всевозможные подаваемые медицинские пособия), в котором он и скончался от нервного удара, не оставляя исполнения своей обязанности до самой кончины».

По прочтении этого документа вряд ли стоит удивляться отсутствию у директора «смелости инициативы», но стоит удивиться его мужеству.

Дочь Александра Алексеевича, С.А. Попова, в 1861 г. передала статистическому комитету 148 томов книг и периодических изданий из библиотеки отца[1]. В ГАРО хранятся копии писем Попова как правителя дел комитета разным лицам[2], а также несколько его личных писем И.С. Ульянову[3].

[1] ДВВ. 1862. № 12. Часть неофициальная.
[2] ГАРО. Ф.353. Оп. 1. Д. 30, 53, 60, 75 и др.
[3] ГАРО. Ф.243. Оп. 1. Д. 35.

О.М. МОРОЗОВА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

Д.П. ЖЛОБА ГЛАЗАМИ СВОИХ БОЙЦОВ: ПОРТРЕТ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДИРА СТАЛЬНОЙ ДИВИЗИИ*

Дмитрий Петрович Жлоба — один из командиров Рабоче-крестьянской Красной Армии, участвовавший в боях против Добровольческой и Русской армий, повстанческой армии Махно, а также в действиях по отстранению от власти меньшевистского правительства в Грузии и разоружению национальных формирований на Северном Кавказе. В годы Гражданской войны ему удалось несколько раз сыграть ключевую роль в важных событиях регионального масштаба. Благодаря прорыву его дивизии красный Царицын не был сдан в 1918 г., другой поход в 1921 г. сохранил Аджарию в составе советской Грузии.

Но редко чья жизнь целиком проходит в лучах славы и успеха: зачастую под напором внешних событий она круто меняет свою траекторию. Такая судьба была уготована и этому красному полководцу. Впрочем, жизнь хозяйственного руководителя средней руки не спасла его от расстрельного подвала.

Фигура Жлобы достаточно типична для небольшого круга лиц, возглавивших вооруженную борьбу за новую власть после октября 1917 г. Внимательное прочтение биографии этого человека поможет узнать, какие люди соответствовали смутной революционной эпохе, как они реализовали свой потенциал в годы войны, и как затем воспользовались плодами своей победы в мирное время. Почерпнутые из архивных документов детали позволяют пролить свет на трагический итог жизни красного командира, подведенный в 1938 г.

Боевой путь самого Жлобы и руководимых им соединений хорошо известен[1]. Данная статья преследует иную цель: на основе архивных документов личного происхождения выявить типичные черты командира-выдвиженца, выяснить причины популярности этой категории краскомов в РККА, раскрыть содержание отношений между командирами и бойцами, а также яркие индивидуальные черты личности Д.П. Жлобы.

Дмитрий Петрович родился 15 июня (по н. ст.) 1887 г. в Киеве в семье рабочего, по другим сведениям — батрака. Активный участник революции 1905–1907 гг., состоял в боевой рабочей дружине г. Николаева. Склонный к технике, он самоучкой освоил навыки обращения с шахтным оборудованием и работал машинистом на рудниках Донбасса. В годы Первой мировой

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 08-01-00-645а).
[1] См. напр.: *Жлоба Д.* Поход Стальной дивизии. // Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников гражданской войны. М., 1958; *Катречко Т.* Командир Стальной дивизии. Документальный очерк о Д.П. Жлобе. Донецк, 1963.

войны как квалифицированный рабочий вначале получил освобождение от призыва, но в сентябре 1916 г. за участие в рабочих волнениях[1] был мобилизован. Но на фронт не попал, так как оказался в школе авиамехаников в Москве. После Февральской революции он сразу включился в политическую жизнь; был избран членом Московского совета от школы авиаторов. Во время Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. командовал красногвардейским отрядом. В ноябре 1917 г. был направлен военным комиссаром в Донбасс, где создал шахтерский красногвардейский отряд. В январе следующего года его отряд участвовал в установлении Советской власти в Киеве. Весной 1918 г. Д. П. Жлоба принял участие в защите Ростова от немцев. С того времени вся его фронтовая жизнь протекала на территории, ограниченной Царицыным, Владикавказом, Тифлисом и Мелитополем.

Весной и летом 1918 г. Жлоба — один из командиров армии Северокавказской советской республики, затем — командир Стальной дивизии Красной Армии, которая в октябре того же года совершила 800-километровый поход от Невинномысской до Царицына. Ударив в тыл войск атамана П. Н. Краснова, дивизия помешала им взять Царицын. В 1919 г. командовал кавалерийской бригадой в составе 1-го конного корпуса Б. М. Думенко, с февраля 1920 г. — командир этого корпуса. В марте 1921 г. его 23-я кавалерийская дивизия преодолела Годерский (Кадорский) перевал и отстранила от власти в Тифлисе меньшевистское правительство, затем заняла Аджарию, которая непосредственно перед этим по секретному договору была передана Турции. С момента демобилизации в 1923 г. находился на различных хозяйственных должностях. Арестован в 1937 г. и в следующем году расстрелян.

В Центре документации новейшей истории Ростовской области сохранился архив Партизанской комиссии Северокавказского крайкома[2], членом которой многие годы был Жлоба. Бывшие красные партизаны обращались в эту комиссию, чтобы получить документы, подтверждающие их боевое прошлое. По установившейся в первые послевоенные годы традиции лучшим подтверждением участия в борьбе за советскую власть считался рассказ о наиболее памятных событиях Гражданской войны, поэтому в документах, хранящихся в этом фонде, много ярких деталей. Из писем бывших бойцов Жлобы предстает достоверный образ краскома, без ретуши и официоза. Они передают атмосферу внутренней жизни военных соединений Красной Армии. В них можно найти факты, проливающие свет на коллизии судьбы самого красного военачальника в послевоенный период; в частности, описание начала цепи событий, в конечном итоге приведших к его аресту, суду и расстрелу.

Командиры РККА делились на три основные группы: (1) профессиональные революционеры, направленные партией на формирование новой армии; (2) кадровые военные и офицеры военного времени, сознательно или под

[1] Горловско-Щербиновская стачка в мае 1916 г.

[2] ЦДНИРО. Ф. 912.

давлением обстоятельств начавшие сотрудничество с новой властью; (3) стихийно выдвинутые обстоятельствами в лидеры формирующихся вооруженных отрядов люди, чаще всего имевшие некоторый военный опыт (среди них было немало бывших унтер-офицеров царской армии).

Жлоба относился к третьей категории. Став в Москве в 1917 г. членом ВКП(б), он с мандатом партии прибыл в Донбасс. Но бумага из далекой Москвы вряд ли могла стать для Дмитрия Петровича серьезным подспорьем, если бы в нем самом не был заложен большой запас качеств, которые помогли ему собрать людей, сначала проникнувшихся к нему личным доверием, и только через это затем поверивших в ту политическую силу, которую он представлял.

На страницах писем предстает фигура красного командира Жлобы — яркого, запоминающегося, блистательного, каким он был в глазах его бойцов. Большинство этих рядовых красноармейцев — недавние сельские парни, выдернутые из колеи будничной жизни, не сильно образованные и мало что видавшие[1]. Для них бывалый Жлоба, которому в 1919 г. уже исполнилось 32 года, был опытным и знающим человеком. Кроме того, Дмитрий Петрович сознательно работал над тем впечатлением, которое он производил на массы. Поведение красных командиров находилось под пристальным вниманием их подчиненных: любому рядовому было важно знать все о том, кому вверена его жизнь. Надежен ли он, удачлив, заботлив? На убеждении в том, что командир хороший, базировалось подчинение в красногвардейских и партизанских частях. Иного мотива, удерживающего под ружьем массу рядовых бойцов, могло и не быть. Будучи сами выходцами из народа, краскомы хорошо чувствовали настроение солдат и умело меняли тактику общения: то сливаясь с массой, то возвышаясь над ней, они давали ей почувствовать всю силу своих прав на лидерство.

Д. П. Жлобе удалось создать себе эффектный имидж и выработать особый стиль поведения, который с восхищением вспоминали его однополчане. Во-первых, их поражало пристрастие командира к техническим новинкам. При его дивизии была радиоустановка, которая еще в сентябре 1918 г. была отбита у белых под Царицыным, и потом всегда находилась при штабе, пока Жлоба оставался комдивом. Только после его отстранения от командования, последовавшим за поражением под Верхнее-Токмаком (июнь 1920 г.), когда Дмитрия Петровича сменил О. И. Городовиков, «радива потеряли»[2]. В тылу Жлоба чаще всего передвигался на мотоцикле. Если мотоцикл был без коляски, то за рулем его сидел он сам. Если же командир ехал на трехколесном аналоге тачанки с пулеметом, сидя в коляске, тогда за рулем был его мотоциклист Туманов[3]. Вдоль фронта герой также передвигался на мотоцикле или на автомобиле,

[1] 70% бойцов-жлобинцев, о которых имеются соответствующие данные, были на 1919 г. в возрасте от 15 до 29 лет.

[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 2. Л. 11.

[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 280 об.; Д. 11. Л. 469.

а его любимая гнедая кобыла всюду бегала за ним. Прибыв к полю боя, Жлоба пересаживался на лошадь и вел бойцов в атаку[1]. Цвет автомобиля и мотоцикла был соответствующий — красный[2] и никакой маскировки.

Бронированный автомобиль Жлобы остался в памяти его бойцов символом спасения: во время отступления под Мелитополем в июне 1920 г. Жлоба на нем собирал бойцов, оставшихся без коней, и затем вывел остатки корпуса из окружения, пробив брешь в рядах неприятеля огнем бронеавтомобиля[3].

Красноармейцы хотели видеть своего командира храбрым, удачливым, сообразительным, доступным и требовательным одновременно. Он должен заботиться о бойцах — чтобы они были сыты и одеты, выручать их из беды и не бросать в случае ранения на поле боя или в селении, оставляемом врагу (как известно, с ранеными нередко жестоко расправлялись). Лазарет был под особым вниманием Жлобы, тем более что заведовала им его жена — Дарья Михайловна Приказчикова. Она вместе с двумя детьми 1913 и 1914 гг. рождения всю войну провела в дивизии.

Но в тылу краском мог и самодурствовать. Например, во время болезни, страдая, Жлоба чуть не пристрелил из маузера помощника лекаря Ф. П. Березовского. Спустя годы тот вспоминал об этом с чувством гордости и умиления[4]. Мог наказать плетьми за пьянство командира полка Цапенко! У Жлобы имелась красная резиновая плетка — оперативное средство воспитательного воздействия. Командир бригады Ф. И. Шевалко в автобиографии, посланной в партизанскую комиссию, писал, обращаясь к бывшему командиру: «Под местечком Бурлук после ожесточенного боя без Вашего разрешения много было расстреляно — более 50 чел. белых и зеленых, за что (я — О. М.) имел выговор по бригаде и лично от Вас хороший удар Вашей резиной и название гада» [5]. Достопамятная «резина» фигурирует и в другом письме: «Такой случай, я помню, один, когда Жлоба как отец сына (sic! — О. М.) наказал бойца за то, что он, уходя по ранению в лазарет, продал свою лошадь крестьянину, а когда вернулся выздоровившимся, стал опять требовать себе лошадь от командира»[6]. Выходит, год-два назад офицерский кулак мог вызвать солдатский бунт, теперь же наказание, принятое от «социально близкого» начальства, считалось дружеской критикой.

Командир Стальной дивизии одевался весьма изысканно для того скудного времени. Он имел особый стиль в одежде, предпочитая вещи коричневой палитры. Вот каким он запомнился одному из бойцов: «...Помнишь, как у х. Гавриловка машина молотила, ты стоял вместе со мной и шутил с молодыми девками, как ты стоял в коричневой фуражке, да кажется, и без подкладки,

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 172; Д. 9. Л. 153.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 298 об.; Д. 7. Л. 353; Д. 8. Л. 172 об., 387.
[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 371.
[4] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 8. Л. 103.
[5] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 175.
[6] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 706 об.

кожаная куртка цветом под шапку, вышитая рубашка, малороссийским поясом подпоясан был...»[1]. Зная пристрастия своего командира бойцы поднесли ему в дар захваченные в марте 1920 г. в ст. Пашковской личные вещи генерала А. Г. Шкуро — экипаж на дутых шинах, именное золотое оружие — кинжал и шашку, бешмет коричневого цвета и каракулевую папаху в тон к нему[2]. Жлоба отличался особенной любовью к коричневой палитре: все его лошади были гнедые.

Но все же подлинный авторитет командира ковался только в бою. Именно там получили признание и Думенко, и Буденный, и Жлоба. Трудно сказать, насколько лихим рубакой был последний — ни в одном из писем не описывается его поведение в сабельном бою. Зато до нас дошло немало восхищенных воспоминаний о сообразительности[3], находчивости и нестандартных поступках краскома. «Жлоба — шахтер, / Жлоба удал и хитер...» говорится в посвященной ему поэме. Словно сговорившись, его бойцы приводят одни и те же наиболее памятные случаи. Например, ночной бой в 1919 г. под х. Медвежьим, когда жлобинцы, чтобы различать в темноте своих, подобно свадебным сватам повязали через плечо справа налево белые полотенца, «сподники», — у кого что было, и шутили: «Поедем Жлобу женить»[4]. Во время тех же боевых действий на Верхнем Дону, оставшись без связи с 10-й армией, комдив воспользовался телефонной линией белых, чтобы узнать ситуацию на фронте. Связавшись с генералом Покровским по аппарату, принадлежащему захваченным штабам генерала Сутулова и полковника Голубинцева, Жлоба, выдавая себя за последнего, в ходе телефонного разговора выяснил не только расстановку сил противника, но и его намерения[5].

Усилия, потраченные военачальником на создание своего оригинального образа, не были пустой суетой или тщеславием. Они имели конкретную и вполне практическую цель. Поскольку мобилизационные части и у красных, и у белых были неустойчивыми формированиями, командиры предпочитали бойцов, вступавших в отряд добровольно. Чем же они могли привлечь их? Только своим именем, только славой командира, которому сопутствует удача, только уверенностью, что под его началом можно выжить и найти правильный путь. В этих отношениях велика роль личного доверия. Красноармейцы держались своих командиров, так как доверили им свои жизни. В одном из писем подчеркивается, что не было случая, чтобы от Жлобы ушел хоть один боец[6].

Жизненная стратегия конкретной социальной группы — мужчин мобилизационного возраста — предполагала выбор командира, с которым шансы выжить были выше. Можно говорить о существования некоего «контракта»

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 9. Л. 145.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 8. Л. 63.
[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 9. Л. 192.
[4] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 187; Д. 7. Л. 56 об., 464.
[5] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 2. Л. 11 об.
[6] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 11. Л. 165.

бойцов с командиром. Так, в 1930 г. бывшие красноармейцы, попрекая Жлобу невниманием к их нуждам, напоминали ему, как в 1918 г. они, вопреки воле командарма И. Л. Сорокина, рискуя быть расстрелянными, все же пошли за ним[1]. Вот как описан митинг, на котором был заключен этот «коллективный договор»: «...Собрал нас тов. Жлоба и стал упрашивать, чтобы мы дали согласие и[д]ти под Царицын, и говорил со слезами на глазах, и потом мы дали свое согласие...»[2]. Призывая в поход на север, Жлоба так и сказал солдатам: хотите жить, идите со мной[3]. Поэтому спустя годы ветераны считали себя вправе писать ему: «Я лилею надежду на то, что вы придете мне на помощь, хотя [бы] советом, и, таким образом, то, что нам обещали, когда мы дрались, наши вожди, теперь будет истинным делом»[4].

Контракт на защиту революции заключался в представлении рядовых бойцов не с Лениным или Троцким, а с конкретным командиром отряда на митингах и при личном общении. Своей победой большевики во многом были обязаны командирам низшего и среднего звена, которые благодаря личным качествам привлекали людей в свои отряды. Вероятно, иметь доверие к командиру было чрезвычайно важным для солдат. Эта потребность соответствовала устоям внутреннего духовного мира простого мужика, нуждавшегося в твердой опоре в меняющемся на его глазах мире. Видимо поэтому искренне любившие Думенко бойцы Конного корпуса точно также полюбили потом и Жлобу[5].

Но для того, чтобы командир был признан настоящим, он должен обязательно побеждать врага. Например, когда после отзыва Жлобы бывшую Стальную дивизию «забрал» Буденный, после нескольких поражений солдаты ушли с фронта и отправились искать прежнего удачливого командира[6].

Образ военного вождя состоял из его реальных личных качеств и из приписываемых ему в связи со статусом. Считалось, что хороший командир добивается успеха не только вследствие военного таланта, но и потому, что удачлив. Своей удачей он делился с другими, когда выступал в качестве гаранта побед и выживания. Неслучайно гибель или пленение командира могли вызывать панику в частях[7]. Солдатская масса начинала чувствовать себя не только обезглавленной в тактическом смысле, но лишенной защиты и покровительства.

В письмах часто встречается такое обращение к Жлобе: «отец родной», — при том, что он родился в 1887 г. и принадлежал к среднему поколению. г. Деревянко называл его «отец-полководец», хотя сам был 1879 г.

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 132.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 9. Л. 192.
[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 12.
[4] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 492.
[5] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 370.
[6] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 483 об.
[7] См., напр.: ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 11. Л. 18.

рождения — на восемь лет старше своего командира[1]! Примерно половина бойцов Стальной дивизии была 1890–1899 гг. рождения, поэтому понятие «отец» отражает не отношение поколений, а нечто иное. Один красноармеец так сформулировал свой патерналистский взгляд на командира: он — слуга пролетарского государства, но отец солдатам, которые в его распоряжении[2].

Ощущение воинской части как единого организма, сердцем которого был наделенный многими рациональными и иррациональными функциями командир, цементировало наиболее стойкие соединения Красной Армии с невысоким процентом дезертиров и перебежчиков. Роль в победе красных таких народных командиров, как Б. М. Думенко, С. М. Буденный, В. М. Примаков, А. Я. Пархоменко, Ф. К. Миронов, сам Жлоба, и других талантливых военачальников, трудно переоценить. Но вызывает много вопросов отношение к ним центрального руководства РККА, которое часто отзывало их из «родных» дивизий и полков, назначало на другие участки фронта, охотно верило доносам на них, санкционировало аресты и смертные приговоры.

Жлоба за годы Гражданской войны дважды прошел через опалу и однажды был участником расправы над неугодным. Рассмотрим эти чрезвычайно любопытные случаи, тем более что бесхитростные рассказы очевидцев реконструируют не только детали событий, но и намекают на их реальные причины.

В первый раз опала Жлобы носила совершенно незаслуженный характер, так как она наступила после полного триумфа, который и был ее же причиной. Тогда, в сентябре-октябре 1918 г., он, ослушавшись своего командира — командующего 11-й армией И. Л. Сорокина, подчиняясь приказу штаба 10-й армии, перешел со своей дивизией от Невинномысской к Царицыну и ударил в тыл белым, чем сорвал их новое наступление на Царицын. В ознаменование этого, 29 октября 1918 г. на ст. Тундутово наркомвоенмор Л. Д. Троцкий принял парад дивизии. Бывший доброволец Ф. Бондаренко написал в своей автобиографии: «После долгих боев к нам приехал тов. Троцкий поздравить нас с победой,... он говорил: “Молодцы ребята, я видел железные, чугунные и медные отряды, а это Стальная”, и так наш отряд переименовался в 1 Стальную ударную дивизию, а наш полк, так как трудно было выговаривать Пшехо-Таганрогский военно-морской полк, он переименовал, назвал своим, полк им. тов. Троцкого, после чего нам давали в награду подарки некоторые вещи, как-то парсигары, часы и денгами...»[3]. Другой полк стал носить имя Жлобы.

Но через две недели после знаменательного парада, в ноябре 1918 г., Жлоба был отозван в Москву. Инициатором этого отзыва в Москву одни называют командующего 10-й армией К. Е. Ворошилова, другие — самого Троцкого. Вероятнее второе. Наверняка председатель Реввоенсовета республики увидел

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 486.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 4. Л. 35 об.
[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 205.

тревожные симптомы в том обожании своего командира, которое демонстрировали бойцы Стальной дивизии. Все это напоминало опасную «батьковщину». Случалось, что подлинно народные командиры были опасны для Советской власти: они могли изменить свою политическую ориентацию и, пользуясь своим непререкаемым авторитетом, увести бойцов в другой лагерь, как бывало не раз в истории той войны. В Москве Троцкий предложил Жлобе принять под командование часть на Украинском фронте, но тот отказался. Однако вернуться в свою дивизию Дмитрию Петровичу также не позволили. Ему было разрешено отбыть в трехмесячный (!) отпуск с формулировкой «на лечение». Лечение Жлоба принимал далеко не в самом курортном месте — в Астрахани. Но местные чекисты не оставили его в покое. В декабре 1918 г. героя арестовали, но потом освободили (однако бывшего начальника его штаба Лебедева расстреляли) и разрешили формировать особый партизанский отряд Каспийско-Кавказского фронта для действий в тылу белых[1].

Вторая опала относится ко времени боев против П. Н. Врангеля. Она была следствием сокрушительного поражения 13-й армии, нанесенного ей Донским корпусом генерала Слащева 20 июня 1920 г. близ С. Верхнее-Токмак под Мелитополем. Хотя белые потрепали все соединения 13-й армии, почему-то именно Жлоба стал главным виновником краха. Как следует из анализа тех боев, первоначально наступление корпуса Жлобы было чрезвычайно удачным, что и вызвало стремление белых сосредоточить основной удар против него. Ударные силы противника составляли 4000 кавалеристов, несколько бронемашин, 12 самолетов. Завязались упорные бои, которые продолжались двое суток. Тактикой уклонения от ударов авиации кавалерия красных тогда не владела. Она несла тяжелые потери, неоднократно нарушала боевой порядок, но затем восстанавливала его, пока в итоге отступление окончательно не приобрело панический характер.

Бывший военный шифровальщик штаба корпуса А. И. Боярчиков в воспоминаниях, написанных в 1970-е гг. и изданных после его смерти в 2003 г., подробно воспроизводит события под Верхнее-Токмаком. Он утверждает, что директива о наступлении была передана за подписью Уборевича. Он лично ее дешифровывал, там было указано время наступления и предписано после прорыва фронта белых поворачивать на северо-запад для соединения со стрелковыми частями с тем, чтобы взять белых в котел. Но позже оказалось, что стрелковые части приказа о наступлении не получали, конные полки приняли их за вражеские и открыли по ним огонь. Прибывшая для расследования комиссия выявила также, что наступление было начато раньше, чем было предписано приказом. Переживший тяжелый лагерный опыт Боярчиков считал произошедшее сознательным вредительством со стороны И. В. Сталина — члена РВС Южного фронта, который уже тогда готовил свой собственный список героев Гражданской войны.

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 11. Л. 162 об., 167 об.

Прошедшие через это сокрушительное поражение бойцы в письмах многократно возвращались к этим событиям. Д. Н. Сычев дал короткое, но драматическое описание атаки врангелевцев и отступление корпуса Жлобы: «Аеропланы. Бронепоезда. Бронемашины. И начали нас чистить, обчим больше писать много не стоит, вы хорошо сами знаете, как мы отступали на заходе солнца. И вы хорошо знаете это отступление... И как было дело в вашем автомобиле. И как мы собрали остатки роскоши корпуса; и мы потеряли корпус»[1].

В этом поражении бойцы не винили своего командира, его поведение оценивалось очень высоко. Причину поражения они видели в налете восемнадцати (в действительности 12-ти) неприятельских аэропланов, наделавших панику в частях; в том, что «проспали белых»; в предательстве начальника связи, который ночью перебежал к неприятелю; в присылке «научно [и]спеченных командиров» и их вмешательстве в командование[2].

Но вслед за белыми военачальниками, давшими уничижительную оценку роли Жлобы в этом сражении, современная научная и художественная литература считает поражение под Верхнее-Токмаком свидетельством его полководческой бездарности. Впрочем, в Гражданской войне отступали все, поражения и неудачи были практически у всех командиров — и белых, и красных. Но этот случай стал поводом для оттеснения Жлобы из рядов ведущих военачальников Красной Армии на второй план. Один из рядовых красноармейцев верно уловил в 1928 г. развивающуюся ситуацию: «...И этот... проклятый случай оттянул наш авторитет, олицетворяемый тов. Жлобой, в нисшие ряды, т. е. во вторые против тов. Буденного, хотя и у него была “засыпка” на польском фронте»[3]. Разумеется, причина была в ином — у командира Стальной дивизии имелись недоброжелатели среди тех, кого послевоенные события вынесли на вершины советской иерархии.

Взаимоотношения внутри командного состава РККА были далеко не товарищескими. Соперничество, обиды, ревность к заслугам и поощрениям, интриги и кляузы являлись нелицеприятной действительностью новой армии. Неоднократно сам Жлоба становился мишенью для выпадов завистников. Кузьмин, бывший комиссар военных сообщений Каскавфронта, напоминает Жлобе обстоятельства его службы в 1919 г.: «Вам хорошо памятны все недоразумения с Вами и РВС Каскавфронта исключительно происходившими только потому, что Вы были очень популярны среди бойцов. Вы хорошо помните Шляпникова, Баландина, Свечникова, Мехоношина и др., которые хотели штабной тыловой работой создать себе славу...»[4].

Но и Дмитрий Петрович был небезгрешен. В начале 1920 г. он принял деятельное участие в отстранении от командования и аресте Б. М. Думенко.

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 371.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 371, 500; Д. 6. Л. 682; Д. 11. Л. 113, 425 об.
[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 500.
[4] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 10. Л. 135.

Истоки их взаимной неприязни, вероятно, следует искать в событиях осени 1918 г., когда Стальная дивизия после отзыва Жлобы в Москву была передана под командование Думенко. Часть бойцов настолько бурно выражала неприятие нового командования, что со стороны Думенко могло зародиться чувство ревности.

В 1919 г. военная судьба свела Жлобу и Думенко в составе Сводного конного корпуса. Отдельные моменты драматического обострения отношений проясняются по воспоминаниям рядовых бойцов. К.А. Бондарь писал, что незадолго до ареста Думенко была какая-то ссора из-за автомобиля между Жлобой, с одной стороны, и Думенко и начальником штаба Блехертом, с другой[1]. Резкую реакцию Думенко вызывали попытки командиров бригад и полков участвовать в планировании предстоящих операций и разборе причин неудач: «Комкор Думенко говорил в оперативной записке тов. Жлобе, когда наступали с Манычско-Балабинского на х. Веселый: “В учителях я не нуждаюсь”...»[2]. О бурном совещании в х. Лихом, когда «Думенко стучал себе в грудь», а командир бригады Лысенко «задавал ему вопрос», вспоминает К.Н. Степанов, начальник артиллерии корпуса[3].

Настоящий взрыв последовал после неудачной попытки форсирования р. Маныч у х. Веселый в январе 1920 г. Наступление должны были начать 1-я и 3-я бригады, стоявшие по флангам, а находившаяся в центре 2-я оставалась в резерве. 1-я Партизанская бригада Жлобы наступала успешно, но через некоторое время 3-я начала отступать — сначала организованно, потом в панике. Выдвинутая резервная бригада была встречена огнем белых и также стала отступать за р. Маныч. Тогда все силы белых, сконцентрировав удар на 3-й бригаде, обратили и ее в бегство. Вся артиллерия была брошена, во время панической переправы через Маныч многие бойцы утонули. Думенко, располагая резервами, не ввел свежие силы, чтобы остановить отступление. Это бездействие и стало основанием для обвинения[4]. В интерпретации бойца М.В. Мелешко поведение комкора выглядит так: «Думенко хотел с позором нас продать», потому что не пришел на помощь; бойцы слышали слова Думенко о 1-ой бригаде: дескать, «если залезла за Маныч, то пусть сама и вылазит»[5]. Когда ей удалось вырваться из кольца и вернуться на правый берег реки, Думенко хотел арестовать Жлобу за отступление без приказа. Жлоба отправился в Ростов и вернулся с приказом об аресте Думенко[6].

Случившееся вскоре убийство комиссара корпуса В.Н. Микеладзе не упоминается в письмах как причина ареста Думенко, так как для красноармейцев был куда важнее тот факт, что комкор не пришел на помощь своим

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 7. Л. 500 об.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 500.
[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 237.
[4] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 11. Л. 62.
[5] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 4. Л. 682.
[6] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 4. Л. 682.

бойцам. Поэтому версия трибунала о подготовке мятежа и перехода на сторону Деникина легко легла на их сознание.

Но, как свидетельствуют письма ветеранов, трения между Жлобой и Думенко определенно существовали. Создается впечатление, что межличностные столкновения между красными командирами были явлением типичным и привычным, а бурные совещания, когда субординация не соблюдалась, а мнения высказывались прямо, не были редкостью. И поведение Жлобы, поездка с доносом в Ростов, вполне вписывается в нормы взаимоотношений внутри РККА.

Сюжетная линия Жлоба — Ворошилов не менее интересна как сама по себе, так и для интерпретации дальнейших судеб этих людей. Осенью 1918 г. под Царицыным закручивались тугие спирали непростых отношений между многими красными командирами. В оставшейся без командира Стальной дивизии ситуация развивалась динамично.

Его исчезновение для бойцов было загадкой, об этом ходили разные темные слухи. Сначала в дивизию приехал Ворошилов, и с ним вышел «конфликт вроде недоверия». «Жлобы не стало, он уехал в Астрахань, а у нас стал командовать т. Ворошилов; не помню в каком хуторе на позиции бросились пехотинцы в панику, где Ворошилов стуча[л] в грудь себя и кричал, я ваш командир X армии, ему в упрек отвечал наш пулеметчик, даешь Жлобу, батьку нашего, и там застрелилось 7 чел. от паники в присутствии Ворошилова». В.Н. Ищенко вспоминал: «Неудачное наступление со Стальной дивизией и командование тов. Ворошилова нас привело в возмущение. Как ни наступление, так мы жлобинцы терпим поражение в то время, когда мы всегда побеждали противника. И вот... бросаем фронт и идем выручать своего незаменимого командира тов. Жлоба. 1-й бой приняли со своими Чека, чикнули Чека и пошли дальше...»[1].

Солдату Ивану Гуторову так запомнились эти события: «[После парада] нашего командира ни стало [...] ...мы остались как сироты, дали нам другого командира, и дело пошло вниз. Стали нас в Царицыне призерат как каких бандитов... два бронивика заставили сложить оружие, мы долго не давались, но ничиво не сделали. Отправили... в казарму, диржали как бандитов, я... спрашивал, за что это так нас призирают, нихто ни знают...». Дивизию расформировали за то, что бойцы взбунтовались против нового командования, требовали узнать судьбу Жлобы, даже хотели сняться с фронта, чтобы идти на Владимировку, потому что знали, что Жлоба находится там. Но их не пускали, и они были «чуть ли не в плену у своих». Солдаты стали разбегаться из новых частей[2].

С тех пор отношения с Ворошиловым были сложными. Членами комиссии, занимавшейся расследованием поражения под Верхнее-Токмаком, были Р.С. Землячка, Г.И. Бокий и Ворошилов. Давний недоброжелатель мог повлиять на решение об отстранении Жлобы от командования Сводным конным

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 118 об., 135; Д. 9. Л. 145 об.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 616 об., 439 об., 393, 553; Д. 7. Л. 483 об.

корпусом. После этого Дмитрий Петрович был направлен в 18-ю кавалерийскую дивизию Куришко, а когда тот погиб, командовать дивизией назначили Жлобу. В марте 1921 г. дивизия в полном составе с артиллерией совершила переход через Кавказские горы в Грузию, в результате чего Закавказье было занято красными частями. 9 марта 1921 г. Жлоба занял Батум, который местное меньшевистское правительство по секретному соглашению уступило Турции. За это Жлоба был награжден от лица новой советской власти Грузии золотым революционным оружием.

Оба ордена Красного Знамени Жлоба получил уже после фактического прекращения Гражданской войны на европейской территории страны — в 1921 г. и в сентябре 1922 г.

Сражавшиеся за счастливую жизнь бойцы после демобилизации оказались в сложном положении. В стране царили голод и безработица. Многим из недавних красноармейцев было негде жить и нечем заняться. Самого Жлобу можно отнести к немногочисленной категории благополучных ветеранов Гражданской войны. Хотя сам факт демобилизации из РККА в 1923 г. — это симптом и сигнал. Увольнение из армии рассматривалось командирами как обида! И если оценить динамику в целом, то послевоенная карьера недавнего краскома характеризуется дальнейшим понижением статуса.

В течение пяти лет, до 1928 г., у Дмитрия Петовича все было благополучно. Руководил Помголом, а затем и Последголом. С 1925 г. он — председатель Комиссии по улучшению быта детей на Северном Кавказе и член Комиссии помощи демобилизованным красноармейцам и бывшим красным партизанам, член Северокавказского Крайисполкома. С 1927 г. возглавлял Крайколхозобъединение. Зарплата Жлобы только как председателя деткомиссии в октябре 1925 г. составляла 180 руб., плюс оклады за другие должности, в то время как пенсия рядового милиционера — всего 15 руб. Материальный уровень семьи героя Гражданской войны был существенно выше среднего по стране. Далеко не каждый нэпман мог похвастаться тем же.

Живя до 1929 г. в Ростове, Жлоба занимал квартиру в гостинице «Московская». Вернувшийся домой в станицу из Ростова бывший подчиненный писал ему, что по возвращении все спрашивали у него, как живет их бывший командир, а то ходит слух, что он занимает целый княжеский дом и «ни до кого не признается». Корреспондент отчитался перед Жлобой, что он этот слух развеял, рассказав, что бывший командир занимает лишь квартиру в огромном доме, хотя и богатую. Он обосновывал право Жлобы на эти привилегии тем, что «народ умеет ценить народных героев», и простодушно добавил: «Многие этому даже рады»[1].

Свою новую жизнь представители новой элиты строили в соответствии со своими представлениями о жизни элитарного слоя. Что могло быть эталоном в этом случае? Конечно, образ жизни дворянского сословия. После

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 17.

демобилизации Жлоба осел в местах прежних боев. В ст. Павловской в одной из бывших помещичьих экономий было организовано одно из первых коллективных хозяйств — артель «Агрокультура». Многие ее члены были бывшими красными партизанами из дивизии Жлобы. Хозяйство специализировалось на разведении сортовых саженцев плодовых деревьев. В нем были также и животноводческие фермы, и поля зерновых культур. Во всех отраслях хозяйства ставка была сделана на высокую культуру аграрного производства. Сам Жлоба часто бывал в станице и имел там дом. В переписке с правлением артели он постоянно обсуждал внутренние дела товарищества, давал указания в отношении ведения хозяйства и по кадровым вопросам. Его участие в делах артели было настолько плотным, что в соответствии с казачьей традицией усадьба питомника в обиходе часто называлась «хутор Жлоба». В Павловской он вел помещичий образ жизни, как страстный охотник держал породистых собак стоимостью до 30 руб.

Известно, что курсы техников по обслуживанию аэропланов — это единственное серьезное образование Дмитрия Петровича. Но он хорошо схватывал новую информацию, быстро вникал в дело. Обладал развитой интуицией, любил необычные вещи, был неравнодушен к «шикарной жизни». Сохранилась записка о ремонте его двух мелкокалиберных пистолетов «Монте-Кристо»[1] — редкой и бесполезной игрушки. Жлоба любил технику, в 1920-е гг. имел собственный мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», на котором ездил по подведомственным объектам и совершал путешествия. У детей Жлобы был домашний учитель иностранных языков — певец в. Бернарди, который позже переехал в Москву и пел в Большом театре.

Жлоба неплохо рисовал, но не обладал эрудицией, читал мало. Писал с ошибками, зато с претензией на интеллигентность по части стилистики. Вот пример его лексики — характеристика одного из подчиненных, продиктованная им лично 7 сентября 1926 г.: «Вследствии вспыхнувшего огня **революции**, стал на защиту соввласти в ряды таковой **добровольцем**, и вполне отдавал политически отчет, не считаясь с трудностями и стоящими перед ним боевыми проблемами, исходящими от высшей инстанции **командования**, шел в рядах Вверенного мне корпуса, впереди как **красный командир** и благодаря его **энтузиазма** и умелой организации, в бытность свою **до** конца своей **демобилизации** пользовался со стороны своих бойцов полной **симпатией**. [...] ...тов. Аверин всегда был в **рвении** на военный **фронт**, для дальнейшей борьбы на предмет достижения скорейшего результата Общей победы над **врагом**»[2].

Ему много писали те, кто не смог устроиться в мирной жизни, просили помочь найти работу, дать небольшую сумму денег в займы. И Жлоба

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 6. Л. 10.

[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 10. Л. 448. Стиль и орфография оставлены без изменений.

действительно многим помогал. Штаты большинства контор, он которые возглавлял, формировались из ветеранов его дивизии. «Вы единственный человек быть может на всю Россию, который не считаясь со своим положением не загородили себя стеной бюрократизма» — писал Дмитрию Петровичу один из просителей[1]. Из своих личных средств Жлоба оплатил оркестр на похоронах однополчанина. Судя по общей тональности писем, общение бывшего командира с бывшими бойцами отличала особая душевность.

В 1920-е гг. стала складываться традиция совмещения нескольких должностей, частого перехода с одной должности на другую («для укрепления») без учета профиля и характера работы. Подобная напряженная работа требовала переключения внимания с одного вопроса на другой. Это было нелегко и требовало от служащих большой самоотдачи, что считалось нормой и соответствовало идеалам той эпохи. Нужно было гореть на работе, чтобы потом с чистой совестью сказать вечером: сегодня я сделал для революции все, что мог.

С 1927 г. в качестве руководителя Крайколхозобъединения Жлоба занимался поддержкой возникающих коллективных товариществ, внедрением в них новых прогрессивных технологий, популяризацией идей объединения крестьянства в колхозы. Несмотря на то, что линия на сплошную коллективизацию еще не была провозглашена, приоритетное значение коллективных хозяйств уже подчеркивалось тем, что в условиях малоземелья, которое не было ликвидировано революцией ни в регионе, ни в стране в целом, земли из Госфонда выделяются только коллективным товариществам по обработке земли. Исключение не делалось даже в отношении ветеранов борьбы за Советскую власть. И.И. Попов из С. Подкущевка писал: «Говорят, что Советская власть кредитует только коллективные хозяйства... Но кто должен кредитовать людей, окалечившихся в борьбе за эту самую соввласть...? Ведь в колхозе инвалид II группы, с активным процессом (туберкулеза — О.М.) и тем более припадочному делать нечего»[2].

В фонде не обнаружено ни одного письма, написанного до 1930 г., свидетельствующего об успешном ведении дел в коллективных хозяйствах. Единственное позитивное письмо, принадлежащее члену колхоза К.В. Кононенко (март 1928 г.), рассказывает о впечатлении, которое произвел на упавших духом колхозников приезд Жлобы как председателя Крайколхозобъединения. Он раздал беднякам, состоящим в коллективе, лошадей, железные плуги и сеялки. И «беднота... взрадовалась кабы еще раз приехал тов. Жлоба а буржуй пузы попритрусили уши опустили. Беднота растет на всю»[3], — восклицает колхозник.

Гораздо больше писем о проблемах коллективных хозяйств. Жаловались, например, на получение в виде кредита некачественного посевного материала. В 1920-е гг. колхозы работали в условиях хозяйственного расчета. Поэтому случались такие ситуации как в ТОЗе «Лихой красный партизан» (ст. Лабинская) в 1928 г. Бывший комиссар 3-й кавбригады В.И. Мосейко, став его членом, внес в качестве взноса свою единственную лошадь. Но председатель («Орлов фулиган») «перекредитовался», и теперь их «конями ликвидкомиссия покрывает Госкредит»[1].

Как оказалось, в силу ряда объективных и субъективных причин люди были неспособны согласованно строить коллективную работу. Одной из главных причин этого являлись действия выборного руководства, зачастую начинавшего творить произвол, как в отношении рядовых членов коллектива, так и общей собственности. Председатель артели «Пламя новой жизни» применял штрафы и аресты к ее членам! Для этого он организовал карцер при правлении. Члены ТОЗов делились на противоборствующие группировки, обвиняли друг друга во всех грехах, писали доносы в разные инстанции. Те, кто критиковал руководство колхозов за их «бесхозяйство», под разными предлогами изгонялись из коллективов. Исключение из членов коллектива являлось очень мощным средством расправы с недовольными, ведь земельный надел назад не возвращали. Целые семьи находились под угрозой голода. Не только наделы, но даже заработанные деньги и натуральные выплаты по решению общих собраний выбывшим из товариществ не выплачивались.

Получая такие отчаянные письма о проблемах коллективных хозяйств, постоянно разбирая склоки и конфликты в своем питомнике, Жлоба, тем не менее, выступал с лекциями об успехах колхозного строя. Очарованные его речами люди просились на работу в эти замечательные коллективы будущего, как, например, один готовящийся к демобилизации солдат родом из Белоруссии.

1928–1929 гг. стали для Жлобы периодом кризиса. С лета 1928 г. Дмитрий Петрович находился в длительном отпуске и жил в Павловской. Причины этого изгнания с ответственных должностей связаны с инспекцией колхозов Северокавказского края, проведенной в связи с тем, что весной 1928 г. был сорван план хлебозаготовок. Особенно безрадостная картина открылась проверяющим в Кубанском округе. Протоколы заседаний бюро Северокавказского крайкома ВКП (б) содержат безрадостные факты — аналогичные тем, что сообщали Жлобе авторы тревожных писем[2], в ответ на которые он бездействовал. Окружком встретил критику комиссии в штыки, и за ней последовали «оргвыводы»[3]. За непонимание линии партии в деревне с должностей было снято несколько лиц, в том числе и бывший командир 18-й дивизии.

На подрастерявшего влияние героя войны тут же, как падальщики, налетели недоброжелатели. Об одном таком мелком, но показательном инциденте с агрономом питомника артели «Агрокультура» С.М. Объедовым,

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 10. Л. 134.
[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 629.
[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 251. Стиль и орфография оставлены без изменений.

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Л. 555.
[2] ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 673. Л. 89, 92, 97, 103–106.
[3] ЦДНИРО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 678. Л. 30–31.

произошедшем осенью 1928 г., рассказывает письмо Жлобы, адресованное Розалии Землячке[1]. Причина конфликта не совсем ясна, формально Жлоба упрекал агронома в неисполнении служебных обязанностей. Но Объедов нашел в Павловском райкоме партии людей, которые его поддержали, причем высказанное мнение о том, что «Жлоба — чуждый партии и советской власти элемент», сопровождалось слухами о его скором аресте. Ведущую роль в событиях играла жена Объедова. Эта женщина широко оповещала общественность о своих связях с такими авторитетными в партии и правительстве людьми, как Бухарин, Рыков и Землячка. По сведениям же Жлобы, в 1920 г. она состояла в браке с подданным Латвии Линде, что и дало Дмитрию Петровичу повод объявить ее шпионкой, засланной для дискредитации партийцев[2].

Празднования 11-летия революции проходили без участия Жлобы. О герое войны словно забыли. В прессе отсутствовали упоминания о нем, о его дивизии, и это вызывало удивление его бойцов. Один из ветеранов подал ему идею, что для восстановления статуса было бы полезно написать мемуары, что Жлоба и сделал. Но в последующие годы забвение роли его частей в Гражданской войне продолжалось. В 1930 г. вышел фильм «Первая Конная армия». Там, по выражению одного бывшего красного партизана, было два действующих лица — «Семен да Клим». Жлобинцы явно желали, чтобы их командир восстановил свой статус героя, ведь это удар и по их позициям. В 1931 г. один из ветеранов сокрушенно сетовал: «Мы жлобинцы здесь не видны только одна здесь торжествует 1-я Конная армия [...] ...на празднике 13 годовщина Красной армии кругом лозунги: “да здравствует Арганизатор Красной Армии т. Апанасенко и его бойцы”, а о нас и вспомину нет... нам нет всем хорошего места, а нам одна должность сторож или конюх, да и то трудно найти»[3].

После года вынужденного безделья, летом 1929 г., Жлоба был поставлен во главе нового учреждения — «Плавстрой», в дальнейшем переименованного в «Кубрисострой». Его задача состояла в проведении мелиоративных работ по осушению плавней на Кубани. Планировалось создание мощной оросительной системы, которая позволила бы заниматься возделыванием риса на огромных площадях. Бывший комдив стремился вникнуть в инженерные проблемы нового дела. Он имел навыки чертежной работы — сохранились сделанные им планы ирригационных сооружений.

Проблем в «Плавстрое» было не меньше, чем в колхозах. Они носили тот же характер — некомпетентность рабочих и специалистов, массовые

[1] Отношения с Р.С. Землячкой имели свою историю. Она была членом правительственной комиссии, которая должна была расследовать причины провала наступления под Мелитополем; главные обвинения были предъявлены Д.П. Жлобе — в партизанщине и самовольном изменении времени начала наступления (*Боярчиков А.И.* Воспоминания. М., 2003. С. 65).

[2] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 5. Л. 626.

[3] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 9. Л. 308. Стиль и орфография оставлены без изменений.

хищения, постоянные склоки, сведение мелких счетов, пьянство. Заработок у плавстроевцев был мизерным, ведь работы велись вручную, соответственно и выработка была низкой. Импортная техника — американские трактора и экскаваторы — была получена только в 1930 г.

Условия жизни рабочих были ужасными. Как писал домой один из молодых рабочих, в общежитии «ведется сильное воровство, друг у друга воруют, а потом начинаются драки за украденные вещи. Просто безобразие, одно хулиганье»[1]. Автор письма К.И. Колебошин просит отца высылать ему хотя бы 5 руб. в месяц, чтобы он мог снимать угол и питаться у хозяйки. Его отец, бывший сослуживец Жлобы, переслал письмо сына начальству, чтобы оно знало о том, что происходит. Контингент работников был трудный, много безнадзорных подростков. Работа с ними велась по традиции, сложившейся со времен заведования Деткомиссией края. В официальных документах этот профиль деятельности героя Гражданской войны покрыт известным глянцем: собирал беспризорников, кормил, обувал, одевал и обучал их специальности за свой счет. Но эпистолярные источники демонстрируют, какое сопротивление оказывал этот человеческий материал всякой культуртрегерской идее. Ученики получали на стройке казенные сапоги, шубы, аванс и тут же все это пропивали. Ведь они пришли в «Плавстрой», чтобы только перезимовать.

Среди специалистов-гидротехников встречались чуть ли не самозванцы. Работа одного из них была аннулирована, потому что оказалась сделанной крайне непрофессионально. Администрация подала на него в суд за растрату государственных средств.

Первые годы работы на Кубани были для Жлобы очень сложными. В течение нескольких лет он с семьей жил в двух комнатах в краснодарской гостинице «Центральная». Затем получил квартиру в доме по ул. Пушкина, где жили многие хозяйственные и партийные функционеры. Его дети ходили в лучшую школу города. Постепенно дела в «Кубрисострое» налаживались. Жлоба укрепил пошатнувшийся было авторитет. Краснодарская табачная фабрика стала носить его имя. Она выпускала отличные папиросы, на каждой из которых был золотом изображен его портрет.

Жлоба целиком ушел в хозяйственную сферу деятельности, демонстрировал полную лояльность новой партийно-номенклатурной элите. Обладая той же системой мировоззрения, что и большинство искренних приверженцев Советской власти, он принял участие в разоблачении «врагов народа». Известно, что донос на 1-го секретаря Краснодарского ГК ВКП(б), бывшего лидера ЦК РКСМ Оскара Рывкина написан им. А ведь семьи краснодарских функционеров Жлобы и Рывкина проживали в одном доме. Но в апреле 1937 г., во время командировки в Москву, был арестован и сам Жлоба, как «главный организатор и командир повстанцев на Кубани», готовящих свержение Советской власти в крае.

[1] ЦДНИРО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 8. Л. 334–338.

Бывшая соседка семьи Жлобы Р. Сыроватская рассказала врачу И. Э. Акопову об обстоятельствах обыска в квартире Жлобы. Сын Жлобы Константин пытался повторить легендарный «подвиг» Буденного: бросился к оружию, чтобы выгнать чекистов из квартиры, но его быстро успокоили, и начался обыск[1]. После ареста Дмитрия Петровича были арестованы и члены его семьи. По воспоминаниям болгарской коммунистки Баласки Добриевны Ерыгиной, в Армавирской тюрьме она находилась в одной камере с дочерью Жлобы Ларисой и женой О. Рывкина[2]. Но ей и брату удалось выйти из тюрем и дожить до преклонного возраста.

10 июня 1938 г. в г. Краснодаре на закрытом заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР был оглашен приговор «кубанским повстанцам». Всех подсудимых приговорили к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества. В тот же день Жлоба и другие фигуранты дела были расстреляны. Реабилитация Дмитрия Павловича произошла 30 мая 1956 г., а в 1960 г. одна из улиц Краснодара была названа его именем.

Расхожая версия о том, что целью сталинских репрессий было уничтожение революционных романтиков, в данном случае не подтверждается. Очевидно, что от природы талантливый и амбициозный Жлоба воспринял и использовал революцию как возможность подняться на новые этажи социальной иерархии. Краском с упоением воевал в Гражданскую войну. Он не был особенно кровожадным, но состояние органичности в боевой обстановке, по которому узнаются «люди войны», позволяет отнести его к этой категории. Истинный харизматик, он любил тех, кто любил его — своих бойцов. И даже тогда, когда ему уже и не надо было решать их проблемы, он продолжал делать это. Для него это словно было платой за возможность вернуть то время, о котором с ностальгией вспоминал не только он, достаточно благополучный и устроенный, но и те, кому гражданская война не дала ничего, кроме ран. Жлоба был предан Советской власти, потому что связывал с ней открывшуюся для него возможность стать членом новой касты. Он определенно не был романтиком, как не был до конца и прагматиком. Дмитрий Петрович воевал за революцию потому, что чувствовал, что она делается для него. Более всего он любил *«себя в революции»*. Когда случались конфликты между ним и новой властью, он недоумевал, но здравый смысл позволял ему находить пути восстановления контакта до тех пор, пока не наступил 1937 г.

[1] *Акопов И. Э.* Все так и было... (Наброски воспоминаний) / Под ред. В. И. и А. И. Акоповых. Ростов-на-Дону, 2003. С. 124.

[2] Информация предоставлена д. и. н. А. Ю. Рожковым (г. Краснодар).

Сокращения

АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею

ВДИ — Вестник древней истории

ВИ — Вопросы истории

ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины

ВМОИДР — Временник московского Общества истории и древностей российских при Московском университете

ГАРО — Государственный архив Ростовской области

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации

ДВ — Донской временник

ДВВ — Донские войсковые ведомости

ЗООИД — Записки Императорского Одесского общества истории и древностей

ЗСКОАИЭ — Записки Северо-Кавказского краевого общества археологии, истории и этнографии

ИЗ — Исторические записки

ИЛ — Иностранная литература

ИРОМК — Известия Ростовского областного музея краеведения

КБН — Корпус боспорских надписей

КСИА — Краткие сообщения института археологии

НЛ — Новый летописец

ННИ — Новая и новейшая история

ОИ — Отечественная история

ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства

ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси

ПСЗ (I) — Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. (Первое)

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

РБС — Русский биографический словарь

РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив

РГИА — Российский государственный исторический архив

РИБ — Русская историческая библиотека

СА — Советская археология

Сб. ВИМ — Сборник военно-исторических материалов

Сб. РИО — Сборник императорского Русского Исторического Общества

СВ — Средние века

СИЭ — Советская историческая энциклопедия

СККДР — Словарь книжников и книжности Древней Руси

СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук

ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) Российской Академии наук

ЦДНИРО — Центр хранения документации новейшей истории Ростовской области

ЧОИДР — Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете

AAA — Acta Apostolorum Apocrypha

Annales E. S.C. — Annales. Économies, Sociétés, Civilisations

CPh — Classical Philology

CSPD — Calendar of the State Papers, Domestic Series

CSPF — Calendar of State Papers, Foreign Series, of the Reign of Elizabeth

DNB — The Dictionary of National Biography

EHR — The English Historical Review

OSP — Oxford Slavonic Papers

SEER — Slavonic and East European Review

FHG — Fragmenta historicorum graecorum

G&R — Greece and Rome

NH — Naturalis historia

PL — Patrologia Latina

RGDA — Res Gestae divi Augusti

Сведения об авторах

Аваков Петр Ашотович — заведующий отделом Аксайского военно-исторического музея, аспирант Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Апрыщенко Виктор Юрьевич — к. и.н., доцент Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Бражкина Анна Владимировна — главный редактор серверов Africana.ru и RADS.ru, ответственный секретарь Российско-Африканского делового совета.

Васьков Максим Александрович — к. и.н., докторант ИППК Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Винокурова Марина Владимировна — д. и.н., ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Гаврилов Сергей Николаевич — к. и.н, доцент Обнинского государственного технического университета атомной энергетики.

Гиренко Юрий Анатольевич — к. и.н., независимый политический аналитик (Москва).

Дегтярева Мария Игоревна — к. и.н., Институт всеобщей истории РАН.

Ермаков Александр Михайлович — к. и.н., доцент Ярославского государственного педагогического университета.

Иванеско Антон Евгеньевич — к. и.н., доцент Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Исаев Дмитрий Петрович — аспирант Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Кольчугин Дмитрий Александрович — свободный исследователь (Москва).

Кореневский Андрей Витальевич — к. и.н., доцент Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Королев Владимир Николаевич (1940–2006) — д. и.н., профессор Ростовского государственного университета.

Краснова Ирина Александровна — д. и.н., профессор, зав. кафедрой Ставропольского государственного университета.

Макарова Любовь Михайловна — д. и.н., профессор Сыктывкарского государственного университета.

Малкин Станислав Геннадьевич — к. и.н., старший преподаватель Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (Самара).

Маркин Александр Николаевич — к. и.н., доцент Удмуртского государственного университета (Ижевск).

Мининков Николай Александрович — д. и.н., профессор, зав. кафедрой Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Мининкова Людмила Владимировна — д. и.н., доцент Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Морозова Ольга Михайловна — к. и.н., доцент Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону).

Петухова Александра Павловна — аспирант Московского государственного университета.

Репина Лорина Петровна — д. и.н., профессор, зам. директора Института всеобщей истории РАН, президент Общества интеллектуальной истории.

Савчук Вячеслав Сергеевич — к. и.н., доцент Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), председатель Ростовского регионального отделения Общества интеллектуальной истории.

Сагалаев Владимир Алексеевич — к. и.н., старший преподаватель Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Скогорев Александр Павлович — к. и.н., профессор Российского государственного социального университета (Москва).

Трапш Николай Алексеевич — к. и.н., доцент, декан исторического факультета Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Харченко Александр Александрович — к. и.н., ведущий инженер-исследователь государственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Донское наследие».

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Л. П. Репина (Москва)
ОТ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ К БИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ: 5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Н. А. Мининков, А. В. Кореневский, А. Е. Иванеско (Ростов-на-Дону)
ЧЕЛОВЕК «ВТОРОГО ПЛАНА» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 19

Н. А. Трапш (Ростов-на-Дону)
«ИСТОРИК ВТОРОГО ПЛАНА» В СТРУКТУРЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ 29

В. Ю. Апрыщенко (Ростов-на-Дону)
КОНСТРУИРУЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: «ЧЕЛОВЕК ВТОРОГО ПЛАНА» В МОДЕРНИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ НАЦИИ 41

ПОЧЕМУ НЕ ПЕРВЫЙ?

А. Н. Маркин (Ижевск)
МАРК ВИПСАНИЙ АГРИППА: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ИМПЕРАТОР 61

А. П. Скогорев (Москва)
«ЗАБЫТЫЙ» АПОСТОЛ В КАНОНЕ И АПОКРИФАХ 75

Л. В. Мининкова (Ростов-на-Дону)
«РОСКОТОРАВЪСЯ СЪ ОТЦЕМЬ СВОИМЪ...», ИЛИ СТАРШИЙ СЫН ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО 86

«СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ», РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ

С. Г. Гаврилов (Обнинск)
ТОМАС КРОМВЕЛЬ — «ПЕРВЫЙ МИНИСТР» ГЕНРИХА VIII 94

А. В. Бражкина (Москва)
ПОЧТИ СКАНДАЛЬНАЯ СМЕРТЬ «ПОЧТИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА» 108

ПОЛИТИКА: МЕЖДУ РАМПОЙ И КУЛИСАМИ

Д. А. Кольчугин (Москва)
СЭР ДЖЕРОМ БАУС: ОБРАЗ ДИПЛОМАТА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 126

А. П. Петухова (Москва)
«СЛОВО СИЛЬНЕЕ МЕЧА»: МИХАИЛ БОРОДКИН И «ФИНЛЯНДСКИЙ ВОПРОС» 148

А. М. Ермаков (Ярославль)
НА ВТОРОМ ПЛАНЕ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ:
ИМПЕРСКИЙ ТРУДОВОЙ ФЮРЕР КОНСТАНТИН ГИРЛЬ 165

БИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

А. А. Харченко (Ростов-на-Дону)
АСАНДР И ХРИСАЛИСК (опыт гипотетической персональной
истории) 178

А. В. Кореневский (Ростов-на-Дону)
«ФИЛИП ПОПОВИЧ, КУПЧИНА ПСКОВИТИН»: ОСКОЛКИ
БИОГРАФИИ 191

М. В. Винокурова (Москва)
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОГ БЫ ОСТАТЬСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ:
ГЕНРИ ТИЛСОН 201

Д. П. Исаев (Ростов-на-Дону)
КНЯЗЬ В. В. ГОЛИЦЫН ГЛАЗАМИ В. Н. ТАТИЩЕВА
(Опыт реконструкции работы историка над «Историей Российской») 206

ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ В «МУЖСКОЙ» ИСТОРИИ

М. И. Дегтярева (Москва)
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ: СОФЬЯ СВЕЧИНА 216

В. А. Сагалаев (Ростов-на-Дону)
«ТРУДЕН УДЕЛ ОДАРЕННЫХ ЖЕНЩИН...», ИЛИ О ТОМ,
КАК «ЧИТАЛИ» БИОГРАФИЮ ГАРРИЕТ ТЕЙЛОР МИЛЛЬ
ПОСЛЕДНИЕ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 237

Л. М. Макарова (Сыктывкар)
МИФ ЭВЫ ПЕРОН: ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
АРГЕНТИНЫ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА. 257

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ГЕРОЙ ВТОРОГО ПЛАНА

И. А. Краснова (Ставрополь)
ФОРМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ФЛОРЕНТИЙСКИХ ГРАЖДАН
КОНЦА XIV — НАЧАЛА XV ВВВ УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА 269

С. Г. Малкин (Самара)
«ТАЙНЫЕ СОВЕТНИКИ»: КОРРЕСПОНДЕНТЫ ДАНКАНА ФОРБСА
ИЗ КАЛЛОДЕНА И УМИРОТВОРЕНИЕ ГОРНОЙ ШОТЛАНДИИ
В 1715–1745 гг. 293

Ю. А. Гиренко (Москва)
КОНДОТЬЕРЫ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 300

ИСТОРИОПИСАТЕЛИ ВТОРОГО ПЛАНА

В. С. Савчук (Ростов-на-Дону)
НЕМЕЦКИЙ ИСТОРИК РУДОЛЬФ КЁЧКЕ: ДОЛГИЙ ПУТЬ
К ПРИЗНАНИЮ 307

Н. А. Мининков (Ростов-на-Дону)
ДЖИН-ПАДИШАХ, МЕДВЕДЬ НА ЦЕПИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ СИМВОЛИЗМ
И ПРОТЕСТ ВТОРОГО ПЛАНА (личная и литературная судьба
Н. Л. Янчевского в конце 20-х — начале 30-х годов). 329

М. А. Васьков (Ростов-на-Дону)
«НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — ИСТОРИК»: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА УТЕХИНА 340

ГЕРОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

П. А. Аваков (Ростов-на-Дону)
ТРУДЫ И ДНИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
РИГЕЛЬМАНА (1714–1789) 351

В. Н. Королев (Ростов-на-Дону)
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОПОВ (1800–1859) 368

О. М. Морозова (Ростов-на-Дону)
Д. П. ЖЛОБА ГЛАЗАМИ СВОИХ БОЙЦОВ: ПОРТРЕТ ЛЕГЕНДАРНОГО
КОМАНДИРА СТАЛЬНОЙ ДИВИЗИИ 375

Сокращения 393

Сведения об авторах 395